

Впервые Авторецензия

Не могу не процитировать великого Юрия Тынянова: «Есть документы парадные, и они врут как люди. У меня нет никакого пиэкета к «документу вообще» Не верьте, дойдите до границы документа, продырявьте его. И не полагайтесь на историков, обрабатывающих материал, пересказывающих его. Там, где кончается документ, там я начинаю. Представление о том, что вся жизнь документирована - ни на чем не основано. Я чувствую угрызения совести, когда обнаруживаю, что недостаточно далеко зашел за документ или не дошел до него, за его неимением»

Тынянов – писатель и исследователь, скрупулезно придерживался этих правил, поэтому я и процитировал актуальные и сегодня его мысли, которые, как нельзя лучше, предваряют разговор об электронной книге, вышедшей буквально на днях. Родилась она на кафедре международной журналистики КРСУ и посвящена событиям 16 года. От других изданий об этом, ее отличает и состав, и жанр. (Заинтриговал я вас?!) **«Антология-учебник «Художественный слепок трагедии 1916 года центральноазиатских литераторов»**. Выпущена она издательством «Максима», бережно и с любовью.

Не могу не перечислить авторов и произведения, обретшие свое пристанище на её страницах: Киргизская литература: К. Баялинов «Аджар», Т. Сыдыкбеков «Темир», К. Джантошев «Каныбек», А. Токтомушев «Письма из Какшаала», М. Элебаев «Долгий путь», А. Токомбаев «Перед зарей». Казахская литература: М. Ауэзов «Лихая година», «Зарницы», И. Джансугуров «Степь». Узбекская литература: Айбек (Муса Ташмухамедов) «Священная кровь».

Своеобразный коллаж создал целостную картину того, как происходили события, оставившие не заживающую болезненную рану в душе разных народов.

«Авторецензия»- не случайно помещена в подзаголовок. Если «автобиография», имеет право на существование, то и «авторецензия», особенно, когда соприкасаешься с событиями, судьбами и психологией многих современников того, что позже стало основой для художественного воплощения.

Подобной книги, по моему, еще не появлялось, поэтому кафедра готова передать ее всем тем, кто умеет читать, кто любит читать, кто читает: учителям школ и преподавателям университетов, ученикам и студентам, кто с интересом и болью сможет пройти по тропам, по судьбам, нашедших свое место на шестистах страницах, представленных преподавателями кафедры А.В Куликовским, А.Т Омуркановой, Ж.О Султановой, О.М Токтоназаровой, реализовавших свой литературоведческий поиск.

Автор идеи, предисловия
и научный руководитель издания
АС Кацев

**Художественный слепок трагедии 1916 года
центральноазиатских литераторов**

Антология-учебник

Идея, общее руководство и предисловие Кацева А.С.

Составители: Омурканова А.Т., Султанова Ж.О., Куликовский А.В., Токтоназарова О.М.

В книге в хронологическом порядке представлены разножанровые произведения авторов разных стран Центральной Азии.

Собранные воедино, они воссоздают человеческие национальные трагедии на фоне событий 1916 года. Полифонизм повествования рисует живые картины трагических судеб современников, используя метафоричность Александра Блока «детей страшных лет России».

Исходя из объема произведений, часть из них вошла в книгу в полном объеме, часть – фрагментами.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Литература и человеческая трагедия 1916 года

Предисловие Кацева А.С.

Киргизская литература

Касымалы Баялинов «Аджар»

Перевод Г. Шариповой

Тугельбай Сыдыкбеков «Темир»

Перевод В. Рождественского

Касымалы Джантошев «Каныбек»

Перевод В. Горячих

Абдрасул Токтомушев «Письма из Какшаала»

Перевод И. Озеровой

Мукай Элебаев «Долгий путь»

Перевод В. Горячих

Аалы Токомбаев «Перед зарей»

Перевод В. Цыбина

Казахская литература

Мухтар Ауэзов

«Лихая година»

Перевод А. Пантиелева

Вступительное слово Ч. Айтматова

«Зарницы»

Перевод А. Пантиелева

Ильяс Джансугуров «Степь»

Перевод К.Алтайского

Узбекская литература

Айбек (Муса Ташмухамедов) «Священная кровь»

Перевод Н.Ивашева

Литература и человеческая трагедия 1916 года

Кто только не перекраивал историю?! «Всё врут календари». «Врёт, как репортёр». Небылицы про царей-королей дело обычное. Обыватель лучше знает имена любовниц, чем фамилии «знаменитых людей эпохи».

С годами боль от трагических событий, произошедших в истории того или другого народа не стихает, она мифологизируется. Поиски врага определяют то одного, то другого, кого надо ненавидеть.

Это разобщает людей, культуры, обычаи. А если сообщество многонационально? Недавно услышал афоризм: «Патриотизм отличается от национализма. Первый – любовь к своему народу; второй – ненависть к другим народам».

Трагедия 16 года, охватившая буквально всех живущих в регионе времени разными толкователями интерпретируется противоположно.

В виноватые определяют то тех, то этих: царизм, семиреченское казачество и т.п.

Ю.Н. Тынянов писал, что есть эпохи «документированные», а есть, в которых документы отсутствуют и литератору необходимо восстановить т.н. воздух изображаемого времени.

Исходя из метафоры «человеческая трагедия», художественная литература – нравственный барометр, благодаря которому история предстает в судьбах разных поколений.

Перед Вами книга, включающая произведения авторов Центральной Азии.

События предстают целостно в воссоздании разноплеменных писателей, их единство достигается проникновением в национальную психологию. Образ, созданный на фоне трагикоисторических событий, представляет более, чем что-либо эпоху потерь, нового кочевья, сожженных айлов и сел.

В истории нет ничего случайного, через несколько лет, в гражданской войне будут истреблять семиреченское казачество. Иные будут утверждаться на этой древней земле.

(Дм.Фурманов «Мятеж».)

В пламени исторических катаклизмов сгорели люди разных национальностей: как они страдали, радовались, любили и ненавидели, тонули в горе, стали изгоями на родных просторах, повествуют писатели, создавшие человеческий слепок эпохи.

Читайте, и вы проникнитесь всем спектром чувств в ощущении «человеческой трагедии» 1916 года.

А.С. Кацев

КИРГИЗСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Касымалы Баялинов

(1902 – 1979)

Первые поэтические опыты Касымалы Баялинова были опубликованы на казахском и татарском языках еще 1922 году. Стихотворения «Любимой», «Октябрь» и др. были опубликованы на страницах газеты «Эркин-Тоо». В середине 1920-х гг. появляются его детские рассказы «Лисица и сурок», «Ласточка и змея», автобиографические рассказы «Мурат», «Возмужавший сирота».

Но главным произведением Касымалы Баялинова по праву считается повесть «Аджар» (1928) – одно из первых реалистических произведений киргизской прозы. Судьба главной героини повести показана на фоне социально-исторических событий 1916 года. Образ Аджар до сих пор один из любимейших женских образов киргизской литературы. Не случайно повесть стала одним из первых произведений киргизской литературы, переведенных на русский язык, а затем на французский, немецкий, английский и чешский языки.

Сам Касымалы Баялинов рано лишился родителей, воспитывался у родственников, а в 1916 году вместе со своими односельчанами бежал в Китай. Тяжелая и безрадостная жизнь на чужбине оставила неизгладимый след в его сознании. После Октябрьской революции вернулся на родину, батрачил у зажиточных хозяев, работал рассыльным в аптеке, конюхом, помощником повара в армейской казарме, пока в 1919 году вступив в комсомол, не окончил шестимесячную краевую советскую партийную школу в Ташкенте.

АДЖАР

I

Аджар — единственная дочь Батымы и Аеткула. Правда, были у них и другие дети, но все они умирали, едва появившись на свет. Потом долго детей не было. Батыма и Аеткул обращались к разным знахарям, муллам, издержали много денег, залезли в неоплатные долги, даже пригласили известного Хазрета, приехавшего из Кашгара. Хазрет

прожил у Аеткула несколько дней. Он повесил на шею Батымы «тумар», написал чернилами на стекле молитву и, смыв ее, дал выпить Батыме «заколдованную» воду; до полуночи Хазрет шептал молитвы, произносил заклинания. Утром, уплетая вкусные угощения, он сообщил, что было ему откровение — рождению детей у Батымы препятствует пятнистый тигр с седой гривой; но он, Хазрет, победил его и разговаривал с сорока ангелами, которые охраняют святых людей. Хазрет уверил Аеткула, что не пройдет и двух месяцев, как Батыма зачнёт сына, который родится живым и здоровым и проживёт до глубокой старости. Но ангелы сказали, что для исполнения откровения нужно достойным образом отблагодарить мудрого Хазрета. Обрадованный Аеткул отдал знаменитому Хазрету свою единственную лошадь.

Батыма с нетерпением ждала исполнения пророчества. Только через три года родила она, но не сына, а дочь, которую они назвали Аджар.

Аджар росла баловнем семьи, не испытывая ни горя, ни нужды. Так продолжалось до тех пор, пока её народ, теснимый белым царём, не бежал в Китай. Царские отряды гнались за жителями побережья реки Чу, и им пришлось переселиться в Конгур-Олен и Алабаш. Манапы отдали приказ, чтобы для защиты от этих отрядов из каждой кибитки вышел один человек. В числе прочих должен был идти и Аеткул. Но как может он покинуть жену и ребёнка? На кого он оставит их? И Аеткул, взяв маленькую Аджар, пришёл к манапу Сагыну.

— Батыр, ты повелел мне вступить в войско, но я не могу исполнить твой приказ. На кого я оставлю жену и ребёнка в такое смутное время, когда враг теснит нас? Я не могу идти. Оставь меня! Возьми другого, у которого есть взрослые дети. Вон у богача Алимкула два взрослых сына. Будь справедлив, возьми их, оставь меня.

— Уйди, собака! Не смей сравнивать себя с Алимкулом. Кто ты такой! Завтра же садись на коня и отправляйся,— сказал Сагын и выгнал Аеткула из кибитки.

Ранним утром посланник манапа Сагына разбудил Аеткула. Аеткул быстро вскочил с постели, оделся, заткнул за пояс айбалта¹. Потом он поднял Аджар и крепко поцеловал её.

— Атаке, куда ты едешь? — спросила Аджар.

— Дорогая, я еду недалеко, скоро вернусь!

Но надломленный голос Аеткула выдавал его волнение. Словно предчувствуя беду, он долго ласкал Аджар и Батыму.

Направляясь к выходу, Аеткул сказал жене:

— Если народ перекочует, сложи всё, что есть, на вола, посади туда же Аджар. Не отставай от народа! Ходят слухи, что в Кет-Малды пришли царские войска. Мы едем, чтобы драться с ними и не допустить их сюда, к нашим семьям. Прощай!

Батыма вышла из кибитки, помогла мужу сесть на коня.

Аеткул присоединился к большому отряду верховых с разноцветными знаменами; они двигались в сторону Иссык-Куля.

Прошло два дня. На третий день народ стал торопливо укладываться, собираясь перекочевать в другое место. Все знали, что войска царя разбили отряды киргизов, и ужас охватил народ. Вернулись все, кто уцелел в битве. Но Аеткула не было среди них, и Батыма услышала страшную весть о его смерти. Горько зарыдала Батыма, поражённая неожиданным горем. Громко заплакала Аджар.

— Не плачьте! Он умер как герой. Да будет его место в раю,— утешали их соседи.

Старики, женщины и дети обступили Кузубека, привезшего известие о смерти Аеткула. И он рассказал:

— Наш отряд в пятьсот человек подъехал к Иссык-Кулю. У нас было всего пять берданок, штук десять кремневых ружей, а остальное вооружение состояло из копий, сабель, ай-балта, дубинок, палиц. На берегу Иссык-Куля мы спешили, выставили

¹ Вид холодного оружия, наподобие секиры.

караулы и легли. Наутро пришло известие о приближении царских войск. Мы все вскочили на коней и двинулись им навстречу.

Вскоре мы увидели цепь царских войск. Их было больше двухсот человек. Поражённые, мы остановились. Солдаты стали нас обстреливать. Двоих убили. Наши стрелки ответили им, но солдаты всё приближались, двигаясь по степи, как отара овец. Мы отступили к месту стоянки. Жакуб-хан приказал идти в наступление. От царских войск отделился небольшой отряд, который хотел преградить нам путь. Наши смешались, но снова раздался голос хана: «Наступать!» Мы помчались. Солдаты не ожидали наступления и стали отходить. Ай, почему у нас не было такого же порядка, как у них! Но не успели мы приблизиться к солдатам, как трое наших всадников, чего-то испугавшись, повернули коней и поскакали обратно. За ними последовали остальные, а царские отряды, видя наше бегство, открыли пальбу. Пули жужжали вокруг нас, как пчёлы. Наши лошади испугавшись непривычного шума взбесились. Они скидывали всадников, волочили мёртвых по земле. Под вражьими пулями наши люди валились, как снопы. Так погибло сто лучших всадников. Мы хотели отступать ..дальше, но хан приказал остановиться. Он намеревался подпустить врага ближе и тогда напасть на него. Аеткул возразил хану:

— Ты, видно, принимаешь их за перепёлок, которых можно перебить палками? Они — не мы. Они слушаются команды и вооружены отличными ружьями. Мы не можем тягаться с ними. Довольно с нас и этих жертв.

Но хан был озлоблен неудачей и не хотел слушать ничьих советов. Размахнувшись, он два раза стегнул Аеткула плёткой. Аеткул не стерпел обиды и ответил хану ударом на удар. Плётка Аеткула рассекла щеку хана. Хан, вне себя от злобы, закричал: «Меня ранили, стреляйте!» Грохнул выстрел, Аеткул, как мешок, свалился с лошади. Войско окружило его труп. Я спешился, поднял голову Аеткула и заплакал. И, пока мы стояли около убитого, царские отряды начали обстреливать нас. Убили ещё двоих. Они упали рядом с Аеткулом. Мы в страхе бежали...

На другом конце аила кто-то громко зарыдал,— то старый Кубеген оплакивал смерть единственного сына, Жапаркула, тоже погибшего в этом бою.

Народ уходил. Батыма сложила свои пожитки на вола, посадила на него Аджар и двинулась в путь, стараясь не отставать от других.

Манап Сагын покинул становище раньше всех. Он отыскал удобное место для новой стоянки, вбил в центре облюбованной ложбины высокий шест, на который повесил своё знамя. Народ собрался к этому знамени.

На пятый день вол Батымы споткнулся о камень, кладь съехала с его спины, и Аджар упала. Батыма с криком подбежала к дочери, подняла её с земли. Убедившись, что Аджар жива и невредима, Батыма снова принялась укладывать свои пожитки. Её слабые руки не могли справиться с непосильной работой, и даже вол, будто почувствовав бессилие Батымы, стал проявлять непослушание. Давно прошли жители родного аила. Теперь мимо Батымы шли чужие люди. Никто не остановился, чтобы помочь ей. Каждый был занят только собой, никому не было дела до бедной вдовы. В хвосте переселяющегося народа шёл, опираясь на палку, старый сгорбившийся Кубеген со своей старухой, ведшей за повод хромую измождённую лошадь.

Кубеген знал Батыму и слышал о смерти Аеткула. Он остановился, помог ей уложить вещи, и они вместе двинулись дальше. Скоро их догнала группа вооружённых верховых. При виде их Кубеген вострепнулся, бросился к лошади одного из всадников и крикнул:

— Убей и меня! Убей! Ты лишил меня единственной надежды — сына. Пусть же бог покарает тебя. Да постигнет тебя такое же горе. Изведай и ты при жизни мучения ада. Умри голодной смертью на безлюдном перевале.

Это был Жакуб-хан. Он хотел оттолкнуть старика, но Кубеген крепко вцепился в узду его лошади. Жакуб-хан обозлился, слез с лошади, приказал двум всадникам держать

руки старика и стал стегать его камчой. Старуха кинулась к мужу. А хан всё продолжал наносить удары Кубегену. Тогда старуха повернулась к хану и ударила его клюкой.

— Она подняла руку на хана! — крикнула свита, набрасываясь на старуху.

Жакуб-хан и его джигиты до полусмерти избили старуху и Кубегена, скрутили им руки за спину и со смехом поскакали дальше.

Наступил вечер. Народ стал готовиться ко сну. Становище наполнилось ржанием лошадей, блеянием овец, шумом, криком. Одни искали затерявшихся в толпе родственников, другие — скот, попавший в чужой табун. Но никто не вспомнил Аджар и Батыму. Эту ночь они провели в степи, вдалеке от родного аила. Только к вечеру следующего дня они нашли своих.

Прошло шесть дней. Бедняки, испытавшие много горя от Сагына, уговорились покинуть своего манапа, чтобы попытать счастья у другого. Среди них были Кубеген, Батыма и Кузубек, родственник Аеткула. С вечера заговорщики отогнали свою скотину на гору и спрятались там. Только женщины и Кубеген остались среди народа.

Утром народ собрал шалаши, стал готовиться к дальнейшему переходу. Лишь Кубеген и Батыма не участвовали в общей суматохе.

Посланцу Сагына, привезшему приказ двигаться, они ответили:

— Прошлой ночью у нас заблудился скот. Искать пошли два человека. Мы не тронемся с места до тех пор, пока они не вернутся.

Когда аил Сагына скрылся из виду, беглецы быстро навьючили волов и торопливо двинулись по пути, ведущему в другую волость. Но не успели они отъехать и двух километров, как Сагын с группой баев догнал их, приказал развьючить лошадей и волов, избил зачинщиков, отобрал весь их скот, а имущество раскидал по дороге.

— Теперь идите, куда хотели!

Куда пойти беднякам, лишившимся всего имущества? Они бросились перед Сагином на колени, моля о прощении. Желая умиловить манапа, они подвели ему единственную гнедую лошадь Кузубека, просили принять её в дар и сменить гнев на милость.

Это была отличная лошадь. Сагыну давно хотелось иметь её в своём табуне, он даже предлагал Кузубеку продать её. Но Кузубек ни за что не соглашался расстаться со своим конём.

Теперь же счастье улыбнулось Сагину,— лошадь сама шла к нему в руки. Он привял подарок и милостиво разрешил всем вернуться в свой аил.

Прошло несколько дней. Народ подошёл к китайской границе и двинулся по перевалам Тянь-Шаньского хребта. Аил Батымы остановился около Ак-Угизского перевала. Утро встало пасмурное, перевал окутался туманом, пошёл снег, поднялся северный ветер, который усиливался с каждой минутой, заметая дорогу снегом. Люди и скот скользили по обледенелой дороге, падали в пропасть. Среди голых камней не виднелось ни одной травинки. Голодные овцы и козы щипали свою собственную шерсть; лошади грызли стремяна; верблюды опустились на колени и не могли больше подняться; быки сбрасывали навьюченную на них кладь; люди отморозили руки и ноги.

Перевал гудел от стонов людей, ржания и блеяния животных. А снег все шёл. Скоро наступила ночь, но и она не принесла успокоения. Люди и животные сбились в одну кучу. Холод пробирал всех до костей. Когда робкий свет зимнего утра осветил перевал, он казался пустым. И люди, и животные — всё было засыпано снегом, всё замерло, и только по редкому трепыханию овец можно было понять, что под снегом лежали не камни, а живые существа. За ночь умерло множество людей.

Буря продолжалась два дня. На третий день выглянуло солнце. Туман медленно рассеялся. Резкий северный ветер утих. Люди, оставшиеся в живых, с уцелевшим скотом перевалили через горный хребет. Среди них тащились Батыма и Аджар.

На середине перевала Батыма увидела два окоченевших трупа, лежавших рядом с замёрзшей лошадей. Это были Кубеген и его старуха.

Народ стал рассеиваться по пограничным городам Китая. Батыма и Кузубек остались в Турпане. У них не было никакого имущества. Единственный бык Батымы пал на перевале, несколько овец и коз Кузубека потерялись в дороге. После долгих скитаний Кузубек нашёл пустующую конюшню, хозяин которой, Сабит-ахун, разрешил занять её под жильё. В конюшне не было ни окон, ни дверей, свет падал из небольшого отверстия в крыше. Пол был земляной. Здесь стоял спёртый воздух, пропитанный конским потом и помётом. Кузубек прикрыл кошмой отверстие, служившее дверью; застелил пол сеном. Здесь и разместились Батыма, Аджар и Кузубек с женой и детьми.

Шли дни, недели, месяцы. Наступила зима. Она принесла новые заботы. Откуда достать топливо? У кого просить? У переселенцев ничего нет, а турпанцы даже щепки даром не дают. А откуда взять деньги? Что продать? Чем прокормить семью?

II

Тёмная зимняя ночь сменилась белесоватой зарёй. На востоке засияла Чолпон. Звёзды будто улыбались в небе, прощаясь с землёй. Вот они исчезли. Медленно всплыло солнце, закутанное в пурпур.

Земля ожила. Народ принялся за повседневную работу. Но мороз такой сильный, что нельзя выйти на улицу.

Аджар, вместе с детьми Кузубека, Талыбом и Кубатом, лежит на соломе. Кузубек ранним утром, заткнув за пояс маленький топор, отправился на поиски дров и ещё не возвращался. Батыма и жена Кузубека, Айна-гуль, дрожа от холода, сидели около детей.

Только к вечеру открылась кошма, заменяющая дверь. В жилище ворвалась струя холодного воздуха. Вошёл, Кузубек с небольшой охапкой хвороста за спиной. Он был весь в снегу, усы и борода покрыты ледяной корой.

— Это всё, что ты принёс? — спросила Айнагуль.

— Что мне было делать? Мой топор отняли турпанцы. Этот хворост я собрал голыми руками.

— Апа, я замерзаю, — заплакала Аджар.

— Дорогая, потерпи немножко, — ответила Батыма и окоченевшими руками плотнее закутала Аджар в старенькую кошму.

Все принялись разжигать хворост, принесённый Кузубеком, но ветер, крутя снежинки, врывается через отверстие в крыше и гасит огонь. Дым ел глаза. Наконец затеплился маленький огонек. Постепенно жилище стало согреваться. Снег, покрывавший пол и стены, оттаял. Но пищи не было. Все легли голодные.

Наутро Кузубек снова отправился за хворостом. Батыма и Айнагуль тоже вышли из жилища и стали обходить турпанцев, надеясь раздобыть у них пищу. Вечером они принесли домой немного чечевицы и маленький хлебец. Кузубек ещё не возвращался. Все с нетерпением ждали его, надеясь, что он принесёт хворосту. Занятые разговором, они даже не заметили, как вошёл Кузубек.

Вид его был страшен: он весь посинел.

— Что случилось?

— Принёс хворосту?

— Пропади он совсем, — с трудом проговорил Кузубек. — Всё покрыто снегом, нет ничего заметного для глаз, доступного для рук.

Младший сын Айнагуль, Кубат, плаксиво затынул:

— Апа...

— Айланаин, что тебе?

— Есть хочу!

— И я хочу. Я озяб. Я голоден, — заплакал другой. Заплакала и Аджар.

Батыма, как только узнала, что Кузубек вернулся с пустыми руками, сейчас же куда-то ушла. Через некоторое время она внесла вязанку камыша.

— Выпросила у хозяйки, обещала за это выстирать ей бельё,— сказала она.

Половину камыша и хлеба оставили на завтра и принялись жарить чечевицу. К вечеру маленький Кубат захворал. На следующий день ему стало совсем плохо. Айнагуль не знала, чем помочь сыну. Батыма, отрабатывая взятый камыш, целый день провела на холоде, полоща бельё. Вечером слегла и она. Болезнь была тяжёлой, Батыма не могла подняться с постели, всю ночь она бредила.

— Единственная... дочь моя... что с тобой будет? Подойди ко мне... Убит... Аеткул... Ай, где ты?.. Возьми Аджар, возьми... Озябла? Накормить тебя?..— шептали её посиневшие губы.

Аджар не отходила от матери. Сердце её сжималось, предчувствуя беду.

— Апа, джаным, апа!.. Проснись... открой глаза, посмотри на меня. Скажи хоть одно слово.

Батыма открыла глаза, посмотрела на дочь. Она хотела что-то сказать, но язык не повиновался ей.

— Аджар! — простонала она. Из её груди вырвался последний вздох, и Батымы не стало.

С громким рыданием упала Аджар на труп матери.

Батыму похоронили на краю кладбища.

Аджар осталась круглой сиротой. Теперь всякий мог распоряжаться ею, приказывать ей.

Наступил март. Люди и животные, отощавшие за долгую зиму, обрадовались теплу. Беженцы-киргизы в борьбе с голодом распродали остатки своего скудного имущества и последний скот. Теперь у них не осталось ничего. В поисках пропитания они стали рассеиваться по окрестным городам и сёлам. Их одежда, сшитая ещё до бегства, превратилась в лохмотья и висела клочьями, как шерсть овец весной. На дорогах то и дело попадались трупы распухших от голода киргизов. Исхудавшие, измождённые женщины и дети двигались, как тени. Из рук в руки передавались киргизские девушки и дети, проданные родителями в приступе отчаяния. Цена им — мешок чечевицы.

Не выжил и Кубат. Турпанцы не разрешили похоронить его около Батымы, а потребовали, чтобы родители купили для него могилу. Где же Кузубеку взять для этого денег? Они и сами были накануне голодной смерти. И вот ранним утром Кузубек отнёс труп сына к стене, окаймлявшей поместье богатого турпанца, выковырял в ней нишу и положил туда тело мальчика.

Так похоронил он своего сына Кубата.

Часть беженцев отправилась в Какшаал, где жили китайские киргизы. Кузубек хотел пойти с ними, но Сабитахун не отпустил его. Он потребовал уплаты несуществующих долгов. За щепотку чаю, за кусок хлеба, данный зимой! он теперь требовал денег. Кузубек упал перед ним на колени, умоляя снять долги, но Сабит-ахун оставался неумолимым.

— Эй, жена,— обратился Кузубек к Айнагуль.

— Чего тебе?

— Требования Сабит-ахуна страшнее голода. Как быть?

— Откуда мне знать?

А если продать Аджар?

Тогда Сабит-ахун отпустит нас.

— Что ты! Опомнись! — ахнула Айнагуль.

Она вспомнила, как Батыма перед смертью поручила ей Аджар, умоляя заботиться о ней.

Но выхода не было.

Сабит-ахун давно заметил красивое личико Аджар и решил во что бы то ни стало заполучить её. И он достиг цели. Он дал за неё Кузубеку осла, три сээрa денег, один пуд чечевичной муки и простил долги. Кузубек с семьёй уехал в Какшаал. Аджар осталась

среди чужих людей. Сначала она тосковала, плакала, но постепенно ознакомилась с жизнью в доме Сабит-ахун и привыкла к ней.

Прошёл год. Аджар исполнилось пятнадцать лет. За это время она очень похорошела. Был у Сабит-ахуна друг, старый дунганин Чер. Однажды он увидел Аджар, и красота девушки поразила его.

— Отдай мне Аджар. Проси за неё что хочешь — отказа не встретишь,— сказал Чер.

— Мне лишнего не надо,— ответил довольный Сабит-ахун. Верни издержки по её содержанию, и я уступлю её тебе.

Много насчитал Сабит-ахун. Припомнил всё, что дал Кузубеку, а ещё больше наговорил, чего никогда не было. Чер не возражал, молча отсчитал Шестьдесят сээров и взял Аджар. Он твёрдо решил под старость жениться на молодой Девушке, чтобы видеть подле себя цветущую юность и в её объятиях забыть приближение смерти.

III

Солнце склонялось к западу. Вершины Ала-Тоо окутывали облака, окрашенные заходящим солнцем в розовые тона. Бездонное, безграничное небо обняло всю землю.

По тропинке, ведущей к кладбищу, идут три женщины. Одна из них одета в шёлковый Пёстрый чайан; платок спущен на плечи, на ногах ичиги и кауши; усталое лицо, под глазами большие чёрные круги. Она еле передвигает ноги. Это Аджар... А её спутницы — местные женщины. Они остановились на краю кладбища, около могилы матери Аджар.

— Джаным, мама! — заговорила Аджар, падая на могилу. — Джаным, мама, встань! Выслушай меня, мама, пожалей! Твою дочь отдают сегодня чужому человеку, отдают ему в рабыни. Спаси меня, возьми к себе. Я так много страдала после твоей смерти. Твой родственник, которому ты поручила моё воспитание, продал меня чужому человеку. Он обидел, измучил меня, мама! Мне смерть стала желанней жизни, но бог, давший тебе успокоение, не хочет взять меня к себе. Творец! Почему ты так сделал? Если ты существуешь, почему ты не избавишь меня от мук? Как я буду жить с человеком; который старше моего покойного отца? Как мне избавиться от этого горя? У кого просить совета и помощи? Скажи, мама! Кроме тебя, мне не к кому идти.

А в доме Чера справляли свадьбу. Наступила ночь. Гости разошлись. Не обращая внимания на слёзы Аджар, женщины ввели её в помещение, приготовленное для «молодых», насильно раздели и уложили в постель.

Аджар зарылась в подушки и громко зарыдала.

— Творец, зачем ты создал меня рабой? Неужели ты отдашь меня этому старику?

Аджар погрузилась в глубокую думу. Она вспомнила своё детство. В памяти всплыл родной Ала-Тоо, прозрачный и сладкий, как мёд, ключ, куда она ходила со своей матерью, дом родителей, неоглядная степь.

Особенно ясно вспомнила она отца, который часто брал её к себе на седло, и мать, так нежно любившую её.

А теперь, теперь!.. Что сулит ей жизнь? Сколько горя изведает она? Наступит ли минута радости? Аджар не надеется на счастье. Ведь она знает судьбу младшей жены. Ещё с детских лет помнит Аджар младшую жену богача Алимкула, красавицу Айганыш. Тяжёлой была её жизнь. Айганыш носила хворост, таскала воду, стирала бельё, смотрела за ягнятами, доила овец и кобылиц. Нередко палка байбиче гуляла по её спине.

Вот такая же судьба ждёт и Аджар. Ведь она третья жена старого Чера. Невольно Аджар сравнивает себя с Айганыш. Ведь её жизнь будет не лучше, чем у Айганыш. Ведь она не встретит храброго джигита, каким был батрак Сатаркул, который увёз молодую Сааракан, дочь богача Бурабая, просватанную Кожумкулу в младшие жёны. Аджар

увидела её через год, когда вместе с мужем, Сатаркулом, приехала она в гости к отцу. Как счастлива была Сааракан! Как гордилась она своим мужем! Как он любил её!

А что знает Аджар о жизни чужого ей народа? Здешняя жизнь, язык, обычаи непонятны ей.

Скрипнула дверь. В комнату вошёл низенький человек, широконосый, рябой, с маленькими глазками, реденькой седой бородкой.

Аджар похолодела. Вот послышались приближающиеся шаги и сопение Чера. Руки, похожие на когти беркута, скользнули по одеялу. Холодное, как змея, жилистое тело улеглось на постели. Аджар скорчилась, хотела бежать, кричать, но силы покинули её,— дыхание перехватило, сознание помутилось. Безжизненное тело попало в холодные объятия старика.

Прошло шесть месяцев. Аджар потеряла для Чера прелесть новизны. Он меньше обращал на неё внимания, заходил к ней только раз в неделю. Две старшие жены Чера стали обращаться с Аджар как с рабой, они заставляли её исполнять всю грязную работу и награждали тумакми. Аджар измучилась, похудела. Жизнь её с каждым днём делалась всё тяжелее.

IV

Тёплая майская ночь. Ясное звёздное небо. Вся природа отдыхает, всё спит спокойным сном. Лёгкий ветерок колышет молодые побеги. Только колотушка караульщика нарушает тишину.

Неслышными шагами вышла Аджар из ворот дома Чера. Испуганно оглянувшись по сторонам, она побежала.

Вот кладбище. Вот на краю его могила Батымы. Аджар в последний раз приникла к дорогой могиле. Потом встала и зашагала по степи.

Аджар пошла в сторону Какшаала. Она знала, что Какшаал находится на границе её родины и там живут китайские киргизы. Там она надеялась найти приют и освободиться от ненавистного Чера.

На рассвете Аджар достигла купы деревьев, растущих на берегу Кум-арыка, и спряталась в их тени.

Взошло солнце. Всё живое, спавшее ночью, проснулось от его ласковых лучей. Аджар пробыла в своём убежище до вечера. Тело её ныло, израненные ноги болели. Голод с каждой минутой делался всё сильнее и сильнее. И всё же вечером Аджар поднялась, чтобы продолжать путь.

Прошло много времени. Приближалось утро. Заалел восток. Аджар успела пройти область Турпана. Теперь она шла по пустыне, лежащей на границе Какшаала. Здесь нет тенистого убежища, нет ни капли воды. Лишь кое-где растут кусты саксаула. Кругом пески. Тело Аджар отяжелело, ноги с трудом передвигались по глубокому песку. Долго шла Аджар, но силы покинули её, и она упала на песчаный холм. Высоко поднялось солнце.

Песок накалялся. С трудом поползла Аджар до куста саксаула. Но жаркие лучи солнца проникли через редкие ветви кустарника. Они жгли тело Аджар. Жажда мучила её всё сильнее и сильнее.

— Каплю воды! Один глоток — и смерть была бы для меня лёгкой! — простонала Аджар.

Но откуда вода в песчаной пустыне? Нет воды! Чтобы добраться до источника, нужно идти целую ночь!

Полуденные лучи солнца вертикально падали на -раскалённый песок. Зной усиливался с каждой минутой. С каждой минутой усиливались страдания Аджар. Но жизнь дорога человеку! Несчастная сняла с себя чапан и набросила на ветви саксаула.

Подул холодный ветер. Белые облачка, как барашки, кружатся в небе. Ветер гонит и кружит их вокруг вершин Тянь-Шаня. Иногда облако закрывает заходящее солнце, отбрасывает тень на безлюдную, безграничную пустыню Какшаала.

Пустыня охвачена тишиной... Тень облака падает на куст саксаула, под которым лежит Аджар. Ветер щекочет Аджар, играет с ней, будит её.

Аджар поднялась и снова пустилась в путь. Сумерки сгущаются, приближается ночь. Давно скрылось солнце. Выплыла бледная луна, окутанная золотым сиянием. Её серебристый свет разогнал глубокую темноту, осветил молчаливую пустыню. И пустыня, как дитя, улыбающееся сквозь слёзы, обрадовалась сиянию луны. Она раскрыла свои объятия, дала дорогу Аджар.

Аджар всё шла и шла... Вдруг она услышала за собой какое-то завывание. Вой приближался, делался всё явственней. Аджар встрепелась, сердце её беспокойно забилося.

Стая голодных волков окружила Аджар. Они были настолько худы, что рёбра их явственно выделялись из-под всклокоченной шерсти.

Аджар охватил ужас... Она стала поднимать попадающиеся по пути камни и швырять их в волков. Страх придал Аджар силы. Она побежала, забыв про израненные ноги. Но разве отступит жестокий враг? Волки окружили Аджар со всех сторон... Но вот Аджар достигла куста саксаула. В её голове мелькнула мысль, слышанная в детстве от матери: «Волки боятся огня». Она судорожно обыскала себя, нашла в кармане чапана неполную коробку спичек.

Быстро зажгла спичку. Напуганные светом, волки немного отступили. Спичка догорела. Волки снова стали приближаться. Обезумевшая от страха Аджар зажигала спичку всякий раз, как волки повторяли попытку приблизиться к ней. Вдруг коробка выскользнула из дрожащих рук девушки, спички рассыпались... Аджар подняла коробку, в ней уцелела одна спичка.

Как молния, пронзила Аджар мысль поджечь саксаул. Она поднесла спичку к кусту, и он, высохший от зноя, вспыхнул, как порох. Языки пламени поднялись к небу.

Волки отступили. Аджар вздохнула свободнее. Вся её надежда, её спасение заключались в этом огне. Её жизнь зависела от него. Потухни огонь — потухнет жизнь Аджар...

А пламя между тем стало утихать. Снова с воем стали приближаться волки. Они окружили Аджар плотным кольцом.

Последняя надежда покинула девушку. Земля, ветер, трава, горы, камни — всё стало казаться ей врагом.

Аджар не желала сдаться без борьбы. Голыми руками стала она разбрасывать тлеющие головни, но волки осмелели и с визгом и воем бросились на девушку...

Предсмертный стон Аджар, полный безысходного страдания, огласил пустыню.

Тугельбай Сыдыкбеков

(1912 –1997)

Народный писатель Кыргызстана Тугельбай Сыдыкбеков начинал свой творческий путь как поэт, он автор более десяти стихотворных сборников.

Тугельбай Сыдыкбеков заложил основы развития реалистического социально-бытового романа в киргизской советской литературе. Его ранние романы 30-40-х гг. «Кен-Суу», «Темир» посвящены событиям коллективизации, раскулачивания, борьбе с басмаческим движением в киргизском аиле. В освоении романного жанра писатель опирался как на фольклорные традиции, так и на традиции русской и советской классики (М. Горького, М. Шолохова).

Наиболее выдающееся произведение Т. Сыдыкбекова – роман «Среди гор», являющейся второй редакцией романа «Кен-Суу». Роман насыщен колоритными бытовыми, этнокультурными картинками и образами (национальные игры, обычаи), сказками, легендами и аллюзиями на эпические образы из «Манаса», образцами акынской поэзии.

В 1947 году роман «Темир» вышел на русском языке в издательстве «Советский писатель».

ТЕМИР

(Отрывок)

I

У байбиче Умсунай были сын и три дочери. Две старшие вышли замуж, а ведь «замужняя дочь —отрезанный ломоть». Родившийся вслед за ними сын Касен уже в семилетнем возрасте казался отцу с матерью опорой, взрослым джигитом. Он рос воспитанным, умным, смелым мальчиком. «Дай бог здоровья сыну Умсунай, не парень, а молния», — говорили о нем в кыштаке.

Была в кыштаке одна пожилая женщина, родившая двенадцать детей и всех похоронившая. К тому же она рано овдовела и жила с тоской в сердце и с глазами, полными слез. Ее имя было Саалкан, но все привычно называли ее «несчастливая Саалкан».

Оставшись одна, несчастная Саалкан искала общества людей, которые бы понимали ее, видели глубину ее страданий. И частенько Умсунай, вскипятив чайник, посылала Касена за Саалкан. Обрадованный мальчик бежал к дому одинокой женщины:

— Вас мама зовет.

Саалкан радовалась приглашению, но, притворяясь равнодушной, спрашивала:

— А чем она меня угостит, твоя мама?

— Чаем, маслом... идем, бабушка, скорей! — торопил Касен, брал старушку за руку и тащил за собой.

Касен жалел одинокую Саалкан, у него щемило сердце, когда он думал о ней. И мальчик спрашивал мать:

— Мама, а бабушка Саалкан не боится спать одна в темном доме?

— Человек ко всему привыкает, сынок...

— А если она заболит?

— Ну что поделаешь... Да не расспрашивай ты так много об этой бедняжке, сынок.

Но Касен не хотел отходить от Саалкан, ласкался к ней, подавал ей пиалу с чаем, протягивал хлеб. У Саалкан навертывались слезы на глаза, она гладила мальчика по голове, потом брала на руки маленькую Куляй — младшую сестренку Касена — и целовала в лобик. Куляй тогда только начинала ходить и непрерывно что-то лепетала. Она была живая, резвая девочка. Старушка Саалкан сердечно привязалась и к Куляй и к Касену. В страхе за судьбу ребятишек она порой нашептывала их матери:

— Хорошенько смотри за детьми, милая Умсунай! Как бы кто не сглазил их, ведь зло и камень разбивает!

— Байбиче, нам с мужем ничего не нужно, были бы только дети здоровы. Для них мы ничего не жалеем.

— А! — с горечью произносила Саалкан. — Детей надо не только накормить-напоить, но и уберечь от смерти. Будут живы — будут и сыты и одеты, надо прежде всего им жизни пожелать! — она показывала на Касена. -Пусть люди поменьше болтают об этом твоём озорнике. Зашей змеиную голову в рукав его камзола, тогда мальчику будет не страшен ни злой язык, ни завистливый взгляд, — продолжала Саалкан, прихлебывая чай. Тут она вспоминала своих, давно умерших детей, губы и подбородок у нее начинали дрожать, из глаз капали слезы.

Растерявшаяся Умсунай не знала, как и успокоить старуху:

- Ну к чему так себя расстраивать, дорогая? Я еще не видела, чтобы вы ушли из нашего дома без слез. Вытрите глаза и пейте лучше чай, родная!

Касен, заметив, что Саалкан плачет, от души жалел ее и подкладывал сахару в ее пиалу. Даже Куляй понимала, что Саалкан чем-то огорчена, смотрела на нее жалобно и сидела присмирившая.

Вытерев глаза концом рукава, Саалкан говорила:

- Что же мне делать, если грудь моя разрывается от горя.

И она отпивала из пиалы еще глоток.

Прошли годы. Время еще больше согнуло спину одинокой Саалкан. Не убавилось морщин и на лице байбиче Умсунай, а борода ее мужа Калыбека сильно поседела. Но, как говорится, старое старится, а молодое растет. Малыш Касен стал стройным, ловким юношей. Несколько лет мечтал он о том, чтобы поехать учиться в город; в семнадцать лет эта мечта сбылась. Он уехал вместе с несколькими другими парнями, уехал радостный, счастливый. Огорчало Касена лишь то, что его лучший друг Темир не смог поехать вместе с ним. Как и другие ребята, Темир кончил школу первой ступени в кыштаке и мечтал учиться дальше в городской школе. Он сказал об этом своей матери Каныш:

-Мама, отпусти меня в город учиться. Смотри, Касен уже уехал. И другие ребята тоже. Они вернутся в кыштак знающими людьми. А я даже не буду понимать, о чем они говорят, мне будет стыдно перед ними.

Он повторял это матери по несколько раз в день. Каныш не хотела быть помехой ему, но очень огорчалась при мысли о его возможном отъезде.

— Как же так, жеребенок мой? Разве мать скажет тебе: «Не учись, оставайся невеждой»? Ей бы очень хотелось, чтобы ты учился, много знал, много повидал, понял разницу между плохим и хорошим, стал умным человеком. Но как мне быть? Сможешь ли ты сам позаботиться о себе? Ну хорошо, отпущу я тебя в такую даль. А сможешь ли ты приезжать домой хоть раз в год? Будешь все время беспокоиться: «Как там моя мама?» А я себе и места не найду: «Как-то там мой Темир?» Ну ладно, я привыкну, поезжай. Себя я прокормить сумею. Живой человек не пропадет. Но у меня на руках корова с теленком, жеребенок, кобыла с сосунком, коза с козленком. Сумею ли я заготовить для них сена на зиму? Сумеет ли твоя мать зимою позаботиться о дровах, о воде? Ладно, я попрошу кого-нибудь, заплачу в крайнем случае за работу. Но даже если я буду сыта, да не будет со мной тебя, единственной моей радости, что ж это за жизнь? Пока ты здесь, в доме есть хозяин. Мы с тобой живем хорошо, весело. А уедешь ты — ко мне, кроме несчастной Саалкан, и не заглянет никто. Придет старуха, заведет разговор о своем горе, о давно умерших детях — только в тоску вгонит. Да я и спать перестану, иссохну вся. Ну я-то ладно, а то ли от воды, то ли от воздуха городского, только болеют ребята, которые уезжают туда учиться. Вдруг и ты заболеешь, жеребенок мой? У меня здоровье стало никудышное, случись что, придет смерть, ей не скажешь — подожди, я не хочу умирать сейчас. Оставишь этот прекрасный мир и уйдешь! А если, не дай бог, придется мне умереть без тебя? Ты не услышишь моих последних слов, не бросишь первую горсть земли в мою могилку. Тяжко мне будет тогда умирать!

Так она говорила, то подбадривая себя, то проливая слезы. Перебирала, припоминала все заботы. Темир внимательно слушал мать. Ему было жаль ее. Как бросишь, как оставишь человека одного в таком состоянии?

А мать в свою очередь терзала себя: «Я стою сыну поперек дороги, я мешаю его счастью...» Она видела, что дети и других семей уезжают учиться, и огорчалась, как малый ребенок, часто плакала... «Не оборвать бы мне твое счастье, жеребенок мой... Со мной ничего не случится. Исполни свое желание, учись! Вот продам шерсть, будут тебе деньги на расходы».

Но хотя мать и сказала «поезжай», Темир так и не смог уехать.

* * *

Весной приехали домой на каникулы ребята, которые учились в городской школе. Они были нарядно одеты. Белые воротнички. На шее подвязано что-то пестрое, красивое, называют эту диковинную вещь «галстук». На ногах какая-то странная обувь без голенищ — «ботинки». Блестят так, что глазам больно, скрипят даже по траве, а уж на твердой земле и того пуще. Одеты парни в коротенькие черные пальто с хлястиками. Накинув пальто на плечи, постоянно приглаживая волосы, целыми днями красуются они на улицах кыштака.

«Эти ученые дети едят очень мало мяса, а кумыса больше двух чашек выпить не могут. Держат чашку перед собой и еле тянут. Ведут себя тихо, вежливо, не то что наши деревенские. Такие воспитанные... Да, Советы открыли нашим детям двери науки. И это уже принесло свои плоды», — переговаривались матери.

Но самым умным, самостоятельным и воспитанным из этих ребят был Касен, сын Калыбека. Другие старались подражать ему. Касен дружил со всеми парнями в кыштаке, но самым близким его другом по-прежнему оставался Темир.

На другой же день после приезда Касена Темир позвал его к себе в гости и зарезал для него козленка.

— Я совсем не хочу мяса. Оставь козленка в покое, не режь его, пусть себе растет, — уговаривал Темира Касен, хватая его за руку.

— Гость должен вести себя смиреннее овцы. Сиди и молчи! Здесь я хозяин, мне и решать, резать козленка или не резать, — решительно ответил Темир и поступил по-своему.

Мать Темира радовалась хозяйской самостоятельности сына.

— Вы с Темиром друзья, Касен! Мы тебя целый год не видели, а ты хочешь уйти, не отведав нашего угощения, — подхватила она. — Гостеприимство — наш старый киргизский обычай. Садись-ка лучше на почетное место да порасскажи, а Темир послушает. Ты повидал город, многому научился.

Касен послушался и начал рассказывать о том, что узнал:

— В будущем жизнь станет совсем иной, матушка... Наши мудрые учителя Маркс и Ленин указали нам дорогу к коммунизму.

— А что это за коммунизм, дорогой Касен?

— Надо говорить «коммунизм», — ласково поправил ее Касен и как мог объяснил, что это значит. — Тогда люди не будут смотреть друг на друга жадными, завистливыми глазами. Жизнь станет радостной и счастливой. Люди не будут угнетать друг друга, матушка. Наука достигнет небывалых успехов, народное благоденствие разольется, как море. . .

Каныш внимательно слушала Касена.

— Хорошие настанут времена, милый! Настоящий рай на земле,—сказала она и спросила Касена: —Только, наверное, не скоро настанет этот коммунизм? Вы-то доживете ли, увидите?

— Может быть, и вы доживете... По крайней мере, до социализма — первой ступени коммунизма, когда в нашей стране разовьется промышленность, а в сельском хозяйстве будет коллективизация.

Касен рассказывал об этом не только в доме своего друга Темира, но и в других домах.

— Смотри-ка, сын бедняка Калыбека какой умный, красноречивый, живи он много лет! — говорили о нем в кыштаке.

Зашла как-то к Умсунай несчастная Саалкан.

— Твой сын, говорят, рассказывает людям удивительные вещи. «Удачный сын у бедняка Калыбека» - только и слышишь. Но ведь есть и такие, что снаружи хорош, а внутри черен... Пусть твой сын отдохнет получше да уезжает не мешкая, — вновь бормотала она то, что Умсунай слышала от нее уже не в первый раз.

* * *

«Да-а, хорошо бы тебе учиться. Жаль, что нет такой возможности. Тогда уж тебе жениться бы надо, что ли, найти подходящую девушку», — говорил Темиру Касен, пока отдыхал дома.

Темиру понравился этот совет. «Я и сам об этом подумываю, друг. Матери трудно справляться с хозяйством, она совсем согнулась. Да вот девушки по сердцу не найду», — откровенно признался он.

Касен выслушал Темира молча, а потом вдруг сказал:

— Кулай еще молода... Я хочу взять ее с собой в город. Пусть станет образованным человеком.

Темир, даже не подумав о том, почему это Касен вдруг вспомнил о Кулай, согласился:

— Это хорошо. Пускай учится на доктора. Надо, чтобы из киргизок тоже были врачи.

Темиру никогда не приходило в голову, что он может полюбить Кулай. Он относился к ней как к сестре близкого друга. Родителей Касена и Кулай он уважал, наверное, не меньше, чем свою мать. Что за люди Калыбек и Умсунай? Хорошие. В семье многое зависит от жены. Умсунай — женщина с мягким характером. Никто никогда не слышал от нее худого слова. И с ней все обращались уважительно. Мать Темира была очень дружна с Умсунай. Дружны матери — дружны и семьи. И не только две эти семьи. Их дружба служит примером и для соседей.

Темир часто думал: «Вот две добрые старухи сумели воспитать две семьи, построить хорошие отношения между ними. Если бы и в обществе были такие дружеские, мирные отношения, если бы все люди поддерживали согласие, тогда можно было бы создать замечательную жизнь для всех. Это ли не коммунизм?»

Когда Темир додумывался до этого, обе матери казались ему настоящими представительницами будущей счастливой эпохи. И он начинал еще больше уважать свою мать и Умсунай.

II

Кыштак Нарташ расположен в горах на берегу большой реки. Строения разбросаны в беспорядке, зелени мало, лишь сереют поодаль один от другого глинобитные заборы.

На запад от кыштака протекает шумная речка. Берега ее поросли тальником, лесом, густым камышом, в зарослях водятся зайцы, гнездятся фазаны. Противоположный берег реки неудобен: едва кончается лес, сразу подымается высокая горная гряда. Склоны горы сплошь усыпаны щебнем, и люди там никогда не строились, не жили.

Если глянешь на юг, увидишь ревуший широкий поток, который мчится вниз с высочайших, покрытых снегом гор. На юго-востоке — глубокое ущелье, между ним и рекой — скалистый гребень.

У самого входа в ущелье стоит на холме большое здание. Оно окружено высоким забором, в обширном дворе много зелени. Стекла шести окон дома ярко блестят на солнце. Весной и осенью у обеих дверей ставят две белых юрты: одну большую, шестикрыльную, другую поменьше. Но убранство обеих юрт совершенно одинаково.

Издали юрты похожи на два белых яйца. Хозяин дома, Борубай, был в свое время самым влиятельным и богатым в кыштаке человеком. Дом его стоит так, что господствует

над холмом и окружающими его пастбищами. Ущелье за холмом делится на три ложбины. Средняя из них — просторное пастбище, тянущееся до самых гор. Выше, в левой ложбине расположены два небольших селения. Пройдешь их — и сразу начинается дорога на большой перевал. За перевалом снова высокие горы, новые перевалы. Здесь пересекаются многие пути. И в прежние времена Борубай вел через этот перевал торговлю скотом с северными киргизами.

Ложбина по правую сторону от пастбища труднопроходима. Здесь в один из годов, во время дождей, погибли пять кобылиц Борубая. Среди них была и та вороная кобылица, которая каждый год приносила по вороному жеребенку в белых чулках и с белой звездочкой во лбу; к трем-четырем годам из них вырастали великолепные иноходцы — хоть воду на круп наливай, не прольется. Тогда Борубай, поднявшись на выступ скалы, с которого сорвалась кобылица, долго оглашал ущелье громкими воплями. Он бил табунщиков и, потерна от злости самообладание, хлестал плетью злосчастную скалу.

Лучше бы мне самому сорваться с этой проклятой скалы!- выкрикивал он.

Потом, когда злость Борубая улеглась и он начал забывать о потере вороной кобылицы, сверстники подшучивали над ним:

— Э, Борубай, как же это вороная кобылица сорвалась со скалы, а ты остался жив?

С тех пор Борубай возненавидел это место и стал называть его «Несчастливым пастбищем».

Впрочем, пастбище тоже было необходимо Борубаю: через него шла дорога к берегу реки, а кроме того, этим путем можно было выйти и к Семидесяти двум перевалам. А за ними — Кашгар... Стоило Борубаю пересечь «Несчастливое пастбище», и он уже был на пути к Кашгару. Поэтому он стал впоследствии именовать место, где погибли пять кобылиц, не «Несчастливым пастбищем», а «Трудным перевалом».

Подпевалы Борубая время от времени предупреждали людей: «Вы не пускайте свой скот в байское ущелье, там не хватает места и для его табунов».

Жили в тех краях и другие богатеи — Карынбай и Ченгель. Скота у них было столько же, сколько у Борубая, но почета куда меньше. Они тоже захватили себе по целой долине и хозяйничали там.

Особенно богат был Ченгель. Борубай и Ченгель, чванясь своим богатством, время от времени затевали ссоры.

Однажды летом Ченгель, поспорив с Борубаем из-за пастбища, даже подрался с ним. Борубай избил Ченгеля, рассек ему лицо. И Ченгелю на коленях пришлось вымаливать прощение. Мало того, богачу пришлось потом зарезать для Борубая ягненка. С тех пор Ченгель закаялся ссориться с Борубаем.

Соседи их, сплошь бедняки, пасли байский скот, доили его и в уплату получали разрешение ездить верхом на каком-нибудь жеребенке и пользоваться молоком пяти коз. Правда, некоторые бедняки не хотели идти в кабалу к баям и пытались сами прокормить себя. Весной они, выбрав подходящее место где-нибудь на холме, ковыряли землю сохой и засевали одну-две полоски пшеницей или ячменем. Все лето проводили они в тяжелом труде, рассчитывая на урожай.

Бывало и так, что в удачливый год, когда всходы были дружные и колосья хорошо наливались, а бедняки уже радовались будущему достатку, табуны Борубая, Ченгеля или Карынбая за одну ночь вытапывали все посева. Увидев наутро разоренную пашню,

хозяин рвал бороду, причитал, всплескивал руками, горевал, но не смел искать управу на бая. Если же и удавалось уберечь хлеба от байской потравы, аллах посылал на них град.

А Борубай раскатисто хохотал:

— Эх, бедняк! Зачем сеять, если не можешь уберечь урожай? Уж лучше пойти к моему соседу Ченгелю и наняться батрачить у него за козье молоко.

Посылая бедняка к Ченгелю, Борубай на самом деле хотел, чтобы несчастный пошел в батраки к нему самому.

И не видя проку от своих полей, большинство бедняков действительно становились батраками Борубая, шли к нему в пастухи.

Видя, что количество батраков у него растет, Борубай говорил хвастливо:

— За каждое копыто моего скота отвечает головой один бедняк. А ну-ка, Ченгель, ну-ка, Карынбай, попробуйте обеспечить ваш скот таким присмотром!

Так жили в те времена бедняки в Нарташе. Ни о какой школе тогда и речи не было. Кто хотел учить детей, посылал их к мулле. В результате такого обучения они не могли написать даже простого письма, и не потому, что ленились, — просто наука мoulлы как-то не приставала к ним.

Когда в кыштак пришла советская власть, для детей бедняков забил источник знания. И не стало уже теперь и бедняков, которые не смели сказать слово баю из-за вытопанной его табуном единственной полоски хлеба.

Вчерашние забитые батраки, продававшие свои силы за молоко пяти коз, давно уже разобрались, где враг, а где друг. На собраниях они говорили прямо в лицо баям, будь то хоть Ченгель, хоть Борубай:

Теперь надо уничтожить даже слово «бай». Баи — безжалостные кровопийцы!

Между тем Борубай, скитавшийся два года по Кашгару, вернулся домой и поселился на старом месте. Он по прежнему владел пастбищем и делал вид, что занят только скотоводством. Так и жил он, поминая имя божье.

Но прежние байские батраки, столько вытерпевшие от него, получили теперь свои права.

-С этого бая нам причитается порядочный должок!-| говорили они о Борубае и открыто ругали его.

- Но всем нашем роду нет человека, которому не досталось бы от когтей Борубая. Надо разделить его богатство. Не позволим больше этому волку хозяйничать на земле!

-Он захватил нашу землю!

-Скот, которым он владеет, на деле принадлежит нам, это плата за наш трудовой пот. Ищи себе другое место, бай. Здесь для тебя нет места, ни скота! —заявляли бедняки.

Борубай чувствовал, что время его прошло, что власть ушла из его рук, и кровь у него кипела от злобы. «Получили свободу, гольтепа проклятая», — шипел он, но открыто выступать не решался.

«Не мое теперь время... Придется ладить с голодранцами, чтобы уберечь голову», — думал он злобно, И созвал к себе своих захребетников во главе с Тойтуком.

Тойтук— немолодой уже человек. Чистый на словах, подлый на деле, он умел улестить и привлечь на свою сторону любого. Хитрый, жуликоватый, он уже по движению ресниц угадывал намерения человека.

Борубай всячески привечал друзей, поил их кумысом, кормил до отвала, рассчитывая на то, что они сумеют помирить его с бедняками.

— Да буду я жертвой для народа! — говорил Борубай своим посредникам. — Он дал мне жизнь... Земля не моя, а народная, божья. Если народ захочет, я отдам ему не только свое богатство, но и жизнь. Идите, потолкуйте с народом!

Аткаминеры² во главе с Тойтуком, выслушав Борубая, прямо из его дома направились к беднякам.

Тойтук лебезил, похлопывая чуть ли не каждого бедняка по плечу.

— Борубай во всем готов вам подчиниться, хоть разыгрывайте его в кокберы³. Он говорит, что земля принадлежит богу. Говорит, что готов отдать не только богатство, но и жизнь для народа. Но все равно, конечно, он бай, угнетатель. Теперь-то он горюет, слезы текут у него по бороде. Пойдемте к баю, отведаем его обильного угощения, послушаем, что он скажет! Это даже лучше, чем просто отобрать у него богатство. Заставим его испытать унижение. Пусть на почетное место в его доме сядут те, кто привык сидеть у порога, а самого бая отошлем к порогу. Так мы отомстим ему. Разве я не прав? Что вы скажете на это, батраки?

И сидевшие на голой земле бедняки в заскорузлых овчинных шубах и рваных чокоях, из которых выглядывали покрасневшие пальцы, простосердечные, добродушные бедняки поддались на уговоры Тойтука: «Вроде он прав. На что нам отбирать у бая его богатство? Не лучше ли посмотреть, как он будет кланяться нам?»

Шумной толпой направились бедняки к дому бая с намерением отомстить ему. Старый Джантык, который прежде не смел переступить даже порог байского дома, шел теперь во главе голытьбы, опираясь на палку и волоча левую ногу. Борубай, одетый в легкий бешмет, в белой ермолке на голове, вышел навстречу, прижимая руки к сердцу и кланяясь:

— Ассалом алейкум, Джаке... Заходите, заходите! Пожалуйте, дорогие соплеменники!

Рассыпающийся в любезностях Борубай распахнул двери:

— Дорогие мои соплеменники, кого же мне угощать, как не вас, иначе меня бог накажет...

Хромой Джантык вошел первым. Он даже не вытер ног. На приветствия бая не ответил, только сильнее нахлобучил свой малахай и перешагнул порог. Его примеру последовали и другие бедняки. Они больше не хотели быть почтительными с баем, как это бывало раньше. И поэтому Джантык, насупившись, прошел и уселся на самое почетное место. Сел и разгладил бороду.

Пока бедняки усаживались, бай все кланялся и стоял у порога.

² Представитель родовой верхушки

³ Козлодрание

— О мой народ!—заговорил, скрывая злобу, Борубай. — Я доволен, что советская власть дала беднякам свободу. Я счастлив, что вы пришли в мой дом...

Бай не сел вместе с гостями, он сам хлопотал об угощении. После того как подали боорсоки, сахар, изюм и наполнили пиалы, бай заговорил смиренным, печальным голосом:

— Мы воды одной реки, мы люди одной судьбы. С давних пор мы живем на этой земле, владеем пастбищами. У нас один язык, одни мысли, мы единый народ. Правда, что я нажил хозяйство, ухаживая за скотом. Скотина — это скотина, кое у кого из вас мой скот потравил покосы или поля... О небо, ведь и скотовод Боке тоже человек. Раньше вы не вмешивались в мои дела, но теперь вмешались. Я всем доволен, но, может быть, у вас есть ко мне счет? Говорите прямо! Я готов, не вступая в споры, заплатить вдвое.

Джантык, пришедший с твердым намерением скрутить бая по рукам и ногам, теперь сидел, выбирая изюминку за изюминкой, и не осмеливался заговорить. Потом незаметно толкнул Калыбека: «Начни ты, ответь баю». И старый Джантык не ошибся в выборе. У Калыбека было что сказать Борубаю. Не зная только, с чего начать, Калыбек медленно жевал боорсок. К Джантыку присоединились и остальные: они начали подталкивать Калыбека в бок — давай, мол, начинай.

— Бай, — начал, наконец, негромко Калыбек, — здесь нет бедняка, который не работал бы на вас. Один пас ваш скот, другой собирал для вас дрова. И они действительно хотят получить с вас плату за свой труд...

Поняв, что еще собирается сказать Калыбек, Борубай поспешил прервать его:

— Я понимаю, дорогой Калыбек... Беднякам свобода! Если не за одно, так за другое с меня причитается. Как же мне не уважать вашу свободу. В год зайца ты пользовался моим игреневым четырехлеткой, но ты об этом не помнишь. Ты выпустил его спутанным пастись, он попал в яму и погиб. А ведь он родился от породистой кобылицы. Несмотря на это, я даже на Страшном суде не буду с тебя спрашивать за него ответа. ..

— Болотбек, сынок, — обратился Борубай к другому бедняку. — Я помню, что ты пять лет пас мой табун. Ты износил девять кементаяв, и по твоей вине сломал ногу гнедой жеребенок. В то лето, когда ты был у меня табунщиком, я доверил тебе породистого жеребца. Но свобода теперь не только для бедняков. Я тоже человек, и тоже имею право погреться у огня свободы. Если я обращусь к властям, окажется, что ты мне тоже много должен, Болотбек. Этого ты отрицать не можешь... Я уважаю свободу... Я не говорю о плате за девять кементаяв — и на Страшном суде не вспомню!

Услышав слова Борубая, кое-кто растерялся и забормотал:

— Да ладно уж, хватит.

— У бая тоже есть свой счет...

Кое-кто из бедняков заерзал: как бы, мол, бай и ко мне не предъявил счет.

— Правду говорит бай!—подхватил Тойтук.— Свобода ведь и для бая.

Если бай подаст на вас в суд, то окажется что и вы в долгу перед ним.

У Тойтука нашлись сторонники. Увидев, что его уловка имела успех, что бедняки готовы отступить Борубай обратился к бледному человеку в нагольном тулупе:

-Братец Саргалдай! Тебе я вот что скажу: в ту былую осень, когда погибли пять кобылиц, однажды испортилась погода. Пастбище было покрыто снегом, и мы с утра погнали табун на озимые. По недосмотру табунщиков косяк яловых кобыл зашел на твое

поле, пасся все утро на твоей пшенице. Об этом не знали ни ты, ни я... Две кобылы на другой день издохли. Скотина глупая идет куда попало. Я за это не в ответе и не спрашиваю с тебя платы за то, что мои кобылы издохли, объевшись твоей пшеницы. Не так ли, братец Саргалдай?

Саргалдай растерялся было, не зная, что ответить, потом негромко сказал:

-Нет, мой бай! Вы не требовали платы. Ваш табун потравил мою пшеницу, но я не посмел тогда пойти к вам и просить плату с вас...

-Да, братец Саргалдай, — перебил его бай. — Я ничего тогда с тебя не спросил. Пожалел тебя: думал, бедняк мол, он. Что было, то прошло. И сейчас, когда настала свобода, я не стану судиться из-за этого, не годится нам делать так. Земля принадлежит богу. Если скажете, что вам нужен скот, пожалуйста, берите его, садитесь верхом, режьте, ешьте! Или продавайте! Пусть бог меня покарает, если я стану жаловаться на это. Даже на Страшном суде не стану...

Бай помолчал немного и усмехнулся.

-Джантыке даже не ответил сегодня на мое приветствие. Сразу плюхнулся на почетное место, как будто у него обида на семь поколений моих предков. А теперь он сидит, обмакивает в масло белые боорсоки, посасывает сладкий изюм. И это не в первый раз! Тридцать лет назад ты был молодым парнем, Джантык. Ты взял тогда у меня три пуда пшеницы и козленка, пообещав за это скосить мне три десятины луга. Потом ты целый год болел. Я тебя не попрекал, — что, мол, с бедняги возьмешь? Разве это не правда, Джантыке?

Пришедшие отомстить баю бедняки притихли. Джантык уже не думал начинать серьезный разговор с баем; осторожно брал он с достаркана изюм и боялся только одного: как бы бай не спросил «долг» и с него — ведь он и вправду не выкосил три десятины! «А если на том свете Борубай припрет меня к стенке, потребует ответа, чем я отвечу за прошлое?» — думал он.

.. С тех пор, как состоялся этот разговор, немало воды утекло. Народ свободен. Бедняки стали хозяевами земли и трудились для себя. Но и у баев еще было богатство. Борубай ожил: «Слава богу, жить еще можно. ...» Он снова заговорил с бедняками свысока:

— Эй ты, оборванец Саргалдай! Почему это за табуном смотришь ты, а молоко пьют твои ребята? А твой паршивый старший брат почему бездельничает? Ежели не будете работать, отдавайте долг! А с Джантыка я еще получу не только то, что он задолжал мне при советской власти, но и долги проклятого царского времени. ...

III

В этом году Куляй уже исполнилось шестнадцать лет. Целых три года мечтала она поехать в город учиться, но желание ее так до сих пор и не осуществилось. Старший брат Касен проучился в городе четыре года. Он хотел получить среднее образование, потом поехать в Москву и поступить в Тимирязевскую академию. Но неожиданно заболел туберкулезом и вскоре умер. Со смертью Касена родители его узнали то же горе, что и несчастная Саалкан. По своему невежеству Умсунай считала, что сына погубила учеба. Целых полгода она плакала, не осушая глаз, была не в себе от тоски и горя.

Женщины кыштака говорили ей в утешение:

— Человек не может уйти от своей судьбы. Бог дал, бог и взял! "

Старуха Саалкан по-прежнему часто бывала в доме Умсунай и оставалась посидеть вместе с убитой горем матерью, когда другие женщины уходили.

-Что поделаешь, бедная моя... Касен был единственной звездочкой у тебя во лбу, это верно. Но так уж видимо суждено.

-Не понимаю, почему я живу, потеряв Касена,— причитала Умсунай.

Саалкан начинала плакать вместе с Умсунай.

-Бог наказал. Терпи, бедняжка!.. Я схоронила двенадцать детей, а дожила до семидесяти семи лет, превратилась в настоящее пугало и все еще живу. У тебя есть дочь, крепись, гони от себя тоску.

-У меня уже нет сил, джене!.. Все думаю, зачем я отпустила моего несчастного мальчика в далекий город. Учиться хотел все...

- Твой сын, дорогая, говорят, очень хорошо учился. Знал все не хуже своих учителей. Думаешь, беда случилась оттого, что он уехал в такую даль? Не-ет, это его кто-то сглазил. Тебе не верилось в это, милая... Но не горюй так. Все проходит. Сын у тебя умер, но дочка еще увидит счастье.

Тяжело переживала смерть брата и Куляй. Она похудела, побледнела. Перестала шутить и веселиться, мало говорила, мало бывала с подругами. Она уходила подальше от аила, садилась на берегу речки и плакала, смешивая горячие слезы с ледяной водой речки. Звук ее высокого грустного голоса тонул в шуме воды. Подолгу сидела она на берегу реки, наливая свою печаль. Вернувшись домой, она пыталась скрыть от матери тоску, но как она ни старалась казаться веселой и спокойной, вид у нее был печальный и подавленный.

Когда среди соседок заходила речь о горе, постигшем семью Калыбека, они обычно говорили:

-А сестра-то горюет не меньше матери. Часто видят как она сидит на берегу реки и проливает слезы...

-Да, да, бедняжка совсем пожелтела...

— Пожелтеешь, ежели умрет твой единственный брат.

— Касен был лучшим из наших джигитов, бедняга!

— И сестра у него неглупа, учится лучше всех подруг. Брат хотел в прошлом году взять ее с собой в город, да родители непустили. А сама Куляй говорила: «В этом году обязательно уеду с братом учиться. Родители мои теперь в колхозе, сыты, одеты, обуты...»

— Ах, этот мир... Достиг ли в нем кто-нибудь желаемого?

— Правда твоя, сестрица! Я была бы счастлива, если бы дети мои остались живы. Легко ли потерять сына!

... Касен умер весной, когда земля зеленела, когда поднималась трава, а воздух был напоен влагой. Видя, как осунулся отец, как поредела его борода, как согнулась от горя мать, Куляй не могла сказать родителям: «Отпустите меня в город». Это был первый удар, первое горе в ее только что начинающей расцветать жизни.

И все же Куляй хотелось учиться. До полуночи она жгла лампу, не поднимая головы, готовила уроки. Особенно интересовали ее книги Касена — произведения киргизской и казахской литературы. Книги Касена на русском языке она вначале читала по слогам, потом научилась беглому чтению. Ей очень помогали записи Касена, его переводы

на русский язык, его рисунки. «Если научусь хорошо читать по-русски, то потом научусь и писать и говорить», — думала Куляй.

IV

Борубай поднял оброненный кем-то прутик и сломал его между пальцами.

— Эх, Чотур, — сказал он Конгаргаеву. — Мы с твоим отцом Карыбек-батыром были в свое время друзьями и соратниками. У твоего отца была почетная должность, у меня — богатство. Мы не какие-нибудь безродные сарты, мы потомки шести племен нойгутов. Когда я весной или осенью приезжал торговать, отец твой встречал меня с большим радушием; «Боке приехал! С ним много народу. Ставьте юрты, режьте молочного жеребенка и помогал мне сойти с коня. Ты тогда был еще мальчуганом и играл у меня на коленях. Правильно было бы, Чотур, если бы ты сберег доброе имя твоего отца. Ты его сын, ты управляешь народом... Должность у тебя высокая, и твой приезд в наш район — большая поддержка для твоего Боке. Уже одно твое внимание важно для меня. Это то, что я хотел тебе сказать с глазу на глаз.

Чотур слушавший его слова задумчиво и внимательно ответил решительно:

-Не признавать вас — это для меня все равно, что не признавать бога, Боке. Но вы человек умный и опытный .

Чотур Конгаргаев еще не кончил говорить, а Борубай уже его понял.

-Все ясно, Чотур! Не объясняй, я понимаю... в нужный момент можешь не только сторониться меня, но и выругать...

И, подумав немного, Борубай заговорил снова:

-Э, Чотур, нужно, чтобы такой молодец, как ты, человек, управляющий народом, ни в чем не испытывал недостатка. Захочешь ты иноходца, понадобится тебе скотина на убой, приглянется красавица — во всем тебе поможет твой Боке. Видел я твою жену. Хмурая, держать себя не умеет... Ровня ли она такому джигиту, как ты? Подумай сам...

Конгаргаев молчал. Борубай оглянулся по сторонам, разгладил бороду короткими пухлыми пальцами и спросил как ни в чем не бывало:

-Оседлал ли ты, сынок, гнедого иноходца тридцатилетия?

Конгаргаев растерянно посмотрел на него: что, мол, еще за иноходец?

Борубай улыбнулся.

-Я спрашиваю тебя о возрасте, — пояснил он.

Чотур рассмеялся.

-Ах вот оно что!.. Да, мне уж тридцать два.

Борубай притворным удивлением ударил себя рукой по бедру.

— Бог мой, да ты уж не желторотый птенец! Вот оно как! Это самый цветущий возраст для мужчины. Выпроводи-ка ты свою плохонькую жену и возьми ту, которую выберет для тебя твой Боке. Боке тебе худого не пожелает! Есть тут у нас одна складненькая, черноглазая, умненькая девушка!

И, оборвав разговор, Борубай опустил подбородок на грудь. Он наблюдал за тем, какое впечатление произвели на Конгаргаева эти его слова. Конгаргаев же, обходя давеча

кыштак, успел уже заметить Куляй. «Боке как-никак znalся с моим отцом. Уж не эту ли девушку прочит он мне?» — подумал он. И как бы то ни было, он искренне был доволен Борубаем.

... Эту ночь Конгаргаев провел в доме Борубая.

Боке расточал улыбки, пожимал руки, зарезал жирного ягненка — одним словом, принял гостя с почетом.

Конгаргаев, сидя за угощением, напомнил хозяйину:

— Боке, доведите до конца задуманное вами. Я на все согласен.

— О, Чотур!—Борубай негромко рассмеялся. — Да ты точь-в-точь как твой отец. Молодец! Для тебя ничего не жаль... Я не пожалею сил для тебя, головой своей готов пробивать тебе дорогу. Дружба с твоим покойным отцом была для меня священна. Пусть накажет меня дух Карабека, если я причиню тебе зло...

С этими словами Борубай, оседлав для гостя гнедого иноходца, проводил его. Сразу вслед за этим он пригласил к себе незаменимого Тойтука и повел с ним хитрый разговор:

— Тойтук мой, ты любишь говорить напрямик, и я не стану долго тебе растолковывать, но ты прислушайся к моему совету. Ты знаешь Чотура Конгаргаева. Он теперь нацепил на себя пистолет и стал районным начальством. Для нас это главный козырь. Этот джигит приехал только вчера, увидел дочь Калыбека и влюбился в нее. Он обещал всячески служить тому, кто поможет ему добыть эту девушку. Я не могу сбрить бороду и вмешаться в это. А тебя бог как будто нарочно сотворил для таких дел, не попробуешь ли ты взяться за него?.

Тойтук вполне оценил доверие Борубая. Таким образом, он и Борубаю окажет услугу и поддержку Конгаргаева себе обеспечит. Тогда, может быть, ему удастся осуществить свое тайное желание — упечь в каталажку своих врагов вроде Болотбека и Темира. Вот чего добивался Тойтук. Поэтому он оживленно подхватил:

- Э, Борубай аке, Как иначе могут эти оборванцы достичь благополучия, если не через замужество дочери? Я схожу к ним. Посмотрю, как они не отдадут девушку.

- Ну иди, иди, лиса!—радостно улыбнулся Борубай.

* * *

Кулия протянула отцу пиалу, в которую мать налила свежего чаю. В это время дверь неожиданно открылась и вошел Тойтук с хворостиной в руке. Серая сука, лежавшая у дверей, зарычала и схватила его за полу. Тойтук наскоро поздоровавшись, спрятал прут за спину и поспешил пройти на почетное место.

- Когда я слышу голос сварливой женщины или лай злой собаки, у меня душа уходит в пятки... И злющая же у вас собака. Дали бы вы ей иголку проглотить, байбиче! сказал он, усаживаясь.

- Собака кусает злого... Выходит, ты злой, ведь наша собака до сих пор на людей на бросалась, — ответил Калыбек.

Услышав такую отповедь, Тойтук на этот раз смолчал, ведь он пришел к Калыбеку по особому делу, поэтому не стал отвечать резкостью на резкость.

Вся семья прекрасно знала, что из себя представляет Тойтук. Умсунай не любила Тойтука и сейчас как ни в чем не бывало, продолжала пить чай. А гость подумал «Чтобы уладить дело, надо поговорить о нем наедине с Калыбеком. Умсунай меня не любит, так я

его постараюсь привлечь на свою сторону. Он выпил одну, две пиалы чаю и все поглядывал на Умсунай, не находя предлога удалить ее и остаться вдвоем с Калыбеком.

- Пусть чай пьют байбиче и Кукеш. А нам с тобой неплохо было бы пойти и выпить бозо⁴ Калыке, — предложил, наконец Тойтук.

— Мы люди бедные. Карманы у нас дырявые, не на что нам покупать бозо, — отказался было Калыбек.

— Знаю, знаю, бедняк ты, да за пазухой у тебя тысяча рублей...

— Не одна, а две.

— Пускай хоть две. За бозо все равно буду платить я. Если чашка стоит сорок копеек, пей хоть на четыре рубля, — и Тойтук увел Калыбека с собой.

Куляй допила чай, убрала посуду и пошла в школу.

Позабывшая было на время о своем горе Умсунай вернулась к печальным мыслям. «После смерти Касена жизнь потеряла для меня смысл,» — подумала она, но вспомнила о Куляй и овладела собой. Есть еще для кого жить.

Убрав остатки еды, она принялась готовить обед на завтра.

«Жизнь у человека одна, надо как бы то ни было жить, пока не придет смерть. Я ведь с горя желаю себе смерти», — думала она.

С того дня, как мать впервые склоняется над ребенком и кормит его своим молоком, она начинает испытывать страх за него, за то, как он проживет жизнь. И если ребенок оправдывает надежды матери, тысяча дней мучений превращаются для нее в один день, она довольна и ребенком и своей жизнью. Если этого не происходит, мать и жизни не рада. Часто слышишь, что мать готова отдать свое сердце ребенку... Такой матерью была и Умсунай, и теперь она желала одного: чтобы была жива ее единственная дочь — Куляй.

...Куляй в школе. Калыбек, ушедший с утра с Тойтуком, вернулся домой уже к вечеру. Видно было, что у него плохое настроение, что он чем-то сильно огорчен. Он глянул на Умсунай так, будто собирался ей что-то сказать, но промолчал.

Некоторое время он сидел, понуро опустив голову, потом рассказал жене о разговоре с Тойтуком.

-Чотур Конгаргаев сватает вашу Куляй. От дедов и отцов дошла до нас поговорка, Калыбек: девушку отдай тому, кто ее сватает, кумыс налей тому, кто его пьет,—говорил Тойтук. - Чотур носит на поясе пистолет, он добился успеха, занимает хорошую должность. Если ты не отдашь свою дочь за такого человека — упустишь свое счастье. Подумай хорошенько. Поговори со своей байбиче. Да поторопись с ответом! Время теперь тревожно, не отдать дочь человеку, в руках которого власть! Ведь товарищ Конгаргаев может выместить гнев на всем нашем кыштаке. Что из этого выйдет, подумай-ка!»

К концу разговора Тойтук приберег наиболее сильные доводы.

-Говорят, что очень скоро, через неделю, Конгаргаев приедет к нам в кыштак. Будет раскулачивать оставшихся баев. Точно это неизвестно. Если он этим будет заниматься сам, то все добро, раскулаченных окажется в его руках. Это, во-первых.

Хоть он и начальник, но киргиз. Мало того — он из знатного рода. Не забывай о старых обычаях. Чьим бы потомком он ни был, если он хочет взять в жены красивую, как луна, дочь бедняка, пусть платит богатый калым. Это во-вторых.

Для него калым — пустяки. А вы разбогатеете. Посадите свою байбиче на иноходца, поедет она покачиваясь. К седлу приторочите ягненка да пару чаначей кумыса, весной либо осенью отправитесь в район, приговаривая: «Как никак наша дочка замужем за большим человеком». Это в третьих.

Приедете вы к вашему высокопоставленному зятю, вас введут в теплый дом со сверкающими окнами и усадят на пуховые одеяла. Подадут водку и вино, шестнадцать разных кушаний поставят перед вами. Кто бы ни зашел в это время в дом, получит угощение и будет похваливать и вашу дочь и вашего зятя. Это в-четвертых.

Зять ваш будет почтительно именовать вас «батюшка/матушка»... Подарит вам богатую одежду, дорогого скакуна. Недели через две вернетесь в Нарташ, и все будут удивляться на вас, завидовать тому, что ваша дочка вышла замуж за такого человека. Это в-пятых.

Пять таких удач не часто выпадают на долю человека. Надо быть чересчур привередливым, чтобы отказаться от этого».

Красноречие Тойтука пропадало зря — слова его влетали Калыбеку в одно ухо и вылетали из другого. Он слышал не высокопарные слова о счастье, а какой-то гул, будто его колотили колотушкой по голове. Голова у него гудела, как пустое ведро, мысли разбегались.

Разошедшийся Тойтук, чтобы привлечь внимание опустившего голову Калыбека, похлопал его по колену:

«Прислушивайся к тому, что я говорю!»

Калыбек ответил:

«Продолжай, продолжай, я тебя слушаю...»

Слова Тойтука не радовали Калыбека, а только ранили его сердце. Он ничуть не верил в те пять преимуществ от брака дочери с Конгаргаевым, которые на пальцах пересчитал Тойтук. Не верил потому, что, по пословице «на базаре тысяча человек, а здороваешься лишь с тем, кто по сердцу», он не испытывал никаких симпатий к Конгаргаеву.

Он не растаял от сладких уверений Тойтука: «Не упускай своего счастья, хватай его за полу». Но он испугался, как бы его не погубили ни за что ни про что. «Не отдам я дочь, а Конгаргаев возьмет да и обвинит меня в чем-нибудь. Ну пусть я невиновен, пусть меня по закону нельзя осудить. Но пока разберут в чем дело, я пострадаю».

Калыбек и Умсунай, пригласив к себе мать Темира — Каныш, уже не раз советовались о будущем своих детей. После смерти Касена они говорили об этом как о деле почти решенном: «Поженим наших детей». И, приняв такое решение, Умсунай и Калыбек еще больше полюбили Темира. И вот теперь Тойтук со своими разговорами внес смятение в их души.

Умсунай очень расстроилась, но она не сказала мужу, что считает Конгаргаева неподходящим для дочери. Она только, выслушав мужа, заплакала и даже не заметила, как в юрту вошла Куляй.

Завидев Темира серая сука завиляла хвостом и принялась ласкаться к нему. Поэтому в семье никто не слышал как Темир подошел к юрте, и только когда высокий, статный юноша перешагнул порог, заметили его.

Хотя еще не было так темно, Куляй принялась зажигать керосиновую лампу. Но едва она сняла стекло, как услышала знакомый голос. Девушка почему-то изволновалась. Крохотный язычок пламени от спички как будто согрел все ее тело. Перед приходом Темира Калыбек сидел молча, поджав под себя ноги. Умсунай хмурилась. Дочь думала, что родители горюют о Касене. Она и не предполагала, что на этот раз сама служит причиной их огорчения. Ей хотелось развеять тоску родителей, хоть чем-нибудь их развеселить. Она решила пораньше зажечь лампу. «Может повеселеют, когда в доме загорится свет, когда уйдет из него темнота?»

Но увидев вошедшего Темира, Куляй подумала: «Теперь они забудут свою печаль. Начнутся разговоры, советы, смех».

Некоторое время девушка пристально смотрела на стекло лампы. Словно ожидая чего-то, наблюдала она за едва поднявшимся над фитилем язычком пламени...Пламя разгоралась, Куляй вывернула фитиль. Лицо Темира теперь было ярко освещено. Но она не смела еще раз взглянуть на него и молча отошла к порогу.

Увидев гостя, Калыбек оживился:

-Заходи Темир! Присаживайся!

Умсунай почувствовала, что сидит в неловкой позе и подобрала вытянутые ноги. Потом она медленно встала, и решив одеться поприличнее, поискала рукав накинутого на плечи камзола. Онемевшие от долгого сидения суставы похрустывали.

Теперь когда Темир пришел к ним в дом, Калыбек и Умсунай чувствовали себя перед ним виноватыми. «Мы любим тебя, как своего, но можем причинить тебе зло. Может случиться так, что Куляй не станет твоей, а ты не будешь нашим, кто знает? Нарушится согласие между нашими семьями, и мы не сможем взглянуть в лицо ни тебе, ни твоей матери».

Такая мысль пришла в голову обоим старикам. Им стало неловко. Но Темир держался как всегда — просто и весело, он и не подозревал, что сейчас терзает души стариков.

Умсунай надела камзол и что-то тихо сказала Куляй. Та сразу же захлопотала возле печки — развела огонь, налила в казан воды. Мать взяла нож и деревянное блюдо, достала из ящика кусок копченой баранины, положила его на блюдо, и собиралась было порезать, но тут приподнялся со своего места Темир и сказал:

— Дайте-ка мне нож, байбиче!

Умсунай положила нож на блюдо и обратилась к дочери:

— Кукеш, полей байке⁵ на руки.

Куляй как будто только и ждала этого приказания. Она подставила тазик и начала лить воду из чайника на руки Темиру. Вода в чайнике была не горячая и не холодная, а приятно теплая, как характер у той, что лила ее. Темир готов был держать руки под теплой струей до тех пор, пока не кончится в чайнике вода.

⁵ Байке – вежливое обращение к мужчине

И потом, когда он уже вытер руки, взял нож и начал резать баранину, он все еще ощущал прикосновение теплой воды — будто чье-то ласковое поглаживание. Первый раз за все время их знакомства Темир взглянул на Куляй необычно пристальным взглядом, в это время и она подняла глаза и тотчас отвела их, покраснев.

Огонь в печи разгорелся, котел закипел. Умсунай послала Куляй за матерью Темира — Каныш.

Характер у Каныш веселый. Любительница поговорить, перекинуться шуткой, она могла оживить и развеселить любое общество, хоть самое унылое.

Вот и сейчас она, едва войдя, начала шутить:

— А-а, мой негодник уже здесь!

Куляй не понравилось, что мать назвала любимого сына негодником, но она и вида не подала и только улыбнулась.

— Проходите. Садитесь вот сюда, байбиче! — пригласил Калыбек, освобождая для Каныш почетное место.

Но не смотря на это, Каныш принялась вышучивать и это:

-Не торопишься освободить место! Все вы такие - при жизни почетного места никому не освободите, а после смерти и могилы не уступите!

-Простите, байбиче, почетное место — ваше.

Умсунай улыбнулась, обращаясь к дочери:

-Расстели скатерть, да подай пиалы. Пусть Каныш наша чаю выпьет, а то мясо еще не скоро сварится.

Куляй быстро расставила на скатерти все, что нужно для чая. По просьбе Каныш она и ей полила на руки теплой воды из чайника.

-Живи долго, умница! Хорошая вода у тебя, Куляй – и забормотала молитву.

Темир совсем не собирался сегодня сидеть в этом доме как гость, распивать чай и есть мясо. Он хотел поговорить с Калыбеком о современной политике, посоветоваться с ним кое о чем.

Теперь, когда пришла его мать и все оживились, когда расстелили достаркан, когда начались разговоры и шутки он обрадовался, и подумал, что сумеет высказаться при всех. Улучив момент, он со значением обратился к Калыбеку.

-Калыке!

Даже Каныш оборвав шутки, приготовилась слушать сына.

-Ваш покойный сын Касен когда приезжал на каникулы рассказывал нам о будущем то, что сам знал. Он говорил: «Коммунизм – это новая общественная основа. При коммунизме все будут жить счастливо... Покойный Касен не сам это придумал. Он слышал об этом от ученых, читал об этом в книгах Ленина, а потом рассказал нам.

И Калыбек, и Умсунай, и Каныш, старались не пропустить ни слова из того, что говорил Темир. Калыбек разбирался в политике, и если представлял будущее, но все до конца не понимал каким оно должно быть. Каныш была разумная женщина. И хотя она произносила вместо «социализм» — «сатсиял», а вместо «коммунизм».-«комунузм», если бы ее спросили о том, как она это понимает, она, наверное, в основном ответила бы

правильно. Она отличала черное от белого, разбиралась в законах. Сидя иной раз со сверстницами, она, как всегда шутливо, говорила: «Молодежь нам рассказывает, что в будущем нас ждет райская жизнь. Умирать нельзя! Если мы даже и не успеем побыть в этом раю на почетном месте, то хоть двери его увидим». И теперь она хорошо поняла слова сына.

— Дорогая наша власть!—одобрительно сказала она.

Куляй разбиралась в вопросах политического строительства не хуже Темира. Таким образом, только Умсунай плохо понимала его. «Бог ты мой, что это такое «классовый враг»? Если всех баев заберут, то заберут ли и нашего Борубая? Пропали они пропадом, эти кулаки», — вот какие мысли тревожили ее. Но хотя Умсунай и плохо понимала Темира, она не перебивала его вопросами, да и стеснялась. Темир же рассказал много интересного.

Два раза затухал очаг, и два раза Куляй подкладывала дров. Котел с шурпой наполовину выкипел, мясо разварилось, отделилось от ребер. Но две старухи и старик, забыв обо всем, слушали Темира и не чувствовали усталости.

— Темир, сынок, — помолчав немного, отозвался Калыбек, — когда Касен приезжал прошлой весной на каникулы, он, сидя на том же месте, где сидишь теперь ты, обратился ко мне: «Я тебе хочу что-то сказать, отец». А я ему: «Говори, дорогой, послушаю твой совет». Он говорит: «Отец, ты должен уметь отличать врага от друга. Советская власть — это наша власть. Законами своей власти пренебрегать нельзя! У тебя много братьев: рабочие на заводе, шахтеры на рудниках, — все они тебе родные. А Борубай, хоть он тебе и земляк, — враг тебе. Это надо видеть так же ясно, как звездочку на лбу коня. И если советская власть спросит тебя: «Кто твой внутренний враг?», отвечай: «Вот он!» — и укажи на Борубая. Ты не ошибешься. Со спокойной совестью выполняй то, что велит закон. Если ты узнаешь, что какой-нибудь человек совершит преступление против закона, открыто разоблачай такого человека. Ведь он совершил преступление против власти. Вот что я хочу посоветовать тебе, отец. Ты называешь меня своим сыном, прими же мой сыновий совет, не забудь его!» Так он сказал мне, свет души моей...».

Темир поточил свой нож о дно пиалы и принялся нарезать мясо мелкими кусочками. Куляй процедила отваренную лапшу в чашку и опрокинула эту чашку над блюдом, на которое Темир уже нарезал порядочно мяса. Все это густо посыпали сверху мелко нарезанным луком, хорошо перемешали и полили бульоном.

Умсунай прежде всего предложила угощение Каныш:

-Это мясо из запасов на зиму. Отведайте и вы, и ваш сын!

Гостья с удовольствием ела мясо, но не могла и на этот раз удержаться от шуток:

-Муж и жена наступают с двух сторон. Как бы мне не подавиться из-за такого напора!

Мясо было съедено. Быстро убрали достаркан. И Куляй снова принесла тазик и чайник с водой.

На этот раз наливая на руки Темиру, Куляй вдруг заметила какие они большие и сильные. И ей захотелось ласково погладить их.

VI

Калыбек смолоду полюбил труд и работал без усталости. За что бы он ни брался, все горело у него в руках. Загон у него был небольшой, но сарай аккуратно покрыт, дувалы

толстые. Еще с осени он засыпал и складывал в сарае достаточно сена и зимой не знал горя с кормами. Дом был теплый, саманный, из двух комнат. Во дворе была еще и юрта. В зимнем доме пол земляной, вымазанный желтой глиной. Еще лучше, чем деревянный. В доме всегда порядок. Мать с детства наставляла Куляй: «Умей готовить, умей держать дом в порядке». И Куляй хозяйничала не хуже опытных семейных женщин. Ее ставили в пример другим девушкам. Иные матери бранили своих дочерей:

— Постыдилась бы, глядя на Куляй! Такая ты здоровая и такая растяпа!

Весной Умсунай переносила юрту на зеленую лужайку. Хоть жили они небогато, юрта у них была в исправности. Порвалась только кошма на двери да истрепалась крышка тюндюка. Через тюндюк в юрту иной раз попадал дождь, в дверь задувал ветер. Каждый год Умсунай приводила кошмы в порядок, но в нынешнем году, горюя о сыне, забыла об этом. Решив, что пора побороть тоску и снова заняться хозяйством, она стала думать, как бы починить юрту...

Управившись со скотиной, Калыбек вышел из загона и оглядел свой дом. В голове всплыло, что надо бы напомнить Умсунай, чтобы она побелила дом и привела в порядок юрту. Он обошел вокруг загона, решил: как только растает снег, надо посадить сад.

«Если, даст бог, будем здоровы, — бормотал он про себя, — уже на будущий год садик разрастется, раскинет свои ветви, зазеленеет. Особенно быстро разрастется ива. По берегу арыка и вокруг огорода посажу в два ряда иву; если смогу, высажу корней пятнадцать яблонь и урюка, вот тогда я молодец. Теперь не те времена, когда за землю надо драться. Ты сам хозяин на земле, сам ее и обрабатываешь. Что еще от жизни надо желать: земля есть, вода есть, еды вдоволь».

Мысли Калыбека прервал показавшийся возле его дома старый Джантык. Приковывлял он не случайно.

-Эй братец, ты что-то весел! - воскликнул он.— Не дошла ли до тебя хорошая новость? Ну-ка поделись со мной, вместе порадуемся.

Калыбек улыбнувшись, поздоровался. Но Джантык твердил свое:

-Некогда мне слушать твои «саламы». Отвечай на этот вопрос!

-Я не понял, о чем вы спрашиваете, Джаке!

-Поделись со мной радостью, говорю!

-Ладно, ладно, Джаке, — Калыбек снова улыбнулся. Подносил к кобыле сено, а в это время жеребенок у нее в животе забрыкался. Хороший будет жеребенок. Родится кобылка – пойдет на племя, а если окажется жеребчик, то я решил его сам вырастить и пустить в табун. А тут и вы пришли.

-Ой хозяйнушка, я, значит, пришел вовремя! Как взрастет твой конь, одолжи мне его отвезти зерно на мельницу.

-Э, дорогой, неизвестно, что будет пока вырастет этот еще не родившийся жеребенок...

-Не умрем, так живы будем, братец! Коли мне уже перевалило за шестьдесят, шесть- то лет я еще как-нибудь проживу. Я же ведь не Борубай, который готов отдать душу за свое добро. Мы с тоой исстари были бедняками. Не теряй братец надежды на лучшие времена!

-А я и не теряю, дорогой!

-И права не имеешь! Только теперь мы увидели скот. Ты же ведь и сам ходишь на собрания, бедняк! Скажи, ты с утра ничего не слыхал? Твой Джантыке пришел к тебе узнать новости.

Джантык показал своей палкой в сторону центра кыштака и продолжал:

-Вон там, в середине кыштака стоит большой дом с белой крышей. В нем пять комнат — выходит, эта школа лучше, чем дом у Борубая. Это украшение кыштака! Борубаю остается только злиться: «Вот до чего я дошел, богатством моим пренебрегают, надо мной самим смеются...»

Джантык замолчал и, сощутив глаза, посмотрел еще раз в сторону школы, о чем-то думая.

Школа и вправду вызывала злобу у бая. В одном из ее классов до последнего времени помещался красный уголок. Но количество учеников и классов увеличивалось, в школе становилось тесно, и поэтому под красный уголок выстроили двухкомнатный дом рядом со школой— пониже и не с такими большими окнами. Оба здания были недавно побелены, сверкали чистотой и были очень уютны.

Красный уголок был хорошо оборудован. Темир привез из района плакаты, портреты вождей, кумачовую материю для уголка. Покойный Касен в свой последний приезд на каникулы нарисовал для красного уголка портрет Ленина во весь рост. Стараниями Темира был организован военный кружок, два раза в неделю приезжал инструктор районного совета Осоавиахима, давал указания молодежи кыштака, как овладеть военной техникой. В красный уголок частенько заходил и Джантык и все удивлялся:

— Пай -пай, как красиво! Какой лоб у светлого Ленина! Он как солнце на рассвете освещает всю землю. Он настоящий мудрец, без этого человека мы никогда не получили бы равноправия.

Когда в красном уголке собиралось много народу, старшеклассники-комсомольцы читали вслух газеты.

Прошлой ночью во внутренней комнате белого домика, превратившегося для жителей маленького горного кыштака в очаг знания, так и не гасили свет. Коммунисты проводили собрание бедноты. Темир говорил на этом собрании больше часа. Он разъяснял бедноте, что классовая борьба обострилась, что нужно отличать врагов от друзей:

— В нашем кыштаке, — сказал он в заключение,— самый вредный для бедняков человек — Борубай. Такиелюди даже в последнюю минуту жизни думают причинить народу зло. Ради своих мелких личных интересов они готовы пожертвовать интересами всего народа. И поэтому они становятся врагами не одному, ни двум людям, а всему обществу. Наш долг разоблачать таких как Борубай, открывать народу, кто они есть!

Темира горячо поддержал Болотбек. Он выдвинул такие предложения:

1. В течении трех дней поставить перед общим собранием вопрос о раскулачивании жителя кыштака Нарташ Борубая и о передачи отобранного у него скота и имущества в пользу государства;

2. Каждый коммунист и комсомолец вступает в добровольческий отряд.

Собрание утвердило оба пункта.

Джантык насупил брови и даже немного испугался.

-Неужели это правда?

Калыбек в ответ сказал:

-Помните, когда мы бедняки, пошли однажды к Борубаю требовать расплаты, он усадил нас на почетные места, напоил кумысом и.. обвел нас вокруг пальца. И мы примолкли. Правда, в те годы была такая политика не трогать баев. Теперь политика другая – говорит Темир.

Старик заерзал, подвинулся немного вперед и сказал:

-И, братец! Теперь значит такая политика, чтобы уничтожить Борубая? Да, я от него немало потерпел, и все-таки немного жаль, собаку. Если его сошлют далеко, тяжелая будет у него старость... Хоть он и Борубай, но все же...

— Классовая борьба — вещь жестокая. Надо отливать врагов от друзей, — так говорит Темир.

— Эх, Калыбек мой, между бедняками и баями действительно лежит пропасть! Зимой раскулачили этого вонючего Ченгеля, отобрали его богатства, а самого посадили в тюрьму. Ой, братец! — продолжал Джантык изменившимся голосом. — Разве я говорю о том, чтобы пощадить этого плута Борубая и не раскулачивать его? Но он ведь настоящая ртуть, уйдет, ускользнет!

— Да, — сказал Калыбек. — Но пускай он ртуть, преступления его записаны. У советской власти длинный аркан — ни один враг от нее не скроется, Джантыке.

— Ну хорошо! — согласился Джантык. — Пускай самого Борубая уведут под конвоем, но ведь у него остается еще косяк Актаноо. «Актаноо — покровитель моих кобылиц,— так говорит сам Борубай. — Если мне удастся сохранить свою жизнь и если Актаноо будет в моих руках, то я не пропаду». Такова его хитрость.

— Но эта хитрость бая властям известна, Джаке?

— Ну а как же? Ты же сам сказал, что у закона — длинный аркан! Но Борубай распродаст скот, наденет овчинный тулуп и скроется среди бедняков.

— А в косяке Актаноо двадцать голов?

— Да, братец. Двадцать кобылиц имеется у каждого, мы ведь скотоводы. Если таких считать кулаками, то тогда все мы — кулаки. Или как их называть?

— По нашим условиям они — середняки.

Джантык нахмурил брови и спросил:

— Сколько кобыл ожеребится у Борубая в этом году?

— Должно быть, шесть..,

— Шесть, значит? Я бедняк, но у меня ожеребятся две кобылы. Кто же назовет кулаком Борубая, если у него ожеребятся всего шесть кобылиц?!

Калыбек улыбнулся:

— И несмотря на это, власть все-таки догадалась, что ваш Борубай кулак!

— Ты не шути, Калыбек! — Джантык поднял кверху указательный палец. — Предположим, Борубай узнает, что Темир с милицией придет к нему в дом. Ежели Борубай прослышит, то его будут раскулачивать, этот мошенник сумеет куда-нибудь, да еще устроит какую-нибудь пакость! — с притворным сожалением покачал головой — Ай,

бедняга... Нашему Нарташу хоть бы одного такого как Борубай, оставили. Душа у меня за него болит...

* * *

Борубаю по секрету сообщили, что его собираются раскулачивать.

Когда он об этом узнал, то разразился горестными причитаниями:

-О, творец, я так и знал, что бедняцкая власть не оставит меня в покое. Не я один такой горемыка. Ченгель, который привык, что руки у него по локоть были в жире, тоже пропал. Я знаю об этом. Я сам виноват в своем разорении. Унижая свою седую голову, я принимал с почетом голодранцев, которые раньше не смели переступить порог моего дома. О творец! И на мою долю выпало теперь то, что перенесли те, у кого отобрали богатства, кого разлучили с народом. Однажды опасность уже грозила мне, но я сумел вовремя заплатить и ...спасся. Тогда пришлось продать моих скакунов. Удастся ли мне спастись еще раз? Неужели завтра этот голодранец Темир явится сюда и опишет все мое добро, лишит меня всех прав?

Борубай припомнил положение тех баев, которые были раскулачены раньше. Припомнил, как подсчитывали их скот, составляли списки ценностей и лишали их всего. Он протер платком навернувшиеся на глаза слезы.

-Нет, - злобно сказал он, - Я так легко не покорюсь! Пускай я потеряю полтора десятка оставшихся у меня кобылиц, но этой собаке Темиру я сниму голову. Ему и еще двум, трем голодранцам. Как бы мне только свою голову уберечь? Тогда бы я им показал! О, творец! Что за напасть?

Борубай тяжело вздохнул и принялся думать о том, как ему избавиться от беды.

VII

К Борубаю в гости приезжали люди, одетые в старые нагольные тулупы, верхом на плохоньких лошаденках. Являлись они под видом родственников, прибывших издалека. Пробудут несколько дней и уезжают.— Боке, кто это гостил у вас?—спрашивали, бывало, в кыштаке.

— Родственник. Внучатый племянник из Аркалыка. Приезжал повидаться, бедняга, — что ни говори, все- таки родня.

— Видно, долго он был в дороге, кони совсем исхудали.

— Да, издалека приехал... Пятнадцать лет не виделись.

— Гора с горой не сходится, а человек с человеком всегда сойдется!

— Да... да... — соглашался Борубай, кивая головой, но больше ничего не объяснял. .

А «родственнику» своему дарил шубу с воротником, хорошего коня:

— Ты приехал издалека, бери коня и не сердись на своего старого дядю.

Так с почетом провожал он из своего дома Кара - курбаши⁶, с которым стакнулся ради выгоды. А люди, которые видели щедрость Борубая, хвалили его за это:

⁶ Курбаши – глава басмаческой шайки

— Молодец бай... ничего не жалеет.

— Хорошо провожает племянника.

— А ведь Борубай особой щедростью никогда не отличался. Видно, племянник тоже уважаемый человек. . .

— Ясное дело! Стал бы он стараться для чужого! — так говорил кое-кто, нахваливая Борубая.

Узнав о грозившей ему опасности, Борубай начал сам ухаживать за своим скотом, надел плохонький тулуп и думал лишь о том, как спасти свою жизнь. . .

Не теряя времени, он отправил укrywшемуся в ущелье Туюк-Тер Кара-курбаши коротенькое письмо: «Твой друг в опасности. В течение недели найди способ ему помочь. Надеюсь на тебя и верю в аллаха. Твой друг не просит тебя о спасении его имущества, он молит о спасении жизни. У меня есть враги, которые следят за мной, доносят на меня властям, зарятся на мое богатство. Мне хочет отомстить мой бывший батрак Болотбек. Пусть он подавится! Есть еще Темир, который тоже притесняет. Я не успокоюсь, пока не прольется их кровь».

Через день от Кара пришел ответ:

«Тво друг получил твое маленькое письмо. Сегодня четверг, завтра пятница — тяжелый день. С помощью аллаха и пророка мы будем наготове возле кыштака в ночь на субботу. Приготовьте своих лошадей. Сообщите, где в это время будут находиться люди, которым вы хотите отомстить. А также сообщите, куда направится вооруженный отряд, посланный за нами...Известите об этом немедленно».

Получив ответ от своего друга Кара, Борубай стал с нетерпением дожидаться ночи на субботу, стараясь ничем не выдать себя людям. Он съездил в район и точно понял кто из работников может оттуда приехать оттуда до субботы и по какому делу. Узнал он и о том, где находится вооруженный отряд и куда он направится в ночь на субботу.

При помощи различных уловок Борубаю удалось дознаться, что вооруженный отряд, получив сведения о предстоящем нападении басмачей на кыштак Джон-Кыр, проведет ночь на субботу в этом кыштаке.

До кыштака Джон-Кыр было десять километров. Вооруженный отряд получил точные сведения о шайке Кара курбаши. Ведь Кара изменил свои планы неожиданно и лишь по просьбе Борубая направился в ночь на субботу в кыштак Нарташ.

Нынче пятница. Верующие старики и пожилые люди направлялись к холму.

Борубай вышел из дому пораньше и объезжал все дома и здания.

«На пятничную молитву все ли собрались?»

Когда все собрались, азанчи прочел азан, и молитва началась. Борубай не мог произнести часто повторяющиеся в молитве слова «аллои акпар» протяжно, как полагается. У него это выходило похоже на карканье вороны. Многие из молящихся не могли удержать улыбки. Когда же являлся смешливый Джантык, то, глядя на его сморщившиеся от смеха щеки и трясущуюся редкую бороденку, люди едва не покатывались. Поэтому Джантык обычно усаживался в задних рядах молящихся, чтобы не было так заметно, как он смеется при возгласах Борубая. И все-таки иногда благолепие молитвы нарушалось из-за этого, и старики ругали Джантыка. «Ты молитву испортил! Лучше бы уж не приходил, козлиная борода!» — говорили ему те, кто особенно уважал

Бору бая. Но хоть они и бранились, а сами во время молитвы тоже едва удерживались от смеха.

Сегодня Джантыку было особенно смешно. Он задерживал дыхание, старался не рассмеяться громко, лицо у него покраснело, на глазах выступили слезы. Сидевший рядом с ним Калыбек несколько раз ткнул его в бок, но Джантык смеялся от этого еще больше. К тому же и Борубай сегодня особенно чудно каркал свое «аллои акпар», поэтому потешался не один Джантык. Молитва была нарушена.

— Испортил молитву, козлиная борода!—обрушился было Борубай на Джантыка, но начинать молитву снова не стал. Прикинувшись самым смиренным человеком, он склонился на коврик и закончил намаз.

После намаза Борубай собирался рассказать собравшимся сон, который он якобы видел. Он произнес еще раз начало и конец суры, потом еле слышно пробормотал свое заветное желание: «Чтобы цел был мой жеребец, чтобы я сумел удачно продать моих коней и припрятать золото». Только после этого он обратился к окружающим.

— Люди!—сказал Борубай, принимая испуганный вид. — Я видел скверный сон. . .

Все насторожились и повернулись к нему.

— Будто бы сижу я верхом на гнедом жеребце. Табун испугался и шарахнулся в сторону. Оглянулся я по сторонам — никого. Я один. Я хлестнул коня камчой и въехал в поток. В мгновение ока вода начала прибывать, немного погодя копыта коня уже не касались дна, только уши его торчали над водой. И вот я уже сам плыву...

Джантык приворился испуганным и ухватился за воротник:

-Какие страсти!

Старики зашептались:

-Это они не спроста!

- Сохрани бог!

-То погружаясь в воду, то всплывая на поверхность, я подобрался к берегу и ухватился за ветки. Конь же мой уплыл. — закончил свой рассказ Борубай.

Испуганные старики смотрели Борубаю в рот; когда он кончил, все снова оживились:

-Ой, мой бай, сон ваш хороший!

-Воля бы моя, это достижение желаний наяву!

-Что жеребец погиб, это ничего, зато вы сами остались живы...

-А вода — это значит ваша жизнь!

-Вы долго проживете, до ста лет

Старики наперебой хотели высказать свои толкования, но Борубай пробормотал:

-Меня пугает гибель моего самого породистого жеребца, покровителя всех моих коней.

Старики утешали его:

-А вы думали на нем до ста лет ездить?

-Скот- что грязь на руках, смыло и уплыло.

-Самое дорогое у человека- жизнь.

В это время поднялся старик в желтом тулупе:

-Я сегодня тоже видел сон про Борубая...

-Какой сон?

-Расскажите... - зашумели старики.

- Я видел, что наш бай сидит на крыше сеновала. Вдруг из сеновала показалось пламя и охватило Боке со всех сторон. Он весь покраснел, но продолжал сидеть на месте. Ему кричат: «Боке, вы сгорите, а он сидит как ни в чем не бывало.

-Ваш сон тоже хороший.

-Огонь — это хорошо.

— Ваша жизнь разгорится!

В это время к старикам, толкующим о снах, подошли те, кто не принимал участия в молитве.

Борубай обвел всех взглядом покрасневших глаз и сказал жалобно:

— О народ, о братья мои! Свобода всех уравнила. Скот теперь не мой, пусть все одинаково пользуются им. Мне немного нужно. Мой скот теперь принадлежит народу, это ваш скот. Что хотите, то и делайте с ним — продавайте, режьте, хоть разгоните в разные стороны. Воля ваша! Может быть, забрав у меня скот, вы примете меня в колхоз?

Борубай сказал все, что хотел; он встал, отряхнул полы, сел верхом на своего жеребца и уехал не оглядываясь.

* * *

Едва Борубай отъехал, старики на холме вновь заговорили о нем:

— Если Борубай и вправду видел такой сон, это нехорошо!

— Во сне в воду падать не к добру.

— По человеку и предзнаменование. Борубай человек нехороший, так что ему этот сон, может быть, как раз, наоборот — к добру.

— Может быть. Ведь он от дурного получает прибыль.

— А может, и вправду ему угрожает смерть, — заметил старик в желтом тулупе. — То, что я про него видел, добра ему не предвещает.

— А, что будет, то и будет, пора расходиться, пошли.

— Власть его раскулачит, а богатство его заберут в казну. Аллой акпар! — заключил Джантык, погладил бороду обеими руками и пошел восвояси.

Прочие старики посмеялись словам Джантыка и тоже разошлись по домам.

.. А Борубай никакого сна и не видел в прошедшую ночь и не плавал на своем коне ни по какой воде. Ожидая событий, которые должны были произойти нынешней ночью, он придумал этот сон с целью выведать мнения односельчан, узнать их настроение.

Время надвигалось к ужину. За домом Борубая послышался топот копыт. Борубай, который уже некоторое время стоял у калитки сада, прислонившись к дереву, и не сводил глаз с ущелья, встрепнулся, еще больше насторожился и увидел у темного распадка силуэты нескольких всадников.

Ночь была безлунная, но и безоблачная, при свете многочисленных звезд были хорошо видны дремлющие заросли на склонах гор. Совсем темно было только в ущелье. Вот из темного провала показалась цепочка всадников; один за другим выезжали они из ущелья. Следом за первым всадником показался второй, на сером коне. Борубай узнал их: «Первый это Карабек, он ведет их. А за ним на сером коне — мой верный друг».

«Аллах, помоги мне, защити их!» — прошептал Борубай и, ухватившись за воротник, склонился в низком поклоне. Всадники скрылись в зарослях у входа в ущелье и остановились там. А передний медленно двинулся как раз к тому месту, где стоял Борубай.

Да, Борубай угадал. Передний был его брат. Конь, подойдя к калитке сада, привычно остановился и застыл, негромко позвякивая удилами и часто дыша. Борубай легко, как молодой джигит, двинулся навстречу брату:

— Хорошо ли доехали, мой Карабек?

Карабек словно не слышал вопроса и сообщил:

— Бек прибыл, аке!

Двигаясь еще поспешнее, путаясь в полах накинутой на плечи шубы, Борубай пошел навстречу укрывшемуся в зарослях отряду Кара. Подойдя вплотную к сидевшему на сером скакуне Кара, Борубай протянул обе руки и поздоровался:

— Дорогой, почтенный бек! Да поможет тебе аллах в твоих священных воинских подвигах!

Он крепко сжал руку бека в своих руках. Тот так же крепко стиснул мягкую жирную руку Борубая в своей жесткой одеревеневшей ладони.

— Будь здоров, бай! Будь здоров! Слава аллаху!

Если бы это было в обычное время, и если бы на месте Кара был другой человек, Борубай не выдержал бы этого рукопожатия и сказал: «Ты мне руку сломал, отпусти, собака!» Но поскольку это был сам бек да еще при таких обстоятельствах, то Борубай, кажется, даже не почувствовал боли. Но еще долгое время после того, как он отнял руку, она у него горела, а пальцы дрожали.

Вместе с курбаши приехали мулла и два приближенных. Всего, значит, четверо, - а пятый младший брат Борубая, который привел их. Еще пятнадцать вооруженных членов шайки остались в ущелье в засаде, ожидая распоряжений курбаши.

Борубай ввел Кара и его спутников во двор. Коней привязали и дали им корм. Люди вошли в дом...

Кара снял верхнюю одежду и уселся во главе стола. Слева от него разместился мулла, откинув за спину конец чалмы. Он сдвинул набок сверток с Кораном, который находил у него за поясом. Два басмача поставили свои винтовку порога и тоже сели к столу.

До этого байбиче не было видно. Теперь же она появилась, поздоровалась с гостями и неслышно, словно кошка, засновала по дому, насторожив уши. Карабек прислуживал гостям, не чуя земли под ногами. Строптивной младшей жены бая сегодня дома не было.

Уехала к родственникам. В ожидании сегодняшнего события Борубай постарался отправить ее с глаз долой.

Борубай и сам вынужден был прислуживать гостям, подавать им пиалы с чаем. Если бы это были обычные посетители, наш Боке, конечно, и с места не сдвинулся бы. Но теперь было не такое время, чтобы расслаживаться.

На столе уже дымились лакомые блюда.

Мулла с завистью посмотрел на стол, но тут же стыдливо отвел глаза, как-то воровато засуетился и быстро, неразборчиво забормотал молитву. Потом он осторожно, тремя пальцами ухватил лежавший с краю боор-сок и положил его в рот. Жуя боорсок, он продолжал повторять: «Во имя аллаха милостивого, милосердного».

Не успели гости выпить по одной пиале чаю, как подали заднюю часть барашка вместе с курдюком и на большом блюде дымящееся, приправленное урюком мясо годовалого жеребенка. Это был жеребенок белой кобылицы, в течение лета сосавший двух маток. Боке, узнав, что его внесли в список кулаков, готов был погубить не только жеребенка, но и мать родную. Он еще давеча велел пригнать стригунка и зарезать. Мулла причмокивал языком от удовольствия, поедая нежное мясо, таявшее на языке.

То и дело слышалось:

— Возьмите кусочек, бек!

— Вот еще этот кусочек, мулла!

Благодарили аллаха, угощали друг друга и больше ни о чем ни слова.

Только когда съели все мясо и вымыли руки, Борубай послал брата к дому Темира:

— Поди посмотри, что там!

VIII

Темир вручил одному из комсомольцев запечатанный пакет, в котором находился экземпляр решения, принятого на общем собрании бедняков и коммунистов.

-Отвези пакет в райком. В дороге не мешкай, будь осторожен – сказал он.

Комсомолец заверил Темира:

-Не беспокойтесь, все будет в порядке!

-Не останавливайся, возвращайся поскорей!

-Сегодня же вернусь!

Комсомолец хлестнул коня камчой и поскакал, а Темир быстрыми шагами пошел в красный уголок....

.. Каныш проснулась от топота конских копыт возле дома. Сердце у нее заколотилось, она широко раскрыла глаза и вскочила с постели:

— Приехал кто-то, вставай скорее, сынок!

Мать потянула одеяло. Но постель сына была пуста, и это еще больше напугало ее.

— Ведь говорила я тебе: берегись! — закричала она и засуетилась у постели сына.

Вся дрожа, натянула она платье, надела ичиги на босу ногу и выбежала во двор, хрипло крича:

— Где ты, жеребенок мой? Как мне найти тебя, радость моя!

В это время на окраине кыштака яростно залаяли собаки, послышался конский топот, удалявшийся к горам. Ревели перепуганные дети, где-то громко кричала женщина. Вот послышался голос жены Саргалдая. Каныш, немного собравшись с мыслями, постепенно начала понимать, что, пока она спала, в кыштаке произошло какое-то событие. Она вспомнила, что Темир, ложась спать, снял только верхнюю одежду, и поняла, что он встал и ушел, когда она заснула. Бросилась к сараю и увидела, что гнедого на месте нет. Она еще больше разволновалась и поспешно вышла из сарая.

Среди беспорядочного шума можно было различить какие-то ругательства; слышны были и удары камчой.

— Ой, мусульмане, кто вы такие? Забирайте мой скот, оставьте только душу! — вдруг раздался громкий голос Борубая.

На все ущелье визжала Актамак байбиче:

-Собаки басмачи! Все разграбили! Где ты, Темир? Защити нас!

Каныш бросилась к дому Калыбека — узнать, что произошло. Во дворе у Калыбека уже собрались взбаламученные бедняки...

Саалкан между тем дотошно расспрашивала всех, кто попадался ей на глаза, о том, что случилось.

— Кто ты такой, милый мой?—твердила она, заглядывая каждому в лицо. — Голос-то вроде знакомый. Что тут стряслось?

— Басмачи напали, — сообщил Саалкан Джантык, — стреляли.

— Это я слышала, дорогой.

— Темир и другие участники отряда преследуют басмачей. Даже нашего Калыбека с его козлиной бородой подняли с постели. Что ж, перед лицом врага и наш Калыбек — грозная сила. Но вестей пока никаких нет.

— Эй, бедняга, — вмешалась старуха Джантыка. — Оставь-ка ты свои угрозы да запахни получше шубу, а то простудишься и будешь завтра ногу волочить.

— Замолчи, старая!—рассердился Джантык.— Я ведь тоже когда-то ходил на врага, участвовал в сражениях. Врага побеждают силой. Если твой Джантык только крикнет погромче — и то может кой-кого испугать.

— Если ты такой грозный, что ж ты торчишь среди женщин и ребятишек?

Джантык не нашелся, что ответить и принялся хвалить Темира:

— Молодчина этот Темир! Настоящий парень! Каждый джигит должен быть таким отважным. Хороший сторожевой пес лучше трусливого джигита!

Неузнаваемая в своем пастушеском одеянии Куляй стояла тут же, слушала разговоры стариков и радовалась про себя. «Вот успокоятся горы, настанут мирные дни, и я расскажу Темиру все, о чем говорили тут Джантык и другие. Лишь бы Темир остался жив!»

.. Жители кыштака поднялись рано, несмотря на беспокойную ночь. Все только и говорили о ночном нападении. Мол, Кара явился убить Темира, а Темир со своим отрядом прогнал его из кыштака. Все говорили об этом с гордостью.

Касымалы Джантошев

(1904 – 1968)

7 ноября 1930 года, в день открытия Киргизского национального театра, была поставлена пьеса Касымалы Джантошева «Алым м Мария», первое драматургическое произведение, посвященное истории киргизского народа. Эту пьесу в советском литературоведении рассматривали как одну из первых попыток «вскрыть классовую сущность восстания 1916 года», однако автора обвиняли в подмене истории занимательным изображением семейно-бытовых сцен и любовных отношений героев, в неумении «вскрыть истинные причины восстания и показать роль народа в нем». Пьеса не была переведена на русский язык.

В 1939-1941 гг. изданы первые две книги историко-приключенческого романа К. Джантошева «Каныбек». Роман представляет собой цепь головокружительных событий мозаику самых неожиданных поворотов сюжетов. Рассказы, объединенные главными героями романа, напоминают киргизские предания о народных батырах и смельчаках. Литературоведы не раз отмечали, что в романе фольклорные мотивы довлеют над реальными образами.

В 1978 году на студии Киргизфильм по мотивам романа «Каныбек» был снят одноименный фильм.

Роман переведен на русский язык и издан в 1958 году.

КАНЫБЕК

(Отрывок)

1. УЩЕЛЬЕ СКОРБИ

Все будто вымерло в аиле. На него словно только что обрушилось тяжелое бедствие и он как бы погрузился в глубокий траур. Не слышно даже веселого шума детей, которые, несмотря на голод и нужду, обычно резвятся у юрт и вносят радостное оживление в однообразную жизнь сельчан. Не раздаются ни зазывного ржания коней, ни беспокойного мычания коров, спасающихся от оводов. Скот разбрелся в разные стороны и теперь ходил по окрестностям без присмотра. Редко где можно было заметить у юрт одинокие фигуры сидящих стариков и старух.

Яркие краски лета как-то потемнели, сочная зелень пожухла, цветы сникли. Вершины гор укутались в облака, небо покрылось тучами, скалы словно пригнулись; на землю навалилась тяжелая серая мгла. Даже ветер, доносящий ароматы трав и деревьев, замер.

Да, когда сердце человека погружено в печаль, а глаза застилают слезы, тогда не радуется ему даже красота природы.

О, господи! И зачем ты только допускаешь все это? Для чего все так делаешь? За что заставляешь нас так тяжело страдать? Отчего не слышишь ты наших рыданий? Почему не доходит до тебя наш горестный плач? Почему ты и на этом свете не одаришь нас той же долей, какую положил отвести на том? Отчего все горе-злосчастье наше не обратишь ты в светлую радость?

Так молилась, воздев ладони к небу, одиноко сидевшая возле своей юрты Аджар. Слезы градом катились из ее глаз.

Мало что похожего на человеческое осталось, в ее траурном облике. Она походила скорее на блеклую траву, выросшую без солнца, в сумраке юрты. Скулы заострились, щеки запали, тонкие жилки на висках пульсировали едва заметно, словно вода в иссыхающем арыке. Даже выбившиеся из-под платка седые пряди волос колыхались как будто не столько от ветра, сколько от ее вздохов.

А в соседней юрте, возле заболевшего Карыпа, хлопотали две женщины. Дарияхан подала ему попить воды, заботливо подоткнула вокруг одеяло, поправила огонь в очаге. Кулюмкан вычистила и вымыла котел, наполнила его водой и, поставив ведро на пол, повернулась к решетке, чтобы повесить на нее мочалку. Сквозь прореху в кошме она заметила убитую горем Аджар.

— Аджар все плачет,— вздохнула она, сокрушенно взглянув на Дарияхан.

— Бедняжка. Как ни успокаиваешь ее, ничто не помогает.

— Как же ей не плакать,— отозвался со стоном Карып. — Если бы вам довелось пережить такое, вы бы вовсе пропали.

Укрывшись с головой одеялом, он отвернулся к стене.

Анархан примеряла сыну только что сшитую рубашку, когда к ней в юрту вошла Дарияхан. Увидев ее, Эркин весь засиял.

- Ай, яй! Тетя, тетя! — обрадованно залепетал он и, натянув обеими ручонками подол рубашки, направился к ней.

— Ах, какая замечательная рубашка! — воскликнула Дарияхан. Она подняла ребенка на руки и начала целовать его в щеки, в лобик, в глаза. — Родной ты мой, Сердце мое, жизнь моя за тебя!

Явно что-то задумав, она вдруг притихла и, осторожно приоткрыв дверцу юрты, молча указала мальчишку на Аджар. Эркин, как птенец, которого только еще обучают летать, неуклюже заковылял к бабусе, лепеча «ба-ба, ба-ба...»

— Мама все плачет, — как бы извиняясь, сказала Анархан.

— А разве теперь бывают такие дни, когда бы она не плакала? — вздохнула Дарияхан, продолжая следить за неуверенными движениями малыша.

— Да, но что же мне делать? Была бы я властна над судьбой, разве я позволила бы уронить ей хоть слезинку? — глаза Анархан повлажнели, и она поспешно вышла из юрты.

Радостный лепет Эркина вдруг оборвался и сменился отчаянным плачем.

— Ай, чтоб беде твоей пасть на меня! — кинулась к мальчику Дарияхан. Подняв его, она дважды топнула ногой о землю, посмеиваясь уронить мальчугана, и снова начала усердно расхваливать его рубашку.

— Погляди-ка, бабушка, какая у твоего внука рубашка! Ай-яй-яй-яй! Самая хорошая, что ни на есть лучшая!

Дарияхан посадила успокоившегося мальчика на колени Аджар. Та вытерла рукавом слезы и, улыбнувшись, принялась поглаживать дряхлой рукой обновку Эркина.

— Пусть носится и рвется рубашка твоя, пусть крепнет да молодеет душа твоя,— начала она целовать его. — Жизнь моя, надежда моя! Вырастешь большой, станешь опорой для всех. Неужто и тебе, как и отцу твоему, выпадут на долю невиданные унижения, неслыханные мучения? И что это только за времена! Если так и дальше пойдет, погублено будет детство твое, не нальются силой икры твои.

Аджар снова заплакала. Глядя на нее, Дарияхан тоже понурила голову.

Бедная Аджар, воплощение скорби самой! Стоит ей только открыть рот, как оттуда лавиной извергаются стоны, жалобы и причитания. Да и как им не быть. Только стукнет ее кулаком одно горе, как за ним спешит с молотком другое; одна печаль высечет вдоль, другая принимается хлестать поперек...

Но легче приходилось и другим семьям в аиле. Неотвратимое бедствие навалилось на всех сельчан. Рыдания и номинальный плач раздавались из каждой юрты днем и ночью. За весну оспа скосила два с лишним десятка ребят, а вслед за нею накинута тиф, и уже, не разбирая, где ребенок, где взрослый, унес в могилу еще пятьдесят человек. В один день умерли Урум и Турум, а вслед за ними — сыновья Джолоя и Чоко. Некоторые семьи вымерли целиком. Огонь в очагах погас, и тундюки уже больше не открывались. В аиле не осталось ни одной семьи, которая не потеряла бы родных или близких.

А вскорости нагрянула и другая беда. Мало того, что людей косили болезни и смерть, еще и враги сразу с двух сторон начали грозить им жестокой расправой: волостной старшина Сооронбай и Айдарбек-датка — с одной, Зуннахун — с другой.

«Я получил бы для сына должность волостного,— говорил Айдарбек-датка,— но меня допекли эти непутевые Каныбек и Чоко. Я буду мстить, пока не истреблю их».

«Слава богу, я стал волостным,— бахвалился Сооронбай. — Но если я ослушаюсь приказов уездного начальника и белого царя, не оправдаю их доверия, разве не почернеет лицо мое от позора перед судом на том свете? А если я изловлю всех мужчин аила, начиная с Чоко и Алыма, разве не предстану я перед всеми с посветлевшим лицом?»

«Не успокоюсь, пока не выпущу кровь с Каныбека, Анархан, Алыма и их защитников,— рассуждал Зуннахун вместе со своим пособником Тюлькубеком. — Они

нанесли мне такое оскорбление, какого не видывали и наши деды; от него всю жизнь лицо мое будет гореть, как от укусов комаров».

«Если к тебе явились сразу два истца,— гласит пословица,— ты разорен. Если нагрянули две болезни, готовься к смерти». Жители айла поняли свое безвыходное положение. Даже за товарами и зерном перестали ездить. В одну из таких поездок в Кульчи сына Эркимбая жестоко избили приспешники Сооронбая, и он, возвратившись домой, умер. А Медер, другой смельчак, отправившийся в Улу-Чат за рисом, попал на обратном пути в руки Тюлькубека. Вскоре дошли слухи, будто Тюлькубек выдал Медера Зуннахуну и тот посадил его в Кашгарскую тюрьму. По другим рассказам его засекли до смерти джигиты Тюлькубека. Впрочем, про Медера говорили и более страшные вещи. Будто в него вселился сам нечистый дух и он, переметнувшись на сторону Зуннахуна и Тюлькубека, собирается теперь напасть со всем их войском на собственный айл...

Жителей айла охватила паника, и Чоко вынужден был, наконец, заявить на сходке: «Я никому не могу больше приказывать как поступать. Пусть каждый позаботится о себе, как сможет». Он попросил простить его, если в чем-нибудь виноват.

По ночам люди украдкой начали разъезжаться кто куда. В айле остались только Чоко да родственники Карыпа, и то лишь потому, что ждали выздоровления Карыпа и возвращения Алыма из Оша. Он отправился туда, чтобы хоть что-нибудь разузнать о Каныбеке. Но Карып не поправлялся, а от Алыма больше двух месяцев не было ни слуху, ни духу.

«Уж не попал ли он в руки к врагам» — то и дело вздыхали родственники Карыпа. Не в силах больше ждать, они тоже ночью покинули айл.

Отстояв ночь на карауле в ущелье, Чоко возвращался к себе домой. Смерть сына окончательно доконала старика. Понурый и насупившийся, он с трудом добрал до кладбища и, опершись на ружье, остановился перед могилами. Невыразимая боль сжала ему сердце. Теребя дрожащей рукой бороду, он оглядел заросшие высокой травой надгробья из белой глины. Строгие и неподвижные, они стояли рядами, словно часовые, охраняющие бесценные сокровища. Совсем недавно люди, лежавшие в этих могилах, были живы, а теперь вот спят вечным сном под светлыми холмами, безразличные ко всему.

Положив ружье, старик откинул полы старой шубы и медленно опустился на землю. Он долго сидел молча, не в силах проглотить подступивший к горлу колючий комок. Потом тихим, дрожащим голосом прошептал троекратно молитву. Слабый и немощный, он с трудом поднялся на ноги. Поклонившись останкам Джолоя, что покоились на западной стороне кладбища, и могилам Урума и Турума, что находились на восточной окраине, он повернулся, наконец, к надгробью сына. Чем ближе подходил он к могиле, тем заметнее слабели его колени и глаза застилала слезы. Чтобы приободрить себя, он принялся усердно читать молитвы, но, подойдя с сажень до могилы, бессильно опустился на землю. Кое-как собравшись с мыслями, он приготовился прочитать в честь сына стихи из корана, но вдруг заметил, как из-за могильного холмика взметнулась чья-то рука. Сердце его часто забилось, в голове мелькнули страшные мысли. «Уж не ожил ли его сын? Не выбирается ли он из могилы?»

Старик вскочил и, вытянув шею, стал внимательно прислушиваться. До его слуха донесся приглушенный плач, перешедший затем в едва слышные причитания:

Как нам быть без тебя,

Наш единственный?

Забери нас с собою,

Желанный мой...

Это овдовевшая сноха его оплакивала смерть своего мужа. Чоко не выдержал и громко застонал.

А вдова, услышав вопли свекра, заголосила еще громче, еще надрывнее:

Иль не видишь ты,

Иль не слышишь ты,

Как сгораю я без пламени,

Изнываю от боли без ран?

Твой отец весь в слезах,

Мать от горя мертва —

Кто утешит их

В одиночестве,

Пожалеет их

Годы старые?

Нет в семье у нас

Брата старшего

Да и младшего

Не осталось.

Кто б отцу твоему

Был утехою,

Кто б опорю

Стал для матери.

Знать, тебе нипочем

Наши горести,

Вздохи-жалобы,

Стоны горькие

Престарелых твоих

Родителей?

Полно спать-отдыхать,

Выходи поскорей —

Из-под крыши своей

Белоглиняной.

Выйди, мой дорогой,

Встань, единственный,

Помоги, ты нам

В нашем бедствии...

Распростершись на могиле мужа, вдова перемежала свои причитания такими рыданиями, что у Чоко потемнело в глазах, он зашатался. Точно пала вдруг темная ночь, точно обрушились высокие скалистые горы, сомкнулось ущелье, заколыхалась и перевернулась земля. Чоко заплакал навзрыд.

На их вопли прибежали перепуганные Кулюмкан, Анархан и Дарияхан.

— Ну, что вы горюете по прошлому, гонитесь за тем, чего не догнать? — принялись они их уговаривать. — Идемте домой!

Кулюмкан взяла под руки Чоко, Анархан и Дарияхан подхватили невестку и, не сдерживая рыданий, двинулись к дому.

У тропинки, ведущей в ущелье, днем обычно стояли на карауле женщины — Анархан и Дарияхан. На ночь становился Чоко. Но вот уже три дня, как Анархан не могла больше выходить из дома — Аджар становилось все хуже и хуже. Поэтому сторожить подступ к айлу теперь ходила одна Дарияхан. Как-то утром, когда Аджар стало вдруг до того плохо, что в юрте почувствовалось дыхание смерти, все собрались в жилище Каныбека.

— Аджар, сестрица моя, как ты себя чувствуешь? Тебе не лучше? — спрашивал ее вернувшийся с ночного дежурства Чоко. Он повесил ружье на решетку юрты и опустился на одно колено возле Аджар.

— Дедушка, бу-у! Дедушка, бу-у!

Это Эркин, вытянув указательные пальчики обеих рук и вытаращив глазенки, решил поугагать старого Чоко.

— Ой, какая бука! — испуганно сквозь слезы проговорил Чоко. — И откуда только взялся этот бука со страшными глазами? — Он обнял и поцеловал мальчугана в обе щеки, прижал к груди.

— Родной мой, утешенье мое, жизнь моя за тебя! Не будь на свете тебя, ночь беспросветная наступила бы для всех нас!

Умиленная и растроганная Аджар сделала попытку поднять голову, но не смогла. К ней поспешили на помощь Анархан и Кулюмкан. С трудом переводя дух, она обвела взглядом родных и близких, сидевших по обе стороны постели, потом притянула и поцеловала руку Чоко.

— Я уже не поднимусь больше, аке! Простите, если в чем виновата. Наступила и моя пора расставаться с вами. Положите меня в могилу рядом с отцом и матерью. Не оставляйте Сакадай — единственную сестру моего единственного сына, Эркина — единственного потомка его, возлюбленную его — Анархан. Много у меня и других пожеланий, но высказать их нет уже сил. Как бы хотелось повидать и поцеловать перед смертью Каныбека...

Аджар тяжело застонала, голова бессильно упала на подушку.

Через три дня, еще не совсем оправившийся от болезни, Карып отдал пять овец на устройство поминок по Аджар. Анархан раздала одежду Аджар женщинам, обмывавшим тело покойной — Кулюмкан, Дарияхан и жене Чоко.

Справив поминки, Чоко забил свою последнюю овцу и созвал всех, кто еще оставался в аиле.

— Если чем обидел вас — простите. Большой был у нас аил, а теперь, словно редкие звезды, горят в нем всего только три очага. Что поделаешь, так, видно, суждено...

На его глазах навернулись слезы.

— Анархан, дитя мое, — сказал он после длительного молчания, — решай сама, как тебе быть. Может, поедешь с нами, в наши края? Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь тебе.

Он вдруг запнулся, попытался еще что-то сказать, но безнадежно махнул рукой и заплакал. То ли от старости, то ли от горя, в последнее время Чоко стал часто, заговариваться. А порой, ни с того ни с сего вспыхив, он впадал в ярость и раздражался проклятиями. Случалось и так, что взяв ружье, он отправлялся на охоту, но вскоре возвращался назад, — не было уже у него той силы, что прежде. Отойдя недалеко от юрты, он стрелял просто по кустарникам и, заметив взметнувшуюся от выстрела пыль, радовался, как ребенок.

После горестных слов Чоко Карыпу нечего было сказать. Молчали и все остальные. Каждый думал о своей дальнейшей судьбе.

На закате следующего дня Чоко погрузил деревянные подпорки юрты на быка, кошмы и пожитки — на корову, усадил вдову, сына на единственную лошадь и подал ей в руки повод быка. Жена взяла за повод корову, сам он стал подгонять ее сзади. Анархан и Дарияхан вышли проводить своих последних соседей.

Солнце село,

Умолкла кукушка,

Скрылся

В жуткой могиле

Ты, мой прекрасный!

Встань, родной, поднимись,

Посмотри; оглянись —

Кто проводит нас

В путь наш опасный?

Вслед за ней зарыдали и Чоко с женой, и Анархан с Дарияхан. Вопли обездоленных огласили долину. Горы, словно сочувствуя их горю, потемнели, и эхо, вторя заунывному плачу, жалобно покатилося по ущелью. Возле юрты, держа на руках Эркина, стояла Сакадай. По ее щекам ручьем текли слезы. Рядом с ней, грустные и подавленные, сидели Карып и Кулюмкан. Они молча смотрели вслед удаляющемуся каравану.

Уже в сумерках Анархан и Дарияхан попрощались с Чоко и остались сторожить тропинку. В лицо им, точно мать, целующая убаюканного ребенка, прощально дохнул ветерок. Высокие скалы потемнели, грустно замигали звезды.

— Доедут ли они? — вздохнула Апарин.

Дарияхан ничего не ответила. Обе женщины погрузились в горестные раздумья.

«Каныбека оторвали от меня злые люди; со свекром и свекровью разлучила смерть. Что же ждет меня впереди? — тоскливо размышляла Анархан. — Был у нас когда-то большой аил, а теперь осталось всего две юрты. Скоро и Карыш уедет к своим. А куда же деваться мне? Оставаться одной в этом ущелье? Да и чем тут жить? Если не погибну от голода и холода, так враги возьмут в плен.

Но если и уезжать, то куда? Направиться в Ош, к Алыму,— схватят враги. Зуннахун не остановится и перед тем, чтобы погубить Сакадай и Эркина.

Куда же пойти? Где преклонить свою голову? Ведь и от бездействия добра нельзя ждать. Надо что-то делать...»

Так же невесело было и на душе у Дарияхан. Грустные думы, одна тревожнее другой, не оставляли ее ни на минуту. Только при мысли, что Зуннахун, узнав об их беспомощном положении, может явиться сюда, у нее до боли сжималось сердце. Чтобы не показать Анархан охватившего ее страха, она прислонилась к одиноко торчавшему камню и закрыла глаза.

Из-за вершин гор выглянула луна. Ее спокойное сияние целительной влагой пролилось на осушенные горем сердца. Ночные страхи, исчезли, женщины немного приободрились.

— Ах, джене, даже если сюда и явится Зуннахун, неужели он будет способен причинить вам зло? — спросила Дарияхан, опуская ружье к ноге и засовывая озябшие руки в рукава.

— Конечно!

— Неужели он такой кровопийца и нет у него к вам ни капли родственных чувств?

— Если бы они у него были, он бы не выдал меня замуж за Керимахуна. И потом, вспомни, на какой поступок я решилась!

Перед Анархан замелькали одно событие за другим. Вот ее мачеха избивает до полусмерти Каныбека; вот Зуннахун заставляет его рыть самому себе могилу; мачеха готовит для него отраву; вот опять изловлен Каныбек, а она, обманув сначала Керимахуна, а потом и мачеху, бежит из дома.

Словно кобчик, отыскивающий добычу, взмывают и кружат в памяти картины, одна страшнее другой.

— О, боже, кто это там?

По тропинке, ведущей в ущелье, гарцуют Зуннахун и Тюлькубек. Рыжий иноходец под Зуннахуном, саврасый — под Тюлькубеком. За ними — многочисленное войско киргизов, а еще дальше — несметный отряд уйгурских солдат.

— Дарияхан, мы погибли, стреляй! — кричит обезумевшая Анархан и спускает курок.

Эхо выстрела гулко раскатилось по ущелью.

— Что такое? Что случилось, джене? — вскочила вздремнувшая Дарияхан.

Анархан очнулась. На лбу ее и щеках выступила холодная испарина.

— В чем дело? В кого вы стреляли, джене? — испуганно спрашивала Дарияхан.

— Ах, не жить бы мне на свете, горемычной,— оправившись от испуга, сказала Анархан.

— Я заснула и мне вдруг показалось, что на нас напали Зуннахун и Тюлькубек.

— Ой, и напугали же вы меня, джене, до смерти,— облегченно вздохнула Дарияхан и принялась заряжать ружье Анархан.

Встревоженные выстрелом, к ним прибежали запыхавшиеся Карып и Кулюмкан. Убедившись, что никто пока не напал, они вскоре ушли.

Неожиданной защитой опустевшему айлу послужили слухи. В округе говорили, что Чоко и его сторонники в отмщение за кровь забитого насмерть сына Эркимбая готовятся напасть на своих заклятых врагов. При этом уверяли, что будто у каждого жителя айла имеется по ружью, а на берегу Балыкты установлена пушка. А разве поздоровится тому, кто попадет под ее адский огонь? Поэтому-то Сооронбай, Айдарбек и Зуннахун не решались пока на открытое нападение.

Восток постепенно заалел, и с реки повеяло предрассветным холодком. Почувяв приближение утра, проснулись первые птицы и, подобно муэдзину, сзывавшему людей на утреннюю молитву, защебетали на разные голоса. В торжественный гимн наступающего утра гулко врвался ревущий поток Балыкты.

— Дарияхан!

— Что?

— Ты ничего не слышишь?

— Где?

Женщины прислушались.

Снизу, из-за поворота, доносился отчетливый топот копыт, шуршание падающей гальки.

— Кто это?

— Милая джене, что теперь делать?

— Стреляй!

— Ой, стреляйте лучше вы! У меня что-то в глазах потемнело.

Укрывшись за камнем, женщины испуганно выжидали приближения таинственного всадника.

— Эй, кто там на карауле? — донесся голос верхового.

— Ай, да уж не Алым ли это? — встrepенулась Дарияхан.

— Вряд ли, одет, вроде, не так...

— Кто на карауле? — еще настойчивее повторил неизвестный, вплотную подъезжая к камню.

— Ну, конечно, он! — выскочила Дарияхан из засады.

— Алым! — бросилась ему навстречу Анархан.

«Что случилось? Почему на карауле женщины? А где все мужчины? Неужели враг разгромил весь аил?» — защемило сердце у Алыма.

— Все ли живы-здоровы? — спросил он.

— Живы-здоровы. Сам-то ты как? — всхлипнула в ответ Дарияхан.

— Отчего ты плачешь? Что произошло? — еще больше всполошился Алым, соскакивая с коня.

Дарияхан и сама толком не знала, отчего она плакала — то ли от испуга, то ли от радости, что встретила Алыма, то ли от сочувствия его горю (ведь Аджар была ему молочной матерью), то ли от стыда, что во всем аиле осталась лишь одна единственная юрта.

— Уж очень напугал ты нас,— оправдывалась она сквозь слезы.

— Ну, как вы поживаете, Анархан-джене? — продолжал допытываться Алым. — Все ли здоровы? Эркин, поди, уже большой?

— Все в порядке,— уклончиво ответила Анархан, озабоченно разглядывая Алыма. Измученный двумя месяцами всевозможных лишений и тремя сутками изнурительного пути, он выглядел очень усталым.

«Какие вести он привез? Жив ли Каныбек? Уж не погиб ли он?» — думала она, но спросить почему-то не решалась.

— Как там дела? — поспешила ей на помощь Дарияхан. — Жив ли дядя?

— Жив. Но сами знаете, что за жизнь в тюрьме,— разглаживая едва пробивающиеся усы, вздохнул Алым и подсел к женщинам.

— Все-таки жив! — радостно и недоверчиво воскликнула Анархан.

— Жив, жив, Анархан-джене. Зачем мне вас обманывать? Но... — как бы извиняясь, добавил он,— повидаться с ним мне так и не удалось. Видно, правильно говорится в поговорке: «коли ты не бог, так и не пытайся». Ничего у меня не получилось. Сорвал с меня адвокат пятьдесят рублей, водил за нос целых два месяца, а на деле — ни ответа от Каныбека, ни моей полсотни? И все-таки я видел его. Хоть издали, а все же взглянул на прощанье.

— Неужели правда? — вскочила обрадованная Анархан.

— В прошлую пятницу. Прохожу это я, уже в который раз, мимо тюрьмы, гляжу — у ворот целая толпа арестантов. Откуда это, думаю, пригнали их, несчастных? А о Каныбеке в эту минуту, по совести, даже и не думал. Вдруг вижу — он! Я даже вскрикнул от радости. А он обернулся, заметил меня, хотел, видно, что-то сказать, да тут меня — бац по виску! Опомнился я, смотрю, полицейский! Злой-презлой и что-то твякает по-своему. Ну, а Каныбека тем временем уже увели.

— Бедный мой, горемычный! — прошептала Анархан, заливаясь слезами,— сколько пало несчастий на его многострадальную голову!

Придя в аил, Алым сразу же, как того требовал обычай, направился к могиле Аджар. А когда женщины во главе с Кулюмкан закончили поминальный плач, Сакадай, рыдая, повисла на шее Алыма!

— Дядюшка! Пожалели бы вы меня, сироту! Хоть бы в утешение нам, несчастным, привезли брата Каныбека!

Острее ножа ударил по сердцу этот горестный плач ребенка, и женщины еще пуще залились слезами.

В полдень все снова собрались у могилы Аджар и устроили поминки. Карып, хотя и не был муллой, прочел несколько сур из корана. Обрато возвращались молча. И как только вошли к себе в юрту, снова раздались безутешные стенания женщин. Первой надрывающимся голосом запричитала Сакадай:

— Деды с матерью —

Во сырой земле.

А родимый брат

Заточен в тюрьме.

Как же мне теперь,

Обескрыленной,

Век прожить одной,

Никогда еще в жизни не приходилось Алыму слышать такие потрясающие душу слова, какие вырвались из груди этой худенькой, задавленной горем девочки; никогда он так не плакал, как сегодня. Истошные вопли женщин, заунывно-протяжный плач Сакадай, раздававшиеся в затерянном среди пустынного ущелья аила, разрывали на части его вконец истерзанное сердце.

На семейном совете было решено, что Анархан вместе с Сакадай отправятся в Ош, а Карып с Кулюмкан — в сторону Куттубакыта. Шалея Анархан, Алым отпустил с ней и Дарияхан, а сам решил навещать то тех, то других.

На закате обе семьи перевалили через Тушамы и опустились в широкую котловину. Ехавший впереди Карып повернул лошадь вправо и остановился. Здесь дороги их расходились.

- Попрощаемся, Анархан, дитя мое! — сказал он дрогнувшим голосом. — Прости, если когда-нибудь обидел тебя. Никто из нас не думал, что придется испытать такие лишения. Видно, положимся на волю божью. Будет жив-здоров конь — отрастут и его сбитые копыта, а отрастут копыта — станут резвее и ноги. Ну... — голос его сорвался и он зарыдал. — Разъезжаемся далеко, расстаемся надолго — кто знает, что еще ждет нас впереди.

Заунывный прощальный плач огласил долину, отозвался эхом в горах.

Ущелье Скорби! Ущелье, по которому когда-то бродили тучные стада, а по ночам гостеприимно горели очаги большого аила, где хлопотливый говор людей перемежался с мычанием коров и лаем собак, опустело. Непроницаемый, хмурый туман заполнил ложбины. Темные тучи заволокли небо. Холодный ветер, словно родившийся из вздохов несчастных, завел последнее, прощальное причитание. Снизу, из глубины, тихо-тихо втирала ему переполненная слезами бедняков осиротевшая Балыкты.

2. СОКОЛЫ В КЛЕТКЕ

Жарко, но на улицах многолюдно. Когда проскачет верховой или проедет извозчик на фэртоне, запряженном парой лошадей, все вокруг утопает в пыли. Однако людей мало беспокоили эти клубы пыли. Они привыкли к ним от рождения.

Ош разделен на две части, — на новый и старый город. И тут и там вид улиц и строений до того отличается друг от друга, что, кажется, и сами их обитатели — разные люди.

Часть города, начинающаяся со второй улицы к западу от тюрьмы, уже считается новым городом. Здесь живут русские, дома их выстроены на европейский лад. Через улицу, на восток от тюрьмы, базар. Большинство торговцев на нем — пришлые люди, из русских. Базар сам по себе невелик, но пестрая россыпь лавчонок и кабаков все-таки служила украшением улиц. Свое название «пьяного базара» он вполне оправдывал. Здесь всегда можно было увидеть и валяющихся на земле пьяных, и кровавые драки. В народе даже ходила поговорка; «Хочешь насладиться кальяном с серебряной головой, поезжай в старый город, хочешь умереть от водки — отравляйся на «пьяный базар».

От безделья, от напрасных ожиданий Алым отчаянно скучал. Он бесцельно бродил по новому городу, хотя у него не было там дела и на пятак. Выпив две большие пиалы вина домашнего приготовления, он заметно повеселел и направился с базара вниз. Навстречу ему, из ворот казармы, выехал на резвых конях отряд солдат человек в тридцать. У офицера, гарцевавшего впереди па вороном коне с белой отметиной на лбу, вид был на диво воинственный: копьём торчащие усы, сверкающий мундир, грозно позвякивающая сабля. Доехав до середины улицы, офицер повернул вниз. За ним повернул и отряд. Одетые по форме, солдаты, все как один, были на вороных конях. У каждого на боку — сабля, на другом — револьвер, за плечом — ружье. «Не иначе как собираются истребить какой-нибудь аил», — невольно подумал Алым.

Держась обочины улицы, он последовал за ними.

— Куда это они направляются? — спросил он встречного татарина.

— На окраину города. То ли для скачек, то ли еще для чего-то, точно не знаю.

Когда Алым прошел немного по прямой улице вверх, справа открылась широкая площадь. На середине стояла высокая голубая каланча, увенчанная сверкающими, как золото, крестами. Не видевший ни разу в своей жизни церкви, Алым решил, что это, должно быть, дом уездного начальника. Стоявшее поодаль, внушительное здание городской почты под зеленой крышей Алым тоже принял за жилище какого-то большого начальника.

Удивленно разглядывая все вокруг, Алым свернул на улицу, заканчивающуюся большим садом. Там еще раз повернул налево и очутился на перекинутом через Ак-Буру мосту. На Алыма он не произвел большого впечатления, хотя и назывался мостом «Акима», то есть уездного начальника. Перед этим он видел в старом городе мост больше. Глядя вниз на пенящуюся Ак-Буру, Алым вспомнил ходившую в народе легенду: будто бы пророк Сулейман, покоривший, благодаря своей непревзойденной мудрости, великанов, заставил их прорыть скалистую гору и выпустил сюда Ак-Буру.

Заглядевшись на воду, Алым не заметил, как подошли две русские парочки, направлявшиеся по мосту в сад «Акима». Это были начальник почты и смотритель богоугодных заведений со своими женами. При виде киргиза «одна из дам обернулась к своему спутнику, и, брезгливо морщась, что-то проговорила. Тот сердито нахмурился и быстро направился в сторону Алыма, что-то крича и махая рукой. Алым не понимал, чего от него требовал русский и, оробев, отошел на противоположную, наветренную сторону моста. На этот раз уже обе женщины, недовольно сморщив носы, что-то наперебой закричали. Мужчина снова сердито указал рукой в сторону от моста — пошел, дескать, отсюда прочь, азиатская образина. Алым растерянно остановился. Тогда к нему подбежал второй, бесцеремонно повернул его в противоположную от них сторону и больно ударил ногой в спину. Дамы весело расхохотались, а мужчина достал из кармана платок и тщательно вытер руки.

Заскрежетав зубами и сжав кулаки, Алым уже намеревался наброситься на своих обидчиков, как в это время к нему подошел какой-то пожилой узбек с кетменем на плече и дружески поприветствовал.

— Из каких мест, братец?

Сторая перед прохожим от стыда, что позволил оскорбить себя на виду у всех, Алым опустил взгляд в землю и тихо ответил:

— С Алая.

— На базар приехал?

— Да.

— А я тоже из тех мест. Копая арыки в этом саду, поливаю... — Узбек вздохнул и опустил кетмень на землю. — Этот сад называется садом «Акима». И в нем гуляют только одни господа. Поэтому нам с тобой, братец, места здесь нет. А как тебя зовут?

— Орунбай!

— Меня тоже зовут Орунбаем,— улыбнулся узбек, словно радуясь тому, что они оказались тезками.

— А почему же нам нельзя пойти в этот сад, Орунбай-ака? — удивился Алым.

— Нам не только в саду, но даже и здесь, по мосту, ходить не разрешается. Господа брезгают нами. — Узбек долгим взглядом посмотрел на Алыма и добавил,— да ты сам в этом только что убедился.

Орунбай сказал это просто так, из сочувствия к земляку, но Алым понял его по-другому. «Уж лучше умереть от позора, чем остаться побитым и не отомстить. Какой же ты после этого мужчина»,— слышалось ему. Он покраснел и снова опустил взгляд в землю.

— Ничего не поделаешь, братец! — заметив его смущение, проговорил Орунбай. — Кошке — игрушки, а мышке — слезки. Господа не считают нас за людей... У меня был брат, моложе меня на двенадцать лет. В этом году ему исполнилось тридцать. — Он тяжело вздохнул, замолчал и снова заговорил: — Прошлым летом он вот так же стоял однажды на этом мосту. А мимо проходил молодой русский под руку с красивой барышней. Брат не догадался посторониться и тот ударил его по лицу. Почему, мол, ты не сошел с дороги, не снял шапку. Брат был вспыльчивый, горячий. Ну, и надавал русскому по щекам. Барышня, конечно, завопила, бросилась бежать. Нагрянула полиция, арестовала. Русский оказался сыном уездного начальника, в Москве учился. С тех пор брат сидит в тюрьме. Что его ждет — не знаю. Сергей вон говорит,— он мотнул головой в сторону русского, подходившего к ним с железной лопатой в руке,— что его будут судить. Пожалуй, еще в Сибирь отправят, — Орунбай вопросительно взглянул на Алыма, будто спрашивая, как найти выход из такого трудного положения.

— Может, будут решать по справедливости, ведь брат ваш не преступник какой-нибудь,— неуверенно проговорил Алым.

- Эх, братец! Справедливость на небе, а на земле судит тот, у кого деньги,— вздохнул Орунбай.

— Стало быть, у кого деньги, у того и справедливость? — дымя самокруткой и дружески улыбнувшись Алыму, подошел к ним Сергей.

«Если бы у меня было столько денег, сколько их у Зуннахуна,— подумал Алым, здороваясь с Сергеем,— я бы выкупил не только Каныбека, но и весь Ош».

— Если ты, братец, и в самом деле с Алая,— перебил его размышления Орунбай, — может быть, ты поможешь нам в одном деле. Недавно жена моего брата носила в тюрьму передачу. Когда она развернула полученную обратно скатерть, в ней оказалась зачем-то оставленная лепешка. Мы собрались все в кружок, чтобы отведать этой священной для нас лепешки, как вдруг обнаружили в ней письмо. Брат писал: «Аке! Что со мной будет — неизвестно. Я чувствую себя хорошо. Нас здесь в тюрьме много и мы не унываем. Товарищи хорошие. Особенно подружился я с одним молодым киргизом по имени Каныбек...»

Алым сразу изменился в лице, в глазах его вспыхнул огонь.

— Что с тобой, братец? — спросил Орунбай.

— Уж не знаешь ли ты Каныбека?

— Нет, нет, продолжайте! — поспешил смутившийся Алым.

«Каныбек — замечательный парень, я люблю его не меньше, чем вас. Если бы вы послушали то, что он пережил, вы не смогли бы сдержать слез. Он был рабом известного вам Айдарбека-датки, только в прошлом году вышел из Кашгарской тюрьмы, а ныне сидит уже у нас. Но он не вор, не мошенник. Он честный человек. Аке, сделай ради меня доброе дело для Каныбека. На воле остались его дед и бабка, мать, сестренка, молодая жена и новорожденный сын. Помните, пять лет назад вы ездили в Алай за кожей для Каримжана-байбаччи? Вы рассказывали тогда, что закупили много кожи по дешевке у старика Чоко. Так вот, оказывается, семья Каныбека находится в его аиле. Может, вы сами съездите или узнаете от кого-нибудь, приехавшего с Алая, о его семье и сумеете сообщить потом нам».

— Вот что было написано в этом письме. Так вот, если ты с Алая, не слыхал ли ты что-нибудь о семье Каныбека? — Взгляд Орунбая надолго задержался на смущенном лице Алыма.

— Я знаю Каныбека. И дед, и бабушка его этим летом погибли от тифа. Мать тоже умерла от тоски по нем. Жена, сестра и сын живы-здоровы. Но я слышал, недавно они все переехали в Ош. Где и в чьем доме они остановились, я не знаю. Возможно, что вместе с ними приехал и его брат Алым.

— Верно, верно, в письме упоминалось и о нем.

— А что ему здесь делать, зачем бы он приехал? — вмешался в разговор Сергей.

— Кто его знает! Может быть, хочет как-то вызволить брата из тюрьмы.

— Он что, богат?

— Откуда ему! Кроме единственного коня — ничего.

— Ну, тогда ничего не выйдет,— махнул Сергей рукой.

— Орунбай-аке,— попросил Алым,— может быть можно попросить какого-нибудь грамотного человека написать письмо и передать его Каныбеку? Если для этого понадобятся небольшие деньги, я тоже помог бы ради доброго дела.

— Это было бы неплохо, но кого попросить?

— Да ведь рядом с тобой живет мулла,— подсказал Сергей.

— А, чтоб ему пропасть! Намедни я попросил его написать брату, так он отказался, — Орунбай с возмущением отвернулся.

— Тогда я напишу. По-русски. В тюрьме русских много, они и прочтут его. — Сергей принялся что-то искать в своих карманах.

Алым только что был смертельно оскорблен русским, поэтому и Сергей ему не очень нравился. Его услужливость показалась ему подозрительной.

— Нет, так не пойдет,— сказал он, искоса взглянув на Орунбая. — А вдруг там не найдется таких?

— Ну-ну! Я каждый день встречаюсь с русскими, отсидевшими в тюрьме,— возразил Сергей,— и почти все они грамотные.

Достав из кармана огрызок карандаша, он принялся точить его большим ножом Орунбая. Оторвав затем листок бумаги, из которой он крутил папиросы, Сергей выжидательно посмотрел на обоих собеседников.

— Вот и хорошо, а то где это я буду грамотеев разыскивать. Ты ведь такой же горемыка, как и мы. — Орунбай замолк, обдумывая содержание письма.

«Куда ни пойдешь, везде русский начальник, как же этот русский может быть горемыкой?» — думал между тем Алым, недоуменно посматривая на Орунбая.

— Ах, и что мы за несчастные! — слышались вдруг неподалеку от них горестные причитания. — Бедный мой старик, как много тебе приходится страдать!

Спотыкаясь и плача, к ним подбежала женщина. Орунбай бросился ей навстречу. Это была его жена. Почувствовав что-то неладное, поднялись со своих мест Алым и Сергей.

— Что случилось?

— Ах, какие мы с тобой несчастные!

— Ну говори же, в чем дело?

— Мамажана угоняют в Сибирь.

— Кто сказал?

— Невестка сама видела, как из тюрьмы погнали много людей. Там она увидела и Мамажана. «Нас угоняют в Сибирь, прощайте!» — крикнул он ей и заплакал. — Жена Орунбая залилась слезами.

— Ай, какое несчастье! — всплеснул руками Орунбай и берегом реки бросился к старому городу. Вслед за ним, взывая о помощи, кинулась и жена.

Опасаясь, что Каныбека может постичь такая же участь, Алым стремглав побежал домой. Сергей, растерянный, остался стоять на месте.

Единственная улица, ведущая от тюрьмы в старый город, разом оживилась. Наехавшие отовсюду полицейские перекрыли движение. Остановились толпы прохожих, замерли неуклюжие, похожие на огромных пауков арбы, нарядные, покрытые белыми покрывалами, фэтоны. С обеих сторон улицы из многочисленных крохотных окошек и щелей в калитках с любопытством выглядывали встревоженные жители.

По улице вели двенадцать человек: среди них было два узбека, два киргиза, один таджик, остальные русские. Одеты они были во все серое. Лица желтые, как поблекшие

цветы, на руках и ногах — кандалы. Убитые позорной неволей, они с тоской и надеждой смотрели по сторонам. «Если вы ослепли и не можете уже больше видеть, так хоть слушайте, о чем звенят наши цепи» — говорили их молчаливые взгляды.

— О, люди! Брат Орунбая Мамажан осужден на десять лет и его отправляют в Сибирь! — выкрикнул вдруг Мамажан голосом, полным отчаяния и слез.

— Пусть будет долгой его жизнь, — донесся в ответ чей-то ягенский голос из толпы.

Конвойный, шагавший позади Мамажана, ткнул его в спину прикладом.

— Молчать!

Арестантов гнали через весь город в самый полдень, на глазах всех жителей в целях всеобщего устрашения.

Еле добежав до дома, Алым оглянулся по сторонам. Во дворе никого не было и он стремглав бросился в комнату. При виде его побледневшего лица Анархан и Дарияхан замерли от страха.

— Ой, что случилось?

— Идемте скорей! Говорят, из тюрьмы погнали в Сибирь арестантов. Наверное, среди них и Каныбек. Если не сможем вручить ему передачу, так хоть увидим его...

Обе женщины поспешно накинули на себя паранджи: без этого Сооронбай и его приспешники, приезжавшие в Ош каждую пятницу, могли узнать их на улице.

Сакадай тоже захотела увидеть брата, и так как Эркина не на кого было оставить, его взяла на руки Дарияхан. Не теряя времени, прямо через мост старого города они направились к тюрьме.

Как это обычно водится, когда одни бегут, потому что услышали что-то сами, то другие уже бегут за ними, если даже и ничего не слышали. Слух о том, что арестантов угоняют в Сибирь, быстрее ветра распространился по городу и поднял на ноги всех. Толпы народа заполнили улицы.

Алым и его спутники с трудом пробивались сквозь толпу. На косогоре, спускавшемся из нового города в старый, показалась группа арестантов, окруженная несколькими десятками конвоиров. Оттого что все арестанты были одеты одинаково, издали трудно было узнать кого-либо в лицо. И все-таки люди не спускали с них глаз.

Испугавшись такого скопления народа, на улицах появилось множество полицейских. Гарцуя на горячих конях, они бесцеремонно отгоняли наседавшую на колонну толпу.

Помосты огромной чайханы были битком забиты ее постоянными завсегдатаями — сынками и родичами баев, крупных торговцев, духовных лиц — ишанов, чиновников.

Тут же на ковре с синими узорами расположилось несколько мулл. В своих белых чалмах они походили на белоголовых орлов-стервятников, слетевшихся на падаль.

— О, возлюбленные рабы божьи! — тянул один из них медоточивым голосом, обращаясь к толпе. — Строго соблюдайте тридцатидневный пост, не пропускайте пятикратную молитву-намаз, давайте полагающуюся долю милостыни со своего имущества. Раб божий да не противится власти! Всякий помышляющий худое на царя, о котором сказано, что «он не бог, но с богом неразлучен», никогда не будет благоденствовать на этом свете, а на том, будучи опозоренным, попадет в ад. Ведь

говорится же: «длинна десница у бога, у царя — укрюк». Замышляющего недоброе постигнет та же участь, что и этих вот злоумышленников.

Какой-то высокий старик в светлом чапане и белой чалме, выбивая дробь на подносе, тихо загнусавил;

«Участь арестантов

Сами наблюдайте.

Чтоб избавиться от бед —

Милостыню дайте».

По всему было видно, что это один из подручных ишанов и ходжа, которые, пользуясь такими моментами, собирают милостыню.

— Расскажи-ка нам какую-нибудь притчу,— закричали ему из толпы.

— Спой о том, как хан велел сбросить с минарета свою неверную жену!

— Вот-вот! — подхватили с помоста. — Спой про жен, изменяющих мужьям! Расскажи притчу о преступниках, подымающих руку на царя!

В расстеленные на земле платочки величественно насупившихся мулл и ишанов посыпались со всех сторон подаяния.

Каримжан, сын бая Бабабека, засунул руку в правый нагрудный карман и вынул оттуда хрустящую десятирублевку. Четыре муллы, восхищенные его щедростью, схватили за четыре угла платок и приподняли его. Бросив в него десятирублевку, Каримжан медленно вытянул из левого нагрудного кармана серебряные часы. Бережно открыл, приложил к уху и снова торжественно положил в карман. Потом с важным видом поднял голову и осмотрелся по сторонам.

— Не отказывайтесь, братья, от подаяния ради спасения своих душ. Того, кто забыл о боге и не приносит подаяния постигнет та же участь, что и этих несчастных,— проговорил он, указывая на арестантов.

— Аминь! Да спасет господь вас от напасти, да не оставит он вас своими милостями! — благословили муллы Каримжана.

Пораженная щедростью Каримжана и торжественным благословением мулл, толпа притихла.

— Ведут, ведут! — вдруг закричали со всех сторон, и народ снова заволновался.

Арестанты подходили к чайхане.

— Вот этот — киргиз.

— А вон тот — озорник Митька.

— А это Мамажан, брат бедняка Орунбая! — зашептали по рядам.

Каныбек шел в первой шеренге. Потемневший, изможденный, он отыскивал кого-то глазами в толпе. Взгляды остальных арестантов тоже не отрывались от стоявших по сторонам людей. Это были взгляды томящихся в железной клетке соколов, бессильно взмахивающих крыльями. В них тлели последние искры надежды.

— Вот он, Анархан-джене! — шепнул Алым, показывая на Каныбека.

— Милый брат! — заплакала Сакадай.

— Где, где? — Дарияхан откинула чадру и высоко подняла над головой Эркина. — Вон твой отец! Смотри, смотри на него. Ну, видел, родной мой, это твой отец! — Она бросилась было вперед, чтобы показаться Каныбеку, но конный полицейский преградил ей путь.

Анархан тоже откинула паранджу, чтобы ее заметил Каныбек.

Каныбек заметил, наконец, Алыма и, охваченный радостью, рванулся к нему.

— Как вы, живы-здоровы? — крикнул он хриплым, приглушенным голосом.

От волнения у Алыма перехватило горло. Он поставил перед собой Сакадай, потом схватил за руки Анархан и Дарияхан и закивал головой, показывая на Эркина, выпущенного им вперед.

Слезы мешали Сакадай смотреть. Если бы сейчас Каныбек позвал ее: «Милая Сакадай!» — она готова была закричать. Внезапная мысль о том, кого же брат поцелует первым — ее, сестру, или сына, — помешала ей разрыдаться.

Старания Алыма достигли цели, — Каныбек увидел всех. Сердце его замерло. «Эх, сбросить бы кандалы, вырваться из колонны, подбежать бы к сыну и прижать его к груди!»

— Прощайте, дорогие мои! — крикнул он сквозь слезы. — Отправляют на двадцать лет. Не отчаивайтесь, я скоро вернусь!

Алым с опаской оглянулся по сторонам — нет ли соглядатаев. Но поскольку вокруг было много и узбеков, и киргизов, съехавшихся на базар, никто не понял, к кому были обращены слова Каныбека.

Колонна свернула от реки на большую дорогу, ведущую в Андижан.

— Джене! Неужели брат так и не подойдет к нам? — спросила в отчаянии Сакадай.

— Ах, если бы он мог подойти! — ответила, плача, Анархан.

— Ты, ведь, ребенок, тебе ничего не будет, беги к нему сама! — шепнула Дарияхан.

— Беги! — поддержала и Анархан.

— Абаке! — вскрикнула Сакадай и бросилась к Каныбеку. Тот вздрогнул, обернулся и, увидев бегущую к нему сестренку, раскрыл объятия, готовый поцеловать ее не один, а тысячу раз. Сакадай прорвалась сквозь строй полицейских и, когда до Каныбека оставалось всего несколько шагов, один из охранников грубо отшвырнул ее. Конвоир, шедший сзади Каныбека, подтолкнул его в спину прикладом и погнал вперед. Сакадай снова бросилась за ним, но подоспевший полицейский схватил ее за руку и с силой отбросил в сторону. Сакадай с плачем покатила в пыль. К ней подбежал какой-то седобородый русский и помог подняться с земли.

Кровь, бежавшая по рассеченному лицу Сакадай, ее жалобный плач невольно вызывал слезы на глазах у всех присутствующих. На помощь девочке поспешил и узбек, по лицу которого тоже струилась кровь, алыми пятнами расплывавшаяся по его белой рубашке.

— Не плачь, дочь моя! Бедняжка! — успокаивал он девочку, взяв ее на руки. Это был Орунбай. Когда он рванулся к брату Мамажану, полицейский рассек ему лицо.

К ним подбежали жена Орунбая, потом невестка, а затем — Анархан, Дарияхан, Алым. Вместе с ними подошла какая-то русская женщина, ведя за руку четырехлетнего мальчика. Разделяя их горе, со всех сторон к ним подходили посторонние мужчины и

женщины. При виде убитых горем людей их сердца сжимались от страданий, глаза наполнялись слезами.

А колонна арестантов тем временем уже обходила Сулейман-гору с севера и вскоре совсем исчезла вдали.

<...>

12. ЖАЛО ЗМЕИ

Чем тяжелее становилось жить простому люду, тем свирепее делались баи, манапы, волостные правители, бии, старшины и прочие начальники, тем злее выжимали они последние соки из бедняков. Люди целыми семьями нанимались в батраки к богачам, брали у них тягло для извоза, работали на них не покладая рук, чтобы только получить от них на лето молочный скот, переезжали и переходили пешком с места на место в поисках лучшей доли, становились бродягами. Словно всемирный потоп страданий и горя залил всю землю. Куда ни пойдешь, везде раздается плач, стоны, тяжелые вздохи и вопли.

Накинулись беды на бедняка,

Все стало повсюду втридорога.

Измучились люди, устали,

Пропали бедняги, пропали.

По горсточке — земли,

По капле — воды.

А слезы — морями,

А соль их — горами...

Пошли в счет налогов царю —

Веревки,

Мешки,

Аркины.

Черед, как видно, настанет

Расплачиваться волосами...

Где же та яма,

В которой укрыться?

Где же та горка,

Которой прикрыться?

Нет в жизни дороги бедняге,

Кроме пути на тот свет...

Так пели комузчи о горе народном.

Войне русского царя с Германией не было видно конца. «Что нам ждать от нее кроме несчастий, — жаловались в народе. — Налоги связали нас по рукам и ногам. Чтобы уплатить их, приходится продавать не только свое имущество, но и самих себя, свою кровь

и жизнь. Всех мужчин от мала до велика переписали и не сегодня-завтра погонят на войну, как быков на бойню. Где же клятвенное обещание царя, что он не будет брать наших мужчин на войну?»

— О, господи, создатель наш! К добру ли все это? Нет ни скота, ни земли, а тут еще мужчин угоняют на тыловые работы в мардикеры. Как прожить нам, несчастным женщинам и детям? Если нас сделают рабочими, то сколько и на кого мы будем работать? Где тот враг, с которым мы должны биться с оружием в руках? Где тот друг, который все объяснит нам справедливо и так же точно, как можно разбить камень на две половины?

— Зачем нам отправляться в солдаты или рабочие? Кому какая от этого выгода?

Так спрашивали одни.

— Кое-кому может быть и выгодно, — отвечали другие. — Говорят, сынков баев и чиновников в мардикеры не берут.

— Это почему же?

— Много будешь знать, скоро состаришься.

— Раз ты не бог, так тебе и суждено жить так. Или тебе неизвестно, что своя рука владыка? Надо уметь записывать своих сынков так, как это доступно только одним богатеям: тем, кому двадцать пять, записать, что нет и пятнадцати, а тех, кому больше двадцати пяти, зачислить в сорокапятiletние.

— Конечно! И совсем по-другому можно обойтись с нашим братом. Старика, которому за пятьдесят, записать меньше сорока, парню, которому нет и пятнадцати, дать девятнадцать. Разрядку-то надо выполнять!

— Если гора, на которую ты надеешься, оползла, кто защитит тебя?

«Скажи лучше, как найти ту гору, которую следовало бы сравнить с землей, столкнуться с той скалой, которую надо бы раздробить в песок? Вот тогда бы мы и зажили как полагается».

Так говорили в народе.

Двум приятелям, Муслимахуну и Мамазару, много лет работавшим рука об руку, пережившим вместе множество испытаний, пришлось все-таки еще прошлой осенью расстаться. Забрав с собой Хашиятхан, Мамазар отправился на услужение к одному ошскому баю, а Муслимахун, взявши за руки Сакадай, Анархан и Эркина, пошел наниматься конюхом к баю Кайназару, Муслимахун стал пасти лошадей, Сакадай доила кобылиц и разводила огонь в очаге, Анархан шила, латала, стирала.

Кайназар был известным богачом, происходившим из киргизов долины Коргошун, что лежит на восток от города Ош. Ему было уже далеко за пятьдесят. Он был высок ростом и дороден. Черная борода его торчала, словно колючки у ежа, живот выпирал, как наполненный бурдюк, жирная шея дыбилась складками, руки оттопыривались в стороны. Но, как говорит пословица, «хотя у нее платье и грязное, да она жена бая», и Кайназар, хотя он был и безобразен, но слово его имело вес для всех окружающих. Он внушал почтение не только пятидесятникам, старшинам, но и приезжим чиновникам. У него было около пятидесяти коров, больше двухсот лошадей, свыше тысячи овец, усадьба в пять десятин земли, окруженная садом. Белая, огромная, как шатер, юрта Кайназара виднелась издалека. Две белые юрты поменьше принадлежали его двум сыновьям. А поодаль, в маленьких темных юртах, ютились его родичи.

Вся степь вокруг его усадьбы принадлежала ему. Когда своей земли стало мало, Кайназар отобрал участки у своих бедных родичей, заявив, что земля им все равно ни к чему, не сегодня-завтра старшины все равно продадут ее в возмещение налогов; уж лучше он сам, идя на выручку своим, заплатит эти налоги. На самом же деле он поступил по-другому — отправил свою жену Тоту с ягнятами и двумя бурдюками кумыса к старшине. Старшина, дескать, сам найдет, как дело поправить. А тот взял да и распределил эти налоги па всю остальную часть населения, и дело с концом.

Родичи Кайназара были люди неимущие, поэтому круглый год работали на него: пахали, сеяли, убирали хлеб, косили сено. Об оплате своих трудов они даже не заикались. И сам Кайназар никогда им не говорил: вот, де, вам за пролитый вами пот. Считалось большим благодеянием одно уже то, что они кормились у своего благодетеля.

— Разве отрежешь нос за то, что он сопливый? — говорил им Кайназар в приливе родственных чувств. — Поскольку вы мои родичи, куда я вас прогоню? Живите, мне для вас ничего не жаль, только и вы ничего для меня не жалейте.

— Надо еще поискать такого справедливого человека, как наш Кайназар-ака,— умилялась в ответ нищая родня. — Раз мы ни на что больше не способны, как только трудиться, значит надо работать, не жалея сил.

Хотя Кайназар богател и влияние его росло, однако ему пришлось пережить позор, который и не снился его предкам. В прошлом году на джайлоо двое сыновей Кайназара избили сына тысяцкого Джутаке из кишлака Лангер. С тех пор тысяцкий перестал благоволить к Кайназару. Поэтому при переписи населения для призыва на тыловые работы он внес в списки на общих основаниях и сыновей Кайназара. Кайназар сбежал туда, метнулся сюда, но пришлось все-таки поклониться тысяцкому. Захватив с собой лошадь и охотничьего беркута, он явился к Джутаке. Но Джутаке, заявив, что тот привел не скакуна, а простую лошадь, освободил только одного сына.

— Вот такие-то дела, Кайназар-бай,— заявил он своему скупому гостю,— придется все же послать. Или нанимай за него кого-нибудь другого.

Кайназар долго горевал, но вскоре нашел выход из положения.

... Перед закатом солнца, когда Анархан и Сакадай, подоив кобылиц, отпустили с привязи жеребят, вдали показался Муслимахун.

— Наконец-то! Неужели не нашел?

— Кто его знает куда она запропастилась,— ответил он, — Нет того места, где бы я ни смотрел, не осталось человека, у которого бы я не спрашивал. Но видно, сколько камень о камень не бей, воды все равно не высечешь. Что-то здесь не совсем ладно. Куда могла деться лошадь, которая не выходила из табуна.

— Украли думаешь?

— Что украли, а не сбежала — это ясно. Но вот кто мог украсть из-под носа, кроме своих?

— Какое бесстыдство. Да кто же это мог сделать?

— Думаю, что кроме самого Кайназара некому.

— Что ты? Разве он сошел с ума, чтобы красть у себя самого?

— Эх, джене! Да разве мало теперь развелось таких манапов, которые способны на любые плутни, лишь бы обобрать нашего брата, как липку.

— Да не может быть. Как же он не боится держать ответ перед богом?

— Э, Сакиш, ты говоришь, как ребенок. Разве есть на свете баи, которые помнят бога и живут по шарияту? Все они скорпионы, фаланги, змеи, способные только жалить нас. Если все это видит бог, все равно от этого им ничего не делается. Как видно, сам бог на стороне гадов.

— Ой, зачем ты говоришь так?! Разве можно поносить бога? Покайся сейчас же! — рассердилась перепуганная Сакадай.

«Кошунственные» слова Муслимахуна не понравились и Анархан. Но она понимала, что он сказал их с горя.

— Ну как, нашлась, наконец, серая, с отметиной на лбу? — спросила, входя в юрту, Тоту, жена Кайназара.

— Нет. Я просто весь извелся, пока искал.

— Ах, чтоб тебе пусто было. Что нам теперь делать? С горя даже внутренности заливает кровью. Ведь это же настоящий Чолпон, покровитель наших стад, Камбар-ата, — покровитель лошадей. Чтобы вам лишиться единственного! — принялась осыпать проклятиями Тоту всех без разбору.

«Это она по моему адресу, на моего Эркина», — ахнула Анархан, заливаясь слезами.

— Ах, если бы у нас была лошадь, которую можно было бы отдать взамен! — зарыдала Сакадай.

Прошло еще два дня бесполезных поисков. Муслимахун собирался уже бежать, но Кайназар зорко следил за ним. На третий день утром он подозвал его к себе.

— Лучше поговорим начистоту, Муслимахун-байбача! Серая с отметиной была настоящим скакуном. В прошлом году мне давали за нее два раза по девять голов крупного рогатого скота да пятьдесят голов овец. Это давал Ормон из Оро-Тюбе. Вот чего стоит эта лошадь. Если даже ты сам, жена и твоя джене на всю жизнь сделаетесь моими рабами, вам и тогда не выплатить ее стоимости.

Но хотя ты потерял лошадь из-за своей нерадивости, я все же не хочу тебе дурного. В уплату за стоимость моего скакуна поезжай в мардикеры вместо моего младшего сына. За плохое, как говорится, надо отвечать добром. Не я затеял эту войну, не я призываю в мардикеры. Эта беда пришла для всех. Если тебе удастся вернуться хоть завтра, хоть через два года, я все равно прощу тебе всю стоимость коня. А откажешься ехать, сегодня же подавай мне две девятки скота и пятьдесят овец. Я найму себе человека и за одну девятку. Иди, посоветуйся с женой и приходи с окончательным ответом.

Маленькая бедная юрта наполнилась плачем. Муслимахун готов был убить Кайназара, но ему жаль было Сакадай, Анархан и Эркина. И сколько они все втроем ни раздумывали, ничего другого придумать не могли. Когда солнце перевалило за полдень, Муслимахун сел на клячу Кайназара и вместе с хозяином отправился в Ош.

— До свидания, джене! — говорил он на прощанье, едва сдерживая слезы. — Не отчаивайтесь, как-нибудь проживете до моего возвращения. До свидания, Сакиш, жди меня и не думай, что я какой-нибудь бродяга-кашгарец. До свидания и ты, единственный сын моего единственного друга! — Муслимахун соскочил с лошади, расцеловал мальчика в обе щеки и, снова вскочив в седло, поскакал догонять хозяина. Анархан и Сакадай, у которых слезы лились рекой, не сводили с него глаз, пока он не скрылся вдали.

Вершины Алая покрылись черными тучами, горы, подобно погруженному в горе седобородому старцу, мрачно нахмурились, земля омертвела, поднимая к небу песчаные вихри.

* * *

Сдав Муслимахуна на сборный пункт и получив документ о том, что его сын отправился на тыловые работы, Кайназар уже в сумерках возвращался домой навеселе. И одна только дума несколько омрачала его радостное настроение: как ухитриться, чтобы серая кобылица с отметиной на лбу, украденная его собственным зятем, не попала на глаза Анархан?

Осиротевшая семья Анархан сидела в это время у тоскливо мерцающего очага в своей юрте.

«Даже в лучшие времена у нас не было возможности спечь девять хлебцев в честь святого Бехаутдина,— горестно размышляла Анархан, уставясь на огонь. — Запах мяса мы давно уже забыли, и все-таки остались живы. Но как нам теперь прожить без толокна, которого не хватит даже и на одну кашу?»

Эркин сидел в почетном углу юрты, поджав под себя колени. Сакадай не отрывала от него грустного взгляда. Огонь в очаге медленно погасал. В юрте темнело. Жалкая лачуга с молчаливо застывшими в ней людьми напоминала какую-то стародавнюю пещеру, заставленную каменными изваяниями.

* * *

Не прошло после отъезда Муслимахуна и пятнадцати дней как к Анархан заявился старшина с пятидесятником и потребовал в трехдневный срок уплатить налог с юрты не меньше как десять рублей.

Сидя вечером возле своей юрты, обе женщины, Анархан и Сакадай, тщетно пытались найти выход из создавшегося положения. Обсуждая нависшую над ними опасность, они заметили, как к сидевшему неподалеку от своей юрты Кайназару подошел какой-то нищий. Одетый в рубище, сквозь которое повсюду просвечивало грязное тело, старик, которому было уже далеко за шестьдесят, оперся на короткую палочку и запел дребезжащим голосом:

Потемнели высокие горы,
Понахмурились грозные тучи
Когда сын мой — опора моя.
Ушел в мардикеры...
Вслед за этим, налогом на юрту
Старшина — мирской захребетник —
Обложил старика, словно вынул
Из бессильного тела душу.
Нищета старика изнуряет,
Голод с моста на место бросает,
Гонит по миру побираться,
С сумой да с молитвой скитаться.

Ош и старый Наукат
Обошел я с молитвой кругом,
Но в обмен на святые слова
Только крохи собрал едва...
Умереть бы —
Да жизнь дорога;
Лечь бы в землю —
Да почва тверда;
Где ж покой теперь обретет
Бесприютного старца душа?

— Хватит, хватит! — заорал на него Кайназар. Уходи прочь.

Бедняга замотал головой, как старый вол, которого ударили по рогам, и направился к Анархан.

— Что бы ему дать? — спросила Сакадай, потрясенная жалким видом старика.

— Я уж и не знаю, милая, — вздохнула Анархан. — Поищи что-нибудь там, в юрте.

Нищий остановился перед дверью. Едва сдерживая слезы, он уже собирался снова прорыдать свою песню, но его остановила Сакадай.

— Не надо, не надо, дедушка, мы уже слышали ваше пение. Жаль, что мы такие же горемычные, как и вы, поэтому не можем ничего дать больше.

Она отсыпала в сумку старика полчашки толокна. Старик вытер слезы рукавом, благодарно взглянул на обеих женщин.

— Спасибо вам! Хоть вы и сами беднее бедных, а все же куда щедрее многих, живущих в довольстве. — Он кивнул головой в сторону Кайназара. — Я вот тоже жил неплохо. Но завидуший бай затеял против меня тяжбу, и я потерял весь свой скот. Жена с горя умерла, а единственного сына отправили в мардикеры. Вот я и стал нищим. Что теперь делать, как прожить хотя бы до весны? Злая судьба, как борзая, хватает за горло и не дает вздохнуть.

Старик замолчал, опустил в отчаянии голову, сложил ладони перед лицом для благословения.

— Дай вам бог благополучия, и да обратится дом злодея в камень. Все, кто уехал в мардикеры, пусть возвратятся живы-здоровы. Аминь! — Благословив сидевших перед ним женщин, старик медленно пошел дальше.

— А ну-ка, подойди сюда! — подозвал Кайназар Анархан так бесцеремонно, словно обращался к собственной жене.

— Чтоб его ведьма поразила, проклятого! — выругала шепотом бая Сакадай. — Даже по имени называть вас не хочет.

Анархан покорно направилась к хозяину, не подозревая, каким ревнивым взглядом следила за нею из юрты Тоту, жена бая.

Еще в первые дни после приезда сюда, Анархан, обслуживая гостей хозяина, топила в его юрте очаг, прислушивалась к их разговору и веселому смеху. Известно, что когда в большой юрте смеются, то в маленькой в ответ улыбаются. Так и Анархан, заразившись общим весельем, иногда улыбалась. Заметив это, Тоту немедленно устроила мужу скандал. Анархан, де, смотрела на тебя и смеялась в ответ на твои слова. Стало быть, между вами что-то нечисто. Кончилось это тем, что муж побил жену и она замолчала.

Не дальше как вчера, Анархан сама подошла к Кайназару с просьбой освободить ее от налога и взять Эркина в овечьи пастухи. Но Кайназар отказал ей, заявив, что Эркин еще слишком мал и не справится с большим стадом. Тоту видела, как Анархан подходила к ее мужу, поэтому снова устроила ему скандал: Анархан, дескать, набивается к нему в жены, а он этому благоволит. Успокоилась она только тогда, когда муж снова надавал ей тумаков.

Сегодня, как видно, опять назревала очередная буря. Ничего не подозревая, Анархан приблизилась к Кайназару.

— Присядь-ка сюда, Джамыш!

«Что это с ним? — испуганно взглянула на него Анархан. — До сих пор звал меня просто Джамал, а теперь вдруг я стала для него Джамыш. Уж не расставляет ли он сети, чтобы сделать со мной недоброе?»

— Ну, как, есть какие-нибудь вести от твоего мужа, Джамыш?

— Нет. Давно уже не было.

— С каких же это пор?

— С ранней весны.

— Гм... Кому же это удалось одолеть перевал в такую раннюю пору?

— Это был узбек из Оша, друг Муслимахуна.

— А,— пробормотал Кайназар, наблюдая за всадниками, появившимися в долине.

«К чему это он меня допрашивает? — снова подумала Анархан, вспоминая проделки Саламатхан, жены Камилжана. — Неужели опять такая же напасть?»

— Ты, кажется, говорила, что твой муж киргиз?

— Да.

— А как его зовут?

— Акылбек.

— Из каких же он мест, из какого киргизского рода?

Анархан растерялась.

— Я точно не помню. Но кажется, из внутренних кипчаков.

— Кто же из его родичей был самым богатым?

— Не знаю. Ни братьев, ни близких родичей у него не было.

— А-а, стало быть, из безродных сирот. Так, так... Знаю я таких бродяг, которые таким красавицам, как ты, но могут дать даже четвертушки чая. И что только за времена! Наверно, он и не возвращается-то к тебе только потому, что гол как сокол. Уж лучше бы такому совсем не родиться мужчиной. Что это за мужчина, который не может сесть перед

своей черноокой красавицей и выпить с ней чайник чаю? Ох, как жаль мне тебя, Джамыш! Как же ты ошиблась, что вышла замуж за бедняка. Пропала ни за что, да и только. Сама-то ты откуда родом?

Застигнутая врасплох, Анархан снова растерялась.

— Мы из Узгена, из рода Тенизбая! — выпалила, наконец, она, вспомнив, как кто-то называл это имя.

— А из какого колена? От Биаймырзы или от Булата, от Жалантоша или дальнего рода Сары из Сары-Камыша?

— Я плохо помню родителей. Мать умерла, когда я была еще совсем маленькой и сестра увезла меня в Кара-Таш.

— А где жила твоя сестра в Кара-Таше? В Кабылан-Коле или Кызыл-Су? А может, возле Алтын-Супэ, или в Ункуре? Тогуз-Булаке или Коргоне? Там у меня живут дед и бабка по матери. Или, может, ты жила в аиле Тойчу-датки или Соорона-датки?

Анархан с ужасом подумала, что сейчас она запутается и выдаст себя.

— Кажется, мы жили в аиле Тойчу-датки, теперь уж я точно не помню, — ответила она, чуть дыша. — Я едва подросла, как моя сестра умерла, и мне пришлось жить у разных людей, а потом вышла замуж и уехала к мужу.

— Как же этот бродяга попал в Ичкилик и Кара-Таш?

— Да вот, все из-за женитьбы.

— Гм... Стало быть, если тебя убьют, то некому и мстить за твою кровь?

— Когда надо помочь, так никого нет, а как есть что взять, так всегда отыщутся родичи. К счастью, хотя у нас и нет близких родичей, зато есть много настоящих друзей.

— Э-э, Джамыш! Видели мы этих настоящих друзей. Чем верить другу, лучше готовиться к раздаче милостыни на помин души! — рассмеялся Кайназар и принялся задумчиво разглаживать свою спутавшуюся черную бороду.

— А почему у тебя в речи нет-нет да прорвутся уйгурские словечки? — он пристально посмотрел на Анархан.

— Так ведь у меня же зять уйгур, — нашлась Анархан.

— А, а! Возможно, возможно... Кажется, кто-то едет к нам, в наш аил! — вдруг заторопился он, вглядываясь в приближающихся верховых. — Вот несчастье, не дали досказать тебе то, что собирался сказать. Видишь ли, Джамыш, запала мне в голову одна мыслишка... Хотелось бы, чтобы она претворилась в дело. Потому что никак не могу отделаться от нее, будто в капкан попался. Думается, что и ты не будешь против, Джамыш! Если послушаешь меня, все будет по-твоему, что бы ты ни задумала. Сама знаешь — кто утешит живую душу, тот будет благоденствовать в своих делах. Зачем тебе ждать безродного пса и проводить зря золотое время своей жизни? Подумай, Джамыш! Подумай, милая! А я пойду встречу этих людей. Они ко мне как раз по этому делу. — Кайназар встал и зашагал навстречу верховым.

— Салям-алейкум! — приветствовали хозяина прибывшие.

— Алейкум-салям! Эй, прими лошадь у старшины! Привяжите коней подальше от юрты! — засуетился Кайназар.

Старшина и пятидесятники, которые прежде никогда не задерживали на Анархан даже и взгляда, на этот раз учтиво поприветствовали ее. Сухо ответив им, Анархан торопливо направилась к своей юрте. Сакадай, которая чесала шерсть на шаровары для Эркина, с удивлением взглянула на бледное лицо Анархан и вскочила с места.

— Что случилось, джене?

Анархан остановилась, схватилась за притолоку двери и застыла на несколько мгновений, кусая губы.

— Ах, и почему я не умерла еще ребенком? — зарыдала она, бессильно опускаясь на пол.

— Что случилось, милая джене? — подхватила ее Сакадай под руки.

— Лучше бы провалиться твоей джене! Видно, вы будете счастливы лишь только тогда, когда я умру,— всхлипывала Анархан.

— Ну, говорите, что случилось? — залилась слезами Сакадай.

— Моя родина и родичи, друзья и родители — это ты и Эркин. Если бы не вы, я не жила бы на свете ни одного дня. Землю заполонили распутные люди, потерявшие стыд и совесть. Справедливости нет. Неужели мне одной суждено переживать все эти несчастья? — простонала Анархан. Она рассказала Сакадай обо всем, что только что предложил ей Кайназар.

— Беги сейчас же туда,— сказала она Сакадай,— повозись с котлами возле гостей и послушай, о чем они будут говорить.

Сакадай со всех ног бросилась к юрте Кайназара.

Заметив ее у котлов, Тоту набросилась на нее с бранью.

— С тех пор, как молодичи потеряли всякий стыд, испортились нравы. В наше время мы в твоём возрасте не только не входили в юрту, где сидят мужчины, но даже не знали, куда деваться при виде одной мужской шапки. Бывало, мы не осмеливались показываться не только перед чужими мужчинами, но и перед собственным мужем. Отчего это вы, нынешние, стали такими бесстыжими, ума не приложу! То ли хвалитесь молодостью, то ли опьянены собственной красотой?

Сакадай сразу стало все ясно. И хотя до двери всего было два шага, расстояние это показалось ей равным двухдневному переходу. Выскочив из юрты, она опроретью бросилась домой.

— Байбиче, разговаривайте потише, дома гости! — прикрикнул на жену Кайназар.

— А для чего ее звали? Или сердце ваше изболелось и теперь прыгает жеребенком?

— Зачем огороднику плети от дыни?

— Да ведь теперь время дыней, кажется, уже прошло! — пятидесятник посмотрел сперва на Кайназара, а потом, улыбаясь, взглянул на Тоту. Хотя ей было уже тридцать пять лет, она, чтобы казаться в глазах мужа молодой, красила зубы черной краской, румянилась, подводила брови, одевалась как молодича.

— А что для вашего Кайназара время?! — заверещала она, словно трещотка. — Хотя ему и перевалило уже за пятьдесят, но его сад еще в полном цвету, розы раскрылись, соловьи заливаются, кукуруза вся в початках, виноград гроздьями свисает с ветвей, дыни лежат с краю грядок. Полюбуйтесь только, у вашего аке дыхание выпекает лепешки с

тмином, душа разгуливает по балкону в Ташкенте. А что мы? Хоть и считаемся молодыми, но, как на ослином базаре, цена нам уже никудышная.

Старшина Азимбай, знавший, что Тоту любит горячиться на людях, нахмурился. Отхлебнув из пиалы, он сплюнул, расправил усы.

— Хотя Кайназар-баю и стукнуло пятьдесят,— заговорил он внушительно, — но он для нас все равно, что юный молодец. Напрасно вы, Тоту, стараетесь сделать Кайназар-бая старым. Известно, что и волк, чтобы не показывать свою худобу, щетинится. Так что не пытайтесь запугать его пословицей: «Кто сел на осла, у того ноги не знают покоя, кто имеет двух жен, уши того не знают отдыха». Зря вы стараетесь. Если бог скажет: «Ты мой раб», так Мухамед не возразит ни слова. Если люди решат, куда вы денетесь?

— Вот именно! — напыжился Кайназар, вознесшись от удовольствия на седьмое небо.

— Правильно говорится,— продолжал вошедший в раж старшина,— «пусть жена не упрямится, а если и будет упрямится, так все равно делу не помешает». Коли уж мы захотим, так все равно сделаем по-своему, а вы только уроните свое достоинство. Так что уж лучше, байбиче, не противьтесь. Не сердитесь за то, что называю вас байбиче и не старайтесь казаться моложе. Кайназар стоит выше нас по положению, поэтому, называя вас байбиче, мы оказываем ему честь.

Гости прыснули от смеха.

— Если женщине под сорок, она уже старая,— подлил масла в огонь Кайназар.

— А, чтоб тебе пропасть! — выпучила на него глаза Тоту.

— Ах, нет, извини,— хихикнул Кайназар. — Нашей Тоту минуло всего семнадцать и пошел восемнадцатый!

Оглушительный хохот гостей потряс всю юрту.

— Лошадям вредны мышки, а людям — раздоры, — не прекращал своей атаки Азимбай. — Так что лучше уж не упрямитесь. Уж если дыню разрезал, так не спрашивай, есть ее или нет. Каждому своя ноша, джене! Не забывайте: «если дождь разгневется — он пойдет еще сильнее, а если разгневется жена — то она заработает только плетку». Мы приехали к вам, как к уважаемой женщине, чтобы попросить вашего совета и согласия. Так уж лучше вы скажите: «ладно, братец, чем ломать твою ветвь, лучше пусть переломится шея демона».

— Конечно,— не сдавалась Тоту. — Если вы обо всем уже договорились с той, которая хочет выйти замуж за моего мужа, то вы избьете и свяжете меня, а свое дело все-таки сделаете. Но ведь бывают все-таки какие-то причины, чтобы иметь не одну, а несколько жен. Одному необходимо жениться потому, что у него нет детей, другому — оттого, что мало в семье народу, третьему из-за того, что жена его состарилась. Но ведь есть и такие, которые зарятся на красоту, гонятся за свежатиной. Хотя бы уже и старик, а все же хочет жениться на молодой. Хоть сам страшен лицом, но взять хочет красавицу, и хоть у самого рыло как у коровы, а нюхать хочет все-таки ароматное. Сам, как сарыч, а в пару себе хочет взять белую голубку. Разве это не так, скажи, Кайназар?

— Ну, хватит,— начал сердиться старшина. — Хорошая скотина никогда не уйдет со двора. Если даже она и подохнет, так наедятся супу односельчане. Хоть вы и стоите на том, чтобы самой возиться с детьми и скотиной, но я этого не желаю. Я хочу, чтобы вы от имени дома Кайназар ездили на свадебные пиры и званые обеды, а у себя дома сидели на

почетном месте в качестве уважаемой старшей жены, байбиче. Поэтому я и решил выдать Джамал за Кайназара-аке!

— А кто будет в ответе перед мужем Джамал?

— Э, джене! Или тебе не известно, что лучший урок для бедняка это пять раз огреть его плеткой? Разве можно мучить такую женщину, как Джамал, из-за какого-то бродяги, который не может прокормить жену? Разве может быть кто-нибудь в ответе перед псом, который сам не побоялся быть в ответе перед сыном и женой? Если мы такого нищего и обдурим, так совершим не зло, а благое дело — откроем сады для Джамал.

— Но ведь и еж называет своего детеныша «мой гладенький». Хотя ее муж и беден, она только и говорит о нем!

— У кого плохая земля, тот хвалит скот, у кого низкое происхождение, тот хвалит мужа. Да разве вы встречали таких женщин, которые хаяли бы своих мужей? Даже в своих песнях они называют труса героем, барсука — тигром, бедняка — султаном, скупого — щедрым, сумрачного — радостным. Оборванца, который раздирая глотку от крика, пасет овец, жена величает «мой падишах». Это уж ваша привычка, джене, выдавать ложь за правду, а безногого за ходячего. Всякий камень остается на том месте, где он упал. Всякая женщина хочет кормиться при муже, хотя он и бедняк. Вашего брата сам шайтан не поймет. Если у мужчины дорожка одна, то у женщины — их тысячи. Поэтому и семьдесят мужчин не смогут понять одной женщины.

Вот возьми, к примеру, сноху Джоробая. Я говорю ей, когда она овдовела, выходи замуж за Джоробая. А она отвечает: «Мне всего шестнадцать, как я могу выйти замуж за шестидесятилетнего? Лучше повеситься на очкуре, чем выходить замуж за старика. Даже мой труп не ляжет рядом со стариком».

Ну, делать было нечего, пришлось поддать ей ногою под ребра, схватить в охапку, прочесть брачную молитву и с помощью других женщин положить в постель Джоробая. И что же вы думаете? Теперь сидит и не наворкуется: «Ах, мой милый старичок, пусть все твои беды падут на меня! Лучше пусть умру я, а не ты, лучше пусть подохнут молодые парни, чем у тебя разболится голова».

Гости снова дружно расхохотались. И больше всех надрывался от смеха Кайназар. При этом он издавал такие звуки, точно это не человек смеялся, а в бурдюке палкой мешали кумыс.

— Но ведь та была вдовой, а эта — замужняя! — чуть не плача, взвизгнула Тоту. — Какое же вы имеете на нее право?

— Именно жены таких бродяг и бывают самыми податливыми и покорными. Дело в вас, а не в ней. Если вы, когда она будет целовать Кайназара-аке, говоря «мой дорогой старик», не будете поднимать скандала, все будет в порядке.

Мужчины снова рассмеялись, а Тоту, не найдя что ответить, только стиснула зубы.

— Так вот, джене, мы ждем от вас такого ответа, который был бы слаще меда, дороже яхонта. Поскольку мы просим вас все, то нехорошо будет, если вы скажете «нет». Имейте в виду, что мы пришли сюда, уважая вас. Если бы мы вас не уважали, разве мы не поступили бы, как нам вздумается? Ну, так как, согласны? Если так, давайте позовем сейчас Джамал и прочтем брачную молитву. А когда Джамал станет покорной, я найду куда пристроить и ее сестру. Этому кашгарцу, что ушел в мардикеры, незачем иметь женой киргизку! — Старшина заранее облизнулся и с трудом перевел дыхание.

Тоту сидела мрачная, словно окаменела.

— Молчание джене означает ее согласие! — проговорил один из гостей.

— В таком случае, отправляйся к Джамал и веди ее сюда! — приказал старшина пятидесятнику.

Пятидесятник мгновенно исчез, и в юрте наступила напряженная тишина. Нетерпеливо поглядывая на дверь, все ждали появления новой молодой жены Кайназара.

— Ну как, идет? — спросил старшина, обращаясь к появившемуся у входа пятидесятнику.

— Кроме остова старой юрты я никого там не нашел.

— Как? Разве они не легли только что спать?

— Не знаю. Скорее всего они, захватив пожитки, бежали.

Первое мгновение все сидели молча, словно пораженные громом. Тоту, у которой снова затеплилась надежда, улыбнулась.

— В погоню сейчас же! Немедленно! — заорал не своим голосом Азимбай. — Не я буду старшиной, если не изловлю ее, и, разрезав пятки и посыпав солью свежие раны, не заставлю умолять меня выдать ее замуж за Кайназара!

Он как полоумный бросился из юрты.

«Достаточно мельничному колесу только шевельнуться, как жернова готовы уже разлететься», — говорится в пословице. И уж если разъяренный старшина вскочил на лошадь, так разве полы одежды пятидесятника и десятника запутаются в седле?

Пустив лошадей вскачь, они в темноте помчались в разные стороны на поиски Анархан.

13. СВЕТ НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Разбившись на мелкие группы и стараясь держаться как можно дальше от железных дорог, беглецы пробирались на запад. Чтобы легче проскользнуть мимо бдительного ока полицейских ищек, Михаил превратился в слепца, а Ирина сделалась его поводырем. Эрнсту и Алексею пришлось разыгрывать роль коробейников, Каныбеку — впасть в юродство, а Давиденко притвориться паломником. Так следуя порознь, но не теряя связи друг с другом, измученные и голодные, они добрались через два месяца до Акмолинска и, миновав его, продолжали кочевать от одного казахского селения к другому.

Как-то вечером перед ними замаячили две одинокие юрты и они решили, не хоронясь, приблизиться к ним все вместе. При виде оборванных людей, женщины, сидевшие возле очага, испуганно поднялись. Заметив это, Капитан подтолкнул вперед Каныбека.

— Здравствуйте, джене! Не пугайтесь, мы бедные странники и никому не причиняем вреда, — приветливо улыбнулся он женщинам, в то время как остальные, из предосторожности, остановились поодаль. Из обтрепанных юрт никто больше не вышел навстречу пришельцам, не слышалось и оживленной возни ребят. Вокруг не было видно никакого скота, кроме двух коз с козлятами.

— Кто вы'? Откуда и куда идете? — спросила, наконец, одна из женщин.

— Не спрашивай нищего, откуда он идет, не спрашивай юродивого, кто он, джене! Все мы скитальцы из разных мест. У нас нет полных карманов денег, но зато и сердца наши не наполнены злыми помыслами. Единственное наше желание — добраться до

Мекки, посмотреть Медину, помолиться там. Так как нас застигла темнота, мы решили остановиться здесь возле ваших юрт, чтобы сварить себе пищу и передохнуть. Не можете ли вы дать нам котел или чайник и позволить согреть чай на вашем очаге?

Женщины переглянулись и, не отвечая, ушли в юрту. Немного погодя одна из них вынесла оттуда котел и поставила его на очаг, другая вышла с ведром воды в одной руке и двумя глиняными чашками в другой.

— Вот вам все, что у нас есть для чая, — проговорила одна из них.

— Дай вам бог удачи! — ответил Каныбек.

Давиденко налил в котел воды, развел огонь в очаге. Его спутники, опасаясь, как бы казахи не узнали, что перед ними русские, молча уселись поодаль. Капитан, уже третьи сутки чувствующий себя очень плохо, прилег на траву, еле сдерживая стоны.

— Это кто такой? — спросила Каныбека одна из женщин, подозрительно поглядывая на Давиденко, возившегося у котла.

— А это и есть наш Давид-эфенди. Он из мусульманских цыган. Три дня как вернулся с могилы святого Аипа. Ведет нас в Мекку.

При свете огня темные волосы Давиденко, выбившиеся из-под изодранной чалмы, действительно делали его похожим на цыгана.

Видя, что женщины продолжали держаться настороженно, Каныбек решил сломать их недоверчивость. Он снял с пояса домбру, которую купил у одного семипалатинского казаха, и прошелся по струнам. Изрядно потрепанные струны отозвались дребезжащим жалобным звуком.

— Это ведь наша казахская домбра?

— Пожалуй, да.

— Да и он, кажется, тоже казах?

— А кто его знает? — тихо переговаривались между собою женщины.

Каныбек ударил по струнам и, наклонив голову, тоном заклинателя произнес:

— Нет бога, кроме бога, и Мухамед пророк его! Да будут помыслы мои чистыми, как на махшаре.

— А ведь он и в самом деле мусульманин.

— А ты в этом сомневалась?

— Ты только послушай, как он говорит!

— Все религиозные люди говорят так. Даже когда мулла Алпысбай читает коран, и то сидишь и с уважением смотришь ему в рот, хотя ничего не понимаешь. А у этого понятно каждое слово.

«Кажется, им нравится то, что понятно», — подумал Каныбек и, тряхнув головой, запел:

Мы скитальцы,

Нам ночлег бы,

Чтобы путь далекий в Мекку

Облегчить хоть на часок...
Правоверный мусульманин
Нам всегда пойдет навстречу,
Даст беднякам все, что нужно:
И приют, и хлеб, и кров.
Бедный бедному товарищ,
Бедный бедному подмога,
Бедный бедному опора
И подспорье навсегда.
Кто ж другой иначе может
Облегчить друг другу участь,
Безотрадную, лихую
Долю бедняка?

— Истинная правда, мой милый,— тяжело вздохнула женщина, что была помоложе и подседа к нему ближе.

Сколько баев и манапов,
И старшин, и всяких биев
Припеваючи живут
Потом бедняков!
К стонам, жалобам голодных
Не внимает ухо сытых;
Ни на сходке, ни в собраньи
У несчастных права нет.
Если ж вздумает богатый
Оказать бедняге милость —
Берегись тогда, несчастный,
Беспросветной кабалы.
За кормежку — год работы,
Да грошовая приплата.
На нее не купишь даже
Шелудивого телка...

— Хорошо, если так, а то встречаются скряги, что и этого даже не получишь,— вставила свое замечание та, что была постарше.

Если ж вздумаешь перечить

И роптать, и возмущаться,
На подмогу к мироеду
Полицейский тут как тут.
Кабала, налоги, плети,
Штрафы, каторга и тюрьмы —
Вот злосчастная, лихая
Участь бедняка!

— Что верно, то верно! — разом вздохнули обе женщины. — Чего только не вытворяют они над нами, ненасытные. Глаза женщин наполнились слезами.

Беды — гром,
Печали — тучи,
Жизнь — темнее ночи бурной.
У того, кто носит имя
Человека, чья судьбина
Быть гонимым,
Будто скот.
Царь, манапы и старшины
Обращаются с народом,
Словно это их скотина,
Иль забава для детей.
А бедняк все это сносит
Терпеливо и смиренно:
Уцелела б лишь душа,
Не слетела б голова.
О, аллах, скажи всю правду —
Долго ль нам терпеть насилье?
Долго ль ублажать утробы
И царей, и богачей?
Все в душе перегорело,
Грудь готова разорваться.
Обратить бы разом в пепел
Всех насильников-врагов!

Глубокие вздохи женщин, их обращенные к небу заплаканные глаза смутили и растрогали даже самого певца. Сердце его переполнилось жалостью к своим отзывчивым

слушательницам, и ему захотелось утешить их теплыми словами участия. Он снова ударил по струнам:

Перестаньте, джене, плакать.

Лучше будем все стремиться

Помогать заре свободы

Разгореться над землею.

Вон уже восток алеет,

Зелень яркая покрыла

Грудь земли. Цветы приветливо

Улыбаются от счастья.

Посмотри, над краем неба

Золотые своды солнца

Раскрываются над нами

Лучезарнейшим шатром!

Так вперед же — в путь-дорогу,

В наше радостное завтра,

К солнцу, свету и свободе,

К жизни и борьбе!

Каныбек отложил в сторону домбру.

— Спасибо тебе, родимый! — проговорила старшая, вытирая рукавом платья слезы. — Пусть бог благословит тебя, даст тебе долгой жизни, чтобы ты добрался до места хаджа. Из какого ты народа, братец?

— Я киргиз.

— Из наших мест, стало быть, — отозвалась женщина помоложе.

— Нет, из-под Семипалатинска, — с осторожностью на всякий случай ответил Каныбек.

— Неужели и в той стороне есть киргизы?

— Немного, но есть. А здесь их, как видно, много?

— Да, пожалуй, что и много. Вот она — моя сестра, а ее муж тоже киргиз. Стало быть, она тебе джене.

— Ну, что ты! Может, наоборот, он мне доводится старшим-кайнага?

— Да, пожалуй, я сказала, не подумав. Сколько вам лет, сват? Раз ты киргиз, стало быть, сват.

— Конечно, сват. — Каныбек растроганно улыбнулся. — Мне тридцать шесть лет.

— Значит кайним, младший брат,— женщина обрадованно вскочила: — Куланда, милая, надо бы поискать, чем угостить пришельцев. Посмотри-ка там. Да, пожалуй, я сама пойду. — И она вслед за Куландой направилась к юрте.

Беглецы уселись ужинать. Давиденко, разлив чай по кружкам, раздал каждому по сухарю.

С трудом выпив кружку горячего чая, Капитан снова укутался в чапан и свернулся на траве. Жар у него поднимался все больше и больше.

Небо начало постепенно светлеть. Откуда-то издалека доносилось ржанье лошадей, лай собак.

Приткнувшись вплотную друг к другу, беглецы начали укладываться спать.

— Вы уже улеглись, кайним? — раздался голос женщины.

— А что же нам больше делать?

— Не огорчайтесь, кайним! Сердце бедняка ко многому тянется, да руки не достают. Хотелось бы дать что-нибудь каждому несчастному, да у самих ничего нет. Мы вам приготовили молочный кулеш. Подыми своих товарищей, поешьте. — И она поставила котелок с кулешом перед Каныбеком.

— Спасибо, джене! Ваши добрые слова куда приятнее милостыни богачей,— ответил Каныбек и растормошил друзей.

Добрые женщины притащили со своей постели старый войлок, чтобы гости не лежали на голой земле. Утолив голод молочной похлебкой, беглецы сразу же заснули крепким сном.

А утром, когда по своему обыкновению путники хотели пуститься в дорогу, обнаружилось, что состояние Капитана ухудшилось, и он не то что ходить, но и голову поднять не смог. Лицо у него осунулось, глаза глубоко провалились, все тело сотрясалось от озноба. Лошади, на которой его можно было бы подвезти, не было. Покинуть его здесь, одного, было бы преступлением, дожидаться всем его выздоровления — опасно. Что делать? Решили оставить с ним кого-нибудь еще. Но кого?

— Я останусь,— заявила Ирина.

Такую же готовность высказали и Давиденко, и Эрнст, и Алексеев.

— Нет, все вы здесь посторонние люди и ничего не сможете добиться ни для больного, ни для себя. Поэтому остаюсь я,— решительно возразил Каныбек.

Признав решение Каныбека правильным и договорившись о встрече, пятеро, поминутно оглядываясь, двинулись дальше, а двое, не отрывая глаз от уходящих, остались у юрты. Каждый из них в эту минуту думал об одном и том же: «Доведется ли встретиться снова?»

* * *

Чтобы не умереть с голоду, Каныбек ходил по окрестным селениям, нанимался в батраки, а когда не было работы — просил милостыню и кое-как кормил Капитана. Но Капитан не выздоравливал. Только через полтора месяца он поднялся с постели и начал было ходить, но потом снова слег. И немудрено. Питание было скудное, лекарств никаких не было, звать лекаря не решались. Женщины со своей стороны делали все возможное, чтобы ускорить выздоровление больного. За эти недели они так привыкли к беглецам, что уже не скрывали от них ничего.

Маржан — так звали старшую из женщин, рассказала Каныбеку, что ее муж Малтабар пас лошадей у старшины Достая и одну из них потерял. Достай за это удержал с Малтабара его заработок за два года. В пылу спора Малтабар полоснул ножом по лицу своего мучителя. Урядник показал это в своем протоколе, как бунт, и отдал Малтабара под суд. Суд приговорил его к каторжным работам и ссылке в Сибирь. Пристегнув к делу Малтабара также и Аргымбая, мужа Куланды, Достай отправил его на тыловые работы. Так обе несчастные и оказались на собственном попечении.

А когда Каныбек, узнав эту историю, рассказал без утайки все о себе, женщины были просто потрясены.

«Ой, милая Куланда, и чего только не пришлось пережить нашему кайним. Его страдания не сравнить с нашими. Надо помогать беднякам». И Маржан предоставила свою юрту Каныбеку и Капитану, а сама переселилась в юрту Куланды. Когда же Каныбеку по делам пришлось отлучиться в Акмолинск, то обе юрты соединили в одну, чтобы не оставлять больного в одиночестве.

Вскоре и Маржан уехала в поисках известий о муже, и Куланда осталась одна с больным Капитаном. Прошло уже две недели, а Каныбек все не возвращался. Никто не знал, что с ним случилось: то ли ему надоело возиться с Капитаном и он перебрался к себе на родину, то ли попал в руки полиции. От Аргымбая, мужа Куланды, и от Малтабара, мужа Маржан, тоже не было никаких вестей. Да и Маржан что-то тоже подозрительно запропала. Куланде и Капитану не оставалось ничего другого, как только питаться надеждами и пробавляться слухами. А слухи в народе ходили одни удивительнее других.

Рассказывали, что будто бы в конце прошлого лета казахи Чу-Каркыра, Кегена, а также киргизы с Иссык-Куля подняли восстание, вышли из русского подданства и перешли в китайское. Будто бы узбеки и киргизы Андижана объявили о переходе в подданство Кашгарского хана, а между Кокандом и Ташкентом разгорелась кровопролитная война, хотя и никто точно не знал, кто с кем воюет.

Говорили так же, что будто киргизы и казахи тоже воюют друг с другом, и что одни из них хотят подчиниться русскому царю, а другие — китайскому.

Будто бы узбеки и турки из Самарканда с одобрения русского царя создали Бухарское ханство.

Будто бы османские турки и крымские татары решили принять иранское ханство, но стамбульские турки воспротивились этому, и там поднялась великая смута.

Будто бы акмолинские казахи, объединившись с татарами и башкирами, решили создать одно ханство в Казани, Уфе или Омске и отправили в этих целях посла к русскому царю.

Будто русские вместе с англичанами и французами начали войну для того, чтобы ограбить Германию, а немцы в отместку собираются теперь подчинить себе всю Россию.

Будто бы все отправленные в мардикеры мужчины попали в плен частью в Англию, а частью во Францию, а всех оставшихся растащили по своим имениям русские помещики.

Будто бы русские теперь сами, оказывается, разделились на белую и черную кость и начали воевать друг с другом.

Так катилась людская молва, как снежный ком с горы, наворачивая на быль тысячи небылиц.

Местные казахи и киргизы подняли было под влиянием всех этих разноречивых слухов восстание, но прибывший из Омска карательный отряд с помощью местных баев и манапов быстро подавил его. Часть восставших погибла во время перестрелки, часть была взята в плен и отдана под суд, а часть бежала и рассосалась в народе. Население волновалось.

Капитан лежал в переднем углу юрты, укрывшись одной половиной одеяла, которое ему уступила Куланда, а другую подоткнув под себя.

«Эх, судьба! Почему ты такая не улыбочивая? — горестно думал он, — после того, как перешагнул через столько несчастий, вдруг споткнулся о такую мелочь, как болезнь. Да еще в такое время, как сейчас! Должно быть, я и рожден для несчастий. Но ведь если бы только я один, а то ведь делаю несчастными и своих друзей. Из-за меня Каныбек до сих пор не может добраться до родных своих мест. Теперь бы, глядишь, он давно уже радовался на свою жену и единственного сына, на мать. Не устроил бы судьбы своего народа, так хотя бы облегчил свою. А теперь вот уже сколько месяцев мучается со мной, ухаживает за больным. Что он родственник мне? Или раб, обреченный оберегать меня всю жизнь? Не сиделка же он, а наш единомышленник, растущий революционер, один из будущих командиров армии трудящихся, борцов за лучшую жизнь. Да, киргиз, а как привязался к русскому! Вот что значит единство мыслей, единство целей, единство трудовой закваски...»

Размышления Капитана были прерваны внезапно послышавшимся возле него шорохом. Он открыл глаза.

— Что, Гуля, разве уже наступил вечер? Почему вокруг стало так темно? — испуганно спросил он. За это время Капитан уже научился выговаривать кое-что по-казахски.

— Нет, — ответила Куланда.

«Что это, уж не слепнет ли он?» — мелькнуло у нее в голове.

— Солнце светит во всю. Что с тобой? — участливо спросила она, подойдя к его постели.

Капитан поднес к вискам худые жилистые руки, закрыл на минуту глаза, потом снова открыл их.

— Да, и верно, в самом деле, оказывается, день.

— Что случилось?

— Не знаю. Я долго думал, и у меня в глазах потемнело.

Куланда вспомнила, как несколько лет назад у ее больной матери вот так же потемнело в глазах, и она лишилась даже речи. А когда позвали лекаря, тот сказал, что байбиче выздоровеет, если ей начать понемножку давать хорошую пищу. И действительно, уже через неделю она совсем была здорова.

— А голова у тебя кружится?

— Да, — вздохнул Капитан.

Куланда задумалась. Какую бы питательную пищу дать ему? Разве просто разбавить водой айран? Поколебавшись еще немного, она решительно поднялась, развела огонь в очаге, разогрела воды, размяла четыре штуки курута — сушеного творога, положила туда ложку сала, вскипятила, остудила и дала выпить Капитану.

— Что это такое? — покривился больной. — Очень уж кислое. Не повредит ли это мне?

— Нет, нет, ты выпей. Закрой глаза и выпей. Одно из двух — или ты выздоровеешь, или тебе станет совсем плохо.

«А ведь она, пожалуй, права,— мелькнуло у Капитана. — Уж если не выздоравливать, так лучше умереть! Чего это я вот уже столько, месяцев мучаю посторонних людей? Поневоле захочешь, чтобы умер». Он выпил все и укрылся с головой. Куланда заметила нерешительность Капитана, и ее вдруг начали мучить сомнения.

«Что это я? Ни с того ни с сего вдруг дала ему разведенный курут, когда дома нет ни сестры, ни Каныбека? Он такой слабый. Что я буду делать, если он вдруг умрет? Разве Каныбек не потребует с меня ответа?»

Уже после захода солнца вернулась, наконец, Маржан. Куланда ей поведала про свою беду с Капитаном, рассказав, что с тех пор, как больной выпил курут, он лежит без движения, и она боится посмотреть, что с ним. Маржан заволновалась.

— Капитан! Как ты себя чувствуешь? — окликнула она его. Но Капитан даже не пошевелился. Маржан, напуганная, подошла к его изголовью.

— Капитан, а Капитан! — окликнула она его еще раз, но тот продолжал молчать.

— Что это ты? — обернулась она к Куланде. — Своего горя хоть на верблюда грузи, а ты нашла еще другую беду. Сама темная женщина, а взялась лечить русского! — она решительно откинула одеяло с лица больного. Тот вздрогнул, повернулся, открыл глаза.

— Ой, милый, ты жив?

— А что? — приподнялся тот на постели весь в испарине.

— Ой, как хорошо! — Маржан снова накрыла его. — Не раскрывайся, ты начинаешь выздоравливать, — она проворно подоткнула под него одеяло.

— Оказывается, я крепко спал,— сказал Капитан. — Никогда я еще так не спал и не потел. Гуля дала мне замечательное лекарство. Даже есть захотелось.

— Милая Куланда, ты слышишь? — рассмеялась Маржан.

— Слышу. — От радости Куланда даже заплакала и принялась хлопотать у очага.

Женщины сварили мясо, привезенное Маржан. Куланда дала Капитану большой мягкий кусок и чашку бульона. Он с аппетитом съел, не наелся, но попросить еще постеснялся. А хозяйки не предложили, боясь, как бы не получилось чего худого.

Всю ночь он спал беспробудным сном до самого утра и проснулся только от того, что Куланда разбудила его.

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросила она.

— Будто помолодел. Только вот сил еще нет,— улыбнулся Капитан. Он чувствовал, что дело шло на поправку.

«Вначале гость хозяина стесняется, а потом уже начинает стесняться»,— говорит пословица. Многомесячное пребывание двух беглецов начинало становиться уже в тягость для бедных женщин.

В округе день ото дня было тревожней. Чуть что, обо всем доносилось в полицию. Расплодилось взяточничество. После прошлогоднего восстания разорилось много семей,

выросло число батраков, работавших только за прокорм. Баи и манапы начали рассчитывать платных батраков и заменять их дармовыми работниками. С каждым днем все больше становилось людей, не знавших куда приткнуться и как прокормиться.

Маржан и Куланде становилось все труднее и труднее сводить концы с концами. Мужчин в семье не было, а то, что осталось им от мужей, подходило к концу. Из трех коз с козлятами двух пришлось отдать в уплату налога. Единственным источником пропитания осталась лишь коза, а родичи особенно не помогали. Приближалась весна и женщины начинали ломать голову, как и чем засеять землю.

«О, создатель! — молились они про себя. — Не дай осрамиться нам перед врагами и недоброжелателями. Оберни то добро, которое мы оказываем Капитану и Каныбеку, на наших мужей Аргымбая и Малтабара. Не позволяй, чтоб наша доброта пошла прахом! Позволь этим горемычным покинуть наш дом, чтобы достичь своих желаний».

Капитан и сам понимал всю неловкость своего положения, но он не мог отправиться в путь, не набравшись сил, не дождавшись Каныбека.

— И куда это он только запропастился, — не раз выражал он свое нетерпение.

— Ой, скажи лучше — да хранит его бог!

— А что разве с ним случилось что-нибудь?

— Кто его знает. Трудно гадать, что может случиться с человеком, который в пути, — вздохнула в ответ Маржан. — Боюсь, не задержали ли его.

— Разве ты слышала что-нибудь?

— Люди рассказывают, на днях на акмолинском базаре трое полицейских с нашим старостой схватили одного молодца и избили его в кровь.

— Ну, и кем же он оказался?

— А кто же его знает. Говорят, будто сказал что-то против царя. Вот я сразу и подумала, не Каныбек ли это наш.

— Ай, ну зачем ты говоришь такое?

— Если бы не сказали, что он был киргизом из здешних мест, я бы молчала.

— Не дай бог! — опечалилась Куланда.

— Но как он мог попасться,— не верилось Капитану. — Кто мог опознать его и донести в полицию?

— А помнишь, к нам приезжал староста забирать наших двух коз? Тогда он и видел Каныбека.

— Ну, и что же, что видел. Когда он спросил о нем, кто это такой, я ответила, что племянник Аргымбая.

— А про меня тоже спрашивал? — встревожился Капитан.

— Конечно. Но ты лежал, укрывшись одеялом, и я сказала, что это его больная жена потеет.

— М-да,— понурил голову Капитан. — Если бы с Каныбеком было все в порядке, он давно уже вернулся бы.

«Ах, Каныбек! Сколько лет находились вместе на каторге, делили друг с другом кусок хлеба. Где ты теперь? Какие муки ты терпишь? Может, тебя пытали на допросах, заставляли говорить обо мне? Но я знаю, что ты не выдашь товарища! А давно ли мечтали приехать домой, повидаться с женами, а потом приняться за настоящую работу. Ах, Каныбек, дорогой ты мой друг! Если ты жив, я виноват в твоих муках, если ты умер, я виноват в твоей смерти. Ты был настоящим соколом. Ты мечтал поднять красное знамя на большом поле боя. Клянусь, если только я выздоровлю, отомщу за тебя и Айдарбеку, и Сооронбаю, и всем нашим общим врагам...»

Заметив тяжелое душевное состояние Капитана, женщины понуро отошли и принялись за приготовление ужина. Замесив тесто, Куланда скатала из него шарик и запачкала его с одной стороны углем. «Если Каныбек жив, пусть шарик лопнет с белой стороны, если нет, пусть лопнет с темной», — прошептала она, закопав его в золу. А когда несколько минут спустя она разрыла его снова, он оказался лопнувшим с темной стороны.

— О чем это ты загадывала? — спросила ее Маржан.

— Так, ни о чем, — тихо ответила Куланда, опустив голову.

Маржан развела курут, положила в чашку масла и, накрошив туда свежего хлеба, дала поесть Капитану. Но он сделал только несколько глотков и завернулся в одеяло. Женщины не стали настаивать. Поужинав в глубокой задумчивости, они тоже улеглись спать. Очаг постепенно погасал. По стенам юрты метались какие-то таинственные тени.

* * *

Маржан и Куланда уже крепко спали, когда, одолеваемый тяжелыми думами, Капитан вдруг услышал вдали голоса.

— Гуля! Гуля! — встревоженно позвал он Куланду.

— А! — подняла она голову с подушки.

— К нам кто-то идет, выйди, посмотри.

Куланда проворно поднялась и выглянула наружу. В лунном сиянии все выглядело вокруг таинственно и настораживающе.

— А, — отпрянула она от двери. — Какие-то двое с винтовками идут прямо к нам!

Сердце Капитана похолодело. Едва удерживаясь на ногах от слабости, он добрался до выхода. Двое неизвестных — один весь в белом, другой, наоборот, в черном, что-то искали в копне курая. Из-за плеча одного из них торчало дуло винтовки.

— Стой здесь у входа, Гуля. Если они направятся сюда, постарайся задержать их подольше. Я сейчас...

Капитан медленно пополз обратно к постели, готовясь дорого отдать свою жизнь.

— Что случилось? — вскочила проснувшаяся Маржан.

— Т-сс! К нам идут незваные гости!

— Вам кого? Что вам здесь нужно? — донесся снаружи дрожащий голос Куланды.

— Это ты, Куланда? Чего ты испугалась? Это я...

— Каныбек! — разом вскрикнули все трое.

Взволнованная от радости Маржан с трудом отыскала спички, чиркнула раз, другой. Но головки как назло отлетали, спички не зажигались. Держа наготове пучок

курая, Куланда никак не могла нащупать очаг. Капитан, расставив руки, брел в потемках навстречу другу: Наконец, вспыхнул огонь, и перед взволнованными обитателями юрты предстали Каныбек и Алексеев. Бывшего старшину, переодетого теперь в гражданское, трудно было узнать. Борода и усы его торчали лихо и молодцевато, лицо пополнило и стало розовым, морщины исчезли.

— Вот тебе баранья тушка, джене,— весело проговорил Каныбек. — Давай-ка, угощай гостей!

Когда ужин был приготовлен, Куланда выложила из котла мясо и, поливая воду на руки мужчинам, спросила, показывая на Алексеева:

— А этот человек тоже будет есть вместе с нами?

— Нет, нет. Это русский! Пусть кушает отдельно от нас, азиатов,— шутливо сказал Капитан. Все весело расхохотались. Куланда зарделась от стыда.

Свет очага перескакивал с одного лица на другое резвей, чем красный платочек во время игры. Порывистый ветер, влетая в юрту, развеивал душистые клубы дыма.

Мясо выложили на большое блюдо, поставили на середину и все пятеро уселись за скатерть. Каныбек разрезал мясо на куски.

— Вы гость, берите первым! — пролепетала все еще смущенная Куланда, обращаясь к Алексееву. Тот неуклюже потянулся, ухватив позвонковую кость.

— Нет, нет, не этот,— перепугалась Куланда.

— Я же говорил, что его надо было посадить отдельно,— снова рассмеялся Капитан. — Он совсем не знает наших обычаев.

Друзья снова весело расхохотались. Теперь уже смутился Алексеев.

— Ну, что вы издеваетесь над человеком,— заступилась за него Маржан и подала ему крестцовую кость.

— Бери и ты, Каныш! — обратилась она к Каныбеку. Потом кивнула Куланде, Капитану.

— Осторожно, Гуля,— не унимался развеселившийся Капитан. — Смотри как бы твой кусок не выстрелил.

— Это от чего же? — изумился Каныбек.

— Как от чего? Ведь приняла же она давеча ваши палки за ружья!

Рассмеявшись, Куланда чуть не подавилась своим куском.

— Да, пуганая ворона и куста боится,— продолжал Капитан. — Шутки-шутками, но я и сам перетрусил порядочно.

— Это что! — отозвался окончательно освоившийся Алексеев. — Вот если бы вы знали, как наши жены боялись за нас и принимали суслика за тигра! Твоя. Капитан, Марина даже уже свечку ставила за упокой твоей души...

Так перемежая шутки со вздохами и смех со слезами, задушевная беседа вилась и петляла, как гордая тропинка, чуть не до самого утра.

На пятый день Капитан, Каныбек и Алексеев прощались со своими гостеприимными хозяйками.

— До чего же красив всегда бывает рассвет! — воскликнул Каныбек, глядя па восток. Он несколько раз жадно вдохнул утренний воздух, словно пил из золотого источника счастья.

— Это он поздравляет нас с нашим счастьем, освещает нам путь к свободе! — отозвался Капитан.

— Ну, еще раз прощайте! Слава вам и почет за вашу помощь. Авось, скоро увидимся. — Каныбек и Алексеев пожали руки Маржан и Куланде.

— Гуля! Маржан! — поцеловал обеих в лоб Капитан. — Спасибо вам за все!

Куланда и Маржан, не говоря ни слова, обняли Капитана и расцеловали его в обе щеки.

Простившись, друзья направились вниз по тропинке. Куланда и Маржан смотрели им вслед, но отрывая заплаканных глаз. К неподдельной скорби женщин примешивалась и капелька радости: под мышкой у Маржан торчал отрез ситца на одеяло, через плечо Куланды висел огромный лоскут кумача на платье.

Дойдя до поворота, путники последний раз обернулись и помахали шапками.

— Что это они делают, милая? — спросила Маржан.

— Прощаются с нами по-русски, — ответила Куланда и замахала в ответ своим кумачом. Развеваясь на ветру, он вспыхнул пурпурным костром, словно красное знамя надежды.

Абдрасул Токтомушев

(1912 – 1995)

Поэма «Письмо из Какшаала», изданная в 1937 году, вывела Абдрасула Токтомушева в ряд ведущих киргизских поэтов. «Письмо из Какшаала» тяготеет к лиро-эпическим поэмам. В ней показана жизнь народа до восстания 1916 года, борьба народа за свое освобождение, поражение восстания и бегство киргизов в Китай.

Наиболее ярким и значительным произведением поэта является роман в стихах «Золотая гора». О жизни киргизского народа до революции и в годы социалистического строительства. В 1974 году роман это произведение было удостоено Государственной премии Киргизской ССР им. Токтогула Сатылганова.

В 1958 г. поэма «Письмо из Какшаала» издана на русском языке.

ПИСЬМА ИЗ КАКШААЛА

ПЕРВОЕ ПИСЬМО

I

Мой народ! Я не забыла
Все, что в детстве я любила, Как отца и мать.

О насмешках дочек бая,

Что худа я, что бедна я —

Трудно вспоминать.

Все одно — весна ли, лето

Ни скота, ни пастбищ нету,

Где беде конец?

Вечно в долг просить у бая,

Хлеб богатым убирая,

Должен был отец.

Дочки баев сладко ели

И кумыса не жалели

В потную жару,

Мы ж, стирая в кровь мозоли,

Лишь талкан⁷ себе мололи,

Чтоб хлебать жарму⁸.

Бедность даже не таилась,

На виду всегда садилась,

Горечь слез пила.

Мать моя для баев пряла,

В пряжу слезы заплетала,

Чтоб прочней была.

Много дней работы тяжелой,—

А муки всего две чашки

Принесла она.

7 Толкно

8 Пища из толкна.

В пальцах чашка тяжелела,
В ней бедой мука белела,
Как и мать, бледна.
Не забуду эту бледность,
Что ни вспомню — вспомню
бедность,

Бедность без конца...
Помню темные морщины,
Помню согнутую спину
Моего отца.
Терпеливы люди были,
Но восстал народ в аиле,
Победивши страх.
И погибнуть за свободу
Мой отец ушел с народом —
Чоюнбаш⁹ в руках.
Мать осталась. И тогда-то
Протянула молча брату
Тягостный ийик¹⁰,
Чтобы дядя отлил пули,
Чтобы нас к земле не гнули
Байский кнут и крик.
Будто детство стало ближе;
Я родную землю вижу,
Вижу реку Чу,
Вижу вновь ее такую,
По какой всегда тоскую...
Сердцем к ней лечу!

II

Над нами тучи проплывали,

⁹ Чоюнбаш — дубина с чугунным или железным набалдашником.

¹⁰ Ийик — ручное своеобразное веретено со свинцовым грузиком.

Дожди немые проливали,
Отец мой, пулею сраженный,
С тех пор лежит на перевале.
Лишь вспомню я его живого —
И боль моя проснется снова.
За нами смерть не отставая,
Гналась, повсюду настигая,
Навеки оставались братья
На горных тропках, остывая.
Мы горечь в сердце уносили,
Но не спасались от насилья.
И, умирая за свободу,
Всегда мечтали о свободе,
Вновь восставали, возмутьившись,
Сыны киргизского народа.
Я помню, твердо помню,
Далекой болью сердца помню.
Я вижу, лишь глаза закрою,
Дорогу, залитую кровью.
Из всей семьи одна спаслась я,
Без сил, без близких и без крова.
Земля, земля моя родная!
Я на чужбине. И одна я...
Моя земля — за перевалом.
Чужой тропой, в чужие скалы
Нужда гнала меня тревожно,
И там я счастье не искала.
В заботах застарели рано
Незаживающие раны.
Вдоль завитых речных излучин
Шел мой народ, нуждой измучен,
И вражки пули настигали,
И убивали самых лучших.

Ползли кровавые недели,
И наши души леденели.
От голода нетверды ноги,
А если кто упал в дороге,
У палача рука не дрогнет,
У богачей законы строги.
Нас убивал костлявый голод,
Звучит в ушах бессилья голос.
Опять идти и снова падать...
Мы, чтобы выжить, ели падаль...
Всю боль мне сердце сохранило,
Всю горечь сохранила память.
Свобода! Сотни губ шептали,
И люди шли. И умирали.
Пусть не хватило сил у бедных,
Но нас не побеждали беды,
И люди ожидали счастья,
Как ждут свободы и победы.
В крови, в оборванной одежде
Народ мой шел к своей надежде.
Народ бежал от лютой смерти.
И перевалы в зыбком свете
Несли следы его мучений.
Борьбу и павших славил ветер.
Тот ветер слушая, горя,
Любовью и тоской горю я.
Оставив родину в золе,
Чужие на чужой земле,
Киргизы по земле китайской
Скитались в бедности, во мгле,
Опять у богачей батрача,
Достоинство поглубже пряча.
Оставив родину вдали,

Чужие для чужой земли,
Согнувши спину умирали
И разогнуться не могли.
Живых страданья и убитых...
Нет мук, в те дни не пережитых.
Но жил тогда народ, я знаю,
Надежд на счастье не теряя.
Земля, омытая слезами!
И ты терпела вместе с нами.
Все помню. Прошлое сегодня
Вдруг ожило перед глазами.
О единении мечтая,
Мы жили, слезы проливая,
Нас мучили и унижали
Владыки старого Китая.
Мы не хотели покориться,
Но нужно как-то прокормиться,
В борьбе с нуждою силы тратя,
Китайцы жили — наши братья,
Но нам помочь они старались,
Встречали нас, раскрыв объятья.
И подружились мы тогда,
Когда нас сблизила беда.
Не ведал мой народ покоя,
Над ним висело горе злое...
За горсть муки отдать ребенка!
Как можно выдержать такое?!
И становилась тяжелее
От слез мука, бедой белея
Тяжелы воспоминанья,
Просили люди подаянья.
Вся жизнь без смеха и без солнца,
Вся жизнь — насилье и страданье.

Народом вскормлена, согрета,
Я не могу забыть все это.
От слез слипаются ресницы...
Быть может, это только снится?
Но это правда. Это память
В измученной душе теснится.
Я помню: молодость тогда
Арканом вздернула беда.
Всего за миску ячменя
Мой дядя продал здесь меня.
Расставшись со своим народом,
Жила я, горько жизнь кляня.
Что день — то новый лепесток
Теряет сорванный цветок.
Старик меня навек обидел
И со слезами замуж выдал,
Как сердце кровью обливалось
Никто не знал, никто не ведал.
И нет надежды, нету цели,
Когда сковали сердце цепи,
Я счастья больше не искала,
Когда меня постигла кара,
Весной четырнадцатилетней
Я жизнь такую упрекала.
И дни, и годы миновали.
Живу с тех пор я в Какшаале.

III

Я расскажу о пережитом...
Мой голос стонет и дрожит он,
Но через все хребты Тянь-Шаня
К родным аилам долетит он,
Как зов надежды и прощанья

Придет к местам непозабутым.
Я расскажу о пережитом...
«Я дочь киргизов!»— повторяю
И веры в счастье не теряю.
Я шлю проклятье горькой доле.
Недели сотканы из боли,
И голос мысли убивает.
В слезах мне утопиться, что ли!
А жизнь незримо убывает...
Но, мучаясь, я говорю,
Что встречу ясную зарю.
Всю жизнь терплю одни мученья,
Привычны стали униженья.
Я четверых детей имею,
Но баю в сердце нет прощенья!
Я ненавижу и робею...
Всю жизнь терплю одни мученья.
Ты, сердце, гордость всюду помнишь,
От богача постыдна помощь.
Тоска утраченной мечты
И оскверненной чистоты
Кровоточит сердца людей.
Но, словно луч из темноты,
Приходит жажда лучших дней
И вновь рожденные мечты.
С проклятьем рядом в сердце вновь
Надежда родила любовь.
Одежды новой я не знаю,
Опять свободна и бедна я.
Но мне иной судьбы не нужно —
Я не жена скупого бая,
Батрак мне стал желанным мужем,
Опять свободна и бедна я.

Не льются слезы без причины,
И щеки не бороздят морщины.
Когда над юртой дым клубится,
Котел кипит и есть пшеница,
Я редкой радостью согрета.
Но вечер, как большая птица,
Всегда уносит радость эту,
И дым над юртой не клубится.
Вот день прошел, покой унес,
Я снова лью потоки слез.

Мой муж батрачит круглый год.
Пасет он тучный байский скот
Гнет спину он и ночь и день,
От голода и от невзгод
Похож на собственную тень...

Мой муж батрачит круглый год.
На поле, от копыт рябом,
Рожден рабом, живет рабом.
...Не быть рабыней богача,
Не есть из миски палача!
Свободы я желала...
Дождавшись первого луча,
От бая я бежала.

Не быть рабыней богача!
Ведь цепи могут сердце сжать,
Но стук его — не удержать.
Весенней речки новый гул
Теперь услышать я могу...

Цветы надежд вплелись во мрак,
И слезы радости вернул
Мой господин, чужой батрак
И верный муж мой Жумагул.
Я вышла за него любя,

И этим я спасла себя.
Однажды, сидя у огня,
В последнем тусклом свете дня
Мой Жумагул сказал мне:
«Ты не удерживай меня —
Нужда на шее камнем,
Хотя всю жизнь трудился я.
От злой судьбы уйду я.
На путь борьбы уйду я.
Искать свободу я уйду!
И, может быть, ее найду
В рядах бойцов Китая.
Догонит, обожжет беду
Наш гнев, свинцом летая.
Искать свободу я уйду.

Ты ожиданьем скрасишь дни... Храни себя. Детей храни».

Его дорога далека,
И далека, и нелегка...
Я от тоски слепая...

Где взять мне детям молока? Все молоко — для баев:

Ни чашки нам, а им — река.
Нужда и голод многих лет!
Здесь беднякам надежды нет.
Устала я от тяжких дум...
Как выдержать мою беду?
Во что детей одеть мне?
Когда же свет зари найду
Я в ночи многолетней?
Устала я от тяжких дум...
Ты, Жумагул, дорогой бед,
Дорогой крови и побед
Идешь со всем народом,
Придешь ко мне по тропкам лет

И принесешь свободу.
Счастливым смех и солнца свет!

IV

Поздней осенью и летом
По аилам много лет он
Ткани разносил.
И за пестрые полотна
Получал он шкурой плотной,
Больше — не просил.
В горы, бедные лучами,
Раз ушла я за дровами.
Он зашел к нам в дом,
Протянул он сыну руку,
Руку полную урюка,
И спросил потом:
«Где отец и мать, скажи мне?»
«Где отец? Не знаю, жив ли...»
Темирбек шепнул:
«Он ушел батрачить к баю.
Может быть, убит... Не знаю».
И слезу смахнул.
Горю не поможет слово...
Человек сказал: «Я снова, Темирбек, приду.
Заходить к вам буду часто...
Вы должны увидеть счастье И забыть беду»

Темирбек, как муж мой прежде,
Мне опора и надежда,
Сын — а будто брат.
Часто люди замечали,
Трудно мне — и он в печали,
Рада я — и сын мой рад.
Как-то раз прислужник бая

К нам пришел, как новость злая,
Словно вестник слез:
«По приказу господина За отца возьму я сына!»

И кулак занес.

Но ударить не успел он,

И кулак окостенел,

В воздухе повис.

Встал торговец между нами

И спокойными словами

Сбросил руку вниз.

«Бой с ребенком? Вот так битва!»

Тихо шепчет он молитву.

«Жумагул убит...

Ты жену его не трогай...

Кончилась его дорога —

Пусть спокойно спит».

И холуй ушел, поверив,

На прощанье хлопнув дверью.

Я стою, молчу.

Голодный блеск голодных глаз —

Всегда такая жизнь у нас.

Закон нужды и к детям строг,

Крутой закон крутых дорог,

Он с каждым днем все строже:

Малютка — сын ходить не смог —

Нет сил у тонких ножек.

Закон нужды и к детям строг.

Живи, дыши, когда богач,

А беден — голодай да плачь.

Бай не прощает никому.

Весь твой ячмень — налог ему,

А если скажешь слово,

То с юрты обдерут кошму,

Сожгут — и ты без крова...
Бай не прощает никому.
Для слез и грустных песен
Мир беспросветный тесен.
Но кто же здесь услышит зов
Отчаяньем рожденных слов,
Кому он сердце тронет?
Один ответ для бедняков:
«Умрете — похоронят».
Тебя, седая нищета,
Я не забуду никогда.
Но, может быть, я там, вдали
Увижу свет иной земли,
Счастливый свет свободы,
Чтоб дети смех узнать смогли,
Чтоб их не гнули годы
Бедой, нуждою до земли.
А люди нам в дорогу
Дадут еды немного.
Но вдруг Тянь-Шаньские хребты,
Стеною встав из темноты,
Закроют мне дорогу?
«Стой! Путь куда свой держишь
ты?» —
Ущелья спросят строго.
Скажу: «Бегу от нищеты».
Мечты мои и горе
Поймут родные горы
Спрошу у них я, как идти —
Они не утаят пути...
Тропа во тьму тесьмою...
Надежда! Путь мой сократи!
Вложу свой крик в письмо я.

Письмо! К родной земле лети!
Тебе не заблудиться,
Лети, сквозь все границы!
Чуть слышен тонкий шёпот трав,
Всю ночь на тропке простояв,—
Я вслед письму смотрела,
Летела вслед, крылатой став,
Чтобы письмо сумело
Дойти, тех слов не потеряв.
Узнай, земля родная,
И боль, и стон Китая.

Жизнь ко мне всегда сурова,
Но Сабыру я хоть слово
Так сказать хочу.
«Приходите к нам почаще,
Дом наш —это горя чаша,
Полная давно.
Но приветим вас, уважим.
Пусть всегда он будет вашим:
Сердце в нас — одно.»
В легкой, молодой походке,
В редкой с искрами бородке,
В ласковой руке
Правоту его читаю
И, как правду, почитаю
Я Сабыр-аке.
Как-то я его спросила:
«Правда — это ваша сила.
Так скажите мне,
Не пойму никак: на что же
Вам так много плотной кожи
По большой цене?»

Улыбаясь, он ответил:
«Шел за кожей — дочку встретил.
Это так? Скажи!
Люди мне нужны в аиле.
Чтоб помощниками были,
Свергли Чан Кай-ши.
Чтоб найти — искать ведь нужно,
Победить — так только дружно.
Ведь слепа судьба,
Верь в свободу, жди свободу,
За нее — в огонь и в воду.
К счастью путь — борьба».
Долго с ним я говорила,
Ничего не утаила,
И от слов Аке
Снова мысли пробуждались,
Жилы силой наливались
В сморщенной руке.
Столько дум, бессонных, быстрых,
Новых слов могучих, чистых:
Значит правда есть!
Только грамоты не знаю,
Но хочу я, но должна я —
Те слова прочесть.
У Аке слова, как звезды:
«Узнавать — всегда не поздно»
(Сердце рвется ввысь!)
«Помни, грамота — богатство:
Пониманье — значит братство.
Милая, учись!»
Мой учитель терпеливый!
Не бывала я ленивой,
Но случалось так:

Бее запомню, все узнаю,
День пройдет и забываю:
Годы — не пустяк.
О еде я забывала —
Все читала и писала
Светлые слова.
На груди задачку пряча,
Шла теперь, от счастья плача,
В горы по дрова.
«А теперь пиши,— сказал он,—
О большом пиши и малом,
Правду жизни всей!»
Думу думаю большую
И письмо мое пишу я
Родине моей.
Вам пишу я про страданья...
Не закончу — в завещанье
Детям дам наказ:
Пусть расскажут все, что было.
Все, что память сохранила,
Все, за часом час.

V

«Жизнь началась на Чу-реке,
Река родная вдалеке...
Как Родина живет теперь,
Мне расскажи, Сабыр-аке.»
Слова Аке рекой текли,
Как струи рек родной земли.
«Тяжелый гнет и нищета
Теперь исчезли без следа,
В борьбе завоевал народ
Себе свободу навсегда.
Оковы сброшены навек,

Киргиз — свободный человек.
Помог нам русский брат. И вот
В глуши, в степи растёт завод,
Счастливым, непривычный смех,
 Как маки на лугах, цветет.
 Мечта нежданно ожила
И в юрты радостью вошла.
 Когда-то для народа бай
Свил из нужды тугой аркан,
Ко встал народ, и бай узнал,
 Как грозен этот великан».
Мой дом родной и река Чу,
 Я слушаю и к вам лечу!
Прошло совсем немного лет,
Но каждый день оставил след...
 По тонкой проволоке к нам
Незаконченный льется свет.
Недаром пел киргиз — найду
 Мою счастливую звезду.
Цветами дней увита жизнь,
Живой водой омыта жизнь.
 Бесправная, холодная
Теперь совсем забыта жизнь.
И женщина, свободной став,
 Теперь узнала силу прав.
Есть у киргизов много школ,
Чтоб каждый к свету знанья шел,
Чтоб каждый верный путь искал,
Чтоб ищущий свой путь нашел.
 Немало верных Дочерей
В правительстве страны своей.
Открылась людям красота —
 Волос густая темнота,

Зубов неповторимый свет
И тонкой брови высота,
Взгляд, что медлителен и прост,
И ярк, как осколки звезд.
Заметно это потому,
Что солнце ворвалось во тьму
И осветило все пути
Теперь и сердцу, и уму.
Профессий много — ну, так что ж!
Ведь всё осилит молодежь.
Есть у киргизов доктора,
Их не было еще вчера,
Лечили словом и водой —
Авось, дотянет до утра.
Смерть отступила. Места ей
Сегодня нет в стране моей.
Один киргиз — лихой джигит —
В дали заоблачной летит,
И серебристый конь его
Над сказочной землей парит.
Как сокол, он в полете скор.
Как сердце, пламенный мотор.
Идут киргизы по горам,
Послушны тропы их ногам.
Пройдут — и могут указать:
«Железо, золото — вон там».
Так зорек стал свободный глаз,
Киргизы знают — все для нас!
Верна свободная рука,
Она не дрогнет у курка,
Немало выросло бойцов,
Они не пощадят врага.
Крепка граница, как гранит,—

Ее народный страж хранит.
И стала нынче жизнь светла,
Как труд, как славные дела,
Как солнце над хребтами гор,—
Свобода над страной взошла.
Как чист высокогорный снег,
Правдив свободный человек.
Всегда, во всем идя вперед,
По гребням будничных забот,
К большим победам русский брат
Привел измученный народ.
На все великие дела Киргизов партия вела.

Теперь не ездят на быках —
Кольцо в ноздре и бич в руках,—
Кому они сейчас нужны
В долинах наших и горах?
Так долго нас давила тень,
Пускай придет желанный день!
Я знаю, что свою мечту
В глазах односельчан прочту,
Я знаю всех, кто здесь у нас
Развеять хочет темноту.
Да, я с тобой, народ родной!
Я — дочь твоя, ты — светоч мой.

VI

Кто же вас от бед избавил,
Счастьем жизнь наполнил,
О великой силе братства
Беднякам напомнил,
Кто народ свободным сделал
И на стройки поднял,
Слезы высушил навеки,
Все стремленья понял,

Жизнь взрастил своей заботой
На пустынном поле?
Это партия, я знаю,
Ей побед желаю!

Мой народ, ты был бесправным,
Жил в тревоге мгlistой,
Проходил «киргизом черным»
Тропкой каменистой.
Кто от туч нужды избавил,
Сделал небо чистым?
Дочери твои — свободны,
Дети — коммунисты.

Незакатным новым солнцем
Для меня зажгись ты!
И поняв мечту простую,
С партией пойду я.
Мать народа трудового,
Ясного восхода,
Есть в стране моей далекой
Партия народа,
Что спасла от бед жестоких
Трудовые годы,
Сделала воспоминаньем
Тяжкие невзгоды.

Только с ней нам по дороге,
Только с ней — свобода!
Пусть мечты осуществятся.
Что в сердца стучатся!
...Долго мы Момун-ахуна
Слушали, молчали...
Он, как мы, нужду и горе
Носит за плечами,
Он — уйгур, как брат, мне близок,

В сердце мне стучали
Те же горестные думы
Долгими ночами...
Мы слова Мао Цзэ-дуна
Радостно встречали.
К светлым дням ведет тропа,
Началась борьба!

VII

Розы хрупкие и маки на лугах,
Тропы путаные в облачных горах —
Не забыла я.
Ветер, веющий с заснеженных хребтов,
Напоенный тонким запахом цветов —
Не забыла я.
Горы с хвойною ущельной глубиной,
Их вершин с незатененной белизной —
Не забыла я.
Скалы с вкрапинами беркутовых гнезд,
Их владельцев в опереньях поздних звезд
Не забыла я.
Зори светлые, когда вся юрта спит,
Цокот ранних застоявшихся копыт —
Помню я.
Реки горные, тех рек неровный путь,
Град, тяжелый, как сгустившаяся ртуть, —
Помню я.
Наших девушек, звучанье наших слов
И парящих над вершинами орлов —
Помню я.
Как народ мой, утопающий в крови,
Жил для будущей, немеркнувшей любви, —
Помню я.
Словно сад, залитый утренней зарей,

Словно сказочный, воспрянувший герой,

Мой народ.

Горечь прошлого оставив позади,

Он идет по незнакомому пути —

Мой народ.

Даже горы песни радости поют!

Почитает он и мужество, и труд,

Мой народ.

Я тоскую, я к земле родной лечу,

Мой народ.

Пусть заря, едва забрезжив между скал.

Опускается скорей на Какшаал!

VIII

Я вижу, где беде конец.

Растаять цепкий лед сердец

Лучи зари заставили.

Растаял лед, в лучах искрясь,

Так пусть он с жизни смоем грязь.

Что прошлое оставило.

Желанье наших бедняков —

Всех, от детей до стариков

Горит на красном знамени.

И первый крик нелегких дум:

«Да победит Мао Цзэ-дун!»

Я так хочу, чтоб знали вы.

Мы кормимся своим трудом

И в скудный ужин слезы льем.

Зачем заря так медлила?

Мы с каждым днем Сильнее ждем.

Заря! Ты все заметнее.

Мы, не сдаваясь горю, шли

Дорогой сыновой земли.

Нас ждет победа скорая.

И каждый день, и каждый час
Здесь люди называют вас
Надеждой и опорой.
У нас здесь много бедняков,
Уже глубоких стариков,
Не евших в жизни досыта.
Не знавший радости вовек,
Здесь умирает человек —
И к сердцу стон доносится.
Я расскажу об Айшакан...
Ее забрал бай Джумакан,
Рабыней сделал, Родина!
Нельзя словами описать
Ее трепещущую стать,
Ее глаза — смородина.
Ведь было ей пятнадцать лет.
И вот уж молодости нет...
Раба неотвратимого,
Рыдая, шла за богача
И ощутила у плеча
Дыханье нелюбимого.
Но вот, когда семь дней прошли.
Ее наутро не нашли,
Храня ее пугливый след,
Тропинки говорили: «Нет
Несчастной в Какшаале».
Богач за оскорбленье счел
Жужжанье досаждавших пчел,
Дорог и гор молчание.
Рабу отправился искать,
Чтобы примерно наказать
Ее непослушание.
Вот день десятый отпылил.
Тревожно ждал вестей аил —

Раба не покорилась!
Мы радовались. Только вдруг
Приполз в аил неожиданный слух —
Ты у Джапара скрылась.
Собрал джигитов Чоткара,
Уехал молча со двора,
И, разыскав Джапара,
Он руки темные скрутил,
И юноша упал без сил,
Но все терпел удары.
Он без сознания? Пустяк!
Джапар смолчит: Джапар — бедняк.
К тому же руки скручены!
Но сердце у него одно,
И любит только раз оно,
И все молчит, измучено.
Хотел богач, чтобы без сил
Джапар любовь свою сломил.
Пусть победит отчаянье!
Но тот, своей любовью горд,
Был под палящей плетью тверд
И зубы сжал в молчании.
Так били, били дотемна.
От крови плетью была пьяна,
Но все казалось мало им —
Под ноги иглы загонять
И все стегать, стегать, стегать
Змеей кнута усталого.
Был бай — оскалившийся волк,
Одетый в пропотевший шелк,—
Особенно старателен.
«Погиб... единственный... сынок!»
Раздался крик, как будто вздох,

Седой бессильной матери.
Так неужели правда есть?
Нам сердце наполняла месть
И ненависть свинцовая...
Распорядился Джумакан —
И взяли силой Айшакан,
Лишь спрятала лицо она.
И с думой об удачном дне
На лысом вспененном коне
Палач въезжает медленно
На шаткий мост. Под ним река,
Таинственна и глубока,
Вдаль убегает петлями.
Поводья, соскользнув к ногам,
Остались памятью врагам,
Лишь волны зябко вздрогнули.
Исчезла Айшакан в волнах,
А с ней исчезли боль и страх,
И эта жизнь недобрая.

IX

Неотвратимый ураган
Смял, как травинку, Айшакан.
Теперь Джапар один на свете,
И душит горе, как аркан,
И солнце для него не светит,
Не замечает — вечер, день ли,
Лишь с горькой песней горе делит.
И каждый день на берег мшистый
Он шел тропинкой каменистой
И все шептал, тоскою полный,
«Верни мне взгляд лучистый!»
Но горестно смыкались волны
И вдаль бежали зыбко, быстро.

И опускается рука...
Все счастье унесла река.
«Любовью и бедой богата,
Навеки, Айшакан, ушла ты,
Перед насильем не склонилась.
Жизнь за свободу отдала ты,
И мстью в сердце возвратилась,
И стала ненависть крылатой.
А на твоей могиле маки
Цветут, как боевые флаги.
Все рассказать — не хватит слов...
...Гнала из собственных домов,
Тупой подметкой сапога
Топтала кровь и семена,
Повсюду смерть несла
Война...
Китайцы встретили врага.
Японский штык, передний край,
Но бился, как дракон, Китай.
И шли на смерть богатыри
Дорогами кровавых дней,
За счастье родины своей
На грани ночи и зари.
Джапар, едва поздоровев
И затаив на баев гнев,
Дал клятву жизни и войне:
Жить для борьбы, для правды жить,
Манапам, баям отомстить.
Дал клятву: отомстить вдвойне.
Уйгур, киргиз, казах тогда
Со всех сторон пришли сюда.
Чтоб голову в борьбе сложить.
Но от страданий и невзгод

Свою семью и свой народ
Освободить и защитить.
Я видела: земля в огне.
Хотела я помочь войне.
И вот, когда аил затих,
Сабыр-аке ко мне пришел,
Других, таких, как он, привел...
Знакомы многие из них!..
Я людям разносила свет
Скупыми строчками газет,
Усталости не знала я...
Тепло газетного листа
Несла в условные места.
Так долг выполнила я.
...Трава поблекла на лугах,
Листва осенняя в ногах
Тропинки все заполнила.
Однажды случай был со мной
(Я поделюсь с родной страной!),
Его навек запомнила.
Стирая во дворе белье —
Богатство драное мое,
Увидела на улице
Людей с винтовками в руке...
Что нужно им?.. Сабыр-аке!..
А в небе тучи хмурятся.
Сабыр был в доме у меня!
И, как отца, его храня,
Не помня, что я делаю,
Метнулась, побежала в дом
И слово быстрое с трудом:
«Идут!» — сказать успела я.
Вот платье он мое надел,

Оправил складки, как сумел,
Его платком прикрыла я,
Дала ведро: «Иди к реке,
Лети скорей, Сабыр-аке,
Как птица быстроскрылая».
Свернув газеты поплотней,
В корыто сунуть их скорей,
Бельем прикрыть — и нет следа!
Но только бы не выдать дрожь,
Чтоб не заметили, что ждешь,
Когда они придут сюда.
Идет Сабыр. Ведро звенит,
И юбку ветер шевелит...
Его узнать никак нельзя!
А в юрте обыск на беду,
Ищите — дом мой на виду,
Ни в чем не провинилась я!
«Ты знаешь, где Сабыр сейчас?
Не правда ли, он был у вас?»
«Сабыр? Но он мне не знаком...
А кто он? Ваш товарищ? Да?..
Он вас просил придти сюда?..
Но почему же в этот дом?»
Не заподозрив ничего,
Ушли из дома моего,
Не глядя на меня, враги...
Ушли!.. Но слышу, как сквозь сон,
Винтовок равнодушный звон,
Чужие тяжкие шаги...
Земля родная! Никогда
Не сломит дочь твою беда.
Есть путь теперь моей судьбе —
Я честно, как могла, жила,

Страдая, мужество нашла,—
Все мужество отдам борьбе!

XI

Слова! Звучите звоном стали
О том, что мы теперь восстали,
Чтобы на родину дороги
Далекие — короче стали.
Я верю, счастье на пороге.
Светлеет небо в Какшаале.
Родной народ, тебе, как другу,
Свою протягиваю руку.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

I

От горя тяжело вздыхая,
Ночами слезы проливая,
Я мысленно к тебе летела...
Дошло ль письмо мое? Не знаю..
Л я все десять лет хотела,
Чтоб знала все страна родная.
Нет ни дымка, над юртой ночь...
Вам снова пишет ваша дочь.
Народ мой, в дни большого боя
Повсюду я была с тобою.
Живу пока я горькой жизнью,
Но утром, лишь глаза открою.
Душой лечу к моей отчизне,
Хоть плачу от невзгод порою.
Но буду я терпеть и ждать,
Стараясь меньше горевать.
Народ врагов достойно встретил,
Ударом на удар ответил.
На смерть без страха уходили,

Земля стонала, плакал ветер,
Но вы, сражаясь, победили!
И снова день глубок и светел.
Но пять военных грозных лет
Оставили тревожный след.
И о прошедшем вспоминая,
Врага я снова проклинаяю:
Ведь счастье он убить пытался
Твое, страна моя родная.
Но враг жестоко просчитался.
И он разбит теперь, я знаю.
Столкнувшись с нерушимой силой,
Он сеет смерть и жнет могилы.
Страна в кулак железный сжалась,
В тылу и на войне сражалась,
И дочери на поле брани;
Как и джигиты, отличались!
Весть о победе утром ранним
Сюда, в далекий край, примчалась.
Я слышу весть о вас везде.
Когда же встречу вас? И где?
Поля России, наши горы!
В одной борьбе и в общем горе
Соединились вы навеки.
Так на большом земном просторе
Далекие, чужие реки
Роднятся, слившись в общем море.
Когда встает такой народ,
Он всех врагов с пути сметет.
И о победе весть встречая,
Светлели бедняки Китая,
И радовались даже дети,
Гордились люди, отмечая

Свой праздник при коптящем свете
За лишней жаркой чашкой чая.
С победой, дорогие братья,
Хочу сегодня вас обнять я!
Я радости своей не прячу,
Не прячу слез, от счастья плачу,
Душа полна цветов и света.
Да как же может быть иначе?
Народ мой одержал победу —
Близка у нас победа, значит.
И вспоминаю ежечасно
Я о своей мечте, о счастье.
Когда на вас враги напали,
Тяжелым сапогом топтали
Дороги, города, посевы,
То горше не было печали,
Что я вдали от поля гнева,
Что без меня вы воевали.
Что делать: я вдали от вас,
Но сердце с вами каждый час.
Сильна надеждой победоносной,
Я счастье встречу непременно
И не согнусь под байской плеткой,
И даже за стеной тюремной
К свободе сквозь ее решетку
Я потянусь душою гневной.
Пока живу я и дышу,
Свободой светлой дорожу.
Из-за туманных гор вставая,
Уже идет заря живая,
И правда ленинского солнца.
Туман всей жизни разгоняя,
Навечно в юртах остается,

А значит — близок день, я знаю.

II

У нас предатель гнусный есть,
Свободы враг, одетый в лезье.

Его всей силою души

Все наши бедняки клянут,

Его оружие — ложь и кнут,

Но доживает Чан Кай-ши.

Горит над миром красный флаг,

И перед ним трепещет враг.

Народ поднялся на борьбу,

Он сам решит свою судьбу!

Вот ветер свежестью подул!

И не соха — ружье в руках,

И отсвет солнца на штыках.

Веди нас в бой, Мао Цзэ-дун.

Я знаю, гибель ждет врагов

От пуль восставших бедняков.

Я поняла теперь, кто враг,

И этим победила страх.

Нас ждет победы торжество!

За будущее воевать,

Благословив, послала мать

Надежду — сына своего.

Да победит простой народ,

Пусть сыновей война вернет.

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

I

Вот снова я пишу тебе

О нашей жизни и борьбе.

Веками ждали мы. И вот

Нет больше власти богачей,

И в юрты, полные лучей,
Свобода свет прекрасный льет.
Победы я ждала давно,
И сердце радостью полно.
Солнце тучи обожгло
И все аилы обошло,
Повсюду приносило весть,
Что победил Мао Цзэ-дун,
Отец борьбы и наших дум,
Что правда для народа есть
Я радуюсь моей весне!
Ну как не радоваться мне?
Мао Цзэ-дун нам написал,
Чтобы народ не горевал,
Что, наконец, свободен он.
Из юрты каждый выходил,
И был расцвечен весь аил
Степными маками знамен.
Три дня мы праздновали так,
Впервые счастливым был бедняк.
И словно ветер, без следов
Летели дни среди цветов,
Но вдруг перед народом встал
Сабыр-аке. Но он ли? Да.
Исчезла только борода
И зазвенел в словах металл.
Все тот же взгляд веселых глаз:
«С победой поздравляю вас».
Иные думали: «Не он».
А я смотрела, как сквозь сон,
Сабыр-аке... Сабыр-ахун,
Принесший свет во тьму сердец!
И все кричали: «Молодец!»

Да здоровствует Мао Цзэ-дун!»
Нет, это правда, а не сон,
Узнали все, сказали: «Он!»
«Мы долго ждали этих дней,
Нас жгли ударами плетей,
Холодный голод убивал,
Но ружья взяв, боролись мы
Против насилия и тьмы.
Сегодня светлый день настал!»
Сказал взволнованно Сабыр,
Приветствуя прекрасный мир.
Но вот выходит Ли Энь-лай,
Он знает наш забытый крап,
Его любой в аиле знал,
Как часто под стеклянный звон
Нам чайники и чашки он
Здесь возле юрты продавал.
«Друзья мои»,—сказал нам Ли,—
«К победе мы сквозь смерть пришли».
Так вот зачем сырой весной,
В осенний холод, в летний зной
Он из аила шел в аил.
И стало как-то ясно вдруг,
Что он, большой и честный друг,
Нам путь к победе проторил.
Я знала в жизни много мук
И поняла — кто враг, кто друг.
Когда прощался сын со мной
И уходил на грозный бой,
Я плакала до темноты,
Но я сказала: «Сын! Пока
Не уничтожишь ты врага,
Домой не возвращайся ты».

И мне писал: добрался он
До великой Ян-цзы-цзян.
Бойцам сказал тогда Чжу Дэ,
Что есть у храброго закон —
Врага уничтожает он,
Не отступает он нигде.
И радовалась я, что враг
Разбит на мшистых берегах. .
Осуществились все мечты.
Но, сын мой, не вернулся ты!..
Увял, как сорванный цветок...
И писем белые листки
Лежат у ослабевших ног.
Но знаю я, что мой сынок
Свободе отдал все, что смог.
В крови, среди цветущих трав,
Всю волю, силы — все собрав,
Он душу в гордый крик вложил:
«Да здравствует Мао Цзэ-дун!»
Над ним свободный ветер дул,
И крик его принес в аил.
Мне продолжать не хватит сил,
Он горе в сердце поселил.
Но мертвых слезы не вернут
И не уменьшат боль вот тут,
Где сердце бьется у меня,
Нс все я рассказать спешу.
Нет, не словами я пишу:
Любое слово из огня.
Теперь у многих — близких нет.
Без крови не было побед.
Стараясь чем-нибудь помочь, —
В военную глухую ночь

Вязала варежки бойцам.
Вот две готовы, вот и шесть...
А люди мне давали шерсть,
Чтобы бойцы не мерзли там.
Трудились, не жалея сил,
Трудился каждый — весь аил.
Свободы долго ждал, и вот
Завоевал ее народ.
Он к ней стремился столько лет!
Сегодня победил в борьбе,
Хозяин он своей судьбе,
Все для него — и солнца свет,
И первый собственный посев,
И песни радостный напев.
Враги пришли из разных стран,
Чтоб снова Тихий океан
Хлестал трудящийся Китай,
Но вот разгромлены они,
И снова солнечные дни
Пришли в Пекин, Кантон, Шанхай.
Пусть мир узнает, как силен
Народ, когда свободен он.
Когда-то вам писала я,
Что от нужды устала я,
Но не теряла никогда
Надежды на родной народ.
Я знала: светлый день придет
В дома простых людей труда.
Смотрела сквозь седую рань
Туда, где высится Тянь-Шань.
Смотрю и вижу — среди равнин
Седая белизна вершин
И яркий, чистый солнца свет.

И словно шепчет ручеек:
«Ведь путь туда не так далек!»
А для меня дороги нет...
И этот голос волновал,
Но Какшаал не отпускал.
Пройти за перевал Бедел
Наперекор моей беде —
И вот родимые места,
Бурливая, родная Чу...
Я так придти к тебе хочу,
Но мне мешает темнота.
И полные тревоги дни...
Но навсегда ушли они!
И нет на небе туч теперь,
Я солнцу распахнула дверь,
И солнце в юрту принесло
Чуть слышное дыханье трав,
И скромно у порога став,
Свет протянуло и тепло.
И различаю каждый день я
Весны могучее цветенье.
Мои соседи и друзья
Хотят, чтоб написала я
Вам и от них, хоть что-нибудь...
Сегодня знает весь аил,
Кто нам к победе путь открыл,
Кто проторил нам этот путь.
Теперь осталось мало дней
В пути к родной земле моей.
Я знаю, этот день придет,
Ведь легче с партией идти.
Она по новому пути
Ведет разбуженный народ.

Китай! Мой дом печальных лет!

Тебе желаю всех побед.

Я знаю, знаю, как дружны

Две наши братские страны,

Хотела бросить Какшаал...

Но край мой, край мой дорогой,

Теперь Китай совсем другой,

И наш аил родным мне стал.

И цель у нас теперь одна,

А я моим друзьям нужна.

Здесь любят все советский край,

И знает всё о нем Китай.

В те дни, которых не забыть,

Россия цепи сорвала

И нас на подвиг позвала:

Бороться, строить и любить.

Тех дней и годы не сотрут,

Они вовеки не умрут.

В ночной сдавившей землю мгле

Мечтала о родной земле

Твоя, одна из многих, дочь.

Что значит — жизнь узнала я,

Идти не уставала я

К заре свободы через ночь.

Забывтый колос на стерне

Чинаром представлялся мне.

Теперь рассеялась гроза,

Звенят от счастья голоса.

Я миру расскажу всему:

Ты, мой Китай, теперь не тот,

И не осмелится никто

Мешать цветенью твоему.

Не в силах возвратиться, ночь

В лучах зари уходит прочь.
Свободы ветер так могуч,
Разгонит он остатки туч,
Пришло к нам солнце навсегда!
Об этом знает весь народ,
И он свой новый день кует
Могучим молотом труда!

II

Да, в жизни горестной моей
Так мало было светлых дней.
С родной реки бежала я,
Меня никто не уважал,
Прислужник ханский унижал
И истязал безжалостно.
Как чувства все в письмо вложить?
Теперь хочу я жить и жить.
Как жаворонок, что без сил
Летал, гнезда не находил,
В чужой стране металась я.
Нужда — холодная скала,
Богата горем я была,
Бесправьем и усталостью.
Все это в памяти моей.
Я человек среди людей.
Как это счастье велико!
Теперь я вижу далеко,
Я дочь твоя, родной народ,
Я двух больших народов дочь,
Всей жизнью проклиная ночь
И славлю солнечный восход.
Будь счастлив, мой народ родной!
Ты в сердце, ты всегда со мной»

Мукай Элебаев

(1906 – 1944)

Поэт и прозаик Мукай Элебаев, погибший в Великую Отечественную войну, стоял у истоков формирования киргизской литературы 20-х –30-х гг. Среди произведений М. Элебаева наряду со стихами агитационно-патриотического, маршевого характера, встречаются яркие образцы философской и пейзажной лирики.

Автобиографическая повесть М. Элебаева «Долгий путь» (1936) положила начало отечественной мемуарной литературе. В повести описаны реальные события из жизни Мукай – сиротство, бесправие и унижение, как на родине, так и китайском Туркестане в 1916 г. В повести представлены яркие образы его родных и близких, волостных начальников, стражников, приводятся бытовые и этнографические зарисовки.

Повесть издана на русском языке в 1959 году.

ДОЛГИЙ ПУТЬ

I

Наша юрта стояла на краю аила, у старой глинобитной ограды.

Однажды мы только что начали подниматься с постели, как вдруг Алмакан, вскрикнув, бросилась к маме.

Прошло уже много времени, как мама слегла. Но сегодня она выглядела не как всегда: глаза вышли из орбит, сделались страшными, в груди что-то хрипело. Я впервые видел, как умирает человек. Мне было одиннадцать лет.

Мы сбились в кучу вокруг мамы. Сестра, как сумасшедшая, закричав во весь голос, выбежала во двор; вскоре она вернулась и опять бросилась к постели мамы. Хотя наша юрта стояла в стороне, но на громкие крики сестры быстро сошлись люди. Меня кто-то выманил во двор. В юрте раздались громкие рыдания, они все больше нарастали и, казалось, вот-вот поднимут нашу плохонькую юрту.

Вот так мы — шесть малышей — остались сиротами. Самая старшая из нас — Алмакан, затем — я, после меня — Беккул, Эшбай, Ашимкан, Бекдайыр. Всего у матери было десять детей: четыре сына и шесть дочерей. Трех старших дочерей она выдала замуж, самая младшая умерла.

После смерти мамы за нами стала присматривать Бурмаке — жена старшего брата моего отца, дяди Элебеса — маленькая, сутулая старушка лет шестидесяти. Кроме нее, помочь нам было некому. Дядя отроду жил в бедности. Года три тому назад он уехал в Кызыл-Кия. Говорили, что бедняку прокормить себя там было немного легче. Дядя Элебес устроился на почтовой дороге и больше в аил не показывался.

Как назло, весна в этом году выдалась трудная. Несмотря на то, что настала пора, травы еще не поднялись, почти непрерывно дули пыльные ветры. В прошлом году был неурожай. Да к тому же большинство наших жителей хлеба сеяли очень мало — редко кто более двух теше. Наступил голод. И люди по одному, по два, приторочив мешки к седлу, потянулись в русские поселки.

Последнюю горсть пшеницы мы съели еще вчера, и сегодня с рассвета ничего не брали в рот. Бурмаке послала меня в нижний конец аила попросить в одной юрте пшеницы на джарму.

Вошел. Рослая чернолицая старуха, с большим носом, сидит у очага, где горят кизяки, греется. Под её рукой прячется маленькая девочка как жеребёнок, нашедший убежище от дождя.

— Тетушка Бурмаке просила у вас чашку пшеницы,— сказал я, не глядя на старуху. Не заставляя себя долго ждать, она буркнула:

— Нет!

Я вернулся. Бурмаке научила меня, как надо просить:

— Скажи, что, если будем живы, в долгу не останемся.

Пошел я снова, но старуха ничего не дала, и я опять вернулся с пустыми руками. Тогда Бурмаке сказала:

— Не вырыть же нам из земли то, чего нет! Испытаете, что на роду написано, несчастные мои!

Она вздохнула, горестно хмурия брови, словно наши дни были сочтены.

После этого не прошло и десяти дней, как все мы, кроме тети, заболели тифом.

В юрте то там, то здесь стонут малыши. Бурмаке, сгорбившись, обходит каждого и дрожащими старческими руками подает пить. Как-то приходил один знахарь и советовал десять—пятнадцать дней не есть, принимать только воду. А у нас и так, кроме нее, ничего нет...

Вот лежит с всклокоченными, как шерсть, волосами, в полусознании, старшая сестра. Ближе к очагу стонет Беккул. Его руки до того исхудали, что видны все жилы, и, кажется, стоит только дотронуться до костей — они поломаются.

- Беккул, скажи, миленький, что у тебя болит, а? — спрашивает Бурмаке. Но он не слышит. Едва дышит.

Отец в надежде что-либо разыскать, приторочив мешок, давно уже куда-то уехал. Ждем каждый день, но его все нет. За целой семьей, свалившейся от болезни, ухаживает одна Бурмаке. По ночам она почти не спит. До рассвета томится, только иногда чуть-чуть задремлет, но, вздрогнув, снова открывает глаза. И потом уже долго, долго прислушивается к окружающему, как человек, попавший в страшный дремучий лес. В эту ночь, когда Беккул никак не мог успокоиться, она ни разу не сомкнула глаз. Помню: время к полуночи, а она все сидит у очага, временами разгребая еле мерцающий жар. Порой её голова, как у безжизненной, падает на грудь. В юрте темно, тихо. Только изредка слышится слабый стон Беккула.

Я, помнится, поднялся с постели через месяц. Волосы мои вылезли, как у плешивого. Через несколько дней вслед за мной поднялся и Беккул. Волосы у него тоже выпали. Когда мы могли кое-как стоять на ногах, Бурмаке дала нам палки.

— Если будете больше ходить, скорее наберетесь сил. Пройдитесь вокруг юрты,— посоветовала она. Мы с большим трудом, делая передышки, обошли юрту. Меня тошнило, в глазах рябило. Земля, казалось, переворачивалась...

Как холм, одиноко стояла наша юрта! С тех пор, как мы слегли, к нам ни одна душа не заглядывала. Вот что я мог видеть, выходя во двор: вокруг — разваленная глинобитная ограда, в одном месте — кормушка для коня, а возле — сухие объедки. Дальше — ямки, где мы с Беккулом играли. На куче навоза, свернувшись калачиком, еще со вчерашнего дня лежит собака с пятнистой шеей. Увидев меня, она помахивает хвостом и смотрит такими глазами, словно просит: «Нет ли, дорогой, у тебя чего-либо поесть?».

Шел день за днем, но из-за недостатка пищи силы к нам возвращались медленно.

— Ах! Если бы была еда, вы скоро окрепли бы. Что же мне теперь делать, — сокрушалась Бурмаке. Но что она морла сделать? У нас в запасе одна чашка талкана — добрые люди дали. Тетушка изредка готовит из нее жиденькую джарму и, как лекарство, делит между больными. Но два—три глотка нисколько не утоляют голода.

II

Прошло около месяца, как я поднялся с постели. Тут приехала другая бабушка — из Кен-Суу — и увезла меня к себе. Алмакан еще не выздоровела. Когда я пошел за бабушкой к ее лошади, сестра, откидывая волосы, падавшие ей на глаза, глянула на меня: «Ты уезжаешь, да? Ну, что ж, прощай», — говорило ее лицо и глаза, полные жалости и тоски.

Хотя в семье оставалось еще пять сирот, мой уход, однако, немного облегчил их жизнь.

Дед мой по матери жил в сорока верстах, в Кен-Суу. Он — крупный бай, у него шесть сыновей и все шестеро быстро богатели.

Бабушка привезла меня к вечеру на своей гнедой, грузной кобыле. Стояла пора окота. Женщины, закончив дойку овец, отпускали их с привязи. Был мягкий весенний вечер. Блеяли овцы, ревели коровы, ища телят, перекликались женщины... Все это наполняло окрестность разноголосым шумом. Мне, привыкшему жить в уединении, показалось, что я попал в какой-то иной мир...

Прошло несколько дней. Я окреп, стал ходить в соседние айлы, сдружился с ребятами.

Однажды утром бабушка велела снохе налить мне в коночек айрану.

— Пойди, милоч, попаси ягнят. Только не давай им бегать домой,— сказала она.

Тетя Айымджан помогла мне выгнать ягнят из загона. Я погнал их дальше, в горы. В руках у меня был длинный прут. Им я подстегивал, отстающих, и они подпрыгивали, как ужаленные.

Отойдя от айла подальше, я загнал отару в балку, а сам остался на скате. Ягнята скрылись в кустарнике, успокоились, я скинул чокои, положил сушиться, затем подстелил под себя шубу, улегся. Вокруг почти никого не видно, только сын бая Сарыбая недалеко от меня забавлялся ручным соколом.

Возле высокой скалы он запустил сокола на сороку, а сам скрылся где-то внизу, только слышалось звяканье сбруи коня, покрытой чистым серебром. Пастух на далеком холме уверенно выводил песню.

Любуясь окружающим, я не заметил, как около сотни ягнят с шумом понеслись вниз по склону. Второпях я бросил все имущество и помчался за ними. Разогнавшиеся ягнята остановились лишь у самого загона. Я повернул с полдороги назад; тут увидел и

остальных, которые неслись вслед за первыми. Я не стал их останавливать: «Теперь все!» — подумал я и пустил их своей дорогой.

На другой день я опять выгнал ягнят. Небо было безоблачным. Ко мне на гору поднялся какой-то мальчик, ростом выше меня, хорошо одетый, в вельветовых брюках. У него такой же коночек, как и у меня. Мы слили ягнят в одно стадо и пустили пастись по широкому склону, покрытому таволгой. Вскоре они скрылись в кустах, а мы принялись бросать с горы камни. Я дважды метнул дальше его.

— Ты кидай, не сходя с места,— зашумел он.

— Ты тоже не сходи!

Солнце начало припекать. Мы бросили игру и пошли пить айран. Мальчик опустился на колени, стал пить айран через трубку.

— Ты тоже пей так, так лучше,— посоветовал он.

— Нет, я буду пить просто,— ответил я и поднял коночек.

В эту минуту группа ягнят, отделившись от стада, побежала вниз.

— Заверни их,— приказал мальчик, продолжая стоять на коленях.

— Нет, я не побегу, ягнята твои! — ответил я.

Мальчик вскочил на ноги и, приблизившись, выпучил глаза:

— Что ты сказал, бродяга?

— Ты знай, что говоришь, я не бродяга,— ошетинился я.

— Ах ты, негодный раб, ты знаешь, у кого ты находишься? А чьих ягнят пасешь? Где твой род? — закричал он и схватил меня за воротник. Мы сцепились и упали, больно ударившись о камни. Поднялись, немного растерянные. Мальчик отошел в сторону, разыскал какого-то длинного червяка, поднес ко мне.

— Сейчас брошу тебе на шею.

Я приготовился к защите:

— Не подходи близко! — закричал я. И стал отмахиваться длинной хворостиной. Немного спустя мы помирились.

Время подошло к полудню. Я пригнал ягнят домой. Пока девушки и ребята привязывали их, появились и овцы.

Вокруг загона стоят пять юрт. Из каждой по одной, по две лениво вышли молодухи с посудой — доить овец.

— Ну, давай, живее подводи, — обратилась ко мне тетя Айымджан.

Я помог выдоить трех—четырёх овец, потом с большим трудом приволок за шею двухгодовалую овцу, которая упиралась, как ишак, боящийся взойти на узкий мост. И надо же случиться несчастью: не успела доярка коснуться вымени овцы, как она рванулась и потащила меня за собой. На бегу овца острым копытом наступила мне на ногу, я вскрикнул: «Ой!» и присел. На ногу выступила кровь. Женщина, доившая вблизи, заохала:

— Раздавили бедняжке ногу!

Бабушка, строгим хозяйским глазом наблюдавшая за всем загоном, увидев меня, сказала:

— Сыну голодранца и скотина попадаетея подстать.

Она подошла поближе и, важно опираясь на свой сучковатый посох, оглядела меня:

— Несчастный, где ты изодрал шубу? — строго спросила она.

— Это порвал сын Сасбака, — ответил я, не поднимая глаз.

— На что тебе игры, несчастный! Кто же тебе ее починит?

— Я не играл. Он сам бросился на меня за то, что я ему не помог завернуть ягнят.

— Несчастный! Обездоленные все таковы!

Мне казалось, было бы легче, если бы она оставила меня голым, чем угощать такими обидными словами, проникающими до костей. Когда бабушка сердилась, то на каждые ее два слова третьим было — «несчастный». Но это слово чаще всего применялось ко мне. Сколько бы она ни гневалась на моего двоюродного брата — Курманбая, никогда не говорила ему «несчастный». Поэтому я решил: «Наверное, это слово придумали специально для бедных».

О нашей драке с тем мальчиком, который изорвал мне шубу, очевидно, донес бабушке Курманбай: больше было некому. Мы с первого же дня невзлюбили друг друга. Когда меня не было, он ябедничал бабушке на меня. Однажды я своими ушами слышал, как Курманбай жаловался ей, будто я пинаю скот. А бабушка как раз и не любила таких людей.

Раз, близко к вечеру, мне сказали:

— Тебя зовет байбиче Сарыбая.

Богач Сарыбай жил в центре Кен-Суу в двух белых юртах, которые бросались в глаза еще издали. Вокруг них всегда стояли еще четыре или пять юрт, обычных, но аккуратных, новеньких, как с иголки. Его сыновья Исмаил, Карыбай тоже имели по юрте.

И вдруг байбиче Сарыбая удостоила меня чести пригласить к себе. Я удивился. Сарыбая я знал понаслышке, но у него не бывал. Меня ввели в белую юрту. В первой ее половине, где я остановился, на шелковых и плюшевых подушках, накинув на себя бархатный чапан, важно восседала плотная женщина, в большом шелковом элечеке. Я догадался, что это байбиче. Возраст ее был преклонный, не меньше пятидесяти лет, но выглядела она моложе своих лет, видимо, благодаря сытой и беззаботной жизни.

Когда я вошел, она молча подала мне знак сесть поближе и сунула лепешку. Я сел и стал ждать, как пленный раб, что она скажет. Я думал: «Может быть, она пригласила меня из жалости как сироту, и хочет чем-нибудь облагодетельствовать...»

Вдруг байбиче протянула левую руку. На ладони я увидел медные монеты: две и пять копеек. Вначале во мне возникло недовольство: «Неужели Сарыбай, у которого тысячи лошадей, не может дать мне больше семи копеек?» Но потом я понял, в чем дело. Это была милостыня.

Сарыбай был болен. С тех пор, как я вошел в юрту, люди шли непрерывным потоком, одни заходили, другие выходили. Все высказывали баю свое сочувствие. Поэтому же пригласили и меня.

Видимо, чтобы отдать садака, они искали круглого сироту и во всем Кен-Суу нашли только меня. Съев лепешку и получив семь копеек, я понял, что мне здесь больше нечего делать. Я чувствовал себя униженным и оскорбленным, мне было не по себе. А дома меня никто и не спросил, с чем я пришел от Сарыбая, будто все заранее знали, зачем меня туда пригласили.

Через три месяца приехал дядя Элебес и увез меня с собой. Бабушка не стала особенно возражать.

— Езжай. Мы не успели приготовить тебе хоть какую-нибудь обновку. Не жалуйся на нас... — сказала она с притворным сочувствием и подала мне свою старую безрукавку.

Вот и все, что я нажил за целое лето.

Дед мой, а также все его сыновья считались очень богатыми. Но они были настолько жадны, что могли удавиться из-за подошедшего шелудивого ягненка. Первый сын деда — Саадамбай, имевший девятьсот овец, не носил других брюк, кроме как из овчины. Помню до сих пор, как он из-за издохшей овцы лил слезы и до утра колотил своего пастуха.

III

От деда мы поехали прямо в Кызыл-Кия. Элебес по дороге объяснил:

— Когда ты уехал к деду, мы вашу семью перевезли к нам, в Кызыл-Кия. Сейчас все находимся под одной крышей. Надо же нам как-нибудь жить...

Кызыл-Кия. Так именовали большой перевал в пятидесяти верстах от знаменитой ярмарки Каркара, которая являлась узлом, где сходились пути из Каракола, Джаркента, Кульджи, Нарынкола.

У подошвы Кызыл-Кия зимой и летом безвыездно жили семь—восемь семейств. Их называли «дорожниками». Они набирались в обязательном порядке из разных волостей Пржевальского уезда. Срок службы дорожника самое малое — четыре года. Но среди них были и такие, которые проработали и по десяти лет. Местность эта похожа на джайлоо. Зимой снега выпадали до того глубокие, что путник мог присесть на верхушку телеграфного столба перекурить. Стоило сойти с дороги, как человек или лошадь моментально тонули в снегу. Здесь жили две семьи русских. Они не были дорожниками. Один из них крупный богач Башарин. Прошло много лет с тех пор, как он поселился в Кызыл-Кия. О нем киргизы говорили: «Когда он приехал, имел только телегу да лошадь, но разбогател на выжигании извести». Каждый год у него телилось 70—80 коров.

По низинам Кызыл-Кийской долины, занимаясь полеводством и скотоводством, жили и другие русские. В Кутурган-Булаке жил богатый купец Дмитрий, или, как звали его, «почтальон Метрей». Кроме усадьбы в Кутурган-Булаке, он имел дома и в других местах: в Караколе, в Тюпе. Его коней дорожники узнавали издали по масти и резвости.

Обязанности дорожников состояли в том, что они убирали камни на дорогах, засыпали выбоины, ремонтировали мосты, держали наготове лошадей. Особенно тяжело было зимой. Трудно сосчитать, сколько раз им приходилось вскакивать с теплой постели и выходить с сонными глазами в темную ночь, в снежный буран, чтобы запрячь в сани клячу

и отправиться на перевал. Если дорожник запаздывал или на перевале не тянули лошади, то он получал крепкие пинки и затрещины чиновников, едущих с почтой.

Поэтому бедняги спали в постоянном страхе, а в темные буранные ночи держали ухо настороже и, заслышав звон далекого колокольчика, загодя вскакивали с постели.

Приехав в Кызыл-Кия, я застал отца умирающим. Мне стало понятно, почему меня забрали от деда. Отец несколько мгновений смотрел на меня потускневшими, ввалившимися глазами, не узнавая.

— А, это ты... — наконец сказал он.

Наверное, и здесь хорошего ничего не видеть. Голодный Эшбай просит есть, плачет навзрыд, Ашимкан старательно вылизывает остатки джармы со дна чашки. Съестного в доме нет ничего, словно семья откуда-то приехала и только что сгрузилась. Кроме отца, нас шесть человек и все малыши. Да еще дети Бейшемби.

Бейшемби — единственный сын дяди Элебеса. Ему свыше тридцати лет, у него трое детей. Значит, только малышей набралось около десятка. Короче говоря, в одной семье нас четырнадцать едоков. А как всех прокормить?!

Была мягкая, спокойная ночь. Мы только что улеглись спать, как вдруг резкий голос Бурмаке заставил нас открыть глаза.

— О несчастные, вставайте! — закричала она.

Протирая глаза, поднялись все.

Умер отец.

Юрта наполнилась плачем. Не знаю, откуда взялась какая-то женщина. Мне и Беккулу, еще сонным, она подала по палке и вывела во двор.

— Натте вот, возьмите это, опирайтесь и плачьте до кровавых слез, несчастные! — сказала она и поставила нас рядом с Бейшемби, который стоял возле юрты и голосил, упираясь руками в бока.

Беккул не выше своей палки. Но и он покорился. Голос, однако, у него слабый. А вопить надо, это я знал. Прежде всего я послушал других. Бейшемби причитал: «Мой ты родимый!». Я же начал: «Родной ты мой отец!». За мной заголосил и Беккул. Тогда я, стыдясь того, что мы оба произносим одни и те же слова, обернулся к брату и сказал:

Ты не повторяй за мной, а находи свои слова сам.

Наступило утро. Показалась группа людей, которые заголосили еще издали. Мы тоже начали плакать. Когда я прислушался к Беккулу, он продолжал причитать моими словами: «Родимый ты мой отец!» Я, обернувшись к нему, опять приказал:

— Я же тебе говорил, находи слова сам.

Он притих, я снова заголосил.

IV

Наш аил расположен в «Козлином загоне». Так называется место, обнесенное каменной стеной. Видимо, стена стоит уже давно: местами она обвалилась, кое-где на ней растет трава. До сих пор не знаю, кто и когда её построил. Но старики в то время

рассказывали: «Давным-давно здесь жили калмыки. У них имелось несколько тысяч коз. Загон был выстроен для них. А рвы вокруг, вероятно, вырыты в годы междоусобиц».

«Козлиный загон» стоял на берегу реки Тюп, около дороги. Проезжие часто останавливались здесь, чтобы перекусить, ставили самовар. Зимовье дорожников находилось на виду, на расстоянии пробега жеребенка.

Однажды вечером Джанымджан рубила на дворе дрова.

— Ой, гляди, мама, Урманбет едет! — зашумела она.

— Что ты сказала? Кто едет? — спросила Бурмаке, сидевшая в юрте.

— Да Урманбет, вот уже подъезжает.

Урманбет приходится мне двоюродным братом. Отец его умер, и он не захотел жить с родом, ушел из аила.

Мы долгое время не знали, где он находится. Кто говорил, что он в Караколе, другие утверждали, что отправился в Андижан, нанявшись к торговцам погонщиком скота. А еще от кого-то слышали: «Урманбет в Каркаре служил работником у одного узбека, а когда тот ему не заплатил, он похитил его лошадь и бежал, но был пойман».

Он с детства был озорным, никогда не сидел на месте. Если приходилось постоять хотя бы минутку спокойно, казалось, его вот-вот разорвет нетерпенье. Какой бы ни был аил, он не успокоится до тех пор, пока не обойдет его весь, не заглянет в каждый уголок.

Урманбет сбежал из аила, когда ему было лет четырнадцать. И с тех пор сколько бы раз ни приводили его назад, он, не переночевав и пяти ночей, скрывался вновь. Некоторые пробовали уговорить его: «Нехорошо отказываться от родичей, на чужбине добра не наживешь». Но он был упрям и стоял на своем. Близкие родственники долго возились с ним, стараясь повлиять на него и советами и уговорами, а он выслушивал их молча и делал по-своему. Выглядел Урманбет молодцом: плотный, плечи шириной в аршин, высокий лоб, в глазах красных, словно налитых кровью, горит отвага...

...Вот, наконец, он входит в юрту. На нем изорванная серая шляпа, поношенный, из черной шерсти, длинный халат, на ногах — кашгарские сапоги. Значит, служил у кашгарца.

Урманбет имел привычку садиться у двери, будто это место для него было предназначено отроду. И теперь опустил там же. Опираясь на седло, сидит безмолвный, мрачный, как будто обдумывает что-то, только глаза из-под надвинутой на лоб шляпы смотрят зорко. О чем же он думает?

Бейшемби по привычке начинает вразумлять его.

— Много лет ты бродил в чужих краях, а что хорошего нажил? Давай жить вместе, будем сирот кормить.

Присоединяется и Бурмаке:

— Соглашайся, дорогой! Как-никак, поди набрался уже ума-разума! Не пропускай мимо ушей советов Бейшемби!

Урманбет, уставившись на черный кумган с поломанным горлышком, сидит молча.

Бейшемби упрашивал его долго и горячо. «Ну, теперь ты размяк, останешься», — подумал и я. Но Урманбет вдруг неожиданно коротко ответил всем:

— Нет, уйду!

Больше он не проронил ни слова.

В тот вечер у нас остановились молодые татары — возчики. После чаепития они закурили папирасы, заиграли на гармонике, запели. Урманбет вдруг оставил нас и присоединился к ним. Рыжий приземистый джигит, откинувшись на сложенные постели, высоко пускал клубы папиросного дыма. Урманбет попросил его довезти до Каракола.

— Сколько дашь? — неохотно спросил рыжий, искоса взглянув на Урманбета.

— Пятьдесят копеек...

— Нет, так не пойдет.

Торговались долго.

— Дорогие, у меня даже рубля нет, — признался Урманбет, затем добавил умоляюще: — Возьмите восемьдесят копеек, заодно буду извозчиком.

Рыжий парень немного помолчал, а потом лениво протянул руку:

— Давай деньги!

Урманбет вытащил из-за пазухи грязный платок, развязал на его конце узелок, величиной с пуговицу, медленно отсчитал монеты. Мне стало жаль его. «Эх, жизнь! Неужели эти возчики что-нибудь потеряют, если подвезут беднягу! Почему они не жалеют бедных, почему их не трогает чужое горе?!» — думал я.

Нет ничего страшнее на свете, чем быть обездоленным!

Урманбет как вышел из юрты, так и не заходил больше. Когда мы укладывались спать, он, кажется, отправился с возчиками. Мне стало обидно, что он, за пять лет показавшись один раз, ушел, не пробыв даже ночи. Я долго не спал, думая о судьбе Урманбета.

Вскоре, той же весной, мы увидели его снова. На этот раз он ехал из Каракола в Каркара. Работал у одного андижанского бая. Вид у него был веселый, не такой как прежде. Он хвалил свою лошадь и рассказывал, как она, по дороге из Каракола, много раз уносила его от полицейских.

V

На следующий год Элебес отдал меня в работники русскому по имени Василий, который жил по ту сторону Тюпа. Я должен был пасти коров.

Когда мы собрались уезжать, подошла Бурмаке.

— Ну, будь здоров, — пожелала она, — как-нибудь нам надо жить. Ты же сам видишь, какая у нас семья?

— Поеду, мне там будет лучше, — ответил я.

Подсаживая меня на лошадь, она спросила у Элебеса:

— Что же ему будут платить?

— Два рубля в месяц.

— И то ладно, два рубля — это деньги, задаром их никто не даст.

Когда мы сели на лошадь, небо стало хмурым, над головой поплыла черная туча. Я обрадовался — хотя бы пошел дождь, ведь с весны на землю не упало ни капли. Элебес тоже глянул на тучу. Он звучно ударил гнедую кобылицу пятками по ребрам и с огорчением пробормотал себе под нос:

— Что за погода, хотя бы капля упала.

Я промолчал. Снова ударив кобылицу, Элебес вздохнул.

— Господи, зачем ты только создал нас несчастными...

Дома привыкли и не обращают внимания на его роптания.

Выражение его лица постоянно такое, будто он проглотил горькое лекарство. Элебес — человек уже старый, с бородой, тронутой сединой. Я часто думал: «Почему он такой?» и старался постичь причину его жалоб. Когда он начинал огорчаться из-за пустяка, Бурмаке говорила: «Ну вот, опять началось... Да придет ли такой день, когда ты хоть раз будешь веселым?»

К Василию мы приехали на закате. Василий — пузатый, среднего роста, в ситцевой рубашке — ходил по двору. Увидев нас, он сказал, чуть улыбнувшись в усы:

— А, приехали?

Мы соскочили с лошади и вошли в дом. В углу висели большие иконы. Они для меня не представляли особого интереса — такие я видел и у Башарина. Но меня захватила другая картина, прибитая над кроватью, — бесчисленные войска, битва... На переднем плане кто-то рубил саблей убегающего противника...

Жена Василия высокого роста, голубоглазая, с большим носом, покрикивая «кши! кши!», отогнала передником забежавших в комнату желтеньких цыплят, вытащила из печки чугун и налила нам супу. Положила несколько вареных яиц, нарезала хлеба.

За едой Элебес о чем-то переговаривался с хозяевами по-русски. Василий по-киргизски объяснялся кое-как. В доме была еще красивая дочь Василия. Она говорила по-нашему совершенно чисто.

После еды Элебес не стал задерживаться. Сел на лошадь и уехал. Я же остался у чужих людей, как человек попавший в плен, одинокий и беззащитный. Когда пришло время спать, жена Василия принесла какую-то мешковину и, держась подальше, повела меня как слепого за руку к двери.

— Ложись здесь, — указала она на угол.

Я расстелил мешковину и улегся, накрывшись своей шубой. Наступила тишина. Напротив меня в плетенке сидит курица. А у печки, кажется, вытянув длинную шею, лег гусь. Где-то близко в темноте, мяукая, бродит кошка.

Через некоторое время поднялась луна. Ее лучи упали в окно и осветили комнату. На дворе ни звука. Возле дома, давно погружившись в покой, лежат коровы.

Рано утром Василий разбудил меня и сонного куда-то повел. «Куда же он идет?» — думал я, шагая за ним. Наконец, он подвел меня к арыку за домом, показал рукой на воду и пошел обратно. Я его понял. Мне следовало умыться. Ополоснув лицо и руки холодной утренней водой, кое-как утерся полой грязной рубашки и направился к дому. Жена Василия, подоив коров, несла молоко, но, увидев меня, остановилась и на ломанном киргизском языке сказала:

— Давай, иди кушать.

После еды я направился во двор. Но Василий остановил меня и через свою дочь объяснил, куда нужно выводить коров. Я кивнул головой — знаю.

Небо чистое. Как радостно сегодня светит солнце. Около тридцати коров я погнал вдоль берега Тюпа. Один. Скучно. Гляжу по сторонам. Вдали два пастушонка взапуски катаются на бычках. Ближе, загнав коров в овраг, над кручей сидят двое. «Какие счастливые!» — подумал я. Но пойти к ним невозможно: они — на той стороне разлившейся реки.

Прошло несколько часов. Коровы не стоят на месте: оводы не дают им покоя. И чем жарче, тем больше беспокоятся коровы. Я загнал их в глубокую ложину. Но — чтоб она подохла! — какая-то красная корова отбежала от стада, остановилась, постояла, постояла и, задрвав хвост, бросилась со всех ног. Все стадо переполошилось, за красной припустились еще несколько. Я стоял и не знал, что делать.

Утром, когда выгоняли стадо, хозяин погрозил пальцем:

— Смотри, не допускай к ульям, а если прозеваешь...

Как нарочно проклятая красная корова опять побежала прямо к склону, у которого находились ульи. Бросив остальных коров, я погнался за ней.

Корова пробежала лужок и помчалась к пасеке. Разгоряченный бегом, я не заметил, как очутился у самых ульев. Вдруг обожгло левый глаз. Хотя я отчаянно отбивался — пчелы жалили меня беспрестанно.

Глаз заплыл, лицо распухло и горело. Я еле догнал корову. На счастье, ульи остались целыми.

Когда я гнал беглянку назад, по ее следам, пыхтя, несло еще несколько коров. Я завернул их и погнал всех вместе. Остальных собрал с большим трудом.

Уже около двух месяцев, как я живу у Василия. Покоя нет даже вечером. Когда прихожу домой, хозяйка заставляет бегать то за тем, то за другим. Одежда превратилась в лохмотья. Отроду не стиранные, разодранные в клочья, грубые брюки со слоями затвердевшей грязи, нестерпимо трут тело. Рубаха из маты расплзлась, и мне приходится связывать её узлами. Я рассказал об этом сыну Василия наедине, надеясь, что он перескажет все отцу.

— Как же я смогу так жить? Если не дадите одеться во что-нибудь, хотя бы старенькое, я уйду.

Ответ получил однажды за едой. Василий, погладив усы, обратился ко мне:

— Хочешь, на твою получку куплю одежду?

Немного подумав, я ответил:

— Нет, так не пойдет.

— Почему? — спросил он, перестав жевать. Жена тоже насторожилась.

— Тогда мне будет плохо,— ответил я, отложив свою ложку.

Хозяева забормотали между собой по-русски. «Наверное, обо мне толкуют», — подумал я.

Через некоторое время Василий снова обратился ко мне:

— А почему тебе Элебес не купил одежду? Мы насчет этого не договаривались. Если согласен, куплю одежду, но за твои деньги.

— У Элебеса нет денег,— сказал я и, немного подумав, добавил: — Ведь был же уговор, что вы мне будете давать обноски.

Разговор на этом закончился. Они занялись едой. Не знаю отчего, но дочь Василия села подле и положила предо мной два куска мяса. Мне приходилось слышать, что мясо, резанное русскими, нельзя есть, потому что оно поганое... Но я так давно не видел мяса, что, не задумываясь, проглотил оба куска.

Однажды, выгоняя коров со двора, я попал в неожиданную беду. Хозяева сидели дома за едой. Откуда ни возьмись, с неба упал коршун и пока я, крича, добежал, он схватил из стада гусенка и взвился в небо... Я заплакал. Сердитая жена Василия подбежала ко мне.

— Ты что же не смотришь? — закричала она, выпучив глаза.

— Не успел!

— Ах ты, дьявол! — она, схватив мое ухо, начала закручивать его. Я рванулся. Её десятилетний сынишка Петька, жалея меня, попросил:

— Мама, не бей!

С криком подбежала и маленькая дочурка хозяйки с русой, торчащей косичкой, кто-то выплянул в окно. Хозяйка выпустила меня. Всклипывая и ругаясь про себя, я погнал коров. Угнал их дальше обычного. Жду только вечера. Но сегодня день кажется длинным.

Тучи все ползут и ползут, на небе не осталось ни одного просвета. Я озяб. Съежившись в комочек, сел под большой черной скалой, где несколько дней назад прятался от дождя. Тяну подол рубахи, чтобы прикрыть голые ноги, но она коротка.

Огромная черная туча, сгустившись, опустилась, и небо разразилось громом, полил дождь. Вмиг обмылись и заблестели травы.

К вечеру я собрал коров и направил их домой, а сам повернул обратно, чтобы бежать. Хотя я об этом думал давно, но все медлил, а сегодня решил твердо — убегу.

Наши находятся не очень далеко, отсюда даже видна юрта. Меня беспокоит только река. Лишь бы перейти ее, а дальше и ночи не побоюсь. Вода, кажется, спала. Закатал штаны повыше, пошел вброд. Вначале у меня захватило дух, но я пересилил страх и скоро перебрался на тот берег. Ноги промерзли до костей. Не откатав штанов, пошел по мокрой траве.

Аил стоял на том же месте, где остановился летом. В знакомую черную юрту, из которой валил густой кизячный дым, я вошел в ту пору, когда люди садятся за вечернюю еду. Взоры, сидевших вокруг очага, обратились ко мне. Не успел я присесть, как Элебес нахмурил брови так, что на лице собралась морщина:

— О черный день, зачем же ты пришел?

— Дитя, оно дитя и есть. Неужели не мог потерпеть до конца месяца? — упрекнула Бурмаке.

Элебес по своей привычке бранился долго. Я виноват! Сижу, как немой, покорно слушаю ругань.

— Ладно уж, дай бедняжке хоть передохнуть, старый медведь! — сжалилась Бурмаке. Это меня подбодрило.

Вскоре, как и всем, мне подали чашку джармы.

VI

Несколько дней спустя из уезда пришло указание: «От каждой волости набирать солдат. Каждому солдату выдать по четыреста рублей». Вскоре после этого мы услышали, что Урманбет собирается уходить в солдаты, Бейшемби поехал узнать, правда ли это.

Когда он вернулся, мы копнили сено. Не успел Бейшемби спешиться и привязать коня, как Элебес спросил:

— Правда, что Урманбет идет в солдаты?

— Правда...

Элебес воткнул вилы в копну, подошел к Бейшемби, нагнулся, вытащил из-за голенища чакчу и, отмерив закладку насвая, бросил ее в рот.

— Ну, говори!

— Наш Эркесары должен был выделить в солдаты одного человека. Так вот и записали Урманбета.

— Видно, аксакалы сообразили. Как же он очутился здесь?

— Соскучился по родным местам, взбрело на ум наведаться. Ну и попал...

— А где он жил до этого?

Бейшемби взглянул на свою лошадь, привязанную к юрте, хрустнул пальцами.

— Говорит, что работал у дунган. В солдаты он, кажется, решил уйти с шумом, опозорив свое имя. Мне говорили, что он отобрал коня у болуша, кричал на аксакалов... правда или нет, а будто аксакалы не дали ему четырехсот рублей, взяли себе двести пятьдесят...

Все это оказалось правдой.

А случилось это так. Однажды в Джалуу-Булаке у знати происходил совет. В то время с Арала нагрянул Урманбет и вздумал взять у Ыбыке коня. Кое-кто пытался урезонить его: «Отстань, неприлично, мы найдем тебе другого коня, еще лучше». Но

сколько его ни уговаривали, он стоял на своем: «Другого мне не нужно». Некоторые даже хотели избить его. Но Ыбыке, видя ожесточение Урманбета, из осторожности приказал:

— Не трогайте, оставьте его в покое.

Урманбет, как ни в чем не бывало, сел на гнедого жеребца Ыбыке и ускакал.

В тот же день по всему Эркесары разлетелся слух, что Урманбет записался в солдаты, а потом пришел и отобрал копя у болуша. «Отольются Урманбету слезы болуша», — предсказывали некоторые. А в айле пошли разговоры и пересуды: «Видано ли такое! Не у кого-нибудь, а у болуша отобрали коня, вот что поразительно. Сколько живем, не то, что отобрать коня у болуша, не видали даже, чтобы какая-нибудь душа посмела перейти ему дорогу. Ох, дорого обойдется это Урманбету».

Но Ыбыке, кажется, перетрусил.

— Не стоит с ним связываться, лучше его как-нибудь поскорее удалите, — сказал он.

Перед отъездом Урманбет наведлся в Кызыл-Кия. Вечерело. Мы играли перед айлом на берегу реки. Вдруг невдалеке мимо нас проскакал какой-то бравый солдат и вошел в нашу юрту. Я сразу узнал.

— И-и, Урманбет приехал! — воскликнул я.

Мы с Беккулом пустились бежать. За нами заковылял и Элакун.

Когда мы вошли, Урманбет уже сидел. Он не был похож на прежнего Урманбета: на нем — серая распахнутая шинель, суконная рубашка с нагрудными карманами, на ногах — новые желтые сапоги со скрипом... Вся одежда впору; бравый, стройный солдат да и только! Ничуть не отличается от тех, которых отправляли на фронт против Германии. Только на голове киргизская шапка, а не военная фуражка. Я люблюсь одеждой Урманбета. Настроение у него, видимо, приподнятое. Он не мрачный и подавленный, как прежде, а оживленно разговаривает со всеми, даже посмеивается...

Никто не обратил внимания на меня, когда я вошел. Только Урманбет большой, тяжелой рукой погладил меня.

— Милый ты мой, будешь жив — и ты когда-нибудь станешь человеком! — сказал он.

Я не понял, к чему эти слова, но от его ласки на душе стало теплее.

Бурмаке отклонила голову от кизячного дыма и перевела взгляд на Урманбета:

— Милый ты мой, зачем ты отобрал коня у болуша? Как бы тебя не погубило чье-нибудь проклятье. Ведь не зря же говорится: «Врагов больше, чем друзей». Будь осторожней! — сказала она мягко.

Урманбет живо возразил:

— Если бы смог, я бы им еще не то показал!

Элебес, до сих пор молчавший, вмешался в разговор:

— Неужели из всех коней тебе понадобился конь Ыбыке? Только и слышишь, как все говорят: «Мы такого не видели!» Разве это приведет тебя к хорошему?

Но Урманбет и слышать ничего не хотел:

— Мне нужен был не кто-нибудь, а именно Ыбыке. В могилу его! За всю жизнь хоть раз отомстил. Пусть люди меня не жалеют. Мне здесь ходить недолго.

Бурмаке через некоторое время снова вступила в разговор:

— Гляди, милый, не буянь, осмотрительнее будь, проклятие людей дело худое. Уезжаешь-то далеко?

Урманбет в Кызыл-Кия пробыл всего одну ночь. С утра повеял холод, возвещая приближение осени, с тополей посыпались листья, земля побелела.

Урманбет сел на коня. Когда мы вышли во двор, подошел наш сосед Байболот.

— Ну, прощай! — сказал он, смахивая с глаз слезу и протягивая руки. — Когда уезжаете?

— Как только прибудем в Каракол, так и отправят. Прощай, милый, счастливого тебе пути, — напутствовала Бурмаке, и по морщинам ее щек потекли горькие слезы.

Урманбет резко стегнул коня плеткой и выехал на дорогу. Завернул за холм и, кажется, скрылся на всю жизнь. Я стоял и долго глядел ему вслед.

К полудню мы с Бейшемби сели на бурого быка и поехали в горы за сухими ветками арчи. По дороге Бейшемби высоким голосом затянул песню. У него была одна песня, которую он повторял без конца, как только мы отъезжали от айла. Она запала мне в голову:

Красавицу красавицей называют,

Да пропади она пропадом:

Привлекая, мучит душу.

Знатного знатным называют.

Да пропади он пропадом:

Угнетая, мучит душу.

Каждый раз, когда Бейшемби запевал, я думал: «Что же значат слова: «Угнетая, мучит душу?»»

VII

Зима. Стоит крепкий мороз. Наши еще не спят, хотя уже давно стемнело. Вся многочисленная семья плотным кольцом теснится вокруг очага. Башарин курил папиросы обычно у нас, тайком от жены. Вот и сейчас, возвышаясь над всеми, понурый, он сидит между нами.

— У киргизов в юрте греется только перед, а зад мерзнет, — бормочет он.

Бедный Бекдайыр просит есть, плачет. Ему и дела нет до того, что отец и мать давно умерли. Он у нас самый младший. Остальные уже кое-что соображают.

Наша тетя Джанымджан — жена Бейшемби, — кажется, от роду была сварливой.

— Не плачь, чтобы твои глаза вытекли! Что тебе здесь — полным-полно всего? — кричит она и, схватив горячие щипцы, тычет ими в ногу Бекдайыра. Он отдергивает ногу и вопит, что есть силы.

— О черный день! Каныша, ты, оказывается, оставила меня на живую муку,— причитает Бурмаке и с укором глядит на Джанымджан.

— А вы не суйтесь, куда не следует! Что я, отца и мать за свои долги отдала разве? — свирепо набрасывается Джанымджан.

И без того нетерпеливый, раздраженный Элебес будто только и ждал этой ссоры.

— О черный день! О несчастный день! — подхватил он и понес и понес...

Видя, как Бекдайыр прикрывает дыры и, съезжившись, плачет, Башарин сочувственно качает головой.

— Ой, бедный,— говорит он едва слышно.

Башарин как будто понимает наше трудное положение. Но это, кажется, сочувствие лишь на словах. А то почему бы ему не помочь нам, когда у него столько богатства? Круглый год мы работаем на Башарина задаром. Весной, когда пашем, летом, когда косим сено, зимой когда со двора вычищаем снег, — погонщиком лошадей всегда приходится быть мне. Всю весну пасу его телят. Хотя я и работаю столько, он мне ни разу не дал даже каких-нибудь обносков. Лишь в этом году выклянчил у его сына старый кожаный пояс. Да и то он отдал его только после того, как посоветовался с отцом.

Джанымджан круглый год уходит на рассвете доить его коров. Разве легко подоить целое стадо? А Джанымджан справлялась. Никто не мог с ней сравниться. А платил ей Башарин ведром жидкого синеватого обрат. Вот из-за этого ведра обрат, боясь провиниться, мы исполняем все, что Башарин нам прикажет. Иначе нет выхода. Целую ораву спасает от голодной смерти этот обрат, к которому мы добавляем еще ведро молока от своей единственной коровы. Получается два ведра айрана. Вот и все наше питание!

В этом году Башарины, довольные службой Джанымджан, дали ее сыну Джумабеку старый бешмет. Но недавно сноха Башарина из-за чего-то поссорилась с Джанымджан, поймала в поле Джумабека и содрала с него бешмет...

Пришла пора спать. Мы, шесть сирот, ложимся вместе. Приготовление постели никого особенно не утруждает. Нам бросают старую черную кошму, поверх — рваное одеяло. Вот и все. Под голову же иногда достается потник, а то и того нет.

Улеглись. На дворе бешеный ветер мечет снег. Когда буран ударяет в юрту, деревянные части ее трещат так, что становится страшно, через прорехи в циновках, которыми прикрыты дымовое отверстие и дверь, влетают клубы снега.

Однако заснуть не удалось: сквозь ночную метель послышался залиvistый звук колокольчика.

Элебес, оказывается, лежал настороже.

— Ой, уже подъезжают! — вскочил он.

— Эй, Чодон! Эй, Элебес! — окликнул кто-то дорожников, а сам, не останавливаясь, промчался дальше.

Мы сели на лошадей, которые стояли наготове, оседланными, в темной мазанке, и, не задерживаясь, тоже выехали.

Догнали почту у подошвы перевала. Опоздай немного — и нам бы не сдобровать! Снега навалило в высоту копья. В таких случаях почтовых лошадей ставят цугом. Как всегда мы быстро припрягли своих кляч, поехали.

Нас вызвали просто так, на всякий случай, а больше — со зла. Почтовые лошади и сами смогли бы легко вытянуть возок на перевал. Посмотри, как резво идет передняя лошадь! Но что поделаешь? «Дело господина — дело божье», раз приказал господин, куда денешься?

Когда достигли середины перевала, лошадь Элебеса остановилась, как вкопанная, тяжело поводя боками. Ее сегодня замучил Бейшемби — возил Башарину бревна с гор. Увидев это, чиновник, ехавший с почтой, вылез из саней и позвал Элебеса. Пока тот, спотыкаясь в снегу, выпрягал лошадь, он стоял, разминая руку.

Только Элебес подъехал, как чиновник молча, одним ударом сбил его с лошади и начал пинать в глубоком, только что выпавшем снегу. Так уж повелось — если дорожники запаздывали или на перевале не тянули лошади, то они от чиновников получали такое вот угощение. Вчера безносый Назыр поехал на своей плохонькой лошади, которая и себя-то еле таскала, и вернулся в крови...

Мы помогли переправить почту через перевал и возвратились только к рассвету.

— А днем случилось несчастье похуже. Солнце приближалось к полудню. Вдруг наш сосед Байболот вошел к нам растерянный:

— Вот тебе на, Бейшемби, ведь вашу корову и нашу корову угнали...

Дело было так. Несколько дней назад в низине Джылуубулак компания шалопаев пила бузу. Начался скандал. Сын бая Карымбая стукнул дубиной по затылку какого-то проезжавшего верхового. Он в тот же день слег, а когда в небе высыпали звезды, отдал богу душу. Карымбай был из нашего рода, а убитый — из рода Шапак. Сразу после смерти парня, его родичи сели на коней и всю ночь совершали налеты на табуны наших родственников, чтобы получить кун. Аксакалы обязались за убитого выплатить от каждого двора по одной голове скота. Скандал на том и закончился. Вот почему и угнали нашу единственную корову.

Когда Байболот сообщил это, Элебес, мявший насвай, так и застыл на месте, широко раскрыв глаза.

— Что ты говоришь? О черный день!

Тут и Бурмаке, наконец, понявшая беду, принялась проклинать виновников на чем свет стоит:

— Чтобы вам не видеть жизни своих детей! Чтобы вам горе сирот не дало покоя, нечистые!

Как говорится: «Кто выпил айран — убежал, а облизавший горшок — попался». Пьяные бездельники ни за что, ни про что наделали зла бедным сиротам, хотя мы и на ниточку не были виноваты.

— Сидите теперь, несчастные! — обругала нас Джанымджан.

— О черный день! Вот напасть! Что же вы не присматривали за коровой? — бранился Элебес.

Байболот стоял у порога, глядя в землю, и о чем-то думал. Наконец он встрепенулся:

— В могилу его отца! Чем терпеть такое, лучше пойду к ним и погибну от их руки! — сказал он и выскочил из юрты. Через некоторое время Элебес, глядя на Бейшемби, сказал:

— Чем гибнуть лежа, лучше воевать с неправдой. Поди и ты, Бейшемби!

— Пойду. Как же не пойти, что я тогда буду делать с вами, с этими вот сиротами? Да лучше я...

Бейшемби тотчас же уехал на поиски коровы. Не прошло и двух—трех дней, как пополз слух: «Бейшемби потребовал у аксакалов корову». «Ты откуда взялся, дурень?» — спросили они и натравили своих джигитов, а те его избили». Вскоре он вернулся с каким-то человеком. Оказывается, это был старшина Карабай. «Еще какую беду он привез?» — волновались те, кто был догадлив и опытен.

Бейшемби рассказал, что произошло с ним, и обратился к Элебесу:

— На нас наложили 15 рублей налога. Как нам теперь быть?

— Что за налог? Вчера мы расплатились. Какую еще напасть придумали?

Бурмаке, не глядя ни на кого, пробормотала себе под нос:

— Видимо, аксакалы, чтобы они пропали, не дадут очнуться от налогов. Мало того, что угнали корову, которая кормила сирот, так еще отберут за долги единственную клячу.

Старшина, сидевший на старом шиирдаке, напротив входа, изломал пруттик, что вертел в руках, бросил в огонь и наставительно проговорил:

— Э-э, байбиче, чему суждено быть, то надо переносить со всеми вместе. Стоит ли себя отделять от всех и выходить из общего согласия?

Но на Бурмаке наставления старшины не подействовали.

— Из-за этого «согласия» остаемся голыми,— зачастила она.— Если господа облагают раз, то местные обиралы дерут вдвойне, скоро обчистят всех. Где нам теперь преклонить голову? Куда податься?

Чтобы уплатить налог, Бейшемби спозанок уехал к Василию — может удастся наняться косить сено. Старшина последовал за ним.

Наступила пора, когда скот стал наедаться травами досыта. Четыре—пять семейств дорожников перебрались на летние стойбища. Кроме Карпыка, все находились вместе.

Карпык неприятный, мрачный человек лет сорока, с маленькой, в проседи, бородкой. Из глубины глаз его словно проглядывает коварство.

Карпык — житель Кызыл-Кия, разбогател здесь. Летом он всегда селится где-нибудь в стороне, подальше от людей. О нем так и говорили: «Жадный Карпык, скупится давать людям кумыс, так ставит юрту в стороне». Отчасти люди были правы. Держал он на привязи кобыл и каждый день отвозил на ярмарку в Каркара по два бурдюка кумыса.

Жены дорожников, иногда заходившие к Карпыку попить кумыса, говорили:

— Вот нечестивая эта надутая старуха — всегда наливает кумыс в крохотную пиалку.

Но к Карпыку редко кто заходил. Только бии, болуши, чиновники, полицейские лакомились угощениями Карпыка. А если заходил к нему я, сирота, то возвращался, ничего не взяв в рот.

Однажды утром к нам кто-то подъехал, подал голос:

— Элебес, ты дома?

— Дома.

— Тогда выдели одного человека!

— Зачем?

— Чонкол приезжает. Говорят, будет собирать на дорожные работы. В нижних аилах поднял всех на ноги.

— Почему?

— Из Каракола в сторону Каркара проезжает важное лицо. Давай побыстрее! — сообщил верховой и поскакал дальше.

Когда Элебес услышал: «Чонкол» — ему показалось, что кто-то ткнул шилом в сердце. Хотя он старался скрыть испуг, это было видно по лицу — он побледнел, покрылся потом. «Чонкол» — прозвище, придуманное киргизами. Вначале его звали «стражник Чонкол», а потом стали звать просто «Чонкол». Его знал весь уезд от старого до малого.

Он действительно был чонколом: громадный русский дядя, руки как дубины, затылок, как у борова — в складках, усы торчком, глаза горят.

Солнце поднялось высоко. В юрту вбежала испуганная Бурмаке. В руках у нее была чашка, из которой на кошму текло тесто, но она ничего не замечала.

— Ой, Элебес, Чонкол заявился!

Мы выглянули. Действительно видно, как люди собираются у юрты Карпыка. Среди них разъезжает Чонкол, группа стражников, пятидесятник, старшина и другие чины. Чонкол явно злится и в гневе ругает народ.

Вот он наехал на какого-то человека.

— Где твои люди? — заорал Чонкол.

Это старшина аила Тогузбай.

Он размахивал руками и что-то отвечал. Но Чонкол не слушает, приподнимается в седле, расправляет плечи и несколько раз бьет старшину плетью, затем подъезжает к следующему. Остановить его некому. Те, кто от него получают побои, только ищут, где бы спрятаться, точно перепелки от ястреба.

Элебес не показывается из юрты, смотрит в дырку, потом приказывает мне:

— Иди ты!

Страшно, но ничего не поделаешь — кому-то надо идти. Иду.

Чонкол погнал собравшихся, как овец, на дорогу. Лопатами, кетменями стали засыпать ямы; других заставили таскать камни. К дороге со всех сторон стали стекаться люди... Ай-ай-яй, кажется, во всем уезде не осталось ни души, все здесь.

Сначала двигались быстро, но потом у холмов задержались — весенние воды промыли глубокие ямы. Работаем без передышки — за нами наблюдает Чонкол. Стоит только поднять голову — он набрасывается, как бешеный волк. Торгойакун и я бегом носим в подолах землю. Некоторые переговариваются: «Не поднимай голову, Чонкол глядит».

Вот Чонкол стегнул свою лошадь и понесся на кого-то. Люди расступились. Он подлетел к розовощекому, худощавому парню в бешмете и несколько раз вытянул его толстой, как палка, плеткой. Парень выгнулся, как ломающийся прут, подался в сторону. Люди, видя это, заработали проворнее.

Когда наказание немного забылось, парень, что насыпал нам в полы землю, искоса глянул на соседа.

— Может быть, чуток пропустим джармы?

— И не думай! Получить порку от Чонкола за чашку джармы я не хочу.

Чонкол выехал на возвышенность, откуда можно было видеть всех. Кому-то дал подержать коня и сел перекусить. Двое бегают перед ним, едва касаясь земли. К пище киргизов Чонкол привычен. Перед ним появилось мясо молодого барашка, кумыс, боорсоки. Он сидит и ест, озираясь, одинокий, как гриф, усевшийся на трупе. Я таскаю землю и иногда поглядываю на него уголком глаза. При виде яств, разложенных перед Чонколом, у меня текут слюни и сжимается желудок.

Другого склона мы достигли далеко за полдень. Оврагов и вымоин тут было меньше. Поэтому продвигаемся быстро, убирая лишь камни. Но я и Торгойакун были босыми, и ноги у нас болели так, что нельзя было ступить. Решили сбежать. Прикинув так и этак, я сказал:

— Побежим, когда дойдем до той ложбины.

— Ладно, — согласился Торгойакун. Народ повалил на подъем, а мы, будто собирая камни, постепенно отстали. Когда люди перевалили возвышенность, мы по ложбине ушли вниз. Шли, шли и, обогнув гору, выбрались на дорогу далеко внизу. Со скрипом тянутся арбы возчиков. Под крики: «цоб-цоб» еле ползут на гору волы.

В этот день мы так и не дошли домой — очень уж болели ноги и спина. Пришлось ночевать у подошвы горы.

На другой день по пути я завернул к одному русскому и получил работу. Старуха вычищала хлев. Такие случаи попадаются не часто. Я обрадовался и смело вошел во двор. Слабая дряхлая старуха, как будто угадав мое намерение, протянула мне лопату. Она не знала по-киргизски, а я — по-русски, но мы друг друга поняли. Я вычистил скопившийся, самое малое за неделю, навоз, а она дала мне еды вволю. В хорошем настроении, сытый, после полудня я отправился домой.

Кызыл-Кия — узел девяти дорог. С востока дороги идут из Каркары, Джаркента, Нарынкола, с запада — из Каракола и с Иссык-Куля. Поэтому всякие чины, вроде Чонкола, приставы, писари, бии, болуши, ищущие себе корма, любили сюда наезжать, кормились и отдыхали здесь. Кроме них, тут постоянно находились стражники, патрулирующие на дорогах. Это были не обычные подручные болуша, а настоящие — с погонями и саблями через плечо, в красных шапках. Народ называл их «есаульными канцелярии», «есаульными белых дверей» или «красными огнями» — из-за их шапок. Присланы они были из Каракола, чтобы патрулировать на дорогах, охранять почту, бороться с «нарушителями общественного спокойствия».

Да, порядок они наводили! Они грабили прохожих и приезжих, среди бела дня совершали набеги, отнимали деньги у бедняков, возивших на продажу съестные примасы, у кого не было денег, отнимали лошадь, брали хорошие вещи. «Устав» от таких трудов, они днями и ночами пьянствовали, играли. Не было, пожалуй, в уезде людей, которые жили бы привольнее.

Особенно славились стражники Балакурман и Чон-курман.

Балакурман — приземистый, плечистый джигит с лицом отменного пройдохи. Многие звали его «Курман-дурак», конечно, за глаза. У него был свой способ отнимать лошадь: он хватал за поводья и не кричал: «Сходи с коня!», как другие стражники. Нет, он на полном скаку, еще издали приказывал впереди едущему: «Коли хочешь остаться живым, сваливайся на сторону, сваливайся!». Догадливый хозяин на скаку прыгал с лошади. Если попадался упрямый, через минуту-другую он знакомился с плеткой стражника. Балакурман до тех пор не возвращал лошади, пока не получал солидной взятки. Он бесстыдно хвастался: «В прошлом году по дороге из Арала я за один день пятнадцать раз менял под собой лошадь!».

Однажды Балакурман с кем-то прискакал в наш аил. Запыхавшихся коней остановили у нашей юрты, не сходя с седла, кликнули Бейшемби и приказали:

— Сегодня свою юрту перевези в Ййри-Су!

— Это еще зачем? — недовольно отозвался Элебес.

— В Каркара нужно поставить шестьдесят юрт,— пришел из уезда приказ.

— Сами знаете, дорогие, что мне не на чем перевозить юрту, разве на одной кляче перевезешь? — заговорил Бейшемби, умоляюще поглядывая то на Балакурмана, то на его спутника.

— До того нам дела нет! Сказано переезжать, значит надо переезжать.

— Ну, всё-таки зачем?

— Будут ночевать солдаты, которых отправляют на фронт. Из Каракола приезжают господа...

Опасаясь, как бы на этом не закончили разговор, Бурмаке попробовала упросить их:

— Миленькие, а куда же мы денем полную юрту бедных сирот?

— О боже мой, да какое дело господам до сирот! Ну, живей,— прикрикнул Балакурман и повернул лошадь к юрте Байболота.

Когда Они отъехали, Бурмаке заговорила сама с собой:

— Нечестивые, чем тащить нашу старую юрту, взяли бы у Карпыка. И семьи такой, как у нас, у него нет, и юрта новенькая.

— И скажешь же такое... Как они возьмут у Карпыка, если у него в руках все, кроме бога, — отозвался Элебес.

Что здесь пройдут солдаты, это было верно. Четыре или пять дней назад дорожники откуда-то узнали, что из Каракола в Джаркент пойдут солдаты, и начали в смятении прятать скот, а лошадей отвели в лес. «Что же теперь будет?» — тревожились все. «Ничего они не тронут?» — спрашивали люди у разъезжающих взад-вперед «красных огней».

Вечером на зеленой лужайке у юрты Карпыка собралось человек тридцать. Был весенний тихий вечер. На ближние горы опустилась темная туча.

Среди собравшихся, выставив жирное брюхо, ходит болуш рода Шапаков — Байзак и наш Ыбыке. Байзак занимает пост болуша уже шесть лет бесменно. Это — плотный, здоровый мужчина с аккуратно расправленной черной бородой. А вот, сверкая погонами, с шапкой набекрень, покручивая торчащие, как свиная щетина, усы, прохаживается сердитый пристав. Вид у него грозный, страшно подойти.

Здесь же стражники в красных шапках во главе с Балакурманом. Но как они угодливо сгибаются перед приставом, как, прихватив саблю, бросаются со всех ног по первому его слову! Прямо другие люди!

Сюда подошел и путник, остановившийся у нас в поисках стражника, который отобрал у него лошадь. Был он в чапане с истрепанными полами, в старенькой, плоской, как лепешка, шапке. Невзрачный, бедный на слова, безобидный, тихий человек. Вслед за мной он встал у одного края сборища.

— Что это, дядя? Зачем люди сошлись? — обратился я к чернобородому, стоявшему возле меня. Помедлив, он буркнул:

— А зачем тебе знать?

Я больше не стал у него спрашивать — было и так всё видно. «Красные огни», избив кого-то до полусмерти, подняли его на ноги и потащили. Болуш Байзак, заложив руки зп спипу, стоял впереди, словно наслаждался зрелищем. Пристав, покручивая, усы, ходил взад-вперед, то и дело указывая стражникам на очередного несчастного и орал «Бей!». Стражники навалились на одного человека, били его пинками, кулаками, плетками...

Путник, который ночевал у нас, спросил:

— Это что?

— Собрали тех, кто не уплатил налоги, отказался поставить юрту и других таких же бедняг.

Вот и этого, кажется, избивали до полусмерти. Маленький человек, с жиденькой бородкой, скуластый, плечи покатые, с бельмом на глазу, худой, бедно одетый. За что его изувечили? Окровавленный, с посиневшими губами, ой не может встать. Кто-то подносит ему воды, он еле глотает...

Теперь понятно, почему пригнали и Байболота из нашего аила. Пришла и его очередь. Старшины, стражники взяли его в оборот. Крошечный, он исчез в свалке. Торгойакун с криком бросился к отцу, но его кто-то задержал. А подручные пристава так

усердствовали, будто надеялись за это получить приз. Но вот они, видно, устали. Шатаясь, Байболот пошел. Однако Балакурман догнал старика и ударил его еще несколько раз.

Покончив с Байболотом, пристав покрутил усы, походил немного и вдруг указал на человека, который ночевал у нас.

А стражникам все равно: набросились и на незнакомого.

— На этого указали ошибочно, — шепнул кто-то.

— Да, попал, несчастный, ни за что! — подтвердил стоявший возле.

После трепки, путник кое-как поднялся, провел рукой по лицу, покрытому синяками и кровью, собрал свои пожитки: шапку, тюбетейку, плетку.

Не знаю, видно, дьявол шепнул нашему старшине:

— Иди, приведи Бейшемби, — приказал он кому-то.

Я решился опередить, кинулся к старшине.

— Бейшемби нет дома, он повез в Каркару юрту.

— Еще не приехал?

— Нет.

— Ну, подожди ты у меня! — и он зашагал дальше.

Я радовался тому, что Бейшемби сегодня не оказалось дома.

С наступлением темноты толпа разошлась.

После того, как увезли нашу юрту, мы построили себе шалаш. Собрались возле очага ужинать, стали разливать джарму, подошла моя очередь, как вдруг Бурмаке сказала:

— Ему налейте немного, пусть у Карпыка поест мяса. Сегодня старшины, есаульные ночуют у него.

Моя порция досталась остальным. Делать нечего — иду к юрте Карпыка. Через щелку заглядываю внутрь. И, правда, забили барана, обдирают шкуру. На стенах висят сабли «красных огней». Напротив входа кто-то важно лежит па боку, вытянув ноги в лакированных сапогах. Ближе к стене, блестя погоном, храпит Балакурман.

Скаредная, мрачная сноха Карпыка, с узенькими змеиными глазами, будто меня и ждала. Не успел войти, как она сунула мне в руки ведро.

— На, сбегай за водой.

Эта женщина всегда, как только приду к ним, не дает мне присесть: посылает то за тем, то за другим. Из-за этого я иногда и не заходил к ним даже тогда, когда они резали барана.

Принес воды, хотел присесть — снова нашла дело:

— Пойди, наруби дров!

Я пошел во двор. В темноте отыскал топорик, нарубил, принес охапку.

— Теперь помоги там, — указала она на тушу барана, которую разделявали у порога. Джигит с засученными рукавами взял требуху за край, отрезал, подал мне.

— Иди, опорожни.

Сделав все, что мне поручали, вернулся. На мою долю оставили одну почку, одну голень. Все это бегом снес домой и пришел опять.

В котле варилось мясо. Гости беседовали между собой. Наговорили о скачках, хвалили аргамака бая Сарыбая.

В это время, словно боясь что-нибудь опрокинуть, осторожно вошел тот человек, которого сегодня ни за что избили. Надвинув на глаза шапку, с видом провинившегося, он опустился у порога, поближе к джигиту, разделявавшему барана. Джигит поправил в очаге огонь, взглянул на путника:

— Откуда, батыр? — спросил он тихо, чтобы не расслышали другие.

Путник робко шепнул:

— Стражник отобрал лошадь, хожу за ним.

— Когда отобрал?

— Давно, уже сегодня восемнадцать дней.

— Тогда он, наверное, хочет от тебя что-нибудь получить, — догадался джигит.

— Это я сам чувствую. Да нет в кармане ни копейки. С седлом за плечами остался. Жена болеет, пятнадцать дней как не вижу её, что там с ней, не знаю. И хозяйство оставил без присмотра. Один я.

— А где живешь?

— В Кен-Суу. Оттуда ехал на пастбище, по пути отобрали лошадь. Одна лошадь, нажил её с трудом. Жалел её, много не ездил, и вот такое несчастье...

Балакурман, повернувшись на бок, широко зевнул, потянулся и, продолжая лежать, покрасневшими глазами грозно глянул на путника:

— Что он здесь делает?

Джигит ответил, несколько повысив голос:

— За своей лошадью пришел.

Балакурман молча, не спеша поднялся, зашел за спину человеку, который, втянув голову, сидел у входа. Глядя на его макушку, он ехидно протянул:

— Лошадь нужна?

— Если позволите... — едва слышно произнес путник.

Балакурман дважды ударил ногой по шее, и тот повалился навзничь.

— Вот тебе лошадь! На-на! — приговаривал Балакурман, продолжая пинать человека. Тот попытался руками защитить голову.

— Не надо, ты лежишь удобно! — насмешливо сказал стражник и ударил его сапогом в живот.

Кто-то лениво пробормотал:

— Довольно, оставь.

Но где там! Балакурман оставил несчастного только тогда, когда устал. Полежав несколько минут, человек со стоном поднялся, взял шапку и тюбетейку и вышел, скрипя зубами — не то от боли, не то от злости. Когда он выходил, кто-то из стражников со смехом крикнул:

— Подожди, поешь мяса!

Мясо сварилось. Когда собрались вытаскивать, Карпык мне велел:

— Встань, полей гостям на руки.

Стражники зашевелились, усаживаясь поудобнее, некоторые скинули чапаны. После того, как гостям раздали мясо, мне достался кусочек требухи, кусок кишки, шейный позвонок. Требуху я незаметно сунул в рукав, потому что, когда я уйду к кому-нибудь, кто режет барана, младшие всегда ждут от меня гостинцев.

Остальное я быстро съел и от нечего делать стал глазеть. Может быть, кто-нибудь протянет мне кость с мясом? Но, кажется, я ошибся. Джигит, который вытаскивал мясо, сидел возле котла. Он раз взглянул на меня и, больше не обращая внимания, продолжает есть. Человек с чалой бородой, сидящий невдалеке от меня жуёт так, что по углам рта течет жир. Все-таки он заметил меня и протянул мосол с волокнами мяса.

Стыдно сидеть с пустыми руками. Взял мосол, гложу. Наконец, съели все мясо. «Что же теперь делать?» — подумал я и убрался.

На дворе было темно. Наши, кажется, давно легли спать. Когда я подошел к шалашу, серый кобель, лежавший у очага, подбежал ко мне, стал ласкаться. Ему и дела нет до того, что я сам бедняга: чует требуху в моем рукаве, забегает то с одной, то с другой стороны, словно просит: «Оторви кусочек!». Нет, ничего ты не получишь!

В шалаше спят взрослые, дети улеглись во дворе. Я отыскал свободное место на постели, незаметно лег..

IX

Сегодня все сидят дома. Время около полудня.

Если в день хоть раз не возьму в рот горячего, всё тело ломит, — говорит Элебес и сидит, пьет чай, вскипяченный для него в черном кумгане. Мы посматриваем на блаженствующего Элебеса, будто он собирается резать барана... Перед Элебесом — чашка талкана, замешанного на молоке, и это к ней обращены и наши глаза, и наши мысли.

Самой желанной, самой вкусной едой для нас тогда был талкан — о мясе мы и не мечтали! Каждый раз, когда Элебес пил чай, мы сидели и ждали. Элебес в конце концов давал каждому по ложке талкана. Ссыпешь талкан па ладонь, а сам еще долго, долго скребешь ложку.

Вот и сегодня, наконец, каждый из нас получил свою долю. Но разве ложкой талкана насытишься? Однако делать нечего — расходимся кто куда.

Беккул, проглотив талкан, подсел к Джанымджан. Она мелет жареную пшеницу. Видя голодные глаза малыша, Бейшемби приказывает:

— Дай ему горсть.

Джанымджан не отвечает — то ли намеренно, то ли не услышав приказания из-за шума камней.

— Я тебе сказал, — дай горсть пшеницы, — повышает голос Бейшемби. Джанымджан даже и не глядит на него. Бейшемби вспыхивает.

— Будь проклят твой отец, да я тебя!..

И, когда он потянулся за плеткой, висевшей на стене, она с чашкой пшеницы выскочила из юрты и пустилась бежать. Бейшемби погнался за ней. Наконец, догнал и ударил ее по шее. Чашка вылетела из рук. Подбежали ребята, принялись подбирать пшеницу с земли, ссыпать вместе с мусором в рот... Ох, проклятая бедность! Был бы достаток, разве пожалела бы Джанымджан горсти пшеницы!

Однажды Бейшемби приехал с какой-то работы. Немного отдохнул, выпил чашку джармы, попросил у Элебеса чаю, заложил насвай. Тут вбежал старший его сын — Джумабек.

— Отец, какой-то дядя отвязывает лошадь.

— О черный день! Что там еще приключилось?

Все бросились во двор, смотрим — стоит парень лет под тридцать. Одет по-русски, за плечами — кожаная сумка. Значит, какой-то начальник.

Парень, отвязав нашу лошадь, привязал к колу свою. Подошел Бейшемби.

— Откуда путь держишь, батыр? — спросил он, не спеша, вежливо. Парень, не отвечая, повелительно указал на нашу лошадь.

— Сними с коня седло!

Бейшемби, не трогаясь с места, спокойно объяснил:

— Вчера только на ней возил в Каркара юрту. Как хочешь, батыр, думай, но Бейшемби никогда не врал.

Я чуть рот не раскрыл от удивления: Бейшемби соврал и не моргнул.

— Да пусть не раз, а пять раз ездил, мне-то что? — заорал парень и сбросил с нашей лошади седло, чтобы положить свое.

Поведение парня взбесило Бейшемби. Он хотел кинуться на него, но Элебес и Бурмаке удержали.

— Брось, сынок, не стоит с ним связываться. Еще беду на свою голову наживем.

— Ведь до Каркара тебя легко довезла бы и твоя лошадь! — пытался Элебес усовестить парня.

— А это не твое дело! — отрубил тот.

Бурмаке тоже попробовала разжалобить его:

— Мы, сынок, бедные дорожники! Пожалей нас! Одна у нас лошадь, кормимся ею. Парень ты молодой, дай тебе бог много лет жизни, больших чинов,— взмолились она,— не разорь нас, не подводи под беду!

Но парень даже не слушал ее. Он оседлал нашу лошадь, сел, выехал на большую дорогу и вмиг скрылся из глаз, будто за кем-то гнался.

С болью смотрели мы ему вслед. Каждый удар, который он опускал на бока лошади, отзывался в наших душах.

Опасаясь таких вот молодцов, дорожники прятали своих лошадей в лесу, уводили в лощины и надевали железные путы. Но сегодня нас застали врасплох...

— Эх бедность! Имей мы хоть рубль—два, и лошадь была бы цела! — Элебес по привычке запричитал: — О черный день, и надо же тебе было явиться как раз к его приезду. Как ты не мог привязать подальше, скрытнее!

— Откуда я знал, что явится этот дьявол? — начал оправдываться Бейшемби.

Теперь горюйте, не горюйте — все равно. Кто откликнется на плач бедных? Что же, видно, так было суждено случиться с нашей лошадью. Что было, то прошло... — успокаивала их Бурмаке.

Пока они препирались и горевали, я взял веревку и пошел за топливом. Выйдя из круга семейных печалей, почувствовал себя на свободе. Вижу: невдалеке от меня одет Балакурман и в такт мерным шагам своей лошади поет:

Вершины Аксу приятны,

Белая кобылица пасется на прохладе.

Как могу я молчать,

Не говоря о своей печали — любви.

По дороге мне встретились Беккул и Эшбай. Они шли радостно, словно только что завладели хорошей добычей, ещё не дойдя до меня, Беккул ликующе сообщил:

— Мы у бабая ели лепешки!

— Что же вы ему носили?

— Землянику и смородину...

— Сколько же он вам дал лепешек? — поинтересовался я.

Пока Беккул собирался ответить, Эшбай опередил его,

— Беккулу вот столько, а мне вот такую, — показал он размер лепешек.

Напротив усадьбы Башариных жил один русский старик. Мы звали его бабаем. Было у него два сына, две дочери — все взрослые. Жил он небогато. Старику было лет семьдесят, но держался он еще бодро. По-киргизски, кроме слов «плохо», «хорошо», «деньги», ничего не знал.

Иногда, чтобы покушать лепешек, мы приносили ему землянику, смородину. К вечеру, не дожидаясь просьбы, сами пригоняли с поля его коров. Старик радовался этому, угощал хлебом. Мы ели хлеб и чувствовали себя так, словно касались неба.

Если мы попадали под хорошее настроение хозяев, нас угощали хлебом запросто, без обмена. Бабай и его семья для нас были ближе, чем Башарины. Если к Башариным зайдешь, то о лепешке и не думай! Озорной их сын, видя нас, всегда приходил в ярость — побьет, потом только отпустит.

Вот так мы и жили...

Однажды вечером все сидели дома. Вдруг послышались крики, гам, словно кого-то били целой оравой.

— Держите борова, заколите его! — кричал Ыбыке, которого мы узнали по голосу.

— Ой, убивают! Чтобы вы подошли, перебить хотите всех! — донесся вопль женщины.

Выкрики неслись со стороны юрты Байболота. Мы побежали туда. В толпе находились Ыбыке, старшина Карабай и другие аксакалы нашего рода. Ыбыке, натравливая своих джигитов, сам на коне держался в стороне, опершись черенком плетки о лук седла. Дрались четыре—пять человек. На нашей стороне, кажется, был один: Байболот.

— Держите, свяжите руки борову! — кричал кто-то.

Десятилетняя дочь Байболота то с криком бежит к отцу, то возвращается к матери.

— Ой, эти свиньи и детей перепугают,— причитала жена Байболота.

В это время Байболот как-то вырвался из свалки, подлетел к Карабаю, вытянул его несколько раз плеткой.

— Ах ты, мерзкий раб! Смотрите, у него есть еще сила! Бейте его, эй, вы! — завизжал Карабай.

Байболот держался отважно, отвечал ударом на удар. Но разве уйдешь из толпы преследователей: его схватили, прижали к земле.

А началось все это вот с чего. У Байболота была дочь — красавица, ушедшая от мужа. Несколько аксакалов во главе с Ыбыке поехали в Каркара и там просватали ее за какого-то казаха, не предупредив никого из семьи Байболота. За невесту назначили калым. Решили выдать ее, не мешкая. Поэтому из Каркара выехали прямо со сватами. Впереди гнали пятьдесят овец, десятка два лошадей и коров, полученных за калым.

Вот несколько десятков «гостей» и нагрянули к Байболоту. Приехать-то приехали, да дочери не оказалось: она днем раньше сбежала с любимым человеком. Где она не ведали ни Байболот, ни его жена. Гости узнали эту новость, лишь приехав на место.

Ыбыке пришлось туго. Во-первых, нужно было возвращать скот, во-вторых, опозорился перед сватами.

Вот так и загорелась драка.

Запыхавшийся Карабай повернулся, потряс плеткой:

— Подожди, если я тебя с Бейшемби первыми не отдам в солдаты!

Бейшемби вздрогнул и растерянно глянул на старосту.

— Карабай, почему так несправедливо придираешься?

— За тобой всяких проделок много, стервец. Подожди, не спеши...

— Вот божье наказание, что же я хозяин человеку из чужой семьи?

— Молчи, свинья! — прикрикнул Карабай, размахивая плеткой.

Бейшемби хотел что-то сказать, но тут Ыбыке повернул лошадь к Карабаю.

— Ну, поехали, мы с ним разделаемся позже! — пригрозил он, уводя за собой своих джигитов.

Как только они убрались, Байболот с женой решили в эту же ночь перебраться в Каракол. Жена на седло взяла люльку. Кто-то начал уговаривать Байболота напрасно не мучить себя и семью, но он заупрямился.

— Ладно, все равно помирать нам, — сказал он. — А, может, найду справедливого начальника, он рассудит нас по совести...

На другой день в юрте только и было разговоров о случившемся. Бейшемби вспомнил угрозы Карабая:

— В могилу его отца! Если отдаст в солдаты, прикончу одного из них и лишь потом уйду, — сказал он.

— Брось, сынок, не ребячься, и так еле-еле живем, а ты новую беду хочешь накликать! — остановила его Бурмаке.

В это время кто-то подъехал, подал Бейшемби бумагу. Она была заклеена. Он открыл, подал мне, — читай! Письмо оказалось от Урманбета. Когда-то я жил у муллы Турата и немного научился грамоте, стал кое-как читать. Я не мог соединить слова и лишь смутно догадывался о смысле фраз. В одном месте, как я понял, было написано: «Мы проехали такие земли, которые называются Асхабад, Украина. Где остановимся, неизвестно», а в конце песня:

Когда я оборачиваюсь назад, —

Народ мой далеко,

Держу путь в безвозвратное место,

Еду в Германию,

Бедные многочисленные сироты,

Для вас сейчас безвестен я.

Приходится поневоле

Нести службу царю.

О тленный мир,

У меня печали много,

Не отомстил врагам я,

Меня угнали.

Провожу я дни,

Находясь вдали,
Если не помру,
Вернусь из Германии.

Х

С некоторых пор в народе пошли разговоры: «Царь из киргизов набирает солдат». Слухи все ширились и ширились. «Нет, не в солдаты берут, а на черную работу — рыть окопы», — утверждали другие. На джайлоо ли, в предгорьях ли — всюду стар и млад только тем и были заняты, что с утра до вечера, собравшись где-нибудь на холмике или у очага, говорили об этом, пересказывали новые слухи, гадали о будущем.

— В могилу его отца! Чем идти солдатом несправедного царя, лучше умереть здесь, на родной земле! — говорили молодые.

— Коли до нас дело дойдет, — спокойно рассуждали баи, — на первый случай откупим своих детей.

— Не всегда же так будет, может быть, жизнь изменится.

— Жди! Баи откупятся, а нам, бедным, что делать?

— Э-э! Не все ли равно! Куда ни пойдешь, всюду одна смерть. Возьмут — пожалуйста, о чем жалеть, нам о богатстве не думать. Бедному всюду одинаково. Но кто нас выдаст, с тем мы посчитаемся!

— Что за времена наступают... Конец света...

— Тяжкие дни приходят для молодцов.

— Хотя и будут набирать в солдаты, баи ничего не потеряют, вся тяжесть ляжет на горемычных бедняков.

— Кто же добровольно пойдет на мученье, народ еще подумает...

Люди не знали, на чем остановиться, судили так и этак.

Но вот, наконец, объявили указ царя о наборе на тыловые работы. Крупные манапы рода Бугу — Кыдыр, Батыркан, Ырыскельды, Соодонбек и другие съехались на совет. Долго они спорили и гадали — что же делать? Одни выступали за то, чтобы отдавать киргизских сыновей в солдаты, другие нет. Не отдавать в солдаты не хватало смелости: царь покарает, богатства заберет. Сказать «дадим» тоже побаивались. Того и гляди вся чернь поднимется, поплюет на руки да и начнет... «Если отдадите в солдаты, мы сначала уложим вас, а потом уйдем», — такие разговоры часто слышались в народе, особенно среди молодежи. А тут еще прошел слух, что казахских манапов Албана, Абубакира, Узака, Джимаке — за отказ выставить солдат, арестовали в Каркара и повезли в Каракол. Баи и манапы терзались, не зная, на какую дорожку ступить...

Подшло время подрезки опийного мака. Прежде его сеяли только китайцы и дунгане, захватившие из Урумчи, Кашгара, Уч-Турфана, Кульджи, а потом научились и киргизы.

Однажды в аил приехал дальний наш родственник и решил взять Беккула и меня на подрезку мака. Жил он в Сарытолгае — маленьком кыштаке из плохоньких мазанок.

Солто (так звали родственника) нанял еще и сына одноногого Ырая — моего приятеля — Кыдыра.

Через несколько дней мы простились с Кызыл-Кией.

XI

Вот мы и в Сарытолгое!

Подрезка коробочек в разгаре. Поле так густо усыпано яркими цветами, что глазам смотреть больно. Воздух пропитан дурманящим запахом опиума. Напротив нас в густых зарослях мака ходят три дунганина; один из них негромко тянет печальный, за душу хватающий, напев, словно вспоминает родной Бейджин, который покинул сорок лет назад. Его скорбная песня легко плывет в знойном воздухе и волнует мое сердце. Мне кажется, что лишь я один понимаю его песню, хотя не знаю ни одного дунганского слова.

Уже несколько дней ходим на плантацию. Вначале мы только портили растения: или совсем прорезали коробочки, или делали надрез не там, где следует. Млечный сок не выходил, образовывалась лишь черная полоска. Если прорежешь стенку насквозь — второй раз сок уже не выйдет, а то мак и совсем погибнет. Хозяева ругали нас и все же научили кое-чему. Правда, Кыдырма, Беккул и я не достаем до высоких головок, подрезаем, пригибая их к земле. Стебель ломается, мак гибнет, хозяева бранят нас, но что же мы можем поделать? Нанимали бы высоких...

...Солнце перевалило за полдень. Беккул вдруг побледнел, отошел в сторону и съезжился под большим кустом полыни. Через несколько минут младший брат Солто — рыжий Кочкун — широко открыл глаза и завопил:

— Где Беккул?

Мы показали ему на куст полыни. Слово беркут на куропатку, ринулся туда Кочкун.

— Ты почему лежишь? — заорал он грубо, подражая брату.

Беккул застонал и тихо ответил:

— Голова кружится...

— Вставай, негодяй! — Кочкун схватил его за ворот и приволок к нам. — Ишь как хитрит, голодранец! Что же мы сюда вас привезли откармливать? Режь мак!

Он еще долго сердито бранился. Джигит по имени Тилеке, стоявший в стороне, укоризненно заметил:

— Брось ты, Кочкун, ну зачем ты мучаешь мальчика, пусть полежит.

— Опиум — ядовит. Если хорошо не питаться, то у человека от слабости кружится голова, и он падает, — вступился еще кто-то.

Но Кочкун продолжал ворчать. Когда солнце склонилось к закату, нам сказали:

— Остальное подрежете сами.

Все ушли, оставив нас троих: Кыдыра, Беккула и меня. Другой брат Солто — Айылчи, уходя пригрозил:

— Хорошо подрезайте. Если завтра увижу, что работали плохо — не обижайтесь...

Вставил словечко и Кочкун:

— Пусть только испортят мак, я им тогда глаза выколю!

Вот так каждый день. Оставляют нам участок такой, чтобы мы еле смогли закончить до темноты, и скажут: «Подрезайте!», а сами уходят. Иногда оставляют кого-нибудь надсмотрщиком.

Закончив подрезку, уже в сумерках отправились домой. Возле юрты Солто стражник свирепо пробирал какого-то бедного дунганина. Этот стражник известен всей округе. Светло-серую лошадь под ним киргизы узнают издали.

Дунганин сидел, опустив голову.

— Куда ты девал опий, что собрал за три дня? Найди, сволочь! — заорал стражник, размахивая плеткой.

— Обыщи, нет ничего, — морщась, ответил сборщик.

Но видно стражнику: ищи не ищи — с дунганина ничего не получишь, хоть кинься на него с ножом. Он еще раз выругал, схватил кокозу и, развернувшись, ударил ею об землю. Из кокозы мягко потянулся еще не загустевший опиум.

Я знаю, дунганин — бедняга из бедняг. Пришел он сюда из Урумчи вместе с баем, у которого работал. Хозяин поселился в Караколе, посеял мак, собрал урожай и ушел обратно, а батрака бросил. У бедняги не осталось ни денег, ни одежды, ни еды. В этом году он кое-как засеял маком четверть десятины, надеялся выручить на дорогу. Если с ним кто заговаривал, то с первых же слов он начинал рассказывать о жене и детях: «Моя пятнадцать лет не видал жена, дети».

Мне жаль его. Если бы мог, я бы сделал все, лишь бы вырвать беднягу из рук жестокого и алчного человека. Как не заболит душа, если дунганин все лето мучился на клочке земли, проливал пот, а тут пришел какой-то грабитель и хочет обобрать его?

Недалеко от нас стоит Ыбыке. Выставив брюшко, заложив руки назад, прохлаждается. Дунганин иногда умоляюще поглядывает на него: не поможет ли? Но Ыбыке равнодушно посматривает на небо. Кажется, один я страдаю из-за горестной участи дунганина.

Стражник, видимо, окончательно убедившись, что здесь ему ничего не добиться, приказывает дунганину идти впереди, и гонит его, то и дело наезжая конем.

А разве наша участь лучше? Мы устали так, что нельзя разогнуть спину, а жена хозяина, как всегда, приказывает Кыдырме, Беккулу и мне отправляться за топливом. Идем, что же делать!

Лес недалеко, каждый день туда ходим за топливом. Неприятно только два раза переходить реку: вода холодная, по дну катятся камни и больно бьют по босым ногам...

Вернулись с топливом, не успели присесть, как подскочил Кочкун, будто нас и ждал.

— Идемте! — приказал он.

Кыдыр, устало хмурясь, спросил:

— Куда?

— Иди, иди, раб!

Отказаться нельзя. Вслед за Кочкуном подошли к пустующей мазанке. Стоят три полных мешка, возле какая-то молодуха толчет в ступе просо.

— Ну-ка, возьмите по одной! — указывает Кочкун на валяющиеся ступы. — Толчите. Не живые, что ли? Жрать умеешь, так и работать надо! — ткнул он пальцем в глаза Беккулу. Это ему понравилось, стал забавляться — то ткнет в лицо, то по голове — против волос. Беккул бросил пест и, ревя, хотел убежать.

— К какому же отцу ты пойдешь жаловаться? — насмешливо протянул Кочкун, дернул его за руку и толкнул к ступе.

ХII

Однажды, близко к полудню, я пришел с макового поля, сел над арыком, начал мыть руки и увидел Байболота. Под ним все тот же жеребец с пятном на лбу. Его пригнал стражник. Оба слезли с лошади и вошли в белую юрту Ыбыке. Здесь с некоторых пор жил пристав, тот самый, которого я видел у юрты Карпыка.

Пока Байболот слезал с лошади, я глядел, разинув рот, и лишь, когда он скрылся в юрте, побежал за ним. С порога увидел пристава с лихо закрученными усами. Он сидел напротив входа и мрачно глядел в бумагу, лежавшую перед ним. Рядом с приставом сидели старшины и пятидесятники. Тут же находился и Карабай.

— Уходи отсюда! — погнал меня кто-то. Я попятился и спрятался за дверь. Направо от пристава, за столом, важно восседал Ыбыке. Когда вошел Байболот, Ыбыке, улыбнувшись в усы, обратился к приставу:

— Таксыр, это тот самый буян.

Таксыр глянул на Байболота, что-то записал, потом, наливаясь кровью, завопил:

— Ты, собачий сын, зачем среди людей заводишь смуту? Ну-ка, отвечай! уставился на Байболота выпученными глазами. Тот, держа в руке свернутую плохонькую плетку, не спеша ответил:

— Сначала разберитесь кто виноват!

Пристав хотел что-то сказать, но его опередил Ыбыке:

— А где ты скроешь свои делишки: как ты избивал старших, как отбирал списки, как...

Байболот не дал ему закончить:

— Что отбирал, то правда. Зато вы, кроме нас, бедняков, никого не трогаете. Есть в тех списках кто-нибудь из байских сынов, из сынов знати? Нет! Мало того, самовольно составляете приговор, будто мы согласны со всем. Да еще и врете: кому 17 лет — пишете 19, кому 40 пишете 30. Бай выкупит своих сынов, а мы, бедные, без копейки за душой, должны вместо них идти в солдаты. Так где же ваша совесть? — Байболот закончил и перевел взгляд с Ыбыке на пристава. Тот застучал кулаком по столу:

— Собака, свинья! Я покажу тебе!.. — пугал он. — Как ты смеешь выступать против справедливой воли царя, собака! Да ты знаешь, что я с тобой сделаю?!

Байболот, однако, не испугался. Ругань словно придала ему смелости. Он в упор поглядел на беснующегося пристава, а потом, видимо, решив: «Молчи, не молчи, теперь все равно», бесстрашно продолжал:

— Говоришь, царь справедлив? Скоро будет пятьдесят лет, как он нами правит. А что мы получили? Царь вместе с такими, как Ыбыке, отобрал у нас земли и воды. Покорились, освободили свои места, а сами отошли в сторону. Потом у нас отобрали и те клочки земли, что имелись в предгорьях, и загнали в ущелья. Лишили всего. Мы не можем получить и одной десятины, а русские богачи и киргизские манапы имеют десятки десятин. Один раз полить землю и то нечем. Для нас жалеют места даже у вечных снегов, говоря, что она собственность казны, и берут плату за выпас. Негде пасты даже одну—две головы скота. Бесчестными налогами довели нас до нищенства. Почему налог не берут так: у кого больше богатства — с того больше, кто беднее — с того меньше? Богачи, у которых вся земля, и мы, бедняки, с одной коровой, платим одинаковый налог... Налог за всяких господ, судей, болушей тоже платим мы. Если не рассчитаемся в срок, — бьют, сажают в тюрьму. Мало того, еще и солдат захотели брать от нас. Где же справедливость царя? За что он с нами так поступает? Мало невзгод от царского правительства, так еще нас окружают бай, болуши, судьи, как волки в безлюдном месте, рвут наше тело. Сколько еще нам терпеть? Как жить?

Байболот, конечно, знал, что словами не одолеет пристав и Ыбыке, но он не сдавался, держался смело. Пристав не выдержал, ударил по столу кулаком.

— Молчать!

Затем повернулся к джигиту с погонями, приказал:

— Забери собаку!

Потом подошел к Байболоту.

— Я тебя проучу! Помнишь, как ты подбивал людей:

«Говорите: не пойдем в солдаты». Знаешь, что за это будет?

— Народ сам все знает. И без моих слов многие не согласны идти в солдаты. Говорили и будем говорить. Сказанных слов назад не возьмем. Теперь мы... — Не закончил Байболот от волнения.

— Ведите собаку!

Когда его повели, пристав еще раз погрозил вслед.

Прошло дней десять и мне принесли почитать письмо от Байболота. На мое счастье написано оно было хотя плохим почерком, но крупными буквами и простыми словами, без украшений, как у многих грамотеев.

Вот что там было:

«Я сижу в тюрьме. Жаловаться некому. Киргиза здесь за человека не считают. Полицейские в золотых погонах нас близко не подпускают к канцеляриям, не дают прохода к начальству. А киргизским чинушам некогда разбираться, они заняты борьбой за теплые местечки, берут взятки, подкапываются друг под друга. У нас тот молодец, кто дерет, выжимает из людей взятки. Его и считают человеком, а кто не хочет этого делать, тот, оказывается, бестолковый, ни к чему неспособный человек! Вот какие это «молодцы»! Земля из года в год уходит из наших рук. Это их ничуть не тревожит. Заботиться о земле, о

бедных людях, знать их горести, беспокоиться о судьбе — такого у них и в мыслях нет. Вся их цель: набрать побольше сторонников и бороться на выборах, добиваться возвышения, обирать народ, мошенничать: если у бедняка двадцать овец,— записать тысячу, а тысячу овец бая снизить до двухсот. Натравливать стражником на неугодных, устрашать их избиениями и издеваться над бессильными; угождать судьям, большим господам; жиреть, набивать свою утробу — вот их единственная забота. Теперь возьмем ростовщиков, торговцев. Это они обирают бедняка и ведут его к нужде. Дадут весной рубль, а осенью берут барана, дадут кожи на одни ичиги, потом требуют корову. Манапы без денег ничего не сделают. Чтобы обратиться к судье, бедняк продает единственную корову..

Когда я читал письмо, у всех сидевших бежали слёзы...

ХIII

Стояла пора жатвы. Старики говорили: «Не было еще таких хлебов, как в этом году». Однако многие, как будто что-то предчувствуя, уделяли больше внимания опийным полям. Куда ни пойдешь, везде опиум — деньги. Люди это знают хорошо. Вместо того, чтобы заниматься и другими работами, большинство, словно собираясь выступить на врага, готовило коней, седла, заказывало кузнецам секиры, копыя. Их день и ночь ковали повсюду.

На днях я слышал, как взрослые говорили:

— Нужно быть готовым. Время тревожное...

Кыдыр, Беккул и я спали во дворе. Сегодня кто-то раньше обычного сорвал с нас попону:

— Вставайте!

С трудом открыли глаза. Чуть начинала сереть земля. Пока мы, дрожа, оделись, привязали к поясам кокозы, другие сборщики уже ушли на поле. Когда мы добрались до крайней черной юрты, навстречу нам показался Кочкун:

— А ну, быстрее! Плететесь, черти! — прикрикнул он.

Среди нас лучшие сборщики — Айылчи и Тулебай.

Когда сок выступает обильно, каждый из них собирает по два цзиня. Айылчи — нечестный: припрятывает опиум. Делает он это так: заворачивает опиум в листок и бросает между рядков мака в приметном месте, вечером поднимает.

Но мы с Кыдыром не занимались этим.

Опиум собирали до полудня. В полдень пришли домой. Солто со старшим братом Абийиром весь сбор паковали по два, по три цзиня и прятали. Опиума у них набралось много! Я знаю — они недавно ночью вырыли в зимовье яму и закопали около трех пудов опиума.

Вечером мы втроем сидели у очага, положив в горячую золу картошку. У всех рубашки в желтых пятнах опиума, неприятно пахнут. Говорить не хочется — устали, да и головы болят. Недалеко от нас две женщины латают снятую с юрты кошму. К ним подошла женщина с веретеном. Поглядев на землемеров, которые за зимовьем мерили землю, сказала:

— Как они сюда явились, с каждым годом становится теснее.

— Говорят, что нас опять куда-то будут переселять! — отозвалась сидевшая на земле.

— Да ну, что ты! Третий раз уже переселяют...

— Кто его знает! Я слыхала, как на днях один из них говорил: «Здесь поселится купец».

Женщины понизили голоса, зашептались.

Кыдыр с тоской поглядел на высокие горы, покрытые елями.

— Давай сегодня сбежим,— предложил он.

Это была наша давняя тайная мечта. Сбежать-то можно, но разве будет слаще? Явишься, а дома скажут: «Вот он, прибежал, стервец». Я подумал, подумал, отказался: Кыдыр еще более опечалился, но заявил:

— Я один сбегу.

— Тебе-то ничего, а мы придем — наши не обрадуются.

— А здесь что, теплее тебе? Ни ногам нет покоя, ни сна не видим. Посмотри на себя, так будем жить — умрем.

Действительно, терпеть больше нет сил. Может и правда сбежать? В Джиргалане один киргиз ходит у русских пастухом. Я в прошлом году три месяца помогал ему пасти скот. Если сбегу, может, меня отдадут туда,— хуже не будет. Буду хоть чистым воздухом дышать.

Но в этот вечер мы так ничего и не решили.

Утром я поднялся, смотрю — Кыдыра уже нет. Значит, сдержал свое слово. Постель была еще теплой. Видимо, сбежал перед рассветом. Конечно, ему, бедняге, не удалось уйти далеко. Когда солнце встало над головой, его пригнали на поле, где мы собирали опиум. Кыдыр плакал, размазывая по щекам слезы и грязь. Сзади ехал Солто и, свесившись с коня, тыкал его в спину сложенной плеткой, приговаривая:

— Твой отец не Ырай, а я! Иди быстрее! И не думайте уйти! Вы мои рабы. Хозяин над вами я!

Через месяц приехал Элебес, посадил меня и Беккула позади себя на лошадь и увез. Сбор опия заканчивался и в нас теперь особенно не нуждались. Люди выходили на работу неохотно.

Пошли слухи: «Если не дадим солдат, царь начнет войну против нас, приведет войска в айлы, уничтожит людей...» Поэтому во многих местах уже готовились к выступлению, посылали из рода в род гонцов, вооружались.

Когда солнце ушло за полдень, мы остановились в чьей-то юрте, среди соснового леса. Хозяина не было, хозяйка, хотя Элебес и был с ней знаком, встретила нас угрюмо, неохотно поставила на огонь чай. Мы сидели молча. Вдруг послышались крики множества людей. Хозяйка и Элебес побледнели, прислушались. Мы выбежали из юрты. Невдалеке, по тропинке, уходившей в лес, кто-то мчался, крича, махая шапкой и нахлестывая лошадь. По опушке леса, подгоняя стадо скота, проехала еще группа верховых...

Элебес вышел на поляну между соснами и крикнул во весь голос:

— Эй, что случилось?

Видимо, люди торопились, никто не отозвался. Толпа проехала. Но вот показался одинокий всадник. Он похож на волка, который гонится за овцой и в то же время оглядывается на пастуха. Элебес и у него спросил: «В чем дело?»

— Киргизы начали войну против царя! — ответил он на скаку.

Значит жизнь, несколько минут назад находившаяся в покое, нарушилась. Мы не стали дожидаться чая, поехали. На закате увидели Кызыл-Кия. Тут встретился Бейшемби на уставшей лошади. Ничего не говоря, он повел нас в лес, затем куда-то в ущелье. Наступила ночь, ехали молча, в темноте осторожно пробираясь между деревьями. Вот блеснул огонек. Мы повернули туда. Подъехали — а там вся наша семья!

Бейшемби объяснил Элебесу:

— В Кызыл-Кия из дорожников никто не остался. Башарин сбежал, бросил свое хозяйство...

Я соскучился по Кызыл-Кия и пожалел, что не смог побывать в родных местах.

Там, на западной стороне холма, в ложбинке, бьет маленький родник. Порою, когда меня дома бранили и на душе становилось тяжело, я приходил к родничку. Если смотреть с этого холма, видно далеко вокруг: дорогу, уводящую в Каркара, вдаль мост через Тюп, блестящие под солнцем многочисленные стойки его перил, идущие через мост караваны, брички, запряженные волами. Ближе виднеется светлый дом Василия, поляны, где я пас коров, пасека Башарина, низина, на которой я копнил сено, козлийный загон, большой склон, куда мы с Кыдыром ходили собирать ремень. Когда я все это увижу?

XIV

Через два дня мы переехали в Сарытолгой, к своим. Все поселились у подножья гор.

Ударная сила восставших — бедняки, середняки. Вожак восстания тоже из них. А бии, болуши, манапы не знали, с кем идти, колебались; наконец, уверившись в силе бедноты, подчинились ей. Воевать они шли без охоты, только, чтобы не упустить власти, не утратить влияния на народ.

Наступили беспокойные дни. Каждый день перебирались с одного места на другое. По ночам все мужчины, вооружившись секирами, копьями, куда-то уезжали.

Однажды Бейшемби сказал:

— Были такие, что угоняли у русских скот. Я же ничего не тронул.

— И хорошо, что не берешь, милый! Говорят: «Не бери и ниточку у того, кто терпит несчастье», — похвалила его Бурмаке. Время-то вон какое, бог знает, может, и свое потеряешь, не то, что чужое брать.

Каждый день, каждый час приходили новости одна другой неожиданнее:

— Говорят, взяли Байсоорун.

— Поднялись Саяки, кочуют сюда.

— Род Арыков набрал пятьсот рук и вступил в Каракол.

— Говорят, род Сарыбагышей набирает войско. Аксакалы следят, чтобы народ не разбежался, призывают выступить на войну.

— Произошли стычки в Саруу, Джелдене, Кызыл-Суу.

— Время сулит худое. Наверное, народ побежит.

— Киргизов разбили.

— Нет, киргизы побеждают. Между Пишпеком и Караколом сожгли мосты, свалили телеграфные столбы.

Народ все слушает и не знает, чему и кому верить. Кое-кто начал укладывать вещи. Иные, пожаднее, кому не хотелось расстаться с нажитым добром, зарывали его в землю.

— Кому теперь все это достанется?! Эх, жизнь!

— Воля злого царя!

Народ волновался, волновался, да в один день и поднялся. Ехали так, будто навсегда вырвали корни из родной земли — ничего не жалея, по полям, по неубранному хлебу. Не дай бог такого живому человеку!

Люди перемешались, как муравьи,— сын не находил отца, отец — сына.

Тронулись и мы. Остались позади горящие нивы, стога, белые постройки Башарина. Я на лошадке бая Джолбуна помогал гнать его скот. Бурмаке ехала на чьей-то навьюченной кобыле, усадив сзади себя двух малышей. Остальные шли, уцепившись за навьюченных животных... Богачи, у которых были десятки, а то и сотни лошадей, не пожалели нас, не сказали: «У вас семья большая, возьмите в табуне лошадь». Куда там! Баи от жадности не оставили даже хромого козленка — все везут.

Через два дня остановились на окраине Каркара. Казахи, жившие здесь, давно убрались. В спешке бросили юрты, котлы, чашки... Бродили отставшие от хозяев бездомные собаки. Но никто не смотрел на весь этот скарб, народ день и ночь тек рекой на восток.

...Проехали мы Каркара, Туз, Уч-Капак, Нарынкол и достигли границ Китая. А позади наседали карательные отряды. Пришла ужасающая весть: «Губернатор Туркестана выслал пятьсот солдат с приказом уничтожить всех киргизов, начиная с малых детей». Рассказывали, что за родом Кокурек двигались саяки, а когда они дошли до Корумду и Чонташа, войска загнали их в ущелье и перебили, как куропаток.

Словно предчувствуя беду, люди сегодня спозаранок принялись выючить верблюдов и лошадей. Утро было мрачное, туманное, тянуло холодом. В бескрайней степи у китайской границы столпился прикочевавший народ.

Неожиданно позади грохнули один за другим два пушечных выстрела. Люди хлынули вперед, но тут китайские пограничники открыли огонь и заставили огромное море народа отступить. Овцы, испуганные выстрелами, побежали. Люди сгрудились между двух огней. Постояли они, постояли, затем опять двинулись к границе. Китайцы ответили выстрелами. Люди снова отступили. Рыдания, вопли висели над толпой.

— Ой, дяденька! Наверное, здесь нам погибать!

— Догоняют уже!

Пушка грохнула еще раз, другой,— теперь поближе. Народ решил: «Погибать, так погибать!» и пошел прямо на огонь пограничников.

...Несмотря ни на что, народ бежал и бежал вперед. Вот дорогу преградили бурные воды Музарта. Что тут делалось, сколько народу погибло! В одном месте плывет женщина, придерживая колыбель, в другом лошадь тонет вместе с вьюками, в третьем — мертвого вынесло на берег, в четвертом — старик с криком бросается к тонущему ребенку, в пятом — кто-то рыдает над погибшим... Разве перескажешь все!

Я ехал позади, помогал гнать овец Джолбуна. Когда все переправились на тот берег Музарта, наступила ночь. Грабители не давали покоя: всю ночь угоняли табуны лошадей. Все лошадины забиты украденным скотом.

Многие злорадствовали:

— Ненасытные баи не разрешали бедняку пользоваться лошадежкой из своих табунов; как они переживут сегодняшний день?

После Музарта люди остановились в широкой степи. Беженцы сгружали вьюки, ломали деревянные части юрт, ставили котлы и наскоро разводили огонь. За два—три дня сегодня впервые варили мясо! Люди тянулись без конца. Понемногу шум стал утихать. Вдруг в полночь раздались выстрелы. Людей снова охватил страх. Неизвестно, кто стреляет: китайские пограничники или, может быть, подошли войска даря. Все переполошились, начали торопливо грузиться, собирать только что развязанные вьюки. Горящие костры остались непотушенными, котлы не снятыми...

Выстрелы участились. Кругом крики, плач, будто становище окружили кровожадные враги. Оказалось, что на табуны опять напали грабители.

XV

Наступила зима. Жилось всем тяжело. Почти весь скот пропал: часть потеряли на месте, часть — на границе. Много скота погибло на высоких снежных перевалах, в темных ущельях. Люди голодали, за чашку зерна отдавали детей. Вспыхнул тиф и пошел косить без разбора.

Люди рассыпались по китайской земле. Те, что пришли первыми, двинулись в Урумчи, Джылдыз, Кучорго, пришедшие позднее остались в Чолаке, Тереке, Актереке, Коктереке, Текстереке.

Вот и мы, как ягнята, отбившиеся от стада, плетемся в Коктерек, через горы, по льдам, сквозь туман. У Бурмаке нет сил, она едва переставляет ноги. Иногда остановится, вытрет слезы, вздохнет:

— О господи! В какую ты могилу нас гонишь в такой холод с малышами?..

Вокруг никого не видно. Только далеко на западе, между гор, чернеет что-то, похожее на юрты. Но налетает ветер, поднимает мелкий снег, и видение исчезает.

Элебес, держа лошадь под узды, испуганно шепчет:

— Как бы не было бурана!

— Господи, не доведи нас до беды! — молится Бурмаке.

Нам повезло: бурана не было, и через три дня мы добрались до Коктерека. Холодным вечером остановились в небольшом — семь—восемь дворов —ауле кызаев. Выбежавшие детишки глазеют на нас с удивлением. Мы торопимся — из нескольких палок и войлоков, прихваченных с собой, строим шалаш. Как говорится — «В поле и жук мясо», — семье в тринадцать человек пришлось помещаться в маленьком шалаше. Что только не перенесет человек, когда нужда заставит! Так мы в этом шалаше, теснясь и толкаясь, прожили зиму.

Скоро мы свыклись с здешними жителями. Раньше услышим слово «кызай» и гадаем: «Что это за народ такой?» А тут увидели: обычаями, языком, ничем они не отличаются от казахов.

Однажды среди зимы, Бейшемби куда-то съездил и привез бумагу. Он объяснил Элебесу:

— Прощение. Завтра отправим в Кульджу.

Потом дали мне прочитать.

Письмо на трех листах. На последней странице — одни оттиски пальцев — самое малое двести человек приложили. Только в конце несколько неразборчивых подписей.

Я с трудом, запинаясь, начал читать. Кое-какие слова не мог разобрать. Тогда Бейшемби заставлял повторять всю фразу.

Вот что было в письме:

«Консулу России в Кульдже.

От киргизов Пржевальского уезда прошение.

Мы — киргизы волостей Пржевальского уезда: Курткамерген, Кунгей, Ак-Суу, Тюп, Курманту, Кен-Суу, Тургон, Бирназар, Сюгутту, всего 4595 дворов, прибыли на китайскую землю. Большинство из нас бедняки, сироты и вдовы. Просим о нижеследующем: царское правительство лишило нас земли и воды, прогнало в горы. Однако и горы нам не достались, перешли в собственность казны. Места для юрты, пастбища для скота стали платными. Таким образом, мы потеряли возможность жить. Даже с топливом стало трудно. Стоимость одной ели подорожала вдесятеро. Беднякам это непосильно. За одно срубленное дерево составляли протокол на десять. Население каждой волости за год платило несколько тысяч рублей штрафу. Бедняки, не имеющие денег на штрафы, попадали в тюрьмы. На повеление помочь фронту мы пять раз отдавали все, начиная с веревок. Кроме двухразового налога, каждый двор облагали еще по несколько раз. По повелению губернатора нас принуждали выращивать мак и платили за один фунт опиума двенадцать рублей. От этого мы, кроме убытков, ничего не имели. Наконец, забыв своё обещание, царь дал повеление: мужчин от 19 до 31 года отправлять на войну рыть окопы. Народ это понял, как набор в солдаты. И эта беда легла на нашу шею. Правители киргизов своих сыновей и родственников, не включали в списки. Баи же своих сыновей выкупали. Мы выразили недовольство, нас стали сажать в тюрьмы. Многих из тех, кто попадал в тюрьму, расстреливали, вешали. Такие ужасные вести повергли нас в страх и вынудили бежать в Китай. Нас преследовали войска и уничтожали, как овец. Много людей и много скота погибло в водах Музарта, в низине Текеса. На границе китайские солдаты разграбили у нас последнее. Теперь у нас нет не только крова и пищи, но и щепотки соли. Наступила зима. Мы голодные, раздетые. Трудно нам. Поэтому просим Вас проникнуться сочувствием, отозваться на нашу мольбу и прислать ответ нашему главному. Не будет ли от вас помощи обездоленным? Подписываемся и прикладываем печать».

Вот слова письма. Результаты мы услышали через, месяц: консул обещал помочь. Его доброта удивила всех. Никто не понимал, в чем тут дело.

XVI

Не было юрты кызаев, где бы я ни бывал. Еды у нас почти не было, поэтому, как только наступала ночь, я ходил из одной юрты в другую. Нужно было безошибочно знать, в какой юрте и когда сварится пища, чтобы успеть побывать у всех. Но иногда ошибался, терпел неудачу. Одно у них плохо: положат в огонь две головешки, лишь бы кипело в котле, и сидят, ждут до полуночи. У тех, кому возил сено или делал другую работу, я располагался как хозяин, выжидая часами. Иначе останешься голодным.

Иногда меня гонят. Однажды заглянул в юрту некоего Бызабака.

— Эй, ты что здесь делаешь? — заорали на меня. Я растерялся. «Изобьют еще, приняв за вора», — мелькнуло у меня в голове.

— Ничего... — ответил тихонько и вышел. Так в этот день я и не ел.

На следующий день принес топливо. Слышу, как Бурмаке сердито бурчит:

— «Кошке игра, а мышке смерть!» Что же, мы не люди? Кто смеется над нами, пусть над тем бог посмеется!

Оказывается, Нуртак — сын кызая Доолатбая — нашего соседа — швырнул камень и попал в лицо Ашимкан.

Была у него такая забава — взберется на холм и швыряет камни в наш шалаш. А попробуй, пойдешь, пожалуйста! Враз из аула выгонят...

Со всех сторон раздуваем огонь, сырой хворост не горит. Едкий дым спирает дыхание, не идет вверх, стелется по земле. Элебес рассердился, кричит:

— Не мог найти получше топлива?

Неожиданно появился сын Карпыка — Исраил. Мы долго не видели никого из киргизов, и он показался нам бесконечно родным.

— Неужели это ты, Бейшемби? — улыбнулся и Исраил. Как все-таки скучаешь по своим людям!

С Бейшемби они когда-то были друзьями. Сначала мы подумали, что он за тем и пришел, чтобы проведать нас. Но скоро выяснилось, что цель у него другая. Оказывается, Ыбыке обложил налогом род Эркесары, разместившийся и долине Коктерека. Поэтому и явился Исраил. Однако он не сразу объявил о налоге, а начал разговор, что вот, мол, мы в согласии, дружбе решили...

Все поняли, к чему клонит сынок Карпыка.

— Если бы мы умирали, никто поди не пришел бы и такую даль проведать? — насмешливо спросил Бейшемби.

— Почему? Кто же бросает ближних?

— Если близкие так поступают, я их знать не хочу! Умрем, и без них найдутся люди зарыть нас. — Махнул Бейшемби рукой и сел.

— Что же, они захотели из больного сделать мертвого? Видать, от правителей не избавимся, пока не уйдем в могилу,— вмешалась Бурмаке.

В конце концов Бейшемби решительно сказал:

— Хватит и того, что раньше терпели. Обчистили все, теперь нам осталось только постели продать. Пусть будут довольны тем, что я кормлю кучу сирот. Так и передай. Пусть с нас не дерут шкуру. Не всегда ходить нам на поводу Ыбыке, прошло его время.

— Не перечь! Разве можно идти против, когда согласились все! Ты теряешь помощь рода... Не годится это... — уговаривал Израил.

— Кто хочет, пусть соглашается. А я давно бросил и род и дружбу — все равно пользы нет.

Бейшемби говорил со злостью, размахивая руками. Таким я его ещё ни разу не видел.

Так Израил и уехал ни с чем.

И правда, нам не только платить налог Ыбыке, а есть нечего. Да еще к тому же стали доходить слухи, что китайские власти погонят беженцев назад. Взрослые то и дело судили, как тогда быть с целой кучей детей — ведь стоят морозы, а мы все ходим полуголые.

А тут еще неожиданно убежала от мужа моя сестра Чукей.

Была полночь. Я проснулся от голоса Бурмаке:

— Вставай, сгоришь.

Чтобы было теплее, я на ночь подгребал под голову кучку теплой золы из очага. Может, правда загорелись волосы? Вскочил. Нет, волосы целы.

Гляжу — сидит Чукей, плачет. Освободил для нее место у огня.

Теперь нас в семье четырнадцать человек. И чего она явилась, может, думает, что нам здесь сладко? Потом она рассказала: загрызла свекровь, житья не дает. Куда деваться бедной, если ее истерзали до костей? Что мне, пусть остается. Нашу жизнь она хуже не делает.

...Наступила весна. Мы решили покинуть аил и вернуться на родину. Взрослые надумали идти не прежним путем, а через Кульджу. Сложили вещи на худую клячу и пошли.

Скоро нас настигло несчастье — встретили в безлюдной степи калмыка с ружьем. Остановил он нас, показывает на лошадь. Хотя не знаем его языка, но сразу поняли, чего он хочет. Все принялись умолять его, чтобы оставил лошаденку. Куда мы без нее денемся? Элебес показывает побитую спину клячи, худые ребра. Бурмаке причитает, мы ревом. А калмык только головой мотает, да за повод тянет. Совсем мы замучились. Тогда Бейшемби вытащил запрятанные в лохмотья несколько рублей. Калмык схватил их, закинул ружье за плечи, гикнул и поскакал.

Когда избавились от напасти и немного отъехали, Элебес с раздражением спросил:

— Что же ты ему деньги отдал?

Забыв о лошади, он теперь сожалел о деньгах.

— Не дай, так остались бы в беде,— ответил Бейшемби.— Разве мы в силах выбраться отсюда без лошади?

А через несколько дней наша лошадь вдруг свалилась. Пока с нее снимали груз, она раза два дрыгнула ногами и испустила дух. Вот горе! Видно, судьба бедняков такова, что на них то и дело обрушивается беда.

Груз мы поделили — мне досталась половина джаргалчака — и побрели дальше. К вечеру остановились в безлюдном сае. Ночью выпал снег, пришлось ставить шалаш. Джанымджан приготовила жиденькую джарму. На четырнадцать человек у нас всего три чашки. Ждем очереди. От голода в животе бурчит.

Бурмаке успокаивает нас:

— Что же поделаешь, когда еды много и кушают помногу, а когда мало — помалу. Как-нибудь доберемся до Кульджи и ладно...

— Обижайтесь на жизнь, мы здесь ни при чем! — неожиданно говорит Элебес, насупившись. Видно, и его сердце терзает вид голодных детей.

От голода и мучений мы все озлоблены. Один другому кажется лишним. Ни на волос ни у кого не стало терпения. То и дело вспыхивают ссоры, драки. Даже маленький Бекдайыр сидит мрачный, будто с рождения ни разу не улыбнулся, на глазах слезы, вот-вот заорет. Видя, как он, обидевшись на то, что ему налили неполную чашку, не берет еды, Бурмаке просит:

— Налей немного этому нечестивцу.

Джанымджан, скривившись, черпает синеватую водицу с отстоявшейся джармы и льет в чашку Бекдайыру, крича со злобой:

— Что б ты провалился, на! Что б вы подошли: живучие, как собаки! И бог их не видит, не берет!

Испуганные её проклятиями, мы затихаем. Но разве заглушишь голод руганью?

Через два дня добрались до Кара-Ункур — огромной пещеры на перевале, в которой могло поместиться, самое малое, отара овец. Видно, здесь с давних пор останавливаются караванщики — пещера закопчена. Здесь же расположились кашгарцы, приехавшие раньше нас на 10—35 ишаках. Мы заняли свободный угол. Пока мы устраивались, к пещере на лоснящихся лошадях подъехали три знатных китайца. Удивительно — в такой нестерпимый мороз у них на головах одни шелковые шапочки.

Всей семьей мы потеснились к выходу, освободили для них место поудобнее, заварили чай и котле. Судя по богатой одежде, старший из них — тот, что с приплюснутым носом, узкоскулый, смуглый.

Так это и есть. Ложась спать узкоскулый что-то сказал переводчику-уйгуру. Тот глянул на Бейшемби.

— Господин говорит: «Если лошади пропадут, ответишь ты».

— Не пропадут, - спокойно сказал Бейшемби. Однако, он не спал до утра, охряняя чужих лошадей. Утром, когда мы собирались отправиться дальше, переводчик опять обратился к Бейшемби.

— Господин говорит, что ты должен провести нас до Чолоктерека.

Бейшемби взмолился, начал объяснять, что у него нет лошади, что мы идем с кучей детей, обессиленные, голодные.

Уйгур сказал несколько слов по-китайски, затем, выслушав своего господина, ответил:

— Ничего мы не знаем. Как хочешь, а проводить должен!

Бейшемби чуть не плакал.

— Взгляните, господин, разве есть у меня силы вести вас? А эти несчастные дети! Пожалейте, господин, не губите детей, не губите беднягу!

Купцы еще долго кричали и ругались, грозили, но, видно, поняли, что им от нас ничего не добиться, сели на коней и уехали. Бурмаке глубоко вздохнула, словно освободили ее туго стянутую шею.

— О господи милостивый, у сирот, оказывается, есть еще счастье.

Мы продолжили свой путь.

У перевала Суу-Ашуу мою сестру Чукей продали пожилому Кызаю. За нее взяли одну корову. Делать было нечего — все стояли на краю смерти. Значит, на китайской земле за полгода остались две моих сестры — ведь старшая — Батыйма отбилась от мужа, ее схватил дунганин и куда-то увез. Где она, никто не знает. Доходил слух, что дунганин увез ее в Карашаар. Еще слышали, что она умерла. Как бы то ни было, а старшие сестры для меня погибли.

XVII

Перевалили, наконец, Суу-Ашуу и попали словно в другой мир. По выходе из Коктерека, мы почти не встречали ни казахских, ни киргизских юрт, ни поселков уйгуров. А эта сторона не такая. Всюду виднеются пашни, сады, поселения. Когда взошли на какой-то выступ, Элебес указал на темнеющую вдали полосу:

— Это Кульджа.

Но мы не попали в Кульджу. Город остался в стороне. Однажды на ночлег мы остановились на окраине уйгурского кишлака. Еще не успели разгрузиться, а я уже взял Беккула, Эшбая и направился к домам. На краю кишлака посоветовались, поделили улицы. Я начал с длинной улицы. Направился к большому двору.

Вышла большеглазая, чернолицая женщина и остановилась у порога.

— Что нужно? — спросила она, хотя, конечно, понимала, зачем я стою у дверей. С самым жалким видом я протянул:

— Нет у меня матери и отца, сирота я! Прошу милостыню.

Она ушла и тотчас же вынесла кусок лепешки. Протянула его издали, точно боясь прикоснуться ко мне. Взяв милостыню, отправился дальше. Женщина смотрела вслед испуганными глазами...

Из второго дома вышел ни с чем. Захлопнули калитку перед самым носом да еще обругали:

— Ты вор!

«Наверно, какой-нибудь бедняга, вроде меня, украл у них что-то и отбил охоту подавать», — подумал я. А тут еще откуда-то выскочила собака и залилась лаем.

За ней прибежала другая, третья, четвертая — целая стая.

Еле отбился.

Здесь, кажется, до нас бродило много нищих, так что подавали не очень охотно. Однако, когда вечером мы сошлись у костра, оказалось, что все трое принесли по нескольку кусков. Дома не ложились, ждали нас.

— Вот тебе и хлеб-соль, — обрадовалась Бурмаке, когда мы вошли. Увидя нашу добычу, она точно выросла до небес.

Собранным хлебом поужинала вся семья да еще отложили на завтра.

После того, как откочевали с этого места, прошли города Дардаматы, Асинакун, Джалгылсай и к вечеру достигли Кетмена.

Уже стояли теплые дни, поднимались травы. Усталые, перекусили на скорую руку и легли спать. Ночь короткая. Сквозь сон я услышал чьи-то разговоры, плач. Проснулся. Кроме меня, все были на ногах. Младшие обсели очаг и ревели так, будто у них умер кормилец.

— О черный день! Если тебе так хотелось спать, что же ты не разбудила нас? — без конца спрашивал Элебес у Джанымджан.

— Хоть бы поближе к людям остановились! Как же теперь нам быть? Помрем в степи! — всхлипывала Бурмаке.

Вся брань, упреки падали на Джанымджан. Обычно она не выносила упреков, огрызалась, сама начинала ругаться. На этот раз покорно молчала. «Я виновата, убейте меня, вот я!» — говорил весь ее вид.

— Вставай, чего валяешься! — только всего и сказала она, когда увидела, что я еще лежу.

Оказывается, воры украли корову. Стерегла Джанымджан. Перед рассветом она зашла в шалаш дать ребенку грудь, прислонилась к колыбели и уснула. Мы остановились над впадиной, куда мог свободно скрыться верблюд. Сделал шаг — и тебя уже не видно. Похоже, что воры притаились тут, а как только Джанымджан вошла в шалаш, отвязали и увели корову.

Бейшемби ходил искать корову до Кетмена — почти за тридцать верст, но так ни с чем и вернулся.

Вчера по дороге мы случайно встретили одного дальнего родственника. Хотели вместе идти до самого Иссык-Куля. Но Бейшемби вернулся ни с чем, и они не стали дожидаться, ушли. Остались мы одинокие, беспомощные...

Через два дня в Кетмене мы продали остатки имущества и и тоже подались к родным местам...

... Однажды остановились в маленьком дунганском кыштаке. Стояла пора прополки опийного мака. Здесь мы несколько дней отдыхали, нашли работу. Но беда и тут вис подстерегала.

Около полудня вернулись с работы, сидели дома.

Вдруг мой младший брат Бекдайыр, как сидел с чашкой в руках, так и свалился замертво, хотя ничем не болел.

— Ой, держите его! — закричал перепуганный Бейшемби.

Поздно! Бурмаке подозрительно глянула на Джанымджан. Я тоже ее заподозрил. Она была недовольна большой семьей, и от нее можно было всего ожидать...

Бекдайыра мы похоронили на окраине кыштака. Душа у всех очерствела, и никто даже не пролил и слезинки!

XVIII

Жарко! Идем к виднеющимся вдаль, у черных гор, насаждениям. Это — Аксуу. Дорога поднимается в гору. Кругом камень, сушь. Еле волочим порезанные, избитые, в мозолях ноги. Бурмаке бредет с посохом в руке, сгорбившись, и, по обыкновению, бормочет:

— Неужели забудутся эти дни? Едва ли забудутся...

Пройдя немного, добавляет:

— А может быть... Человек ведь такой — сыт и все забыл в один день.

Всю дорогу не видим ни капли воды. В горле пересохло, кажется, вот-вот упадем. Наконец, достигли окраины какого-то поселения. Навстречу с ведром воды вышел джигит-уйгур, словно он с самого утра следил за нами. Принес он и ковшик. Мы набросились на ведро.

— Много не пейте, заболееете,— предостерег нас джигит.

Но где там! Мы глотали воду до темноты в глазах, до одышки.

Напившись досыта, Бурмаке стала благодарить:

— Пусть тебя господь всю жизнь хранит от зла, сынок! Да поможет тебе благодарность бедных...

К закату солнца добрались до Аксуу.

Хотя мы и шли целый день по жаре и устали, пришлось мне с Беккулом идти просить милостыню. В городе мы разошлись. Я насобирал хлеба, заторопился к своим — ведь они сидели голодные. На условленном месте увидел Беккула. Он устроился над арыком и ел хлеб, макая в воду. Я разозлился:

— Сам ешь, а что принесешь домой?

— Да, вот немножко только откусил,— показал он ломоть смоченного хлеба и всхлипнул. Я замолчал, взял его за руку и повел к стоянке.

Продолжать путь не было сил, поэтому старшие, посоветовавшись, решили остановиться на несколько дней, раздобыть на дорогу еды. На второй день Эшбай, побирившийся в городе, прибежал веселый и выпалил:

— В одном доме на краю города мне сказали: «Если есть у тебя отец, брат, скажи, пусть придут. У нас найдется работа».

Так и оказалось, как он сказал: Бейшемби сходил, разведаль и мы перекочевали на двор к дамбылде города Мамырмазину. Дом его с большими воротами стоял над кручей, на окраине города. Возле дома — сад с десятину.

Нас поселили в версте от дома Мамырмазина, на огороде. Там стояла заброшенная мазанка. Вход без дверей. С солнечной стороны — маленькое, подслеповатое оконце. На полу валяются лепешки давно высохшего коровьего помета. Вокруг избушки — клевер.

Однажды утром Мамырмазин, возвращаясь из мечети, завернул к нам. Брови у него — ежиком, глаза сидят глубоко, борода клинышком, маленький темнокожий человек, лет под пятьдесят. Его черные, лукавые глаза беспокойны, как у пугливого коня. Вошел, оглядел ребятшек, которые копошились на полу, как ожившие после дождя муравьи.

— Мы слышали, что киргизов, возвращающихся на свою землю, русские убивают, — сказал он по-уйгурски. Видя, что никто его не понимает, добавил на ломаном казахском языке:

— Сейчас вам идти туда, детям будет плохо.

— Сейчас мы и сами не пойдем. Давно уже ходим, отошдали. Поживем здесь, и с помощью таких добрых людей, как вы, наберемся сил, потом уж пойдем. А пока не думаем уходить. Сначала нам надо разузнать, что делается на нашей земле, — ответил Бейшемби.

Мамырмазин оглядел меня с головы до ног, словно облюбовывал скотину на базаре, пощупал плечи, руки, сказал:

— Еще не дорос работать кетменем.

У Мамырмазина было три сына. Двое женаты, давно отделились. Младший сын Мукбул — еще холостой, жил с отцом. Средний — Бакырдин — полный, шея короткая, массивный, коренастый джигит. Когда ему нужно оглянуться, поворачивается всем телом, будто волк. Занимается он торговлей, много сеет опийного мака.

Вскоре Беккула, Эшбая и меня разлучили, как скот при дележе. Беккула взял Мамырмазин, Эшбай достался его старшему сыну Шерпедену, я — Бакырдину.

Бакырдин повел меня на другую окраину города, которую называют Остей. Здесь человек десять дружно пололи мак. Хозяин подошел к рыжему джигиту, у которого не было помощника, подтолкнул меня и сказал:

— Вот тебе напарник.

Джигит осмотрел меня, и, наконец, насмешливо произнес:

— Хорош, пойдем! Сам обучу. Подходи,— указал он чанджой на полосу.

Конечно, я скоро отстал от парня. Еще бы: он сытый, а я и не помню, когда по-человечески ел.

— Двигайся! — покрикивает он время от времени на меня, — хлеб будешь кушать!

Солнце ушло за полдень. Собрались обедать. Еда простая — испеченные в тандыре тоненькие лепешки. Все, кроме меня, получили по лепешке. Когда каждый съел свою долю, рыжий джигит доломал остальные лепешки и на самый верх положил большой кусок:

— Берите! — попросил он меня, как уважаемого гостя.

Взял. Не успел я раза два откусить, как зубы заскрипели — это была земля от тандыра. Не стоит обращать внимания — лепешка-то вкусная.

...На прополке мака я работал дней десять. К вечеру все собираются группами и шумно, с песнями, уходят в город. В шалаше остаемся вдвоем с малаем-уйгуром. На нашем попечении — три лошадки. Стережем их, пасем, вовремя поим.

Однажды после обеда все отдохали. Я устроился позади шалаша, снял надетый на голое тело бешмет, развесил его на солнце. Кто-то мне крикнул:

— Эй, тебя зовет дядя.

Я вскочил, оделся, разыскал Бакырдина.

— Сходи, да побыстрее! — разрешил он.

Наши жили на том же огороде. Пришел я в мазанку и неожиданно застал мертвую Бурмаке. Бейшемби взглянул на меня, словно говорит: «Видишь? Для этого мы тебя и позвали».

Я узнал — болела тетя около недели и вот сегодня лежит с лицом, покрытым белым. Бейшемби и Элебес сидят притихшие, мрачные. Тяжело вздыхает Джанымджан, в руках держит незаконченную пряжу Бурмаке. Рядом нахохлились Ашимкан, Джумабек. Беккула и Бечеля почему-то нет. Вот и весь народ, собравшийся по случаю смерти. Нет никого, кто бы голосил и оплакивал покойницу. Тихо так, что чувствуешь себя словно в могиле. Нет родных, нет близких, знакомых. Во дворе у очага лежит охапка сухих ветвей из сада. Лежит и джаргалчак, что надоел мне до смерти, когда его нес из Коктерека. В яме у стенки валяется чья-то вконец изорванная галоша. В комнате под потолком, прилепилось гнездо ласточки. В нем пищат оперившиеся птенцы. В отверстие, заменяющее дверь, залетает и вылетает мать, носит птенцам корм. Когда мы только что поселились тут, кто-то из ребят хотел разорить гнездо, но Бурмаке не дала:

— Не нужно, грех будет. Это тоже божья тварь, ей тоже хочется жить.

Я помог зарыть труп тети и опять ушел в Остей. По дороге вспомнил, как Бурмаке говорила: «Ах, если бы нам дойти хотя бы до Куля, помереть там, ни о чем бы не жалела».

Но беда не ходит в одиночку — через два месяца от тифа умерли Токмолдо и Элебес. А потом пошло и пошло...

XIX

Приближался конец жатвы. Однажды Бакырдин мне заявил:

— Работы больше нет, можешь уходить.

Вышел я оттуда на закате, а когда в небе засветились звезды, добрался до дома Мамырмазина. Он собирался ужинать. Когда я вошел и немного посидел, жена его сказала:

— Иди к Бейшемби, они здесь.

Я сразу вышел. «Почему она меня так быстро отослала домой? Даже не покормила...» — мелькнуло в моей голове.

Оказывается, наши жили теперь возле конюшни, в телятнике. Сложили из камней очаг, с южной стороны пробили крохотное оконце, вот и жилье.

Я вошел. Бейшемби, прикрытый латаным, красным халатом, лежал в постели. Рядом сидели, всхлипывая, тетя и Джумабек. В доме только трое! Куда делась большая, шумная семья, которая не помещалась и в громадной юрте? Вымерли по одному, по два, и вот остались эти трое. Кажется, что мы бродим по свету уже целую вечность. А когда наши мучения окончатся?

Раньше, когда я после долгой разлуки приходил домой, Бейшемби весело спрашивал: «Ну, как?» и вступал со мной в разговор, как со взрослым. На этот раз он не проронил ни слова. Спустя несколько минут он повернулся к нам с таким видом, словно хотел что-то сказать, но потом раздумал. Он глядел в темный угол, что-то время от времени бормотал, видимо, бредил.

— Что, дядя болен? — тихо спросил я у тети.

Тетя, ковыряя хворостиной землю, сидела понурая, будто и ей остались последние часы жизни, беззвучно лила слезы. Она скупно ответила:

— Да!

— С каких пор?

— Уже давно.

И, вздохнув, хрипло прошептала:

— Ох, ты доля!.. Неужели нам помирать здесь?!

Шел осенний дождь. Я нашел пустой сарайчик, улегся на полу. На рассвете донеслось одинокое печальное рыдание тети. Значит, умер и Бейшемби...

Я больше никогда не встречу их, но если не расскажу той правды, которую тогда видел, то буду считать себя в долгу перед ними...

Переноса многие лишения, нас сюда привел Бейшемби. «Чем ни за что погибать с кучей сирот, лучше распродадим их по одному», — сколько раз твердил Элебес. Но Бейшемби не покинул нас, не сдался.

Мужество, которое проявляют в хорошие времена, — еще не мужество. Настоящую цену оно имеет только в минуту испытаний. Истинная отзывчивость познается только в черные дни.

После смерти Бейшемби мы разбрелись кто куда. Родня тетки находилась в казахском роде Конурбарк. Она разыскала их и ушла к ним с сыном. Эшбай остался у Шерпедена. Беккул, Ашимкан и я — у Мамырмазина. Бечел скрылся, как только умер Элебес.

Однажды Мамырмазин подозвал меня, сказал:

— Ты завтра или послезавтра отправишься в Тогузбулак. Овцы в этом году будут зимовать там. Хорошо ухаживай за ними.

— А что это за место? — спросил я.

— Тогузбулак... удобное для скота место. Там находятся мой зять Армолдо, дочь моя. Ты будешь пасти наших овец вместе с овцами Армолдо. Голодать не будешь. Я ему передам. Слышишь?

На другой день был курман-айт, и меня на один день оставили. По закону уйгуров сегодня муллы будут обходить все дома, читать коран. Мамырмазин намотал на голову большую чалму, велел мне взять куржун, и мы вышли из дома. Начали с конца улицы, вошли в первый дом. Когда оказались во дворе, женщина средних лет вскочила, поклонилась и учтиво сказала:

— А, моллаке, проходите!

Вошли в дом. Хозяин опустился на колени, зажмурил, как дремлющий кот, глаза и поводя бровями, стал читать коран. Пока он читал, я украдкой поглядывал на сдобные лепешки на столе.

Закончив чтение, Мамырмазин протянул: «Биссмила» и кончиками пальцев отщипнул кусочек лепешки. Я сделал то же самое.

— Омин аллоакбор! — поднес хозяин к лицу открытые ладони и сделал бата. Когда он начал вставать, женщина сунула в мой куржун две лепешки. Зашли во второй дом, в третий, четвертый — везде повторялось одно и то же: из каждого выносили не менее пары лепешек. Не успели обойти одну улицу, а куржун мой доотказа был набит лепешками.

— Отнеси домой, — приказал Мамырмазин.

Когда я отошел саженой на пять, добавил:

— Возвращайся быстрее.

«Были бы все такими щедрыми, когда я побирался, пожалуй, никто бы у нас не умер», — подумал я по дороге. Отнес лепешки, вернулся. Мамырмазин ждал меня на том же месте, не зашел ни в один дом.

— В этот день нельзя пропустить ни одного дома. Это богом дано, — наставительно пояснил он.

Мы ходили с кораном без отдыха с утра до заката. Я отнес домой четыре полных куржуна.

Рано утром следующего дня меня поднял сам хозяин.

— Отправляйся! Овец Армолдо уже погнали.

— Он же голодный, — вступилась его жена.

— Ладно, дай кусок хлеба, съест по дороге.

Я вышел на улицу, догнал овец Армолдо около сая. Пастух мне знаком, зовут его Джаматом. Рыжий джигит, с губ вечно не сходят болячки, шея тоненькая. Ему около 20 лет. Я слил свою отару с его овцами, направился к нему.

— Пришел? — улыбнулся он.

Мне радостно, неизвестно от чего.

— Когда дойдем до Тогузбулака?

— Если не будем останавливаться, к закату дойдем.

Через некоторое время он добавил:

— Теперь нам дружить всю зиму.

XX

Уже около месяца, как мы в Тогузбулаке. Несмотря на зимние холода, скот держится в теле. Корма есть. Кусты чия — толщиной в обхват, а вершиной — вровень с всадником. Иней, нависший на стеблях тростника, осыпается на спины овец. Зайцев здесь тьма. В первые дни овцы пугались их, теперь привыкли. Выскочит заяц — овца вздрогнет и опять продолжает пастись.

Товарищ, мой, как всегда, старается подбить выбежавшего зайца.

— Айт! — бросает он палку, но тут же добавляет: «Ах!» - Значит промахнулся.

Есть у нас и собака, однако непутевая. Погонится за зайцем, потеряет, бросится за вторым, но и этого упустит, кинется за третьим. Так и бегает без толку.

Однажды мы решили поохотиться всерьез. Зайцы обычно бегают по протоптанным тропам. Джамат выбрал такую дорогу и притаился за кустом чия, а меня послал пугать зайцев. Я отошел и не успел крикнуть: — Айт, айт! — как побежали четыре зайца. Джамат поднялся им навстречу и кинул палку. Один перевернулся, но быстро оправился от удара и ускакал. В другой раз побежали мимо семь—восемь зайцев. Один свалился, как подкошенный. Видать, палка угодила метко.

— Сбил! — закричал Джамат.

Мы освежевали зайца, подожгли большой куст чия, попарили тушку и досыта наелись.

Армолдо жил поодаль, в мазанке. Возле стояла юрта. Здесь хранилось мясо, заготовленное на зиму. Тут же спали и мы. Армолдо, забив жирную кобылу, давно уехал в Кульджу. Дома осталась жена с грудным ребенком. Ей самое большее — 25 лет. Она полная, низкого роста, глаза черные-пречерные, лицо смуглое. На слова скупая, лишнего не скажет. На дворе не показывается, с утра до вечера сидит у люльки. Хотя она целый день дома, очаг растапливаем и чай кипятим мы. Приходим вечером промерзшие, голодные, но хозяйка сначала сама спокойно не торопясь поест, а потом уже зовет нас. А что дает нам? Сварит мясо — оставит пустой отвар. Это бы еще ничего, можно терпеть, хуже другое. Черный, из несеянной муки хлеб — нашу основную еду — она ленилась печь. Напечет побольше и держит недели две — хлеб покрывается плесенью. Делать нечего, приходится есть и заплесневелый хлеб. Джамат однажды, выходя из избушки, пробурчал себе под нос:

— «Сытый голодного не разумеет», — помучилась бы один день, как мы, что бы тогда запела? Чтоб тебя бог наказал!

Как-то раз утром подала обычный наш завтрак — краюшку хлеба. Смотрим — снаружи он весь в зеленых хлопьях, а в середине тянется что-то мягкое, вроде белых

ниток. Невозможно есть. Мы накрошили полные чашки, залили чаем и дали собаке. Она понюхала и пошла прочь. Джамат рассвирепел, открыл дверь землянки и кинул чашку хозяйке. Так, голодные, мы и ушли.

Эта дочь Мамырмазина из скряг скряга. О ней и мать её говорила: «Эта дочь у меня скупая».

Близко к полудню я подогнал овец, подошел к Джамату.

— Что ты сделал утром! — укорил я его.

Он облизнул губы в болячках.

— Пусть она подохнет! Ей что собака, что мы.

— Разве она поймет нас? Чем бросать чашку, лучше сказать ей в глаза, что она делает!

— Поймет!

Мы уселись. Я завел рассказ о том, что ходил в малаях у одного русского и питался вдоволь. Рассказал о разных кушаньях, которые готовили у хозяина. Джамат слушал меня внимательно, изредка сплевывал набегавшие слюни. Больше всего ему, кажется, понравились сдобные лепешки, испеченные на масле, с медом.

— Подожди-ка! — вдруг толкнул он меня, — волк воет.

Прислушались. В безлюдной степи печально выла стая волков. Быстро, с двух сторон, обошли стадо. Ничего не видно.

Скучно в степи. Степь широкая, без конца. Каждый день видишь одно и то же: кусты чия, полыни, овец, облака. Тягостно на душе, словно в тюрьме томишься. Тихо, как будто запечатали уши. Гляжу на далекие холмы в вечерних лучах, думаю. Может быть, если уйду, встречу что-то новое? Так хочется, чтобы однообразная тишина рухнула, так хочется встретиться с новым миром! Иногда мечтаю: вот кто-то вырывает меня из этой серой, скучной жизни, из пучины страданий, приносит свободу. Когда встречаюсь с Джаматом, без конца повторяю одно и то же:

— Хотя бы эти дни прошли быстрее! Скоро ли мы увидим весну!

Но Джамат меня не понимает.

Однажды я заговорил снова о том же.

— Ну и дурак же ты, — сказал Джамат, — хочешь, чтобы жизнь прошла быстрее!

— Конечно, пусть идет быстрее! А что интересного в такой жизни?

Джамат ничего не ответил.

Очень мучает голод: пища плохая, дают мало. Однажды мы решились: начали в юрте жарить хозяйское мясо. Три шеста стояли рядом, увешанные мясом. Вяленые казы, карта застыли как лед. Джамат вытащил из-за голенища нож и, постукивая концом по мясу, посмотрел на меня.

— Ах, собака паршивая, за всю зиму хотя бы кусочек дала.

Дым от сгоревшего жира наполнил юрту. Джамат, поджаривая мясо, злобно ворчал:

— Жадная тварь! Не даешь, так мы сами возьмем. Даже с отвара сливаешь жир. А мы по морозу ходим за тысячами овец. Ты же лежишь в тепле и довольстве...

Мы начали без стеснения жарить мясо каждую ночь.

Но хозяйка, видимо, учуяла запах жира. В темноте она подобралась к юрте и увидела в щелку, чем мы занимаемся.

— Что же вы делаете? — зашумела она.

Мы промолчали, только переглянулись. Хозяйка вошла, поглядела на мясо на шестах, на огонь, приказала больше так не делать и вышла. Но жарить мясо мы продолжали, только потихоньку, не такими кусками.

Невдалеке жила семья казахов — вдовая женщина с сыном двенадцати лет. На двоих у них: бычок, три овцы. Мы с Джаматом в свободное время по вечерам заходили к ним. Женщина она приветливая, добрая. Встречала нас как родных. У нас тоже теплело на душе. Иногда за разговором даже не замечали, как проходит ночь. От нее мы возвращались как с праздника, повеселевшие, будто скинули с себя тяжелую ношу.

Однажды мы засиделись до полуночи. Зашел еще пастух какого-то бая. Всего собралось нас человек шесть. Я сижу, опершись на мешок кизяков у входа. Огонь в очаге затух, жар постепенно покрывается пеплом. Беседа то вспыхивает, то, подобно огню в очаге, опадает. Заговорили и о нашей хозяйке.

— Боже мой, как же она переваривает пищу! Сидит без движения! — удивляется вдова, поглядывая то на меня, то на Джамата.

— Да, она не вылезит из дома.

— Людей чуждается, глядит на всех искоса. Вот уже шестой месяц живем соседями, а еще не заходили друг к другу. Что она за человек? Наверное, вам и есть-то толком не дает?

Я промолчал, только махнул рукой. Разговор о хозяйке затих. Перешли к песням. Решили петь поочередно. Первым начал сынишка вдовы. Песню его мы уже слышали не раз.

Очередь дошла до меня.

— Я не знаю песен,— начал отговариваться я.

— Знаешь, пой! — пристали все.

Вместе с ними упрашивает и Джамат:

— Валяй по-киргизски, не бойся!

Прижали, куда денешься? Запел:

Глаза мои помутились,

Придет ли день, когда настанет счастье?

Кому скажу, кто будет слушать

Мою печаль?

Остались мы по саям,

Разбрелись по свету,

Когда нам некуда деваться,

От кого же будет помощь?!

— Да, из тебя толк будет! — сказал кто-то, когда я кончил петь.

О песнях забыли, начали обсуждать мое положение.

— А кто у тебя тут есть? — поинтересовалась вдова.

Рассказал о себе. Слушали внимательно.

— А родина твоя где?

— От Каркара на запад день пути, Иссык-Куль называется.

— Сколько же дней отсюда? — спросил байский пастух.

— Не знаю.

— Отсюда до Каркара три дня пути, выходит всего четыре дня,— подсчитал Джамат.

— Значит, нет у тебя здесь родственников? Да, теперь тебе, бедному, не попасть на родную землю!

— Посмотрим...

— Лишь бы был жив-здоров! А там подрастешь, бросишь хозяина и пойдешь домой,— утешает меня вдова.

Если послушать, то нет здесь человека несчастнее меня, будто все они счастливы, богачи, только я один бедняга...

Наконец, все поднялись, вышли... Глянули на звезды: уже далеко за полночь...

Весной хозяин велел отделить своих овец и идти в горы. Перед тем, как уходить с отарой, я до утра не сомкнул глаз, ворочался с боку на бок. Спать не давало радостное волнение. Мне казалось — придет утро и принесет что-то хорошее, необычное... С сожалением поглядывал на Джамата, который лежал рядом. Он, укрывшись шубенкой, спал беззаботно. Мне он показался несчастным, остающимся в плену. «Эх, бедный!» — подумал я о нем...

Под утро я заснул. Проснулся, огляделся — все то же: степь, овцы, драная юрта...

— Ну, прощай! Всю зиму ели из одной чашки,— сказал Джамат. Жаль было расставаться, мы долго грустно глядели друг на друга...

XXI

На следующий год Мамырмазин оставил овец зимовать у себя. Я должен каждый день выгонять их в горы.

И опять судьба принесла мне горе. Дело в том, что у Мамырмазина коз больше, чем овец. И вот осенью на них напала какая-то болезнь — сталидохнуть одна за другой. И как

будто нарочно — все в моем стаде. Я и хозяйина опасуюсь, да и животных жалко. Увижу, что коза перестала пастись, стоит, понунив голову,— сердце так и обрывается. Хозяева смотрят на меня недобро, словно это я принес несчастье. Мамырмазин каждый день в своем саду срезает мне новую палку, чтобы отвести беду. Всякий раз, когда рано поутру выгоняю коз, он провожает меня угрюмым, подозрительным взглядом. Пока не скроюсь за воротами, пять сажений до которых кажутся верстами, чувствую себя словно на горящих углях.

Однажды в поле заболела любимая коза хозяйина. Утром заметил — стоит в стороне, не пасется, глаза помутнели. Сердце у меня сжалось — попадет мне за нее. Из всех коз хозяйин больше всего любил эту — с белой звездочкой на лбу.

— Большинство коз от нее, удачливая она у нас,— часто говорила хозяйка.

И вот тебе на! Что делать? Чтобы она ела, перегоняю её с одного места на другое. Не помогает! Опустит к траве голову, неохотно понюхает и опять стоит неподвижно, словно дремлет.

Когда вечером пригнал стадо, Мамырмазин стоял во дворе. Он пропустил мимо себя коз и тревожно спросил:

— Сегодня все целы?

Я не сразу ответил, прошелся, затем резким ударом палки сбил снег с обуви.

— Захворала коза со звездочкой,— ответил я виновато.

Мамырмазин ушел в дом и заговорил с женой.

Хозяйке около сорока лет. Лоб, кожа вокруг глаз, щеки — в густых морщинах. На язык она злая. Вот и сейчас послышался её высокий голос:

— Этот нечестивец оказался неудачливым!

— Ладно, позови, пусть пожрет.

— Кого?

— Мукана.

Они всем нам дали свои клички. Эшбая назвали — Эшан, Беккула — Беки, меня — Мукан, Ашымкана — Ашы.

Пошел, сел у порога возле желтого таза. Это мое постоянное место. Мамырмазин, жена его, две дочери, сын сидели вокруг низенького столика, высотой в четверть аршина. Беккула и Ашымкана не видно. Оттого, что вошел с холода и взял в руки чашку с горячей лапшой, по телу приятно полилось тепло. Когда лапшу ополовинил, по щекам побежал пот. То и дело утираюсь полкой шубы. Продолжая кушать, Мамырмазин с женой исподлобья глядят на меня. Сижусь перед ними, точно привязанная овца перед волком.

— Что же это такое, каждый день одна приходит хвора?

— Откуда мне знать? Напасть какая-то...

— Скоро передохнет все стадо. Что в тебе такое недоброе? — выпытывает хозяйка.

— Ничего во мне нет.

О чем-то пошептались между собой.

— Ты с кем-нибудь пас вместе? Скажи! — опять обращается ко мне Мамырмазин.

В это время в загоне закричала коза. Я бросил чашку, выбежал во двор. Так и есть — коза со звездочкой на лбу. Когда я подбежал, она еще раз закричала и раза два дрыгнула ногами. За мной явился Мамырмазин.

— Что случилось? — выпучил он глаза. Вместо ответа, я указал на издохшую козу.

В дом я не вернулся. Управился с козой и пошел в избушку, где умер Бейшемби, в темноте завалился спать.

На другой день Мамырмазин повел меня в сад и вырезал абрикосовую палку. Палка сучковатая, точно посох нищего.

— Вот, на тебе, стервец, возьми, скажи «бисмилла»! Кроме этой, не бери другой палки.

Я взял палку, сказал «бисмилла» и погнал овец.

Когда я перевалил хребет, невдалеке кто-то громким голосом затянул песню, да так, что по саю покатилося эхо. А, конечно, это Джоломан — пастух бая Элакуна, казах. Он и старше и здоровее меня, видал виды. Но он не считает меня за мальчика, держится со мной как с ровесником. Встретимся — разговариваем, как старые знакомые, ничего не таим друг от друга. Иногда то он, то я рассказываем сказки. Его историям нет конца, как нет конца в источнике. А главное — голос. Скажу правду, с тех пор второго такого голоса не слышал. Он не любил петь, как другие, о несбывшемся, горестно, тоскливо. Напротив — бодрил, рассеивал унынье, пел вольно, широко. Его песню узнаешь издали. Пустит своих овец по склону в кустарники, взберется куда-нибудь повыше, упрется грудью о посох и как затянет приятным баритоном, кажется, что все вокруг радуется, слушая его. На душе становится легко, словно кончились горе, тоска... Я волновался, мечтал. О чем? И сам не знаю.

Однажды наши овцы смешались. Я забежал вперед, хотел их разделить.

— Пусть идут, вечером разберемся,— сказал он.

Овец пустили в гору, а сами остались внизу. Опираясь на палки, заговорили.

— Как живется у хозяина? Кормит хорошо? — спросил Джоломан.

— Неважно. Сыт или голоден — одна чашка лапши. А с тех пор, как началидохнуть козы, совсем худо. А твой?

— Кормят сытно. Еды хватает.

— Тогда хорошо.

— Ты говорил, что у Мамырмазина живут и твои братья? Как они?

— Вижу их редко. Вечером прихожу, ложусь спать. Утром ухожу чуть свет.

Джоломан несколько мгновений стоял задумавшись.

— Да, тебе приходится и за них страдать.

— Конечно, маленьким труднее.

— Ничего не поделаешь, надо терпеть. Говорят, что скоро будет лучше.

Невдалеке от нас пас овец еще один пастух — Акмет — рыжеватый, низкорослый дяденька лет под сорок, с жиденькой бородкой. Глаза у него всегда весело моргают, словно он только что нашел ценную вещь и радуется. В Аксуу почти нет уйгуров, у которых он не батрачил бы.

Мы относились к нему как к много видевшему старику. В каких местах овцы пасутся спокойно, когда прояснится погода, когда будет буран, в какое время линяет волк — все он знал. Руки у него ловкие на всякую работу. В кармане черной безрукавки у него нитки. Снимет кементай и показывает:

— Вот, сам залатал. Что поделаешь, если нет близких.

Сочинял он не хуже женщины, аккуратно.

Однажды я стоял с Джоломаном. Как всегда, улыбаясь, подошел Акмет. Он прищурил глаза, взглянул на восток.

— Неужели сегодня будет буран, а?

Мы уселись возле большого камня. Начал подувать ветерок, пронизывая нашу худую одежку. Я поежился.

— Если поедим хлеба, может быть, согреемся,— сказал Акмет.

Расстелили полотенце Акмета, вытащили из-за пояса свои лепешки, поломали на куски... Лепешки наши не на много разнятся. Лепешка Акмета потоньше, у Джоломана — потолще. Но что бы там ни было, все пошло в круг, по-братски.

К вечеру метель разгулялась. Мы с Джоломаном разделили овец и погнали вниз. Акмет пошел в свою сторону.

Закутав лица, начали пробиваться сквозь буран.

Случайно я оглянулся. Вижу — на хребет выскочили три волка и бросились к отаре Джоломана. Я закричал своим пискливым, слабым голосом, один зверь повернул назад. Джоломан не видел: закутал все лицо, шапку натянул на глаза, идет и смотрит в землю.

Тем временем два оставшихся волка отбили от стада по овце и погнали в сай. Только теперь увидел их Джоломан и с криком бросился за ними. Но волки бежали, не торопясь, хватая овец за курдюки. Видно, пастух не очень их пугает. Только, когда Джоломан сбежал в сай и приблизился к ним, волки подались на другой склон, не спеша оглядываясь. Джоломан подошел к овцам. У одной от курдюка осталось меньше половины, другая тоже искусана.

Утром Джоломан был мрачен, не пел, как всегда, и не разговаривал. Видно, вчера хозяин его побил: лицо в синяках, шея в одном месте ободрана.

Заговорил со мной лишь к вечеру:

— Почему не закричал, когда увидел волков?

— Кричал. Ты же надвинул шапку и не слышал. Волков было сначала три, а когда я закричал, один повернул назад.

В тот же день в моем стаде оказалась посторонняя овца. Овца не Джоломана, метка не та.

— Иди, приведи, бог простит,— сказал Мамырмазин, точа большой нож. Я пошел за овцой. Вот тебе и святой человек, вот тебе и мулла!

XXII

Пришла весна. Меня определили работать в поле, а овец отдали Ыйманкулу — казаху, такому же горемыке, как и я.

Пора пахоты. У здешних людей — даже у баев — редко встретишь плуг, больше — сохи. Выйдешь в поле — то там, то здесь бредут пары быков или лошадей.

Вот такую упряжку и я вожу. Соху держит сын Мамырмазина — Мукбул, а я веду лошадей. Пашем уже долго, начинаем на рассвете и ходим до звезд, но вспахиваем чуть-чуть. Проклятая соха берет землю на палец, не больше, кажется, с утра до вечера вертишься на одном месте. Лошадь, повод которой держу в руке, дергает головой, я падаю от неожиданности.

— Тяни! — раздается злой окрик.

Даже ночью, во сне, мне кажется, что кто-то кричит «тяни» и без конца ругает. Вот Мукбул бросает большой кусок дерна. Я падаю... Мукбул ругает меня на чем свет стоит, тарашит глаза и, сжав кулаки, идет ко мне. В испуге просыпаюсь — нет ничего... Снова засыпаю. И опять снятся: окрик «тяни», злая брань Мукбула, его бешеный гнев.

К концу дня не могу поднять руки, шевельнуть плечами. К тому же простудился, нос заложило, голова болит, в глазах мутно, тянет прилечь. Где уж там лечь! Нос утереть некогда: с утра до вечера руки заняты поводьями двух лошадей.

Мукбул сегодня вечером уехал за семенами. В безлюдной степи остались я да лошади. Наступила ночь, замигали звезды. Я бросил лошадям сена и съезжился возле сохи, накрывались мешком, в котором лошадям даем зерно. Вдали светятся огоньки городка. Где-то далеко квакают лягушки. Мне не спится. В темноте мерещится, будто воют волки и, невидимые для глаз, черные люди вокруг о чем-то тайно шепчутся. Ночь тихая, словно она к чему-то прислушивается... Стало так тоскливо, одиноко... Я заплакал...

Пахали, кажется, больше месяца. Потом наступила пора чистить арыки, поливать. Земля здесь глинистая, и люди поливают посевы не меньше трех раз.

Попадал я домой редко.

Всякий раз, как прихожу с поля, вижу одно и то же: сестренка Ашимкан сиротливо сидит во дворе, из ее черненьких, как смородина, глаз, льются слезы. Не слыша ни от кого доброго слова, она ждет меня, как ягненок-сирота, жалуется на свои обиды. Бедненькая, что же она льет передо мной слезы, чем я могу ей помочь?

Однажды хозяин зачем-то послал меня домой. Пришел, вижу — Ашимкан сидит на кирпичах у дверей грустная, глядит на горы, тихо плачет.

Я подошел к ней, спросил:

— Что с тобой?

Она нагнулась и худенькими, трясущимися ручонками утерла слезы, сказала:

— Равкан побил.

— А за что он тебя бьет?

— Так, ни за что...

— Часто бьет?

Она снова утерла слезы.

— Каждый день бьет. Мать, Равкан — все бьют. И кушать не дают. — Затряслась она всем телом. У меня закипело сердце, сам был готов заплакать, но сдержался. Чтобы отвлечь сестренку, спросил:

— А где Беккул?

— Пасет коров.

Я утер ей слезы, погладил по головке.

— Не надо больше так, не плачь, маленькая,— сказал я и, отвернувшись, пошел прочь. Что я мог сделать...

Когда я ночевал дома, мы ложились вдвоем с Ыйманкулом возле овечьего загона. Несмотря на то, что приходили усталые он с пастбища, а я с поля, мы обычно долго разговаривали перед сном. Иногда даже не замечали, как проходила короткая летняя ночь. Мы поверяли друг другу все, чего не решались сказать другим, ничего не таили. Но и это нам запрещали.

— Не бубните всю ночь, это нехорошая привычка! — рассердилась однажды хозяйка.

На другую ночь, когда мы опять увлеклись разговорами, хозяйка, набросив на себя чапан, вышла из дому, подошла к нам. Она остановилась у нашего изголовья.

— О чем это вы все толкуете? Скажите!

— Мы лежим, спим...— ответил я.

— Лежите и не разговаривайте! — прикрикнула она.

Узнав, что мы не унимаемся, хозяйка приказала:

— Пусть один ложится во дворе!

Раньше она на нас не обращала внимания... Но в последнее, время все они, начиная с Мамырмазина, потеряли покой, будто чего-то опасаются.

Несколько дней назад пополз слух, что скоро явятся какие-то большевики.

Новости мы узнавали от Мамырмазина да от ишанов, мулл, суфиев, которые заходили к нам. О чем же они говорили?

— Говорят, что большевики придут. Они люди плохие, нечестивцы, безжалостные, на пути расстреливают, вешают всех встречных.

— Кто попадает в руки русских казаков, тех будто отпускают, а кто попадает в руки большевиков, тех мучают, режут на куски.

— Говорят, что есть меньшевики. Победят они — тогда-то установится справедливость. Но, видно, нечестивцам-большевикам нету числа!

Однажды за обедом в кругу семьи, Мамырмазин говорил так:

— Похоже на то, что большевики уже подошли близко. Идет молва о том, что они грабят встречные города, уничтожают малых и взрослых. Говорят, что они в одном городе перебили всех русских казаков. Вероятно, их много. Завтра—послезавтра они вступают и в Джаркент. Если они туда придут, то и до нас недалеко — за одну ночь будут здесь. Люди уходят в Китай. Мукбул, как нам быть?

— Я-а-а алла! Вот какие они мерзавцы, скажи! А эти пакостники не натворят нам беды? —поглядела хозяйка ни меня.

Часть баев решила бежать в Кульджу с домашним скарбом, со скотом. Некоторые сманивали с собой бедняков, но наш Мамырмазин почему-то не двигался. Видно, не особенно верил в рассказы о зверствах большевиков, хотя и сам их распространял.

Мы с Ыйманкулом договорились бежать от Мамырмазина. Этот план придумал я. Ыйманкул не стал упираться, согласился. Только лишь сказал:

— Уйти-то мы уйдем, но как бы нам вдруг не остаться без крова.

— Не останемся, найдем работу. Будем всюду вместе. Ты же сам видишь, ну, как можно терпеть такую жизнь? Неужели нам тут и помирать?

— А как с братишками? — спросил Ыйманкул.

— Не могу же я их маять, прежде чем сам где-нибудь не устроюсь? Пока живу у Мамырмазина, кто же согласится их принять?

— Верно, с нами им идти нельзя.

Было около полуночи. Я разбудил Ыйманкула, шепнул ему на ухо:

— Вставай, уже рассвело!

Он закричал, повернулся в мою сторону с таким видом, словно хотел сказать: «Как бы не напросили на свою голову беды».

— Вставай, ты же знаешь, если останемся до завтра, погибнем. Надо уйти сегодня, — упрашивал я товарища.

Мы бесшумно поднялись, стали одеваться. В загоне тихо дремали овцы, будто погруженные в тяжелую думу. Когда мы вышли, черный кобель хотел залаять, но опустил голову: «А, это вы? А я думал, кто-нибудь чужой».

Вышли за город, направились прямо на запад по бездорожной степи. Кое-где попадались крестьяне, поливающие посевы. Над землей стояла темнота, в небе мигали звезды, словно говорили: «А мы вас видим...»

XXIII

Шли всю ночь, лишь когда высоко поднялось солнце, добрались до Киргизсае — поселения русских казаков.

В Киргизсае — дворов пятьсот. Киргизы здесь никогда не жили и непонятно, почему его называли Киргизсаем? Станица расположена у подножья гор. На западной

стороне поблескивают кресты церквей. На окраинах, словно змеи, извиваются две речки. Живут, видно, здесь богато, можно будет прокормиться. Но мы не решились войти в станицу сразу. Сели на ближнюю горку и долго размышляли, глядя на раскинувшуюся перед нами жизнь. Идти к русским было боязно. «Только недавно поссорились с ними так, чтобы больше не встречаться, — думал я. — С каким лицом сегодня пойдём к ним искать кусок хлеба? Явимся, а какой-нибудь верзила-казак вспомнит старое, возьмет да и прикончит нас, скажет: «Киргизы». Хорошо, если просто убьёт, а то начнет, как говорили, мучать, резать на куски... Убьёт да и оттащит в какую-нибудь яму. Выключают нам глаза вороны, сгнием за один день. А может быть, так не поступят? Что мы такого сделали, чтобы над нами так издевались? Мы тогда были маленькими. От нас ничего не зависело. Если что и сделали, так это взрослые. Но и они-то выступали не против всех русских, а против царя, против купцов. Что же нам делать? Идти дальше — близко другого поселения нет, придется помирать. Нет, войдем! Погибнем так вместе! Если и умрем, белый свет не померкнет. Ведь погибали же люди в шестнадцатом году. Что мы, лучше их? Посмотрим, что будет...»

Посидели мы, подумали так, и пошли вниз. Вечерело. Сначала шли бодро, быстро, но, когда очутились на улице станицы, почувствовали себя неважно. Все кажутся грозными. По улицам проходят усатые русские казаки. Брюки по швам обшиты голубым сукном. Пройдет мимо человек и будто огнем тебя обожжет. Кажется, сейчас набросится на нас и полоснет саблей, потом на его зов сбегутся другие и с криком начнут бить камнями. Мерещилось нам такое на каждом шагу, но проходила минута за минутой, а нас никто не трогал. Прошли одну большую улицу до конца, ни к кому не заворачивая. Лишь на второй улице вошли в чей-то двор. Появился хозяин с непокрытой головой и, не подпуская нас к дверям, хмуро сказал:

— Нет хлеба, айда!

У него тоже брюки по швам голубые. Большая борода, приземистый, толстый, значит — казак. Когда мы собрались уходить, я сказал:

— Просим работы.

— Работы! Какую вам работу? — усмехаясь, спросил казак. Что вы можете делать?

— Что можем?..— смутились мы, не находя слов.

Казак сплюнул и махнул рукой:

— Айда, нет работы!

Наступил вечер. Мы вышли на окраину и заночевали в поле. Другой день опять не принес нам удачи, лишь немного перекусили у одного бедняка. Потеряв надежду ни работу, пошли побираться. В этом деле я опытнее Ыйманкула, но и у меня ничего не выходило. Когда выпросишь кусок, а когда и нет. Так прошло три—четыре дня. Встретили мы одного джигита-казаха. Он эти места знал лучше нас. Мы рассказали о себе и попросили у него совета, как прокормиться.

— Если с гор принесете русским ревень, то они дадут хлеба, — сказал он.

— А где находится ревень?

Парень указал палкой на горы, покрытые елями.

— Вон, на той высотке растет.

— Долго туда идти?

— Если сейчас пойдете, к вечеру будете там.

Мы с Ыйманкулом, голодные до того, что болел живот, тронулись к высоким горам.

Но мы не дошли до нужной горы, наступила ночь. Ревень решили собирать на другой день. Нарвали купыря, набили животы, легли спать.

Ночь темная. Холодок, который идет от бурной горной реки, заставляет нас дрожать. Подобрал колени, стараемся прижаться друг к другу поплотнее. Кругом тишина. Па западе мерцает огонек, время от времени лает собака, должно быть, чабаны почуют. Из далекого чернеющего леса доносится крик какой-то птицы. Река в сае шумит, поет о чьей-то тоске, плачет...

Я долго не мог заснуть, все думал о своем будущем.

Ыйманкул давно уже храпел.

На рассвете я разбудил его.

Отошли немного от места ночлега и напали на густой ревень. Солнце всходило из-за гор. Роса еще не высохла, и мы вымокли. Но это неважно — главное, ревеня много и, значит, мы будем с хлебом.

К полудню с охапками ревеня спустились с гор. В Киргизсае пошли по улицам. Казачки из наших несчастных рук берут ревень сколько надо, на выбор. Собранного не хватило и до конца одной улицы. Остались только два пучка поломанных корней. За пазухами у нас куски хлеба, лепешки — на сегодня хватит. Солнце перевалило за полдень, мы вышли к церкви, уселись под арыком, принялись есть, размачивая в воде хлеб...

Прошло несколько дней, и нашлась работа у одного кашгарца. За городом он имел маковое поле. Шла вторая прополка. Каждый день мы уходили рано и приходили в сумерки. Но были рады, что не без дела бродим, что нас кормят.

Только счастье скоро кончилось: дня через три—четыре весь мак пропололи, и мы остались на улице. Принялись за прежнее ремесло.

Однажды мы с Ыйманкулом разошлись и встретились на другой день. Видно, Ыйманкул в это время ничего не ел: щеки и глаза ввалились, губы потрескались, как у пастуха, который ходил по ветру целый день. Подошли к мосту, перевесились через перила, загляделись на воду.

— Что теперь делать? — вдруг захныкал Ыйманкул.

— Что с тобой?

— И работы нет у нас, и ночевать негде,— протянул он плаксиво и утер рукавом слезы.

— Работа найдется. Среди людей не помрем. Успокойся, не плачь. Вот чудак! Надо кое-что и пережить, без этого человеком не будешь. А как же мы терпели у Мамырмазина? — сказал я, как взрослый, успокаивающий ребенка.

— Там хоть было где переночевать...

Ыйманкул опять начал заскорюзлыми руками растирать по щекам слезы.

— Успокойся! Перестань плакать. Нужно иметь мужество,— прикрикнул я.

Вскоре я нашел киргиза, который пас скот. Родом саяк. Имя Шадыкан. В год побега дошел до Кульджи и вернулся обратно. Я не думал, что здесь найдется киргиз. Само слово «киргиз» стал уже забывать.

О нем я услышал от одного джигита, казаха. Он мне встретился на улице и сказал:

— Тут один пастух спрашивал о тебе: «Я слышал, что по городу бродит мальчик, киргиз. Если увидите, передайте ему обо мне».

— А где он живет? — спросил я обрадованно.

— Выйдешь на край, там будут две юрты. Одна его.

На другой день я разыскал киргиза.

Шадыкан — низенький, худощавый, рыжий человек. Борода у него что на щеках, что на подбородке одинаковой длины. Ему не больше сорока лет. На нем красный чапан с протертыми локтями. Говорит вдумчиво, не спеша. В юрте еще сидела смуглая круглолицая женщина, зашивала тряпочкой порванное сито. Пучеглазая, брови черные, густые. Видно — жена Шадыкана. Кроме нее, тут же еще одна женщина помоложе. Длинная, как черняк, смуглая, еле разговаривает, вяло двигается, тщедушная. Оказалась женой брата Шадыкана.

Всего в семье четыре души. Обе пары — бездетные. Младший брат Шадыкана пас коров. Увидел я его вечером. Белолицый большеглазый джигит. Звали его Джанаркулом. Вошел в юрту, глянул на меня недружелюбно, спросил:

— А эго кто такой?

— В поле нашли,— пошутила жена Шадыкана,— Киргиз.

— Киргиз, говорите? Чудно, киргиз стал казаться странным, — глянул он на меня подозрительно.

Перед тем, как садиться за еду, Шадыкан рассказал о моих будущих обязанностях.

Мы пасем коров этой станицы. Телята тоже нам поручены. Осенью за каждую голову кое-что получаем. Хорошо, что ты подвернулся. Мы и сами подыскивали такого паренька, как ты. А эти тетеньки не могут пасти, запускают на посевы. Ты теперь паси хорошенько. А они пусть занимаются домашними делами. В той юрте тоже есть паренек. Будете пасти вдвоем, понял?

XXIV

Вставай, милок, иди за телятами, — разбудила меня осторожными толчками жена Шадыкана. Солнце только что показалось из-за гор. Я поднялся, вышел из юрты. Все окружающее еще дремало. На небе ни облачка. Воздух чистый. Хочется лежать и лежать, подставив лицо свежему ветру. Но нет, надо зарабатывать хлеб.

Познакомился со своим будущим товарищем. Он — сухощавый мальчик с черными глазами и прямым носом. Ростом, пониже меня. Одет в старую шубу, на ногах — чокои.

— Как тебя зовут? — спросил я...

— Ыракымбай.

Хоть и он — сынок бедняка, но, видно, мало бывал в тисках жизни, еще не окреп. У него есть и отец, и мать, и старший брат, и сестра. Конечно, в такой семье жить легче, не то, что мне — сироте.

Стадо собирали на краю города, у моста. Нас, пастухов, четверо: двое пасут коров, двое — телят. Женщины в пестрых одеждах по двое, по трое гонят скот, сдают нам. Вот подошел бурый бык с мускулистой, крутой шеей, глухо замычал, взрывая землю.

Солнце уже поднялось. Джапаркул махнул рукой, скомандовал:

— Ну, погнали!

Телят мы придержали, пока взрослые угнали коров. Молодняка набралось много — самое малое голов пятьсот. Погнали их в гору, мимо сада. Его все называли «Сад Ивана». Каких только там не было деревьев и кустов! Я таких ягод и плодов не только никогда не видел, — даже не слышал о них.

Сад миновали, степь закончилась, и вошли в широкую лощину. Телята скрылись в зарослях. Мы расположились под большой вербой, преградив телятам выход из лощины. Солнце стало припекать. Ыракымбай предупредил меня:

— Телята шальные. Убегают.

Вскоре я убедился в этом. Мы скинули чокои, развесили чулки, чтобы быть налегке. Прошло немного времени, как вдруг Ыракымбай завопил:

— Ушли! Ушли!

Я вскочил. Два теленка, задрав хвосты, бежали вниз. Я кинулся им наперерез. Увидев меня, они прибавили ходу. Я тоже собрал все силы. До сада Ивана не добежали, настиг их, завернул.

Когда я вернулся, Ыракымбай покрикивал на телят, которые вышли из лесу.

— Догнал? — улыбнулся он, словно довольный тем, что я быстро бегаю.

Вскоре побежало еще несколько телят. Ушли далеко, троих не догнал. Но большинство своих телят я в этот день не упустил. А Ыракымбай редко какого догонял, больше уходили у него. Или он знает, что ему не догнать, или научился хитрить. Немного побежит, а потом встанет и стоит, разинув рот.

— Какая досада! Уже упустил нескольких, — пожалел я.

— О-о, сегодня хорошо, — успокоил меня Ыракымбай.

— Почему?

— Прежде, не дай бог, по двадцать, тридцать сбегали.

— Не следили за ними, что ли?

— Жена этого Джапаркула растяпистая, бегать не может. Всех телят заворачивал. Иногда телята как поднимутся все, так и не знаешь, за каким гнаться. А она раскроет рот и стоит. Раз сбегали десятка два телят, зашли в посевы, и русский поднял скандал, чтобы уплатили за потраву. Еле избавились...

Незаметно прошел день, солнце уже опустилось низко.

— Пора гнать, — сказал Ыракымбай.

— А не рано?

— Когда пригоним, как раз будет.

Пошли собирать телят, которые разбрелись, улеглись по два, по три в тени деревьев.

На другой день погода хмурилась с утра. В полдень загрохотало и полило, как из ведра. Я устроился под большим деревом, дождь отбивал дробь на листьях. Не заметил, как погрузился в размышления. Много пробежало в мыслях, вспомнил и Ыйманкула. Прошло много дней, как мы с ним расстались. Когда я нашел приют у Шадыкана, он пошел в работники к одному казаку. С тех пор мы и не виделись. Даже не знаю, в каком доме и на какой улице он живет...

Так прошло с месяц. Я привык к новой жизни. Каждый день, когда спускались с гор, Ыракымбай уходил домой, и я гнал телят в город. Тяжело, конечно, но есть и кое-какая выгода: если теленка пригонял во двор, мне давали хлеба. Правда, не все. Чаше уходил с пустыми руками, особенно от богатых. Я уже привык, не удивляюсь этому. Когда скитались по аилам, от роскошных, белых юрт уходили с пустыми руками, но находили подаяние у бедных. Так же, видно, живут и русские казаки — и у них чем ни богаче человек, тем жаднее.

На восточной окраине станицы стоял низенький, небогатый домик. Хозяева имели двух телят: один — темнокрасный, другой — бурый. Знал я их хорошо. Вечером подгоню телят — хозяева не отпускают с пустыми руками. Хозяйка — женщина лет около сорока, высокая ростом, белокурая. Ее улыбающиеся синие глаза, казалось, видели меня насквозь. Однажды пришел к ним вечером, она дала мне круглый калач и погладила по голове. Затем с трудом спросила по-казахски:

— Не ты ли приходил просить милостыню?

Я смутился. Действительно, был в этом доме, просил кусок.

— Тогда у меня не было работы,— ответил я, не глядя ей в лицо.

Понемногу в станице ко мне привыкли. Сначала меня окликали: «казах», потом стали звать «телятником». Прозвище «телятник» мне казалось почетным.

Однажды вечером, отогнав телят, я шел по улице и встретил Джийдекан. Она отнесла кому-то сделанную работу и возвращалась домой. Солнце уже зашло. Проходили мимо того места, куда каждое утро сгоняют телят. У моста какой-то русский джигит поил коня.

— Эй, телятник! Зачем пускаешь в посевы, черт! — крикнул он нам.

— А ты видел?

— Еще разпустишь, башку сломаю! — погрозил он кулаком.

— Черта два сломаешь! — ответил я.

Не знаю, услышал он или не услышал меня. Джийдекан толкнула меня в бок:

— Не говори так больше, что ты за мальчик! А если он побьет тебя, тогда что будешь делать?

Пришли домой. Джапаркул ссыпал в чашку крошки от булки, которую он принес за пазухой. Ссыпал осторожно, так, чтобы ни одной не уронить на землю. Заработанный хлеб выложила и Джийдекан.

У нас такой закон — все добытое складываем вечером в одну кучу.

Женщины зарабатывают тем, что прядут нитки, починяют обноски или еще что-нибудь делают. Мне подают те, кому пригоняю телят. Джапаркул получает за то, что с поля отвозит новорожденных телят.

У меня есть еще один источник заработка. В горах растут крупные ягоды, вроде земляники. Я собираю их и отдаю русским ребятишкам, а они мне приносят ломти хлеба, вареную картошку.

Но добытого за день хватает нам на один раз. Иногда мой заработок Джийдекан кажется малым.

— Ты что, съел по дороге? — глядит она на меня с сомнением.

— Не ел, это все, что дали,— уверяю я.

...Вскоре в Киргизсае начались большие перемены. Причиной явилось все то же слово: «большевик», которое я слышал в Аксуу. В Киргизсае большевиков рисовали народу так же, как это делали ишаны и баи в Аксуу.

«Большевик — это бунтовщик, рожденный на несчастье народа. Большевики — звери. Малых детей рубят саблями, колют копьями. Цель у них одна — расстреливать встречных, проливать кровь, уничтожать скот и имущество, разрушать хозяйство. Вот для чего созданы большевики. У них нет иных помыслов. Кто попадетсЯ им в руки, тот простится с жизнью», — так говорила верхушка КиргизсаЯ.

Но эти рассказы не пугали бедняков. Видно, они думали: «Что им у нас грабить? За какую вину убивать нас?». Поэтому особенно и не тревожились. Я, например, желал их прихода: может быть, придут большевики, перевернут всю жизнь, и я выйду на дорогу счастья.

Вначале о приходе большевиков ходили только смутные слухи. Потом люди заговорили увереннее: «Они уже находятся близко. Не сегодня-завтра придут. Прошли Джаркент. Большевиков, говорят, тьма-тьмущая».

Вскоре среди казахов и киргизов пошли новые слухи: «Русские казаки боятся большевиков. Во главе с атаманом готовятся к бегству в Китай».

Словом, Киргизсай потерял прежний покой и довольство. Притихли, затаились дома, где еще недавно по праздникам устраивались шумные гулянки. Девушки и юноши уже не выходили на улицу разодетыми, не собирались петь под гармонь.

Однажды я поздно возвращался домой. Погода стояла ясная. В небе мигали звезды. Мне захотелось посидеть над водой. Вытянув ноги и дыша полной грудью чистым воздухом, сел на берегу, глядя в раздумье на воду, которая, сверкая под луной, тихо журчала на камнях. Слышалось, как где-то далеко квакает лягушка. Вдруг со стороны станицы донесся тревожный звон колоколов. Значит, что-то случилось...

...Третий день, как русские казаки поспешно покидают Киргизсай. С утра до вечера по саям тарахтят телеги. Богачи, забрав остатки имущества, уже скрылись. Сегодня ожидают большевиков... В станице, кроме полунищих бедняков да немощных стариков и старух, почти никого не осталось. Киргизсай притих, только в оставшихся без хозяев домах слышались кудахтанье брошенных кур, крики гусей да уток. Второй день не звонят в церкви.

Утром я по обычаю вышел собирать телят. Думал, что никто не пригонит, но нет,— откуда-то появились хозяйки, сдали мне телят. Правда, стадо стало в несколько раз меньше. Ладно, мое дело пасти. Солнце зашло за полдень. Я перегнал телят в горы. Ыракымбай ушел домой.

Вдруг я увидел, как со стороны Чарына на равнине показалось множество людей. Ехали они стройными рядами, прямо на Киргизсай, оставляя за собой густые тучи пыли. Когда я увидел войско с оголенными саблями, с выставленными наперевес пиками, тревога, возникшая вначале, сменилась чувством радости. Мне захотелось влиться в их ряды, высказать все свои заветные думы, вместе с ними вступить в кровавый бой и обрадовать родную землю, освободив ее от извечной неволи. Меня охватило волнение, по телу пробежали мурашки, сердце забилося...

Я не могу полностью передать свои чувства, точно рассказать о том, что я тогда испытал. Помню только одно — я не боялся солдат. Мне захотелось посмотреть на них поближе. Я прошел сад Ивана и спустился в низину. В это время раздались ружейные выстрелы. Глянул вокруг — нет ни души. Только иногда кое-где взвывается дымок от выстрела. Я остался посреди дороги. Выстрелы невидимых людей стали приближаться. Тогда я побежал, опасаясь, как бы меня не задела случайная пуля — выскочил на хребет и вдруг вместе с выстрелами услышал резкие голоса. Ничего не поймешь... Я сбежал в ложбину. Из крапивы высунулось страшно перепуганное лицо.

— Эй, сумасшедший! Ложись! — махнул мне человек. Тут я узнал его. Это был казах, который направил нас с Ыйманкулом за ревенем.

Телята разбежались по посевам. Я спрятался в крапиве. Тут, задыхаясь, прибежал еще один человек.

— Ой-ой-ой, что же теперь нам делать! — запричитал он, прячась возле нас. Полежали мы, полежали, потом, крадучись, подались в гору. У меня горели лицо и руки. На вершине прилегли. До нас ясно доносились топот коней и звуки выстрелов.

Минут через пятнадцать напротив нас, на хребте, показался молодцеватый всадник, вооруженный саблей и ружьем. Он заметил нас и подскакал поближе.

— Эй, идите! Спокойно живите на своих местах,— крикнул всадник и махнул рукой в сторону города. Мы поднялись из крапивы и направились домой. Всадник ускакал.

Войска спокойно проезжали по дороге мимо наших юрт. У дверей толпились женщины, дети. Они шептались:

— О святой дух!

— Дай бог помощи бедным и сирым.

— Сохрани господь!

— Да будет счастье! — говорили они.

Будто чувствуя их пожелания, некоторые солдаты на скаку махали шапками и кричали:

— Не бойтесь, не бойтесь!

Вот двое повернули запыхавшихся коней в нашу сторону. Подъехали, и мы рассмотрели их: молодые джигиты, один русский, другой — татарин.

— Куда ушли русские казаки? — спросил татарин.

Запинаясь, Шадыкан ответил:

— Последние уехали сегодня. Все туда, в ущелье двигались. Скот их здесь...

Татарин перевел русскому. Тот натянул поводья коня и что-то сказал.

— Вы не бойтесь. Вас никто не тронет,— обратился к нам татарин. Они уехали.

Когда солнце поднялось высоко, большевики пригнали с гор русских казаков. Их как выбрали, — одни тузы Киргизсая. Согнали их на самый край города, на большую улицу. Мы уже никого не боялись, привыкли, ходили вместе с солдатами. Подошли к пленным и мы.

Они стояли молча, угрюмые, как осужденные преступники. Молодой русский джигит на вороном коне долго ругал их. Потом человек десять отпустили, а остальных погнали дальше.

К вечеру в конце Киргизсая долго не умолкали выстрелы, частые, как звуки трещотки. Такой стрельбы мы никогда не слышали.

— Стреляют из пулемета! — пояснил кто-то.

Когда пулемет утих, в сторону гор начали палить пушки. Звуки пушек я запомнил еще тогда, у реки Музарт. Снаряды летели с шипеньем и взрывались в горах, выворачивая, дробя деревья.

Вечером Джапаркула и старшего брата Ыракымбая большевики позвали забить скот. Я тоже пошел за ними. Когда я пришел, они снимали с коровы шкуру.

Заметив меня Джапаркул крикнул:

— Уходи!

Я собрался повернуть назад, но тут солдат в серой шинели, который прохаживался невдалеке, что-то сказал Джапаркулу и махнул мне рукой, указывая на тушу. Я стал помогать разделывать корову, потом дополнил налил воды в котлы и развел под ними огонь.

Закончил я все эти мелкие работы и собрался уходить.

— Эй, баранчук! — крикнул мне один солдат. Я подошел. Он подал мне большой ломоть белого хлеба и поношенную рубашку.

Не могу рассказать, как я тогда обрадовался. Раскрыл рот и все улыбался. Ведь я ни от кого не получал такого подарка. В то время я носил рубашку, через дыру в которой виднелся живот.

Взяв подарок, я пошел обратно, но тут меня позвал Джапаркул. Завернул мне требуху, кишки и еще кое-что.

— Подожди, как бы те чего не сказали,— забеспокоился брат Ыракымбая и, подняв голову, посмотрел на солдата, который мне дал рубашку. Тот улыбнулся и рукой указал на ворота.

Взвалив на себя всю эту добычу, я отправился домой.

Вслед за мной и Джапаркул пришел с большим куском мяса.

Вечером большевики собрали всех бедняков Киргизсая: казахов, киргизов и начали выступать перед ними с речами.

— «Большевик — смутьян! Большевик расстреливает, вешает, уничтожает кого попало»,— такие слухи распускали враги. Большевик не стреляет в кого попало. Он знает своих врагов и борется только с ними. Большевики — это люди из таких же бедных, как вы. Большевик заботится о счастье человека. Он не пожалеет для вас и своей крови. Мы будем бороться с угнетателями, баями, помещиками до конца и для трудящихся построим счастливую жизнь. Мы поведем вас к жизни, о которой вы мечтали веками. Не бойтесь! Боритесь решительно с теми, кто вас всю жизнь держал в рабстве, стройте свою жизнь. Не отдавайте врагам той доли, которую для вас завоевали большевики! — говорили они.

— Спасибо, сынки, слава вашей храбрости! Нет теперь у нас горя! — раздавались голоса собравшихся.

Утром глядим — по всем улицам висят красные флаги. И на том мосту, около которого мы собираем стадо, тоже висит красный флаг.

Когда солнце поднялось высоко, большевики двинулись в Аксуу.

В Киргизсае жил татарин, некий Алимджан. Дом его находился на крайней улице с западной стороны. У него я иногда пилил дрова, вместе с его сыном возил с гор топливо, молол зерно на мельнице, носил воду и убирал двор. Кое-когда после работы оставался на ночь и утром шел пасти телят. Когда Алимджан бывал дома, я заводил разговор о моих братьях, оставшихся в Аксуу, и просил смилостивиться и принять их к себе.

Первая жена у Алимджана умерла, вторую он взял из беженков-киргизок. Жила она с ним уже около года. Звали ее Буралкан, родственники ее — саяки, ближайшие родичи известного манапа Талканбая. Я ее величал «эже» и старался относиться к ней почтительно. Но где там! Язык у нее злой. Как только прихожу к ним, она, как сноха Карпыка, не дает и присесть — сделай то, пойди туда!..

Однажды я выполнил все, что она приказала, и завел разговор о моих братишках. «Ладно, скажу мужу»,— согласилась она. Вскоре, на мое счастье, у Алимджана в Аксуу нашлись дела. Узнав об этом, я пристал к нему, стал умолять, упрашивать взять меня с собой. Он согласился. Я выпросил у одного уйгура ишака, пообещав после отработать за это день.

Однако Алимджан вместе со мной не поехал.

— Ты поезжай, а я тебя догоню,— сказал он и отправил меня вперед. Солнце поднялось высоко, когда я выехал на большую дорогу к Аксуу. Еду один, свесив черные, как копченая кожа, ноги по бокам своего ишака, поглядываю назад — не едет ли Алимджан? Нет, не видно!

В Аксуу приехал близко к вечеру. Алимджана все еще нет. Утром он мне наказал:

— Если приедешь раньше меня, будь у болуша. Встретимся там.

Теперь болушем был зять Мамырмазина — Элахун.

Жил он в центре города в большом белом доме. Неприятной была для моих ушей такая новость. Захожу — по двору ходит его жена — Райхан. Раньше она красивая была — щеки, как спелое яблоко, веселая. Теперь она глянула на меня неприветливо, холодно спросила:

— Ты зачем здесь ходишь?

Я вздрогнул, но ответил спокойно:

— За братишками приехал.

Райхан покраснела, заорала:

— Кто тебе позволит их взять. Волоска на них не тронешь! Зря явился!

— Видно будет... Найдутся люди, которые рассудят нас справедливо.

— Справедливо? Да кто же даст тебе справедливость? За справедливостью явился, голодранец! Ничего не получишь! — выкрикнула она и, не дожидаясь ответа, ушла. «Муж болуш, так нос задрала», — подумал я. Может быть, она так разговаривает с горя! Большевики здесь расстреляли человек пятьдесят во главе с ее отцом Мамырмазином и его сватом Юсупом.

Наступила ночь. Райхан даже не пригласила меня к чаю. Я привязал ишака у обедков, а сам, съездившись, как под дождем, лег возле яслей. У изголовья лошадь звучно жует сено. Во дворе, кроме нас четырех (двух лошадей, сивого ишака и меня), нет ни души. Лежу в темноте и вижу через окно, как в просторной, ярко освещенной комнате люди едят, сидя за низеньким столиком...

На другой день приехал Алимджан. Он спешился, подал мне поводья, велел подождать, а сам куда-то ушел и долго не возвращался. Наконец, он вернулся, сел на коня.

— Поехали! Где они находятся? — спросил он.

— Вон там! — махнул я рукой на восток.

Когда мы приехали во двор дома Мамырмазина, нас встретила его старшая дочь. Попросили ее, чтобы она позвала мать, сами спешились и остановились у дверей. Минут через десять вышла жена Мамырмазина и присела напротив нас, у стены. Подошел также и Мукбул. Я все время украдкой поглядывал по сторонам — не покажется ли Беккул и Ашимкан.

Разговор начал Алимджан. Говорил он гладко, свободно. Но хозяйка быстро оборвала его:

— Не отдам я... Как же их отдам, если не получу долга? Я их кормила!

— Женщина вы умная... Ну, что вам даст такой бродяга, сирота?

— Пусть придет тогда, когда сможет уплатить долг.

— Ну, если так, то и за вами есть долг.

— Какой, откуда?

— Ребята долго работали у вас, вы им должны заплатить.

— За что это я должна платить? Один его брат живет у моего сына. Хочет о нем говорить, пусть идет к брату. А те, что у меня находятся... Разве это работники? Сопливая его сестрица, кроме как освобождать чашку, ни к чему не пригодна... А от этих какой толк?..

Спорили с полчаса. Я сидел, как на иголках. Хотя бы Алимджан держался настойчивее, увереннее! Но он скоро сдался, заговорил лениво, словно тяжелую работу исполнял. Видя это, женщина разошлась еще пуще:

— При жизни Бейшемби мы взяли их к себе с головой,— наседала она на Алимджана.— Ты теперь к ним не имеешь никакого отношения. Не то, что забрать, а волоска на них не сможешь тронуть! Уплати мне за то, что я их кормила, тогда отдам! Чем ты считаешься? Иди. Это все, что я сказала.

Эти слова проняли меня до костей.

— Говоришь, кормила нас? Кто же тогда пас твою скотину? Людей, что ли, нанимала? Пусть кормилась одна Ашимкан. Неужели двое не заработали ей на лепешку?

— Людям вреда мы не делаем. Чужого не берем,— сказала старуха.

В сердцах я чуть не ляпнул: «Если вы людям вреда не делали, то почему же расстреляли мужа?». Но сдержался.

Хозяйка, словно догадалась о моих мыслях, набросилась на меня:

— Не успел прийти, давай ему братишек! А вот сначала сказать свое соболезнование, что, мол, молдоке наш простился с миром — ох, воля божья!— да прочитать коран ты забыл.

— Я не умею читать коран. Я не мулла.

— Дурак ты неверный!

— Может быть, вдвоем с богом проглотите меня? Так я без того...— я оборвал богохульную речь.

— Вы с ним не спорьте. Он по молодости плетет. Лучше скажите, отдадите вы ему братишек? — вступился Алимджан.

Старуха на него даже не взглянула.

— Негодяй, у нас несчастье, так он, видишь, что говорит! Да поразит тебя хлеб! — завопила она еще громче. Чего же ты не разжился, уйдя от нас? На тебе все та же одежда, которую я тебе дала, а новой не вижу! Будешь со мной так разговаривать, сдери и это!

— Если это для тебя богатство, бери, я в твоих руках. Тебе это привычно. Думаешь, если бы нам у тебя жилось хорошо, мы бы ушли? Не помню я, когда ты нас кормила медом и гладила по головке!

Алимджан молча сел на коня и, не дожидаясь меня, встал.

— Идем! Не хочет, так что же мы поделаем? Поехали!

От этих слов я почувствовал боль, как от укола копьём.

— Поедем?..— глянул я на него растерянно.

Алимджан молча сел на коня и не дожидаясь меня, уехал. Одному мне ничего уже не добиться.

— Что же, видно, судьба такая. Но помни: если не умру, так еще встречу с тобой!
— сказал я и подался в путь.

Хныкать не стал. Слаб только тот, кто изнежен и не видал в жизни испытаний. Кто претерпел многое и каждый день воюет с тысячами трудностей, тот не может быть слабым.

«Коль уходить, так уходить не напрасно»,— подумал я, выехав за город. Где-то здесь Беккул должен пасти овец. Оглядывался я по сторонам недолго: в одной из лощин заметил стадо, подъехал. Так и есть — Беккул! Я стал уговаривать бежать вместе. Без меры и без конца хвалил Иссык-Куль, расписывал, как богато живут люди, вернувшиеся на Озеро. Хвалил так, будто сам там уже побывал и все видел своими глазами. Уговаривал его столько времени, что за это время свободно вскипел бы чай. Беккул молчал.

Наконец, потеряв терпенье, я начал его упрекать:

— Неужели тебе хочется всю жизнь быть рабом? Посмотри, на кого ты похож! Иди же туда, где сможешь хорошо жить! Говорят, что в Каракол пришли большевики и помогают таким бедным, как мы. Скажи, пойдешь со мной, или я уйду один?!

Кажется, мои слова проняли его — он кивнул. Не теряя времени, я подошел к пастушонку-казаху, чья отара паслась невдалеке.

— Погляди немного за его отарой. У нас овца затерялась, поедem поищем. За труд возьми это,— подал я свой кожаный пояс.

Парнишка согласился. Я усадил Беккула на ишака, взялся за хвост и, погоняя ишака, двинулся в путь, время от времени поглядывая назад. Хотя бы на наше счастье никто не встретился!

Не успел я так подумать, как нам попался парень. Увидев нас, он остановился. Сердце мое забилося. Здоровый, если схватит, одолеет.

— Куда вы едете? — спросил парень.

Я, стараясь говорить спокойно, как ни в чем не бывало, ответил:

— Затерялась овца, едем искать.

Парень уставился на нас, оглядел ишака, на мгновение задумался, потом протянул:

— Сомнительно... Похоже на то, что сбежали?

— Куда же нам бежать?

На наше счастье парень, видно, торопился.

— Хы! — ударил он ишака по шее и поехал.

Мы почувствовали себя так, словно спаслись от смертельной беды и вознеслись в рай. Я дернул ишака за хвост да еще ударил по боку палкой. Вскоре я вспотел, скинул чапан, положил на ишака впереди Беккула и перевел дух. Оглянулся назад — Аксуу чуть виднеется. Значит, никто за нами не, гонится.

К вечеру мы вошли в Киргизсай.

XXVI

Шадыкан давно поговаривал: «Доживем до осени, уедем на Озеро». Я радовался и ждал этой осени. Наконец, вот она пришла. Но... Шадыкан раздумал. Погасли наши мечты, словно на огонь опрокинули котел воды!

Слышал, что там сейчас плохо,— оправдывался Шадыкан. Киргизы, которые приходят на Озеро, будто мрут от голода. Будем живы-здоровы, настанут лучшие дни, тогда и поедем.

Не знаю, почему, по мне не верилось, что в наших родных местах так страшно.

Потеряв надежду на Шадыкана, я обдумал все в один день, когда в степи пас телят. Вечером дома я заявил:

— Мы уходим на Иссык-Куль.

Шадыкан, вероятно, не ждал от меня такого. Он исподлобья взглянул, поставил чашку.

— Что ты сказал? спросил он, будто не расслышав моих слов.

— Уходим на Озеро, говорю — повторил я, перекладывая кизяк у очага.

— С кем уходите?

— Сами, одни...

— Одни! Да, нас же в дороге кто-нибудь прибьет!

— Ну, что ж, прибьет, так прибьет, хуже не будет.

— Ты не ребячься! Сейчас время не для шуток. Вы еще ребяташки, дорог не знаете. Выйдите отсюда, кто-нибудь вас прикончит, кто отыщет ваш труп? Подумай...

Шадыкан уговаривал меня долго, однако его слова падали мимо моих ушей. Я упрямо стоял на своем. Но для меня самого вся затея представлялась смутным делом: уйти-то уйдем, а что будет с нами, отыщем ли дорогу, сколько, нам придется идти, встретится ли в пути население, чем будем питаться? И спросить было не у кого...

К счастью не прошло и десяти дней, как нам попался один русский, который приехал из Каракола. О нем мне сказал паренек казах Сапарбек. Мы с ним были знакомы раньше и он знал, что я собираюсь уходить.

— Один русский в Каракол гонит овец. Отправляйся вместе с ним,— посоветовал он мне однажды, встретившись.

— Правду говоришь? — обрадовался я.

— Правду! Он купил здесь сотни три овец. Я тоже нанимаюсь к нему погонщиком. Еще одного джигита взял. Завтра отправляемся в дорогу. Хочешь уходить, поговори с ним.

Медлить я не стал и упробил Сапаркула проводить меня к купцу из Каракола. Мы вошли в ворота голубого дома. Во Дворе мужчина, сняв с плуга колеса, мастерил тележку.

— Он самый! — шепнул Сапаркул.

Торговец показался мне похожим на Дмитрия, который возил почту в Кутурган-Булаке. Глаза цвета голубого камня, нос вздернутый, сам приземистый, тучный. На голове черная фуражка с задраным козырьком, на ногах поношенные лакированные сапоги. Видно, что пройдоха и плут, чующий издали, где пахнет жиром.

Но делать нечего — и он для меня спасение, выбирать не из чего. Я почтительно согнулся перед ним.

— Хозяин, можно будет нам вдвоем с братишкой помочь гнать ваших овец до Каракола и прийти с вами вместе? Еда у нас своя.

Купец до сих пор прилежно ладивший тележку, искоса глянул на меня.

— Ладно,— буркнул он и снова занялся своим делом.

Все дорого в свое время! От одного этого слова — «ладно» у меня чуть не выпрыгнуло сердце. Значит, мы спасены! Я тут же задал другой вопрос:

— Сколько дней пути до Каракола?

Хозяин ответил не сразу. Он опять поднял голову, внимательно оглядел меня.

— Через неделю дойдем!

Я, поспешно отправился домой, рассказал о своей удаче. Семья Шадыкана была уверена, что мы оставили мысль об уходе. Теперь они, кажется, поверили и чувствовали себя удрученными.

Шадыкан снова начал отговаривать. Ругал жизнь на Озере, рассказывал об опасностях пути, пугал болезнью в безлюдной степи. Словом, девяносто девять причин, только чтобы не уходили. В конце концов он ухватился за другое.

— Иди сам, а Беккула оставь. Сгубишь его ни за что.

— Уходить, так вместе. Один я не пойду!

Наконец, наступило утро. Я побежал к торговцу. О том, что может случиться с нами в пути, я не думал. Мне казалось, вся моя дальнейшая жизнь зависела от этой минуты.

Во дворе стояли сотни три овец и тележка на колесах от плуга. Два казаха носили буханки хлеба и укладывали в мешки.

— Скоро отправимся,— сказал Сапарбек, проходя мимо меня с хлебом.

Времени было в обрез, я хотел побежать за Беккулом.

Но хозяин послал носить хлеб.

— Ладно, сходишь после! — ответил он на мою просьбу сбежать за братом. «А до Беккула тебе и дела нет!» — подумал я, таская буханки.— «Как бы не опоздать! Возьмут да и уедут! Не будет же он ждать, когда я приведу брата?». Как только уложили на тележку весь хлеб, я, не мешкая, помчался за Беккулом. Он на окраине города пас телят. Утром, уходя из дома, я велел ему далеко не уходить. Вот он! Сидит, улыбаясь, телят распустил по стерне. Ещё издали я закричал:

— Скорей, уходим!

Юрта наша находилась недалеко. Кроме Джапаркула, все были дома.

Ещё не войдя в юрту, я выпалил, задыхаясь от бега:

— Они уезжают. Мы пойдём!

Вот теперь то они, кажется, окончательно поверили, что мы уходим. Шадыкан опять принялся за свое:

— Все таки не послушались! Случится в дороге какое-нибудь несчастье, попомните мое слово. В кармане у вас нет ни копейки. Ну, ладно, если идете, возьмите хоть чашку жареной пшеницы. Как-нибудь перебьетесь. Польше дать нечего, сами знаете...

Джийдекан поднялась, взяла маленький засохший бурдюк, остановила Шадыкана.

— Если им не терпится, зачем ты их уговариваешь? Пусть идут, пенять будут на себя.

Она налила в бурдючок из ведра джармы и подала мне.

Шадыкан приказал:

— Намешай им талкана. Пусть наедятся на дорогу как следует. В дороге кто им поможет?

Поев джармы, мы собрались уходить.

— И на ноги ничего не надели! Ну, идите, бедные, идите! Доброго пути вам! — пожелал Шадыкан, оглядев нас с ног до головы.

— Ничего! Как-нибудь дойдем. Прощайте! — ответил я и навсегда покинул их.

Торговец уже отправился. Над двором и воротами поднялась пыль. Мы присоединились к погонщикам и вчетвером погнали овец. Хозяин на маленькой тележке поехал впереди.

За городом началась ровная степь. Запад тонул в зареве, как от пожара. Вдали, прямо над нами, на вершинах гор столпились белые облака. Легкий ветерок ласкал тело. Я чувствовал себя как узник, только что вырвавшийся из неволи. Я запел во все горло, будто впереди меня ожидали только радости...

Шли всю ночь и к утру добрались до места, называвшегося Чочоной. Хозяин приехал сюда раньше и стоял, ожидая нас. Мы быстро согнали овец в кучу. Они улеглись. Хозяин с работниками пошел к телеге. Вскоре погонщики вернулись, у каждого в руке был кусок хлеба.

Сели кучкой. Как всегда бывает перед рассветом, тьма сгустилась. Вокруг тихо. Слышно только сонное дыхание овец, да кажется, что вблизи от нас журчит вода.

Чуя раздражающий запах свежего хлеба, я развязал бурдюк, подал Беккулу горсть пшеницы, сам тоже сунул щепоть в рот и начал жевать.

Джигит, сидевший рядом с Сапаркулом, виновато объяснил:

— Сами видите, ребятки, если поделиться с вами, останемся голодными. Вот сколько хозяин дал нам,— протянул он ко мне руку. В темноте я даже не различил куска.— Твой киргиз разве ничего не дал?

— Где ему взять? Сами сидят голодные. Поджарили вот чашку пшеницы.

Он молча зажевал хлеб. Минут через пять спросил:

— А если на вашей земле еще убивают киргизов, тогда что будете делать?

— За что же нас будут убивать?

— Все-таки зря пошли, ничего не узнав.

— Ладно, увидим на месте!

Тут мы услышали голос хозяина. Он на кого-то громко кричал, бранился, звал нас. Оказывается, лошадь у него отвязалась. Гонялись долго, еле поймали.

Все четверо опять собрались в кучку, задремали.

Я погрузился в размышления. «Что ждет меня через несколько дней? Нет, хуже прошедшего не будет. Не так давно и семье нас было четырнадцать человек, не помещались в огромной юрте. Где они теперь? Когда мы истощенные, изнуренные стояли на краю могилы, проданная за одну корову, в руки какого-то кызая, перешла моя старшая сестра. Где-то осталась одинокая маленькая могила Бекдайыра. Умерли Элебес, Бейшемби, Токмолдо, Бурмаке. С ребенком на руках ушла к родственникам Джанымджан. Неизвестно куда исчез Бечел. Пленниками у чужих, бессердечных людей остались Ашимкан и Эшбай. Из такой большой семьи в родные места сегодня возвращаемся лишь я да Беккул. Бедные киргизы, чего вы только не видели! Трупы ваши остались не зарытыми, на пир зверям и птицам! О жестокий мир! Не будь тирана царя, разве мы переживали бы такое?..» Я сидел долго, понутив голову. Товарищи мои уснули. Незаметно сон и усталость одолели меня.

— Вставайте, отправляемся,— послышался голос хозяина. Открыл глаза — рассвет еле брезжит, холодно! Хозяин уже запряг коня, Я торопливо потряс Беккула. Он свернулся возле меня в клубок, как попавший в снежный буран, засунул руки в рукава до самых локтей. Видно, дрожал всю ночь...

XXVII

Сегодня третий день, как мы вышли из Киргизсая. Сумбе, Тегирменти, Ачдалаа — давно остались позади. Опускаемся с перевала. Оттого ли, что шли всю ночь, или от голода, тянет ко сну, хочется лечь. Пшеница у нас кончилась. Голодный Беккул еле идет, все время отстает от стада.

Сапарбек иногда, нарушая степную тишину, заводит песню. Он старше меня года на два. Полный смуглый юноша. Бедняга, который повидал многое, закалился в невзгодах, — голяк, несгибаемый храбрец. Какие только места ни исходил он! Некогда заехав в Каракол, жил и среди киргизов. Заговорит по-киргизски, не подумаешь, что казах. На песню тоже мастер. На дороге, по которой мы шли, он знал каждую ямку.

Что ни говори, а нам с Беккулом трудно было: и голодно, и сил не хватало, и тревожили мысли о будущем. Но как только Сапарбек замечал, что мы устали, он заводит песню, рассказывал сказки. Голос у него был чудесный. Только одну неделю довелось нам провести вместе, но его образ и сегодня стоит перед моими глазами.

Второй джигит не такой. Из нас четырех он самый старший. Ростом высокий, глаза слезятся, щедушный, рыжий. Изредка спросишь его о чем-нибудь — ответит и снова молчит. Если бы не Сапарбек, не знаю — дошли бы мы или нет до родной земли!

...В этот вечер я чуть не потерял братишку. Начало рассветать. Беккул сонный, измученный, по обыкновению плелся позади отары. Я долго шел, задумавшись, потом оглянулся — не отстал ли братишка, не свалился ли. И вдруг вижу — прямо на него из сая поднимается матерый тощий волк. Не знаю, следил он за ним или это вышло случайно, но волк оказался в нескольких шагах от Беккула. Я закричал во весь голос. Беккул оглянулся и — откуда силы взялись! — помчался к нам. Я тоже бежал ему навстречу, размахивая руками. Погонщики засвистели, заулюлюкали. Волк остановился, поглядел на нас, не торопясь, трусцой, перебежал дорогу...

В полдень мы остановились в саяе, немного отдохнули и снова в путь до заката. Переходили из сая в сай, с перевала на перевал, через речки и ручьи...

Близко к вечеру выбрались еще на один перевал. Сапарбек, как обычно распевавший, остановился и указал вниз:

— Во-он, видишь — блестит? Это река Кегень.

На душе сразу повеселело, словно мы вырвались из многолетней неволи и увидели свет. Вокруг — раскинулась бескрайняя степь, хоть скачи месяц. Разрезая ее, медленно несет свои воды большая река. Это уже знакомые места. Когда мы спустились на равнину, Сапарбек снова показал мне вдаль:

— Видишь дом? Сегодня, наверное, там заночуем. Русский, поди, уже подъезжает к реке.

Вдали показался мост. У ближнего конца стоит одинокий домик. Все ускорили шаги. Даже овцы, кажется, чувствуя близкий отдых, заторопились. Сапарбек запел:

О-о-ой,

Пусть в шубе овчинной

Джигит потеет, пусть не умрет.

Для чего так создал бог,

Что один другого гнетёт?

Есть белая в ложбине полынь,

Есть белая в стаде овца,

Я счастья не жду впереди,

Горю бедняги нет конца.

Так под песню Сапарбека и добрались до домика. Возле него оказались еще две юрты. Хозяин наш давно приехал и расположился на отдых. Он вышел, указал нам на ворота загона.

Мы помогли загнать овец. Хозяин позвал своих работников в дом — наверное, выдать хлеба, а мы с Беккулом остались на улице. Кушать нечего. От пшеницы, что нам дали в Киргизсае, не осталось ни зернышка. Вчера, мы попросили у хозяина хлеба — не дал.

Делать нечего — надо где-то искать ночлег. Направились к юрте, стоявшей невдалеке. Вошли. У кухонного скарба сидит женщина со слезящимися глазами, видно —

хозяйка. Напротив входа — двое мужчин. По обстановке, по одежде видно, что хозяин — бедняк. Начали расспрашивать нас. Я назвался казахом. По-казахски и по-уйгурски я говорил хорошо; никто не мог сказать, что я киргиз.

— Из какого вы рода, милые? — спросила женщина, с жалостью поглядывая то на Беккула, то на меня.

— Из рода Конурбарк,— ответил я без запинки, вспомнив род Джанымджан. Сказать-то сказал, а потом испугался: как бы не стали выспрашивать подробности. Но, на мое счастье, все обошлось благополучно. Спросили только, когда мы остались сиротами, в чьих руках находились, в каких местах скитались, откуда идем. Ну, тут меня трудно было сбить с седла: рассказывать я был мастер, а тем более то, что сам пережил.

Слушатели притихли, глаза их заблестели от слез. При последних словах моего рассказа хозяйка, сидевшая у очага, приподняла голову и вскрикнула:

— Эх! Да пропади она, такая жизнь!

Вздохнул и один из мужчин.

— Накорми их, бедных, когда-нибудь добром заплатят, — сказал он женщине. Она с готовностью налила нам по полной чашке джармы. Вот мы в юрте бедняка и оказались сытыми.

Хозяйка начала стелить постель, но потом, как бы что-то вспомнив, обратилась ко мне:

— Милые, здесь, видно, вам не достанется места. Зайдите в ту юрту, у них там никого нет.

Мы это и сами видели. Юрта тесная, людей много. Ничего не поделаешь, поблагодарили хозяев за еду и направились в другую юрту.

Только вышли на улицу, встретили Сапарбека. Ночевать ему тоже негде, а из одежды — одна коротенькая куртка. Он присоединился к нам.

В соседней юрте уже задернули тюндук и легли спать. Мы вошли и стали у порога.

— Кто такие? — спросил нас женский голос из темноты.

Мы рассказали о своем положении: негде переночевать, а на дворе холодно и у нас нет верхней одежды. Женщина начала ворчать, что не знает нас, боится пустить...

— Тетя, вы нас не бойтесь. Мы у вас ничего не возьмем. Только переночуем! — стал я умолять ее.

Женщина умолкла. Мы решили, что она согласилась, и начали искать вокруг очага место, чтобы прилечь. Мне попалась кожаная галоша со стоптанным задником. Сунул ее под голову и тотчас же заснул.

— Эй, вставайте! — начал кто-то нас тормошить.

Это — товарищ Сапарбека. Хозяин прислал его за нами. Вышли. Чуть брезжит рассвет, однако видно, что вся земля покрыта инеем. Дрожим, стучим зубами от холода.

Беккул хнычет, просит есть. А что я могу сделать и чем могу помочь?..

Идем по широкой равнине между Кегеном и Каркара. Изредка встречаются путники. Большинство — дунгане и китайцы.

Вот кто-то спешит, неуклюже навьючив куржун. Возможно, он с такой же жаждой стремится в Урумчи или в Кульджу, как мы к Озеру.

Близко к полудню показалась Каркара — та самая знаменитая ярмарка, где некогда пировали казахские, киргизские баи, русские, узбекские и ногайские торговцы!

Но сейчас не видно ее высоко реющих флагов, не слышно ее шума и гомона. Осталось пустое место, кругом тихо. Но мне не жалко былой Каркары. Разгромили бы ее сто раз, не заплакал бы! Здесь баи, торговцы загребали богатства, пахнувшие кровью и трудовым потом, обжирались, а такая голь, как мы, приарканив единственную козу, перебивалась одним разбавленным досиня молоком. Так стоит ли жалеть те времена? Пусть они будут побиты и сто раз! Я жалел простых людей, которые погибли на дорогах к чужой земле. Их мне было действительно жалко!

Подошли к реке Каркара. Овцы заупрямились. Сапарбек схватил козла-вожака, толкнул.

— Вперед!

Козел повернул назад. Тогда мы с Сапарбеком схватили и бросили его в воду. Козел поплыл. Тут и овцы ринулись друг за другом. Хозяин переехал речку на своей повозке. Мы, засучив штаны, перебрались вброд. Ледяная осенняя вода, как огнем, обожгла ноги и только на ходу мы немного согрелись.

К ночи достигли Кутурган-Булака и остановились в степи. Из ближайших стогов натаскали сена и до самого утра, не сомкнув глаза, жгли костры. Но разве в нашей одежонке согреешься даже у костра? Дрожим, жмемся друг к другу. Мерзнут спина, голые ноги, шея...

...Пережили и эту ночь. На следующий день шли не спеша и к полудню достигли реки Тюп. Вот и Кызыл-Кия! А вот развилка дорог: одна идет в Каракол, другая — вдоль Тюпа в Сарытолгой, Кен-Суу, Чонташ.

Хозяин свернул к Караколу.

Беккул, я и Сапарбек остановились.

— Прощай! — сказал я.

Видно, жаль было ему расставаться с нами. Он опустил голову, подал руку:

— Идите! Желаю вам счастья...

Мы пошли своей дорогой. Вот они, родные места! Все знакомо и в то же время ново. Сгоревшие в год побега дома Башарина отстроены. Но юрты не видно ни одной! Глядим и глазам не верим, будто прошедшие годы — только сон.

Прошли еще немного. Недалеко от дома Василия наконец-то показалась юрта. Решили зайти. Голодные, нет сил двигаться дальше.

Около юрты никого нет. Входим. Сидят две женщины. Одна лет около сорока, с длинным лицом, покрытым густыми морщинами, смуглая. Вторая — помоложе, пучеглазая. Ходит еще девчонка лет одиннадцати—двенадцати. Когда мы вошли, они словно онемели. Старшая, как сидела с поднятой иглой, собираясь что-то латать, так и

застыла. Мы сели. Наконец, женщины заговорили, словно пришли в себя после обморока, стали расспрашивать нас.

Не успел я закончить свой рассказ, как женщины принялись всхлипывать. Старая утерла слезы рукавом, сказала:

— Был бы он у меня живой, тоже однажды пришел бы вот так же, как они!

Видно, что у нее кто-то умер на китайской земле! Продолжая всхлипывать, она спросила:

— Милые, а как же вы нашли дорожку?

Девочка сидела, тоже пригорюнившись, словно разделяя с нами печаль.

Пока мы толковали о пережитом, прошло порядочно времени, и женщины, наконец, вспомнили о наших желудках. Нам подали по чашке айрану. Мы ожили. Я начал расспрашивать о здешней жизни. Они рассказали немало страшного. Оказывается, вернувшиеся из Китая год тому назад изнуренные беженцы попали здесь в еще худшую нужду и погибли от голода. Умершим нет числа. Однако женщины нас успокоили:

— Теперь вы идите смело. Сейчас люди живут гораздо лучше. Половина нашего рода находится в Сарытолгое, а остальные — в Чонташе, Джылу-Булаке. Сегодня дойдете до своих.

Мы встали, поблагодарили. Двинулись по тропке вдоль Тюпа. С одной стороны высятся горы, покрытые елями, с другой — густой кустарник. Не это ли место, где киргизы проходили лавиной, спасаясь от карателей? А сейчас даже вороны не слышно, не видно...

К вечеру прошли Орто-Токой. Беккул заглядывает мне в лицо:

— Застигнет нас ночь?

Видно, страшно ему снова провести ночь без пищи, на ветру и холоде.

— Сегодня дойдем! — уверяю я его, стараясь не показать, что и я шагаю из последних сил.

Солнце уже закатывалось, когда мы вышли на хребет Сарытолгой. Спустились в долину, и вот он! — с левой стороны показался дымок. Прибавили шаг. Скорей, скорей! Я схватил Беккула за руку, помогая ему идти. Но что это? Вместо юрты показалось чье-то гумно. Мы остановились. Может быть, тут русские?

— Милые, да вы смотрите, кто идет! — раздался чей-то голос. Я оглянулся. Невдалеке, опираясь на лопату, стоял наш родственник Сарыбагыш, тоже из рода Эркесары.

Тут я в стороне заметил юрты. Сарыбагыш повел нас туда. Собрались женщины, заплакали навзрыд. Они, оказывается, давно нас считали умершими.

В юрту вошел русский с большой бородой, видно — хозяин гумна. Он уставился на плачущих женщин. Сарыбагыш объяснил:

— Наши родственники. Они пришли из Китая пешком.

Русский сожалеюще покачал головой и вышел.

На другой день, накормленные и обогретые, мы направились в Чонташ к родственникам.

Так закончился наш долгий и скорбный путь.

Аалы Токомбаев

(1904 – 1988)

Аалы Токомбаева не без основания называют патриархом киргизской советской поэзии. Он дебютировал в первом номере газеты «Эркин-Тоо» со стихотворением «Приход Октября» (1924). Поэтические произведения, вошедшие в сборники «О Ленине» (1927), «Зеркало женщины» (1928), «Цветы труда» (1932), «Атака» (1932) и поэма «Пленник Марат» (1929) – первые шаги к стиливой зрелости поэта, его творческому росту.

Особый интерес представляет первый роман в стихах «Кровавые годы» (1935), о трагических событиях 1916 года, отличающийся автобиографизмом, документализмом, фактографичностью. Роман подвергся критике, идеологической проработке, и поэт был вынужден его переработать. Так в 1962 году появился роман в стихах «Перед зарей», который и был переведен на русский язык и издан в 1966 году. В 1967 году роман отмечен Государственной премией Киргизской ССР им. Токтогула Сатылганова.

Сам Аалы Токомбаев во время событий 1916 года вместе с беженцами попал в Китай, по пути домой потерял родителей и скитался беспризорным, пока его в 1922 году не приняли в советскую партийную школу (школу-интернат) в Ташкенте.

ПЕРЕД ЗАРЕЙ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОТ АВТОРА

Я знаю — не хватило бы мне силы

Все описать, о прошлом говоря.

Какие беды вынесли аилы
В шестнадцатом году, до Октября.

Я память в сердце слышу, словно рану.
Они во мне живут, бывшие дни.
Из сердца своего я их достану
И дам слова —
Пусть говорят они!

В сердцах у вас пускай запечатлятся
Слова мои навечно, навсегда.
Пусть перед вами снова повторятся
Те памятные, горькие года.

Сумею рассказать о тяжкой доле
— Людская боль давно во мне болит.
И тем сильнее народ полюбит волю,
Чем яростней жестокость заклеямит.

И можно ли с обидою слепую
На наши дни исподтишка взирать!
Ведь все досталось не само собою,
А с бою приходилось добывать.

И я, надежды вдохновенной полный.
Мечтал давно за этот труд засесть.
Ведь в малой капле — тоже свои волны.
Ведь в слабой капле тоже сила есть!

О, если бы сумели возвратиться
В наш век, подобно перелетным птицам,
И Пушкин, и Шекспир, — тогда навек
Смогла бы эта капля превратиться

В одну из самых многоводных рек!

«Чем завтрашний курдюк,— есть поговорка,—

Так лучше уж сегодня потроха».

И я не жду других певцов без толку.

Сегодня вам нужна моя строка.

У всех узнавших горе и утраты

Народов

Есть мудрейшие умы.

Хочу воспеть я мудреца Мурата,

Что свет зари увидел среди тьмы.

Перебирая в песнях своих даты,

Хотел не упустить я ничего.

И измерял я мудростью Мурата

Достоинство народа моего.

Я клятву дал исполнить труд свой тяжкий,

И все слова взял у народа я.

Блестит и яхонт, и блестят стекляшки,

Лишь сам народ мудрейший есть судья.

Пусть труд мой в сердце памятником станет—

О доблестных и смелых я писал.

Как ни горька, как ни тяжка ты, память,

Пусть смелые взойдут на пьедестал!

ПРОЛОГ

Темны, суровы над Тянь-Шанем тучи,

И прогибаются под ними кручи,

И стрелы молний острых на лету

Пронзают их глухую темноту.

Вытаптывает град тяжелый колос.
Град бьет вслепую, глухо, наугад,
И над землею небо расколосилось,
И ливни, как жнивье, вокруг стоят.
И вот уже забились птицы в страхе,
И раненые крылья прячут птахи
И с громким криком падают в траву.
Как падают казнимые на плахи...

И кони налетали друг на друга
И на дыбы вставали от испуга,
И падали от молний скакуны,
И застывали, словно валуны.

Град прокатился по земле широкой,
Неудержимо хлынули потоки,
И зазвенели новые ручьи,
И лужи появились на дороге.

И, закативши кверху юрты полог,
Чтоб видеть ливень среди полей широких,
Глядят на ливень джатакчи .
И плечи Ребята моют в светлых струйках скорых.

А старики глядят: «Под дождь их тянет,
Ведь от дождя простуда не пристанет».
И одобряют взглядами отцы
Отважных, самых шустрых: «Молодцы!»

А ливни льются и о землю бьются,
И ребятишки радостно смеются,

Восторженные дети джатакчи,
И дождику кричат: «Скачи, скачи!»

Мурату в юрту густо ливень хлещет,
Проклевывает войлок, словно кречет,
Сквозь дыры льется, будто из ведра,
И вместе с ним врываются ветра.

У каждого порога в струйках талых,
Озябнув, засиделись аксакалы.
Но веселеют аксакалов лица:
«Джигит из юрты вышел посушиться!»

И тут же возле юрт, где дым и сырость,
Антонова саманка приютилась,
И сам Антон стоит задумчив, тих.
Глядит на ливень из дверей своих.

В соседней юрте, где темно, как в чаше.
Сапожник пьет из деревянной чаши.
Он дует в кожаный кувшин со зла:
Так надо, чтобы боль в спине прошла.

«Это аллах велел платить поборы,
Чтоб были они к сроку и поболе.
Что тут поделать, если суждено
Переносить мучения и горе!

Ведь со слезами сердце утекает.
Не плачь, — жену он тихо утешает,—
Ведь горе — караван: придет — уйдет!
И снова все на сердце заживет.

А ты, жена, побереги ребенка,
Я видел сон, что он смеялся звонко.

Что делать!

Со своим я свыкся горем:

Чуть кашляну — и кровь польется горлом...»

Антон глядит — дождь продолжает литься,
В окошко бьется раненою птицей,
И мать ребенку голову под дождь
Подставила, светла и яснолица!

Ах, маленький, брыкаешься чего ты!
Сейчас бы взрослым все твои заботы,
Не заходишь, малыш, слезах горючих,
Не будь, малыш, ты ежиком колючим!

Тысячелетья табунами мчались,
Не проходили беды, не кончались,
И стлался дым по чревам, по лесам
И густо подымался к небесам.

«И неужели так все время будет!»—
Стоит Антон в раздумье, брови хмурит
И думает угрюмо, тяжело:
«Живет, не умирает это зло!

А царь-то наш, «поилец и кормилец»,—
Вот и надейся на цареву милость,
Надейся, верноподданный, служи,
За самодержца голову сложи.

Кто враг — не знают даже россияне.

Действительный, извечный. «Вера с нами!
Германец - враг единственный у нас!»—
Твердили нам настойчиво не раз.

Идет война, и плач по всей округе.
Идет война, забушевали вьюги Свинцовые.
Лежит в сырых окопах
Одетая в защитный цвет Европа.

Там сеют смерть уже два года пушки.
Исходят громом ружья у солдат,
Осколки роют пашни и опушки,
И пулеметы хлещут наугад.

Попы кропят водою убиенных,
Царю и богу, и присяге верных.
Солдат за это умереть готов.
И смерть в глаза глядит с чужих штыков.

Споткнулся — и исходит в смертном крике,
И всадники захлебываются в гике,
И пули, словно град стальной, летят,
И конница готовит к бою пики.

Солдаты речь заводят о любимых,
О тех, что чутко в снах витают дымных
Среди чужих, заснеженных полей.
Солдаты вспоминают матерей.
И говорят о детях своих малых.
Которых видят в снах своих усталых.
Солдаты спор заводят неспроста:
За что они в полях воюют талых!

На улицах берлинских, петроградских
Дома оглохли от шагов солдатских.
Висит над ними фронтовое небо,
И нищие кричат: «Подайте хлеба!»

Но есть границы горю и печали...
Постойте! — и Антон повел плечами,—
Ведь должен же конец всему прийти,
Чтоб власть несправедливую смести...»

А ливень отшумел и откачался,
Умаялась на пастбищах гроза...
В окошко кто-то тихо постучался.
Сверкнули, словно лезвия, глаза,

И наш Антон отпрянул удивленно,
Когда они сверкнули на Антона.
Раскаты грома замерли вдали:
«Уж не жандармы, случаем, пришли!»

Жена, что у печи нахлопоталась,
Взглянула на окно и испугалась:
«Стряслась беда какая-то, поди!»
Антон стучит в окошко: «Заходи!»

Гость входит, улыбается, как другу,
Антону он протягивает руку:
«Я — Алымкул, из ссылки я бежал,
Тот самый пыльщик, сирота...»

«Узнал!

Неужто ты живым вернулся, сокол!»
Надолго ли вернулся, издалека!»

Нежданному визиту рад Антон,
Как брата, Алымкула обнял он.

ДВОЕ

Возле елки звенит все сильней.

Все слышней,

Будто бы колокольчик.

Веселый ручей.

У подножия елки, под кровом зеленым
Присел Алымкул с другом давним Антоном.

То смеются они, то опять замолчат,
Чтобы возле ручья посидеть, помечтать.
Как костер, разговор все сильнее горит,
С давним другом своим Алымкул говорит.

Много сказано слов о былом, обо всем.
Он проводит рукой по волне, как веслом,
И ручей, замирая, на месте стоит...
Алымкул к сердцу друга тропинку торит.

И Антон улыбается

И кладет на плечо ему руку:

«Видно, эти скитанья по свету

На пользу тебе и в науку.

Ты скитался по свету.

Где таежные стынют леса,

Где не птицы поют—

А метелей слышны голоса.

Только ты не грози
Напрасною местию Толеку,
Ты запомни, что ярость слепа
И подобна буранному снегу.

Он ведь только комар,
Хоть и кажется сильным и грозным...
Надо не комаров убивать —
Разрушать комариные гнезда...

И теперь, когда грозный
Шестнадцатый год наступил,
Весь народ вострепнулся
И сипу в себе ощутил.

Словно вдруг окатили
Родниковой холодной водою.
Словно вдруг пригрозили
Неминучей и страшной бедою.

Жить нельзя без земли.
Без свободы —
Народ понимает.
И теперь на царя и на баев
Справедливый свой гнев подымает.

Все, кому в темноте
Вдруг забрезжили новые дали.
За свободу свою
Знамя битвы великой подняли!

Расскажи обо всем.
Пусть услышит тебя весь народ,

И по правде твоей
Пусть он правду свою обретет.

«Каторжанин» — ты именем
Этим высоким гордись.
«Каторжанин» — и, значит,
За правду народа борись».

...У подножия ели,
У спустившихся наземь ветвей,—
Будто бы колокольчик,
Веселый ручей.

Держат песенки в клювах
В дремучих лесах здесь и там,
Держат певчие птицы,
Чтобы их разнести по лесам.

И журчат ручейки,
И журчат ручейки, как всегда,
Ручейки те для жаждущих,
Словно бессмертья вода!

И смородины смотрят
На горы, поля и леса—
Вот такие всегда
У влюбленных красавиц глаза!

Только гордые ели
У горных могучих стремнин
Пробивают насквозь облака
Остриями высоких вершин.

Сколько здесь над травой
Весенних стрекоз!..
Все сильнее
Гонят эти стрекозы
Напившихся кровью слепней.

«Нам бы тоже двуногих слепней
Гнать стремительней вон!»—
Так опять Алымкулу
Говорит, улыбаясь, Антон.

Красных бусинок жимолости
Над ними пылает костер.
Словно скалы будя,
Беркут с клетком крылья простер.

Беркут вольно летит,
Лишь под крыльями ветер свистит.
«Нам бы тоже вот так!»—
Алымкулу Антон говорит.

И о чем говорили они,
Размечтавшись еще горячей,
Никому не расскажут об этом
Ни горы, ни ель, ни ручей!..

Алымкул тихо тронул рукою
Речную, седую струю:
«Ты послушай, Антон,
Что про жизнь расскажу я свою».

ВОСПОМИНАНИЯ

И Алымкул воспоминанья будит —
Прошедшее пред ним встает в упор —
И смотрит на Антона, улыбаясь,
И начинает тихо разговор,
Как сильно он соскучился о друге.
Которого не видел с давних пор:

«Все кажется на месте: реки, горы.
Земля все та же, то же — на земле,
И, словно прежде, водопад сверкает
С высокой кручи, солнцем — на скале.
И только глянешь на него, как сразу
В глазах рябит.

И видишь в синей мгле:

Полянку, где давно пилили бревна,
Заросшую дремучею травой.
Солончака плешины вековые.
На них копыт след ржавый, ножевой,
И побелевшие, как будто кости.
Те колышки, что вбиты были мной.

И по кустам полным-полно малины.
Смородины веселый, алый цвет.
Дотронешься нечаянно рукою —
И брызнет на тебя прохладный свет.
Здесь все, как прежде. Только в твои кудри
Насыпала судьба холодный снег.

За эти годы, прожитые в ссылке.
Наверно, как и ты, я стал седой.
Усы твои, я вижу, побелели,
И на бровях пурги налет густой —

Следы переживаний и сомнений.
Мы связаны единою судьбой».

Антон смеется весело и громко.
Зрачки его сверкают, как роса:
«Ты что еще во мне, мой друг, заметил!
Не зря хитринкой вспыхнули глаза!» —
«Я не хочу, чтоб наступила старость,
и в вашем сердце навсегда осталась».

А сам подумал: «Крепок друг мой телом.
Он вынёе все невзгоды, как скала,—
Не зря о нем молва давно пошла,
Что он — батыр, что он душой открытый.
А речь народа — истина сама:
Что скажет он — прилипнет, как смола!»

«Вот ель стоит в иголочках зеленых
И от земли почти не поднялась.
Не выросла почти за эти годы.
Три года для нее прошли, как час.
И лес стоит, все тот же шумный, крепкий,
И держит на весу все так же ветки.

Как хороша земля моя родная!
Она всегда нам, как отец и мать.
И, ни на миг ее не забывая.
Не смел в далекой ссылке я мечтать.
Что всю ее от края и до края
Увижу я когда-нибудь опять.

Прошло три года, словно три столетья,
Три года в дальних сгнули краях.

Но сохранилась старая землянка.
Где был когда-то общий наш очаг.
Где жило нас три пильщика веселых
С неукротимой силою в руках.

В землянке этой тесной, неказистой
Жил вместе с нами и Иван-ворчун.
Она была нам и мечеть, и церковь.
О, сколько дней минуло, сколько лун,
С тех пор, когда работали мы вместе.
Еще не зная этих горьких дум!

Иван шутил над нами, чтоб молились
На то, что он нарисовал в углу,—
Мол, чтите божью мать.

Головешку

Брал в руки

И, смеясь, грозился он:
«Давай-ка, брат, тебя изображу я,

Хотя и запрещает ваш закон!»
Он сразу за работу принимался.
Веселым добродушием согрет,
И на большом куске коры сосновой
Он рисовал старательно портрет—
Где тень подбавит, где подбавит свет:
«Иконою у нас он будет новой».

Своим изображением напуган,
Я замирал от страха перед другом,
И прятал я сосновую кору.
Уверенный, что это не к добру...
А он «Аминь!» «иконе» говорил.

То ли серьезно, то ли вновь шутил.

И наш мулла, бывая на делянке.
Просиживал до вечера в землянке.
Икону ставил он лицом к стене.
И громко на коленях в тишине
Творил намаз вечерний свой с охотой,
И уезжал, хваля нас за работу.

Землянка нам была мечеть и церковь:
Кому — Иисус Христос, кому — аллах.
Мы вместе жили, веселились вместе.
Два бога разных — в двух висят углах.
Но если дело господа касалось,—
Что мы совсем чужие, нам казалось.

Хотя мы были дружные ребята,
Стоявшие один за одного.
Не знали мы, кто прав, кто виноватый.
Чей бог был прав — никто не знал того.
В том нет греха... Шел спор наш не со зла.
Ведь вера у нас разная была».

Антон смеется весело, сердечно:
«Ты это хорошо сказал сейчас.
В том нет греха и нет беды, конечно,
И никого не обвинят из нас.
Не только из-за бога — из-за нас
Бывают споры жаркие подчас.

И, откровенно говоря, на деле
Киргиз не очень верен своей вере.
Он истый мусульманин не совсем,

Он мало был испорчен мусульманством
Поэтому с упорным постоянством,
Он верит добродушно духам тем».

И Алымкул сказал Антону снова:
«А вообще-то спора никакого
Серьезного и не было в те дни.
Зачем друзьям напрасные тревоги!
Но почему, если всеильны боги,
Объединить нас не смогли они! —

И Алымкул добавил вдруг с улыбкой.—
Опять вы что-то пишете в тетрадь!
Наверно, снова наши песни, сказки,
В которых сердце может лишь вздыхать.
Антон-тюре! Из сказок тех и песен
Что о киргизах вы могли узнать!»

«Из песен я узнал печаль народа,
Из эпоса — души его гранит,
А из сенатов — мудрость вековую
И храбрость ее ярую, крутую.
Народ, создавший красоту такую.
Своих господ, я знаю, победит!

Здесь сказки без опаски сочинялись,
На песню здесь айлы собирались.
Здесь, что ни слово — настоящий клад.
И честные сыны моей России
Узнать слова киргизские простые.
Помочь киргизам в их судьбе хотят!»

И все-таки из этих слов Антона

До сердца Алымкулова дошло
Пока еще не все...
Слова простые
Запомнились одни: «Сыны России».
От этих честных слов в душе светло,
И, значит, быть добру,
И сгинет зло!

И Алымкул растроганно, достойно
Сказал Антону:
«Сердце беспокойно Народа моего, и оттого
В мелодиях своих и древних сказках
Он щедр всегда на правду без опаски!
Для гостя не жалеет ничего.

Меж зоркостью такой и слепотою
Моей,
Как между небом и землею,
Есть разница...
И я не все понять
Сумел пока, когда вы говорили.
Меня нигде пока что не учили—
У вас учусь, чтоб тоже зрячим стать!

И о своих товарищах тоскуя.
Теперь, Антон-ага, узнать хочу я.
Чтоб рассказали вы мне, где они...»
«Ты об Иване и Андрее! Слушай:
Судьба друзей твоих сложилась хуже,
Чем на делянке, в горестные дни.

Теперь тебя обрадовать мне нечем,
Иван назад вернулся искалечен,

И без ноги, и без руки домой.
Андрей погиб давно на поле боя...
И нет на свете горше этой боли.
И потому царя — пора долой!

И, стойкостью с невзгодами померясь,
Иван-ворчун, уж скоро будет месяц,
Как на руках скончался у меня.
Он все искал оторванную ногу,
Пока не отдал душу свою богу.
Жизнь и войну постылую кляня!»

Антон усы старательно пригладил:
«Наговорились обо асем мы за день,
Мы думаем с тобой одно и то ж.
Мы оба ищем верную дорогу,
И оба прозреваем понемногу,
И мы найдем, где правда, а где ложь.

Народ всегда пройдет сквозь все пороги
И не собьется со своей дороги.
И все ему свершенья по плечу!
Где гневу справедливому граница!
Пускай палач на троне устрашится—
Пускай не спится ночью палачу!»

Так двое разговор вели открытый
Там, где ручей под елями журчит.
Как снегом, пеной белою покрытый...
Один — высокий, молодой джигит.
Другой — в годах, прямой, орлиной стати,
И в волосах немного серебра...
Чтобы меня не торопил читатель,

К событиям мне перейти пора...

У ЗЕМЛЯНОГО ОЧАГА

Высоко вершины Ала-Тоо
Вознеслись в чалме из ледников.
Опоясал густо лес сосновый
Склоны неприступные хребтов.

Небеса раскинулись устало.
Землю всю накрывши синевой.
Все природа здесь перемешала:
Радость и печаль, и ель с сосной.

Словно в море окунулись горы.
Достают вершинами до звезд.
Слету звезды падают.

Просторы

Прожигая искрами насквозь.

И цветут вершины белым цветом.
Грезит колос звуками и светом.
Тайнами вселенная полна.

Бьется мысль,

И звенит струна.

А земля на небо загляделась.
Млечный путь разбрызгал звездный сок.
Кажется, рукою тронешь вереск —
На ладони вспыхнет огонек.

В очаге огня веселый лепет,
И над ним склонился бел, как лебедь. Старый человек...

У старика

Мысль струится быстро, как река.

Мысли в сердце шевелятся глухо.

Все молчат: и старцы, и старухи.

А старик сказал, хлебнув джармы:

«Дочери, и вы, мои сыны!..»

Он потрогал бороду степенно

И погладил не спеша колено—

С этого всегда он начинал:

«Слушайте, что скажет аксакал!

Скоро девяносто лет на свете.

Как живу я. И за годы эти

Лишь на кляче ездить мне пришлось.

Что я видел! Горести и плети!

Ездил не на лошади — на палке.

И со мной играло в догонялки Счастье...

Только горе горькое терпел,

И всю жизнь одну похлебку ел.

Все же от надежды нерушимой

Ни на пядь не отрывался, нет,

Нищету терпел И без калыма

Смог жениться в пятьдесят я лет...

Чтобы ясно жить — живи открыто

Чтобы конь скакал — нужны копыта!

Чтобы был мужчина не один.

Должен у него родиться сын!

Помню: было лет мне очень мало

Русские пришли сюда.

Сначала

Распахали землю, что века
Здесь, в горах, нетронутой лежала.

Битвы меж казахами и нами.
Что кипели яростно веками.
Прекратили, и ушел раздор.
Больше наших девушек кокандцы
В плен не угоняли... И, признаться.
Не было такого до сих пор.
«Чертовыми сосками» картошку
Муллы стали злобно называть...
Мы же звали «земляной лепешкой»—
Им мы не поверили опять.

Раньше мы баранами платили—
Деньги их в торговле заменили.
Этого нам не забыть вовек!
Бедным нынче ездить стало просто
— Ведь теперь всего одна повозка
Тащит сразу десять человек.

И не то, что раньше — ситец носим.
Плугом пашем и косою косим,
И готовим сено про запас —
Русские добру учили нас.

Взять хотя Антона и Метрея.
Верим мы антоновым словам—
Он известен скромностью своею
И в беде всегда поможет нам.

А Метреи — друг за друга вместе! Нам они грозили:

«Мы окрестим Всех, кому земля их дорога!»

Так забрали пашни и луга!..

Среди киргизов хищников немало

Теперь,

Что осуждают без вины...

Лишенные скота и пастбищ — в скалы,

В ущелья навсегда оттеснены.

Всех неимущих мертвыми считали

И все их пастбища себе забрали.

Оставили одни каменья им.

А баи, чтоб земли побольше дали,

И малолетним даже выделяли.

Как будто взрослым, свой отдельный «дым».

А кызыл-чоки яростны, жестоки,

За горло брали, требуя налоги...

И вот теперь правители на фронт

Народ угнать пытаются, как скот.

Хотя совсем мы радостей не знали,

Себя одной надеждой утешали,

Что после смерти сыновья с тоской

В могилу бросят горсть земли родной.

Ведь говорят, что царь сказал о бедных:

«Пусть подданные молятся усердно

За власть и за победу на войне.

Молитесь, бог на нашей стороне!

И праведно мое царево слово:

За счет врага я одарю любого,
От генералов до людей простых
Я не забуду подданных моих».

И потому для новых битв победных
На фронт берут не богачей, а бедных!
Что, кроме жизни, бедному терять!
И отдаем мы сыновей последних!..

Пусть тот, кто никогда забот не знает,
В бою свое богатство защищает.
А что же бедным людям защищать!
Мы стали жертвой богачей опять!
Ведь если б жить богато все мы стали,
То нашу землю сами б засевали.
Наверно, как живет простой народ,
Не знает царь...

А если знает — врет...
Что мы бедны, бездельны — царь причина.
Пусть своего я не имею сына.
Но все-таки скажу без мудрых слов:
Душа моя болит за бедняков...»

И аксакал вздохнул при этом тяжело
И протянул соседу свою чашку —
По старому обычаю, с сурпой.

И вновь очаг пылает земляной...
И все вздохнули горестно, устало...

А женщина, что шерсть все время пряла,
Смотрела молчаливо на огонь,
Оторвалась от пряжи и сказала:
«Ведь что ни день — то все страшней и хуже,
И что ни весть — все горестней она!
Пока жива — не разлучусь с Джунушем,

Уж лучше бы погибла я сама!»

Тут все заговорили, закричали:

«О байбиче, помочь нельзя печалью!

Иной здесь выход —

Наши сыновья

У Алымкула каждый день не зря!»

«Что впереди? Одно лишь пепелище?..

А ну, Нурджан, похлебки дай, скорей!

Мы, старики, все превратимся в нищих,

Когда лишимся наших сыновей!

«Эй, черномазый сирота, куда ты запропастился?

Может, ты заснул?

Спой жалобную песню, что когда-то,

В Сибири сочинил наш Алымкул!»

«О Абаке, мне в том признаться горько.

Ее наполовину знаю только,

Всю песню не сумел я одолеть!..

Но если вы велите — буду петь!»

Сощурил рыжий мальчуган глазенки,

Снял с головы дырявый малахай,

По волосам провел ручонкой тонкой...

Старик махнул рукою:

«Начинай!»

И вот мальчонка улыбнулся людям

И воздуха набрал побольше грудью.

Чуть-чуть передохнул, перетерпел

И вдруг высоким голосом запел:

«Голубое озеро — в радуге

Предстает пред глазами, радуя,

Словно вижу его я издали.

Словно брызги вспыхнули искрами!

Я в плену, без любви, без имени!

Где же, горы мои вы синие?
Никогда ваш сын не покается,
Он птенцом без стаи скитается.
В подземелье не видно солнышка,
Прорасти не сумеет зернышко,
Скоро годы мои закатятся —
Никогда ваш сын не покается!

Я, попавший в места угрюмые,
О тебе, край родной, лишь думаю.
Светит в небе чужом Медведица,
Ты предчувствуешь, что нам встретиться!
Как мне хочется по горам идти!
Ты всегда живешь в моей памяти.
Прилетел бы к тебе я издали —
Кандалы мои крылья стиснули.
Сделай тропкой меня ты вольною,
Сделай горной чинарой стройною,
Сделай чистым пшеничным зернышком,
Буду колосом звенеть солнышку!

Как мне это терпеть,
Как вынести!
Если б крылья большие выросли.
Выше беркута, выше сокола
Я взлетел бы в небо высокое!
Я летел бы без сна и отдыха
Выше ястреба,
Выше облака,
Над лесами летел, над топами
В край, где горы стройны, как тополи!
От тоски по тебе,
От горечи
К самой дальней поднялся б звездочке,

Чтоб увидеть тебя мне, родина,
До тропиночки и до елочки.
Только где эти крылья сильные?
Как поднимешься в небо синее?
Человек—не орёл,
И горестно,
Что мечта моя не исполнится!
Далека ли свобода, вскоре ли?
Есть ли правда, чтоб с ней не спорили?
Есть ли воин,
Без битвы сломленный?
Без народа я обездоленный!
С кандалами моими в небо ли?
Я не выдержал,
Если б не были
В эти годы крутые, грустные,
Мои братья со мною, русские!
Без поддержки друзей, без помощи
Я б погиб от нужды и горести,
Серой дымкою взгляд мой заститя,
И тоскою хватает за сердце!
Но я верю — мечта исполнится!
Отомстим богатеям полностью.
Ведь не зря же мечтаю столько я,
Что умрёт это время горькое!»
Тут слепой Камбар сказал: «Довольно,
Мне эту песню дальше слушать больно!
Неужто погибать нам
В тяжкий час!
Ведь нет скота и нет земли у нас!»
И друг на друга, страха не скрывая,
Глядели люди,
Глаз не отрывая...

И ночь на всех давила темнотой,
Грозил им неведомой бедой.
Старик зевнул,
Прикрыв усы рукою:
«Пусть нам грозят великою бедою.
Чего вы приуныли у огня!
Удачу объезжают, как коня!
Ведь храбрые без боя не сдаются,
Найдется выход, участь-то одна!
В народе батыри всегда найдутся
В тяжелые,
Как эти, времена!
Отбросивши былой раздор и зависть,
Лишь сообща мы победим врага!..»

И, тяжело на палку опираясь,
Он тихо отошел от очага.
Сыромятину девушка мяла,
«Ух,— вздохнула она,— устала».
Было грустным лицо Нурджан,
Словно ночь на него упала
Взгляд ее, как ущелье, глубок:
В нем живет Алымкул-дружок.
И мечта о любимом, как нить,
Тихо сматывалась в клубок.
«Ах, судьба! Ты цветком была!
Не сгорит моя память дотла.
Если был бы здесь Алымкул,
Я арчей для него бы цвела».

И, услышав про Алымкула,
Мать его тихонько вздохнула.
Лишь подумала, погадала,
Как вдали его увидала.
С Алымкулом — друзья толпой!..

Все — и старый, и молодой —
Принять их лошадей спешат.
Мать всплеснула руками: «Ой!
Жеребеночек мой, живой!»
Отовсюду наперебой,
За вопросом — опять вопрос:
«Что за вести ты нам привез!»
...Был большой разговор о том,
Что в солдаты берут кругом,
Что старухам и старикам
Сторожить остается дом...
«Ныне мы — сыновья страны—
На два стана разделены.
Знайте, люди, что байская знать
Нас решила под суд отдать».
«Собирается наш народ —
Подымается на господ.
В море капли попробуй счесть —
Так в народе людей не счесть!
Если дунет народ — пурга!
А заплачет — из слез река!
Если будет единым он —
Победит любого врага!
И пойдем мы, мезтью горя,
Вместе с русскими на царя!
Сыновья поднебесных гор.
Справедливый возьмем топор!»
«Значит, русская беднота
Вместе с нами была всегда,
За одно и то же стоит! —
Так воскликнул Камбар-старик.—
Кто убитый в бою лежит?
Над кем черный ворон кружит?

О ком русская плачет вдова?

О тебе, в шинели мужик?

Кому бедствия всех веков?

Кого больше всех?

Бедняков!»

Алымкул взял в руки комуз

И запел про свою любовь.

Эту песню в чужих краях

Алымкул согревал на губах,

Каторжане ее в холода

Сберегли в своих сердцах.

«Мои руки железом скованы,

За спиною — охранники-вороны.

У костра в тайге согреваешься —

Путь далек до друзей-товарищей.

Только я о тебе подумаю,

Про любовь мою, про звезду мою —

Ни следа твоего, ни имени,

Только небо чужое, синее.

Утро радует, если солнечно,

А любовь, если с ней не горестно.

На лице у любимой — родинка,

Словно маленькая смородинка.

Почему ты во сне сторонисься!

За тобою во сне не угонишься!

Просыпаться мне утром боязно —

Сразу станет на сердце горестно.

Уплываешь из глаз, как облако,

И весь день без тебя нет отдыха...

Что ни шаг — то иду по лезвию.

На ногах кандалы железные!

Ты была мне цветком -подснежником,

Ты была мне радостным вестником,

Ты была мне, как песня лучшая,
Моя нежная, неразлучная!
Через все года, расстояния
Уменьшаются расставания.

Ивы шепчутся и качаются —
Расставания уменьшаются!

Когда нам приходилось встретиться —
Желтый снег осыпался с месяца,

А когда мы встречались взглядам —
С неба звездочки сами падали!

Не беда, что мы жили в бедности,
Нет богатства ценнее верности.

Эти дни теперь словно не были!..

Это ль в прошлом живу я,

В небыли!

Я подумаю, помечтаю ли,

Сразу прошлые дни растаяли.

Слышу голос твой всегда около —

И нет беркута, нету сокола.

Ах ты, время, меня не минуло,

В край суровый, чужой закинуло!

Мои руки железом скованы,

За спиною охранники-вороны,

У костра в тайге согреваешься,

Путь далек от друзей-товарищей.

Не один я насильно угнанный,

Не один живу без возлюбленной,

Не одна ты живешь, как звездочка,

Но одна ты стройна, как елочка!

Хоть сто лет жди, вернусь я, выживу,

Я из памяти тебя вызову!

Хоть сто тысяч змей пусть жалятся —

Память будет тебе лишь жаловаться!..»

Эта песня, через хребты,
Через все расстоянья лети.
Сокровенной нежностью слов
Сердце девушки засвети!
И, краснея ещё сильнее,
Алымкул о Нурджан своей
Думал ласково про себя:
«Без нее не вернулся б я!»

НАЧАЛО

Золотыми лучами пыля.
Солнце светит на все поля.
Кто-то из стариков сказал:
«Если б царь этим солнцем стал!..»
Туча черная, не тумань
Беловерхий мой край Тянь-Шань!

Собрался на великий сход,
Собрался киргизский народ!
В полукруг — по закону так!
Словно верхом — узун-кулак .
Словно буря, новая весть:
«Царь народ забирает весь!»
«Это горе — как с неба гром.
Вряд ли мы свободу найдем.
Если будем слушать царя
И сынов на войну пошлем!»
Так высокий джигит сказал,
И нахлынуло, как обвал:
«Пусть народ мой услышит весь,
Пусть услышит недобрую весть!

Нам оружия не дадут,
Говорят,
Нас и в бой не пошлют,
Говорят.
Безоружные —
В первом бою
Сложим голову мы свою!
Лучше б в руки дали ружье!
Лучше пасть нам в бою, чем так.
Объяснили бы, для чего
Мы воюем,
И кто наш враг!
Власть коварна, как каракурт.
Не увидеть нам наших юрт!
Богачи нас в списки внесут!
Так готовьте быстрее бунт!..
Мы отдали войне овец —
Разорились теперь вконец!
Мы отдали своих коней.
А теперь отдадим сыновей?!
Наши земли — в чужих руках,
Наша рыба — а чужих сетях,
Наши пастбища — богачам,
Только горы остались нам!
Мы по воле царя должны
Сыновей отдать для войны!
Баи нас продадут легко!
Кто примирится с этим? Кто?
Нам винтовки боятся дать.
Чем же нам себя защищать?
Безоружных враг перебьет,
Пока будем окопы копать!
И без этого мы все дни

На своей земле не вольны.
И ни матери, ни отцу
Не узнать, где лежат сыны!
Кызыл-чоки нас будут гнать—
Кызыл-чокам не воевать!
Все погибнем до одного,
Если будем спокойно ждать!
Нет у нас ни юрт, ни коней.
И желает байская знать,
Чтобы не было сыновей.
Разве будем спокойно ждать?
Так за что же сражаться нам?
Запродали мирзы купцам
Наши пастбища и сырты.
Подбираются и к горам!
Без земли, без воды народ
Обнищал — нету злей судьбы.
Слезы в наших глазах стоят,
А на спинах — растут горбы.
Ведь известно — у богачей
Не возьмут на фронт сыновей.
Если нам заодно не встать —
Будут слезы литься опять!
Бай откупится, бай богат!
А бедняк — всегда виноват!
Мы — игрушки у них в руках,
Потому что мы — в бедняках!..»
Каждый думал, сжимая плеть,
Словно саблю,
В своей руке:
«Или вольная жизнь, иль смерть
От родимых гор вдалеке!»
Люди хмуро толпой стоят.

Зубы стиснуты,
Темен взгляд.
Люди хмуры, как в плену,
Проклинают в душе войну.
В это время от дальних скал
Косуленок вдруг побежал.
И над ним, словно туча, взмыв,
Распластался огромный гриф.
Он крыльями черными жертву накрыл,
Железные когти кривые вонзил
И поднял её высоко и понес,
Как будто пушинкою груз его был!
А мать косуленка
И старый куран
Бежали за хищником тем по горам,
Бежали, насквозь прошибая кусты,
Готовы рогами идти на таран...
А гриф, что на землю спустился, Опять
Взмыл кверху, чтоб жертву подольше терзать,
И сел на скалу...
Косуленок визжал —
В предсмертной тоске ему виделась мать.
Куран же не видел ни тропки, ни скал,
Все выше к свирепому грифу скакал...
Но выстрел раздался откуда-то вдруг—
Куран, на бегу спотыкнувшись, упал.
Могучей любви материнской полна,
Косуля бежать продолжала одна.
Неслась, словно вихрь, все на свете забыв,—
И вместе с обвалом
Упала в обрыв,
В бездонную пропасть, в бездонный провал.
А гриф косуленка терзать продолжал.

О, слабого участь, о, слабого страх –
Когтистая смерть ожидает в горах!..
Судьба косуленка на горной тропе
Напомнила всем о жестокой судьбе,
Которая их сыновьям предстоит.
«Немедля на битву, киргизы!» — звучит.
Повсюду звучит: «Мы устали терпеть!
Ведь нас посылают на верную смерть,
И каждый своим будет грифом убит».
И тут старики зарыдали навзрыд!
Судьба незадачливых этих косуль
Напомнила им,
Что погибнут от пуль
Вот так их сыны на царевой войне,
Что больше не видеть им свой Иссык-Куль...
«Не вынести нам этой новой беды,
За нами идут только горечь и страх,
Лишившись детей
И земли, и воды,
Мы все, старики, превратимся в бродяг».
А гриф в этот миг на скале —
Как скала.
Он пищей насытился свежей сполна.
Вдруг выстрел раздался, другой...
И в обрыв
С вершины упал, как подкошенный, гриф.
И вот из последних, слабеющих сил
Когтистыми лапами гриф засучил,
Как будто цепляясь за душу свою,
Он крылья об острые камни разбил...
И с радостью каждый на друга глядит:
«А все-таки хищник свирепый убит.
Так, значит, приходит погибель и злу!

Народ, как скала.

Кто повалит скалу?

Царевой войне объявляем: «Война!»

Пусть будет земля наша вечно вольна...»

И, слыша отважные эти слова,

Примолкли джигиты...

Но тут тишина,

Как будто от пороха, разорвалась:

«Будь проклята сытая царская впасть!»

«Откупятся баи, как прежде, скотом!»

«В солдаты к царю никогда не пойдём!»

А вот алымкулова страстная речь:

«Уж лучше нам в битве жестокой полечь,

И мы разговаривать будем с царем

Лишь острою пикой и острым клинком!»

Пошел среди народа киргизского гул

Такой, что, казалось, он землю прогнул.

А хитрый Толек, что молчал до сих пор,

Вдруг исподволь хитрый повел разговор:

«Как стая ворон, что галдеть задарма?

Чего закипели вы все, как джарма?

Спокойней! Чего нам вставать на дыбы?

Ну что мы поделаем против судьбы?

Известно в народе киргизском давно:

Такое решать только умным дано...»

И снова с усмешкой Толек говорит:

«Есть умные люди, им смысл открыт.

И ты, Алымкул, верь поэтому мне:

Веленье аплаха крепко, как гранит,

Ведь царь — это бог, что живет на земле!

Что царь повелит — то народ совершит!

Ведь это наш долг перед русским царем!

И подданный бить ему должен челом,

А тот, кто бунтует, кто против, тому
Одна лишь дорога осталась — в тюрьму».
«Что верно, то верно,— добавил мулла,—
Ведь воля царя справедливой была.
Не нам ли, киргизам, царь белый — отец?»
И липкие эти слова, как смола.
Джигит Алымкул видит: люди молчат!
И гневный на бая бросает он взгляд:
«Не все здесь, как ты,
Если сгнили мозги,
Так это у нас, Бай-аке, говорят!
Толек, не твоей теперь плети свистеть.
Такая пора — иль свобода, иль смерть!
Поверим богатому — наверняка
Прольется бедняцкая кровь, как река.
Ты так передай богатеям от нас:
Решили айлы нарушить приказ.
Сегодня приказ — в сердце храбрость иметь!
Сегодня приказ — против власти посметь,
Сегодня приказ — всем приказам царя
Народ объявил справедливую смерть!»
Один из джигитов с коня соскочил,
Толека спиною своей заслонил.
Народ возмущенно вокруг зашумел —
Народ Алымкула давно полюбил.
Народ погудел, пошумел и затих,
Народ толковать стал о схватке двоих:
«Недавно вернувшись из ссылки домой,
Привез Алымкул справедливость с собой!»

ОРУЖИЕ

Дробным стуком разбужена рань.

Не спокоен глухой Тянь-Шань,
Здесь и там гулкий стук кирки,

Стук кирки —

Джигиты крепки!

Возле горна — лица горят,

С наковален искры летят:

«Быть оружию,—

Дробный стук,—

Быть оружию.

Будет суд!»

В горне искры пышнее грив.

Богатырскую грудь оголив,

Смуглолицый киргиз кует

Так, что молот в руках поет!

Искры вспыхивают, густы,—

Пусть работают кузнецы,

Сталь куется, и стали звон

К небу синему вознесен!

Обливается потом кузнец

Самый старший — устал вконец!

В сталь обрушивается удар

Так, что горн покачнулся весь!

Груды, груды ножей и серпов.

Кос сияющих и топоров,

Вилы выточены, кривы,

Прокаленные до синевы.

Сталь об сталь.

Стук литой, крутой.

Сталь пылает, течет струей,

Чтоб в себя весь огонь забрав,

Стать смертельным весом булав.

И калили они огнем

Наконечники острых пик,

Надевали на шест потом,
Пригоняли к нему впритык!
Самый старый кузнец устал —
Он у горна весь день стоял,
И, очнувшись, как после сна,
Удивленно пробормотал:
«Птицы громко в лесу поют,
Дятлы клювами в сосны бьют,
Эти дятлы, как кузнецы,
Друг от друга не отстают.
Посреди лесной тишины
Переклики птичьи слышны.
Тихо смотрит сова в кустах
Свои длинные серые сны.
Только кобчик и пустельга
Налетают исподтишка,
Налетают на малых птах —
Остается пух на кустах.
Сколько птичьих песен вокруг!
К звуку новый кладется звук.
И на землю с треском плоды
Осыпает дикий урюк.
Осыпается птичий свист,
С тонких веток сыплется вниз.
Птицы певчие, столько их,
Сколько в кузнице этой искр!»
Кто-то из молодых сказал:
«Дай-как молот, если устал,
Если сила и удаль есть,
То показывай их не здесь!»
Кто готовит пороха куль,
Кто готовит градины пуль,
Кто булавы, а кто клинки,

Чтобы были в бою крепки!
Все торопят: «Скорей, скорей!
Сделай пику мне подлинней».
А другие твердят; «Давай
Саблю,
Чтобы была острей!»
И готовят все, как один,
Набалдашники для дубин.
И нахваливают кузнецов:
«Поглядите, каков, каков!»
И прицениваются, как купцы:
Хороши ль у клинков концы.
И подходят важно к мехам,
Шутят:
Примете в кузнецы!
Ты, наверно, батыр, устал.
Что-то трудно дышать ты стал,
Ты б, джигит, отдохнул чуть-чуть,
Ты вздохни, джигит, во всю грудь!
Мы сражаться идем со львом,
С самым страшным своим врагом.
И я спрашиваю, Алымкул,
Может, зря на него идем?..»
И поник джигит головой,
Как от раны от ножевой.
«Трусись ты раздувать меха? —
Был ответ Алымкула такой.—
Дай раздую меха я сам,
Чтобы пламя — по небесам,
Ты, мирза-Ашим, как старик,
От работы такой отвык.
Ты невзгод таких не терпел,
Ты на тоях одних сидел,

Злобный, черный, как каракурт,
Не тебя в солдаты возьмут!
Не такой ты, Ашим, как мы,
Ни тюрьмы тебе, ни сумы,
Не скрываться, Ашим, тебе
Так, как нам, на глухой тропе!

Лучше ты уходи к отцу —
С нами быть богачу не к лицу...»

Одобрительно слушал народ
И сочувствовал молодцу.

Мол, джигит за нас постоял,
Что ни слово — то наповал.

И «джигиты огня» взялись
За меха свои: «Навались!»

Гневом злым Ашим обуян:

«Подводи коней, Мусакан!

Им охота на смерть идти —

Этот путь не подходит нам!»

Алымкул смеется:

«Ха-ха!

С бедняками сын бедняка,

Не уйдет Мусакан от нас,

Не уйдет в решительный час!»

Мусакан Ашиму в глаза

Говорит:

«Знай, Ашим-мирза,

Безъязыкий язык обрел,

Зорким стал слепой, как орел!

Мусакан будет верен не вам!

Где народ — там Мусакан,

Где народ-боец — я боец,

Так учил Мусакана отец».

Алымкул смеется опять:

«Для чего тебе рукоять

Золотая!

И нам ты, бай,

Если трусишь — кинжал отдай!»

У Ашима дрожит рука,

И глядит он исподтишка,

И отвязывает кинжал,

И в глазах у него тоска.

И угрюмо смотрит народ:

«Воздавали кому почет!»

У Ашима темно а глазах,

К сердцу тихо крадется страх!

И ручьи придержали бег,

Словно слушали чей-то смех.

И опять пронеслось в толпе:

«Ведь Ашиму плевать на всех!»

А мирза, побелев, сказал:

«Не спасет ни ружье, ни кинжал

От великого гнева царя,

Так что вы готовитесь зря!»

Лес гудит, как тыщи подков.

Лес еловый шумит, суров.

Это пики куют себе

Сыновья всех бедняков.

Так дышите, меха, всюю!

Сабли точатся навесу.

Пули градом летят в мешки,

Набирают тяжесть клинки!

И из жимолости сухой

Пули, пули, одна к одной.

Чтоб летели не наугад —

В масле долго их кипятят.

И когда Джаманкару, когда
Не хватило пуль,— не беда,

Бусы новые подала

Джаманкару жена тогда.

Чтобы ими он мог стрелять!..

Алымкул подумал опять:

«Кольца женщины отдадут,

Чтобы мы могли воевать!»

Сквозь густые ветви арчи

Льются солнечные лучи.

Вооружается весь народ!

Кузнецы утирают пот.

День и ночь в огне и в дыму,

День и ночь дым глаза им ест!..

Надевают они чалму

Из железа

На крепкий шест!

Вот, оставив лучи на хребте,

Солнце скрылось там, в темноте.

В горне тоже огонь погас—

Наступает отдыха час!

И, как солнечные лучи,

Посреди потемок густых

Лишь поблескивают ручьи.

Алымкул прилег возле них.

Кто-то вдруг раздвинул кусты:

«Принимайте нас, кузнецы!

Ныне нами убит куран —

Это лучший подарок вам».

Тут Мурат, седой аксакал,

Алымкула обняв, сказал:

«Мне явиться велел Ашим,

Чтоб на тое ему играл...»

А охотники говорят:
«Что-нибудь нам сыграй, Мурат!
Что-нибудь сыграй, наконец,
Ты, Мурат-аке, наш певец!»
И Мурат, комузист седой,
Взял из кучи клинок кривой,
Засмеялся весело он:
«Кто уйдет от него живой?..» .
«Ты, Мурат, знаешь с давних пор:
Быть певцом богатых — позор!
Разве твой единственный сын
Будет нужен, скажи, всем им?
Подними на него комуз свой,
Подними на него голос свой,
Бай Ашим на фронт не пойдет —
Он надеется на свой скот».
Тут вмешался Джантай-старик
(Он во всем разбираться привык):
«Вот минует пятнадцать дней,
И у нас заберут детей!
Мы похожи на коз — бедны,
Сыновей мы отдать должны.
Вам, вижу я, - в стороне,
Так уж лучше сгореть в огне!»
И от этих слов Алымкул
Справедливых опять вздохнул,
И в знак дружбы Джанаю он
Руки крепкие протянул.
«Этой боли не позабыть —
Было всякое на веку.
И осталось мне столько жить,
Сколько глупому мотыльку.

О, единственный мой сынок,
Хорошо, что порвать ты смог
С богачом Ашимом,
Ведь он
С бедняками всегда жесток!
Видеть сына в последний раз –
Не хочу,
Умереть в беде после вас –
Не хочу.
Чем за это все заплачу?
Пусть играет комуз для вас –
Я хочу!
Так послушайте песню мою –
Я о горестях вам спою,
О лишениях этих дней
Расскажу я в песне своей».

Комузист комуз в руки взял,
Струны ласково потрепал,
У щеки его чуть погрел,
Чтобы он послушно запел.
Вот струна за струной, дрожа,
Друг за дружкой бегут спеша,
Все сильнее трещит костер,
Люди слушают, не дыша.
Комуз вздрагивает, как живой,
Под его умелой рукой,
Тихо слушают все вокруг
Голос песенный, молодой!

ГОЛОС МУРАТА

Вот в руках Мурата комуз яростно поет—

Он отправил песню новую в помет.
С той поры, как родился
Мурат в горах.
На себе он испытал бедняцкий страх.
Это время обещает нам беду.
Той вот где другое время я найду!
Как бы страшен, как бы тяжек ни был гнет.
Мы мечтали — время новое придет.
Только в это оставалось верить нам.
И когда промчалась новость по горам,
Весть, что власти забирают на войну,
Неспокойно стало сердцу моему!

Так послушайте меня вы, сыновья,
Так послушайте, о чем же песнь моя.
Разве мы лишь для страданий рождены!
Мы бедны и виноваты без вины!

Сколько горя довелось нам пережить!
Я хочу об этом смело говорить.
Это горе вековое, этот страх
Не уместятся ни в песне, ни в сердцах.

Сыновья, вы, словно сосны, высоки,
Как олени, на шаги вы все легки.
Даль туман застлал —
Не видно ничего,
Так скажите мне, как выйти из него!
Вот сижу я вместе с вами у огня,
Столько дум и столько песен у меня!
И все думы мои только об одном:
Почему мы это терпим! Так живем!
Без веревок нас связали по рукам,

Как косули, ищем пищу по горам,
Собираем лишь курай да барбарис,
Истерзали нас до кончиков ресниц.
Время всех нас заковало в кандалы Горе рядышком,
А радость — все вдали,
Переполнена лишеньями пора,
Весь народ иссушен ими, как кора.
У нас землю нашу отняли навек
И дорог степных лишили нас и рек,
Наши пастбища распаханы давно,
Только горе нам оставлено одно!
Наши думы от печали тяжелы.
Только думы закуешь ли в кандалы!
Царь жесток, и жестока царева знать,
Гонит нас она, как стадо, воевать.
И похожи на летающих мышей
Наши души,
Что при гибели своей
Липнут к стенам бездны темной, вековой,
Наши души оробели перед тьмой!
Наши души, как улары, до поры
Голосят с высокой каменной скалы.
Как же душам успокоиться! Опять
Нашу кровь хотят безвинно проливать!
Мы, как зайцы, убегая от волков,
Ищем место поспокойней под кустом,
Для страданий наших тяжких вырыт ров.
Только кто же из него уйти готов?
Нам жилища — лишь ущелья да хребты,
Мы, как дичь, быстрее прячемся в кусты,
Пред бедою не встаем мы, как один,
Потому не разгибаем своих спин.
Так когда ж народ поднимется стеной,

Выше голову поднимет пред бедой?
И когда привяжет к поясу клинок?
Крылья выправит орел — наступит срок?
Мы не стебли полевых весенних трав,
Мы не травы луговы — лес булав!
Много крови нашей в схватках пролилось.
Только воли нам добиться не пришлось».
Нет покоя по аилам, нет житья,
Негде нам развесить нашего тряпья.
Разговор о том ведется столько лет,
А на деле разобраться — силы нет!
Где земля подобна бархату?

У нас

Где джигит подобен ястребу?
У нас!
Где на подвиги готов и стар и мал?
Где народ вот так столетьями страдал!
Узнается бег тулпара на скаку.
Сколько раз всего лишались на веку?
Ни воды и ни земли теперь у нас,
Нам остался только ветер про запас!
Ни лугов у нас, ни речек, ни озер,
А остались только горечь и раздор.
Как в отчаянье великое не впасть,
Ведь над нами столько лет шайтана власть!
От поборов мы навек разорены,
Даже дыма очага мы лишены,
За кочевьями вослед бредет печаль,
На детей расправил когти свои царь!
Наша знать — она опять обманет нас
И послужит ему верно в этот раз.
На верблюдиц старых стали походить—
Нам по детям своим тоже слезы лить...

Мне Антон недавно правильно сказал:

«Белый царь задумал злое, аксакал,

Ваши баи, ваши мирзы заодно

С ним всегда, вы это знаете давно!

Белый царь принес одни лишенья вам...

Остальное ты обдумать должен сам.

Я, хотя камыр — неверный, но всегда

Будет совесть перед бедными чиста.

Чем могу я, тем помочь я вам готов,

Царь набрал солдат из русских мужиков,

Посылает он на смерть своих солдат,

Лишь калеки возвращаются назад».

Как постигнуть, как все это мне понять?

От земли не можем крылья оторвать,

Мы над пропастью притиснуты к стене.

Где же выход? Расскажи-ка, песня, мне!

Кто не чувствует душою всей сейчас —

Улетают сыновья навек от нас,

Безвозвратно, наши горные орлы!»

Как же с этим примириться, батыри?

От вестей ужасных гул стоит в ушах,

От вестей ужасных тьма стоит в глазах,

Руки слабнут и сгибается спина,

Пусть от песни распрямляется струна!

Кто поможет нам в беде, презревши страх?

Только эхо откликается в горах.

Наши тропы растоптали скакуны,

Мы бедны и виноваты без вины!

Мы, как лодка, среди темной глубины,

Мы в пучину наших бед погружены.

Мы — как лошадь молодая, без копыт:

Как ни бьется, как ни ржет—а все бежит!

Нас, как щепку, по слепой волне несет,

Наши лица почернели от забот.
Как же будем жить, беды не одолев?
На царя пускай опустится наш гнев!»

ГОРЕСТНАЯ ПАМЯТЬ

Сделав сотни клинков, булав,
Среди копоты, гула, искр
Кузнецы, наконец, устав,
По ущелию разбрелись.
Где беседы идут,
Где смех.
Кто про горе, кто про успех,
Когда небо раскрыло глаза —
Месяц сыпать стал лунный снег.
Комузист джигиту сказал:
«Алымкул, расскажи о Джамал».
Алымкул поглядел в костер.
«Что прошедшее ворошить?..
Но о милой Джамал до сих пор,
До сих пор не могу забыть!»
Комузист — лукавый старик —
Все равно на своем стоит:
«Без горячей любви большой
Что такое джигит молодой!
Если молод — то нужен конь!
Если молод — в крови огонь!
Молод — сам ты себе судья,
Расскажи, ведь просят друзья!»
На джигита люди глядят,
На джигита глядят и молчат,
Гладит бороду аксакал:
«Расскажи, сынок, о Джамал!»

В небе месяц подковой блеснул,
Тихо заговорил Алымкул:
«Это правда, любил я Джамал,
Это правда — по ней я страдал,
Словно барс, попавший в капкан, Связан был по рукам и ногам.
Словно свет звезды, ее взгляд,
Голос — как серебро цикад.
Думал я среди бед и мук
Никогда с ней не знать разлук!
Сколько сохло сердцец по ней!
Сколько загнано в скачках коней!
Сколько мирз сулило калым
И назад уходило с ним!..
Был отец у Джамал суров,
Не имел ни коней, ни коров.
Лишь одно сокровище — дочь —
У родителей-бедняков!
Бровь, как ласточкино крыло,
По лицу летела светло,
Ей тогда было столько лет,
Когда смотрят с тоской вослед!
Кто о ней не вздыхал в ночах,
В чьих она не жила мечтах!
Каждый счастьем считал,
Чтоб впредь
Еще раз на нее посмотреть!
Чтоб добиться ее руки,
И богатые,
И бедняки
Приезжали из дальних мест,
Позабыв про своих невест.
Ведь невеста всегда взаперти,
Никуда не может уйти.

Пусть жених урод иль шайтан,
Лишь бы только калым был дан
Вот такая участь у них —
Лишь бы был богатый жених.
Но Джамал на это в ответ
Говорила всегда лишь «нет!»
Я влюбился навек в Джамал,
Когда руку ее пожимал,
И посватать ее за меня
Брата старшего я послал.
Засияли, как бирюза,
У невесты моей глаза.
Голос был и нежен, и тих:
«Алымкул — достойный жених!»
А у баев совет большой.
Каждый с белою бородой.
И решили они, как один:
На ней женится байский сын!
Главный бай Толеку сказал:
«Твоя родственница — Джамал.
Скоро выборы... и потому
Сыну ты помоги моему!
А калым? Что калым для нас?
Повелим — каждый скот нам даст!
Мое слово — знаешь его!
Нам ведь надо беречь родство!
Если хочешь быть другом впредь
И опору во мне иметь,
В знак согласия дай руку мне,
Чтоб друзьями нам стать вдвойне!»
У Толека хитры глаза:
«Столько лет мы с тобой друзья,
Честь сродниться с родом таким.

Наш товар, ну а твой — калым!»
И два бая, как кони, ржут,
Они руки друг другу жмут.
Поклонились и разошлись.
Вот коня Толеку ведут.
За услугу подарок — конь!
Под копытом любим — огонь!
А что скажет отец Джамал?
Все равно, что б ни сказал!
Весть быстра — у ней два крыла.
Весть к отцу в тот же день пришла.
«Дочку я не продам за калым!» —
Так сказал он друзьям своим.
«Как могу! — закричал в пылу,—
Дочь родную отдать волю?
Породнить ишака с цветком —
Мою дочку с байским сынком?...
Никому от него добра!
Черен рот его, как дыра,
А ресницы — кабанья шерсть,
Ему только в загривке скресть!
Это козни твои, Толек!
Ты на горе Джамал обрек,
Тебе мало твоих овец!—
В гневе так говорил отец.—
Если я тебя не убью,
Если кровь твою не пролью,
Пусть меня проклянет земля,
Пусть падет беда на семью!»
Шлет Толек гонца на коне:
Пусть, мол, родич придет ко мне.
«Ему нужен не я, а дочь,
Так что ты поверни-ка прочь!»

Бай Толек — за бока: «Ого-го!
Я пока что хозяин всего,
Пусть поймет — это воля моя.
Кто хозяин: бедняк или я?
Против бая — веками так —
Что поделать может бедняк?
И когда пятый день истек,
На своем настоял Толек.
День... второй... Нет, не дни — года!
Я узнал: у Джамал беда,
Я узнал: за другого ее
Отдает Толек навсегда!
И тогда я себе сказал:
Нету жизни мне без Джамал,
Нет, не быть ей в чужих руках,
Так решил на свой риск и страх.
Я не смог быть кислой бузой,
Чтобы пил меня бай любой,
Чтоб на игрищах цвет
Джамал Байский сын, шутя, обнимал!»
Алымкул улыбнулся.
«Пусть
Не смущает вас, что хвалюсь,
Когда только начал свой путь,
Ветрогоном был я чуть-чуть.
Чей же голос был звонче всех,
Веселее и громче смех!
Да, джигиты передо мной
Гонор свой теряли порой».
Рассмеялись весело все.
Лунный свет скользит по росе.
Алымкул, нашутившись всласть.
На траву повалился, смеясь.

Кто-то крикнул: «Браво, джигит!
Ведь любовь — нам забава, джигит!»

И сказал дехканин хромой:
«Вечно бесится молодой!»

Алымкул помедлил чуть-чуть,
Обнажил широкую грудь,
На дехканина посмотрел
И, сияя, опять запел:

«Белый сокол, летящий к тебе,— это я!
Белый лебедь в твоей судьбе — это я!

Я летаю — не улечу,
Вечно видеть тебя хочу!
Как прекрасен твой тихий смех!
А душа твоя лучше всех.
Все, что было у нас с тобой,
Знает только месяц седой!

Голос твой, как звон серебра,
Голос твой, как горный поток...
Для меня ты всегда была,
Как для поля — красный цветок!

Кинешь взгляд — я горю опять!
Не могу о любви молчать.
Твои брови — из серебра,
Расписал их кончик пера.

Твои груди, как два холма,
Они сводят меня с ума...
И в тоске о любви своей
Бьется сердце мое сильнее!

Без тебя я несчастлив был,
Словно беркут, лишенный крыл!
Если «да» ты не скажешь мне,
Пусть сожгут меня на огне!

Сколько мне любовью гореть?

На любовь любовью ответь!
Мы, надеждой своей полны,
Были клятве давней верны.
Если баям уступит отец,
Разве будет любви конец!
Я хочу лишь тебя любить!
Я хочу в вышине парить.
Я хочу одно: все года
Быть с тобою одной всегда!»
Песней тронутые простой,
Старики снова просят:
«Спой!» Алымкул улыбнулся: «Что ж!»
И погладил струну рукой.
«...Белым соколом о вышине
Быть хочу,
Белым лебедем на волне
Быть хочу,
Чтоб, над белой вершиной кружась,
В твои нежные руки упасть.
Была б белою рыбкой в реке,
Была б пеною зыбкой в реке —
Я к тебе все равно, Джамал,
По волнам бы пришел налегке!
Дотянусь до тебя рукой!
Дотянусь до тебя тоской!
Много мирз еще, мой цветок,
Тех, что тянутся за тобой!
Будет сердце ль светлее дня?
Иль тебя возьмут от меня?
Так иди за сердцем моим!
А родня? Ей нужен калым?
Так приди же сквозь боль и тоску,
Чтоб друг друга не звать «ку-ку»,

Как кукушкам в густом лесу,
Поклевавшим на листьях росу.
Пусть нас бедность с тобою ждёт,
Пусть мешает любви сам чёрт
- Звёзды будут в сердцах у нас.
Верю — время такое придёт!
Если смерть на чёрном коне
С чёрной саблей примчит ко мне,
Буду рад я своей судьбе,
С вечной думою о тебе...»
Погасили свои зрачки
Многомудрые старики.
«Это правильно, Алымкул!
Ты пошёл всему вопреки!
Что слова? Слова есть слова.
Бедность делает слабым льва.
А теперь не только невест —
Забирают народ наш весь!»
«Подожди,—кто-то вновь сказал,—
Пусть доскажет он о Джамал!»—
«Что нам скажут мирза и бай?»—
«Так что ты рассказ продолжай!»
«Наш закон на том и стоит,
Чтобы слушать,— сказал старик,—
Чтобы слушать и понимать,
Так что просим тебя продолжать!»
«...Вон на той седловине, где снег,
Жил в аиле своём Толек,
Рядом жил на её краю
Бай, что сватал Джамал мою!
На большой седловине той,
Собирались они на той,
Собирались два богача,

Чтобы выпить кумыс густой...
Весть галопом через хребты:
«Собрались к Толеку сваты,
Всем известно, что баю Толек
Самый первый теперь человек!»
Чем мы хуже других! Ведь есть,
Есть у бедных бедняцкая честь!..
Когда густо потемки легли,
Мы тайком Джамал увезли.
И нашелся какой-то пес —
Он на нас Толеку донес...
У Толека один ответ —
Десять слуг поскакало вслед.
Белый месяц сквозь облака Показал седые бока,
И когда ушла темнота,
Доскакали мы до хребта.
Но настигла нас байская злость.
Вдруг: «Ловите их!» - раздалось.
Налетели они с дубьём, Закричали: «Убьем, убьем!»
Девять их на конях. Трое нас.
Мы схватились — искры из глаз!..
Так сошлись грудь в грудь,
Кость в кость,
Наша честь и байская злость.
Давний друг мой, силач Абыл
Сразу двух с лошадей свалил,
Но с седла повалился вдруг
Под копыта второй мой друг..
Вдруг один из погони тайком,
Чтоб с Абылом-богатырем
Не сойтись,—
Ударил коня
Сзади раз и другой клинком.

Вот скакун заржал сгоряча,
Повалился на землю он...
На Абыла, на силача,
Навалились со всех сторон.
Мы дрались из последних сил—
Так был схвачен я и Абыл.
Нас, арканом руки скрутив,
Привезли к Толеку в аил.
Собран был многолюдный сход.
Бай Толек выходит вперед,
Он глазами Абыла ест:
«Похититель чужих невест!»
И приехал судья в аил
Вместе с приставом, стар и сед,
И с Абылом нас осудил,
Осудил он на десять лет!
Заковали нас в кандалы —
Нет позорней той кабалы,
Когда, кривды не одолев,
В сердце носишь лишь боль и гнев!
Нас пригнали к черной беде,
Нас пригнали к горной руде.
Не нагнись, чтоб воды испить,—
Стражник может тебя убить!
И дорога в лихой мороз
Стала тверже от наших слез.
Стал для нас и в стужу и в зной
На вес золота хлеб ржаной...
А когда в забое обвал
Стойки все свалил наповал,
В суматохе, в дремучей мгле
Друг Абыл упал и не встал...
Так меня обошло добро!

Эти годы на мне, как тавро.
Трижды жаркий подснежник цвел,
Пока я домой не пришел!
Хоть вернулся, но не застал
Я живую свою Джамал:
Над рекою стоит скала —
Там Джамал свою смерть нашла...
Сколько раз солнцу вставать,
Столько раз ее вспоминать:
Вечны звезды в рассветной мгле,
Вечна память о ней во мне!

Вот и все...»

И тут Алымкул,
Вспомнив все, тяжело вздохнул:
«Только память в глазах стоит».
«Горя — море», — сказал старик.

СПОРЫ

Народный гнев, как горные потоки.
О царские указы, вы жестоки!
Взметнулось по округе, как набат:
«Не будем поставлять царю солдат!»
А бай Толек кричал на сходках слепо:
«Царь — это все! Такая воля неба!
От бога он! — кричал на всю округу.—
Кто на него поднять посмеет руку?!
Царь — есть слуга любимейший аллаха,
И мы должны служить ему из страха
И из любви.
И свят его закон,
И волен нас карать жестоко он!
Не наше дело рассуждать, джигиты,

Ведь обещают те, что имениты,
Уладить все, уладить и решить,
Чтоб нам с царем опять в согласие жить!
У пристава совет вчера собрался,
И каждый на указе расписался,
Что нам, как верноподданным царя,
Ослушаться ни в чем его нельзя!
А кто пойдет против его закона,
Кто против его верных слуг пойдет,
Тому позор на голову падет!
Ведь сила нашей власти вам знакома.
Мы— ваша знать. Мы это не допустим.
Царь — это царь! Любим народом русским.
И кто посмеет пикнуть — смерть тому,
Смутьянов всех упрячем мы в тюрьму!»
Нет силы яростнее в мире целом,
Которую б сравнил с народным гневом; «Позор!» —
Слова упали, как гора.
«Нам за оружие браться всем пора!»
Со стороны раздался смелый голос,
Словно от грома небо расколосось:
«Народ, прошедший через столько бед,
Отвергнет твой неискренний совет!
В России, знайте, бедняки отныне
Встают, подобно яростной лавине,
И восстают против царя и тьмы,
И с русскими восстанем вместе мы!
В России — угнетенных миллионы,
И все они — против царя и трона!
И поняли они давно сполна.
Что бедным людям не нужна война!
Разутых и раздетых разве нету
Средь русских, обездоленных людей?

И я узнал на каторге: к ответу
Они призвать готовы богачей.
Придет конец проклятой власти скоро.
Тюрьма, Сибирь — одна у вас опора.
Солдатский штык—надежный ваш оплот!

И все-таки сильнее вас народ!
Народ! Бери оружие в свои руки,
Чтоб больше не терпеть войны и муки,
Чтоб на чужих израненных полях
Не умирать, с землей своей в разлуке!
Скажите, люди, разве справедливо
Нам воевать ради чужой наживы?
В крови нам захлебнуться и слезах,
Если не встать с оружием в руках!»
Послушал сход крутое это слово,
Заволновался, зашумел сурово:
«Ради чего покинем отчий кров?
Ради кого должны пролить мы кровь?!»
В глазах Толека яростные искры.
«Джигиты, вы его хватайте быстро!»
Джигиты те, что в стороне стояли,
На Алымкула бросились и стали
Вязать его веревками. Но тут
За Алымкула бедные все встали!
И бросились они на слуг Толека.
Такого не случалось здесь от века,
Чтобы, забыв про страх свой вековой,
Открыто дали байским слугам бой!
«Убейте!» — закричал Толек с испуга.
Сам завернулся в волчью шубу туго.
Народ же зашумел сильней вокруг
И бросился на злобных байских слуг.
Тут в ход пошли и кулаки, и палки,

Никто еще такой не видел свалки,
Уже кой-где мелькает тускло нож...
Кто за кого—тут разве разберешь?
Такой отроду драки не случалось.
Все завертелось, все перемешалось.
Сошлись в жестокой схватке, как быки,
Со слугами Толека бедняки!
Трусливые старшины с писарями
Смотрели испуганными глазами
И начали по склону отступать
Вслед за Толеком, прячась за кустами.
На признавая больше старой власти,
Народ весь
Разделился на две части,
Стоит повсюду небывалый гул:
Одним — Толек,
Другим же—Алымкул!
«Мы с нашими врагами злыми сладим!
Скорей же на коней горячих сядем!
Тот, кто не с нами,
Проклят тот народом!
И мы тому презрением заплатим!»
Такое у Мурата было слово.
Он тотчас снял седло с коня гнедого.
«Обычай отцовские храня,
Я в жертву богу приношу коня!»
Он пальцы омочил в крови: «Клянемся,
Что насмерть мы в бою с врагом сойдемся,
А кто отступит в правой битве вдруг —
Как этот конь, умрет от наших рук!»
И разнеслось по склонам и курганам:
«Пусть Алымкул над нами будет ханом!»—
«Хан — тот же царь!» —

«Но добрый и — из нас!

Он справедливым будет и желанным!»

Четвертый крикнул: «Не было такого,
Чтоб царь был из народа из простого!»—

«Царь может быть из нас, из бедняков,

Лишь только крепко б помнил наше слово!»

А Алымкул сказал:

«К чему раздоры!

Мы сами для себя самих опора.

Мы поклялись не изменять народу

И жизнь отдать до капли за свободу!

Мы силою должны у богачей,

Предавших нас, скорей забрать коней!

Мы победим, нас будет очень много!

А чтобы не пришла врагу подмога,

Чтоб не пришли каратели сюда,

Нам надо перерезать провода.

К утру должны мы быть готовы к бою,

А хлеб и творог заберем с собою,

Оружие возьмем у кузнецов,

У баев—самых лучших скакунов!

В равнинах наших властвуют казаки,

А нам остались только буераки.

Осталось нам от щедрости такой

Лишь то, что между небом и землей...

Лишь баи правы — выше нет закона!

Ведь наступили мы на хвост дракона

И стали мы лицом к лицу с врагом.

Уж лучше умереть, чем жить рабом!»

И криками наполнено восстанье,

Как пламя над засохшими кустами.

«Нет бая, чтоб любил простых людей,

Мы заберем у баев лошадей!»

Один кричит: «Наш бай умрет скорее,
Чем скакуна отдаст нам, не жалея!»

Другой: «Нет, нас боится и отдаст!»

А третий: «Бай из хитрости за нас!»

Один кричит, нахмурившись сурово:

«Возьмем коней из рода нам чужого!»

Другой, перекричать стараясь гул,

Твердит: «Пускай решает Алымкул!»

НЕ СОН ЛИ ЭТО?

Ала-тоо лунное под бурой

Облаков медвежьей темной шкурой.

И хребты огромны, как киты.

О моя земля, прекрасна ты!

И журчат ручьи в долине каждой,

Облака, словно орлы, парят,

И архары, темные от жажды,

Тонких архарят своих поят.

Птицы переклик ведут, как стража,

О моя земля! Ты та же, та же!

Видишь ли, идут в ночной туман

С Алымкулом светлая Нурджан!

И следят они за лунным кругом,

Не встречаясь взглядами друг с другом,

И ведут безмолвно с давних пор

Лишь руками нежный разговор.

У Нурджан пять тоненьких косичек,

Словно пять проворных черных птичек,

По коленям — только лишь нагнется,

Словно слезы, темный волос льется.

Иногда она чуть-чуть вздыхает,

А потом, игриво наклоняясь,

Шею Алымкула обвивает,
Темными косичками хвалясь.
«Ночь сейчас счастливая настала.
Я хочу, чтоб ты не забывала,
Как со мной обнявшись ты стояла,
И луна нам шкуру барса стлала.
Ныне время выпало такое,
Что расстаться должен я с тобою,
Мне сказали: «Ты иди проститься,
Завтра может всякое случиться...»
Пусть любовь все беды побеждает,
Пусть с тобой нас утро повенчает,
И сердца сольются, горячи,
Так же, как весенние ручьи!
Вздогнула Нурджан, взглянув на друга,
Вздогнула, как будто от испуга.
Не умея прятать свою грусть,
Прошептала тихо: «Я боюсь...»
«Наяву или во сне все это!
Свет луны погас в лучах рассвета,
Ясным стал далекий небосклон.
Явь ли это! Или только сон!!
«Сам ответь — так девушка сказала. — Сам!»—
и на зарницы показала.
«Сам ответь»,— Нурджан опять вздохнула,
Слыша сердцем сердце Алымкула.
Сердце Алымкула — сердце барса —
Вдруг в груди забилося часто-часто,
И до сердца девушки без слов
Донеслась, дошла его любовь.
Звездочки с луной переглянулись
И друг другу ясно улыгнулись,
Озарив лучами небеса,

Заморгали звездные глаза.

ОБМАН

I

Со лба Толека пот все тек и тек,
Кроваво-красной степь ему казалась,
И оттого, что был тяжел седок,
Спина коня все время прогибалась.
Склонилось солнце вниз,
И там, во мгле,
Цвели лучей последние остатки...
Словно хотели рассказать о схватке,
Которая кипела на земле.
Когда на сходе все в тупик зашли,
Вдруг вверх взметнулись серой пыли струйки
И показались всадники вдали.
«Кто это?» — закричал Толек в испуге.
И вот вблизи уже копыта бьют,
Вот всадники, подъехав, рассказали,
Что начался мятеж,
Что поднят бунт,
Что русского помещика связали.
Но волостной ушел — и жди беды.
Промчалась весть стремительно, как пуля,
Что появился вождь Амангельды —
К нему из русских многие примкнули.
Он грамотой владеет и клинком,
Велел он разорвать все наши списки.
Теперь уже свободы сроки близки:
В Москве—война простых людей с царем.
И, говорят, два бека в схватке злой,
Уже столкнулись. Первый бек—бедняцкий,

Сцепился с ним господский бек—второй,
Идут бои средь улиц петроградских.
«Не знали мы, что завтра всех нас ждет,
Ведь если смерть — она придет однажды!
И все-таки нас бунта клич зовет,
И разве не поднимется здесь каждый?!
И наш аил к восстанию готов,
Готовы ль вы? Мы ждем от вас ответа».
Стоял Толек. Не мог найти он слов.
Свалилась весть, как тяжесть, на Толека.
Глаз от земли Толек поднять не мог,
Как будто перед ним лежала пропасть:
Что говорить! Играет нами бог.
Народ взволнует наш любая новость».
Он кнутовищем по седлу стучал,
Другой рукой разглаживая брови.
Одни джигит все время наготове
У стремени хозяина стоял.
В сторонке ото всех с муллой мирза
Сидели с удивленными глазами.
«Народ остановить уже нельзя.
Препятствовать начнем — погибнем сами!
В кулак зажать мы не смогли народ,
Бессильны мы теперь и бесполезны,
Но если не смирю их,
То вобьет
В меня, я знаю, гвозди сам уездный.
Об этом знают в племени Тынай —
Уездный многих там казнил без чести.
Ведь есть закон: не можешь — уступай!
А что, если пойти с народом вместе!
И, может быть, отыщется просвет,—
И замигал мулла глазами кротко. —

Пока не поздно—мой прими совет:
Примкнем к народу. Он для нас—находка!
И примет нас он с радостью большой,
И мимо нас власть снова не минует.
Бродяга верховодит им такой,
Как Алымкул. Петля по нем тоскует...
Послушен будет нам, как прежде, он.
Народ — он тайна.
Он бывает странным.
А правда ли, что зашатался трон?
И что у русских — два враждебных стана?
А мне давно не нравится Антон.
Меня ни раз чутье не обмануло.
Что мы с тобой не видим — видит он,
К тому же он советчик Алымкула.
А наши джатакчи, они не прочь
С ним побрататься крепко.
И к тому же
Ходили слухи, что Антона дочь
Сердечно дружит столько лет с Джунушем!
Скажи, мирза, на что не даст ответ,
Чего не знает он и в чем не зоркий?
Он собирает наши поговорки.
Иль нашу веру принял свиноед?
Как может он царя не защищать,
Когда идут сражения такие?
«Мятеж ваш справедлив!»
Как мог сказать
Такое настоящий сын России?
Всё слухи... Где же правда?
А где врут?
Вникай, чтоб в стороне вдруг не остаться,
Узнай, какие времена придут,

А вдруг наш царь не победит германца?
Чтоб ни было, один остался путь —
Быть с Алымкулом вместе и с народом,
И нужно осторожно и с подходом
Готовиться, чтоб завтра как-нибудь
Держаться, как в былые времена...»
Вдруг старец крикнул:
«Разве вам не странно —
Народ наш разделился на два стана...
Он — звездочка во лбу у скакуна!
Такой же малый...
И не лучше ль нам
Власть дать тому, кто самым храбрым будет!
Хоть русский он, но верьте старикам:
Антон вернее всех ваш спор рассудит».
«Нет!— подпевала-болуш крикнул вдруг.—
Какой он русский, если до сих пор он
Против царя...
И русский нам не друг,
Ведь ум у русских черен, словно ворон!
Послушайте внимательно меня,
Ответьте, почему народ без страха
Вновь вспыхнул будто масло от огня,
Не слушаясь веления аллаха?
Какой же толк от власти бедняков?
Нет проводов. А также и бумаги
Сожгли. И что?
А все же толк каков?
Врага не сломишь при одной отваге!
Мне белый царь ведь тоже не отец.
Мне тоже, как и вам, придется плохо,
Хотел я посоветоваться здесь,
Да Алымкул затеял суматоху.

«Отбившегося — волку!» — знаем мы,
Один — погибнет поздно или рано.
Вести народ — нам мудрые нужны,
Как старец,
Чтобы слушались смутьяны.
Помолимся! Аллах в добре своем
Дарует нам дорогу к нашей воле,
На помощь духов предков позовем,
Чтоб никогда не ведали мы горя.
Меня народ не слушался вчера,
Погорячился я, скажу по чести.
А разве мало делал я добра?
О боже, лишь бы быть с народом вместе!»
«Вот так давно бы,— старец произнес,—
Так бог хотел, чтоб понимали всё вы,
Если за нас стоите вы всерьез,
То даже старцы умереть готовы.
И все-таки скажу: тогда с тобой
Наш Алымкул схватился не впустую,
Ведь ты его оклеветал с мирзой,
Потом сослал на каторгу глухую...
Прощенья попроси ты у него
За каторгу, за ссоры и за зависть».
«Я виноват, что сделать я того Не смог...» —
Болуш ответил, улыбаясь.

II

У себя гостей Толек встречает.
Алымкул с друзьями подъезжает
На горячих взмыленных конях,
Боевые шимдаки в руках!
«Заходите!» — толст Ашим, как тесто,
Уступает он джигитам место
И кивает каждому по-бычьи,

Соблюдая в строгости обычай.
Бай Толек глядит как виноватый:
«Проходите, что ли, жеребята.
Неисповедима власть аллаха,
Потому народ восстал без страха...
Пред тобой я, Алымкул, виновен,
Не прощать меня ты, сын мой, волен.
Но сейчас для распрей нету времени:
Нынче время боевого стремени!
Я тебя сослал неправым словом,
Ты ж вернулся с каторги здоровым.
Что обида? Время ль для обид?
Может, я прощения не стою,
Но стою с повинной головою...
Пусть же будет так, как сход решит!
Алымкул, я говорю, как сыну,
Хочешь — и камчу свою накинута
Я тебе на шею вот сейчас.
Лишь бы это примирило нас!
«Дело не во мне, Толек, как видишь,
Разве с корнем память свою вырвешь?
Память, как удар камчой, крепка.
Не затем сюда издалека
Я приехал с верными друзьями,
Чтобы запылал раздор, как пламя,
А затем, чтобы поднять народ!
Ты же покажи себя делами!»
«Бай Толек одумался, джигиты,
Встал на нашу сторону открыто!»—
Вдруг раздались возгласы вокруг.
И когда народ собрался в круг,
Вышел бай Толек на середину,
Вышел, как положено по чину.

«На разведку должен ты идти». —

Он притворно обратился к сыну.

«Ну, какой мирза-Ашим лазутчик?

Надо ведь все выглядеть получше,

Алымкул для этого надежней,

Алымкул отважней, осторожней!»

Все помыли руки...

И тем часом

Принесли большие чашки с мясом.

Алымкул промопвил в тишине:

«На разведку лучше ехать мне!»

А Толек прищурился чуть-чуть:

«Дал горячий уголь им лизнуть!»

И сказал с усмешкою кривою:

«Ты возьми товарища с собою».

А мулла сказал: «Двоим опасней, —

Говорил батыр Чаргын порою!»

А Джунуш сказал: «И я с тобою!» —

«Нет, Джунуш, ведь что один, что двое

Все равно не воевать во тьме

Легче одному пробраться мне!»

Все-таки, - сказал Джунуш с тоскою, -

Если надо - саблюю прикрою».

И сказал притворно бай Толек,

Осторожный, хитрый человек:

«Он по-русски говорит! Он сможет.

Ты, хотя отважен в битве, все же

Ты не знаешь языка, пойми!

Схватят — засекут тебя плетьюми!

Алымкул найти сумеет выход.

Одному идти — немело выгод.

Если его схватят — скажет так:

«Я у казаков простой батрак».

Озабочен бай Толек для виду:
«Никому не дам себя в обиду!
Даже норовистый вороной
Конь не спотыкнется подо мной!»
«Оставайтесь живы и здоровы, —
Алымкул сказал джигитам снова, —
Буду жив — встречайте здесь меня
Через три или четыре дня».
«До свиданья», — он сказал и руку
Бай-Толоку подал, словно другу.
Лишь Джунуш, нахмурившись, молчал,
Взгляда от земли не отрывал.
Тут старик, сидевший тихо с краю,
подавив с трудом глубокий вздох,
Руки вдруг простер, благословляя:
«Пусть тебе в пути поможет бог!»
Алымкул не мешкает, спокоен,
Со стоны снял булаву. И вот
Встал Джунуш и руку подает:
«Пусть не я...
Джапар хороший воин.
Ты его возьми», — сказал в тревоге.
Алымкул нахмурился чуть-чуть.
«Все. Меж нами пусть лежит дорога...
Алымкул, счастливый тебе путь!..
Будь здоров. И возвращайся снова.
Подведите скакуна лихого!
Чтобы ветер дул — но продохнуть!
Алымкул, счастливый тебе путь!
Если спеть попросите вы снова,
Вот оно, ужа готово слово!
Ветер доброй памяти подул.
Скачет, словно пламя, Алымкул!»

КОНЬ И АЛЫМКУЛ

«Травы всколыхнулись, покачнулись,
Кураи за солнцем потянулись.
От стремительного бега скакуна
Сотрясается земля, как стремяна!

И от бега скакуна на вольной воле
По земле мчат перекасти-поле,
Тихо вздрагивает листьями арча,
Встречный ветер злобно шубу рвет с плеча.

Конь в разбеге, словно пламя над землею,
Отливает своей гривой вороною.
И от топота его за три версты
В страхе птахи быстро прячутся в кусты.

Ах ты, конь-скакун, крылатый, словно птица,
Под копытами твоими пыль клубится,
Хвост по ветру развеивается густой.
Грива плещется струею огневой!

Ноги быстры,
Ноги тонки, как у лани,
Так и стелются в разгоне над камнями.
Словно полночь юга, вороная масть,
Белая звезда во лбу твоём зажглась!

Он несется между рытвин без опаски,
Словно вылетел из самой светлой сказки.
Над горами чудной лодкою плывет —

То копытом,
То звездой во лбу сверкнет!
Грудь его—словно пса-тайгана,
Шерсть его—как мглы у бурана.
Он, как конь крылатый Чинкоджо,
Мчится, мчится,
Дышит горячо.

Подымает ветер конь надежный.
Мчится Алымкул, как вихрь снежный.

Скачка полы шубы развела
За его спиной, как два крыла.

Пика тускло светит под рукою.
Стремя глухо бьется под ногою.

Степь бежит назад под скакуном.

Степь хранит сказание о нем!

Алымкул, о соловей мой горный,
В каждом деле смелый и проворный,
Два зрачка—острее острых пик!
Ты в глаза беде смотреть привык.

Конь бежит—крепка его подпруга.
Алымкул зря не неволит друга.
Алымкул—надежда всех друзей.
Он скупого сделает щедрей!

Гнев его порой подобен смеху,
Смех же—у кого беда—в утеху.
Смех—как снег: нахлынет—и светло.
Смех—не гнев: пройдет—не тяжело.

И любви подобна его шутка,
И улыбка светит людям чутко.
А когда печальным он бывал —
Словно беды всех в себе собрал.

Он живет не хитро, без оглядки.
Сядет на коня—так нет посадки
Лучше и красивей, чем его.
Радуетса сам он: «Каково»

Верный друг обиженным и сирым.
Признан он джигитами батыром.
У него совсем не для красы
Честность, как для жемчуга весы.

Славен он своим веселым нравом.
Шутки он бросает прямо: на вам!
Бросит слово гневное со зла —
Кажется, что острая стрела!

Сердце Алымкула всем открыто.
Для красавиц лучше нет джигита.
Глянет—и любая расцветет.
Отвернется — вслед ему вздохнет...

А глаза спокойны и упрямы.
Смотрят с гордым вызовом и прямо.
Не привык хитрить и отступать.
На широком лбу темнеет прядь.

Не привык, к чужой обиде зорек,
Говорить туманных поговорок
И кривых намеков, хитрых слов —
Слабого орудия лжецов.

Если скажет слово — это слово.
Звонкое, литое, как подкова.
От него бросает сразу в дрожь
Хитрую, оглядчивую ложь.

В каждом горе остается верным,
В каждом деле назовется первым.
А с самим беда случится вдруг.
Никогда о ней не скажет вслух,

И в седле, как ястреб, он спокоен,
А с коня сойдет — как тополь строен.
Если взглянет он в глаза кому.

Улыбнется каждый вдруг ему.

От молодок статных куда деться!
На него не могут наглядеться.
Только бросит искоса он взгляд —
Сразу щеки пламенем горят.

Стариков восторгом захлестнуло.
Только увидали Алымкула,
Восклицают:
«Этот молодец
Нас во всем заменит, наконец!»

Так прославил добрыми словами
Мутаке-акын в своем сказанье.
На комузе струнами звеня,
Алымкула и его коня!

В ПЛЕНУ

Желтый ветер пополам распорот,
Всадник в кулаке сжимает повод.
Дума впереди его летит.
Искры у коня из-под копыт!

Пыль стоит, не сваленная ветром.
Под конем земля сама трещит!
Камешки, как альчики, при этом
Вылетают, словно из пращи.

Ох, копыта, звонкие огнива!
На ветру горит густая грива.
Ветром до корней вся прожжена

Грива молодого скакуна.

Много звезд от склона и до склона.
Ночь сползла на горы, как попона,
И продрогли звезды на ветру
По краям седого небосклона.

Вот проснулись певчие ручьи.
Вот проснулись в рощах соловьи.
«Вот идет!»— раздалось на пригорке.
Это заскучали перепелки!

Сизый пар над травами клубится.
По лицу джигита пот струится,
Застилает взор — и Алымкул
Снова рукавом его смахнул.

Конь летит, как птица...
Бьют копыта.
Белой пеной вся спина покрыта.
Пена закипает на зубах,
И глаза косят его сердито.

А когда чуть-чуть вошло светило,
Заспешил наш Алымкул к аилу.
Едет смело: робость не к лицу.
Не к лицу такому храбрецу.

«Ничего в дороге не случилось,
Лишь под скакуном
Земля кружилась!
Я проехал долгий, трудный путь,

А теперь немного б отдохнуть!»

Спрыгнул он с коня, высок и молод.

На седло закинул тонкий повод.

Посмотрел вокруг неторопливо,

Потрепал слегка коня за гриву.

Убедился — нет врагов в округе.

Отпустил тогда коню подпруги.

Перебросил повод через гриву

И прилег, раскинув вольно руки.

Все-таки опасность не забыта —

На душе тревожно у джигита.

Лишь заснул—и, словно скакуны.

Прискакали к Алымкулу сны.

... Высоко, у облачных пределов,

Он в архаров посылает стрелы.

Только стрелы те в них не летят —

Снова возвращаются назад.

Сон другой: дракон ползет по скалам,

Где прополз—озера в дыме талом,

Изогнулся, чтоб хлебнуть воды,

Но с боков теснят его хребты.

Сон еще: бежит в горах дорожка,

И к нему подходит друг Алешка...

Конь хромает на одно копыто,

Крылья у него все перебиты,

С неба люди странные орут:

«Потерпи—икрыльязаживут!»

Вот подходит мать. В заплатках платье.

Вот народ стоит вокруг. Объятыя...

Вот Ашим с друзьями

Иступленно

Нож вонзает в скакуна Антона.

Вот Нурджан стоит, застыв на месте.

«Тольконочьстобойпробыливместе,

Ночь всего. И встали между нами

Дали-, с неприступными горами...»

Сон в глазах все прошлое колышет,

Травы первый ветерок колышет.

И раздался гулкий топот близко.

Только Алымкул его не слышит.

Восемь яростных коней отборных!

Восемь седоков в накидках черных

Спрыгнули со взмыленных коней,

К спящему подходят: «Кто ты! Эй!»

«Что за человек здесь появился!» —

Старший за клинок кривой схватился.

«Надо бы его схватить сейчас!» —

Друг его хитро прищурил глаз.

«Может быть, из наших это кто-то

Спать прилег, уставши от работы,

Может быть, лазутчик, кто поймет!

Подождите! Может, это черт!»

«Что вы всполошились! Что за крики!

Ну-ка лучшего приготовьте паи.

Подойдем поближе-поглядим,

Если что —покончим сразу с ним».

И тяжелые нахмутив брови»

С острыми кличами наготове.

Двинулись они, как будто в бой,

Двинулись на спящего гурьбой.

Первый подошел, второй... четвертый...

Алымкул лежит, как будто мертвый,

Окружили жертву поплотней

И пинают сапогами: «Эй!»

Не привстал, не шевельнулся спящий...

«Это кто!»— один глаза таращит.

«Это кто?»—спросил его другой.

Алымкула трогая рукой.

«Ты лицо открой ему, не вижу!»

А другой: «Ты подойди поближе».

Третий: «Ты пики пошевели,

Иль, не дав проснуться заколим.

«Убивать его сейчас не надо,

Чолпонбай за труп не даст награды

Чтобы он награду выдал нам.

Кинем мы на спящего аркан».

Восемь нас, а он один!»-сказали.

Кинулись на спящего и стали

Связывать веревками его:

«С нами справиться один едва

Как ни бился Алымкул с врагами,

Те его избили сапогами.

И, на шее затянут аркан,

Впереди коней своих погнали.

«Неужели не увижу край родной!

Неужели не пойдут киргизы в бой!

Если я казаками пленен!...

Тут Антона-друга-вспомнил он.

БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ

Облака плывут по-над горами

Белыми, большими скакунами,

Пахнет осенью и тополь, и сосна,

Этим запахом земля напоена.

И стога стоят повсюду куполами.

Светят блики золотые над полями,

И созревшие плоды блестят слегка,

И роса на них, как капли молока.

И земля, как мать детей, покорно

Убаюкивает ветром тихим зерна.

Красота, бессмертна и светла,

Землю всю с любовью обняла.

Бьют кузнечики в тугие молоточки,

Кажется, в траве звенят звоночки!

Вся окрестность солнцем тучным налита

Из любой былинки смотрит красота.

Только человеку ныне круто.
Свет всех звезд печальней почему-то.
Чем он заслужил! И в чем причина!
Человек- вселенной середина!

Кланяясь ветрам с отрогов горных,
Хлеб роняет наземь свои зерна...
Только нету тех, кто в этот срок
Им подняться бы с земли помог.

И валяются арбузы здесь и там,
Расколело их жарою пополам.
Тишина среди арбузов золотых.
Где же люди, что заботятся о них!

Где дехкане, что их сеяли, растили!
А теперь плоды покрыты серой пылью.
Пропадает на корню весь урожай.
Или сразу обезлюдел этот край!

Клубы пыли, клубы пыли над землею
Позастлали дали серой пеленою.
Скакуны, устав, кусают удила,
Суматоха в Асылбаш-аил пришла!

Вихрясь, пыль у тесных юрт ложится.
Слезы горькие у чабанов на лицах,
Едут всадники на взмыленных конях,
Молнии горят на их клинках.

Асылбаш-аил затих во мраке.

Гонят двести пленников казаки.
Люди плачут, люди стонут и бредут...
Их казаки на кургане посекут!

Вместе с ними Чолпонбай всю смеется.
На клинке его—серебряное солнце,
У игривого гнедого скакуна
Серебрятся дорогие стремяна.

Вместе с ними едут баи, волостные...
И от сытости лоснятся воронье,
И от сытости багровый, как кумач,
Подхихикивает Сапарбай-толмач.
Есть у пристава надежная охрана.
На боку его клинок возле нагана.
Сзади пристава у левого плеча
Расплывается улыбка толмача.

Слуги бая—кызыл-чоки—зубы скалят:
«Ой, не стойте на дороге — кони свалят!»
Позади них—бедные дехкане.
Каждый связанный плетется на аркане.

Их держали без воды, плетьюми их били.
Пожелтели лица их от пыли.
Стали волосы дехкан за ночь седыми.
«В чем же мы все виноваты перед ними!»

Их веревками связали туго-туго.
Как овечек, притянули их друг к другу.
Их плетьюми секут, несчастных, как хотят.
Хоть никто из бедняков не виноват.

Найманбай же, силы духа на теряя.
Крикнул громко при народе Чолпонбаю:
«Кровь безвинных проливаешь без конца.
Словно мстишь им за убитого отца!

Если кто и виноват, скажу заранее,
Это я во всем виновен,
А дехкане
Чем виновны, чем виновны!
Сам не знаю.
Эй, Джантай-батыр! Мы верили Джантаю!

Справедливым ты прослыл, Джантай, когда-то.
Ведь по правде, чем дехкане виноваты!
Чем шестьсот киргизов наших заслужили,
Чтоб конями, чтоб конями их давили!
Чем их мучать, невиновных, плетью бить,
Лучше вам меня, виновного, убить!

Знают все: у Чолпонбая—только сила.
Нет нигде ому враждебного аила.
Если все ж его не любят чабаны.
То, поверьте, нету нашей в том вины.

Для джигита нет страшней позора —
Убивать дехкан безвинных без разбора.
Ведь народ не победишь, не перебьешь!
И от кары справедливой не уйдешь!»

Пристав поднял свою толстую камчу.
Что-то грозное промолвил толмачу.

Багровеет он:

«Что с ними говорить!

Под землей наговорятся, может быть!

Что скажу тебе—ты должен передать:

Жалко нам людей, конечно, убивать,

Но они, подобно глупому скоту,

Сами смерти своей ищут, на беду.

Если знает кто «Потемкина» судьбу.

Тот совсем не позавидует ему.

Пусть он знает, что никто из бунтарей

Головы не спас тогда своей!

Он погиб, узнать свободы не успев.

И на вас такой падет, киргизы, гнев!

На защиту трона встали корабли.

Мы матросов быстро в чувство привели!

Это — русские. Они—это не вы.

Царь захочет—не сносить вам головы!

Царь захочет и конец наступит вам.

Трон расшатывать—куда вам, дикарям!»

Так сказал он и поехал быстро далее,

Чоллонбай с Джантаем тут захохотали.

Чтоб начальству смехом угодить.

... Шли дехкане—скакунами их топтали...

Среди пленников и Алымкул шагает.

«Пусть нас пристав пятым годом не пугает,

Ведь запомнил я недаром с детства:

У царя к народу каменное сердце!..»

Плачут дети.

Глухо стонут аксакалы.

Во все стороны несчастных разметало,

А другие же, не выдержав неволи.

Без дыханья оставались в чистом поле.

Глухо ухала земля, печали вторя.

«Так прощайте! Мы с собой уносим горе!

Оставайся непокорным, мой народ!

Мой народ страданья все перенесет!

Ты не плачь, не убивайся, не стенай!

Ты на лучшее надежды не теряй.

Не бывает без конца любая даль.

Как джигит, переноси свою печаль!

Если в жизни ждут меня одни страданья —

Это бога для меня предначертанье.

Много мне пришлось терпеть неправоты.

Были б люди, словно белый хлеб, чисты!»

Расстается со своим сынком старуха

И в отчаянье кричит охране глухо:

«Дайте мне его хоть раз поцеловать!

Я тогда судьбу не буду проклинять».

Сын глядит на мать печальными глазами.

Окруженный обнаженными клинками,

И кричит ей на прощанье сын:

«Мать, мужайся, я в неволе не один!

У кого пощады мне ты просишь тут!
Близко к нам не подходи, а то убьют!
Эти звери, эти нелюди—враги!
Лучше, мама, ты себя побереги!»

Кто-то тихо говорит своей жене:
«Ты, любимая, не подходи ко мне,
Палачи, они ведь сердца не имеют —
Ни тебя и ни меня не пожалеют!»

Алымкула во все стороны качает.
Кровь густая по щеке его стекает,
У него аркан на шее, как капкан,
И глаза ему застлал густой туман.

У охранников всегда недолог суд:
«Что молчишь!»—и по плечам его секут.
Жирный хохот злобных стражников трясет:
«На допросе он иначе запоеет!»

...А река, что валуны легко сносила.
Нынче, словно удивленная, застыла,
Лишь увидела, как пленных волокли.
Как лежали засеченные в пыли.

Не дают воды испить и полглотка,
И хотя почти что под боком река,
Если взглянешь на нее, то упадешь:
Нету жалости у острого клинка!

Так идут они по пыли, по беде,
Только губы сами тянутся к воде
Только шепчут под ударами камчи:
Будет время, мы сочтемся, палачи!»

Только топот, только пыль стоит вокруг.
Побледнела молодуха чья-то вдруг,
Сорвала платок и бросила под ноги
И стоит парад конвоем на дороге.

«Этим людям ваша смерть—жестокий выкуп!

Где же правда на земле

И где же выход!

Вас камча сочет и топчет сытый конь.

Вашу жизнь они потушат, как огонь!»

Вновь кричит она, охранников кляня:

«Душегубы, вы отняли у меня.

Ни за что отняли сердца половину,

Без отца-то как расти джигитом сыну!»

Засмеялся Чоппойбай. И тут же грозно
Крикнул ей в лицо: «А ну, с дороги! Поздно!
Слишком поздно в Асылбаше спохватились,
А то очень перед нами заносились!

Вы запомните—сполна я заплачу

Всем в аиле за убитого Чотчу!

За убитого из вас погибнет сто!

Если ты это не сделала, так кто!

Посмотрите на бессовестную шлюху.

Нас дурачить у нее хватило духу!»

Он привстал в седле —
И яростно, сплеча
Полоснула по лицу ее камча!

Как ужаленная горною змеею,
Закричала. Крик взметнулся над толпою.
Зашумели возмущенно все вокруг:
«Найманбай, ее защита, ее друг!»

Муж ее веревку бешено скрутил:
«Будь же проклят твой отец и твой аил.
Будь ты проклят со своей хромою ногой,
Пусть же злость твоя согнет тебя дугой!

Чолпонбвй, ты ядовитей кара-курта!
Не жалеете, псы, набрасывайтесь люто.
Для меня ты не противник, не гроза!
На!» — и плюнул в Чолпонбаевы глаза.

Вдруг, как молния, сверкнул в руках клинок
Иджигитупал, схватившись за висок.
Над джигитом жена плачет на дороге.
И опять в пыли густой ступают ноги...

ПЕСНЯ НА ДОРОГЕ

Снопы бросают под каток,
И пыль стоит вокруг.
Весь день не покладают рук
Здесь двое молодых.
Для пожилого мужика
Всё — обмолот сейчас.
Чуть-чуть прихрамывает он

И слеп на один глаз,

И вздрогнул он, услышав вдруг

Слова: «Ко мне, Андрей!»

Он посмотрел на молодух.

Волнуясь все сильнее.

И тут увидел он конвой

И пленников-дежкан.

И вновь услышал: «Помоги.

Андрей, своим друзьям!»

«Вот что,— протяжно он сказал

И сразу мрачным стал—

Вот что!» — опять вздохнул старик,

Вздохнул и захромал

К дороге, к пленникам. И тут,

работу бросив, вдруг

Вслед за хозяином бегут

Невестки во весь дух.

И в удивлении они

Увидели среди них.

Увидели своих друзей.

Знакомых всех своих.

«Воды, воды!— они кричат,—

Воды, хотя б какой!»

Невестки стали причитать:

«Бедняги, боже мой!»

И вот несут они в горшках

И в крынках воду им.

Солдаты путь загородили

Штыками: «Не дадим!»

Невестка старшая одна
Прорвалась сквозь конвой
И крынку пленным подала
С холодной водой.

«Так дайте им воды, воды,
Зачем их мучить так!
Ведь ты, солдат, как и они.
Как и они — бедняк!
Ради чего ты гонишь их!
Какая их вина!
Вдовой оставила меня
Проклятая война!»

И женщины передают
Им воду по рукам.
Но отгоняет их конвой
Штыками от дехкан.
Солдаты крынки оземь бьют.
Отталкивают их.
Таков приказ: стрелять во всех —
В киргизов и в своих.

Старик Андрей стал умолять.
Униженно просить:
«Зачем жестокость! Дайте им.
Ради Христа, попить!
Во сне ль все это! Наяву!
За что же их казнить!
Такие люди не могли
Кого-нибудь убить!»

«Не понимаешь ничего,—

Сказал ему Джантай,—
Ведь это все бунтовщики.
Ты их не защищай!
Ведь эти псы, не знаешь ты.
Из самых злобных, тех.
Что могут вырезать у вас
В селе спокойно всех!»

Старик, не зная, что сказать,
Качает головой
И щиплет бороду свою,
И смотрит на конвой.
«Скажи, джигит, начистоту:
Крестьяне тут при чем!
Слышал, киргизы недовольны
Не нами, а царем!»

Потом старик помедлил чуть.
Всех оглядел опять.
Кто прав — дехкане иль конвой
Старик сумел понять.
И потому сказал Андрей:
«Я не видал нигде
Такого, чтобы рыба жить
Могла бы не в воде...»

«Запомнился мне пятый год,—
Опять Андрей сказал,—
Когда своими я руками
В простых людей стрелял.
Ради кого! Ради царя
Стрелял в народ простой...
Но становитесь же, солдаты,

На этот путь плохой!

И дрогнули концы усов

У пристава:

«Смутьян!

Не зря сочувствуешь, старик,

Тайком бунтовщикам.

А что б ты сделал, если б ты

Киргизом был, чудак!»

«Я! Япокаещенепробовал,

Вот так!..

А если вправду бы киргизом

Когда-нибудь я стал,

Наверно, так же, как они,

Против властей восстал!

Ведь на своей они земле

Хоть сеют, но не жнут,

На собственной своей земле

Беднее нас живут!

Могу ответить ли иначе!

Я не могу соврать.

Мне много лет, и не хочу

Я совести терять.

Вот потому я и царю

Ответ бы дал такой.

И я не стану ни за что

Теперь кривить душой!..»

Возле дороги запыленной,

Среди травы густой.

Бежит арычная вода

Под пеной голубой.

«Все потерять, все потерять –
Страшнее нет судьбы!»
И люди, жажды не стерпев,
Валились, как снопы.

И вот одна из молодых
Тем временем опять,
Чтоб пленных освежить водой.
Стала на них плескать.

Конвойный вдруг побагровел
И острием клинка
Кувшин с размаху разрубил
В руках у старика.
А молодуха закричала:
«Проклятье палачам!
Пускай за это никогда
Не будет счастья вам!»

И злобно пристав приказал:
«Их надо всех схватить.
Чтобы запомнили они.
Как за киргизов быть!»
И вот посыпались на них
Удары плеток вдруг.
И кровь густая потекла
По лицам молодых...

И обступили старика
Охранники. И тут
Набросили тугой аркан
На шею И ведут!..

«О дедушка»,— внучата плачут.

Бегут за стариком—
Одна из женщин на земле
В пыли лежит ничком.

И кровью черная земля
Опять обагрена.
Казалось, что переменялась
От ужаса она.

Наполненный стенаньем пленных.

Стоит сарай-закут.
И два молоденьких солдата
Сарай тот стерегут.
И слышат, как из-за дверей
Со всех, со всех сторон
Доносятся то женский плач.
То чей-то тихий стон...

Но подпускали никого.
Приказ — он ость приказ.
Никто хотя б глотка воды
Дехканам не подаст.
А двух мальчишек, что стояли
У замкнутых дверей,
Конвойные на допустили
До матери своей!

Заброшенный кыштак Аксуй
Среди песков и скал...
Теперь заброшенный кыштак
Военным штабом стал!
Теперь солдатами давно
Саманки все полны,

И только ругань да команды
По кыштаку слышны.

Вот так и вечер наступил,
Погас вдали закат.
И вот настала ночь, полна
Шагами тех солдат.
И замерла земля, шагами
Солдат оглушена,
Как будто слушала в ночи
Своих детей она...

Что ей, земле, и плач, и кровь!
Что ей, земле, до слез!
Когда их целые моря
Бесследно пролилось!
Земля родная, знаешь ли,
Что это кровь твоя!
Ведь погибают на тебе
Твои же сыновья!

В сарае средь нужды и горя
И страшной духоты
Сливаются глухие крики
В одни: «Глоток воды!»
Хотя бы капельку одну —
Терпеть уже невмочь...
Без силы валятся они.
Глуха, безмолвна ночь...

Они не могут осмотреться —
Лишь темнота вокруг.
Хотя и вместе все, но все ж

Не видит друга друг.
И на себе рубахи рвут
И раскрывают рты.
Чтоб воздуха глоток глотнуть —
Не этой духоты!

Кто послабее духом — просит:
«Ох, лучше смерть сейчас!»
А тот, кто телом послабей.
Не открывает глаз.
И, привалившись у дверей.
Один из часовых
С ухмылкой слушает в ночи
Глухие стоны их.

Прижавшись русой головой
К граненому штыку.
Другой из часовых молчит.
Почувствовав тоску.
Он боль почувствовал за тех.
Кого он сторожит.
«Да, дорогой ценою платит
За бунт простой народ...

Чего ты скалишь свои зубы.
Над чем смеешься ты!
Страданья эти даже черту
Нельзя перенести!
Ведь даже бабочке — и той
Охота жить всегда.
А кто спасет этих людей,
Когда пришла беда!
Они ничем не хуже нас,

Ни в чем их нет вины.
Только свободой и землей
Они обделены.
И если есть в тебе хоть капля
Еще стыда — пойми.
Каше муки пережиты
Вот этими людьми!

Ты маешь старика Андрея
Уже не первый год.
Ом сердцем добрый человек
И никогда не врет!
Вот и его арестовали —
И это неспроста,—
Но поглядев, что у него
Два на груди креста».

«А ну, молчи»,— сказал дружку
Тут первый часовой.
«Я только правду говорю!» —
Настаивал второй.
И первый снова стал ругаться
И друга упрекать:
«К кому лежит твоя душа.
Ты должен мне сказать».

«К кому лежит моя душа!
К народу — вот к кому!
И предан я как верный сын
Ему лишь одному».

«Ах, вот каким ты оказался!
Вот так ты верен нам!

Ты власти изменил своей,
Примкнув к бунтовщикам!»
И часовой полез в карман
Поспешно за свистком.
«Ведь и обязан донести
Начальству обо всем!
Такие речи — это бунт!
И ты за свой язык
Туда, к товарищам своим.
Пойдешь, как тот старик!»

И он поднес свисток к губам.
Спокоен и жесток.
Но не успел подать сигнала —
Прикладом сбит был с ног.
Второй солдат открыл сарай.
«Свободны вы, — сказал. —
Бегите, кто куда, друзья!»
И в темноте пропал...

Поднялся шум по кыштаку
И топот тысяч ног.
Гремели выстрелы всю ночь,
Стреляли все, кто мог.
И офицеры на конях
Носились меж солдат.
И до утра кыштак Аксуй
Был паникой объят.

И кулаки вооружились.
Чтобы властям помочь.
По избам рыскали они.
Как будто псы, всю ночь.

И каждый угол, каждый дом
Обыскан был.

Из дома в дом, из дома в дом
Хмельной разбой ходил.

Искали скрывшихся дехкан

По избам и во мгле

И вилами кололи их.

Таскали по земле...

Иных давили сапогами.

Чтобы, озлясь, потом

По голове наверняка

Ударить топором.

А пристав, на коне привстав.

Сказал: «Спасибо вам

За службу верную царю

На страх бунтовщикам!

А если кто из вас того

Солдата приведет.

То, господа, вас всех тогда

Моя награда ждет».

Темна, как пропасть, эта ночь,

Темна, как камни скал.

И все товарищи мои

Убиты наповал...

Темна, как пропасть, ночь, страшна

Ни света, ни дорог...

Порог свободы! Ты порог

Страданий и тревог...

КОГДА ТОЛЕК РАЗГНЕВАЛСЯ

Подтаяв под седыми облаками,
Снега, как глыбы, падают на камни,
И все ручьи под пеной снеговой
Становятся одной большой рекой.

Она, клубясь,
Несется с гор Тянь-Шаня
На валуны,
Подобная мечу,
Клубятся ее волны, словно пламя,—
Покрыта белой пеной речка Чу.

Несутся ветки со щепой, с камнями,
И волны то тихонько, то рывками
Подталкивают их, и разлита
От этого на волнах красота.

Оглохли горы от речного гула.
И сила в ней такая.
Что верблюда
Перевернет и выбросит, как кость.
Такая, что скалу пробьет насквозь!

С вершин несутся, словно вихри, воды.
Ни перехода нету здесь, ни брода,
В тревоге люди шепчут:
«Нет пути.
Без брода нам реки не перейти!»

Они толпятся возле Чу. Как галки.

Увидевшие ястреба.

Галдят.

В руках у них чоюнбаши и палки,

А у иных в руках клинки блестят.

Одни бросают вверх свои булавы.

Другие хвалят острые кинжалы.

Привязывают к пикам неспроста

Пучки волос из гривы и хвоста.

Одни хвосты коней в узлы связали.

Другие же им челки расчесали,

А третьи седла пробуют: не трут!

Оглядываясь, все кого-то ждут.

Здесь старики в годах.

И, в седла влиты.

Красуются на скакунах джигиты.

Здесь ханом себя чувствует любой.

У этих — впереди живот большой.

Со всех концов на вороных, каурых

Собрались люди...

Только в даях бурых

Пыль закружится темными столбами —

Они кричат:

«Покончим с казаками!»

Вот с запада, со стороны поселка.

Где хлеб стоял.

Пыль поднялась высоко,

И, приняв это за победы знак,

Повстанцы закричали:

«Сломлен враг!»

Толек сказал: «Кто брод в реке отыщет,

Того почет в глазах людей возвысит,

Кто справится с Антоном-хитрецом

Тот прослывет навеки храбрецом».

Сказал джигит: «Скакун здесь лучший нужен

И руки не пустые, а с оружием

Из золота,

Чтоб знатен был и смел».-

И на Толека хитро посмотрел.

И яростно Толёк глаза таращит:

«Пусть будет у тебя

Дочь неродящей,

Недаром говорят о бедных так:

«За жизнь свою всегда дрожит бедняк!»

Хоть царь совсем не бог, но он — от бога.

Я говорил вам всем,

Что будет плохо,
Когда его ослушаетесь вы,
Я говорил, что кара будет строгой!

Вы разбудили спящего дракона.
На смерть пошли, не слушаясь закона.
Когда царев нарушили приказ.
Теперь мы виноваты из-за вас.

Нас сдуло вслед за вами тем же ветром,
Вы не внимали добрым тем советам.
Которые давали мы...
Как псы.
Скитаетесь теперь в горах, юнцы.

После всего как смеете вы спорить!
Брод нужно отыскать немедля, вскоре.
Как смеете просить коней сейчас,
Когда совсем не слушаетесь нас!»

Толек торжествовал без Алымкула
И без Джунуша.
Средь глухого гула
Толпы людской Толек услышал: «Здесь
Никто не смеет слова произнести!»

Старик, что на гнедой своей клячонке
Держался тихо, от толпы в сторонке.

Воскликнул вдруг:
«Джигиты, в чем печаль!
Ради народа и души не жаль!

Народ мой протянул к свободе руки,
С которой мы столетьями в разлуке.
Получит он ее — я получу.
Вот потому ему помочь хочу.

Если погибну..
Поздно или рано
Зарежете вы, может быть, барана
И вспомните добром о старике...»
И вот старик уже плывет в реке...

Толек признал в том старике отважном
Того, кто помогал ему однажды
Когда-то Алымкула обмануть.
«Ну, что же, простодушный, добрый путь!»

Насмешливо Толек сказал: «Счастливо...»
Волна перекатилась через гриву.
Коня перевернула тяжело...
И старика на запад унесло...

КАК ХОТЕЛИ УБИТЬ АНТОНА

А пильщики, когда о том узнали.
Что обложил их бунт со всех сторон,
Нехитрые пожитки побросали
И наутек. Остался лишь Антон...

Как снег, упали новые заботы.
Антон одною думою томим:
«Нет весточки от Алымкула что-то!»
И вновь тревога: «Что случилось с ним!
Беда, наверно, с другом приключилась.
Иначе столько бы не появилось
С оружием народа в этот час...
Мой друг бы позаботился о нас!»

А всадники, нахмурив грозно брови,
Держали свои ружья наготове.
И, окружив со всех сторон село.
Невесть кого ругали они зло.

Они камчой грозили возле окон.
Видать, польется снова кровь потоком!
И лихо забавлялись у плетней —
Лупили палками напуганных свиней.

Те сытых уток и гусей хватали,
Портрет царя на пики подымали,
А эти жгли сараи и хлева
И, похваляясь, громко хохотали.

А у иных всего лишь и заботы —
Обсасывать разбросанные соты.
А пчелы жалили им щеки и ладони.
Ужаленные взбрыкивали кони.
Другие же амбары разбивали
И родичам пшеницу раздавали.

Увидев новых конных на дороге,
Жена Антона кинулась в тревоге
К своей избе: «Скорей, Антон, скорей!
Нет Алымкула и его друзей!»

И в страхе говорит она Антону:
«Спустись скорее в погреб — нас не тронут.
Следи, чтоб не обидели детей,
А если что — стреляй тогда верней!

Перед врагами я, Антон, не струшу!»
И тут же отворила дверь наружу,
Увидела: с дубиною в руках
Стоит джигит в распахнутых дверях!

Он бросился, как барс, один из первых,
Поднял дубину: «Режьте всех неверных!»
И начал тут все сокрушать вокруг.
Из порванных подушек взвился пух!

Везде кружат джигиты исступленно.
Поволокли во двор семью Антона.
Одни кричали: «Бросим их с обрыва!»
Другие же стояли молчаливо.

А третьи брали в избах, что попало:
Скатерки и с кровати покрывала,
И пиджаки, и чашки, и халаты!
И волокли, и все им было мало!

«Ты не ходи, ты не бери чужого!—
Старик джигитам говорил сурово.—
Любил Антона за хлеб-соль народ.
И нас хлеб-соль за это проклянет!»

И вдруг запылали стены дома,
Треща, запылали, как солома,
И стал костром простой крестьянский дом.
Откуда ни возьмись — Антон с ружьем.

И всадники на месте вдруг застыли.
Как будто их водою окатили.
Сковал лихих джигитов страх слепой:
Из пламени Антон идет живой!

Джигиты смотрят в страхе друг на друга.
Иные побежали от испуга.

«Он не сгорел в горящем доме, там,
И, значит, он иль ангел, иль шайтан!»

Старик, что заступился за Антона,
Застыл на месте. Смотрит удивленно.
«Смотрите, люди, бог не захотел —
И вот Антон в пожаре не сгорел!»
О том, что в доме был подвал, откуда
Киргизам знать!

Все зашумели: «Чудо!»
Веленьем бога, видно, он спасен!
Смеясь, к повстанцам подошел Антон.

Тут каждый растерялся от испуга.
Любой старался спрятаться за друга.
«Ведь только камень пламя не берет!
А может, он пророк, а может, черт!»

Старик с Антона глаз своих не сводит,
К Антону, низко кланяясь, подходит:
«Ты знай, что мои помыслы чисты.
Бессмертный человек, скажи, кто ты!!

Когда она невинна, то без толку
Не может поломаться и иголка.
Так поклонись ему быстрее, народ!
Кто до него дотронется — умрет!»

Антон вопросам удивился этим
И улыбнулся снова, прям и светел,
И ободрен вопросом «Кто такой!»
Сказал: «Антон я, человек простой!»

Вы знаете, из рода я какого.
Что никогда не делал вам худого.
Вот мое сердце — это в пашей власти
От злобы разорвать его на части.

Я вас не сторонился, как Метрей,
Пока над нами будет белый царь.
Не будем знать свободы мы и счастья.
Ни вам, ни нам не распахнется даль.

Я вас не сторонился, как Метрей,
Нет этого на совести моей.
И Алымкулу дал я слово чести:
Все испытанья встретить с вами вместе».

«Ты Алымкула называешь другом!» —
Тогда воскликнул бай Толек с испугом.
Подумал: «Что же делать мне с тобой,
Когда ты вправду, может быть, святой!»

«А почему живым в огне остался!» —
«Я в погребе,— сказал Антон,— скрывался»
И тут Толек на стремянах привстал:
«Неверного убейте!» — закричал.

А самые отпетые вдруг дико,
Отчаянно пришпорив скакунов.
Нацелили отточенные пики.
«Любой из нас его убить готов!»
И раздалось: «Чего жалеть, скажите,
К хвосту коня за шею привяжите!»
Но есть такие, что хотят помочь:
«Он невиновен! Ну-ка, пики прочь!»

И, глядя ка толпу людей открыто,
«Постойте,— говорит Антон,— джигиты.
Нетрудно кровь невинную пролить,
Я пригожусь еще вам, может быть!»

Мы делу одному, джигиты, служим.
Об этом скажут Алымкул с Джунушем,
Ну, кто не знает дома моего!
И из песка здесь сердце у кого!»

И снова гул: «Чего мы время тратим!
За нашу кровь сполна ему заплатим!»
И баев сын в одежде дорогой
Ударил его в голову ногой.

И как трофей, с него одежду сняли
И руки за спиной ему связали.
И в голове его, как муравьи,

О близкой смерти думы побежали.

Когда жена все это увидала.
На землю без дыхания упала.
Но только что подъехавший Мурат
Обнял при всех Антона, словно брат:

«Антон всегда был честен перед нами.
Что любит нас, он доказал делами.
Нам против тех на бой идти пора.
Кто никогда не делал нам добра!»

Вот трое конных сквозь толпу несутся:
«Неправые здесь речи раздаются!»
 «Дай, заколю!»
 «Нет, дай-ка лучше я!..»
Народ стоял, молчание тая.

Верзила, что стоял перед Антоном,
Вдруг кинулся с кинжалом обнаженным:
 «Чего жалеть его, чего смотреть!
Неверному одна награда — смерть!»

«А ну-ка, прочь,—Мурат вскричал без страха.
На друга поднял руку ты, собака!—
Затряс он в гневе бородой седой.—
Киргиз за друга должен встать стеной!»

Он был наш друг. И это всем известно.
Провел среди киргизов жизнь Антон,
Он собирал легенды наши, песни.
Заботился о наших внуках он.

Чьи руки хлеб и мясо нам давали.
Когда в голодный год мы помирали.
Чей дом всегда открыт для бедняков!
Спросили бы вы лучше стариков.
О нем слух по аилам прокатился.
На наше счастье здесь он появился!

Это Антон, любовью к нам согретый.
Весь хлеб киргизам отдал до зерна
И ничего не попросил за это.
Да, добрый он!
А это — не вина!

Забывчивость киргизам незнакома.
Хотя б уважьте бороду мою,
А борода, известно, не солома.
Он должен быть свободным, говорю!

Ведь каждый, кто отведал его хлеба,
Благодарил его тогда за это:
«Антои-тюре, спасибо, тынаспас».
Падет позор за смерть его на нас.

Так поступить бесчестно и без толка!!

А кто собрал у мужиков поселка
Хлеб и муку для нас в голодный год!
Забудет это разве наш народ!

И мы в вину ему все это ставим!
Ведь он давал нам в голод пить и есть!
Не зря же называют Орусбаем
Младенцев все киргизы в его честь».

«Мурат-аке, твои слова правдивы,
Киргизы, сам ты знаешь, справедливы.
За то, что за Антона встал, любя.
Обнимем крепко, как друзья, тебя».

Вот так сказал киргиз с бородкой рыжей.

Он из толпы обнять Мурата вышел:
«Мурат-аке, как справедливы вы!
Пусть даже волосинка с головы
Антоновой, Мурат, не упадет.
Молиться на тебя готов народ».

Со всех сторон несутся крики снова,
Как маслом по сердцу — такое слово.
«Спасиботебе, добрый аксакал».
Старик Мурат, весь посветлев, сказал:

«Обычай наш, что предки завещали:

«Надоброе—добром»

Мы соблюдали.

В том мудрость наша древняя сильна.

Пусть знает небо и родные склоны:

Того, кто тронет нашего Антона,

Пусть проклянет вот эта седина!

Пусть проклянет великий дух Манаса!

А где наглец, который попытался

Убить его кинжалом! Покажись!

Иди сюда, с Антоном помирись!»

«Мурат-аке, ты сын, отца достойный!—

Сказал Толек с улыбкоюспокойной.—

И мы тебя благодарим сполна».

А сам одернул полу чапана.

По давним и проверенным приметам,

Кто ссорящихся мирит и при этом.

Одергивая полы, говорит,

Тот против них недоброе таит!

В свидетели призвав поля и горы,

Мурат молчит, чтоб вновь не вызвать ссоры,

Антон стоит, спокоен и суров.

«С таким народом я на смерть готов!»

СТОЛКНОВЕНИЕ

I

Пишпекский пристав, зря не тратя слов.
Издав приказ: «Стрелять в бунтовщиков».
Велел он Чолпонбаю и Аджи
Идти на них с отрядом казаков.

«Направьте на мятежников все силы,
Сжигайте беспощадно их аилы».
И двинулись отряды, как один.
На Иссык-Куль, на Чу и на Нарын.

«О господа, вы подавить сумели
Мятеж в своих аилах. И на деле
Верны царю. И вас я награжу,
Когда конец настанет мятежу.

Вы мой приказ должны запомнить крепко,
А тот, кто не исполнит вдруг его...
Как яблоко легко срывают с ветки.
Так голову сорву я у того.

Добро бунтовщиков и их стада
Добычей вашей будут, господа!
Мятежников судьба у вас в руках,
И верность докажете вы в боях!»

И баи с Чолпонбаем вместе рады.
Им видятся добыча и награды.
Он говорит: «За вас и за царя
Не пожалею жизни своей я!

Ни почестей, ни тоев нам без вас!
Мы выполним Фольбаума приказ.
Мы обещаем, мы клянемся в этом!
А если нет — пусть царь повесит нас!»

В знак клятвы по щеке провел рукой
И поклонился низко раз-другой,
Сел на коня
И с толмачами рядом
Помчался за карательным отрядом.

II

Дым над хлебами, словно туча, черен —
Горят хлеба с жемчужинами зерен.
И птицы через огненную ночь
На опаленных крыльях мчатся прочь.

По всей долине Чуйской дым свинцовый,
Горят проселки, выгорают села...
И кажется, что пламени река
Вот-вот и подожжет все облака.

И день дымами тучными затмило.

Пыль с жаром перемешана.
Слепы,
Мчат всадники — в руках дубины, вилы —
По огненной, пылающей степи.

Горит земля вокруг, горят амбары...
Средь всадников — Антон на кляче старой.
Бежит она, качаясь на ходу,
У всадников на длинном поводу.

«Не убивать, не отпускать Антона,
Он пригодится — нужный человек», —
Не зная, чья возьмет, определенно.
Так думал осмотрительный Толек.

И мрачные предчувствия наплыли.
Крепись, Антон чтоб ни было — молчи!..
Народ же смотрит, чтобы богачи
Свирепые Антона не убили.

Беда Антона все ж не подкосила:
«Попутала какая меня сила!
Я без друзей погибну здесь один,
Не зря же так старается Ашим!»

И мысли в голове, как будто пламя:
«Вот если б Алымкул приспел с друзьями!
Тогда бы он освободил меня
И посадил на быстрого коня.

Я б в руки пику взял и нож надежный
И кинулся бы смело в бой кромешный,
Я бился бы с врагами горячо
И чувствовал друзей своих плечо!

О, как следит за мной Ашим упорно:
Бойтся — убогу по кручам горным.
За связанным следить какой же толк!
Ашим богач. Богач для бедных — волк.

Погибнуть от Ашима — мало чести.
Готов я умереть с друзьями вместе,
Лишь бы не так, лишь бы в лихом бою.
Чтоб в преданность поверили мою!»

И вдруг казаки из лощины в гике —
И засверкали яростные пики,
И тут сказал один из стариков:
«Что б ни было — обычай наш таков:

Хотя врагов, как на степи травинок.
Пусть кто-нибудь из вас на поединок
С храбрейшим из карателей пойдет!
Пусть это им Антон переведет».
Антон сказал: «Все это бесполезно.
Каратели—нерыцари, известно!»
А кто-то из горячих седоков:

«На слушайте, джигиты, этих слов!»

«И все же, поединок здесь не нужен.
Мы казаков со всех сторон окружим.
Остры кинжалы, пики не тупы.
Иначе вас повалят, как снопы!»

Но бай Ашим не хочет отступить:
«В такое время с пленником возиться!
Когда идем с врагом на смертный бой,
Не лучше ли покончить нам с тобой!!»

Попробуй-ка остановить лавину —
Так мысли в голове не удержать:
Ведь если в суматохе здесь погибну,
Кто я такой— никто не будет знать...»

Но тут загрохотало по ущелью,
Вот пули засвистели, полетели
С киргизской исказачьей стороны.
И на дыбы поднялись скакуны.

Толпятся люди всюду, будто льдины
В весенний ледоход

И вот лавиной
Джигиты на своих врагов летят
И клич летит: «Собода-ураят!»»

Вот пики на лету качнулись грозно,
Вот бунчуки взметнулись как стрекозы.

И спешили каратели с коней
И в цепь легли, чтобы стрелять верней!

Навстречу град посыпался свинцовый —

Хватило б по три пули на любого.

И у врагов на лицах торжество:

Секира иль винтовка — кто кого!

Но есть закон среди воинов известный:

«Ну, выходи на поединок честный!»

И трое из джигитов

Скакунов

Тут повернули на своих врагов.

Помчались, гордым мужеством объята.

И залп на них обрушили солдаты.

Но мчат вперед джигиты сгоряча.

Хоть пули кружат, словно саранча!

Вокруг еще сильнее зажужжало.

И несколько людей в толпе упало.

Все бросились в укрытие, в кусты...

Навстречу пулям мчатся храбрецы.

В сердцах у них, как будто пламя, ярость.

Все затопить она могла, казалось!

Перед глазами ожили на миг:

Кочевья... Снег

Среди вершин крутых...

И песня на комузе. Скачки, скачки...

Все промелькнуло сразу, как в горячие.

Все радости и муки.

И вся жизнь...

На честный бой три удальца неслись.

Их головы завязаны платками.

И все сильнее коней своих хлестали.

Вперед, вперед! На спешенных солдат!

И гривы сами по ветру летят.

Народ глядит вослед им, восхищаясь,

Все мимо, мимо пули! Враг, отчаясь,

Помедлил: против тысячи одни!

А может, заколдованы они!

Они на поединок мчатся вместе.

В бою погибнуть — выше нету чести!

Скачок! Еще скачок!

И выстрел вдруг —

И падает на землю первый друг.

Он повалился набок тихо-тихо,

В руке его навек застыла пика.
Не разогнуть джигитову ладонь.
Остановилось сердце, словно конь.

И мир перевернулся в черном дыме.
Он головы теперь не приподнимет
И не увидит белых горных гряд.
Не крикнет клич свободы: «Ураят!»

Но двое мчат! Останови лавину.
 Попробуй-ка
 И вот бегут в лощину
 Растерянно солдаты. И присел.
 За голову схватившись, офицер.

Один настиг солдата у лощины
 И пикою его ударил в спину.
И сам упал, застреленный в упор.
А конь его, что мчал во весь опор.

Вдруг, волоча поводья, закружился
 И возле мертвого остановился,
Словно надеясь, что очнется друг,—
 Поводья ж он не выпустил из рук!

Среди повстанцев пронеслось пожаром
 Из уст в уста:
 «Друзья, беда с Джапаром!»

И дальше понеслось во все концы:
«О, почему же гибнут храбрецы!...»

А третий, ничего не вида, мчится,
А третий, как в горячке, не боится.
Что по нему сейчас начнут стрелять.
Промчался, повернул коня опять

И с пикой полетел на атамана.
Но вот раздался выстрел из нагана.
И было видно всем сквозь пыль и дым:
Конь рухнул, как подкошенный, под ним.

И пика с треском пополам сломалась.
Джигит вскочил — глаза слепила ярость —
И бросился к солдату...

И упал,
В упор сраженный пулей наповал.
«Враг струсил и не приняп честной
схватки!»-

Так кто-то крикнул...

А враги в порядке
Вновь залегли и начали опять
На выбор по мятежникам стрелять.

А пули, что повстанцы посылали
Из черных ружей, в цель не попадали,
Летели криво, вбок летели, вкось,
Дырявили одну листовку насквозь.

Каратели, не торопясь, стреляли.
Каратели цель метко выбирали,
И брали на прицеп — приказ суров —
И маленьких детей, и стариков.

Сравнится с кровью раненых река лишь!
Как пчелы, пули в всадников впивались.
Одни висели мертвыми в седле.
Другие же
Все рвали на себе!

Одни за полу всадников хватали.
Другие же о помощи зывали,
А третьи, о своей беде забыв.
Кричали над убитыми: «Ты жив!»

Один за хвост коня схватился от страха,
Другой от горя вспомнил об аллахе,
А третий же, схватившись за коня,
Кого-то молит: «Но бросай меня!»

Кто валится под конские копыта,
А кто кричит: «Сюда быстрее, джигиты!
Здесь пули не достанут никого!»
Кто, на коня надеясь своего,
Усаживает раненого друга
К себе в седло.
Кто ищет от испуга
Убежище себе в траве густой,
Кто спрятаться стремится за горой.

Хватаются за голову руками
И прячутся в ложок или за камень,
Залиты кровью полы чапана.
«Свобода! Как дается нам она!»

Трава набрякла кровью, как росой.
Чумная пуля бродит за спиной.
И пулями изрытые луга
Словно зывают: «Победи врага!»

И на земле, и в небе страшный грохот.
В ущелье все от выстрелов оглохли.
Охвачена долина вся огнем.
Огонь буланным проскакал конем.

И птицы поднялись и улетели,
И хищники сбежали из ущелья.
Огонь идет по всей моей земле,
Орлы уносят пламя на крыле.

Идет пожар, пожар шагает грозно,
Уводят их подальше от огня.
И кекелики уступают гнезда
Пожару. И, птенцов своих храня,

А маленькие птенчики, не в силах

Взлететь с земли не крыльях своих хилых,
В том пламени сгорали без следа.
А матери за ними вслед — туда!

Кружат орлицы над гнездовьем бывшим.
Все улетают в небо — дальше, выше
И громкий крик уносят к высоте.
Уносят зайцы пламя на хвосте.

Мертвы и малыши, и аксакалы.
Рвут вороны бока у скакунов.
Казалось, мать-земля моя стонала,
Не в силах защитить своих сынов.

На скалах, кровь почуявшие птичью.
Поднялись грифы, сторожа добычу.
Они кружат над пламенем густым,
Им крылья согревает горький дым.

И беркуты вновь в поднебесье взвились.
Казалось, реки все остановились.
И вслед за хищной рыбой мелюзга
Забилась в страхе вдруг под берега.

На землю небо рухнуло, казалось,
Густая кровь повсюду растекалась...
Седой Тянь-Шань хранит уж столько лет,
Как память этих дней, багряный цвет!

ВЕСТНИК

Уже давно Джунуш был «Быстрым» прозван,
Ведь он с любой работою знаком.
И потому восставшими был послан
С особым поручением в Боом.

Джунуш прослыл отважным человеком
Уже давно.
Повстанцы потому
Связь между Караколом и Пишпеком
Перерубить доверили ему.

Так кончилась в аилах подготовка
(На трех джигитов лишь одна винтовка),
Когда они увидели обоз.
Который на Боом оружие вез.

Вот уже рядом брочки, в ста шагах.
Солдаты держат ружья на руках.
Увидев их, Джунуш сказал джигитам:
«Ложитесьвозлеберега, вкустах!»

Друзья легли спокойно, не робея.
Джунуш сказал им шепотом потом:
«Мы добежим до берега быстрее
И там на них неожиданно нападём!»

И сам прилег и, прячась за камнями,
Пополз вперед, работая руками.
На бричке офицер сам восседает
И все вокруг в бинокль озирает.

Над Иссык-Кулем клубы темной пыли.
Как будто облака густые, плыли...
И офицер в ту сторону глядит
И что-то подчиненным говорит.

Вот перестук вдали раздался дробный.
Солдаты тут насторожились злобно.
Не видно им, что впереди, в кустах,
Повстанцы появились на конях.

Это была Джунушева засада.
А в это время.
Где Омпол громады,
С той стороны идет толпа людей.
Знамена реют стаей голубей.

Джунуш же ловит каждый звук и шорох
Из узелка отсыпал тихо порох
И у винтовки ствол поцеловал.
«Не подведи и в этот раз», — сказал.

Вот брички где-то рядом загремели.
Вот офицерский китель на прицеле

И лоб его покатый... Бей, Джунуш!
И выстрел прокатился по ущелью.

Он прокатился прямо к Иссык-Кулю.
И вот уже шторой — вторая пуля
В переднего ударила коня,
И крики в этом гуле потонули.

Джунуш с друзьями вовремя успели.
Их выстрелы неожиданно прогремели,
И к бричкам смело бросились они.
Крича для страха: «Бей солдат, коли!»

И кони, брички — все перемешалось.
Солдаты, бросив ружья, разбежались.
И кинулись повстанцы из кустов
К обозу, где убитые валялись.

Джунуш брезент с тех бричек быстро скинул.
«Джигиты, здесь винтовки!»—громко крикнул.
Вот прискакал посыльный впопыхах:
«В Байкаше нас настиг внезапно враг

И захватил его врасплох и выжег,
Я ж кровью изошел и телом высох,
Ведь пуля мне под ложечку вошла,
И все же но упал я из седла!..

Джунуш! Глоток воды! Душа устала.
Когда найдется на врага управа!
Гляди, Джунуш, весь мой чапан в крови.
Прошу, Джунуш, врага останови!

Аилы грабят слуги Чолпонбая,
Наших невест, как пленниц, забирая.
Жгут юрты, угоняют в горы скот.
Умри, но заслони собой народ!»

Старик с последней силою собрался,
В седле за гриву еле удержался:
«В глазах темнеет, сердце холодеет...
Неужто враг народ наш одолеет!»

Старик в седле своем качнулся снова:
«Послушайте, джигиты, мое слово
Прощальное, поверьте вы сполна.
Пускай узнает старая жена,
Что бог в бою не уберег меня.
Отдайте ей последнего коня...»

ВОТ КТО ОН!

Увидев, как бегут от смерти люди.
Толок сказал: «Вот так судьба их судит.
Коль ты, Антон, нам верен от души.
Карателям всю правду расскажи!

Ведь ты все время находился с нами,
И знаешь, кто смутьян, кто не смутьян.

Тебе поверят.

И теперь, как пламя.

Восстание погасло среди дехкан.

Хотелось, чтобы все они узнали,
Как в стороне все время мы стояли —

Я и мои джигиты... Никогда б
Против царя манапы не восстали.

И чтоб помочь властям своим делами,

Я обо всем им сообщал ночами
Через своих проверенных гонцов.
Всегда престолу я служить готов!

А ну, Антону руки развяжите.

Если тебя ударил кто—прости ты...

Вернуть ему сейчас же сапоги!
С Антоном мы, манапы, не враги!

Правда, тебя унизили немного.

Плетьми хлестали, не суди их строго.
Чтоб жизнь свою сласти—я знаю сам—
Для вида ты примкнул к бунтовщикам».

Так и сказал. Надменно ждал ответа
Со своего высокого седла.
Переминался резво конь Толека
И грыз нетерпеливо удила...

Стоял Антон простоволосый, смелый.
Еще болело от аркана тело,
И ссадины болели, и плечо.
И он спросил: «Что скажешь ты еще!»

Толек надменно указал рукою
Туда, где находилось поле боя:
«Где Алымкул! И где его друзья!
Где все, кто бунтовал против царя!
Так вот, они валяются, как туши.
Теперь тихи, отдавши богу души,
А их щенки средь горя и невзгод
Навек запомнят этот страшный год.»

Толек смеется вновь невозмутимо.
Подзорную трубу взял у Ашима:
«Вон ту солому мертвую и шерсть
Пера ветрам по всей степи разнести!»

Антон глядит в трубу и видит:
Всюду
Бегут, от пуль спасаясь, наши люди.
Вот мать сидит, хотя свистит шрапнель,
А перед ней—пустая колыбель.

Убитыми покрыта вся равнина.
Вот мать, обнявши раненого сына.
Рыдает: «Пусть услышит белый свет:
Кто сына ранил—проклят будь навек!»

Кровавое отпраздновав веселье,
Фольбауму отправил донесенье
Сам атаман.
Где, не жалея слов,
Расписывал он доблесть казаков.

«В жестоких битвах против сил несметных

Мои солдаты дрались беззаветно.
Отваги и усердии полны,
Государю и родине верны.

Недоедая и недосыпая,
Недели без глотка воды подчас,
Они грозою были всего края,
Чтоб выполнить высокий ваш приказ.

Манапам, что верны царю остались,
Имуществоискотвернулимы,
О Чолпонбаю доложу: старались!
Они престолу до конца верны.

Осмелюсь доложить, мятеж подавляй,
Наказан каждый был, кто виноват,
И мною лично список был составлен
Достойным награждения солдат».

Антон, в трубу увидев атамана.
Подумал горько: «Что им говори,
А жизнь пока несправедлива странно:
Один ждёт ночи,
А другой—зари.

Ты с этою землей навечно связан,
С ее народом и ее бедой.
Не зря ведь солнце великаньим глазом
Глядит на землю древнюю с тоской».

И эта явь еще сильная гнева
Наполнила Антона. И тогда
Вскричал Толеку он в порыве смелом:
«Ты не пугай меня. Ведь тварь, и та

Нужней тебя, смелей тебя и лучше!
Предатель—лишь предательству ты учишь,
Чтоб шкуру свою подлую спасти.
Продал народ и братьев своих ты!

А те, что степи кровью затопили,

Они, как ты, народу изменили.
Кто в бедствиях народ свой предаёт—
На тех всегда возмездно падет.

Кто я! Я всей душою с теми,
Что проливают кровь свою всё время,
Униженных я сын, и потому
И счастье одному мне—ни к чему!

Антон на твою сторону не встанет —
Не сломят ни страдания, ни страх.
Мне показало явственно восстание,

Кто друг мне верный, кто давнишний враг».

«О,—закричал Тонек,—он не боится!
Могу ль спокойно это слышать я!
От слов таких ведь могут совратиться
Не только бедняки, но и земля!»

ГОРДЫЕ ДЕВУШКИ

Не мог аил бедняцкий, беспокойный,
Дать без оружия отпор достойный.
Ворвался Чолпонбай ночной порой,
И начался везде кровавый бой.

Нехитрый скарб бедняцкий—вся нажива.

Здесь правда—это тяжкий вас булав.
Трех девушек красивых отобрав,
Погнали их к скалистому обрыву.

А впереди—лишь камни, камни, камни.
А позади их—с острыми клинками
Стоят джигиты...
Власть—она ведь власть.
И Чолпонбай заговорил, смеясь:

«Красавица, хотя твой род бедняцкий.
Богатой станешь ты, как будто в сказке,
Тебя я осчастливлю, говорю,
И скот тебе несметный подарю.

Родители твои погибли, может,
Но Чолпонбай их отыскать поможет,
А если приказали долго жить —
С почетом их велит похоронить!

Спины ни палка, ни камча не тронет,
Я буду тебя нежить, буду холить.
Не упадет слеза из глаз твоих.
Я дам тебе работников троих.»

Но девушка, слез горьких не скрывая,
С презрением глядит на Чолпонбая:
«Найдется ль где еще подлец такой,

Чтобы вот так же предал край родной!!

Чего ты ждешь от нас от всех за это!

Ты—негодяй, вернее слова нету!

Ты лучше в сердце мне кинжал вонзи.

Иль всех, тобой убитых, воскреси!

Как ты посмел мне предложить такое!

Кто сможет вместе жить с такой змеею!

Змеиной лаской удушить хотел

Ты на крови людской разбогател!»

Тут Чолпонбай, не выдержав, как вскочит,

И голову клинком ей снёс. Хохочет.

И кровь фонтаном брызжет из-под кос...

«Уф!»—атаман с улыбкой произнес.

И, вытерев клинок неторопливо.

Велел он сбросить девушку с обрыва.

И яростный, стремительный поток

С камнями вместе тело поволок.

Подруги же, верны девичьей чести.

Чтоб баи надсмеяться не смогли.

Обнявшись крепко, полетели вместе

В речную пропасть

С той крутой скалы.

Обрыв молчит, навек окрашен кровью.
Трем девушкам поток лег к изголовью.

Поток сказать желает, может быть:
«Картины этой мне не позабыть!»

НАРОД НЕ ОШИБАЕТСЯ

Джигит в рубахе красной.

Словно птица.

Махая шапкой, среди повстанцев мчится.

Кричит он: «Алымкул бежал из плена!
Джунуш отбил оружие для нас!..»

И бай Толек бледнеет. Но тотчас
Себя взял в руки, кашлянул степенно,

Притворно улыбнулся:

«О, тогда

Пусть будет у тебя, джигит, еда.
Бессмертие в еде... Закон храня,
Зарежем в честь тебя, джигит, коня!»

Гладит старик белобородый строго
С коня хромого: «А винтовок много!»—

«Их более трехсот лежит в обозе.
Ну, а патронов—словно звезд у бога!

Винтовки мы поделим меж собою,
А с ними нам не страшно ничего.
Джунуш Антону передал со мною
Винтовку—взнакдоверьясвоего».

«Ой, этот русский, видно, очень ловкий.
Хотел сбежать он со своей веревки!»—

«Ты с голоса Ашимова поешь.

За тыщу леттакого но найдешь.
Как этот русский. Баи захватили
Его с собой и нас не подпустили,
К нему: мол, все вы вместе с ним,
Так говорит Толеков сын Ашим...»

«Не знаем, как с оружием поступит,
В упрямстве никому он не уступит». —
«Он против нас таит, наверно, гнев,
Как раненый смертельной пулей лев.»

«Стрелять! В кого?» —
«Да в сыновей киргизских,
И значит, он хитрил всегда... Так, так...
Мы думали, что он из самых близких,
А раз не так, то ваш Джунуш—дурак!»

«Не в нас, а во врагов стрелять он будет.
Чего болтать—он только так поступит!»---

«Смотрите! Перестрелку у кустов
Джунуш затеял с сотней молодцов!»

И в самом деле пули вновь запели,
Из седел трое всадников слетели.
И атаман, что, хвастаясь, писал
О бедствиях.
Теперь их испытал!

Летят при перестрелке пули густо,
Джигиты за кустами бегутся.
Солдаты смерти ждут своей в тоске,
И жизнь у всех висит на волоске.

Никто из них пока не отступает,
Никто из них погибнуть не желает.
Вот стали пули все сильнее свистеть,
И с этим свистом прилетала смерть.

Теснят отряд подальше от аила
Стрелки повстанцев—равная им сила.

Карателям,
И пятится назад,
Порядок соблюдая, тот отряд.

Все ж казаки не уступали, бились.
Хотя против мятежных войск одни лишь
Израненные люди бой ведут.
Хоть мало их—назад не повернут.

И все же, наконец, был найден выход.
Вот спрятались они за каждый выступ,
И, бросив, где попало, лошадей,
Отбили снова выстрелами приступ!

Уже густым закатом степь покрыта,
Стрелки ведут коней вслед за собой.
И говорят про казаков убитых,
О том, какой жестокий велся бой.

«А где Антон?—спросил Джунуш джигитов,-

Не видел я его среди убитых

И среди живых...

Ведь я к нему послал

Джигита, чтоб винтовки передал.

Где тот джигит, что за Антоном послан?

Он, Мутаке, «рубашкой красной» прозван.

Куда пропал наш опытный джигит?

Неужто пулей вражеской убит?»

«Я только что явился, — отозвался

Тут Мутаке, —

И сам не разобрался,

И что к чему, покамест не пойму...

Поверь, Джунуш, ты слову моему...

Я выполнил наказ твой.

За тобою

Сюда примчался на коне стрелюю

Всю об Антоне правду рассказать,

О том, что бай велел его связать!

Услышав, как Ашим опять грозитя,

Помчался я к тебе, как будто птица.

Грозился бай: «Он говорить привык!

Отрежем ему уши и язык!»

И с верною заботою о друге:

«Да как же так? — вскричал Джунуш в испуге.-

Известно всем, мирза-Ашим — дурак.

Но остальные, остальные как?..»

Пыль на дороге вьется серым дымом.

Вот показался бай Толек с Ашимом.

Мирза с коня сошел. Идет пешком

И говорит елейным голоском:

«С холма, Джуке, мы битву наблюдали.

Как жару вы карателям задали!

Ты здорово восстанию помог.

Что будет дальше — знает только бог».

Джунуш упрямо и непримиримо
Глядит в глаза затекшие Ашима:
«Скажи, Ашим, не ты ль посмел опять
Антонна, словно пленника, связать?»

Что с другом, ты ответь, Ашим-мирза,
Скажите, кто связать его решился?
И кто из вас убить его грозился?
Толек, Ашим, я думаю сейчас,
Что враг не только там, а среди нас!»

И на Антоне развязал арканы,
И, чтоб у друга не болели раны,
Он кровь на нем старательно обмыл,
Из пиалы айраном напоил.

«Я, значит, враг!—вскричал Ашим надменно.-
Не знал я, что заступник ты неверных.
На русского глядеть мне тяжело.
Ты знаешь, сколько наших полегло?»

И зашумел народ, как море в бурю,
Молчат джигиты, брови грозно хмуря.
И зашумел народ со всех сторон:
«Тебе мы верим, как себе, Антон!»

«О братья, что напрасно вы шумите?
Антонна сами честно вы судите.
Ни капельки вины на нем, друзья,
Против друзей гнев обращать нельзя!»

И люди, как крутые волны в море,

Друг против друга встали в давнем споре.

И этот гул ничем не заглушить:

«Убить Антона или не убить?»

Вот кто-то произносит удивленно:

«Ведь подняли мы руку на царя

На самого! Не то, что на Антона!

И прав Ашим, что здесь мы спорим зря...»

А вот другой: «Приказа нет—не трону.

Прикажут—тут не сдобровать Антону.

Я голову сверну, но лишь врагу.

А так вот, самолично, не могу».

Старик Мурат намаз свой не закончил,

Встал со словами: «Бог одно лишь хочет,

Чтоб кровь людей безвинных не лилась!

За эту смерть он покарает нас!

А ваш Ашим—он совести не знает,

Когда Джунуша злобно упрекает.

Я должен людям правду рассказать,

Не смеет он Джунуша очернять!

О мой народ! У всех глаза на месте,

Что видели—зачем же отрицать?

Антон всегда с народом нашим вместе,

И нечего напрасно бушевать!

А где Толек?—спросил Мурат сурово.—

Из-за Толека неужели слово

Свое нарушить мы должны сейчас?

Он на Антона натравил всех вас».

«И вправду,— из толпы опять сказали. —

Мы никогда с Метреем не равняли

Антоновы дела...

И потому

При наших распрях победим едва ли!»

«Аеслитак,— сказал Мурат негромко,—

Смутьяновотсебя

Иихпотомков

Отрезать, чтобы не было беды,

Как я отрезал

Часть своей узды».

Старик Мурат халат свой сбросил резко

И чумбура конец ножом обрезал.

И так сказал:

«Пускай народ сейчас.

Как я, Мурат, не споря, клятву даст!»

ПОСЛЕДНИЙ СХОД

Со всех аилов на холме народ,

Киргизы собираются на сход,

Голодные, оборванные люди.

И первым слово Алымкул берет:

«Кзаки наступают по пятам,

Каратели уже и здесь и там,

Ни стариков, ни женщин не жалеют.

Притиснуты мы, словно дичь, к горам.

Где выход, подскажите, из беды?

Каратели с киргизами круты.

Не можем мы на милость им сдаваться.

Так будем мы отважны и горды!

Скажи, Антон, какой нам выбрать путь?»

Антон стоит, нахмурившись чуть-чуть,

Усы седые, вислые, подковой...

«Антон-ага, скажи нам что-нибудь!»

Антон молчит. Спокоен светлый взгляд:

«Кзаки никого не пощадят,

Они пролили много нашей крови,

Об этом знает Пресня, Петроград.

Мы, ставшие на верный путь борьбы,

Мы знаем: нет прекраснее судьбы —

Сражаться за свободу до конца,

Пока в нас бьются мужеством сердца.

Над нами меч кровавый занесен —

Каратели идут со всех сторон.

«Всех истреблять, всех, всех, кто бунтовал!» -

Так приказал Фольбаум генерал».

«Нас перебьют, как семьи нам спасти?

Какие же к спасению пути?» —

Так Алымкул спросил у стариков,

«Всем уходить»,— ответ их был таков.

«Ведь если верный выход не найдем,

То все погибнем,—таксказалАнтон. —

Как в старину киргизы поступали,

Окружены врагом со всех сторон?»

Доволен этим, тут старин Мурат
На русского бросает теплый взгляд:
«У нас с тобой одни и те же корни,
И ты совет даешь нам, словно брат».

Старик Мурат доволен очень был,
И снова тихо он заговорил:
«Для нас Антон стал русским Алмамбетом,
Которого Манас наш полюбил.

Привыкли мы, киргизы, с давних пор
Давать врагам отчаянный отпор.
Мы храбро защищали Ала-Тоо,
Страну озер и поднебесных гор.

Когда жестокий хан Кенесары
Велел у храбреца Джаман-Кары
Ножами сердце вырезать живое,
Храбрец стоял подобием горы!

Вы, Ала-Тоо верные сыны,
Таковыми в испытаньях стать должны!
Я подскажу, друзья, вам верный выход,
Дошел он к нам из древней старины.

Чтоб отвести от мятежа беду,
К карателям я добровольно в плен пойду.
Ради народа не страшусь обмана —
Врагов на путь неверный наведу.

И каждый по пятнадцати костров
Пусть подожжет, чтоб обмануть врагов.
А если меня спросят о винтовках,—

Что на костер одна, соврать готов.

И стану уверять я казаков:
У каждого костра — сто храбрецов.
На смертный бой готовятся джигиты,
Оседланными держат скакунов.

Пока я буду это им плести,
Карателей стараясь сбить с пути,
Должны вы от погони оторваться,
Китайскую границу перейти.

Я лишь такой могу вам дать совет,
Ведь выхода иного больше нет.
Всегда так наши предки поступали
И добивались хитростью побед.

Погибнуть за народ я не боюсь!
Манаса светлой тени поклонюсь,
Пусть он благословит меня на подвиг
И новых сил прибавит мышцам пусть!

Джунуш, Антон и весь родной аил,
Я думаю, друзья, что хватит сил
Ради народа вынести все пытки —
Иначе б этих спов не говорил...»

Слова Мурата — гордые слова,
И только речь закончил он едва,
Антон подумал, восхищаясь втайне:
«Мурат напоминает хваткой льва.

Старик хранит упорство до сих пор,

И сам себе он вынес приговор».
«Ба!» — тут старик Камбар воскликнул громко.-
Да ты, Мурат, и мудр, и хитер!

Ведь жизнь твоя народу дорога,
А у меня твоей слабей рука,
И старше я тебя, Мурат, намного,
И, значит, мне быть в логове врага.

Я в жертву принесу себя, я стар.
Народу хочет послужить Камбар,
Он, может, станет черпаком с водою,
Которая потушит весь пожар!

Мурат в скитаньях дальних умудрен.
Пусть защищает он детей и жен.
И тайные пути ему известны!
Пока он с вами — будет жив Антон!»

Антон к Камбару радостно преник:
«Ты прав, Камбар, пускай Мурат — старик.
Но семьи лишь Мурат спасти сумеет:
Он знает все дороги напрямик!

Пусть беженцев он за собой ведет,
Пускай одно он из знамен возьмет.
Когда придет свобода,
Это знамя
Расскажет, как боролся наш народ!»

Антон немного помолчал, потом
Сказал:
«Тебя прощуя ободном,

Хотя не знаю, что жена решила,
Ты передай: пускай бросает дом.

И только с вами нужно ей идти.
Будь сам ее защитником в пути.
Пусть будет хладнокровна и спокойна.
Ведь все равно — заря ждет впереди!

Еще прошу тебя я передать,
Она надежды не должна терять.
Что б ни было — история народов
Ведь никогда пойти не может вспять!»

И каждый, кто слова его слышал,
Объятая раскрывая, одобрял.
И даже тот.
Кто потерял надежду,
После такого снова верить стал.

И люди от тепла и доброты
Почувствовали, как они чисты...
Мурат подумал про себя: «Свобода
Для всех одна, как горные хребты!»

И Алымкул тут улыбнулся чуть,
Сумев в мечты Мурата заглянуть.
Антон глядел с улыбкой,
И, казалось,
Разгадывал он судеб хитрый путь.

ПЕРЕД СХВАТКОЙ

I

Вот потянулись беженцы по свету.

На арбах — молодухи разодеты.
Верблюдицы плетутся звездноглазы...
Такого не случилось здесь ни разу!

На рослых скакунах — кто побогаче.
За ними — бедняки на тощих клячах.
А позади толпы — кто нищ и слаб.
Волы везут на спинах весь их скарб...

Как бедняки на клячах ни старались,
Но позади богатых оставались.
Бычки детей везли в густой пыли,
А вслед за ними взрослые брели.

Цепь беженцев среди глухой равнины —
Словно прибоя темная пучина.
И смотрят с нескрываемой надеждой
Джигиты на сосновые дубины.

И кажется, весь свет, все мирозданье
Находится средь бляенья и ржанья.
От топота провалится земля.
Река Талаа-Булак летит, бурля.

Один сидит на телке среди пыли,
Другие — по два на хромой кобыле,
Под третьим же — конь ходит ходуном.
А остальные — позади, пешком.

Иные с яков свешивают ноги,
Навьючив на мохнатых скарб убогий,
И, кто откуда родом, узнают...
А матери над люльками поют.

Лишь малыши одни забот не знают
И матерей за рукава хватают,
И просят есть с утра и допоздна,
И матери дают им толкана.

Другая же бегут быстрее к речонке
И воду я тубетейки и в ручонки
Стараются побольше зачерпнуть.
И вслед за матерями — снова в путь.

То звонкий смех, то чьи-то оплеухи...
И закрывают лица молодухи.
А кто-нибудь, шутя, исподтишка
С коня стащить старается дружка...

Талаа-Булак! Идет на берег правый,
Жестокая, поспешно переправа.
Талаа-Булак, студеною водой
Ты раны бедным беженцам омой!

Конь у гонца запыхался, весь в мыле.
«Каратели Кыз-Арт перевалили.
Джигиты мне велели передать,
Что будут насмерть все они стоять.

Уже близки карателей отряды,
Немедля перейти границу надо!
Дан казакам приказ жестокий, дикий —
Всех порубить от мала до валика.

Недавно пушку изобрел Антон.
В заслоне ею каждый восхищен.

Та пушка косит казаков рядами,
Стреляя в них с кургана чурбаками».

Ночь... По ущельям, склонам и ложбинам
Людской поток идет сплошной лавиной,
Погоня нависает за спиной,
И беженцы — меж небом и землей.
Не замечают беженцы друг друга,
И кони ржут, шальные от испуга,
А выстрелы, что за спиной гремят,
Предупреждают их — враги спешат!
Спешат киргизы от лихой погони,
И все перемешалось: люди, кони.
И валятся уже верблюды с ног.
Плач. Суматоха. Крик. Переполох.

Ушли в Китай киргизы, приняв муки.
Чтоб жить вдали, с родной землей в разлуке...
Сама земля позора устыдилась
И облаком от месяца закрылась.

По всей дороге казаны валялись,
Пиалы с гулким звоном разбивались,
И друг у друга каждый вопрошал:
«Наверно, судный день сейчас настал!»

Телеги, люди,
Скот — перемешались,
От топота их камни содрогались,
И волны поднимались на дыбы,
Похожи на верблюжие горбы.

И жеребята, заблудившись, ржали,
Верблюды верблюжат своих искали.

И пастухи сновали взад-вперед,
Где чья отара — кто здесь разберет?

Что беднякам дорога эта судит?..
Вот плачут дети, выпавши из люлек.
И вдруг истошным криком закричит
Свалившийся со скаку над жигит.

Перепахали землю всю копыта.
Людской волной огромной степь запита.

Дремавшая веками тишина

Напряжена,

Как звонкая струна.

И громяхают глухо в реках камни.
За пыльными не видно облаками
Ни звездочки далекой, ни луны,
Ни горной вышины,
Ни целины.

И слушают, насторожась, козули
Людские волны в оме Иссык-Куля.
И кажется козулям с высоты —
Сметет поток тот горные хребты!

А волки наострили сразу уши:
Им чудятся везде овечьи туши
И мертвые коровы, и быки.
И волки точат острые клыки.

И чайки с криком высоко кружатся,

Им с земляками трудно расставаться.

И всплескивают рыбы над водой,
Напуганы лавиною людской.

А утки, что на озере дремали,
Увидели,
Как запылились дали,
И, головы высоко приподняв,
Они людей с тревогой провожали.

А Иссык-Куль валы несет на берег
И пеною песчаный берег белит.
Вздывается озерная вода,
Прощаясь с беглецами навсегда.

И горы Ала-Тоо вопрошают:
«Откуда, враг какой вас изгоняет!»
Соскальзывает эхо с горных гряд:
«Прощайте, мы вас ждем домой, назад!»

Ручьи, что скачут с камня и на камень.
Горючими заплакали слезами:
«Хотя земли на свете нет родней,
Но сыновья должны расстаться с ней!

А сердцем кто с землею разлучится!
Сны возвращаться будут,
Словно птицы,
К вершинам этим гопубым, сюда,
Преодолев и версты, и года».

ЖЕСТОКАЯ СХВАТКА

А командир карателей сурово
Напоминал слова приказа снова,
Которые он повторять привык:
«Язык картечи — вот войны язык!»

Приказ таков, и командир спокоен:
«Бунтовщикам мы пятый год устроим,
Не миловать, а яростно карать!
Солдат приказ обязан выполнять!

Доверясь не коварству, а отваге,
Я буду верен до конца присяге!
Пусть мне придется трижды умирать,
Но честь мундира мне не запятнать!»

И офицер сказал: «Победа скоро.
Нам незачем вступать в переговоры.
Без передышки ночью бить и днем,
Пока восставших всех не перебьем!»

Разведчики назад не приезжали.
Напрасно их повстанцы только ждали,
Хотя прождали долго, но вестей
Разведчики давно не присылали.

Тем временем у трех дорог на стыке
Казачьи сотни беженцев настигли.
«Мы бросим против них все наши силы!»-
Решили непокорные аилы.

С тоскою люди думали устало
О том, что испытать им предстояло.
Камбар-старик, нахмурен и спокоен,

Напутствовал джигитов перед боем:

«Вы силою народною сильны!
Пусть предков дух поможет вам, сыны,
Сыны Нарына, Чу и Иссык-Куля!
Пусть не проходит мимо цели пуля!

Пусть ни один кинжал не будет поднят зря,
Пусть каждый местию праведной горя.
Забудет страх...
Пусть во главе пойдут
Испытанные воины, как я!»

«Так станем,—говорит Антон,—стеною,
Пусть враг заплатит дорогой ценою
За то, что убивал и жег айлы.
Что надругался над землей родною.

И нам, не им, помогут в битве горы,
Придут на помощь, будут нам опорой,
Когда же мы в бою исполним долг.
То встретимся возле горы Орток!»

По русскому обычаю обнялись
Антон и Алымкул,
Поцеловались.
С друзей киргизы не сводили глаз,
Увидевши такое в первый раз.

И пять стрелков с Антоном во главе
В обход ползком прокрались по траве
И по камням к карателям.

И вот —

Винтовка за винтовкой пули шлет.

Ползут враги — околыши их близко!
Кто перебежкой, пригибаясь низко,
Кто прячась за надежный круп коня
От меткого, прицельного огня.

Тем временем, пылающее кровью,
Спешило к своему гнездовью,
И тучи, крылья распластав широко,
Пылали над вершинами Ортока!

И лишь успели выстрелы раздаться,
Пошли в атаку яростно повстанцы,
И громкий крик летит со всех сторон:
«Вперед, где Алымкул и где Антон?»

И всадники, подобные метели,
Пригнувшись к седлам,
На врага летели,
Казалось, гривы и хвосты коней
От яростного топота свистели.

А кто хлестал коня изо всей силы,
Мелькали палки и кривые вилы.
В руках — без наконечников шести,
И толпы беспорядочно густы.

Кто рысью, кто галопом пролетает,
А встречный ветер гривы развеивает.
Прносятся джигиты, как пурга.
Навстречу дружным залпам, на врага.

Земля — полоской узкою под ними.

Шумят кусты курая на равнине,
Но мчат джигиты прямо на врага,
До боли сжата рукоять клинка.

Иные на клячонках отставали...
И в клубах пыли мимо пролетали,
Через убитых, камни и кусты
На скакунах все новые бойцы.

Но вдруг из-за бугра, у поворота,
Хлестнуло в них огнем из пулемета,
Косило их за рядом новый ряд...
Кто мчит вперед,
Кто повернул назад.

Но только пулемет замолк в засаде,
Повсюду грозно засверкали сабли,
Казачьи сотни мчат из-за бугра,
И вал за валом катится: «Ура-а-а!»

Казачьи и солдаты постарались.
Где мертвый, где живой — перемешались!
Одни кричат: «Назад, остановись!»
Другие же дубинами дрались.

Куда попало пешие стреляли,
Ломаясь, пики острые трещали.
А те, что скакунов своих лишились,
Взобравшись на бугор, камнями бились.

Казачьи пули в камни ударяли
И, искры рассыпая, отлетали.

Антон стрелял в упор, наверняка.

Уже мертвы два конных казака!

У Алымкула в прорези прицела

Холеная фигура офицера.

«Стреляй в него в упор», — джигит шептал.

Но тут же, в ноги раненный, упал.

И вот земля пошла в глазах кругами.

Казаки на него летят с клинками.

Все ближе, ближе. Смерть со всех сторон!

Спешит ему на выручку Антон.

И на валун, что словно горб верблюжий,

Не выпуская из руки оружия,

Оперся Апымкул:

«Сил больше нет».

И потемнел в глазах весь белый свет.

«Наверно, души предков отступились.

Как храбро мы с казаками ни бились,

Но без винтовок мы обречены...

Каратели оружием сильны».

...С колена бьет Антон,

И у Антона

Кончаются последние патроны...

Патронов нет. Казаки невдали.

Он в них швыряет комьями земли.

Откуда эти пули прилетают

И землю под бегущими взрывают!

Одна, другая — в цель летят, слепя.

И всев тебя, Антон, и все в тебя!

Антон, словно подкошенный, упал.

Пытался приподняться, но не встал.

«Чтосним!»—мелькнуловмысляхАлымкула.

«Прощай, Антон!»—онтихопрошептал.

Смешалось все: один хватал другого,

Кто прятался у берега крутого,

А кто кричит: «Я — бий, прошу помочь!»

Никто не может страха превозмочь.

Солдат на Алымкула штык наставил,

Но тут Джунуш по голове ударил

Прикладом, и солдат к ногам упал...

«Ану-ка, Алымкул,—Джунушсказал.—

А ну, садись быстрее ко мне на спину,

Тебя среди врагов я не покину».

Но Алымкул ответить не успел —

Мир сразу, словно сажа, почернел...

Уже в бреду он громко звал Антона..

То здесь, то там — предсмертный хрип и стоны...

И никому нет дела, кто убит,

Кто раненый и брошенный лежит.

Вот ночь взмахнула темными крылами,

Покрылись, словно красными цветами,

Осенние отавы и кусты».

Убитых кровь — те красные цветы!..

Всю землю охватил, казалось, ужас,

От грома небо глухо покачнулось,
И хлынул, словно слезы неба, дождь.
Чьи это слезы — разве разберешь?

Ручьи вздыхают тихо: «Что творится!»
От стонов громких вздрагивают птицы.
Казалось, рыбы в горе и тоске
Впервые стонут в пасмурной реке.

И месяц, переплывший в небе лето,
Подбадривал народ каленым светом.
Кто победил, кто сломлен, побежден —
Об этом знает только посвист ветра.

АК-ОГУЗ

I

Ак-Огуз перевал поднялся круто.
Предания рассказывают,
Будто
Лишь с лестницами можно одолеть
Его камня, ржавые от крови.
Здесь ветры злы и холода суровы.
Здесь смельчаков ждала веками смерть.

Легенда сохранилась здесь такая.
Когда Тимур шел с войском из Китая,
Он перешел его в буран, впотьмах.
К камням его богатства примерзали,
И люди замерзали
И стояли,
Как будто часовые, на снегах!

Мурат запел, душою беспокоясь:

«Мужайтесь, одолеем мы Ак-Огуз.
Ак-Огуз — справедливый перевал.
Он беженцев не может встретить хмуро.
Не зря давно когда-то у Тимура
Сокровища Ак-Огуз отобрал!

Вас ждут бураны, пропасти, обрывы,
Так будьте осторожны и сметливы,
Держитесь все один за одного
У этого крутого перевала...
Вас испытаний ждет еще немало
Я верю - перейдете вы его!

Забывчивость киргизам незнакома,
И сберегите вы семью Антона,
Как нам в последний раз он наказал.
Столетиями в снегах дремучих кроясь,
Качает небо на себе Ак-Огуз!
Не вам под силу этот перевал!
Как будто он из каменного дыма,
Проходит солнце мимо,
Птицы мимо...
Пурга и та не может напрямик.
Завалами дороги перекрыты.
Здесь ледники срываются от крика.
Не зря же он— Ак-Огуз—Белый бык!

Круты подъемы и узки тропинки.
И что ни шаг—то камни, словно пики,
И каждая вершина—бычий рог.
Снега глубоки, льдины всюду шатки.
Уступы скользки и подъемы гладки.
Внизу — в холодном пламени поток.

Тысячелетний всюду пролит холод...

Архары стороной его обходят.

Мороз к нему лишь вьюги приковал...

Немало мы намучились, немало,

Но это будет подвиг небывалый,

Когда мы одолеем перевал».

II

Скот из силы выбился и лежит,

Кровь сочится медленно из копыт.

Ни камчой, ни криком овец не поднять.

На огне буранном камень горит.

В жилах кровь смерзается. Силы нет.

В глазах помутился белый свет.

Будто снегом, кашель горло забил.

За спиною вьюга идет след в след.

Люди ободрились от песенных слов...

И вязали сетки из конских хвостов.

Чтоб солнце не слепило, вьюга не жгла,

Надевали сетки вместо очков.

Вырывают клочьями мерзлую шерсть

Овцы друг у друга,

Чтоб тут же съесть.

Верблюды и коровы, упав, не встают.

Громкий крик предсмертный то там, то здесь.

В ярости зубами скрипят быки.

На месте покрутившись, на лед легли.

Под копытами густо краснеет снег,

В глазах застывает

Холод пурги.

Страшен Ак-Огуз, страшен, крут.

Понурые телята слепо бредут,

Зрачки вымерзают, впали бока,

Что ни шаг — валятся там и тут.

Кажется, им видится в мерзлых снах,

Как травы луговые скрипят на зубах,

Как они резвились,

Как паслись,

Пили воду пенную на лугах.

Кони, что на пастбищах выросли,

Холода и голода не вынесли,

И теперь лишь кости да кожа у них,

Ноги, словно жимолость, высохли.

Раньше появится возле тропы

Перекасти-поле —

Конь на дыбы.

Теперь появился бы даже волк —

Не было бы горше волчьей судьбы!

Греясь друг о друга, бредут стада,

Ничего не видя, кроме льда.

Остается только шерсть на пути.

Отовсюду вороны летят сюда...

На темном перевале вечер настал.

Небо индевет возле скал.

Негде укрыться от вьюг и стуж.

Но беженцы штурмуют тот перевал!

В пропасть они валятся среди темноты.

Берега у пропасти остры и круты.

Из коров и коней, из мертвых овец

Через пропасть беженцы строят мосты.

Последняя надежда... Но рухнул мост!

В ледяную пропасть, во мглу, в мороз

Сколько овечьих гуртов

И коней,

Сколько людских судеб оборвалось!

Даже самый ловкий спастись не мог.

Дикий, смертный ужас, переполох.

Перевал Ак-Огуз требовал жертв,

Словно ненасытный, страшный бог.

Мертвая дорога из мертвых тел.

Песню погребальную буран запел.

Извергая голос из-под земли,

Перевал Ак-Огуз, как бык, ревел!

Перевал Ак-Огуз — Белый бык.

Примерзает к скалам предсмертный крик...

Мало кто остался на нем в живых!

Перевал Ак-Огуз — Белый бык!

Четыре дня, покрыты мглой,

Боролись беженцы с пургой,

Четыре дня... И неизвестно,

Кто мертвый, кто еще живой.

Четыре дня пурга в упор.
Нет сил, чтобы разжечь костер.
Овечьитуши—в изголовье.
Четыре дня смерть среди гор.

И вот через мороз и жуть
Полуживые — снова в путь!
Не обойдешь смерть стороною,
Не разминешься как-нибудь!

И вновь пурга метет, пыля,
На землю беженцев валя,
И кажется, что навалилась
Всей тяжестью на них земля.

И кони падали на льду,
Оледеневши на ходу,
Другие падали за ними
В глухую бездну, в темноту.

И ни вперед, и ни назад
Ни скот,
Ни люди не хотят...
И колокольчики звенят
На тонких шеях жеребят.

И заблудившись,
Как в бреду,
Кричали люди в темноту.
Потом вокруг затихло сразу.
Одна пурга метет по льду...

Не видно ничего впотьмах,

Лишь черные снега в глазах.
И у людей, обнявших землю,
Смерть замерзала на губах.

В сугроб попал — ни встать, ни сесть.

Напрасно овцы бьются здесь.
В снегу по брюхо замерзали,
В зубах зажав чужую шерсть.

И изваяния коров,
Застыв, белели среди снегов,
И жутким цветом оловянным
Пурга светилась из зрачков.

И кони среди этой тьмы
Подняться не могли с земли.
Где табуны их проходили —
Остались белые холмы.

Хотя собак буран иссек,
Зажавши головы меж ног,
С извечной думою о мясе
Обнюхивали снег и мох.

Лишь якам не страшна пурга.

Подставив ей свои рога,
Они искали корм упорно
И рыли яростно снега.

И пропасти, и валуны
Одoleвать могли они
Одним прыжком.
И всем казалось,

Они метелью рождены.

В легенде говорит народ,
Что Белый бык еще живет.
Нет, дух его стал грозным яком,
Что согревается о лед...

IV

Вот над перевалом солнце встает,
Сразу веселее стал народ.
Перевал Ак-Огуз молчит, присмирел,
Снега присмирели, вытаял лед.

Перевал Ак-Огуз в снежной пыли.
Люди поднимаются с жесткой земли.
Поддерживая слабых и стариков.
На чужбину беженцы вновь побрели.

Вот Нурджан на плечи взвалила кладь,
Тянет за собою старую мать
И зовет жену Антона она:
«Вместе нам, Мария, легче шагать!»

«Больно тороплива ты, Нурджан,
Чтоб не задохнуться, нюхай талкан,—
Весело смеется старик Мурат,—
А не то напустит бог буран».

Женский смех — как будто звенят ручейки.
«Разве ходят пешке так старики?!
На коне догнать вас мой сын не смог,
Видимо, из крыльев твоичарыки?..

Видимо, Мурат, тебе лучше в лаптях!»
Мурат засмеялся, ускорил шаг,
Тут же, споткнувшись, свалился в снег.
Женщины руками всплеснули: «Ах!»

Еле-еле на ноги встал старик:
«Так и в пропасть можно напрямик!..
Надо торопиться нам, пока
Не взбесился снова Белый бык».

И заботы мучат старика.
Оглянувшись, смотрит на стригунка.
Не отстал ли, часом, Антонов сын?
«Видно, успокоился мальчик пока.

Все ж не захотели назад повернуть,
С нами разделяют нерадостный путь.
Хоть бы судьба ласковой с ними была,
Встретились с Антоном бы как-нибудь».

И жена Антона ведет, как в бреду,
Стригунка саврасого на поводу:
«Ты помог нам, добрый старик Мурат,
Ты от нас заботой отвел беду».

А когда слово «мама!» сын произнес,
В глазах ее вспыхнули тысячи звезд.
А кто-то не давал идти стригунку,
Ухватив руками его за хвост.

Солнце потускнело во мгле небес.
Темное пятно его —
Раны рубец.

«Неужели снова будет пурга?
Неужели всем нам погибнуть здесь?»—

Кулаки сжимает старик Мурат.
Твердым, словно камень, стал его взгляд.
Словно опрокинулась вся земля,
Вьюга зашумела — искры летят.

Ничего не видно даже за шаг,
Вьюга кувыркается в белых снегах...
Неужели снова ярится бык?
Неужели снова гибель и страх?

Снежная глыба скалы тяжелей
Падает на плечи бредущих людей.
Там, где было ровно, вырос сугроб,
Вьюга завывает еще сильнее.

Кто был сшиблен вьюгою наповал,
Тот с собою в пропасть других сметал.
Только люди все же были сильней,
Словно жизнь их вырубил из скал.

Вот жену Антона свалило с ног,
В пропасть потащил ее снежный поток...
Повод, что остался в ее руке,
Стригунка и сына в пропасть увлек...

А буран во мраке ходил ходуном,
Снег приподымая белым хвостом.
Ты свалил, Ак-Огуз, сильных, как львы,
Потому что люди идут напролом!

V

Мурат глядел на склоны и обрывы.
«Есть выход!— он промолвил торопливо,—

Есть выход!»

И повел Мурат людей
Средь пропастей, обрывов и камней.

Попел к вершине, где орлы гнездились,
Где тропок нет, где облака клубились,
Где лишь бураны белые летают...
Шагают люди — тропку пробивают.

И люди били скот над этой кручей.
На тушу тушу складывали кучей.
Карабкались по ним над крутизной,
Как будто бы по лестнице живой.

Тропа готова...

Встреченный метелью,
Кто послабей — срывался вниз, в ущелье,
А кто сильней, последний сделав выдох,
Цеплялся за рога коров убитых...

Стада остались там, за перевалом,
Остались гибнуть на снегу подталом,
Лишь яки эту тропку одолели
И сделались седыми от метели.

Недаром же народ заметил это:
Как малое дитя, капризно лето.
Вот солнце оживило светом дали,
И люди обнимать друг друга стали.

НА ХРЕБТЕ

Высокий склон, как островок бесснежный,
Один стоял среди хребтов безбрежных,
А остальные склоны и вершины
Одел в снега метельный, злой поток.
Стоит Мурат, разгладились морщины,
Мурату приглянулся островок!

«Что делать мне? Таков уж, видно, рок!
Что я скажу Антону как мужчина?
Мол, не сберег жену его и сына
И даже их похоронить не смог...»

Лишь где-то глухо каркают вороны,
Безмолвие мертво легло на склоны.
Сороки то взлетают, то опять
Садятся.

Что их стрекот предвещает:
Несчастье или радость? Кто узнает,
Что могут они людям предвещать?

Мурат побрел незнаемой дорожкой.
Глаза горели, словно головешки,
Больные, воспаленные.

Вокруг —
Ни звука, ни души. Немые горы.
С ним посох — его спутник и опора.
Мурат не знал, куда пошел он вдруг.

И вот достигнул островка крутого,
Остановился, пораженный, снова.
Увидел мир из солнца, рос и трав,

Иной, неповторимый мир широкий
Среди земли, где горные потоки...
И все же сомневался: сон иль явь?

Такое может в сказке лишь случиться
Или в кошмарном тяжком сне присниться.

Нельзя поверить, что невдалеке —

Почти рукой подать —

Уныло рыщут

Могильщик-ворон да свирепый хищник

На маленьком и снежном островке.

Овечьи туши темные повсюду.

Вповалку — люди, лошади, верблюды.

В зрачках застыли оползни снегов.

Обнюхивали хищники, когтили

И яростно между собой делили,

Зубами рвали этих мертвецов.

А шубы в стороне от них валялись,

Наверно, люди ими защищались,

Но не нашли спасения нигде,

А грифы между ними пировали,

Наевшись мертвечины, не взлетали,

Ходили, благодарные беде.

Тела на части волки разрывали

И от довольства сытого рычали,

И отливали мерзлой сединой.

Казалось, никогда не наедятся,

Хотя своей добычей гордятся...

Пируют волки над чужой бедой.

Лисицы и шакалы всюду рыщут,
Они добычу посытнее ищут
И бродят от горы и до горы.
И волчьим воем сотрясает скалы,
Хохочут дико злобные шакалы
И созывают стаи на пиры...

Увидев этот ужас, как в тумане,
Мурат заплакал горькими слезами,
Заплакал он от боли... И тогда
Вдруг кто-то прошептал ему, казалось:
«Ты знай, что кровь недаром проливалась,
Ты верь, Мурат, в грядущие года!»

«Ты на хребте, Мурат, один остался,
Хотя пробиться сквозь пургу пытался.
Ак-Огузу проклятья не страшны.
Беда и радость — вечный поединок.
И дней людских не меньше, чем песчинок.
Беда и радость — вечные они!

Но смерть нашла не всех у перевала,
В живых осталось все-таки немало,
Вслед за тобой, Мурат, перебрались.
Ак-Огуз отступил перед тобою...» —
Так мысли наплывали чередою,
Пока в душе совсем не улеглись.

Оледенев, сидит джигит с женою,
На труп верблюда опершись... С рукою,
Протянутой к жене,
Джигит застыл...
«Ак-Огуз встретил каменным нас градом

И смертью...

Так садись поближе рядом»,—
Казалось, он ей это говорил.

О том, что смерть пришла, они не знали,
А просто, как обычно, засылали,
Как где-нибудь когда-то у реки.
Так смерть пришла к влюбленной паре просто.
Ресницы их — словно пшеницы остья,
На лицах ни печали, ни тоски.

В глазах ее — застывшая улыбка.
На пальцах кольца. И на нитке зыбко,
Как земляники, бусинки висят.
О, сколько нежных слов сказать хотели
Они друг другу...
Только не успели.
Уста немые. И словно льдинка — взгляд.

И серьги-жемчуга еще качались,
И руки рук любимого касались...
Плывет скала, как айсберг, далеко.
Над ними только сытый гриф летает
Да лают псы... Они не подпускают
К хозяевам убитым никого.

Но появился вдруг, нивесть откуда,
Толстяк сутулый, рослый... Что за чудо?
Лицо лоснится сыто у него,
Глаза заплыли жиром, словно щели...
Стоит Мурат, своим глазам не веря,
Не понимая толком ничего.

Так кто же он? И что в ущелье ищет?
Иль это покровитель горной дичи?
С копытами стальными. Кто же он?
В руке его секира светит жутко,
Он потрясает переметной сумкой,
И взгляд, как у шакала, напряжен.

Он толст, как бочка. Волосы, как грива,
А щеки, словно два больших нарыва,
Он рыскает глазами, как шакал,
Он ходит возле мертвых. Что-то ищет,
Словно добычу чувствующий хищник.
Остановился вдруг, забормотал:

«Браслеты, серьги, кольца!»

Жадно, грубо

Стянул с джигита мертвого он шубу,
Ногою пнув его, в ухаб свалил.
И тут немедля у его подруги
Отрезал косы черные и руки,
Чтоб снять кольцо, секирой отрубил!

У старика Мурата в сердце порох

И пот на лбу,

Хотя жестокий холод

Льдом перевал Ак-Огуз заковал.

И старику Мурату показалось,

Что небо и земля перемешались,

И покачнулся он. И закричал:

«О, неужели правда это, люди?»

Доколе тайно здесь глумиться будет

Над павшими бесстыдный этот тать?

И тут же смех веселый раздаётся:
«Ты поучись-ка мертвых раздевать!»

Мурат узнал его:

«О, как ни странно,
Но этот подлый человек—тот самый,
Что требовал Антона расстрелять,
Тот самый, что убить его грозился,
Он ждал удобный миг. Молчал, таился!
А ну-ка, руки прочь!»—кричит Мурат...

Стоит разбойник и не понимает,
Хоть руки мертвеца не отпускает:
«Ак-Огуз, верно, хочет пошутить?
Из племени Тынай мертвец, наверно,
У них характер, как известно, скверный,
И мертвыми пытаются дерзить?»

«Нет! - камень закричал громкоголосо,-
Ведь не простят отрубленные косы,
Отрубленные руки не простят —
Задушен будешь этими руками!
Не сердце у тебя, а черный камень,
И проклят богом будешь ты стократ!»

Он вырваться хотел из рук украдкой —
Не разжимал мертвец тяжелой хватки!
Они сошлись, словно гора с горой.
И вот на землю вместе повалились
И по камням в обнимку покатались.
Кричит разбойник в страхе: «Боже мой!»

А черный камень вдруг зашевелился,

И мародер совсем ума лишился,
Метнулся, как подстреленный медведь.
Метался он вслепую по ущелью.
Глаза его застыли, покраснели.
Не может ничего он разглядеть.

Упал он, от испуга завывая.
Покойника из рук не выпуская,
И на ноги вновь, зашатавшись, встал.
«Пусти!»— кричал он, дико озираясь.
«Пусти!»— кричал, о землю ударяясь.
И хохотал, и камни целовал.

Так продолжал метаться он в испуге,
Не замечая, что свободны руки.
Цеплялся за кусты то здесь, то там.
И корчился от бешеного смеха,
И крик его раскатистое эхо
Катило вдоль по скалам и горам.

Хохочет, словно черт его щекочет,
И щеки рвет когтями,
Громко просит:
«Пусти, пусти!»
Рвет на себе халат,
Качается, хватается за ветер,
Словно слепой... И даже не заметил,
Как подошел к нему старик Мурат.

Мурат взял за плечо его спокойно:
«Чего кричишь ты?.. Ведь не камень черный,
А это я с тобою говорил!»
Но тот о камень головою бился.

«Наверно, мародер ума лишился
И лишь «пусти меня» не позабыл».

«Пусти!»— вращает дико он глазами.
«Пусти!»—и бьется головой о камень.
«Пусти!»— тоски не в силах одолеть...
«Пустите!»—он кричит камням и скалам,
И столько страха в крике запоздалом,
Как будто он в глаза увидел смерть.

И мертвецы избавились, казалось,
От мародера этого...

Остались

Лишь темные следы его в снегах.
И снова к мертвецам с ближайших склонов
Слетались грифы сытые, вороны,
Усаживаясь вновь на мертвецах.

Не видя ничего, напропалую,
Бежал он в горы, на скалу крутую,
Бежал он ошалело, напрямик.
«Остановись!»—кричал Мурат вдогонку.
«Остановись!»—кричал ему без толку.
Из пропасти донесся смертный крик...

в Больнице

Антон очнулся—тьма перед глазами,
Как будто бы на веках тяжкий камень.
Он медленно открыл глаза с тоской
И сумрачно подумал: «Что со мной?»

Он силился припомнить, что случилось,

Откуда на него беда свалилась.
Он голову с подушки приподнял —
И снова без сознания упал.

Который день в рот не берет ни крохи.
Лежит смертельно бледный.
И, в тревоге,
Старался старый доктор, чтобы смерть
Антон не сумела одолеть.

Он на больном испробовал все средства:
Давал лекарства для поддержки сердца,
К ногам больного ставил гренки он...
И день настал, пришел в себя Антон,
Очнулся, приподнялся, удивленным,
Лучом дневного солнца ослепленный.
На доктора Антон взглянул несмело:
«Кто этот человек в халате белом?»

«Кто вы? Скажите правду, что со мною?
Вон солнце светит ярко, как весною.
Как мог я здесь, снежите, очутиться?»

Темно в глазах,
И потолок кружится...»
И доктор ему с радостным испугом
Сказал: «Ты чудом справился с недугом,
Я думал, ты на свете не жилец,
А ты пришел в сознание, наконец!»

Бунтовщики убить тебя хотели.
Карательный отряд тебя привез.
Как в плен попал? Кто ты на самом деле?
Но можешь промолчать на мой вопрос.

Скажи спасибо, что в живых остался,
Когда в бреду пятнадцать дней метался.
Такое время, братец мой, теперь.
Ведь смуты не проходят без потерь!»

«Воды!» И доктор смотрит на больного.
«Воды! Не в силах я сказать ни слова.
Вы мне скажите, правды не тая,
Ведь это, доктор, вы спасли меня?»

«Я вас лечу четвертую неделю,
Хотя не знаю, кто вы, все же верю,
За вами ничего худого нет.
Но только с кем вы были — выдал бред!»

И на душе Антона стало горько,
И он увидел битву под Кочкоркой...
Вот он бежит в атаку. Видит все,
Все видит!.. И впадает в забытье...

А доктор головой седой качает.
«Где видел я его?—припоминает,
Перебирает в памяти года. —
Где мог его я видеть и когда?
В каком это году далеком было
И что его в больницу приводило —
Болезнь, беда ли? Или неуспех?
А, может быть, он большевик,
Из тех?..

Крестьянин он, всю жизнь проведший в поле,
Или кузнец?

Ведь на руках мозоли!
На нем и одежка так себе.
Но что я знаю о его судьбе?

Я должен быть предельно осторожен
И помнить, что никто узнать не должен,
О чем он бредил сутки напролет,
Болея за разгромленный народ.

Ведь все, что с человеком ни случится,
В бреду горячем снова повторится.
Но если он киргизов защищал,
То как же в плен к мятежникам попал?»

Тут, в дверь не постучавшись, без халата,
Жандарм какой*то вдруг вошел в палату,

Спросил:

«Ну, как ведет себя больной?»—
И одеяло приподнял рукой.—
О, господин больной, а мы знакомы!
Друг друга вспомним потому легко мы!»—
«О, господи,—прервал жандарма врач,—
Так где же справедливости законы?
Больному вреден шум...
Ведь это вызов —
Сюда без разрешенья заходить!
Меня, вы не забудьте, знает пристав.
Да как же вы посмели мне дерзит?!

Когда б вы были у восставших пленным,
Они б вот так разделали и вас.
А если он у вас под подозреньем,
То приходите все же в другой раз!...»

«Все выясним, узнаем, установим.
Таким, как он, не избежать тюрьмы.
А нам ведь вместе быть все время.

Словом,

Как жаль, что не такие все, как мы!

Быть может, поступил я грубовато.
Но я, как русский, правду говоря,
Скажу вам, доктор: все мы за царя,
Пока бунтуют эти азиаты!

Я по секрету вам скажу, не споря:
Мятеж киргизов—это капля в море.

Крамола и в России завелась.

Вы помните, как в пятом поднялась

Она, подобна пламени, не даром,
И если мы не кончим с тем пожаром,
Не усмирим крамольный наш народ,
То без царя Россия пропадет!

Крамольники кричат на перекрестках,

Что власть они добудут все равно.

Кто хочет на небо взобраться—

Просто

Либо глупец, либо маньяк давно!

Подумать надо—наш народ упрямый:

Он разгромил потомков Чингис-хана

И на других врагов нагнал он страх,

С друзьями—друг он,

А с врагами—враг!

Все может сделать. Надо с мужиками
Быть начеку, чтоб не было греха.
Ведь, доктор, их умелыми руками
Подкована железная блоха!

Сейчас он разделился на две части.
Одни за нас, другие — против власти.
Один: «Царя!», другой: «Долой царей!»
Какая чаша будет тяжелей?

А если ваш больной на подозренье,
То это, правду говоря, не зря.
Ведь если рухнет трон, тогда со всеми
Что будет без закона, без царя?»

Он поклонился, щелкнул каблуками
И выпрямился:
«Вы, надеюсь, с нами?»—
«Я, сударь, откровенно вам признаюсь,
В политике совсем не разбираюсь.

Если по чести, господин жандарм,
И я скорблю, что льется кровь задаром.
Ведь наша жизнь и без того мала.
Достаточно на белом свете зла!

Чтоб люди ближних убивали просто!..»
Он снял очки, сверкнув глазами грозно.
Антон лежал и, что случится, ждал.
И думал про далекий перевал.

Жандарм же—воплощение закона—
Обшаривать, как вора, стал Антона,

Пока приказа он не отыскал,
Который сам Фольбаум подписал.

Приказ гласил: «Киргизов истребите,
Кибитки и имущество сожгите».
И полицейский думал: «Почему
Не доверяют все-таки ему?..»

И вот промчались дни за днями скоро
В сердечных и открытых разговорах.
И потемнели пашни и поля,
Размякла и оттаяла земля.

Еще снега растаять не успели,
Как первые затенькали капли,
А там уж половодие цветов,
И каждый ярк и златоголов!
Откуда они снова прилетели
В апрель широкий, из каких краев?

Зелеными иголочками в сырость,
В теплынь
Трава весенняя пробилась.
И жаворонки—вестники весны —
Слышны среди зеленой тишины.
И небо шумом крыльев огласилось
Средь солнечной и доброй тишины!..

Хоть шаг на костылях пройти попробуй —
Стоит Антон на костылях. И теплый
Луч солнца застревает в волосах.
И кудри, как каракуль, в тех лучах.
И рад Антон всему, словно ребенок,

Осколки солнца у него в глазах.

К скамейке, что под яблонею древней.
Где по листве разбуженной весенней
Летают ветерки, словно шмели,
Он прислонил тихонько костыли,
Взглянул назад, потом присел со вздохом_
И тени возле глаз его легли.

Читает он листок с немой улыбкой,
Тихонько что-то про себя шепча...
Но вдруг тревожно зазвучала скрипка
Из зорких окон старого врача —
Условный знак...

Вот скрипнула калитка,
И кто-то, сапожищами стуча,
Внезапно появился из-за дома.

Кто это был? Все тот жандарм знакомый,
Который за Антоном приходил.
Приблизился и, честь отдав, застыл,
Как будто вправду уважал Антона.

Потом сказал:
«Ну, что я говорил?
Читаете вы, стало быть, листовки!
Знакомы вам, наверно, все уловки,
Не зря скучает потаким острог!
Так что прошу, отдайте мне листок».
«Какой листок?»—спросил Антон невинно,
Как будто ему это невдомек.

Усы у полицейского трясутся:

«Вам хочется опять в острог вернуться?»

Усы его топорщатся, как пики.

Затопал он ногами:

«Что ты врешь?

Против тебя, ты знаешь, все улики,

Теперь ты от ответа не уйдешь!

Кто вы, социалисты, чьи бумаги

Повсюду тайно ходят?

Вы—бродяги?

Вы—пули, что стреляют в нас пока.

Стреляют в нас тайком, исподтишка.

Но вы теперь—после пожара уголь,

И гибель дела вашего близка!

Сейчас в моих руках ты. И без толка

Зачем ты отпираешься так долго?

А знаешь ли, что я нашел в тот раз

В твоём белье Фольбаума приказ?

«Приказ?—Антон смеется над жандармом.-

Не знал я, что улика он у вас!

Ты мнишь себя блюстителем закона,

А ты всего лишь белая ворона.

Ты мнишь себя вершителем судьбы,

Твои улики попросту глупы!

Мне незачем выслушивать наветы,

Когда их сочинять начнут дубы?»

Антон с усилием встал при этом слове

На костыли. И гневно хмурит брови,

Глаза сверкнули яростью. И вот

Из дома громко доктора зовет:

«Покорнейше прошу вас, принесите
Прощение. Пусть этот тип прочтет,
Прочтите, я прошу, без промедленья
Вороне этой вслух мое прошение,
Изрядно он допросом надоел,
И чтоб соваться больше но посмел
Туда, куда не следует, свинья,
Пусть из него поймет он, кто же я!»

Пенсне с цепочкой доктор надевает
И щурится, и медленно читает
Среди настороженной тишины.
Сначала длинно он перечисляет
Фольбаумские титулы, чины
И на жандарма взгляд тайком кидает.

Антон прервал с притворною досадой:
«Всех титулов перечислять не надо,
Читайте только медленней чуть-чуть,
Чтоб этот тип хотя бы понял суть,
Пускай поймет, идет какая смута,
Авось, понятно станет что-нибудь.

Авось, поймет, пока еще не поздно?..»
Антон закрыл глаза. И стало грозным
Его лицо. И сам он побледнел,
И от волнения стал жандарм, как мел,
А доктор, вновь поправивши пенсне,
Читает громко в чуткой тишине:

«... Вам, генерал, судьбу свою вручаю,
Вы милостью своей известны краю,
Все. И потому любой приказ,

Который лично исходил от вас,
Нас подымал на бой с бунтовщиками
И вдохновлял, и ободрял всех нас.
Восстанье было, словно половодье,
Мы будем помнить век об этом годе.
Когда, предав айлы все огню,
Мятеж мы подавляли на корню.
А нас, солдат, всего полсотни было,
Но ваше слово в бой с врагом водило.
Какверные приказу, бились честно,
Но враг на нас поднялся повсеместно.
Мы сделали в бою все, что могли,
Но сила силу ломит. Полегли
Почти что все, солдатский долг храня,
И раненого взяли в плен меня...
Мне бог помог в моем великом горе —
Карательный отряд настиг их вскоре
И в беспощадной битве у предгорий
Бунтовщиков киргизских разгромил.
Я нашими среди мертвых найден был
На том кровавом и жестоком поле!
По форме доложу, когда мы дрались,
Все документы где-то затерялись.
Нашли при мне один лишь ваш приказ —
Он мне помог и от расправы спас.
Израненный, забытый и бесправный,
У одного врача живу сейчас.

Не потеряй сознания—отстреляться
Сумел бы, может быть...
Не мог связаться
По телефону с вами я тогда —
Враг злобный перерезал провода.

И вот пишу письмо—не оправдаться,
А отчитаться. Ни пятна позора
Нет на моем мундире...
Вы—опора,
Нижайше вас прошу сейчас о том,
Пусть помогает вам господь во всем.
Я не в ладу со здешним полицейским,
Невеждой оказался он притом.
От общества его прошу избавить.
Пора невежде место указать.
Над офицером слежку учинять?!
Что мы разбиты были, разве вправе
Кому-либо как офицер сказать?
Присяге верен я и нашей славе!
Как дворянин потомственный и воин
За воинскую честь свою спокоен,
И преданность солдатскую свою
Я доказал в неравном том бою.
И за всю жизнь свою я возмущен впервые,
Что я под подозрением стою...»

«Довольно!- тут сказал Антон сурово

И кинул лист бумаги.-

Слово в слово

Читай вот это и ищи улики!

Не пойму-я к такому не привык !

Я возмущен провинциальным хамством

И тем еще, что груб ты на язык!»

Поднять глаза не смеет участковый,

Ему теперь казалось, что суровый,

Разгневанный и яростный старик-

Не кто иной, как в генеральском чине.

И участковый по такой причине
От страха верноподанного сник.
В глазах его мир покачнулся зыбко:
«Простите, просто вышла здесь ошибка!»

Ведь это делал я по долгу службы,
А служба сами знаете, коль нужно,
То даже можно выпить яд подчас.
Быть бдительным- по нашей этой чести,
Теперь же- целиком я в вашей власти,
И слово ваше каждое-приказ!

Антон подумал: « С этого довольно».
И махнул рукою : «Вольно!
Ты куда еще? Усердствуешь ты слишком,
Ведешь себя на службе как мальчишка!
А мне сейчас покой необходим,
Учти, с тобой потом поговорим!»

Жандарм свое «начальство» ест глазами.
Вот отдал честь , пристукнул каблуками
И вытянулся в струнку перед нами!
«Так разрешите мне идти?!»

И браво

Вниз руку опустил как по уставу-
Ведь как-никак, а все же старшие чины!
Вверх подбородок, грудь же-впереди.

Антон сказал с усмешкою: «да за крамолой хорошо следи!»

А доктор тяжело вздыхал и нервно
Бородки свои все время теребил:
«я думал, отберет листок. Наверно,
Тогда б тебя в тюрьму засадил,

Но ты находчив, где с тобой тягаться?

А я бы мог здесь сразу растеряться.

Такой как ты, в несчастье не сдаётся,
Недаром волос твой упрямо вьётся, как у Спартака.

Судьба твоя высоких слов достойна,
Слова, что ты в бреду твердил упорно.-
Это слова, Антон, большевика.

«Да, это верно,- тут Антон заметил,
Вы записали все, когда я бредил
И слово в слово мне потом прочли,
Все это правда, что вы говорили
Вы вместе с тайной жизнь мне сохранили.
Спасибо, доктор, вам, что помогли.

И незачем играть мне с вами в прятки,
Для вас я, доктор, больше не загадка.
Не все также добры, как вы.
Нас, доктор, это время не сломило,
И многому оно нас научило
И многого лишила нас, увы!..
Народ еще забыл, не поминает,
Какое время ныне наступает,
Он не решил своей судьбы пока.
Ведь царская политика—сурова.
Но верю я, что сбросит он оковы
И обретет свободу навека!»

«Наверно, большевик вы убежденный,—
Врач с уважением сказал Антону. —
Признаюсь вам, что не был я знаком,
Пока что ни с одним большевиком»-

«Нет, я не большевик, но с ними вместе

Хочу идти всегда одним путем!

Недаром же во времена крутые

Написано: «Немытая Россия».

И суждено нам, доктор, может быть,

Таким, как мы, решиться и однажды

От грязи и от нечисти продажной

Ее лицо прекрасное отмыть!

И знаю я: вы с чистою душою

Разговорились обо всем со мною.

Вы—за киргизов так же, как и я.

И если мы, все русские, как братья,

Раскроем честно им свои объятья,

То будем с ними, как одна семья.

Народ киргизский, как дитя, наивен

И многое понять пока бессилён,

Он мужиков считает за господ.

И все же из киргизов самый бедный

Поделится лепешкою последней,

А если ты в беде—не подведет.

Среди киргизов жил я четверть века.

И всей душой их полюбил за это, —

Сказал Антон, —

Нельзя их одолеть.

В тяжелый час невзгод и испытаний

Поднимут все до одного восстанье.

Недаром клич киргизов: «Жизнь иль смерть!»

Так вот, если подумаешь—все это

Хорошие и добрые приметы.
Не зря в Пишпеке средь мастеровых,
Средь мыслящих людей, могу признаться,
Есть, доктор, большевистская закваска,
И бой пойдет на рубежах иных!

Вот,— вытащил листок он из кармана,—
Это листовка, доктор, как ни странно,
Та самая «крамольная» и есть,
Та, за которой столько дней недаром
Охотился старательный жандарм.
Я всё-таки успел ее прочесть!

Вы видите, от вас я не скрываю
Того, о чем я думаю. И знаю,
Что я обязан, доктор, жизнью вам,
И честью вам обязан, и судьбою.
И если я чего-нибудь да стою —
Я благодарно жизнь за вас отдам.

Теперь, я вижу, вы хотите взяться
Вновь за бинты мои и за лекарства,
Чтобы скорее раны залечить.
Спасибо за лечение и советы.
Хотя не в состоянии за это,
За все сейчас я, доктор, заплатить!..»

И доктор поглядел—глаза суровы —
На своего больного снова: «Что вы!
Мой долг такой — я помогаю вам!..»

Антон смеется весело и долго:
«А знаете ль, я думаю, неплохо
Пойти к друзьям своим, большевикам!»

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЗНАКОМСТВО

Вот до Текеса довела
Тех беженцев беда,
И разбрелись, и разошлись
Киргизы—кто куда.
Земля чужая..
Кто тебе кусок лепешки даст!..
А кто богаче —
Тот подальше старался быть от глаз,
От глаз голодных,
Что просили лишь одного: поесть!..
И около богатых юрт
Старались все осесть.

Лишившись крова и добра,
Скот потеряв в горах,
Всех родственников растеряв,
На клячах кое-как
Токо, Джунуш и Алымкул

Поздней всех добрели
К границе, где Текес-река
Вся в пене, как в пыли.
Страшна крутая быстрина.
Темна Текес-река..
И встретились им на пути
Два мудрых старика.

«Мы встали насмерть на пути

Жестокого врага,
И каждому из нас была
Свобода дорога!
На ваших лицах—доброты
И мудрости печать.
Скажите, старцы, кто же вы
И как народ ваш звать!
Что за земля лежит вокруг.
Покрытая травой!
Что за хребет невдалеке
Под снежной пеленой!»

И вот один из стариков
Хитро сощурил глаз:
Послушайте меня, сынки.
Послушайте рассказ!
Кто я! Я—старый макасчи.
Верны мои слова.
Земля, что удивила вас.
Джигиты, такова:
Здесь нет ни щебня, ни болот.
Здесь—теплые дожди.
Земля тучна и зелена
От зарослей джиды.
Земля, где радуется урюк.
Где радуга арчи.
Где звонко падают с горы
Прозрачные ручьи
И где ковыль растет по грудь.
Где посреди лесов.
Как колокольчики, звенят

Лишь песни соловьёв.
Где жаворонки славят жизнь.
И солнечно поют.
И где непуганные птицы
Спокойно гнезда вьют,
Где золотистые птенцы
Сидят, напряжены.
Где гуси ходят по лугам.
Качаясь, как челны.

Земля стремительных чинар.
Летящих я облака.
Земля серебряных берёз,
Стареющих века.
Где в чащах быстрые олени
Тень носят на рогах,
Где яки, сутки проплутав,
Скрываются в кустах...
О первозданная земля.
Леса, луга, хребты,
Земля без края и конца—
О, как прекрасна ты!..

Летит, бурлит река века
Горам наперерез.
А разольется—то похож
На океан Текес.
И, вырвав с корнем тополя.
Уносит их с собой.
Не зря нахвали в старину
Ее Текес-рекой.

Ее притоки по камням

Летят, как скакуны,
И словно всплеск огромных крыл.
Всплеск белой быстрины.
Когда настанут холода,
Когда земля во льду.
Здесь птицы падают без сил.
Замерзнув на лету.
О древняя земля Текес,
Земля орлов и скал!
Никто великих тайн твоих
Покамест не познал.
Когда летит река Текес

Поет ее струя
И извивается она,
Как серая змея.
А по краям ее - вода
Зыбка, словно челнок,
Вздымаются ее валы
И рвутся на восток.

Послушайте меня, сынки.
Послушайте опять,
Еще о многом вам хочу
Сегодня рассказать.

Здесь, где текесская земля,
В дремучие года
Жил легендарный Конурбай
И вся его орда.
Наверно, помните, сынки,
Алгара-скакуна!
Когда на нем был Конурбай —

Звенели стремяна!
Вы знаете—был Конурбай
Крутой и грозный хан.
Носил он косы на спине
Тугие, как аркан.
Носил всегда в руках с собой
Свой меткий очогор,
И это грозное ружье
Все помнят до сих пор.
Носил на колпаке своем
Он изумруд-шокет.
Он нападал, словно дракон,
С ним бился Алмамбет.
Он гнал калмыков, как овец,
Все на пути крушил.
И он Манаса самого
Смертельно поразил.

Вот эта местность—Чон-Копо,
Где свищут стаи птиц,
Где чернобуры облака,
Словно меха лисиц.
Там змеи, как аркан, крепки.
Там волки среди скал.
От этой местности сюда
Доходит перевал.
И вдаль на запад от нее
Течет разлив долин,
Где сын Карима—Мурадил
Был грозный властелин.
Который против Семетея
Водил свои войска.
Был за его спиной всегда

Отряд из сорока.
Из самых сильных и отважных
На быстрых скакунах!
Он сотни пленниц в жены брал.
Повсюду сеял страх!
Уч-Моюнчу и Кок-Терек -
Благословенный край.
Здесь люди сильные живут
Из племени Кызай.
На луговинах заливных
Свою проводят жизнь.

Они спускаются зимой
На пастбища Джылдыз.
Не косят сена никогда —
Есть корм всегда окрест!
Они не любят загонять
В загон, как мы.

Овец!

У них почти любой—акын
Уже с ребячьих лет.
У них кочуют бедняки
За богачами вслед.
Чтобы кормиться кое-как.
Их табуны паса,
И асе же в щедрой доброте
Им отказать нельзя.

И если хочется узнать
О спутнике моем,
Я по порядку расскажу
Сыны мои, о нем.
Вы не узнали старика

С бородкой в три клока!
Акын известный Эсентай
Из племени Кызай!
С ним спутник—верная домбра,
Где струны, как пурга.
Как запоеет—то с языка
Слетают жемчуга.
И разливная песнь его
Горячим бьет ключом!
И состязаться он готов
Всегда с любим певцом.
Он песни гонит пред собой.
Словно чабан стада.
Он каждой думою со мной
Поделится всегда.
Он до конца мне жизни друг.
Всегда помочь готов,
Акын известный Эсентай.
Вы знайте —он таков!

И ваш далекий Иссык-Куль
Мил сердцу моему.
И вашу горькую беду
Без лишних слов пойму.
Я вижу—ранен ваш смельчак.
Пусть так его зовут!
Но бог—он жизнь вам сохранил,
А раны заживут.
Так заверните в наш аил —
Вас ждет приют вокруг.
Вы приведите к нам детей.
Старух и молодух...»
И тут ответил Алымкул:

«Вы—горные цветы.
Исходит от бород у вас
Сиянье доброты.
И рады мы от всей души.
Что встретили вас здесь,
Хотя разбрелся наш народ
По всей земле Текес.
Вы приглашаете к себе
Детей и стариков.
Спасибо вам за доброту.
За то, что дали кров!
Даже во сне не разглядим.
Где дети, где друзья.
Никто не может нам сказать.
Жива ль твоя семья.
Мы день и ночь сюда брели
И выбились из сил.
Не выспались мы давно.
Оставив свой аил.
Нам говорили старики.
Желая нам добра.
Что будем мы теперь бродить.
Бездомные ветра.
Мы за свою свободу шли
На справедливый бой.
Мы защищали, как могли,
В боях народ родной.
Наверно, и для вас звучит
Свобода—ураят.
Она для нас была зарей,
И мы придём назад,
В свои края, я и друзья,
В край горной синевы,

Я и друзья—Джунуш с Токо,
Кочевники, как вы.
Мы с иссык-кульских берегов.
Мы просим вас в тоске:
От горя нас и от беды
Спасите, абаке...»

РАССКАЗ АЛЫМКУЛА

И каждый день из всех краев окрестных
К седому старику Исетекекесцы
Шли, торопились все до одного
Проведать Алымкула своего.

Над очагом кружатся искры снова,
Искра над юртой гаснет, горяча.
И кто-то из сидящих вставил слово
О том, как хорошо горит арча.
Джигиты в каждой песне и рассказе
О прошлом говорили допоздна.
Волнуясь, вспоминали о Манасе,
Манасовы седые времена.
И вот Иса поднялся тихо с места.
Запел «Манаса он, струны шевеля:
«От древнего Таласа до Текеса
Простерлась вдаль Манасова земля».

Увлечены чудесными словами.
Сидят джигиты горными орлами.
Готовы сесть на быстрых скакунов.
Чтоб только племя шло из-под подков!

Когда Мангс терпел вдруг пораженья --
Сидели все в немом оцепененье.

«Вот, если б не обман Манчжу, то он,
Мапас, никем бы не был побежден!»

А если же киргизы побеждали -----

Джигиты загорались, ликовали.

Бакаями сидели старики

И молодежь речами поучали.

А старый говорун чернобородый.

Пересчитав богатырей народа.

Пошевелил огонь а костре, вздохнул:

Пусть о себе расскажет Алымкул!»

И Алымкул в раздумии великом

Сидел и представлял себя Сарыком,

Сподвижником Манаса с первых дней,

И за собою вел богатырей.

И, словно глядя вдаль, глаза сощурил:

«Я б был судьбой доволен, если б умер

В тот час, когда я слушаю рассказ

О том, как побеждал врагов Манас.

Что рассказать! Не знаю сам. джигиты,

Ведь жизнь моя ничем не знаменита,

И смолоду меня со всех сторон

Жизнь жалила всегда, как скорпиона.

Старик Иса в огонь кизяк подбросил:

«Ты должен говорить, когда мы просим,

Не обижай своим отказом нас,

Текесцам интересен твой рассказ».

В сто плоток «Расскажите!» прозвучало.

Вот кто-то поправляет одеяло
На Алымкуле бережно в углу...
«Ну. что же, расскажу я, как могу.

Наверно, без удачи я родился.
Грудным ребенком матери лишился.
А в восемь лет остался без отца.
И стая я жить у брата, сирота.

Хотя идет теперь мне двадцать пятый.
Но помню хорошо я эту дату.
Когда я стая учиться у муллы.
Что с черной палкою ходил горбатой.

Был озорным, но хорошо учился.
И вот тогда я крепко подружился
Джунувюм и Джапаром с первых дней,
И не было ребят, чем мы, дружней!

Заносчивый Ашимучился с нами
На нес всегда бросался с кулаками,
Ровесников он на смех подымал
И всех людей ниже себя считал.

Прошли года -- и бросил я ученье,
Ведь впроголодь пришлось нам жить все время.
И клячу брат мне где-то приобрел
Потом я вскоре в пильщики ушел.

И я работал весело и споро...
Однажды брат сказал мне: «Съезди в горы,
Ведь должен отдохнуть ты, наконец!»

И я его послушался, глупец.

Когда домой с сыртов я возвращался.
Мне сообщили люди: брат скончался.
Товарищ – пильщик мне тогда сказал:
«Крепись, дружок. Бог дал – и бог забрал!»

С тех пор душа моя болит, как рана.
Два года я с Андреем и Иваном
Без отдыха старательно пилил
И навещал лишь изредка аил.

Наш род был беден. Потому порою
Любили издеваться надо мною.
Однажды, заступившись за свой род,
Я сдачи дал обидчику...

И вот

Сказали, одобряя, аксакалы:
«Вернись в аил, не шлейся, где попало.
Ведь грамотных джигитов разбитных
Таких, как ты, в аиле не бывало».

Подарен был аилом конь ретивый,
И стал я отвечать на силу силой,
И где б ни приходилось мне бывать —
Ни в чем не посрамлял я честь аила.

Я ездил на поминки в час суровый
И на пирах расспрашивал о новом,
Где почитать привыкли с давних лет
Правителей, певцов и острословов.

Я видел, как правители решали
Свои дела, а сами пиروвали.
Серебряную ставили печать
И судьбами простых играли.

Бывали на пирах и на поминках
Почти что все—от мала до велика.
Но в стороне сидели бедняки.
Отдельно от других сидели тихо.

Картина эта мне казалась странной,
Я голову ломал себе упрямо
И думал: « Почему же разделен
Народ всегда на два враждебных стана?!»

Сынки богатых ссоры затевали.
По пустякам любого избивали.
На игрищах встречая бедняков.
Презрительные клички им давали.
Но как меня затронуть ни старались,
А все же не могли—видать, боялись.
Я никому пути не уступал.
Всем боязливым сверстникам на зависть.

Был как-то пир устроен богачами.
Затеяли джигиты козлодранье.
Вот подстегнули яростно коней.
А ну-ка, покажите, кто сильней!
Вот доскакал Абыл до этой туши ...
Круг всадников горячих уже, уже ...
И тут Ашим обычай наш забыл —
Коня Абыла под уздцы схватил.
Конь в сторону отпрянул, словно птица,
Абыл не смог за тушу ухватиться.

И тут Ашим стегнул коня камчой,
И под Абылом вздыбился гнедой.

Тут закипела ярость у Абыла —
Была задета честь всего аила.
«Бить надо так!»— и со всего плеча
Упала на обидчика камча.

... И вот мы разделились на два стана.
Заполнил гул воинственный поляну.
Со всех сторон кипит уже вражда:
«Не будет примиренья никогда!

«Из твердого – казан пусть уцелеет,
Из мягкого – пускай одна зола!» -
Кричит Тилек подручным, багровея,
Так в злобе конь кусает удила.

« А ну, джигиты, вы сильны не даром,
А ну, дерите бороды у старых,

Конями затопчите молодых!
И не жалеете никого из них!»

И стала вооружаться вся округа.
И вот пошли аилы друг на друга.
Сжимаются упрямо кулаки...
Но между нами встали старики.

... Четыре старика несокрушимы:
« Должны мы крепко пристыдить Ашима,
Чужого скакуна ударил он
И тем нарушил древний наш закон.

На стороне Ашима трое было.
И лишь Мурат на стороне Абыла,
И старики решили, что сполна
Заплатит тогуз наша сторона.

«О боже, разве это справедливо!—
Мурат тогда воскликнул.

Но не в диво
Лишение это было беднякам.
Ведь надо подчиняться старикам!

Хотя Ашиму выкуп мы отдали.
Но время шло—аилы враждовали.
И все ж, простить нам баи не могли —
В Сибирь меня с Абылом упекли.

Как будто человека мы убили!
Схватили нас и руки нам скрутили.
К тому ж сильнее вспыхнула вражда

САшимом

Из- за девушки тогда...

Нас в кандалы жестоко заковали —
Нам шага они сделать не давали,
И нам хотелось лечь и умереть,
Чтобы таких мучений не терпеть.

В холодных и сырых землянках жили,
Подушками нам кулаки служили,
Постелью теплой нам земля была ---
Нас только смерть освободить могла.

И с нами вместе обживали нары
Там русские, узбеки и татары.
Со всех краев согнали их туда.
Где солнце замерзает в холода.

И мы уже тогда с Абылом знали.
Что самых лучших в глушь, в Сибирь сослали.
Всех самых лучших, кто в года невзгод
Стеной вставал за бедный свой народ.

Я подружился крепко с Железновым.
Был Железнов большевиком суровым,
Казалось мне—он сердце прожигал
Своим крутым и справедливым словом.

«Ты с произволом встретился жестоким.
Пускай послужит он тебе уроком.
Сама свобода не придет к тебе.
Свобода достигается в борьбе!»

Он говорил: «Чтобы помочь народу,
Ты должен обрести быстрее свободу!»
Я реку переплыл ночной порой —
И вот попал на родину, домой!

Но мне пришлось скрываться от закона.
Не дома у себя, а у Антона,
Он нашей давней дружбы не забыл.
И жил я у него, как будто дома.

Вернулся я назад в такое время.
Когда народ мой, потеряв терпенье.

Со всех ущелий и со всех долин
Поднялся за свободу как один.

О наши братья кровные, текесцы,
Враждующий с народом хан.

Известно,

На верную погибель обречен!

Наш царь жесток—и зашатался трон.

Как видите, трудна моя дорога.

Пришлось хлебнуть мне горя очень много,

Россия сбросит тяжкий гнет цепей.

Чтобы омыться кровью богачей.

Россия! Поле, солнцем залитое!

Она для нас—гнездовье золотое.

Нас разлучила не вражда с тобой,

А царский гнет тяжелый, вековой.

О гости! Аксакалы и джигиты.

Мелькают дни, как конские копыта.

Лишились мы отцовского гнезда.

Нас привела к вам горькая беда.

Но, братья, я поверил всей душою.

Мы все сейчас—перед большой зарею.

И знаю, братья, я наверняка —

Свободу обретем мы на века!

РАССТАВАНИЕ

Вот долину покрыла пурга —

Не видать за четыре шага.

Только белый завьюженный снег.

Только каменные вороха.

Горным птицам сейчас хуже всех —

Они с криками ищут ночлег.

И без корма дрожат скакуны.
Вместо неба—одни валуны.
Вместо поля—из снега пески,
А у беженцев ночи темны.
В норах женщины и старики
Ожидают весны, как сурки

Плети ветра по лицам секут.
Голод ходит меж беженцев, лют,
Словно он говорит среди тьмы:
«Это вам наказание за бунт!»
Посредине суровой зимы
Лишь могильные встали холмы ...

Голод к беженцам бедным жесток.
Просят милостыню—хлеба кусок
Или горсть талкана у людей.
Голод валит бессильного с ног
Возле чьих-то закрытых дверей.

По Китаю всему в этот год
Прокатился шугой недород.
Погибают в ущельях стада,
Вымирает повсюду народ.
А для беженцев эта беда
Только смерть, только гибель несет.

Жизнь идет—от беды до беды,
Не накормят голодных мечты.
Не согреет бездомного сон.
Вся еда—только кружка воды.

В край чужой мой народ занесен.
Ожидает хороших времен.

Алымкула тяжесть гнетет.
Память мерзнет, как будто лед.
Память мерзнет—и тает опять,
В сердце рана не заживет,
Зубы стиснуты—не разжать,
Дальше некуда отступить.

Вдруг на улице голоса
Услыхал он... Открыл глаза.
На постель больной оперся
И подался плечом вперед,
Словно он закричит вот-вот.

Он с дверей не спускает глаз.
Кто узнает, о чем сейчас
Он задумался! Боль в ушах.
Вспыхнул свет в глазах. И погас.
Словно это беркут в горах
Приготовился сделать взмах.

Но бессильно руки лежат...
Темнотою подернут взгляд.
«Это все наяву иль во сне!»
Вот откинулся он назад.
Крикнув: «Что ж, заходи ко мне!
Закаляется сталь в огне!»

Вот зашел Джунуш.
Алымкул

К другу голову повернул.
Тяжело приподнялся он.

Руку слабую протянул.
Улыбнулся ему с трудом
И бессильно упал потом...

И на друга Джунуш глядит.
Сердце сжалось. Душа болит.
Слез не может он удержать:
«У тебя ныне лучше вид!»
Помолчал чуть-чуть и опять:
«Я пришел тебе рассказать ...

То прозрачна, то вновь мутна,
То тиха, то грозна волна.
Так и жизни тяжелый путь:
Если горсти нет талкана —
Жизнь заставит с пути свернуть.
Чтобы в яму тебя толкнуть!

И хотя сказать нелегко,
Батраком стал наш друг Токо,
Ведь семья что-то есть должна!
А богач обязал его:
Он два года за скакуна
Отработать должен сполна.

Да, безрадостно тяжела
Много времени протекло
Как же мне без тебя уйти!
Нам здесь голодно – не тепло,
Но однажды ни еды ...

Я тебя еще подожду!

И хотя мы с тобой бедны,
Я останусь здесь до весны.
Чтобы здесь тебе помогать
Знаю скоро промчится дым
Нам осталось недолго ждать --
И вернемся домой опять!...»

«Нет! – сказал Алымкул – Забудь.
Перебьюсь здесь я как-нибудь.

Так что ты отправляйся в путь!
Если будет тебе нелегко.
То придет на помощь Токо.

Вот тебе мой, Джунуш, ответ...
Я умру- исполни завет:
Будет сын у сестры твоей ---
Назови ты его Белек!
Как положено у друзей ---
Это будет подарок ей.

Если дочь – назови Керес,
Пусть узнает, что имя отец
Своей дочери выбирал
Ты ребенку скажи, что здесь
Умер я ... Чтоб ребенок знал,
Где его погребен отец.
Пред тобой – неизвестный путь
Ты, Джунуш осторожным будь.
Там. Где надо молчать, - молчи.
И кинжала не позабудь.

Если встретится кто – учти:

Ты --- из города Урумчи.

Ты дорогу узнай в Туфан

Путь туда хоть тяжел, но прям.

Никому не скажи нигде,

Что болею от старых ран.

Ты держи язык на узде --

Ведь Толлок будет рад беде!

Так что путь свой держи в Туфан,

Если встретишь мою Нурджан,

Ты ее приведи ко мне.

Без нее – в голове туман.

Был я беркутом на скале,

Был героем на скакуне.

Но судьба моя – словно враг.

Мне Антон говорил вот так:

« Верь – настанет наша заря.

И рассеется ночи мрак,

Сбросим мы своего царя.

И я верю ему не зря!»

Щекн – словно старый чапан

Взгляд, как будто свеча. Потух

Мир застлал горячий туман.

Чтобы слезы не видел друг,

Тут Джунуш закашлялся вдруг.

В это время зашел Токо

«Друг мой, я оценен всего

В одну клячу. Не кем-нибудь --

Богачами

Но ничего.

Моя мечта согревает грудь,
Что отправлю Джунуша в путь!

Сны отгадываются вот так:

К счастью снится мужу ишак,
К счастью снится тесто жене...

Сны отгадывать – не пустяк .

Почему же снится во сне
Не ишак – только тесто мне!»

Засмеялись трое друзей,

Стало как-то веселей.

«Этот сон твой, Токо, к добру!»

... И расстались трое друзей.

Чтобы встретиться вновь вдали,

Сквозь огонь судьбы

Побре

Солнце огненное литье

Выплывало в гнездо свое,

Чтобы ночью там отдохнуть...

Эсентай с Исою пришли

И, всплакнув на прощанье чуть-чуть,

Проводили Джунуша в путь.

ВСТРЕЧА НА ПЕРЕВАЛЕ

Около перевала, покрытого вечным льдом.

Сбился Джунуш с дороги в жутком дыму ночном.

Чтобы быстрее избавиться от ветра и холодов.

Нашел в сугробах пещеру и в ней укрыться готов. |
«Чуть-чуть пережду ненастье и дам коню отдохнуть,
А завтра по перевалу снова отправлюсь в путь».

Вот слез он с коня гнедого и видит, как через льды
Между крутых сугробов идут человечьи следы.
«Недавно, наверно, люди этим путем прошли...»
Услышал он запах дыма, струящегося невдали.
И тут же среди сугробов, где стояла скала, остра.
Увидел людей усталых, гревшихся у костра.

Веселое, красное пламя покачивалось слегка,
Искры плясали весело от ближнего ветерка.
Вдруг, словно ветер нахлынул откуда-то из-за гор
Рассыпал искры по снегу и затушил костер.

Наверно, странные люди, что ныне укрылись тут.
Случайных спутников грабят— и только этим живут», -----

Так думал Джунуш. И тихо за ними стал наблюдать.
Никто у костра не двинулся, чтобы разжечь опять
Доброе, красное пламя- Дым клубился густой.
Словно костер тот залит был ледяной водой.
Тихо и недвижимо каждый, как сноп, лежал.
Только один, шевельнувшись, жалобно застонал

Джунуш на длину аркана приблизился, удивлен.
«Кто эти люди странные? Чей это странный стон!»
Оттаяв, как месиво глины, стал очаг земляной.
Струйки стужи бежали, став от тепла водой.
«Наверно, свалил их голод!.. Надо помочь мне им!»
Джунуш к лежащим подходит вместе с конем своим.

Кто-то едва повернулся к нему распухшим лицом.

Глаза—две глубоких ямы... А сам лежит под тряпьем.

Другие кашлем и стонами, что живы, подали знак.

«Кто ты! Нечистая сила!

Или заклятый враг!

Но если не черт, не дьявол, а человек лишь ты.

То подойди поближе, если хочешь спасти!

Мы—киргизы. Мы только беженцы. Ты сердцем, путник,
пойми:

Мы съели свои тулупы и сапоги свои.

Питаемся мы корнями одними четыре дня...

Жизнь оставляет тело. Посмотри, джигит, на меня.

А был я когда-то джигитом, таким же сильным, как ты,

А теперь меня самого ноги не могут нести».

И, на Джунуша глядя, подумал: «А может быть,

Наброситься на джигита всем и повалить,

А потом скакуна зарезать!..

Но только не хватит сил...»

И, тяжело вздыхая, он тихо проговорил:

« О друг, нас аллах, наверно, от гибели не спасет!

Не сохраним мы силы—он нас к себе заберет.

Нам суждено, как видно, страданья все испытать,

А если придет свобода—ее нам не увидеть.

Если ты не поможешь, добрый нам человек.

Здесь мы лежать останемся, прахом лежать навек.

А если есть бог на небе, так почему он слеп!

Если он есть—за то мы скажем, что бога нет!

Друг мой, я не скрываю, мысль была у меня.

Друг мой, хотел зарезать я твоего коня

Если хватило б силы - сжарил бы над огнем...

Мы скакуна вернули бы тебе на свете том.

Лежим мы как будто бревна, не можем ни сесть, ни встать.

Неоткуда списания бессильным нам ожидать!»

Пишу найдут в дороге всегда и джигит, и волк.
Поэтому и считается: брать пищу какой же толк!
Но здесь не земля киргизов—чужбина глухая здесь,
И негде остановиться, чтобы без денег поесть.
Джунуш по пути питаюсь водою и талканом,
Добрался до перевала заснеженного с трудом...
«Встаньте!—сказал лежащим громко Джунуш,—сейчас
Я скакуна зарежу и накормлю им вас.
Вы наедитесь мяса, сил наберетесь вы!
А ну, огонь разжигайте, но вешайте головы!..»
Люди, камнями лежавшие, думают: «Явь иль сои!
Неужто джигитом добрым каждый будет спасен!»

«Эй,— толкает соседа недоверчивый аксакал.—
Это во сне, наяву ли! Ты слышал, что он сказал!»
Тогда молодой, удивляясь, голову приподнял,
А третий глаза восхищенно то щурил, то открывал.
Вот самый сильный из беженцев поднялся среди белойтьмы,
И радостный крик раздался: «Теперь не погибнем мы!»
«О боже,— воскликнул кто-то,— это Кадыр-пророк!..
Это святой нам, бедным, это пророк помог!»
Кричит старик из пещеры: «Больше, друзья, огня!
Откуда джигит приехал! Откуда привел коня!
Вы теперь не умрете, дети киргизских гор.
Возьмите коня у джигита и бросьте его в костер.
Связал он коня гнедого, на землю его свалил
И кровью горячей, алой снег голубой полил.
Голодные заволновались, стоят и глядят вокруг:
Этот джигит, наверно, нам послан, как добрый дух!»
Вот вырезали печень, зажарили над костром
И, поровну разделивши, съели ее потом.

Никто но спросил Джунуша покамест, откуда он

И из какого рода...

Мирно сиял огонь.

Только старик о пещере «спасибо!» ему сказал.

И на земле холодной он лежать продолжал.

Когда же кусочки мяса совали старому в рот,

Он поедал их быстро, жуя, словно старый кот.

«О дети мои, прошу вас сегодня много не есть.

Если съедим мы много навеки останемся здесь.

Этот спаситель добрый, пришедший издалека,

С нами пускай присядет около огонька».

И старик благодарно и ласково на путника посмотрел

И, славя щедрость аллаха, руки к небу воздел.

Хотя и воспрянул духом, но встать не мог аксакал.

Глаза он закрыл бессильно и долго вот так лежал:

«О добрый путник, скажи нам,

Кто ты! Не скрывай от нас!

Наверно, бог надоумил —

И ты нас от смерти спас.

Так будь же всегда счастливым на этом свете и том,

Пусть горе с бедой минуют, обойдут стороной твойдом!»

«Я такой же, как вы, аксакалы, я все потерял, увы!

Хотя таких испытаний не принял пока, как вы.

Делать добро друг другу — это высший закон.

Я не богат и все же расстался со скакуном!

Добро — серебро. Вернется оно, сделав круг, опять.

За жизнь человека не жалко жизнь до конца отдать.

И вы, аксакал, скажите, какая у вас беда!
Скажите, вы кто, откуда! И держите путь куда!
Вижу, что вы издалека, жизнью умудрены.
Вижу, что вы бредете из нашей бедной страны.
Скажите, где наши люди! Куда девались они!
Мы их ждем на чужбине, ждем их ночи и дни».
«О,— старик восклицает,— запомним мы этот год,
Когда по всему Турпану разбрелся бедный народ,
Он бродит от места к месту, он ищет хлеба кусок.
Стужа его иссушила и ветер его иссек!
И отняли на чужбине всех женщин, чтобы продать
За деньги в чужие руки. Их некому защищать.

Спасая остатки жизни, к Техасу мы шли все дни.
Но люди ослабли от голода, и с ног валились они.
И за день версту — не больше — мы одолеть могли.
До этого перевала мы еле-еле дошли.
Ветры секут колючие. Скалы стоят, круты
Мы здесь погибли если бы
Не повстречался ты!

Если мы будем живы, если к своим придем,
Джигит, мы тебе оплатим
За щедрость твою добром.
А если жизнь оборвется среди холода, среди тьмы.
Только тогда не оплатим щедрую жертву мы!
Нет меры широкой щедрой души твоей.
И я говорю «спасибо» от имени наших людей.
От радости моё тело
Знобит,— продолжая старик,—
От радости заплетается, спотыкается мой язык.
Посла долгого голода я слабым стал от еды.

Сейчас отдохну немного, чтобы завтра опять идти.

Если к утру не умру я, если сумею встать —
О бедствиях наших беженцев хочу тебе рассказать».

Старик замолчал. И больше сказать ничего не мог.

С глазами осоловелыми снова старик прилёт.
В тёмной холодной пещере, покрытой снегом и льдом,
Бедный старик забылся долгим, холодным сном.

И остальные спали

Вниз лицом, на спине...

И к ним возвращались родные и жили с ними во сне.

...Железный, косматый холод медленно, тяжело
Поднялся к вершинам снежным, когда вокруг рассвело.

И солнце, словно клинками, разрубило тьму пополам

И, озаря вселенную, тронулось по горам.

Джунуш от солнца проснулся. Давно улеглась пурга.

Проснулся и стал возиться около очага

Как беркут, что засиделся в тёплом гнезде своём.

Старик чуть-чуть приподнялся,

Словно сейчас крылом

Взмахнет — и ринется в небо, ринется к солнцу, смел—

Вот голову он приподнял и все вокруг оглядел

Джунуш хитро улыбнулся и руку ему подав:

«Вы рано еще проснулись. Ну, как дела, аксакал!»

«О боже, пусть будет явью картина эта, не сном,

И неужели живой я и вижу солнце кругом!

Ты, нас воскресивший, спаситель забытых дув.

Скажи-ка, мой светик кто ты! Узнал я тебя. Джунуш!

Старик заморгал глазами, словно испуган чем,

И от нечаянной радости он ослабел совсем.—

Это я, твой дядюшка, старый друг твой Мурат.
Дай. тебя обниму-ка. ты знаешь, сынок, я рад!
Ты, слоено посланник бога, явился к нам в добрый час.
Ты вовремя появился, от верной нас смерти спас.
Видишь, больна старуха, и сына я потерял.
Мы долго в горах плутали, вышли на перевал —

Поцеловал Джунуш а
Старик и от слез ослеп,—
У тебя родился племянник, имя его — Белек!
Мария с Нурджан кормили в трудной дороге нас
Если б не помогали — не видел бы нас сейчас!
А мать твоя ожидала, что, может, пришлешь ты весть,
Все время к тебе стремилась... И вот мы встретились здесь.

Нет храбреца без народа, народа — без храбрецов.
Дай обниму тебя крепко, крепко без лишних слов!
Истосковались, как дети малые, мы по вас.
Придвинься. Джунуш, поближе — увидеть хочу сейчас
Лицотвое молодое. Молодые твои глаза.
Давай, Джунуш, поцелуемся, как друзья!
Скажи-ка, живы ль герои, что отправили нас вперед
А сами встали заслоном, спасая родной народ!..
Если ты есть, создатель, ты молодых спаси.
Если нужны тебе люди — лучше меня возьми!
Скажи мне, идешь куда ты, какой мечтою согрет!
Где Алымкул с Антоном, живы они иль нет!»

И остальные тоже
Зашевелились тут.
Подняли они головы, настороженно ждут.

Старуха Мурата тоже голову подняла

И, слезы не утирая, только сказать смогла:

«Спасибо тебе за радость!

А может быть, это сон!

С кем ты сейчас разговаривал! Видно, из наших он!»

ЧЕРЕП

Снова Джунуш голодает... Пламя в его глазах.

Он ослабел, но мужество — в его каленых словах.

В душе— девяносто адов. Но тверд, неприступен взгляд.

Ни голод, ни ад Джунуша сроду не устрашат!

Джунуш проснулся и видит:

Нет никого вокруг.

И взгляд его беспокойный остановился вдруг

На белом, широком черепе с вмятинами на висках.

Может, его подложили нарочно ему, впотьмах!

Зубы у черепа целые, словно живые, блестят.

В глазницах пустых, как пропасть,— темный, могильный
взгляд.

При жизни, а может, после — вмятины на висках!

Трещины зарубцованы там в четырех местах.

«Откуда здесь бедный череп, откуда и почему!

Этот широкий череп принадлежал кому!

Может быть, одинокий

Путник упал в степи!

Видимо, очень трудно было ему брести...

Может, всегда смеялся, радовался всегда!

Может, его караулила на каждом шагу беда!

Может быть, где-то когда-то грозно царствовал он,

И возвышался над всеми его неприступный трон

Может, он был умнейшим царственным мудрецом!

Может, он был хитрейшим и знаменитым купцом!

Может он был поэтом, играющим на струне.
На облаках сидящим, словно на скакуне!

Может, это влюблённый, спешивший к любви своей!
Успел ли излить влюблённый душевную нежность ей!

Или его убила вражеская рука.

Когда они были рядом, как два молодых цветка!

Может, он был героем, спасшим людей вбеду!

А может, был уважаем всеми за доброту!

Может, он был Асаном — печальником вековым!

Иль пастухом, что гонит

Овец по горам крутым!

Может, он был факиром и тем добывал свой хлеб!

Может, он был вершителем судеб, душою слеп!

Может, был этот череп сокровищницей добра!

И там, где мысли рождались,— теперь пустая дыра!

О череп, скажи, быть может, грозишь ты кому-то злом!

А может, ты — нечто святое на тяжком пути моем!

Может быть, ты — чудовище, могильный, дремучий мрак!

А может быть, моей смерти, гибели близкий знак!

Нет, не отвечает, звука не издает!..

Земля же под ним спокойно нового утра ждет.

Только пустыня и небо, только солнце вокруг.

Череп не просит о помощи...

И сам он — и слеп, и глух.

Как человек бессилен! Хотя он велик, но мал...

Как безумен, бесчестен

Тот, кто его создал!

Может быть, для насмешки создан ты, человек!

Веришь всю жизнь в бессмертье.

Но мал твой короткий век!..»

Так про себя тихонько наш Джунуш бормотал

И на пустыне дикой

Камни он собирал

И обложил ими череп, чтобы со всех сторон,

Как мертвецам полагается, череп был огражден.

«О, если бы был я богом... О, если бы все я мог!..»

И вздрогнул от этой мысли... И вдаль побрел без дорог

МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ

Здесь, где нету ни былинки, ни воды среди пустынь,

Караван вдруг показался, колокольчики: динь-динь...

«Дайте бедному скитальцу, если есть у вас душа,

Дайте хоть кусочек хлеба... У меня нет ни гроша».

Так погонщикам сказал он, руку к ним он протянул,

И хозяин каравана тут к Джунушу повернул.

«Наш хозяин, видно, щедро ему милостыню даст!» —

Так погонщики верблюдов рассуждали в этот час.

Вот хозяин подъезжает, как султан, ни дать ни взять.

«Если деньги есть, что хочешь, я велю тебе подать!

Ну, поехали!» — мула он камчою подстегнул

И на бедного скитальца взгляд озлобленный метнул

Друг,— сказал ему погонщик,— мы бессильны передним.

Ведь богатый, как известно, к бедным был всегда глухим.

Так пойдем со мной, скиталец, вот тебе моя рука.

Все, что есть, бери! Садись-ка, коль устал, на ишака.

Кукурузную лепешку мы разделим пополам!»

И Джунуш ответил тихо: «От души спасибо вам.

Кто богатый — тот к скитальцу отнесется, как к врагу.
Только бедный помогает бескорыстно бедняку.
Кто же о том узнает, говорили ль в ночах глухих
Джунуш и погонщик добрый о давних тайнах своих!
Шесть дней отошло над пустыней, шесть отгорело лун,
И вот до Ак-Су добрались Джунуш и с ним Токтохун.
«Джунуш,— говорит погонщик,— шесть дней — шестьскакунов —
Промчались... И мы расстаемся. Так будь же, Джунуш, здоров!»
«С тобою расстанусь другом,—
Тихо Джунуш сказал,—
И в знак моей дружбы крепкой дарю я тебе кинжал».

Если мы будем живы — встретимся, друг, опять.
Будем делиться хлебом и эти дни вспоминать.
Везде ведь бывают зоркие беркут и молодец!
И верится, что с тобою встречу я, наконец!»
«Давай же с тобой попрощаемся — путь мой дальше идет.
Сети, что нас опутали,— верю, время порвет!
Я никогда не забуду нигде твоей доброты.
Лепешки твоей не забуду..
Меня — не забудешь ты!»
«Да,— Токтохун ответил,— Джунуш, послушай меня.
На счастье свое в одиночку не сядешь, как на коня!
И счастье одного человека — со счастьем другого всегда.
Джигит для джигита — товарищ, если пришла беда!

Сердце — слуга аллаха. А сам я — бая слуга.
Но память о нашем прошлом будет мне дорога.
Как только тебя увидел — сердце к тебе легло.
Вот деньги — возьми себе их,
Чтоб было в пути легко!»
И вот Токтохун Джунушу крепко руку пожал.
Потом же неторопливо поясной платок развязал

И высыпал на ладони горстку медных монет:
«Насыпал бы и побольше, да только побольше нет».
У Токтохуна ушанка заячья — первый сорт!
Из-под нее струится, словно бусинки, пот.
А на Джунуше шапка —
Мерлушка цвета зимы.
«Давай обменяемся шапками в честь дружбы хорошей мы!
Пусть все, что было под шапкой, к тебе, Джунушперейдет!
Не зря ведь такой обычай придумал давно народ.
Нет земли ни кусочка, чтобы была моя.
Полил ее вдосталь лотом
За долгие годы я!

За караваном верблюдов, под колокольчиков звон
От края ее и до края я обошел пешком...
Скитаясь в краях далеких, ни ночи не вижу, ни дня,
И ты, я уверен, не скоро, может быть, встретишь меня.

Давай же, друг, поцелуемся, пришел расставанья час.
Кусочек лепешки последней поделим в последний раз!...»
«Только черт без надежды,—ответил Джунуш,—живет,
Мы встретимся в дни, какие
Народ обездоленный ждет!»

НА БАЗАРЕ

Жаркий полдень расплавлен.
Базарная площадь шумна.
Вся базарная площадь голодных нищих полна.
Вдруг пронеслось: «Дорогу!
Дорогу!» — со всех сторон.
И разрезает толпы нищих людей
Фургон.

Люди застыли на месте... Фургон высок, как скала.

Два крепконогих мула зло грызут удила.

Два джигита за повод держат их и бегут...

Люди склоняют головы и на колени встают.

Базар разгорелся снова,

Снова люди шумны.

Терпкие запахи чая доносятся из чайханы...

Гонит киргизов стража через базар, напрямик,

Только никто не слушает их отчаянный крик.

Катились над шумным базаром надрывные их голоса...

Джунушу, стоявшему рядом, ужас застлал глаза.

Он поражен увиденным до ярости и тоски:

«Кто ваше счастье отнял, о мои земляки!

Я видел, как сватают девушек, как платят за них калым.

Впервые за долгие годы встретился я с таким!

Мне даже во сне не снилось, чтобы от матерей,

Как будто скот, продавали на рынке своих детей!»

Он стоял с тревогою в сердца, не веря своим глазам,

И мир плывет, покачиваясь, как будто бы по волнам.

И небо наземь упало и прилегло у ног.

Кто-то за руку тронул и тихо сказал: «Сынок!»

Джунуш повернулся. Видит: стоит аксакал хромой

В плохонькой одежке и с переметной сумой.

Держит за руку крепко дочь свою аксакал.

На языке казахском он Джунушу сказал:

«Трепетная надежда теплится в наших сердцах.

Кто ты, скажи мне, светик! Киргиз ты или казах!

Нам прокормиться нечем, в беде мы, словно в бреду!

Привел на базар я дочку, привел продавать звезду!..

Кроме нее — моей звездочки — есть еще маленький сын.

Вон он лежит в одеяльце, там, в стороне, один.

Если продам я дочку, может, домой вернусь.

Что же мне делать, светик! За малыша боюсь!

Глянь, богачи китайцы ходят вокруг нее...

Как нас аллах унизил! Теперь потерял я все!

Чтоб не была на чужбине, между злыми людьми —

За четверть пшеницы, светик, дочку мою возьми!»

Но вот подошла старуха — глаза от горя слепы:

«Лучше малютку-внука ты у меня купи.

Нет денег — бери задаром.

Бери за так, отдаю.

Если живым останется — землю увидит свою!»

Но вот подоспел посредник и брызгать слюною стал:

«Ты моему господину

Дочку свою продал!..»

И девичью руку яростно

Схватила его рука.

«Как ты смеешь!» —

И палкою ударил он старика.

Лжунуш подскочил к посреднику, за руку его схватил:

« За что ты, подлец трусливый, старого палкой бил!

Что тебе еще надо! А ну, уходи домой!

Иначе, подлец, как надо разделаюсь я с тобой!»

Словно волк, что нечаянно

Встретился вдруг со львом.

Посредник назад отступает,

И все смеются кругом.

Старик благодарно смотрит, защите джигита рад.

Старик и его дочка

Джунуша благодарят.

«Дедушка, это долг мой, это совесть моя.
Я ведь, как вы, заброшен в чужие эти края!
И чтобы в скитаньях трудных было полегче вам,
Давайте поделим, дедушка, деньги мои пополам...»

Сердце его сжималось, в сердце огонь пылал.
По скользкой, словно намыленной.
Дороге он зашагал.
Базар был в полном разгаре — шум, суета вокруг.
И он, как будто опомнясь, остановился вдруг.
Здесь плакали и смеялись...
Здесь смехом сменялся плач.
Здесь люди, в судьбе отчаясь, ждали легких удач.
Здесь поди, тщетно прождавши счастливых, радостных дней.
Плакали, продавая последних своих детей...

Не выходя из базара, прислонившись спиной к стене,
Нищий певец играет песню на звонкой струне:

«Старики не в силах сдвинуться —
Горемычный народ!
Жизнь иная вдали им видится —
Горемычный народ.
Руки слабым и нищим подали —
Горемычнее народ,
Все старье и обновы продали —
Горемычный народ.

Все ж с веселой песней торгуется
Горемычный народ.
Хоть растерянно он сутулится.
Горемычный народ!...»

От этой горестной песни ему отойти нельзя,
И у Джуиуша темнеют огненные глаза.
Он подошел к поющему, горьких чувств не тая:
«Вы песней своей грустной а грусть погрузили меня».

Эта песня — о беженцах, о бедствиях их рассказ.
Эта песня о родине, эта песня о нас.
Она заставляет плакать горестный мой народ.
Эта песня, наверно, в могилу со мной уйдет!...
Через толпу базарную, мимо арб и телег.
Слугами окруженный, подъехал к ним бай Толек.
Ловец, словно их не вида, тихо запел опять,
Так, чтобы мог эту песню бай Толек услышать.

«А!— увидев Джунуше, усмехнулся богач Толек.—
Богатырю Джунушу мой благосклонный привет!
Здравствуй, батыр, я вижу — вид твой плохой, увы!
Глупый народ пропадает, и в том виноваты вы!»

«Народ — не глупцы,— Толеку
Упрямо Джунуш сказал.—
Где же ты это видел, где ты это слышал!
И никому не подвластен — ни мне, ни тебе — народ!
И эта кровавая битва бесследно для нас не пройдет».
И злобно Толек Джунушу
Кинул: «Прощай, батыр!»
Джунуш не успел оглянуться, как след Толека простыл.
«Неужели Джунуша вижу!— крикнул громко певец.—
Остерегайся Толека! Он отомстит, подлец!»
И чтоб от Толека скрыться, Джунушу в беде помочь,
Темными закоулками уводит с базара прочь:
•Толеку удача светит—он продает людей.

Он подкупил начальство, он в чести у властей.

Мария, дочка Антона, мать и сестра Нурджаи
Живут, Джунуш, я Айтойноке, недавно их видал там.

Погибли на перевала жена Антона и сын.

На паровала Ак-Огуз тогда погиб не один...»
Вздрогнул Джунуш. И облако на сердца его легло.
Сопровождают Толака два полицейских — дорго.
Толек вращает глазами — в глазах его торжество.

Рукой показал на Джунуша:

«А ну-ка, возьмите его!

Ты помнишь, когда-то грозился ударить меня камчой!
Убогий, за эту угрозу пора расплатиться с тобой!
Надо с размаху камчою — и крепко лупить, учти!
Так, чтобы кровь струею хлестала из-под камчи!
Попался к нам о руки, беркут, попался к нам в руки, зверь!

Как ни старайся вырваться —

На вырвешься ты теперь!»

И со всего размаха опустил на джигита плеть:

«Чтоб ты был, собака, с биями вежлив впредь!»

Связали Джунушу руки, ногами пинают его:

«Если б слушался биев не было бы того!»

«Я только малая капля. И мора — народ.

Вовек

Не вычерпать тебе моря,

На вычерпать, бай Толек!»

И к певцу повернувшись, тихо ему сказал:

«Ты передай Исаку, пожалуйста, аксакал.

Пусть про меня, про узника, чтобы помнил народ,

Сложит новую песню и людям простым споет!..

ДВА ГОРЯЧИХ СЕРДЦА

Реки побелели, тише стали.

Снова одуванчики опали,

Золотая скошена пшеница

Крылья тополей затрепетали

Солнце высоко над головою.

Даль застлало пыльной паленою...

Вот Джунуш шагает по дорого,

Видит человека пред собою.

Девушка платком укрыта синим.

А в глазах печали давний иней.

Два узла свисают за плечами —

Круглые они, как будто дыни.

Ветер ее платье раздувает.

Смоляные косы развевает.

Почему глаза ее печальны!

Слезы на ресницах тают, тают...

Он окликнул женщину тихонько:

Отчего печальна ты, сестренка!

Ты не трусь, становится джигит

Около такой, как ты, теленком!..»

«Как, теленком!..»

А Джунуш кивает

И смеется: «Всякое бывает.

Так бывает, что джигит смутится,

А тебя и лев не испугает!»

Девушка идет с Джунушем рядом.
Смотрит на него открытым взглядом.

Где-то эту девушку я видел,
Голос этот слышал я когда-то!»
«Кто ты! Из какого ты аила!» —
Все я рассказать сейчас не в силах.
Тем живем с подругами, что вяжем.
Нас судьба удачей обделила.

Мой отец записывал сказанья.
Моего отца киргизы знали.
Хоть и русский был, но знал «Манас».
Он погиб, наверно, в дни восстанья...»
Тут Джунуш воскликнул удивленно:
«Здравствуй же, Мария, дочь Антона
Твой отец был вместе с храбрецами.
Был отец твой — человек достойный!»

На Джунуша девушка взглянула
И невольно тяжело вздохнула:
«Это ты, Джунуш!..—
И, как слепая.
Покачнувшись, руки протянула.—
Это ты, Джунуш, отважный сокол!».
...Радость и печаль — как два потока.
Подхватил Джунуш ее. И нежно
На руках поднял ее высоко...
Солнце озарило светом дали.
И исчезли вмиг тоска с печалью.
И забились в лад два нежных сердца.
Словно им ключи от счастья дали.

СОКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Ручеек в ущелье серебрится.
В небе крылья распластала птица.
Накормивши серого осленка.
На поляне улеглась ослица.
Тополек — словно под шкурой лисьей.
Опадают медленные листья.
Стройные березы закачались ---
Листья закружились, словно искры.

Белым, белым, белым даль повита.-
А трава — как будто шкура выдры.
О себе Джунуш запел тихонько —
Скалы вторят его песне звонкой.

«...Я случайно очутился
В лапах жестких у Толека.
Я сидел в глубокой яме.
О судьба, за что мне это!
Я своих лишился крыльев.
«О судьба, свобода близко!»

Был мне конь крылатый послан —
Чин-коджо, конь богатырский!
Мне мое ребро—опора.
Хорошо бы стать Садыром
Хорошо за мать погибнуть
Молодым, как он, батыром...»

Чтобы сердце боль не захлестнула.
Спел не все... А мать опять вздохнула.
«Не волнуйся, мать, ведь очень скоро
Встретим мы с тобою Алымкула».

У нее глаза теплы от света,
Держит внука на руках, Белека.
Вот Нурджан с Марией сели ближе.
Узнают о подлостях Толека.
«Страшно в темной яме, одиноко.
Жажда меня мучила жестоко.
В день — глоток джармы, кусок лепешки,
Неба клоч, синеющий далеко.

Как-то раз письмо мне без помехи
Передали в скорлупе ореха.
«Брат мой, царь недавно с трона сброшен,
Все домой торопятся уехать.

Бай дал страже серебра два слитка,
Чтобы за тобой глядели прытко.
Сам уехал, а куда — не знаю,
А теперь попробуй, разыщи-ка!

Будь, мой брат, отважным и упрямым.
Стены ведь не толстые у ямы.
Я же, брат, с другими возвращаюсь
На сырты родного Киргизстана...»

Окружен сырою темнотою.
Видел лишь орлов над головою.
Стали кулаки мои, как камни.
Стал я полон яростью слепую.

Вот сорвал я с каблука подкову.
Стены подземелия сырого
Стал долбить я днями и ночами.
Чтобы белый свет увидеть снова!

Смелый человек — он тверд, что камень.
День и ночь я землю скреб ногтями.
И чем больше скреб, тем стены толще,—
Так порой казалось мне ночами.

Нет страшней, наверно, этой муки...
Но однажды я услышал звуки.
Что похожи на ручья журчанье...
И на пустоту наткнулись руки...

Так меня спасло из ямы чудо.
Бай Толек не знает, что оттуда
Вырвался на вольную я волю.
Да, не знает он о том куда.
Что Джунуш ушел из темной ямы».
Речь Джунуша — как живая рана.
Катятся у женщин тихо слезы.
«Я с тобой, чего ты плачешь, мама!»

СЕРДЦЕ НЕ ПОКОРЯЕТСЯ

Грусть и радость — воедино слиты.
Жизнь — как дождь. А время — это сито.
А судьба — она порой возносит,
То бросает вниз тебя сердито.
А река несется вдаль с обрыва.
Вдаль летит бурливо, шаловливо.
А Джунуш, как бы тоску скрывая,
Начал песню петь неторопливо:

«В темной яме мне приходится сидеть,
На верхушки тополиные глядеть.
Шевелятся листья—желтые шмели,
Доброй осенью окрашенные в медь.

Вижу, птица в синеве атлет едали.
Может, весть она несет с моей земли!

Если птица показалась мне — к добру.
Залети ко мне ты, в темную нору.
Отнеси ты через горы, птица, весть
Нашим людямраным- рано поутру.
Расскажи, что не дают мне пить и есть,
Что остаться мне навеки, видно, здесь!

Расскажи-ка ты народу моему.
Что живу я, брошей биями во тьму.
И теперь, как заблудившийся птенец,
Я вкушаю яд страдания в плену.
День длиннее месяца мне здесь.
Сам не маю, когда вырвусь, наконец!

Если, птице, прилетишь опять сюда,
Расскажи мне о моей земле тогда,
О моем народе, птица, расскажи.
Не оставила ль беда его следа!
Что они на своей родине нашли.
Расскажи мне, моя птица, от души!

И еще тебе прошу мне рассказать.
Живы ль сестры и друзья мои, и мать.
Расскажи мне, птице добрая, сполна.
Сколько лет еще старухе меня ждать!
Как здоровье у нее!
Скажи, она,
Может быть, от горя этого больна!

Сизый ястреб, ты, парящий в синеве.
Ты, летящий вдаль, как будто по струне,
Расскажи мне про Антонову семью,
А вернешься — прилетай скорей ко мне.
Ты прославь везде Киргизию мою,
Что не дрогнула в тяжелом том бою!»

Эта песня кончилась сама ли,
Или улетела она в даль!...
На щеке Джунуш рубец погладил

Стал Джунуш задумчив от печали
И, в пучину думы погруженный
Не заметил дочери Антона,
А она вдруг песнь его запела.
Он невольно вздрогнул, удивленный

«Помнишь: «Буду ждать тебе»,— сказала.

Никогда того не забывала.
От людей жестокого Ашима
Мужество твое нас защищало.

«Буду ждать тебя!» — скажу опять я.—

Бросилась к нему она в объятья.
«Это место, где тебя я встретил.
Для меня теперь, Мария, свято!..»
Мать Джунуша их поцеловала,
Не скрывая радости, сказала:
«Ваша жизнь — на счастье мне, о дети
О таком я даже не мечтала».

НАДЕЖДЫ

На синее небо беркуту раме смотреть легко.
Когда обломились крылья крепкие у него!
Может ли позабыть он, когда над хребтами гор
Парил, опираясь крыльями о безграничный простор!
Если он убедится, что крылья не заживут,
Если он убедится — то сразу погибнет тут!
Яйца в птенцов превратились. Дни проводят — и вот
Снова перевернулся четырехгранный год.
Сколько дней промелькнуло,
Сколько сгорело дотла!
Рана у Алымкула
Все же не зажила.
Огненное сердце все медленней стучит,
И снова впадает в беспамятство наш отважный джигит.
Тело как бы усохло, запали совсем глаза.
Похолодели пальцы — дальше терпеть нельзя.
Рака сжигает тело. Сутки – одно и то же
Глаза застилает дымом, тело колотит дрожь
Алымкул, не теряй надежды! Крепись, Алымкул, держись!
Нет ничего дороже, чем человека жизнь!
Ты – свет наш во мраке ночи... Ты – наш кудрявый лев.
Неужели от нас уходишь - боли не одолев!
Пока далеко до рассвета – пусть же летят гонцы,
За лучшими лекарями мчатся во все концы!

II

Пробились сквозь войлок юрты солнечные лучи
Длинные и прямые как будто ветви арчи.
Алымкул востропнулся сразу – солнце со всех сторон,
В глазах его затаился
Тяжелый, кошмарный сон.
« Кто ты? Шайтан! Создатель! Сон твой коварный лжец!
Как бы ты ни старался – все-таки буду жив!
На страх мой вы не надейтесь – не дам себя обмануть!

И вашего сна обманного я не боюсь ничуть!
О сон роковой, обманный ты сердце мое кому
Отдал этой страшной ночью, ввергнув его во тьму!
Когда пробирал до боли смертельной меня озноб
Казалось, что мое сердце положено в каменный гроб.

Кто, словно отравленный ядом на землю мертвым упал!
Моя голова – ни яблоко, чтоб кто-то ее сорвал!
О сон роковой, обманный, моя голова – не орех!
О сон роковой, обманный, я слышал такой красивый смех!
О сон, я тебе не поддамся, я смело встречу беду.
И я не умру, покамест счастье свое не найду!...»

И Алымкул впадает

В новое забытье

И просит тихо: « Друг мой, запомни все.
Ты от моей постели не отходил все дни.
И вынул больной бумагу и другу сказал: « Возьми!
Держал я в своем изголовье, надежно ее храня,
И вы ее прочитайте, когда не станет меня...»

IV

Люди спят – ночь одолела всех
Ветер треплет полог без помех
И, услышав алымкулов бред
Друг Токо стал белым, словно снег.
Зажигает торопливо свет.
Бредит Алымкул сквозь плач и смех.

« Нет, - он бредит, - я не виноват,
Возвращайтесь в свой аил, назад!
Покажи, Нурджан, Белека мне!
Царь с престола свергнут говорят...»

Догоню Толека на коне
Пусть умрет гадючьей смертью гад!

О Джунуш, где ты! Мертво кругом!
Я лечу на беркуте верхом!
Где Нурджан! Откуда этот свет!
Заноси быстрее Белека в дом...
Пусть скакать он сможет с малых лет!
Передай Антону ты привет!

... Чолпонбай, кто звал тебя сюда!
О, Джантай. Ты жаден был всегда!
Ты живешь трусливо и хитро,
Грабишь беззащитных без стыда.
Я велю тебе: верни добро!
А иначе – сгинешь без следа...»
Вновь он говорит сквозь забытье:
« Не умру – есть у меня ружье.
Если я убью змею сейчас -
Все, что проглотила, из нее
Выпорхнет.
Эй, Чолпонбай, твою
Шею смерть пусть обовьет шесть раз!

День свободы наш невдалеке,
Позови всех бедных, Мутаке,
Все мытарства наши ты видал.
Жил, как мы — ив горе, и в тоске!
Ну, вставайте выше острых скал!
Где Джунуш! Вставай, Джунуш!
Я встап!»

V

Вот открыл глаза он широко.

Взгляд остановился на Токо.
Возле юрты ветер просвистел,
Дымом юрту всю заволокло.
Голову приподнял: «Ничего!»
И на полог юрты посмотрел.

«Вот несется Чу... Вот голубой
Иссык-Куль играет волной.
Дай же на тебя мне посмотреть...
Нет, тебе не справиться со мной,
Нет, тебе меня не одолеть.
Ухожу я... Уходи же, смерть!»

Ничего Токо не понимал.
Наклонившись, над больным стоял.
Так стоял, как будто в землю врос.
От больного глаз не отрывал.
Плакал он, не сдерживая слез,
И на помощь бога призывал.

Смерть — она приходит, как гроза.
Открывает Алымкул глаза.
К другу обе руки протянул:
«Шли мы, горе родины неся.
На своих плечах сквозь бури гул...»
И умолк внезапно Алымкул.

Вот умолк он, головой поник.
Видно, отказал ему язык.
Он в борьбе истратил силы все.
Речь его последняя, как крик!
Вот теперь в смертельном он кольце.
И заря померкла на лице...

Вот глаза навек ему закрыли
Бережные руки...
Бледен, тих.
Он лежит. И на лице застыли
Светлые надежды — много их.
Хоть надежда — только для живых!..

ПЕЧАЛЬНАЯ ВЕСТЬ

...Люди с Чу- реки и Иссык-Куля,
Что вокруг стояли, брови хмуря,
Вздрыгнули от голоса Мурата,
Голоса внезапного, как буря.
Начал речь свою старик негромко.
Издалека начал, потихоньку.
Словно пел невидимые сети.
Речь он вел уверенно и тонко:

«Бог дал человеку,— начал старик,—
Бог дал человеку мудрый язык.
Чтоб любви и дружбы ясный свет
В душу человечью быстро проник.
Бог дал человеку с малых лет
Тот язык, которого лучше нет.
Я с цветами встретил бы, если бы мог.
Вас сегодня, дети, дружбой согрет...
Это время, дети, больших тревог!

Речь свою веду я неспроста.
Правду расскажу вам я до конца.
Правда заставляет меня говорить.
Вы на эту правду настройте сердца
Если не сумею, может быть,

Если не сумею все излить.
Будут недовольные—верьте словам,—
Чтобы ничего мне не позабыть,
Я неторопливо поведаю вам.
Чтобы правду бросить к вашим ногам.
Кто за эти годы вплавь и вброд
Пройти не пытался текесских вод!
Кто только в долине здесь не бывал.
Кто только не грабил местный народ!
Кто только с текесцами не воевал!
Но народ Текеса насмерть стоял,
Шел народ Текеса смело в бои,
В страхе враг скрывался за перевал...
Слушайте внимательно, дети мои!
Много из Текеса вод утекло.
Месяц над Текесом — лебяжье крыло.
С шеями, как будто бы у верблюжат.
Лебедей немало вдаль унесло.
Славными героями Текес богат.
Ведь не зря в легендах о них говорят.
За собой водили они полки,
С добычей возвращались домой, назад
И вздымали к небу свои бунчуки.

Истину не новую скажу вам я,
Что бессмертна только одна земля.
А еще бессмертен в веках народ,
Что живет, к соседу вражды не тая.
Пусть тысячелетье над нами пройдет...
А еще бессмертен ветер тот.
Что приносит сказки издали.
Остальное — в сроки свои умрет,
И родится новое, дети мои!

Девяностолетний я аксакал.
Словно жаворонок, беспомощен стал,
Видел много о жизни добра и зла.

Мало видел счастья, много страдал,
И никто — аллаха моли, не моли —
Раньше своей смерти не умирал

Много удивительного я в жизни видел.
Но людей бессмертных я не встречал.
Не встречал такого я, дети мои!
Если б было можно, почуяв смерть,
Не широких крыльях вдруг улететь.
Первыми снестись бы орлы могли.
Те, которых бурям не одолеть!
Обновляя крылья в небе, вдали.
Облетят за век они полземли.
В лютые морозы в гнезде свои
Яйца не боятся ложить орлы.
Все они бессильны, дети мои!

Если б было можно смерть обхитрить,
Самым первым спасся бы Алдар, может быть.
Был он безбородый и без усов.
Полземли пешком он успел обходить.
Он до самой старости унынья не знал.
Обмануть шайтану себе не дел.
В девяносто лет хитроумный Алдер
Хитростью шайтана взял, оседлал
И верхом поехал — хвали, не хвали.
Но смерть не обманул он, дети мои!

Если бы от смерти сместись могли
Те, что остроумны, те, что мудры.
То тогда бы спасся мудрец Джейренча,
Дожди бы, неверно, до нашей поры.
Когда повелели для ханских ног
Сшить ему из камня пару сапог.
Попросил он вило себе на песке:
•Я тогда бы хану сшить их смог!... »
Но ни ум, ни мудрость не помогли.
Джсйнренче не спасся, дети мои!
Если б свою смерть сумели убить
Меткие охотники, тогда, может быть.
Спасся бы охотник Кодждожаш.
Что любую птицу умел ловить.
Зайца и косулю с тропы любой
Поражал он в сердце меткой стрелой.

Гнался за канлом, богом зверей.
Еле свои ноги унес тот домой.
Но ни глаз, ни ловкость ему помогли.
Кодждожаш не спасся, дети мои!

Если б своей смерти, всему вопреки.
Избежать сумели бы знатоки,
Самым первым спасся б тогда Толубай,
Тот, чьи предсказанья глубоки.
Был великим даром он неделен,
Судьбы и события предсказывал он.
Мог, словно по писанному, предсказать
Судьбы государств, земель и племен!
Только предсказаньяне помогли.
Ведь и он не спасся, дети мои!

Если б своей смерти, в конце концов,
Избежал бы кто-нибудь из певцов,
То в живых остался б старый певец.
Даже птицы слушались его слов.
А когда комуза касался слегка.
Прилетала пери издалека.
Падала замертво от песенных чар.
Песня его была быстра, как река.
Не могли сравниться с ним соловьи.
Но и он не спасся.

Дети мои!

Если б своей смерти, в конце концов,
Избежал бы кто-нибудь из скупцов.
То спасся бы первым скупец Карынбай,
Тот, что миллионы имел скакунов.
Землю всю покрыли его стада...
А пришли однажды гости, тогда
Провалился в землю от скупости он.
Разбрелись стада его от стыда,
В дикие ущелья, к зверем ушли—
Но и он не спасся, дети мои.

Если б своей смерти могли избежать
Щедрые и добрые, то опять

Первым спасся бы сказочный Атантай,
Что привык своё раздавать,
Серебро и золото людям дарил,

За джигитов бедных калым платил,
Жил, стараясь сделать больше добра.
Тот, который бедным всегда говорил:
«Если надо — даже меня возьми!...»

Но и он не спасся,

Дети мои!

Если бы от смерти спастись могли

Самые храбрейшие батыри.

То тогда бы гордость наша — Манас

Дожил бы, наверно, до нашей поры.

Манас, который гневным взглядом, без слов

В ужас приводить мог своих врагов,

Который только грозным видом своим

Заставлял замолкнуть всех мудрецов!

От кашля его падали наземь враги.

Только с ней не справился,

Дети мои!

Если избежал бы смерти своей

Кто-нибудь из лучших лекарей,

То в живых остался бы Улукман,

Мудрый исцелитель людей и зверей.

Человек, что круглым родился, как мяч.

По земле катался, хоть смейся, хоть плачь,—

Две ноги ему и две руки

Смог приделать мудрый этот врач.

Все ж ему лекарства не помогли.

Но и он не спасся,

Дети мои!

Люди, поразмыслите:

Если захлеб

Человек хохочет —

Не треснет лоб!

Сломанной рукою не согнуть

Тоненького прутика даже чуть-чуть!

Жизнь, что отнимает смерть-палач,
Больше не вернется,
Как ни плачь!

Если ты не стойко встретишь беду —
Сердце захлебнется твое в бреду,
Сердце захлебнется твое в крови,
Будьте в горе стойкими,
Дети мои!

Видел этот мир я не раз, не два.
Вертится, как мельничные жернова!
Сколько ни живи ты —
Как у цветка,
Жизнь тебе покажется коротка!
Люди, поразмыслите,
Внемлите мне!

Каждый ведь окажется в сырой земле!
Как полет бессмертен речной струи,
Так народ бессмертен,
Дети мои!

Истину не новую скажу вам я,
Что бессмертна только одна земля.
Сколько бы побоищ не видел народ,
Он не умирает,
Он растет!

И бессмертен, знамя несущий джигит.
Он живет в сказаньях,
Если убит!

Оглянитесь, дети мои, вокруг!
Зелена долина, зелен луг.
Тут тысячелетьями живет,
По сыртам кочуя,

Текесский народ.

Тут сверкают горы весенних вод,
Вдалеке под снегом хребет встает.
И, навек прижавшись к самой высоте,
Горбится могила на том хребте,
Где было завещано—там, вдали.
С похорон оттуда сейчас мы пришли.
Как нам ни кричать его, как ни звать —
К нам он не вернется больше опять.
А в могиле этой навеки уснул
Грозный лев по имени
Алымкул,
Дети мои!..»

ЗАВЕЩАНИЯ

Если я умру

Хотя не верю я в свою кончину,
Но пуля в грудь вошла—и вышла в спину.
И смерть теперь ничем не остановишь!
И я, наверно, скоро вас покину...

Умру—хочу лежать на перевале,
Чтоб — высоко,
Чтобы орлы летали,
Чтоб рядом были ветры молодые,
Чтоб в изголовье голубели дали...

Могилу вы камнями обложите.
Хочу лежать на твердом я граните,
Чтоб дерево листвой своей шумело:
«Бессмертна жизнь, бессмертно наше дело!»

Жалею

Еще вчера на свет я появился
И, как цветок весной, распустился.
И лишь вчера я получил с другими
Джигита незапятнанное имя!

Я чувствую, что сердцем своим вяну,
В глазах моих уже слабеет пламя,
Они теряют силу и тускнеют,
И прошлое гнетет, как будто рана!

А новое подходит ближе, ближе.
Как жаль, что той зари я не увижу...

Лицо мое изборозило время.
Уже легли давно печали тени.

Печаль колюча, что иглою колет.
Ничто меня теперь не успокоит.
Я видел еще мало, пожил мало,
Колело зло меня, беда стегала.
Следя за мной угроюмо, неотступно,
Тень смерти за моей спиной встала.
Что довершить всего я не успею,
Об этом только я сейчас жалею!

Сон

Это сон или явь? Но напропалую
Будто я на скакуне бешеном гарцую.
А когда проснусь — что же это значит? —

Сердце, словно скакун, потихоньку скачет.

Но когда засну опять, конь мой несется

И доносит меня до самого солнца.

Я на облаке сижу,

Свесив свои ноги,

И не чувствую в душе никакой тревоги.

С неба песни пою...

Только просыпаюсь,

Не могу никак я встать—потом обливаюсь.

Что ж, скачи, мой скакун, скачи наудачу.

А как утром проснусь—то по нем заплачу.

Видения

Мой Иссык-Куль померк своей волной.

Он, видно, обо мне сейчас тоскует.

Меня уводит беркут за собой —

То мой народ по всем по нам тоскует.

Вот слышится клинка каленый звон —

Это по мне лихой храбрец тоскует,

Сломался пополам тяжелый гром —

Это по мне зеленый лес

тоскует.

Разверзлась потемневшая земля —

Это могила обо мне

тоскует.

Шумит в ушах сильнее у меня—

Наверно, кто-то в тишине

тоскует.

К Нурджан

Не печалься—в жизни все пройдет.

Пал я в битве за родной народ.
Счастье ожидало нас с тобой —
Разлучил нас случай роковой.

Если ты жива — минует пусть,
Пусть тебя навек минует грусть.
Жизнь угасла, не узнав добра.
С ней, как с днем грядущим, расстаюсь.

Ты—огонь от моего огня.
Век живи, не забывай меня.
Пусть Белек наш вырастет большим,
К памяти отца любовь храня.

Пулей будет пусть, что бьет врагов,
Пусть он будет бодр и здоров,
Пусть он будет добр и правдив,
Пусть стоит он за сирот и вдов...

Народу моему

Ты в жестоких схватках ослаб, народ.
Даже сталь тугую пламя согнет.
Сколько б ни погибло твоих сыновей.
Еще больше встанет, подрастет!

Тот, кто не погиб в жестоком бою,
Смело возвращайся на землю свою.
А о нас, погибших, скажите так:
«Не жалели жизни они в боях!»

Ведь у вас, живущих, на пути
Сзади была пропасть, а свет—вперед.
Я мечтал, скитаясь по дальним краям,
О поре, которую увидеть вам.

Мне уж не вернуться больше сюда,
Слишком эта яма узка, крута.
За народ не страшно погибнуть в боях —
В памяти останусь и в ваших сердцах.

Когда я тосковал

Помню, я на прутике тонком скакал,
Смех богатырский мне грудь распирал.
Когда на ладони пичужек держал,
Я ловчими птицами всех их считал.

О детские годы, счастливые дни!
Как их ни зови—не вернуться они.
Ни горя, ни голода, ни маяты —
В те дни только радости знал я один.

Когда вспоминаю я те времена,
От памяти этой я пьян без вина.
Все это—по родине милой тоска.
А родина! Родина только одна!..

Буду слушать

Камней пусть на могиле будет много,
Тогда ее увидят издалека.
Прохожий подойдет—прочтет молитву
Во славу вечной жизни и пророка.

Всем

Любите родную землю, любите родной народ.
В них—ваша жизнь и сила, которая не пройдет.
Будьте дружны с чужими землями и людьми,
Славились меж народов гостеприимством мы.

Тысячи раз умирает трус, боясь умереть.
Храбрец умирает тогда лишь, когда наступает смерть.
Живите спокойно, живите, надежду в сердце храня!
Приход и уход от жизни зависит не от меня!

Пускай к вам приходит счастье, пускай вас минует грусть,
Когда на тот свет попаду я, ни капли не огорчусь.
Не надо мне благ небесных, не надо и рая мне,
Только бы был известным навеки родной земле.

Моё слово

Вы мое слово последнее запомните навсегда!
Пусть с вами останется сердце, останется доброта.
Все мысли мои и стремленья уходят навеки со мной, Осталось одно утешенье—
бессмертен народ мой родной!

У МОГИЛЫ

Месяц пятнадцать раз восходил
И пятнадцать раз по небу ходил.
В щели юрты месяц тихонько глядит,
Смотрит рыжий месяц—ребенок спит.

В своей колыбельке проснулся Белек,
Щурит он глазенки на лунный свет.

Видимо, голодным проснулся малыш.
Ах, чего ты, маленький Белек, не спишь?

Марья и старуха не верят глазам:
Юрта опустела. Где же Нурджан?
А Нурджан на мужней могиле лежит,
А Нурджан-красавица плачет навзрыд:

«Не снега ль со склонов высоких гор
Замели могильный твой бугор?
Видно, я для горя была создана,
Видно, я останусь навек одна!

У твоей могилы мне вечно лежать,
От твоей могилы глаз не поднять,
Лучше б мне на белый свет не смотреть,
Лучше бы взяла меня твоя смерть.
От тебя, создатель, я все приму,
Лишь бы ты отправил меня к нему,
Нет мне больше жизни без любви.
Щеки исцарапала я до крови.
Голову кудрявую с земли подними,
Своего Белека, лев, обними!

Кровь, что заструилась по щекам сейчас,
Пусть тебе румянец она придаст,
Слезы, что застлали темный мой взгляд,
Пусть они могилу твою оросят.
Пусть слова, что сердце сжигают мне,
Песней разольются по всей земле!
Пусть они на головы твоих врагов
Упадут, как тысяча острых клинков!
Пусть они прольются, словно ручьи,

Пусть они прольются на раны твои!

II

О, если бы могла я это суметь —
Я бы пристрелила тогда твою смерть,
О, если б можно было спасти тебя —
Спрятала б от смерти возле себя.
Оесли бы я душу отдать могла —
Я ее, любимый, тебе б отдала,
О, если б было можно—тогда бы, любя,
Выпила бы яду вместо тебя.
О, если бы молитва моя помогла —
Я в твою могилу бы раньше легла.

Камнями обложена могила твоя.
Выйди—раскидаю все камни я!
Слабый этот голос услышишь ты?
Слезы эти горькие увидишь ты?
На судьбу печальную взглянешь ты?
Из своей могилы встанешь ты?
У тебя остался Белек-птенец,
Он еще не знает слова «отец».
Отзовись, любимый, поспеши,
Как мне быть с Белеком, подскажи.

За народ киргизский насмерть стоял,
Крыльями своими его называл.
Смолоду ходила слава с тобой.
Жизнь твоя, любимый,—вечный бой!
Ты поднялся злого врага сломать,
Крылья его темные обломать.
Чем лежать, где вечные холода,

Лучше бы вернулся ко мне, сюда.
Надо успокоить народ в беде —
Слезы льет он горькие по тебе!

Средь друзей-ровесников, любимый мой,
Был с душой, как море, с ясной душой,
Ты сиял улыбкой светел, могуч,
Словно из-за облака солнечный луч.
Был ты ясным соколом, врагов губя,
Была соколицей я возле тебя,
Ласковым и добрым был ты душой,
Забери в могилу меня ты с собой!
Я хочу с тобою рядом лежать,
Губы твои зябкие отогревать.

Словно верблюжонок, одна на тропе,
Плачу и взываю, родной, к тебе,
Если б я лежала в могиле с тобой —
Каждый день тогда бы был, словно той!
Горе мне на сердце набросило ночь.
И теперь мне горе это невмочь!

Даже темной ночью всегда во сне
Ты живой приходишь, родной, ко мне.
И не только ночью—при свете дня
Ты живой, веселый возле меня.
И среди вечерней темноты
Остаешься рядом со мною ты.
Напеваешь песню, печаль гоня,
Долго этой песней не мучь меня!
Долго ты не мучай—к себе возьми!

В огненное сердце мое загляни,

Без тебя, без солнца жить не могу,
Я твою могилу здесь стерегу.
Горькую могилу твою обняла —
Только от нее я не слышу тепла.
Что же буду делать в этот миг,
Если ты не слышишь жалоб моих!

О судьба всеильная, прошу, помоги!
Быструю, короткую смерть мне пошли.
Самые страшные болезни пошли,
Чтобы не могла я подняться с земли.
Где же ты прячешься, смерть-палач?
Если ты всеильная, переиначь
Долю незавидную, злая смерть!
Прикажи, создатель, мне умереть!

III

Как горько ни рыдаю, печаль не тая,
Не слышу из могилы ответа я.
Молчит он под землею, в сон погружен,
Молчит, словно обиделся за что-то он.
От отца оставшееся крыло.
О Белек-сыночек, нам тяжело.
Ты—моя чинара, в твоей тени
Проведу последние свои дни.
О Белек, ты вырастешь, всему вопреки,
Будешь утешителем моей тоски.
Я хочу, чтоб милый сыночек мой
Не возрастал бы круглою сиротой.
В ласке и заботе пусть он растет.
Будет за отца ему весь народ.
Своего любимого я птенца

Выращу достойным сыном отца.

Дерево сломили—осталась ветвь.

Ради нее буду я все терпеть.

Дерево сломили—ветка жива,

С этой веткой крепкой я не вдова!

Дерево сломили в самом соку,

Пусть же дух отцовский поможет сынку.

Дерево сломили—корень живет,

Дерево погубло — живет Белек.

Пока в мои косы не выпадет снег,

Пока не нагрянет смерть, губя,

Мое сердце будет возле тебя!..»

СЛОВО АКЫНОВ

В юрте, за пологом, лицом темна,

Плакала по мертвому мужу жена,

Как велит обычай—в горький час

Плачет по три раза в день она.

В юрте причитает горько Нурджан,

А за юртой тоже и здесь, и там

В песнях-причитаниях каждый певец

Изливает горе многих сердец.

Первым на комузе пел Мурат.

Горько и отчаянно струны звенят.

Старый Эсентай домбру берет,

Старый Эсентай по-казахски поет:

«Так звени быстрее, моя домбра,

Ты моя сверстница и сестра,

Ты—моя подруга, ты—мой набат,
Пусть же твои струны за песней спешат.
Ты—домбра двухструнная, огонь-струна,
В бег тебя пускаю, как скакуна!

Так запой сильнее, певчий язык,
Так звени сильнее, наступит миг —
И тебя не станет в мире том,
Где казан бушует над красным огнем.
По жизни я тоскую в песнях всегда.
В мир, покрытый дерном, уйди, беда!

Если б в нашей воле было,
То кто
Жить не захотел бы не раз, а сто?..
Нас надежда водит всегда за собой.
Если человек с бородой седой,
Если уже сверстника—ни одного,
Значит, добирается смерть до него.

Человек стареет, себе на беду,
Слова начинают терять остроту,
Много раз он видел одно и то ж:
Встречи и разлуки, снег и дождь!
Начинает жизнь свою он жалеть:
«Если бы не беды—рано стареть!»

Потому, наверно, всякий раз
Утешает ложью надежда нас.
Как ни утешайся ты, а все ж
Молодые годы назад не вернешь.
Силы покидают из года в год,
Твой последний спутник—старость идет.

И уходит сила твоя без следа
И не возвращается никогда,
Зренье покидает тебя и слух,
Кровь твоя слабее становится вдруг.
Жизнь, что находилась в тебе всегда,
Тело покидает твое тогда.

Почему создатель наш в первый раз
Всех не одинаковыми сделал нас?
Например, меня он певцом создал,
В то же время грустное сердце мне дал?
Шестьдесят годов печали моей.
Дал печаль создатель—не дал сыновей...

Озеро убого, если на нем
Ни гусей, ни уток не видишь кругом,
Пастбище убого, если на нем
Стада не пасутся ни ночью, ни днем.

И убоги степи, если туда
Не течет с ущелий живая вода.
И народ несчастен лишь потому,
Что его владыки жестоки к нему!

Батыр прокликает судьбу свою,
Если не настиг он врага в бою.
Также я несчастен, мои друзья,
Сына не увидели мои глаза!..

Алымкул, ушедший навеки от нас,
Помогал народу в беде не раз,
Был он, словно факел, для всех людей,

Только этот факел теперь погас.
Выполнили просьбу я и Иса —
Песнь об Алымкуле поют два певца.

Если сын остался после отца,
Значит, жизни этой нету конца,
Если не оставили копыта след,
Значит, человека навеки нет!
Нету Алымкула—но он не умрет!
Сердце Алымкула в сыне живет!

Тот, кто пал в сраженье с врагом, друзья, —
Нам его погибшим назвать нельзя.
Стало вас, киргизы, меньше в беде,
Только не иссякнуть горной воде!
Все-таки народ наш—непобедим,
И желаю счастья я всем живым!

Много я увидел на веку,
Умирать приходит черед старику.
Я не буду плакать, печаль храня,
Песня пожалеет пускай меня!
В путь уйдет неведомый песенник ваш,
Я исчезну, словно в степи мираж.

Только вы внимлите моим словам,
Знайте, что казахи—братья вам.
Я уйду, и пусть улетает ввысь
Выпущенной пулей прошлая жизнь.
Только эти пули назад не вернуть.
Тем же, кто останется,— счастливый путь!..»

На руках акына, звонки, добры,

Задрожав, умолкли звуки домбры.

Люди зашумели там и здесь —

Люди одобряют звонкую песнь.

И когда, как пламя, погасла струна,

Наступила сразу вновь тишина.

За комуз рукою умелой взялся

И погладил струны старый Иса.

Вот сверкают ярко струны-лучи.

Комуз этот вырезан из арчи.

Струна за струною вот понеслась —

Песня, словно ливень, со струн полилась.

Вот слова, как птица, летят со струн:

«Если пить захочет сильно скакун,

Если тяжело ему, может быть,

Он и в удилах будет воду пить.

Если же страдает твой народ,

Кто ему на помощь тогда придет?

Каждый из джигитов пойдет в бой

За его свободу,

Дети мои!

Алымкул, погибший в правом бою,

Пал в борьбе за милую землю свою.

Только тот—храбрец, кто вступает в бой,

В смелый бой открытый со смертью самой.

В ужасе склоняется трус до земли.

Лучше уж погибнуть,

Дети мои!

Если от чинары остался побег,

Значит, она вырастет выше всех.

Старый сокол храбрый вдаль улетел —
Новый соколенок в гнездо его сел.
Пусть же крылья вырастут у птенца —
Отомстит он недругам за смерть отца!»

ТОСКА ПО РОДИНЕ

I

Вот осень листья и траву спалила всю дотла...
Земля родная сыновей своих к себе звала.
Она - и в песне, и во сне всегда была близка.
И песнь—тоска. И сон—тоска. И память—все тоска.
А сердце— там, за той грядой, за дальней синевой,
Где Чу-река, пробив хребты,—под пеной снеговой.
Вот бабушка поет всю ночь, качая колыбель.
И колыбельная плывёт за тридевять земель:
 «Баю-баю-баюшки,
 Улыбнись-ка бабушке,
 Соколенок, не горлань —
Мы вернемся в свой Тянь-Шань.
Ну, шагай, шагай, шагай
 К Иссык-Кулю...
 Баю-бай!
Там реки не кончаются.
Там батыры рождаются.
Вершин седые макушки,
Как голова у бабушки.
Лежит небо на горах,
Как попона на конях!

 Баю-баю-баюшки,
 Улыбнись-ка бабушке,

Соколенок, не горлань —
Мы вернемся в свой Тянь-Шань.

Ну, шагай, шагай, шагай

К Иссык-Кулю...

Баю-бай!..

Родниковая струя,

Как глаза у журавля.

Где к ручью ведут дорожки,

Архарята моют рожки.

Солнце село за сучок,

Там—твоя земля, внучок!

Баю-баю-баюшки,

Улыбнись-ка бабушке,

Соколенок не горлань —

Мы вернемся в свой Тянь-Шань.

Ну, шагай, шагай, шагай

К Иссык-Кулю...

Баю-бай...»

И каждый ждал, и каждый ждал иных, счастливых дней,

Чтобы к земле родной припасть и поклониться ей.

II

Узун-кулак, ты слышал, весть разносят скакуны:

«Нет больше русского царя, и, значит, нет войны».

И беженцы спускались с гор и шли с низин на сход.

«Теперь на родину пора!»—так говорил народ.

И вот пошли со всех концов, со всех низин и рек,

И зазвучало далеко: «Мы с родиной навек!»

И женщины, и старики здесь, на краю земли,

Смотрели, как на Иссык-Куль летят вновь журавли.

И вслед за ними побрели туда, где отчий дом,
И на конях, и на ослах, и просто так, пешком.
Голодные брели они—не пасынки судьбы.
Брели старухи позади, горбаты, как серпы.

На посох древний опираясь, в пыли брели отцы,
И с ними малые брели, пока еще птенцы.
Брели джигиты, молодухи,
Взвалив на плечи скарб...
И от утра и до утра средь гор—скрипенье арб.

И по ущельям вековым лишь ветер конских грив...
Идут джигиты впереди, голов не опустив.
Идут, не ведая дорог, идут, забыв про страх.
И дети малые сидят на их крутых плечах.

Туда идут, где на хребтах седой и древний снег,
И помогает им в пути веселый спутник—смех!
Смех, что поможет молодцу идти смелей вперед.
Смех, что уставшему в пути вновь бодрости вольет.

За беженцами следом шел,
Шел слух: «Узун-агач!»
Чем дальше шли,
Тем все сильнее звучал то смех, то плач...

Земля кружится, как волчок, вокруг оси своей.
И тысяча сменилась дней, и тысяча ночей.
Уже видна недалеко граница, наконец...
Но вести страшные привез с родной земли гонец:

«Все это правда, скинут царь, но снова там и тут

Нас баи голодом морят и саблями секут.
Из беженцев один Толек находится в чести,
Грозится он своих врагов давнишних извести.

Два было брата у меня. Все ночи и все дни
Брели со мной из этих мест на родину они.
И вот, когда вернулись мы на родину, назад,
Камнями забросали нас...
Убит был старший брат.

А младший брат! Не знаю я, погиб он или нет.
Он даже юрты не имел и хлеба на обед.
Но он сказал: «Пускай умру—уввижу Балыкчи!»
Нам дали прозвище врагов и нищих — турпанчи.

Никто не трогает опять богатых болушей.
На бедняков обозлены они еще сильней.
По всей земле идет грабеж, насилье и разбой,
А если слово поперек—расправятся с тобой!

Хотя с престола свергнут царь—не изменилась власть.
Что царь, что Керенский—они для нас одна напасть.
Вот все, что я хотел сказать.
Податься нам куда?
Остаться здесь—опять беда!
Туда идти—беда!»

А беженцы, оцепенев, вздыхают и молчат.
«Пускай Джунуш подскажет выход,—сказал старик
Мурат.-
Он—наша верная опора, он—первый среди нас,
Он в самых трудных испытаньях нас выручал не раз!»

«Видать, родимая земля для нас сейчас тесна.
Туда нелегко будет путь, там гибель ждет одна!
Длинна дорога, труден путь, и нечего нам есть.
И мы на время урожая должны остаться здесь».

У каждого в душе печаль, у каждого тоска.
Все знают, что для них земля родимая тесна.
Ни та, ни эта сторона не хочет уступать.
Но все же решило большинство уйти в Китай опять.

... Вот снова солнце над горами забрезжило чуть-чуть.
И люди тронулись. Спешат уже в обратный путь.
И вот китайские черю¹ им встали на пути.
У них штыки наперевес...
Не велено идти!

Но беженцы лавиной шли—попробуй их сдержать!
И приготовились черю по беженцам стрелять.
Вот выстрел грянул из винтовки, словно в горах обвал.
И пуля меткая свалила джигита наповал.

Что делать? Впереди беда и позади беда.
Вот так не сдвинется никак стоячая вода.
Остановился у границы растерянно народ.
Беда—назад ему идти, беда—идти вперед!

И каждый день со всех сторон идет одно и то ж.
Но только трудно отличить, где правда, а где ложь.
И что ни день—то новый слух. Где правда, а где ложь?
И в каждом сердце грусть жила: «А как у нас, вдали!»

И что ни день — то новый слух. Где правда, а где ложь?
И кто властитель в Джеты-Суу — никак не разберешь!

Но все равно из них любой безжалостен и лют.
Тех, кто встает за бедняков, тех «красными» зовут.

В Москве восстал голодный люд,— так вести говорят. Восстала русская страна, и первым
— Петроград.

Народ за красных, говорят, весь как один встает,
И Ленин — мудрый их батыр — всех за собой ведет.

Кто может знать?

Никто из них в краях тех не бывал.

А голод лютей все сильней валил их наповал.

Уже у многих из людей вся кончилась еда.

Что делать?

Впереди—беда и позади—беда!..

1 Черю – китайские пограничники.

III

Вот застилает небо

Облако, словно мох.

Только Джунуш придумать все ж ничего не мог.

Он говорит Марии, своей молодой жене:

«Может, своим советом, Мария, поможешь мне?»

В это трудное время ты стала моей женой,

В это трудное время ты рядом всегда со мной.

Ты знаешь: сейчас терзает все ночи меня и дни,

Мучает—что мне делать с гибнущими людьми!»

И, улыбнувшись, Мария брови приподняла:

«Я твоего совета тоже долго ждала.
Я чувствую, что в России, на дальней земле моей.
Идет жестокая схватка бедных и богачей.

Если вы на разведку пошлете меня тайком,
Крестьянкой переодевшись, узнаю я обо всем.
Если сменились власти, то я расскажу о вас.
Иного выбора нету, милый Джунуш, сейчас!

Я многое передумала—больше нет ничего.
Иначе люди погибнут, погибнут до одного!»
Эти слова, как стрелы, застряли в его груди.

И тихо Джунуш промолвил:

«Надо тебе идти!..»

Джунуш помолчал, подумал,
Вновь вздохнул нелегко:
«Пошлю я вместе с тобою в разведку друга Токо».
...Глаза их звали друг друга... Тих сердец перестук.
Стоят и глядят друг на друга, не разжимая рук.

ТВЕРДОСТЬ

Мария и Токо не возвращались.
И беженцы дожидаться их старались.
Они весь скот давным-давно поели.
И только ишаки одни остались.

Кто посильней—землянки вырывали.
И в них больных и старых укрывали.

При помощи силков для птиц

Иные

Голодным семьям пищу добывали.

А малым детям снилась хлеба корка.
Проснувшись: «Где мой хлеб?»—кричали
горько.

Давая сыромятину, как соску,
Их мать над ними плакала тихонько.

Их лица, как сухие ветви, стали.
Покрыты мглою беспросветной дали,
И слабые больные, и старухи,
Тепла навек лишившись, застывали.

Искали корни по всему ущелью
И грызли их, как мыши, еле-еле.
И собирали в пригоршни лишайник,
И вместо талкана лишайник ели.

Так жили все—от мала до велика.
Откапывали корни чегельдыка...
Если собрать все пролитые слёзы—
То озеро огромное возникло б!

Голодных этих беженцев, наверно,
Хватило бы на несколько губерний.
И некому закапывать умерших...
Лишь падал ослабевший, как мгновенно

С вершин седые грифы прилетали,
Когтями рвали, клювами клевали.
На головах джигитов знаменитых
Сороки днём и ночью стрекотали.

По всей долине мёртвые лежали.

С земли живые тоже не вставали.
Иссякли сказки старика Мурата,
Что беженцев в лишениях утешали.

Слабеет тело у Мурата снова.
Уже стояла смерть возле больного.
Но продолжал старик упорно думать
О горестной судьбе всего живого.

О собственном народе: «Если б небо
Вдруг подобрело и дало нам хлеба...
А звёзды б нам дорогу осветили —
Без них мы в темноте крошечной слепы.

Тогда бы даль не закрывали тучи,
Тогда бы всходы поднимались тучно,
Сиял бы людям белобокий месяц,
Тогда б народ стал жить, наверно, лучше!

Ах, если бы в моей то было власти —
Я б тучи разогнал и все напасти.
Тогда бы дал я своему народу
Великое и праведное счастье!

О, если б подчинялась мне природа,
Я снял бы месяц и отдал народу.
И солнце бы светить заставил ярче,
И спрятал бы под землю непогоду!..»

Все дни и ночи, брови свои хмуря,
Старик Мурат мечтал об Иссык-Куле
И выхода искал, спокойно сидя,
Но крепко сердце сотрясала буря.

Джунуш лишенья все сносил упрямо,
Он ободрял людей: «Сдаваться рано.
Чего, джигиты, вы сложили руки?
Давайте стрелы делать и капканы!

Пусть судьба к нам, беженцам, сурова.
Я приведу вам Алымкула слово:
«Близка свобода, но бороться нужно,
Тогда мы сбросим навсегда оковы!

К своей земле пора нам возвратиться,
Где скоро знамя красное, как птица,
Взовьется над землей опустошенной.
Кто смелый—тот бороться не боится!

Чтобы добыть желанную победу,
Идите за народом русским следом.
Он старый мир жестокий вырвет с корнем,
И ваше счастье будущее—в этом!

Он поведет нас смело к новым далям!
Такой завет героем был оставлен.
Чтоб выполнить заветы Алымкула,
На наши плечи тяжесть долга взвалим!»

Вот притащил Джунуш капканы, стрелы:
«Добудет пищу смелый и умелый!
Кто не сдастся в горе—не погибнет!
Так примемся, друзья, скорей за дело!»

Как будто души к ним вернулись снова,
Как будто воскресило их то слово.

А старики, не сдерживая слез,
Одобрили джигита молодого.

Из глаз Мурата свет веселый льется,
Как блики от воды со дна колодца.
Привыкший помолиться для удачи,
Такое слово произнес он просто:

«Пусть скорее день наступит, над вершинами
горя,

Пусть быстрее разгорится счастья нашего заря,

Пусть же смерть, что всюду рыщет,

Наших недругов найдет!

Жизнь оставив нашим детям,

Мимо наших юрт пройдет!

Пусть хватаящий за горло

Прочь уйдет от нас скорей.

Пусть же беженцы-киргизы

Доживут до сытых дней!

Пусть манапы, что свободу продавали за рубли,

Будут гневом справедливым сметены с лица

земли!

Пусть же старцы разогнутся,

Станут молоды опять.

Пусть же будет нашим детям

Правда гордая сиять!

Пусть наполнятся глазницы

Палачей песком с землей,

Исключает пускай их кости

В чистом поле коршун злой!

Пусть же беженцы отыщут
Ту дорогу, что верней,
Пусть когда-нибудь сироты
Пустьят вскачь своих коней!
Пусть сопутствует удача всем, кто молод,
Всем, кто стар!
То, что ищете—найдете!
Дети, в путь! Алла-акбар!»

Вот люди помолились все: «Быть может,
Создатель на охоте нам поможет».
Охотникам сказали на прощанье:
«Мы ждем, джигиты, вас с тяжелой ношей!»

А бедная Нурджан молчала строго,
Крепилась
И сказала на дорогу
Джунушу, своему родному брату:
«Мне сердце гложет, брат, одна тревога.

Племянник твой—он дышит еле-еле,
Мы трое суток ничего не ели,
Словно птенец, ударенный о камни,
Полуживой лежит в своей постели.

Боюсь, смерть от Белека не отгоним,
Кровь, может быть, вот-вот и хлынет горлом,
Последней я тогда лишусь надежды...
Мне боязно, что встречусь с новым горем.

Меня тревожит вновь, Джунуш, одно лишь,
Что, как отца, его не похоронишь.

Как мальчика спасти от верной смерти!

В сырую землю навсегда уронишь....

И языка лишилась наша мама.

Боюсь, что свяжет смерть ее арканом.

Ее одна я сохранить не в силах.

И заболит в груди другая рана...

Как быть мне, брат, ответь, прошу тебя я.

Когда придешь с охоты, я не знаю.

Наверно, ты в живых их не застанешь,

Душа твоя померкнет вновь от горя».

Нурджан упала, на земле застыла,

Как будто сердце к горлу подступило.

Казалось, прожит век в одно мгновенье

Глаза Джунушу белой тьмой затмило.

Мать и сестра, племянник—без сознания.

Глаза его наполнились слезами.

Качается земля, как на верблюде,

Качается земля перед глазами ...

Ему казалось, черт над ним хохочет,

Что день померк и стал темнее ночи.

Он уложил их бережно всех вместе.

«Ну, кто со мною на охоту хочет?»

Голодные и слабые—их много —

В глазах таят надежду и тревогу.

Джунуш с друзьями верными своими

Отправился в нелегкую дорогу.

Старик Мурат поднялся, покачнулся
И, слезы утирая, улыбнулся:
«Желаю вам я, добрые джигиты,
Чтобы любой с добычею вернулся!»

Безверье и отчаянность слепая
Живут, надежде место уступая.
Стояли люди
С верою последней,
Джунуша на охоту провожая ...

НА ГРАНИ ЖИЗНИ

Голод свои крылья распростер.
Здесь такого не было до сих пор,
Чтоб людей валяли цынга и тиф.
Разве разберешься, кто мертв, кто жив?

И до Иссык-Куля не в силах дойти
Замертво валились люди в пути.
Многие рождались—уже мертвы...
Далеко до озера, до синевы!

В колыбели плачет Белек больной.
«Что с тобою будет, сынок родной?
Не спастись от смерти, видно, нам, —
Над своим ребенком плачет Нурджан. —

Ты мое копыто, подарок в судьбе.
Тихо, беспечально жить бы тебе.
Как тебе на ножки, маленький, встать?
Если сулит завтра горе опять?

Возраст горя этого—целый век!»
Вот открыл глазенки свои Белек,
Протянул ручонки—матери рад.
Рядом неотступно с Нурджан—Мурат.

У него на сердце печаль, тоска.
И глаза слезятся у старика.
В горле—горе комом, не продохнуть.
Проводил старуху в последний путь...

Все же не сдается в беде аксакал.
Плачущей Нурджан он тихо сказал:
«О дитя, и эта печаль пройдет,
Не все время будет страдать народ!»

Сел на темный камень в бессилье он,
В думы беспросветные погружен.
Взял комуз он в руки—и на лету
Песня зазвучала от хребта к хребту:

«Помню, что когда-то была пора —
Было много горя и много добра.
В сердце я вынашивал тогда мечту,
Что из жизни этой безгрешным уйду.
А теперь промчались те года.
Разодранной повиснет моя борода,
На ветках джерганака повиснет вниз.
Видно, стать гнездом ей для певчих птиц...

О непостоянные мои года!
Хотя поседела, как лунь, борода,
Все же не насытился жизнью я.
Лучше оборвалась бы жизнь моя

В ту большую пору, той весной,
Когда был свободным народ родной,
Когда мои дети, любовь храня,
Горестно оплакивать могли меня.

Дети мои милые, бессильны вы.
Встать с земли не можете теперь, увы!
Друзья аксакалы в смертный час
Шкурой, а не саваном укроют вас.
О непостоянные мои года!
О, если бы я умер вот тогда,
Стоял бы в изголовье народ мой весь,
Оказав Мурату последнюю честь.

... Зацветшие надежды завяли пока,
Храбрецы лишились теперь языка,
Словно рот засыпали им песком.
Вороны и грифы кружат кругом,
Вороны и грифы, всякая тварь...
Нет, такого не было с нами встарь,
Чтобы самые лучшие храбрецы
Разбрелись с земли своей
Во все концы.

Что ж, еще померимся мы с судьбой.
Много наших черепов набито землей.
Много лбов сияющих—ныне прах.
Ваша кровь застыла теперь, как лед.
Тело ваше смуглое ворон клюет.
Кто цынгой, кто голодом навек сражен.
Стала ваша молодость добычей ворон!

Все же бысролетная мысль моя

Не находит места, грусть затая,
Словно она приняла смертельный яд.
Как живые, думы мои болят!
Со своей печалью один на один
Я борюсь со временем нашим крутым,
Я ввергаю душу в адский костер,
Он сжигает сердце мое до сих пор.
Падаю в бессилье... Судьба, судьба!
Почему ко мне ты, судьба, слепа?
И давно разбились мои мечты,
Как орел, упавший вдруг на хребты!

Где же я, чей голос народ собирал?
Где же я, который о счастье мечтал?
Где же та долина с зеленой травой?
Где же это небо с его синевой?
Где же мой народ, что слушал меня,
Песни мои звонкие в сердце храня?
Где тот быстрый ветер с запахом рос,
Тот, который песни повсюду разнес?

Неужели счастье ушло, как дым,
В годы те, когда я был молодым?
Жизнь моя и молодость скрылись во мгле,
Не приходят люди за песней ко мне.
Нет терпенья больше. Ни встать, ни сесть.
Нечего спеть мне, нечего есть.
Вот сажу на камне, как беркут, суров,
Словно потерявший своих птенцов!

В старину говаривали не раз:
«Пусть создатель мудрый каждому даст
В молодые годы побольше забот,

Тогда каждый в старости отдохнет!

У меня, сознаюсь я, были мечты,
Чтоб пожить в старости без маяты.

Но теперь хожу я еле живой,
Голод заставил кугукать совой.

Высыпались в прошлое мои года,
Стала теперь белой моя борода,
Дни и ночи мучаюсь, друзья, тоской,
Чтоб ступить на землю свою ногой,
Чтобы мои кости лежали там...
Что желать осталось нам, старикам!
Всюду люди стонут, всюду смерть.
Сколько еще мучиться, сколько терпеть?

Словно мор невиданный на нас напал,
Умирают люди—и стар и мал.
Голод повалил нас, ни встать ни сесть,
Видно, нам, киргизы, остаться здесь!
Всю до капли высушил голод кровь,
Стоит лишь подняться—валишься вновь.

Умирают старые,
Но что больней —
Скоро не останется наших детей!

Говорили, будто бы свергнут царь,
Новый, мол, откроет новую даль.
Говорили—бедным он друг и брат.
Но теперь другое все говорят.
Власть сменилась властью, бедой—беда.
От нее не спрятаться нам никуда!

Неужели многострадальный народ

Темная, глубокая пропасть ждет?
Неужели живший во все века
Он иссякнет, будто в песках река?
Даже больше было б его в сто раз —
Все равно бы голод скосил сейчас!
Сколько еще будет голодная смерть?
Сколько еще грифам на трупах сидеть?
Неужели высохнет источник весь?
И народу нашему пришел конец?

Лучше бы бураны пели взхлеб!
Лучше бы всю землю залил потоп,
Лучше бы нас ветер развеял в прах
И опять посеял в наших краях.
Пусть свободы ветердохнул бы нам в грудь,
Пусть пришла бы воля откуда-нибудь,
Пусть бы те, что дали по шее царю,
Над землею нашей зажгли бы зарю!»

Сразу обессилев, старик умолк.
Снова его гложет голод,
Как волк,
Но старик в мечтанья свои погружен,
Словно он бессмертным был рожден.

С бороды стекает пот ли, слеза?
Все ему казалось, что смерть близка.
Он сидит на камне, бессилен, тих,
И молчит, запутавшись в мыслях своих.

Женщина с младенцем грудным на руке
Подошла к Мурату:
«Не плачьте, аке,

Поживем, отец, мы еще, говорю,
И еще увидим свою зарю!

Сами говорили: «Мы, старики,
Это ваши уши и языки.
И народу нашему вечно стоять,
И тому порукой—дитя и мать!»

И от этих ясных и добрых слов
В сердце у Мурата—надежда вновь.
Он из рук у матери ребенка взял,
К белой бороде своей крепко прижал.

Над собою поднял он малыша:
«Ты права, конечно,—жизнь хороша!
Как темно бы ни было—вспыхнет свет!
Нет, мы не погибнем! Не сгинем, нет!

Были мы народом, поднявшимся ввысь.
Неужели станем глядеть мы вниз?
Были мы отважными всегда людьми.
Ну-ка, свою ножку, малыш, подними!

Ну-ка, давай, маленький, смело шагать,
Чтобы всем невзгодам нас не догнать!

Ну-ка, загадаем!..

Чего кричишь?

Поднимай же ножку—ать-два, малыш!»

РАЗВЕДЧИКИ

Тяжелый ветер тучи разрывает,
И Иссык-Куль валы приподнимает,

И катятся угрюмые валы,
Как будто разъяренные волы!

Волна к волне вдруг вырастает густо,
Откатятся—и вновь о берег бьются.
Прибой идет на берег широко ...
Стоит Токо, ошеломлен Токо!

Он смотрит—глыбы волн вырастают.
И вот упал и землю обнимает.
«Земля моя, ты—колыбель отцов.
Ответь у этих милых берегов,

Ходить за плугом будем ли мы снова?
Нет у детей твоих ни сил, ни крова,
Они остались умирать в пути,
И ты должна на помощь им прийти!

На берегу, как раненая птица,
Скрываюсь я...
О, скоро ль возвратится?
Уже две ночи и два дня прошло...
Что у врагов случится с ней могло?»

Раскаты грома били в берег с лёта,
Как будто решето с камнями кто-то
Раскачивал меж тёмных, грозных туч
И сыпал на Токо с высоких круч.

«Что делать? Не могу один вернуться».
А гром гремит, и волны глухо бьются.
Лежит, не шевелясь он, не дыша.
Отчаянья полна его душа.

А мысли в голове идут упрямо,
Как будто цепь огромных караванов.
Вокруг него стоит холодный мрак.
Недалеко раздался лай собак.

«Наверно, одичавшие собаки
Пришли за мной?— Токо подумал в страхе.—
Что делать мне? Отбиться нелегко!»
И вдруг знакомый голос: «Ты, Токо?»

«Да, это я!—он крикнул в мрак крошечный
Обрадованно.—Я, Токо, конечно!»
От радости, а может, от тревоги,
Но у джигита подкосились ноги.

Вот вспыхнула одна, другая спичка,
Вот скрипнула возле обрыва бричка,
Мелькнула тень и вновь ушла во мрак.
«Прочь!»— кто-то громко крикнул на собак.

«Мария!—закричал Токо.—Мария!»
И обнялись они, словно родные.
Он за Марией следом зашагал,
Шагал и слов ее не понимал.

Вот к бричке подошли по тропке узкой,
Возле которой—незнакомый русский.
Тот русский произнес:
«Ну, здравствуй, друг!»
Токо вздохнул и рассмеялся вдруг.
Мария смотрит грустно и устало.

«Это Иван, наш друг»,—она сказала.
А русский, улыбнувшись широко,
Рассказывать стал обо всем Токо.

...Пока чай распивали у Ивана,
Услышал слов Токо немало странных,
К которым слух джигита не привык.
Что значит «большевик» и «меньшевик»?

Теряется в догадках. Что такое?
Потом зашли в дубленых шубах двое
Киргизов. И наполнен шумом дом.
Рассказывал Токо им обо всем.

Они Токо понятными словами
Растолковали: «Все с большевиками.
Власть перейти должна к большевикам.
И, значит, возвращаться можно вам!»

Провизией набив мешки тугие,
В обратный путь пошли Токо с Марией.
И через семь нелёгких дней в пыли
Стан беженцев увидели они.

ПРАВДИВАЯ ВЕСТЬ

Со всех сторон их люди окружили.
«Скажите, что вы видели, где были?
Обрадуете бедных, может быть».
И вот Мария стала говорить:

«Я по порядку расскажу, как надо.
Что свергнут царь жестокий—это правда.

Сейчас в России временная власть.
Которая должна, джигиты, пасть!

Рабочие, солдаты и дехкане
Подымут справедливое восстанье,
Которое с земли господ сметет.
В последний бой их Ленин поведет!

Срок наступает вековых свершений,
И ясный путь указывает Ленин!
И все народы на моей земле
Идут навстречу солнечной заре!

А в Пржевальске самодур Шабалин
У власти до сих пор еще оставлен.
Он—беженцам заклятый самый враг,
Он вывесил повсюду царский флаг.

Повсюду еще властвуют тираны,
Но их сметут всех
Поздно или рано,
Сметут с лица земли их, как царя!
Не зря уже забрезжила заря».

Старик Мурат вздохнул, зашевелился.
«Дитя мое,— к Марии обратился, —
Что будет делать временная власть?
Даст нам подняться или даст пропасть?»

«Не ждите вы добра от власти этой,
Она оставит просьбы без ответа,
Она прогонит вас в глубины гор,
Ей очень нужен «жизненный простор»!

Но темнота, нависшая над нами,
Рассеется...

Ведь в руки взяли знамя,
Окрашенное кровью бедняков,
Сплоченные ряды большевиков.

Я в Караколе многое узнала.
Большевиков немало там встречала.
И во главе их—ленинец Иван!
Он обещал помочь, киргизы, вам!

Лихое время миновало.
Скоро
Увидим мы свои родные горы,
Вернемся в край семи раздольных рек.
Лишь павшим не увидеть их вовек!»

Вот показались из-за гор джигиты.
Они на спинах коз несут убитых
И по земле архаров волокут.
Все беженцы навстречу им бегут.

Их лица, как от солнца, засияли.
Вот первыми мальчишки подбежали.
А старики, сгибаясь до земли,
Охотникам навстречу побрели.

Мария и Нурджан едва привстали,
Охотникам руками замахали.
«На храбрецах сама земля стоит!»—
Воскликнул так седой Мурат-старик.

ПОСЛЕДНЯЯ ДОРОГА

I

Как море, нависает небо грозно,
Бездонно, как вселенная сама.
И пулями летят на землю звезды —
Прострелена навывлет ими тьма.

Вселенная—как чаша с золотыми
Крупинками далеких, вечных звезд.
И, словно разговаривая с ними,
Лежит Джунуш. Глаза темны от слез.

Он слышит плач грудных детей, зовущих
В ночи усталым криком матерей
И безмятежно от времен грядущих
Еще не ждущих участи своей.

А под обрывом, под крутой скалою
С далеким эхом говорит сова.
И стражник ночи—филин—за совою
Заухал непонятные слова.

А там, вдали, попискивала птаха,
Как пойманная кем-нибудь в силлок.
А суслики, бессонные от страха,
Стояли и смотрели на восток.

А за лощиной, где тепло и вольно,
Где мертвые лежали здесь и там,
Голодные бродили стаяй волки.
Джунуш вдруг вздрогнул,

Вспомнив про капкан.

С земли он поднял толстую дубину
И по тропе, у кручи на краю,
Спускается в глубокую лощину,
Где хищники добычу рвут свою.

«Пусть стрелы мои метко понесутся,
Пусть цель найдут свою».

И вот тогда

Он загадал: «Убью—друзья спасутся!
А если не убью—нам всем беда!»

Вот медленно подполз, почти вплотную,
К голодной стае волчьей.

Вот привстал...

И выпустил стрелу свою прямую
И понял: промахнулся! Не попал!

И вновь во тьму он взгляд вперяет смелый,
Вперяет, цель наверняка ища,
И выпускает раз за разом стрелы,
Но волки продолжали жрать, рыча.

Джунуш—вперед.

Но волки без испуга

Спокойно отошли во тьму, к лугам...

Но на ноге у одного вдруг туго

Захлопнулся стремительно капкан.

Волк привскочил и рухнул, растопырьсь,
И зарычал, бессилен и жесток,
И прыгнул раз, второй и третий, силась

Сломать капкан—и сразу наутек!

И на Джунуша смотрит хищник дико,
Глаза пылают яростью слепой.
Он бешено желает поединка,
Мол, подойди, разделаюсь с тобой!

И вот охотник из засады вылез
И подошел, чтобы добить дубьем.
Но старый хищник, злобно напряжись,
Ему навстречу кинулся рывком.

Джунуш отпрянул. Волк бессильной злобой
Дремучею еще сильней объят.
Волк и Джунуш—враги до гроба оба.
Глаза в глаза. Они в упор глядят!

Казалось—шаг, и будешь бездыханным.
Казалось—все! Лишь сделает прыжок ...
Но хищник, крепко схваченный капканом,
Рыча, лежал и кинуться не мог.
Глаза в глаза. Упорный бой, старинный!
Здесь насмерть человек и волк сошлись.

Волк метит в горло.

Человек—с дубиной.

Глаза в глаза. Попробуй, разминись!
Ударить точно, чтоб не промахнуться,
В седую волчью морду между глаз!
Промажу—то тогда не увернуться,
Волк даром своей жизни не отдаст!»

Гнев храбреца вовек не знает страха.
Глаза в глаза. И никого вокруг.

Джунуш рывком шагнул вперед.
С размаха
Дубиной в злую морду волка—бух!

Волк рухнул наземь, лязгая зубами,
Упал, дубиной свален наповал.
А вдалеке, над темными горами,
День утреннее солнце поднимал.

II

В путь тронулся назад издалека
Народ мой, как шуга,
Что берега
Ломает и стремится на простор.
Навстречу талый ветер веет с гор.

Идут—кто по дороге, кто вразброд,
Кто на коне, кто просто пешеход.
Пусть перевалы на пути встают,
Так воины на штурм лихой идут!

Худы и босы. Горю вопреки,
Джигиты и седые старики,
Поддерживая слабых,
В пыльной мгле —
К своим кочевьям и к своей земле!

А вон Мурат идет, как молодой,
То вставит слово в разговор чужой,
То улыбнется, то молчит опять...
А вон Джунуш несет больную мать.

Чужбина—за спиною, позади.
Встают места родные на пути.
И люди не стесняются, в пыли
Целуют горсть родительской земли.

И обнимают землю у дорог,
Целуют каждый камень и ложок.
Друг с другом обнимаются в слезах.
Опять надежда вспыхнула в глазах.

И внюхивались в травы и цветы,
И пили из ручьев за горстью горсть.
А лица были счастьем залиты,
Что наконец с землей родной не врозь!

Улары—от скалы и до скалы.
И старики, как дети, веселы,
Смеются старики между собой:
«А что? Теперь довольны мы судьбой!

Мы видим наши горы, синеву
Теперь уже не в снах, а наяву!
Невестки, приведите-ка детей
К речонке, искупаются пусть в ней!»

К земле родной ты сердцем припади,
Прижмись к ее родительской груди!
«По вас я стосковалась, сыновья!
И высушу все ваши слезы я!»

«Земля моя! Светлы твои слова!
Земля моя! Крепки твои права! —
Как бы при встрече с матерью своей,

Сказал Мурат при этой встрече с ней. –

Земля моя, где возле рек и скал
Любой из нас на палочке скакал.
Ты сыновей своих, земля, прими,
По-матерински, нежно обними!»

ПОСЛЕДНЯЯ СХВАТКА

I

И вот осталась позади дорога.
Жестокий голод отступил немного,
И беженцы увидели: страна
На лагери уже разделена.

Все споры, споры. Только нету веры,
Когда с трибуны говорят эсеры.
И люди не смыкают больше глаз,
И думают: чья понадежней власть?

«Как называть, большевиком иль Лениным
Того, с кем мы нашли один язык?»
И кто-то отвечает им уверенно:
«Товарищ Ленин—точно большевик!»

В один из бурных дней поры той давней,
Когда по небу в синей дымке дальней,
По черным высям, в снеговой дали,
Как льдины, облака все шли и шли,
Записана в бессмертье эта дата,
Когда глядели люди на плакаты:
«Вся власть—Советам! Беднякам—весь хлеб!»
Нам не забыть тех справедливых лет!

На улицах народ идет лавиной.
И наглухо закрыты магазины.
И флаги, флаги красные цветут,
Как будто в поле маки, там и тут...
А люди разношерстные тайком
Еще вчера пришли в «народный дом».

Один стоит пред приставом покорно,
Блится в николаевской он форме.
Эсеры—болтуны, говоруны —
Разгневаны стоят, возмущены.

В казачьем чекмене сам бай Толек,
Он здесь давно первейший человек!
И шашкою серебряною в ножнах
Играет он—ему теперь все можно!

И керенкам чайханщики не верят,
Они теперь другою мерой мерят:
«От этих денег нам большой урон,
Покамест Ленин-то не побежден!»

«Чтоб нам не подвергаться больше риску,
Вы вместо денег дайте-ка расписку,
Кто знает, победит чья сторона.
А чья-то будет все ж побеждена!»

«А ну, бери!— раздался голос резкий.
Свирепо смотрит тучный бай Толек. —
Ведь это точно—победил Керенский.
Так нам сказал столичный человек!»

«Меньшевики побеждены, я знаю!
И потому вам честно предлагаю —
Ведь всякое на свете может быть!—
Не керенками — овцами платить!»

«Ха-ха, — смеется кто-то.—Мы сочтемся!
Это они, не мы с тобой деремся.
И лучше голодранцев всех оставь
Да поживее чай горячий ставь!»

«Э-эй, чайханщик, шевелись быстрее!
Я — бай Толек! И бородой своею
Клянусь и бьюсь с любым я об заклад:
Эсеры—это точно—победят!

Ведь Керенский — самый надежный русский.
Не бойся—у меня не на макушке
Глаза.
И, верность прошлому храня,
Вы будете, как бая, чтить меня!..»

Вот человек в потрепанных перчатках:
«Прошу всех депутатов по порядку,
Всех партий представителей—всех в зал,
На заседанье важное!»—сказал.

Какой-то человек в кожанке рыжей
Спокойно из толпы народа вышел.
И что ни слово, то удар камчи:
«От вас скрывают правду богачи!..»

Зал переполнен.
Ходуном все ходит,

И неизвестно, кто здесь верховодит,
Чьи речи от души, от злобы чьи.
Киргизов переводят толмачи.

Кто говорил правдивыми словами,
Что путь его навек с большевиками.

Одни шумели.

Кто—как меньшевик —

Старался за своих!

Другие — в крик!

Два стана. Две враждебных половины.

Иные в ход не прочь пустить дубины.

А кто пустил листовки по рукам.

Прислушивалась вся к большевикам

Толпа людей на площади, у дома.

Передавали люди возбужденно,

Передавали, кто о чем сказал.

Так с площадью перекликался зал.

На улице поют, кричат и спорят.

И движутся, кто — кучею, кто — в ряд,

И если слов надежных не находят,

Друг другу что-то жестами твердят.

И вот, когда дал председатель слово

Большевику... Треть зала Железнова

Не стала слушать...

Взмыли над толпой

Его слова: «Продажных шкур долой!»

Он говорил в лицо эсерам смело,

И речь его, словно обвал, гремела:
«Народ России старый дряхлый век,
Объединившись, наконец, поверг!

Одним сердца большевиков согреты:
За батраков, за бедняков—Советы.
«Советы— и заводам, и полям!»—
Так Ленин говорил большевикам.

Эсеры за киргизов?

Кто же в холод
Голодных их с земли отцовской гонит?
Так почему же беженцев они
Ворами звали в горестные дни?

«Гоните прочь оборванных!»—кричали.
И беженцев прозвали турпанчами.
Быть может, не они из мест родных
Прогнали стариков и молодых?

Народ киргизский, сабли в руки взявший,
Веками кровь за волю проливавший,
Что саблю ты занес над черной тьмой —
История запишет за тобой!

Когда вы край отцовский покидали,
Когда в пути без хлеба помирали
И замерзали, на снегу дрожа,
Вам богачи не дали ни гроша!

Весь Туркестан полит был вашей кровью,
Слезой вашей...
Все же брызжет новью

Над вашими кочевьями не зря
Такая долгожданная заря!

Киргизы!

Ваши беды вековые
Теперь будут развеяны впервые.
И мы, большевики, должны помочь
Навек рассеять вековую ночь!»

И загудело, зашумело в зале:
«Давно таких речей мы не слышали!»—
«Он говорил как надо, напрямик!» —
«А все же кто он? Кто?» —
«Он—большевик!»

II

Только кончится схватка—
И вновь начинается схватка,
Кто же прав, кто не прав?
Разве это сейчас разберешь?
Коммунисты спокойны...
У эсеров коварная хватка —
Чтоб побольше поднять,
Чтоб побольше затеять галдеж.

Людам трудно понять,
Людам трудно пока разобраться.
Все слова и слова,
Так, что кругом идет голова.
И один пред другим,
Словно дети, они петушатся...
На высоком столе

Светит старая лампа едва.

Кто же прав, кто не прав?
«Запишись к нам!»—взывают эсеры,
«Нет, постой, дай подумать!..» —
«Кто запишется в меньшевики?»—
«Ты куда? У эсеров с манапами общая вера,
Богачам там раздолье!
Не в эсеры идут бедняки!»
Вот плечистый матрос
Над людскою поднялся толпою:

«В большевистскую партию
Бедняки записаться должны!
Мы свободу дадим!
Мы наделим всех бедных землю.
Остальное—гнилье!
Остальные — обречены!»

«Не записывай, если
Болуш и толмач записались
К вам в эсеры сейчас!
Затычкой пусть будет другой!»
И к матросу протиснуться
Те, кто беднее, старались,
А матрос возвышался,
Как будто гора, над толпой!

«К нам скорей запишись!
Только мы справедливы к народу». —
«За кого вы стоите?»—
«Мы от временной власти послы». —
«Это к временным, что ли?»

К душителям нашей свободы?
К ним лишь только манапы
Да слуги царицы пошли!..»

«Власть твоя, я скажу,
Нас от голода не защищала,
Хуже царской она —
Не дала нам она ничего».

«Я пойду только с теми,
Кто спасает голодных, усталых.
Кто голодный — за мной!»—
Призывает джигитов Токо.

«Запишите к эсерам! —
С тощей шеей, с бородкою странной
Суетливый мулла
Оттирается возле стола, —
Буду верой и правдой служить
И обманывать бога не стану...» —
«Запишите меня!» —
Снова просят манап и мулла.

«Я ведь темный мужик,
Подожду, что мне скажет старуха...»—
«Только к тем запишусь,
К тем, кто хлеба семье моей даст!»—
«Ну их!»—«К ним запишусь!»—
Зазывают без толку друг друга.
«Пусть оставят в покое меня,
Запишусь, может быть, в другой раз!»

«Что за деньги у них?

Эти деньги, как будто солома,
Их и скот не жуёт!..
Лучше буду кричать им «долой!»
Этим прихвостням царским,
Этим тайным прислужникам трона!» —
Так закончил джигит
И махнул сокрушенно рукой.

«Так за что проливали мы кровь?»—
«Как за что? За свободу, конечно!»—
«Где ж она? Что-то долго ее не видеть!

Как и встарь—голодны!
Тот же гнет над страной вековечный.
Так же, как при царе,
Призывают опять воевать!»

«Говорят, что повстанцев
Оттеснят в вековые пустыни.
Чем же лучше царя
Эта подлая новая власть?
Разве может народ,
Разве могут повстанцы быть с ними?»—

«Только партия Ленина,
Только партия эта за нас!»

«Да,— сказала Мария, —
Голодных они собирают,
Выдают им одежду,
А также еду выдают...»
«Запишите нас к Ленину!»—

Громко народ восклицает.
И к матросу они
Друг за другом идут и идут...

«Запишите—Мария Андреева.
Запишите и мужа Джунуша!..»
«Запишите и нас! Запишите!»—
Несется, как вал...

... Вдруг старик на седле
Покачнулся бессильно
И тут же:
«Это ты, моя дочка! Мария моя...»-
Прошептал.

НЕЗАБЫВАЕМОЕ

Неизвестно, откуда и как
На трибуну вошло пять кожанок.
К виду этих кожанок
Покуда никто не привык...
Крепко стиснуты зубы.
Взгляд суровый спокоен и жарок.
Вот один из пятерки
Взялся крепко за свой воротник...

И по этой привычке
Все узнали теперь Железнова.
Зал опять загудел:
«Это тот, что вчера выступал!»—
«Это нового мира посланцы!»
И снова
Понемногу, нескоро
Замолчал настороженный зал!

Люди смотрят: у них

На груди ленты светятся ало.
И хотя все устали,
Но каждый из них удивлен!
Что же скажут они?..
... В тишину беспокойного зала
Железнов произнес:
«На трибуне Андреев Антон!»

На трибуне старик
Поправляет очки удивленно.
Весь, как в пене, седой.
Произносит решительно, власть:
«Волею бедняков и рабочих
Объявляю: решением ревкома
Установлена здесь, в Семиречье,
Советская власть!»

Зал, как море, гудит..
Словно вихри прошли штормовые...
Захлестнуло волной
Биенье счастливых сердец.
И знакомый, родной,
Этот голос узнала Мария
И заплакала вдруг,
Только губы шептали: «Отец!»

УТРЕННЯЯ ЗАРЯ

Вот тихо ночь покинула отроги,
Прошедшая в бессоннице, в тревоге.
Никто не мог сказать о том точь-в-точь,
Что было, что случилось в эту ночь.

Голодные, оборванные люди
Узнали о свободе, как о чуде,
И, спотыкаясь, падая, крича.
Они бегут на пламя кумача,

Что взреяло на доме, загорелось...
Даже старухам дома не сиделось.
От голода качаясь, все брели
На улицу, где кумачи цвели.

На улице,
Как будто жеребята,
Оборванные, хмурые ребята.
Куда девалась их мальчишья прыть?
Они не в силах даже пошалить!

И все ж в джигитах гордость говорила,
Хотя и их усталость с ног валила.
По улице, расправив плечи, шли,
Поддерживая слабых, как могли!

Возле саманок, камышом покрытых,
Повсюду лужи дождиком разлиты,
Зеленая, замшелая вода
Поблескивает тускло, как слюда.

И мимо луж и мимо тех саманок
Конный отряд промчался спозаранок,
По утру, по дождю, по тишине,
Кто в шубе, кто в дырявом чапане.

А люди удивленно толковали
И тихо перешептывались так:

«Того, что возле знамени узнали?
Это Джунуш, прославленный земляк!»

И восклицают с восхищеньем давним:
«Да будет этот день навек прославлен!»

И по обычаю над головой
Три раза чаши пронесли с водой.

И каждый вешней радостью согрет.

И видят все:
Несут большой портрет,
Плывет он над потоками колонн.
Гадают: «Кто на нем изображен?»

«Он—большевик!»»
И все же людям странно...
«Разве бывают,— говорит мулла,—
Среди людей такие великаны,
Чтоб с купол юрты голова была?..»

Листва пылает, как кумач, на кленах,
Пылает солнце ярко на знаменах.
И радость, и любовь в глазах горят,
И к площади зеленой все спешат.

На площади среди разноголосых
И выкриков, и лозунгов стоит,
Уверенно держась рукой за посох,
И слушает оратора старик.

Все для Мурата, как впервые, ново:
Земля и день, и каждое здесь слово,
И лица земляков, и стук копыт.

Он тихо за оратором следит.

И, как охотник за зайчиным следом,
Настороже, на тропке снеговой,
Прицелился глазами.

И при этом
Трясет своей седою бородой.

Белек бежит за матерью своею
И держится рукою за подол...
А бабушка его стоит, жалеет:
«Этот кумач бы на платки пошел!..»

Как много полотна у нашей власти!..»
С глазами, посветлевшими от счастья,
Кричат мальчишки в ярком свете дня:
«Ой, мама, дяди смотрят на меня!»

«И на меня!»—удивлена старуха.
И на меня они глядят сейчас! —
Подталкивают женщины друг друга. —
Они глазами провожают нас!..»

На площадь люди с шумом устремились,
Где на ветру густом знамена бились.
Помолодели лица и глаза.
И радостью наполнены сердца.

Наполненную радостью большою,
Нурджан несет вперед
Людской поток.
Вот подняла Белека над собою —
Пусть видит счастье маленький сынок!..»

А старый доктор руки потирает:
«Это Антон, которого я спас!»
И около трибуны размышляет:
«Узнает ли Антон меня сейчас?»

Взяла Мария за руку Мурата,
Ведет к трибуне красной за собой.
Старик глядит вокруг подслеповато,
Смеется и кивает головой.

Вот влез он на трибуну
И смущенно
Стал что-то быстро говорить Антону.
Дырявой своей шапкой помахал,
И радостно его Антон обнял.

Широким лугом площадь показалась.
И, глядя на широкий этот луг,
Старик забыл про старость и усталость,
Лицо его помолодело вдруг.

Старик Мурат сказал Антону: «Здравствуй!»
И осмотрелся медленно кругом,
Где каждый флаг—как будто беркут красный
С косым и трепыхающим крылом.

В глазах Мурата вспыхивают искры.
Помедлил и с трибуны в зал сказал:
«Я кланяюсь земным поклоном низко
Всем, кто для нас свободу добывал!»

И чутко все прислушивались в зале.

Он, слезы не скрывая, произнес:
«Сегодня плачу я не от печали,
И вы не осуждайте моих слез!
Я говорю: спасибо вам за это,
Большевики, киргизский вам «рахмат»,
Что нет над нами хитрого Толека!
Теперь народ и счастлив, и богат!
Теперь Ашимы толстые не в силе,
Не помогли им хитрость и пророк!
Теперь народ свои расправил крылья
И грозно продолжает свой полет!

Пришла заря в бедняцкие айлы
И нам дала и пастбища, и кров...
Народ, стоящий на краю могилы,
Спасла навек заря большевиков!
С Толеками исчезло наше горе,
Лишь только луч свободы проглянул,
И сердце огневое нашей воли
Забилось,
Как мечтал наш Алымкул...»

И синее с каймою красной знамя
Старик Мурат Антону протянул:
«Вот это знамя нашего восстанья
Берег я,
Как велел мне Алымкул.
И этот стяг шестнадцатого года,
Что был прославлен в яростном бою,
Как знак доверья моего народа
В надежные я руки отдаю!..»

Нурджан рукою слезы вытирает,

А мать ее заплакала навзрыд
И над толпою руки простирает,
И, обращаясь к людям, говорит:

«Теперь воочью вижу наше солнце,
Пусть свет его на бедняков прольется.

Как солнце, Ленин светит на земле!
Вот почему так громко сердце бьется!

Так пусть услышит Ленин это слово
От вечнобелых склонов Ала-Тоо!

Я думала, что счастья не дождусь,
Не доживу, бедна и нездорова!

Имели мы хозяйство—только клячу.

Годами счастья ждали наудачу!

Живой воды как будто испила.

Вы видите: от радости я плачу!

На дереве народа я лишь ветка.

Такое, как сейчас, увидишь редко:

Антон с Муратом, словно с братом брат,

Поцеловались, обнимаясь крепко!...»

Старуха речь произнесла такую...

И гул прошел через толпу густую.

Но не сердца гудят—колокола!

Трибуна, как корабль, поплыла

Туда, туда,

Где, как волна морская,

Толпа людей бурлила, широка.

И люди встали все,

Рукоплеская.

Плывет трибуна красная в века!..

ПОСЛЕСЛОВИЕ

О современники мои,
Цветы земли моей,
С кем я скитался на чужбине
Среди глухих степей,

Для вас, друзья, и для себя
Пишу я о былом.
Хочу, чтоб каждая строка
Пылала под пером.

Когда скитался на чужбине
В неласковых краях,
Когда за мною следом шли
Отчаянье и страх,

Когда народ мой издалека
Голодным брел домой,
Я мучился, я проверял
Все эту строкой.

И, словно камешки из проса,
Я выбирал слова,
Чтобы история народа
В строке была жива.

И вот, охваченный волненьем,
Я в небесах парил,
И за спиною слышал я
Косую тяжесть крыл.

И плыл я вслед за облаками,
Бродил среди острых скал.
И нужные слова для песни

Своей везде искал.

«О днях тех Расскажи!»— велели

Родные горы мне,
Где словно бусинки из камня —
Валун на валуне.

И для которых тыщи лет —
Как несколько секунд,
Где небо горные вершины
Почти насквозь секут.

Тогда повсюду кровь лилась,
И та святая кровь
Велела мне: «Пиши, поэт,
Пусть говорит любовь!

И ненависть пусть говорит,
И ты над прошлым встань
И напиши, чтоб содрогнулся
От стога твой Тянь-Шань!»

И я писал, глаз не смыкая
С утра и до утра,
Писал, хотя сочились слезы
Тогда из-под пера.

Я видеть все хотел — и видел,
И обо всем писал.
И в мыслях, как мои герои,
Я жил и умирал.

Кто годы те навек запомнил,

Те горькие года,
Когда, казалось, заслонила
Весь белый свет беда?

И я о прошлом написал,
Как наша кровь текла,
Чтоб ненависть к годам проклятым
В нас яростно жила!

И в песне этой человек
Прославлен будет пусть!
Ведь человек—душа земли
И всей вселенной пульс!

Хочу восславить человека,
Что достает до звезд,
В чьих жилах яростная кровь —
Как миллионы солнц!

Россия царская тогда
Была для всех тюрьмой:
Кто в рубище, кто в кандалах,
Кто с горем, кто с сумой.

Когда же великан-народ
Смел темную ту власть,
Тогда в борьбу судьба киргизов
По капельке влилась.

И грянул небывалый бой
Между зарей и тьмой...
Когда писал, то выполнял
Я долг старинный свой —

Тому, кто молод, рассказать,
Что бились мы не зря,
Пусть не в шестнадцатом году
Зажглась для нас заря.

Когда поэму я писал,
То с самых первых строк
Я сомневался и гадал:
«А ты бы сделать смог?»

И все-таки я был доволен,
Гордился я чуть-чуть,
Что я прошел с народом вместе
Тот горький, трудный путь.

Что его муки—мои муки,
Его беда—моя!
Когда с землей своей в разлуке
Прошел я те края,

Где камни мне сбивали ноги
И стужа тело жгла,
И голод гнул, и холод гнул,
Но все ж в меня вошла

Святая память горьких дней,
Как люди в том году
Валились замертво от холода,
Валились на ходу.

Мы не могли их хоронить,
Зарыть их не могли.

И только горсточку бросали
На них родной земли.

Когда писал я эти строки
И их тревожил прах,
Они вставали предо мною.
«Свобода!»—на устах.

Они толпою проходили
Мимо меня в тот час:
«Подумай сам, ведь разве можно
Забуть тебе про нас?»

Передо мною встал Антон...
Провел по волосам,
Вдаль руку он свою простер,
Сказал своим друзьям:

«Смотри, Джунуш,
Смотри, Мурат,
Какой вокруг простор!
Как высоко вознесены
Вершины наших гор!

И реет дружбы нашей знамя,
Над всей землей горит.
Весь мир, Джунуш, уже полвека
На красный стяг глядит!

Смотри, Мурат, как реет знамя,
Как наша даль ясна!
И в памяти, как на граните,
Героев имена!

Пусть молодое поколение
Не знает нас в лицо,
Но пусть на подвиг поднимают
Их подвиги отцов!

И скажут юноши: «Они
Погибли все не зря!
И лучший памятник борцам —
Зажженная заря!..»

Таким вот снился мне Антон,
Вставал передо мной.
И он велел: «Пиши, поэт,
Каленою строкой!»

И видел я его жену,
Глаза его детей.
Они велели мне: «Пиши!
По памяти своей!»

Мне образы большевиков
И совесть их, и честь
Велели подвиг совершить —
За песню эту сесть!

И трудное мое перо
Давало силу мне
И шло покорно по бумаге,
Как плуг по целине!
И все, что, наконец, сбылось,
Мне придавало сил,
И снова я, пока писал,

Те годы пережил.

Полжизни отнял у меня

Тяжелый этот труд.

И вот его

Тебе, народ,

Я отдаю на суд.

КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Мухтар Ауэзов

(1897 – 1961)

Выдающийся казахский писатель, общественный деятель, академик Академии наук Казахстана.

Творческое наследие Мухтара Ауэзова исключительно многообразно и велико. Помимо художественных произведения оно включает в себя многочисленные очерки, публицистические статьи, научные исследования.

Ауэзов - первый собиратель, составитель и редактор послереволюционных изданий произведений Абая Кунанбаева, его первый научный биограф и исследователь творчества великого казахского поэта и мыслителя. Примечательно обращение молодого Ауэзова-ученого к "Манасу", выдающемуся памятнику киргизского фольклора.

«Лихая година» - одно из ранних произведений Мухтара Ауэзова, написанное задолго до романа-эпопеи «Путь Абая». Но уже в этой повести прослеживается главная особенность творчества писателя, глубокое сопереживание родному народу, искренняя боль за пережитые им трагедии, историзм повествования. Описание в повести события 1916 года основываются на реальных исторических фактах.

Вступительное слово Ч.Айтматова к первой русской публикации повести М.Ауэзова «Лихая година» в журнале «Новый мир», №6, 1972 г.

Едет старик по дороге, навстречу ему — незнакомый юноша. Старик всматривается в лицо юноши, и все еще не веря себе, но, уже угадывая поразительно знакомые черты, скажет вдруг дрогнувшим голосом: «Откуда ты, сын мой, как око давнишнего скакуна?» — и вспомнит все разом: и себя молодым, и давно ушедшего друга, на которого так похож, оказался его сын, и ту дорогу, тот гул копыт и посвист ветра в гриве, те голоса, те лица...

Сегодня, заново читая повесть «Лихая година», впору и мне так воскликнуть, ибо я теперь гожусь если не в отцы, то, по крайней мере по возрасту, в старшие братья тогдашнему Мухтару Ауэзову, молодому писателю конца 20-х годов.

Случай необыкновенный. Эта повесть впервые предстает перед русским читателем через сорок пять лет после ее написания, спустя многие годы после смерти самого автора.

Одно дело, когда произведение выносится на суд читательский при жизни писателя, и другое дело — без него. И причем ранняя вещь, едва ли не из самых первых. И хотя понимаешь, что никто не становится в литературе великим с первых шагов, риск большой: в читательском сознании имя Ауэзова — среди мировых классиков, на вершине бессмертной эпопеи «Абай».

И однако, я надеюсь, что по прочтении «Лихой години» поклонники творчества Ауэзова останутся благодарны редакции журнала. Разве есть великие реки без притоков? И до «Абая» Ауэзов был заметным мастером. «Лихая година» свидетельствует о том, что задолго до «Абая» Ауэзовым была уже освоена форма широкого эпического повествования. В этом смысле «Лихая година» — один из первых мощных притоков, породивших впоследствии половодье ауэзовской эпопеи.

И в то же время каждое произведение отвечает за себя. Эта горькая повесть, написанная молодым Ауэзовым в те далекие годы, — яркий пример революционного формирования писательского таланта. Именно на это, на революционность содержания повести, хотелось бы мне обратить внимание читателей. Мало я встречал в восточных литературах произведений, где бы с такой силой художественной убедительности, как это сделал молодой Ауэзов, была бы выражена ненависть к царизму, к его аппарату насилия, где так страстно обличались бы бесчеловечность и цинизм царской колониальной политики, где так глубоко, на фоне большой массы людей была бы раскрыта природа неприятия кочевым народом чуждой ему царской административной системы,

где с такой болью и состраданием было бы сказано о трагедии простого люда, посмеявшегося, на беду свою, восстать и жестоко поплатившегося за бунт своей кровью своей и изгнанием с родных земель.

Читая «Лихую годину», даже задним числом страшно представить себе, что было бы дальше, каковой оказалась бы судьба кочевых казахов и киргизов, если бы не Октябрьская революция! Язык мой не поворачивается сказать — возможно, нас не было бы. А разве есть такой народ, который не хотел бы быть вечным? И потому только за одно это — за то, что Октябрьская революция, родившись в России, сокрушила имперский колониализм и тем самым спасла мои народы от физического истребления, я готов славить революцию до конца дней своих и детям детей своих завещаю,- считать началом дней наших — Октябрь!

Читая ауэзовскую повесть, я вспоминал рассказы очевидцев...

Когда они уходили всем народом через снега и перевалы, спасаясь от карателей, матери больше всего берегли младенцев. Настигнутые пулеметной очередью, матери падали, прикрывая собой младенцев. Тем младенцам, которые тогда выжили, ныне уже далеко за пятьдесят. Многие из них носят имена той лихой години — Тенти (скиталец), Качкын (беглец), Уркюн (восставший)...

Всякий раз, когда кочевники покидали свои исконные земли, гонимые неисчислимыми войнами, они спасали не стада, не пожитки, а детей, видя в этом продолжение рода и надежду на будущее.

И тогда, в том кровавом 1916 году, описанном Ауэзовым, в который раз пред древними племенами казахов и киргизов вставал вопрос — быть или не быть, жить на родине или на чужбине?

Ауэзов своей повестью напоминает нам, особенно молодому поколению, как много значит для нас победа Советов в России, как много значит образование СССР, бесспорное преимущество которого ныне доказано историей пред лицом всего мира.

Бездна народных бедствий в прошлом и наша сегодняшняя действительность — категории, не поддающиеся сравнению. Но то лучшее, что было в прошлом, тот стихийный народный порыв против колониального царского гнета, когда люди распрямляются, когда они убеждены в своей правоте и, ощущая себя раскованными людьми, бросают вызов насилию, раскрывая тем самым огромные ресурсы человеческого духа, достойно нашего восхищения, и вместе с Ауэзовым мы можем восславить и оплакать то, что было в шестнадцатом году.

Больше всего удалось Мухтару Ауэзову, на мой взгляд, изображение кристаллизации, вызревания стихийной народной волны, движимой извечным чувством борьбы за справедливость, за свободу и собственное человеческое достоинство. Тогдашний молодой Ауэзов сделал это по крупному художественному и историческому счету, с передовых, революционных, классовых позиций своего времени.

Потому-то эта скорбная, трагическая история, повествующая о неравной борьбе заранее обреченных, вызывает в нас наряду с состраданием и чувство гордости этими людьми.

Нет, не напрасен был тот взрыв народного гнева против самодержавия, как не напрасны были в истории человеческой многие и многие восстания, бунты, мятежи, пусть захлебнувшиеся и подавленные, но оставившие неизгладимый след в памяти поколений как символ трагической красоты, жертвенности и бесстрашия во имя свободы. Все это становится социальным и историческим уроком человеческому обществу.

Ауэзовская «Лихая година» — еще одно подтверждение того, что царская Россия была тюрьмой народов, еще одно подтверждение того, что социальная революция была неизбежна во всех пределах Российской империи, еще одно подтверждение в пользу нашей действительности — того, что социалистический интернационализм был единственно верным путем развития взаимоотношений между народами.

Много разных раздумий вызывает повесть Ауэзова в душе читателя. Много еще можно было сказать в плане художественных особенностей данной ауэзовской вещи, написанной с упоением, с глубоким знанием жизни того периода. Трудно, к примеру, не сказать о сочной, поистине раблезианской кисти Ауэзова в описании природы, быта, каркаринской ярмарки, человеческих портретов... И уж совсем нельзя не сказать о том, с какой убийственной силой презрения описаны ярмарочные толмачи-казахи при приставе Сивом Загривке и слуги царя — баи — предатели народа, низкие, подлые души.

Отколовшиеся от своего родного народа и едва удостоенные брезгливой терпимости сивых загривков, они заслуживают того, что было сказано еще Данте о таких людях;

И небо их не приняло,
И ад не принял серный,
Не видя чести для себя в таких...

Да, и грустно и радостно заново встречаться с неизвестным творением любимого писателя и глубоко уважаемого мэтра. Радостно потому, что встреча эта неожиданная для читателей, судьбе угодно было преподнести нам спустя столько лет еще одно раннее произведение великого писателя, и грустно потому, что автора уже нет с нами.

И потому, предваряя коротким предисловием «Лихую годину» Мухтара Ауэзова, я испытываю сложное чувство. Кажется мне, что провожаю в большую дорогу коня без седока. Вот я подвязал поводья повыше, поднял стремена к луке седла, укрепил их, чтобы они не мешали бегу, и говорю коню; «Здравствуй и прощай, око давнишнего скакуна! Скачи! Пусть правда всегда будет правдой!»

И глядя вслед ему, глядя, как он удаляется, думаю; добрый человек, когда увидит, что ты скачешь без седока, пожелает тебе удачи. А тот, кто вздумает схватить тебя под уздцы, позарившись на твою крепкую сбрую, не заслужит благодарности ни от кого и никогда...

Чингиз АЙТМАТОВ

ЛИХАЯ ГОДИНА О БУНТЕ СМИРНОГО РОДА АЛБАН

Глава первая

Было это летом недоброй памяти 1916 года. Было это в предгорной долине Каркара — материнской колыбели казахского рода албан, рода многолюдного, а стало быть, сильного, богатого землей, скотом и трудовыми руками, но известного своим простецким, бесхитростным нравом.

С весны пролились теплые ливни, напоили живительной влагой лон Каркары, и вымахали травы — на радость чабану и табунщику. Сказочно хороши летовки албан! Не луга — лужки под зелеными шатрами. Они манят и ласкают глаз, они кормят. Кунается в травах настунье племя, встречает торговых гостей.

Каждое лето в Каркаре ярмарка. Один раз в год, но уж во всю ширь, во весь мах. Место знаменитое. Здесь сходятся и сплетаются в узел девять дорог со всех сторон света. Сюда едут купцы из русских городов — от Волги до Иртыша, едут из Хивы, Бухары, Самарканда и Ташкента и даже из Кашгарии и Кульджи. Едут и везут, едут и увозят.

Уже более месяца, как кипит большое торжище в Каркаре. И будет кипеть еще месяца три. С каждым днем оно все пышней, шумней и тесней. Кажется, полная долина до краев, а товары текут и текут сюда днем и ночью, подобно буйным весенним потокам с гор.

Тысячные гурты овец, стада коров, табуны лошадей ржут, мычат, блеют, топчут и потравливая албанские летовки. Каркара изнывает, стонет под тысячами и тысячами коньт. А скот гонят и гонят: киргизы со снежных гор, казахи — с предгорий, и он уходит в кипящий ярмарочный котел, как в прорву.

Но виду торжище в Каркаре — беспечный, разгульный праздник в летнюю пору изобилия, а по сути — денной грабеж, пожива купцу на целый год, нетрудная пожива.

Волк в степи становится против ветра, ловя запахи стада. Издалека схватывает слабое дыхание живого тела с теплой кровью, словно паутинную нить; бежит, крадется, не обрывая ее, пока не увидит глазом то, что учуял носом. Так и купец. Волчий у него нюх и волчья повадка. За сотни и сотни верст поднял да взял купец след человеческого стада албан. И не обманулся: лакомый, жирный кус, лодит что овцы.

Кишмя кишат купцы на ярмарке. При свете дня походит здешнее торжище на гигантского сома-обжору, который разбухает и лоснится от сожранного, а ночью — на хищного ловкого барсука, который пробрался в овчарню и, вливаясь в овечьи курдюки, сосет жирную кровь.

Говорят, умелые руки и снег подождут. Но с покладастым племенем албан как будто и ненужно такого искусства. Оно, подобно матери-верблюдице, покорно подставляет вымя ненасытному коварному сосуну и словно бы тешилось тем, как щедро поит его своим густым мо-локом. Купец — мастер доить! По девяти дорогам ухливали из Каркары отборные кони, дойные коровы, курдючные овцы. Мясо и мясо, живое тягло, тонкая шерсть и толстая кожа. Капитал...

Куйрук-бауыр — блюдо из курдючного жира и печени. Чудесное это блюдо — им можно вылечить чахоточного. Оно же богатое угощение для почетных гостей, чаще всего сватов. Ну, а кунцы все сваты. Не было в Каркаре торгового гостя, который не нажрался бы курдюка с печенью, по уши, до ослиной икоты. Вот почему. Знали это негромкое место (верстах в ста от города Верного) в торговых городах Сибири и Туркестана, Кашгарии и Китая. На словах — каркаринская ярмарка, а на уме — каркаринский курдюк...

Понятно, с жиру кунец бесится. Со временем возомнили себя толетобрюхие, ценкорукние соперниками самой царской казны, и шеи у них замлели от чванства. Возгордились своей мощной, стали поплевывать в колодец, из которого пили, да потантывать грудь, которая их векормила. Занамитовали, как, бывало, приезжали в Каркару на одной жалкой повозке. Кивали спесиво на свои нынешние караваны. Выменявали мудрость здешних простаков, которые нет-нет да и грозили пальцем: не хлопай, братец, дверью, которую еще откроешь... Случается, в годину джута и бескормицы хозяин бросает навшую скотину псам. Но пес, векормленный мясом, бросается на хозяина.

Чудесная земля — Каркара, чудо-джайляу. Травы густы и сочны, как масло. Сколько их ни тончи, сколько ни травы, они неистощимы. После дождя луга воокресали. Даже за ночь долина обновлялась, удивляя поутру чистотой и свежестью, зеленым блеском жизни. Большая Каркаринка, светлая река, вилась по долине, ее вод хватало земле, скоту и людям. Право, это место бог создал для ярмарки!

И все же долготерпенье здешних хозяев истощалось. Таяло стародавнее настушье смирение. Казалось, разлилась желчь, и молоко Каркары начинало закисеать.

Знойный июль. На ярмарке пыльно. Подобно паршивой коросте, она облепила излучину реки. В самом центре базара на высоком шесте колышется белый флаг с двуглавым орлом. Тут власть, сила, которая вершит и правит, тут ненависть.

Главный и вседержавный под этим флагом и далеко окрест — пристава, тучный человек с воловьей шеей, обвешанный от плеч до пят оружием и прозванный Сивым Загривком. При нем его подручные, казахи-толмачи, тоже пузатые, распухшие от сытости.

Сивый Загривок глядит грозно, толмачи — двойко: на господина пристава — блудливо, точно младшая жена, осквернившая супружеское ложе, на прочих — евыеока, надменно, с алчностью хорька. Заняты пристава и его слуги одним делом и в том деле без слов понимают друг друга. Не зря самого ловкого, самого близкого к начальству толмача зовут Жебирбаев, что значит Обиралов.

Они берут у всех, кто подвернется под руку: у простого люда и волостных управителей, у настухов и кунцов. Ярмарка — длинный рубль, то бишь большая взятка. Не далее как вчера Жебирбаев отправил в свой аул три сотни овец и полсотни голов крупного скота — через родню, кружившую поблизости, как воронье над падалью. Но это лишь закусека... При Сивом Загривке, богоданном и обожаемом, Жебирбаев хлебал и солоню и жирно.

Вот и нынче в канцелярии господина пристава привычный шум. Сивый Загривок пробирал трех казахов, он топал ногами, весь в поту. Их благородие был в

еостоянии вдохновения. Потому и лик у Жебирбаева такой ледяной. Толмач словно видел и не видел просителей. Так порочная молодуха на глазах у супруга верна ему всей душой. Так натасканный нес в час охоты он ередаает хозяина.

— Дурачье! Олухи царя небесного! — кричал пристава. — На кого вздумали жаловаться! Кто вам, скотам, возит товары? Да не будь ихнего брата, кунца, бежать бы вам по всякую всячину за сто верст, в город Верный. Скажите на милость, потравил купец ваши земли... Как это понять — ваши? Земля-матушка — царева! И скот купецкий — царев. И сам купец — белому царю покорный слуга. От него польза и вам и казне. Экую, взяли волно — кунцу не пасти скот! Я тебе покажу, сучий сын, волно! Стною в тюрьме!

Толмач с почтительным и угрожающим придыханием переводил речь пристава.

— Такеыр... каснадын... ваша-родей... — сказал иетец цостарше, седой. Хусани, коверкая от большого усердия и русские и казахские слова. — Но ведь и мы тоже слуги царя... Но ведь и наш скот — царев скот...

— Ма-алчать! Не рассуждать! Ну я вас, закатаю... Всем по месяцу каталяжки...

Пристав схватил бумагу, перо и, гремя шашкой, скрипя португесей, вывел на листе страшное слово и тут же прорычал его сквозь зубы:

— Пр-рото-кол!

Невдомек пастухам, какой перед ними искусный шут. Теперь, казалось, и взятка не поможет. С немой надеждой они смотрели на толмача, ища в земляке поддержки. Но тот воззрился на бумагу со страшным словом, благоговейно открыв рот, играя в ту же игру:

Иетцы переглянулись и опустили глаза, точно невесты. Разобиделись пастухи... Они пришли сюда искать правды, закона. Руки сложив, темя показывая, смиренно пришли, как на божий суд. За что же им месяц тюрьмы?

— Выходит дело, — сказал самый молодой; из троих, Картбай, обращаясь к своим, — раз я пастух — значит, виноват? Всякий наговор — уже вина! Что же, я раб-безответный? Этот купец, казанекый торгаш, брешет на нас бессовестно, а нас и слушать не слушают!

— Хватит! — оборвал его толмач. — Знаем, каков ты смутьян... Слышали...

Однако и старый Хусани не сдержался:

— Куда ж нам податься? Ваша-родей! Вразумите... Разве так можно править народом? Вот что мне непонятно.

Пристав, подекочив к старику с кулаками, стал их совать ему в бороду.

— Безмозглые! С-старый нес! А это тебе понятно?

— Как не понять, — сказал молодой Картбай, глядя прямо в глаза пристава. — Умней некуда! Каков правитель, такова и управа.

Старик все же придержал его за рукав потренированного чапана: не перебирай, мол. А пристава побагровел, ноздри его раздулись, как у коня на байге.

— Ты... образина! А вы что вытворяете? Но какому такому праву избрали у того кунца... Мухаметкерима... его слуг? Ты, кто такой — чинить самосуд? Я тебе покажу самоуправство... Запру на тюремный замок, живо образумишься!

И пристава кликнул казаков, куривших из кулака тут же за дверью, в сенях и

на крыльце.

~~Картбай, усмехнулся... Подтолкнуваемый двумя конвоирами, сказал дерзко:~~

~~—— Я вас не боюсь, в ногах валяться не стану... Само собой —— кунец-богатеи не нам чета, вот и вся недолга. Нехитрая ваша наука.~~

~~Но пристав его не слышал. Пристав слушал себя.~~

~~—— Убрать! Увести их! Заморю голодом... Я из вас дурь выбью... —— кричал он уже в спины старому Хусайну, Картбаю, и третьему, молчаливому, так и не вымолвившему ни слова.~~

~~Когда же их увели, Сивый Загривок тотчас успокоился и сел, пыхтя и отдуваясь, с самодовольством поглядывая на толмача, словно спрашивая его: ну? каково?~~

~~Жебирбаев метнулся суетливо и согнулся в безмолвном поклоне, что означало восторг, преклонение и растерянность перед талантами их благородия. Пристав любил такое усердие.~~

~~—— Разбойники, —— сказал толмач удрученно. —— Да если каждый будет замахиваться на кунца... Да что станет с ярмаркой! Надо, надо проучить этих глупцов албан. —— Сам Обиралов был из другого рода.~~

~~—— Не ст, шалишь, поплянешь у меня. Ни за какие коврижки не вынущу! —— проговорил пристав и тут же, заметив подобострастную улыбочку толмача, добавил кратко: —— За сто рублей! И кончен разговор.~~

~~—— За сто двадцать, ваше благородие... —— вкрадчиво поправил толмач, и Сивый Загривок сразу же его понял.~~

~~Кунец Мухаметкерим побывал в канцелярии пристава, разумеется, раньше троих каркаринцев. Он тоже жаловался. Его овцы, нажитые на ярмарке, травили луга окрестных аулов, потому как где же им еще пастись? Одна из отар набрела на аул Картбая и старого Хусайна, объела травы до самого очага, смешалась с овцами хозяев. Хозяева вышли было с миром, с увещеванием, но байские пастухи —— народ балованный, самовольный. Чем богаче кунец, тем отважней его холуй. Попробуй их усовестить! У них на все один ответ —— так твою и так... Это великие охотники и умельцы материться. Ну, вышла стычка. Картбай выбрал самого нахального и намял ему бока. Другие усакали. А почтенный Мухаметкерим поспешил в канцелярию, имея при себе конвертик, а в том конвертике восемьдесят рубликов. Конверт он вручил, прощаясь. Мог бы вручить и здороваясь. Нет еще того еоображения. Тем не менее кунец свое сделал.~~

~~А вот те каркаринцы будто с луны свалились. Будто им невдомек, что к их благородию с пустыми руками не суйся, на глаза не показывайся.~~

~~Как водится, господин пристав уважал обе стороны. Его справедливость имела два лица, ибо от природы ему даны две длани. Не глупо ли, в самом деле, принимать сторону одних, когда есть противная сторона! Ни тех, ни сих не обойди. Таков порядок, непонятный только дурням в этой стени.~~

~~Впрочем, Жебирбаев порядок знает. Казах-стенник под замком не усидит. Это для него хуже смерти. Упрутся трое ходатаев —— не выдержит родня. Кинется выручать. Тогда то сведущий толмач внушит им азбучные истины: в каком разе берется восемьдесят, а в каком —— сто двадцать.~~

~~***~~

~~На очереди у пристава было другое дело, необычное, оно много важней~~

ярмарки и всех иных дел. Поначалу их благородие струхнул малость, поскольку дело было не по статье торговли, а по статье той самой — пронеси, господи, — политики. Касалось оно военного ведомства, и, может быть, впервые в своем азиатском захолустье господин пристав задумался над тем, что Российская империя уже два года тащит кровавое ярмо нескончаемой войны с Германской империей. Вдруг война словно приблизилась к здешним тихим краям, а рука у военного ведомства тяжелая... Однако и на сей раз пристав рассудил по своему... Хитрая ухмылка расплылась на его губах, он пошевелился в усь. Что это он оробел при своих двадцати годах службы в степи? Случай, правда, нерядовой и небывалый... А взяться умеючи — быть бешеным барышам! Похоже, что так. Вот когда местный род албан у него в руках — и голытьба, и знать, и богатеи.

А дело было такое. Утром сегодня подошла казенная почта и пришла гербовая бумага в форменном пакете под сургучными печатями. Указ государя императора, белого царя.

Но правде сказать, не все тут было ясно. Начиная хотя бы с замысловатого титла... О реквизиции инородцев на тыловые работы по военной надобности. Неслыханное занятие. Но ясно одно — указ! Здесь, в дикой степи, он подобен воле божьей.

Сивый Загривок умел толковать законы. Закон состоит из артикулов, меж ними пробелы. В этих пробелах — самая соль. Они подобны рытвинам да ухабам на прямой дороге. За такой малой рытвинкой можно верблюда спрятать, человека убить, вырыть золотой клад. Ну, а царский указ — всем законам закон. Перед ним все прежнее мелочь, гроши.

Пристав поманил пальцем толмача, показал ему бумагу с двуглавым орлом. И затрясся от сдавленного смеха, увидев, что изобразилось на его сладкой роже. Жебирбаев словно верил и не верил нежданному счастью; заплывшие его глазки, казалось, подмигивали друг другу. Пристав кивком укрепил его веру. И сам в ней укрепился.

Правой рукой пристава был урядник Плотников, долговязый сухонарый казак с длинной раздвоенной бородой, всей своей статью напоминавший борзую. Урядник Плотников свободно говорил по-казахски и был недреманным оком начальства на ярмарке. Это око мигом находило виноватых — сколько их благородию надобилось. Ему первому из русских чинов пристав дал в руки царский указ. В русской грамоте Двухбородый был не силен, в бумагах не разбирался и понял только то, что начальство довольно и до поры до времени следует держать язык за зубами. На радостях он выеморкался, делая вид, что пролезился.

Осведомил пристав и чиновников — судью, следователя, надзирателя, и они, разгуливая по пыльному базару, то и дело сходились вместе, чтобы обменяться лукавыми усмешками, поскольку все они плели одну паутину.

Пожалуй, дальновидней других был следователь — недаром носил очки с толстыми стеклами. Он лучше знал казахов.

— Новое это дело для степняка, непривычное. Недурно бы посоветоваться, под каким соусом его преподать.

— Извольте! Советуйтесь... А я слуга покорный! — возразил пристав. — У меня — живо!

— Собственно, и я не охотник мешкать. Но здешний народ — как скот,

полудикий, необъезженный. Привык весьма вольно кочевать по степи и потягивать себе кумыс.

—— Вот и нужно его по шеям, сударь мой, чтобы и головы не поднял. Чтобы и не вспомнил про разные там соусы... Мы станем советовать — и их обучим. Не дать рассуждать!

—— Положим, это так. Положим, вы правы...

—— Ну, так и с богом! — перебил пристав. — Вызовем волостных, объявим указ, и без разговоров! Никаких поблажек, ни малейших проволочек. Исполнять бегом, не дыша. Думать только о том, как бы поживей да попроворней. А понадобится, видите ли, совет — я к вашим услугам.

И Сивый Загрюбок с удовольствием сжал толстые пальцы в кулак.

Следователь промолчал. Он видел, что на самом деле пристав отнюдь не так епокоен, как старался показать. Недаром, призывая собрать волостных, пристав назвал первым имя Рахимбая. Этот господин был не столь умен, сколь оборотист, из самых ретивых и угодливых.

* * *

Ярмарка — великий сбор господ и слуг. Здесь живут тесно, как в городе. Все влиятельные, знатные, власть имущие из рода албан толкуются на ярмарке постоянно, а при них — несметная свора прихлебателей. Заняты они куплей-продажей, но чаще бездельем и тайными кознями. Иные, развалиясь на коврах в своих богато убранных юртах, пьют хмельной кумыс, играют в карты, а иные с утра до вечера в чайханах едят сурпу, узбекские манты, прихлебывают зеленый чай, беседуя с жаром пророков, с достоинством козлов.

Обыкновенно волостной управитель держится в своей волости удельным князьком, таким чистопородным вожаком-бараном с крутыми рогами и большой мошонкой. Здесь, среди себе равных, а то и старших чином, волостные выглядят скромней. Не так орут, как дома, и вроде бы не так самоуправствуют. Однако при каждом непременно свита. Повсюду неотлучно толмач, и, конечно, посылный с нагрудной медной бляхой размером покрупней, и, на худой конец, хотя бы один два акеакала видом поесаниетей, побогаче. Без них волостному срамно показаться, как женщине без нескольких юбок. Все же при волостном печать! А она равнозначна рогам и мошонке у барана.

Первейшее и излюбленное дело у этих людей — интрига. Все они политики, а на ярмарке все начальство. Этот на короткой, ноге с урядником, а тот и с самим приставом... Любая распря, склока, неурядица разрешается в конечном счете там, где русский чиновник. На одного навлечь гонение, другого прикритить, запутать умника, обмишурить глупца — вот где раскрывались таланты волостных и их подручных. От века так было: там, где волостной, всегда свара, мутная вода, а в мутной воде рыбка.

У волостного Рахимбая была репутация дельца изрядного. Он был моложе других и худо-бедно, а все же балакал по-русски, умел потрафить и был ближе к начальству — это придавало волостному особый вес. Случалось, сам пристав окликал его по имени, подавал руку, приглашал на чай. — Это дороже денег! Считалось, что Рахимбай вхож в дом пристава, и на ярмарке Рахимбая знали все, толкали друг друга локтями, когда он появлялся. Вот, за что Рахимбай почитал пристава, вот за что любил... И уж по ярмарке ходил индейским петухом; совал нос в

любое дело, всем покровительствовал, всех поучал, благо язык у Рахимбая был без костей.

Посыльный пристава, застал его на людях; в узбекской чайхане, где он обедал по обыкновению; за чужой счет. Был он в тот день на базаре с женой и сынком, баловнем, и как раз попался, ему на глаза старшина одного богатого аула из родной волости. Пришлось уважить человека, сделать ему одолжение: «Э... видишь, моя жена... хочет отведать манты... для того только и приехала... Так что поворачивай коня — угостишь нас узбекскими мантами!» Это было у Рахимбая в обычае. Ну и засели в чайхане, и пошли манты, сурна, кумыс, и лганье, бахвальство самое несуетное.

Тут то и подошел посыльный — от самого пристава. Объявил — зовет его пристав... Рахимбай постарался, чтобы это услышала вся чайхана. Знай, мол, жена, знайте все, с кем мы знаем.

—— Седлай коня! — скомандовал он старшине и с важным кряхтеньем стал подниматься. — Что то мне хочет сказать мой старый друг?

Когда Рахимбай приекал, все волостные были в сборе. Но он, никого не замечая, прошел прямо к приставу, хотя тот был нынче мрачноват. Хмурились и урядник Плотников, и четырехглазый следователь.

—— Здрассти...

И Сивый Загривок на миг будто бы посветлел.

—— А, прибыл наконец. Садись, садись.

Тотчас посветлели и толмачи и за руку поздоровались с Рахимбаем, единственным из волостных, поскольку с ним одним здоровался пристав.

Рахимбай, надув шею и страшно кряхтя, словно собирался по меньшей мере енести золотое яйцо, уселся.

Сегодня у пристава тесно. Волостных управителей десятеро, а всего — сбиями да аксакалами — человек пятьдесят. Многие сидели на полу, держа шапки в руках.

Пристав встал. Он медленно багровел от натуги. Голос его был нес естественно зычен, но речь невразумительна. Из всего начальства Сивый Загривок самый недалекий. Хоть он и грамотней урядника Плотникова, но не гораздо ученей... Не умудрил господь говорить речей.

—— Война, милые мои, война, — начал он. — Надобно и нам с вами посылно подействовать... Об том царь-батюшка и повелевает... Это не дело — раскивать кумысы, когда тут, извольте ли видеть... война! Все государство тернит лишения, кровь проливает... По сему случаю прибыл высочайший указ. На пра-шу ветать! Оглашаю указ государя императора...

Указ оказался тоже недлинный.

Жебирбаев должен был его перевести, но он был натаскан по части взятки, а в прочих занятиях — ни в зуб ногой. Кроме того, Жебирбаев не из рода албан, его слушали бы с подозрением.

Следователь предложил своего толмача по имени Оспан. Этот человек был в хозяина — умный и приличней других, имел почтенный вид и даже добрый нрав. Как и все толмачи, он наживался при начальстве и в том находил вкус жизни. Он не забивал себе голову такими праздными вещами, как убеждения или мысли. Никакой такой суеты не было в его сердце. И все же благолепие, обходительность

украшали его. Хорьки злобны, а лисы, пожирай курицу, улыбаются.

Последнее время слышал он краем уха, что где-то там, в Казани будто бы издается казахская газета и будто бы она печется о делах степняков. От этих слухов он отмахивался, как пес от слення, а то и клацал зубами, поскольку сленень неотвязчив.

Указ его не слишком обеспокоил. Больше его тревожило то, что начальство не в духе. Он и старался угодить, не осрамиться. А что за страсть он переводит — не задумывался.

Толмачил он хорошо, понятно. С ясной, светлой, добродушной улыбкой. Чего указ требует? Немедленно, спешно сдать властям джигитов. Спрашивается — каких? Написано: в возрасте от девятнадцати до тридцати одного года, не моложе, не старше. Для чего? Для нужд фронта. Сказано, однако, что воевать они не будут. Понимай — с оружием в руках. А будут они заняты на тыловых работах. Будут в тылу. Так точно и указано, слово в слово.

Одна лишь заминка вышла на слове тыл. Где это страховодное место? Какой оно волости, уезда? Уж не так ли теперь именуется, спаси аллах, тот край, где на собаках ездят, — Сибирь?

Тут толмач слукавил — с поклоном, с извинением повернулся к господину следователю. Начальству приятно, когда ты в затруднении. Начальство знает, что ты не можешь знать того, что оно знает. Улучи момент, покажи внезапно, со стыдом, а то и с детски наивными глазами всю свою тупость, истинное слово ничтожество — не проиграешь. Умней начальства только круглый дурачок, блаженный сленец...

И мудрый Осан споткнулся на малознакомом военном слове. И погрузился в раздумье, услышав от следователя, что их родная Каркара, представьте себе, есть тыл!

Когда же толмач закончил, оторвал взгляд от бумаги, он увидел то, чего еще не видывал в канцелярии пристава. Пожалуй, ни одна бумага из тех, какие Осану доводилось держать в руках, так не ошарашивала людей. И это ему льстило.

Никогда прежде не было здесь так тихо. И так темно, как будто солнце затмилось. Все были ошеломлены, и господа и слуги, и, кажется, не менее прочих само начальство. Волостные, вылунив глаза, не мигая уставились на пристава и толмача; в глазах только испуг. И те и другие онемели. Даже румянький Рахимбай побелел и словно разом отошел; шея — как у ощипанной курицы. Страх клубился в воздухе, подобие табачному дыму. Сивый Загривок внушительно топтался на месте, экраня сапогами и портунесей, но, видать, и он онемел.

Так и стояли и молчали...

Хороши были волостные в этот постылый час. На последних выборах как будто бы подобрали деятельных людей, молодых, не старше тридцати; многие из них кумекали по-русски. Бойко они распоряжались, но они ли правили? Ни одного настоящего дела не решали без родовитых, богатых баев, которые и сделали их, молодых да прытких, волостными управителями.

И теперь все они мысленно спрашивали тех, старших: как быть? что отвечать? Строили догадки. И каждый ждал, что скажет другой. Десятеро... при десяти печатях... А ни у кого ни совести, ни воли. Все поджали хвосты.

Пристав густо откашлялся и со значением посмотрел на следователя, приняв трусость за послушание.

— Так вот, указ, — сказал он. — Незамедлительное выполнение! Указ нарекий. Так что сами беритесь за списки. Все иные дела побоку и в сторону. Докладывайте списки джигитов на реквизицию. Спрашивать буду лично по всей строгости закона военного времени. Война-с, господа, управители, война-с!

... Волостные зашевелились. Понурился, они исподтишка переглянулись и вроде бы перешептывались. И казалось, что они скалятся друг на друга и шипят.

Нашелся, однако, один, обретший человеческий язык. Это был Аубакир. Он тоже из молодых, взгляд острый, с прищуром, дерзкий взгляд. Правом горяч. Говорит не церемонясь, без околичностей...хоть без начальства, хоть в глаза — начальству. С этим молодцом пристав столкнулся раза два и люто его невзлюбил.

Ждал пристав, что ответит ему Рахимбай, но ответил Аубакир:

— Указ нам огласили. Мы его выслушали, Но мы не знавали такого, указа. Он как гром на нашу голову. Почернели мы до пят от этого грома. Казах сколько ни живет на белом свете, не видывал, не слыхивал такого слова от царя! Что мы можем сейчас сказать? Пошлите нас к народу, будем советоваться с народом. Разве это не так? Разве это не нужно?..

И сразу же точно прорвало: хором загалдели все остальные, перебивая друг друга. Все подняли хвосты.

— Так... точно так... Правду говорит... Разве неправду? Что тут еще скажешь? Вдруг с бухты-баракты... Советоваться! С народом!

Теперь Следователь со значением покосился на пристава, а Сивый Загривок позеленел.

Такого галдежа, такого разврата он не упомянет в своей канцелярии за двадцать лет беспорочной службы. Он ли не знал этих скуластых, черномазых как облупленных? Бай вечно кивает на дядю, когда с чем-либо не согласен, и уж этого дядю хвалит либо бранит с жаром. Это Сивый Загривок знал. Но знал он и другое. Всегда сыщется да выскочит какой-нибудь рахимбай и поклянется за всех других: будьте покойны, не подведем, исполним!

Где же этот шельма Рахимбай? Вои он — прячется за спинами других... Каков гусь! Вроде бы он впереди всех и вроде бы нет его вовсе... Разрывается — хлопчет, подталкивает других, а сам ни гугу... Нынче от него почина не жди.

Пристав поискал взглядом еще одного, другого. Повел этак начальственной бровью... Те ели его глазами, как солдаты в строю, но языки проглотили.

Экая досада, однако. Такой счастливый случай! Казалось, привычное, законное дело: приструнить, настращать — бездонные карманы наполнятся, поспевай братъ. И вот на тебе!

Такой смиренный, спокойный, покладистый народец, тишайшее племя во всей бескрайней безгласной степи... Посмотришь — раб, нагуг сиволаный, вроде бы не богомолен, а бабу не бьет, при старце не сядет, трезв, песни складывает каждый третий! Дери с него шкуру — поет, бренькает на своей домбре... А уж эти, эти-то господа, холоньи души... Советоваться, видите ли, с народом!

Будто подменили. Не узнать.

Доньше Сивый Загривок знал одну силу — высшую, богоданную, самую страшную. Стало быть, есть еще другая сила? Неведомая бесовская, и она страшней его силы, а значит, всего на свете?..

Это была даже не мысль, не догадка, а внезапное ощущение, и пристав

содрогнулся от этого жуткого для него ощущения, а следом за ним, глядя на него, содрогнулись следователь и урядник. От них не ускользнуло то, как пристав поднес к груди ладонь, сложенную щепоткой, и мотнул ею, как бы незаметно, непроизвольно крестясь. «Ужас... ужас...» — мысленно бормотал следователь. Этакого конфуза и он не ожидал.

Аубакир... Теперь на него были обращены все взгляды. Волостные жаллись к нему, точно к аксакалу... Опасный человек. Вот кого надо к ногтю. Давно уже он у властей на примете, а все таки недосмотрели. Попустительство.

—— Да с... Вот, значит, как... — сказал наконец пристав. — Порадовали вы меня, право, порадовали. Это вам зачтется, господа мои! Сколько лет служу, на моей памяти ни вы, ни ваши люди ничегошеньки перед царем-батюшкой не заслужили. Так-то вы верны, так-то служите государю императору! Запомню, господа, запомню. Ну, что ж... так и быть... разрешаю... Даю вам три дня сроку. Езжайте по домам, советуйтесь. Хоть с чертом лысым, хоть с овцами да баранами, извольте, сделайте милость... Но чтобы через три дня списки были у меня здесь на столе! Через три дня — списки! Иначе — пеняйте на себя. Л лишних слов не люблю с. Да с! И basta. Кончены разговоры... Езжайте!

Расходились молча, словно из дома покойника. Рахимбай и еще двое, те самые, на которых пристав расчитывал, стали пробираться к нему, показывая, что они не как иные, они его люди, его уши, его глаза. Каждый из них надеялся услышать от пристава особое доверительное слово.

Однако сегодня Сивый Загрявок был неласков. Лишь Рахимбаю бросил на ходу через плечо, углом рта:

—— Сма-атри у меня! А ты туда же... ловчить? Я т-тебя, братец!..

Глава вторая

Минула короткая ночь, настал черный день. Наутро об указе знали везде и всюду, стар и млад. И поднялся над аулами женский вой, детекий плач. У всех на устах были уродекие страшные, необъяснимые слова: реквизиция... тыл... Старики сокрушались, а молодые поглядывали в сторону Алатау, на его ущелья и леса. Надсадно ревел брошенный без присмотра скот. Из края в край сказали гонцы, хлеща коней плетью, а людей дурным ошалелым криком. Слухи были один другого неленей.

Около полудня в слепящем знойном небе над степью пронеслась одинокая туча. Она походила на сломанное обвисшее крыло дракона. А под тучей от земли до неба взвивался и раскачивался клиноподобный вихрь без грома, без свиста, устранив беззвучный. Когда туча была над лугами, срывались и взлетали ввысь травы, когда над рекой — ввинчивался в небо чудовищный сосок воды.

Смерч прошел над ярмаркой, мгновенно вздув столбом песок, пыль и мусор, срывая крыши, ковры и кошмы, валя и расшвыривая прилавки, коновязи, повозки, унося во все стороны шкуры, ситцы и шелка, взметнув выше птичьего полета пятнистую мелькающую игривую занавесь гребней, зеркалец, ниток и посуды. И пошел гулять далеко в степь, до Кегена, и дальше до Туза, и там вне-занно рассеялся и исчез.

Но уже к вечеру по всей округе, во всех аулах, на всех летовках узнали, что над

Каркарой было знамение. Под видом июльского смерча прилетал дух великого предка. Он явился, чтобы заступиться за безвинное и беззащитное племя албан.

Сведущие люди толковали знамение так. Это было внушение: пристава — «не обижай, не гони моих людей...», а людям — «уверьтесь, не дам в обиду...». И многие люди слушали знатоков и верили. Поздравляли друг друга; объявляли со слезами умиления: освобождают! отменяют указ! не погонят джигитов!

Ярмарка опустела. За целый день ни один казах не купил коробка спичек. Замерло громадное торжище, уснуло, как в сказке.

Не дымились некарни. Не благоухали маслом, тестом и мясом манты. Торчали порожняком чугунные котлы; медные чайники. Словно водоросли в заболоченном озере, висела конская сбруя, никому не нужная, непонятно, для чего предназначенная. Осиротели в лавках ткани и платья, подобно одежде покойника, к которой казах не притрагивается целый год. Ни одной живой души у прилавков, ни одного коня у коновязи. Все девять дорог с ярмарки, со всех сторон света точно вымело. Мертвые дороги, загадочные, голые, как троны в пустыне. Тишина удручающая, сонная одурь.

Только чрево несытое купецкое урчало. Бесились купцы, ругали, кляли этих простаков, глупцов, этот убогий народ. И что за дикость! Вчера тут топотали, ржали десятки, сотни верховых коней, лавки трещали от люда, не протолкнешься, не продохнешь. И не одно мужичье — старухи, молодухи, девки, смешливые такие дурочки; они платили, сколько ни запросишь, не торгуясь. Нынче забрел бы случаем беспорточный батрак, принес бы хоть, заваливший клок шерсти, хоть сырую шкуру... Спросил бы хоть пIALушку для почина... Даром бы отдали, проводили бы с поклоном.

Куда подевалось вчерашнее благодушие и щедрость, щедрость уморительно деликатная, словно смущенная тем, как она недостаточна, ничтожна? Все сторонятся ярмарки, как сточной ямы, а купца — как зачумленного. И у последнего оборвыша, который вчера стеснялся поднять на тебя глаза, сегодня во взгляде, в сжатых губах, во всей осанке такое презренье, как у хана при виде черни. Как будто разом все постигли, откуда их беды и кто они есть на этой земле...

Между тем в стени, в цветущей Каркаре, не стихали плачи и причитания, моленья и заклинанья. Дурные и добрые вести сменяли друг друга с быстротой ветра и онадали, как осенняя листва. У каждой летовки были свои пророки, и люди внимали им с жадностью, с безотчетной надеждой. Но как ни верили в духа предков, знали, видели: ни с вечерней, ни с утренней зарей не кончится черный день.

Нет, не минует это бедствие, не обойдется само собой, как мечтали, как гадали... * * *

Тогда дошли люди, к Узаку и Жаменке.

Узак, невысокого роста креньш с седеющей бородой, был батыр. В каменной груди у него билось храброе сердце. А кто знал, тот знал, что у батыра Узака к тому же разбитое сердце.

Жаменке — аксакал. Ему за семьдесят, но он еще выглядит орлом. Это красноречивый человек, за ним всегда последнее слово, однако спорить он избегает; в споры ввязывается лишь по крайности, как бы уходя в себя, предпочитая размышление.

Немного словен и батыр Узак, не любит длинных речей и мастер оборвать

болтуна. Скажет — как отрежет. Слово у него — как кол.

Батыр Узак и Жаменке — давние друзья. К ним то и стекались люди имущие и неимущие; шли с утра до вечера из Кары, Лабаеса, Сырта...

Уже был съеден жертвенный скот. Прежде всего, понятно, принесли жертву с усердной молитвой. Так поступают, когда захворает родич, когда нет дождя; просишь у бога даянья — воздай ему сам. С этого и начали совет — на холме Танбалыгас, близ аула Узака.

Узак молчал. Целый день он слушал одного за другим всех, кто пришел к нему. Но он слышал лишь жалобы и сетования. Сплошной стон. «Жили как умели. Жили да жили... А тут конец света». Никто не мог сказать ничего дельного, даже один почтенный старик, который дольше всех говорил.

Узаку оностылело празднословие, он плюнул в досаде.

— Ты перестанешь, что ли? Плачешься, как вдова по покойному мужу. Не я выдумал этот указ, нечего, передо мной распинаться. Ступай, не плачься перед приставом. Держу я тебя, что ли? Или говори дело.

Крутой нрав батыра известен. Но по тому, как он оборвал седобородого, как угрюмо насунил брови и сверлил людей маленькими зоркими глазами, было ясно, и он не в себе. Что то он замышляет и чего то ждет от собравшихся. Он себе на уме. Но, видать, и ему трудненько... Понимал это и Жаменке и не мешал Узаку собраться с мыслями и найти в людях то, что он искал.

Однако все ждали их слова. Албаны как дети — любят ласку, но утешать нынче грех.

Долго длилось молчанье, терпеливое, покорное и тем более тягостное в такой день, в такой час. И вот заговорил Жаменке:

— Мы, албаны, младенцы. Тепло нам, уютно у материнской груди... Немало я прожил, есть и постарше меня, но на нашем веку мы не помним джута на Каркаре или мора на скот. Не бывало и мора на людей. Как ни теснили нас, чего ни еносили мы, видит бог, оказывается, золотое было время! Нынче обходит нас ечастливая доля. Хлынула на стенияка беда. Вон она, батыр, вот она над нашей головой! Не обессудь — когда переходят реку вброд, больше всего грузят на большого верблюда. Хочешь не хочешь, подставляй горб. На тебя первого бросится двуглавый орел, в обличье того Сивого Загривка... потому что к тебе пришел народ. Мы знаем: не о себе думаешь. К чему оно нам с тобой, наше благополучие, если народ, народ в тунике! Кто ему укажет путь? А теперь... Говори, батыр!

Узак ответил тут же, сердито ответил:

— Говоришь, хорошо было, да, хорошо... Чего бога гневить, завидные у нас летовки! Ну, а разве в твое золотое время, отец, не видели мы нужды? Разве теперь только бедствует стенияк? Когда, спрашиваю вас, мы жили безмятежно? Разве в первый раз в нынешний год нас, вольных коней, рожденных в великой степи, обра тали? И что же, на вашей памяти не гладили нас пулей? Неужто, отец? Так ли, аксакалы? Назовите мне день, когда вы не жили под страхом, моля о спасенье. Что вы так вполонились, разохались? И до белого царя бывало... то ли бывало! И этот царский указ не сегодня рожден. К тому дело шло издавна. Не видите, не понимаете, что ли? Эй вы, инородцы! — вдруг векрикнул с гневом Узак. — Ежели вы народ... ежели вольные кони... пора на дыбки да лягнуть коньгами. Нету у нас другой судьбы. Держись, крепись, брат, день — так день, год — так год, хоть всю

жизнь до смерти. Вот мое слово... А кто думает не так — скатертью дорога, пускай бежит к пристапу на реквизицию...

Был при этом Серикбай с дальней летовки Донгелек-саз, тамонный голова, еверетник и друг волостного Аубакира. Пришел он сюда для того, чтобы уельнишь слово Узак. И не обманулся — где еще уельнишь такое слово?

—— Кому же охота к пристапу! Кто сунет баншку под указ! — сказал горячо Серикбай. — С этим к вам не пришли бы. Народ вам доверился, мы вам верим. У вас в голове — то, что в душе народной. Все хотят, чтобы мы сказали: не дадим джигитов! Ну вот, сказано... сказано, люди! Вот с чем идти к Сивому Загривку.

Узак, прищурясь, пронзительно посмотрел на Серикбая. Этого неробкого человека Узак уважал, его горячность правилаеь ему, но на душе было неспокойно. Ска-зано-то, сказано... И на словах не сразу соберешься с духом, а в деле? На что рассчитывать, на кого опереться? Об этом думал Узак целый день.

—— Думаю... надеюсь... — медленно сказал он, — что и другие казахи, не нашего рода, поднимутся, не покорятся. С ними бы рука об руку, гуртом, сообща... Мы-то, албаны, закоснели... больше привыкли ходить вокруг да около, водить за нос самих себя. Примеряемся и так и сяк. А как придется отрезать? А ведь придется! Мира теперь не жди. Царь не отступился, пристап не простит. Что же, рвать корни... ениматься с родимых мест с детьми, семьями, скотом... грызть локти да уходить? Из этой вот благословенной Каркары, где ни джута, ни мора... Куда? На чужбину! — незваные гости! в пески да пустоши... к тому шайтану на поклон... отцам в кабалу, а детям в рабство!

Это было у всех на уме. Деды, прадеды не забудут, как уходили невесть куда, в Синьязян... Истинно что к шайтану. Возвращались ободранные, голые, чтобы хоть при последнем, издыхании принасть к отчему роднику, из которого мать обмывала тебя при первом твоём вздохе. А сколько не вернулось, умерев на чужбине! Вот что было у всех на уме.

И опять первый сказал Жаменке:

—— Пристап дал три дня сроку. От него спуску не жди. А зараза эта моровая. Чего же ради нам тянуть? Только подрежем себе поджилки, притупим гнев народный. Сказано: не дадим джигитов. Так тому и быть! Будем поднимать народ.

Поднимать народ... Давно не слыхивали таких слов. Заветные слова.

—— Вот это мне по душе! — возвысил голос старый Жоламан, сам бедняк и отец бедняка, молчавший с утра, пока другие скулили. — Истинная правда: будешь тянуть время, метаться промеж власти и народа — худо дело обернется. Найдутся подлые души, вывернутая наизнанку — угодить начальству. Они-то поспеют! Их упредите, чтобы побоялись грешить против народа. Будем заодно, так и с этими пройдохами совладаем. Скажем всем волостным: не дадим джигитов! А там и к пристапу: слунай, мол, как порешили... народ порешил!

Узак вздохнул: старик попал в точку. Волостные... они всеюду поспеют.

—— С этого начать, — сказал Узак твердо, — не валандаться с волостными. Не с чего им задирать носы, коли у девятых из десяти сонли по ноюе. (И люди со емехом закивали головой.) С ними поостроже. С ходу их обуздать! Сказать сразу: если что... не помилуем. Хватит морочить голову людям, обрыдло пустозвонство, пустобайство. На кой бес нам волостной, который жрать садится с начальством, а чего иное... с народом!

Громкий хохот прервал речь Узак. Так их, батыр, так... Вот это по-нашему:
— Для нас, степняков, грош цена и их власти, закончил Узак. — Нам дай небо повыше, травы пошире, волю попроще!

— Ой-бой... — прошелестел общий вздох.

Это было у всех на уме. Узак безосмысленно и безжалостно ткнул в наиболее болезненное место:

— Сивый Загривок высоко, можно сказать, в тронном седле, а пониже, у нас, на самой шее сидят да погоняют свои приставы да урядники доморощенные, единокровные. Воля попроще... Где она, батыр?

«Сжечь все мосты, — думал Жаменке, — чтобы некуда было пятиться волостным; чтобы стояли как вкопанные, боясь кары божьей, воли народной».

И думая так, сказал:

— Завтра же заколю жертвенного коня, приглашу к себе волостных. Думаю, что явятся все. Но полагаться на ихнего брата, верить, что они пойдут с нами, — глупей глупого. Тут то и подковать их при всем честном народе. Клятвенно упредить: прогоним с позором из нашего рода на веки веков как предателей, как врагов.

На том и поладили. Согласились... И так стало славно, чудно у всех на душе в тот поздний час, по вечерней кроваво-красной заре, предвещавшей ветер. К аулу е холма совета шли, обнимаясь. Поздравляли друг друга, благодарили и благословляли. Нели, но не смеялись, больше лили, слезы.

А в ауле повекакали на коней и разлетелись по всем дорогам и без дорог с буйными криками, с ликованием, унося в темную степь, в безлунную беззвездную ночь светлую весть. Старшие сказали: не дадим джигитов!

* * *

На другой день спозаранок в Акбеит на жертвоприношение Жаменке съехали джигиты рода албан. Собрались влиятельные аксакалы, баи и бии всех аулов. Прибыли и те, кому пристав читал указ, все десятеро.

Юрта Жаменке посреди аула. Вокруг нее столько коней под седлом, как будто здесь открылась новая ярмарка... Весь ближний берег реки кишел людьми. Конники, конники... Их не меньше, чем сосен в бору. Лабае, за рекой.

Нылали костры, дымились котлы. Жар и пар — не подступиться. Тут и там кололи скот, рекой лился кумыс. Без этого сборы у казахов не обходятся. Нили кумыс, хмелели, и открывались люди, изливались душа в Душу.

Заглавный, наибольший круг самых знатных, именитых, самых полномочных расположился на лугу. Всех прочих держали в юртах, поили чаем и кумысом, чтобы не мешали, не лезли на глаза и под ноги. Решать должно аксакалам. А молодежь да беднота только отвлекают, тратишь на них попусту дорогое время... Так полагали опытные распорядители. Зря, однако, старались. Изю всех юрт спенили к лугу рядовые джигиты, окружая его тесным живым кольцом.

В центре круга, насунив брови, надвинув до бровей черные каракулевые шанки, сидели Узак и Жаменке. Волостные управители, разодетые напоказ, с кричащей роскошью, избегали встречаться с ними взглядами, отворачивались. И те и другие смотрели грозно. И те и другие молчали.

Долго молчали, словно пережидая друг друга. И казалось, что в молчании решается, кто здесь хозяева, кто гости, кто судьи, кто ответчики. Молчание

затягивалось, но чем оно истовой и церемонней, тем весомей слово, важней и значительней собрание. Здесь не ярмарка и не торговля, здесь совет и суд чести.

Кто же все-таки начнет?

— Уа, сыны албана! — сказал, слегка приподнимаясь, Серикбай, не самый молодой и не самый старый, уже известный, но еще не именитый. — С чем приехали? В такой трудный час можно ли отмолчаться? Мы слышали вчера слово аксакалов. Оно всем известно. Завтра вам отвечать приставу. Народ хочет знать, что ответите!

— Так, так... верно! Народ ждет... — раздались голоса со всех сторон.

Люди задвигались, зашептались. Старшие прокашливались.

— Слушаем, слушаем! — зычно сказал молодой Турлыгожа в тон Серикбаю. — Все знают, по чьему зову и чего ради мы собрались. Пусть не те времена... но и мы, албаны, не без вождей. Пусть ведут! Мы готовы! Пусть скажет аксакал...

— Что ж, дети мои... аксакал свое уже высказал... — сдержанно начал Жаменке, и морщинистое его лицо потемнело от гнева, это все видели, но голос был тих, печален и задумчив, — Говорят, старый баран — это долгие годы, а молодой — быстрый ум. Есть у нас молодежь, джигиты, способные и достойные быть вожаками. Пора им заговорить! Лучше новая бязь, чем линялый шелк... Мы постарели, родные мои, наши шанки помялись, вместо былой силы — немощи да недуги. Наше время ушло, ваше время приходит. Новое время и великое испытание для вас, албаны! Кто болеет душой за народ, пусть подноясывается потуже... Я свое прожил, свою долю съел — чего мне еще желать, просить у судьбы? И чего ты не добрал у жизни, Узак батыр? Кто пойдет с нами, увидит, мы не дорожим тем, что нам осталось. Мы старые, но мы будем в твоих рядах, народ! Это мы сказали вчера... говорим сегодня... скажем завтра! Судите, как это вам, по душе ли? А мы послушаем вас, молодых... тех, у кого вожди в руках... Что услышим?

Негромкий говор пронесся над лугом, говор стариков. Это были их голоса, довольные и сочувственные, а в иных слышались и слезы.

— Ах, хорошо... любо... Не посярмил, не подвел... Сердцем говоришь, брат...

Молодые молчали. Но их возбужденные лица загорались гневом, как и морщины старого Жаменке, и это было то, чего он хотел.

Волостные утратили лоск. Кажется, не было в речи Жаменке угрозы, одна горечь, а между тем слышали правители словно бы новый указ, и был он странней и опасней для них, нежели царский. Такого оборота они и ждали и не ждали... Вторые сутки они ломали голову, как бы ухитриться не вымолвить на людях ни да, ни нет. И теперь обрадовались, когда опять первым, как у приставу, вылез этот выскочка Аубакир.

— Спасибо, аксакал, — сказал он горячей скороговоркой. — Слышали вас все. Все благодарны. Лучше не высказешь чаяния народа. Лучше ему не послужишь. Не дадим джигитов! Иначе и быть не может... Хорошо... Но тогда что же! Как сказал вчера батыр Узак, нам, албанам, доля одна: бежать куда глаза глядят! Узак в дружбе с калмыцкими вожаками. Глядишь, выпросит у них землицы года на три? А за три года, поди, и войне конец...

Рот прервал Аубакира, и он с недоумением осмотрелся. Его недослушали, и он так и не понял почему.

Бойко он говорил! Легко у него все получалось про долю албан — бежать куда

глаза глядят... Нет, не так, да все не так, как вчера батыр Узак... Скор, однако, милый, храбрый наш Аубакир! Побегит — на коне не угнаться...

—— Не спеши, — сказал, выручая его, Серикбай, — Чего перескакивать с пятого на десятое? Ты сказал: не дадим джигитов. Ладно, хорошо... Это мы слышали. А что скажут остальные? Не слышим!

—— Не слышим... не слышим волостных! — подхватил Турлыгожа своим трубным голосом. — Чего молчат? Чего дремлют?

И по всему луку молодые и старые закричали: не слышим!

Рахимбай ерзал на месте, кряхтел и кашлял. До сих пор у него и наяву и во сне звенело в ушах: «Сма-атри у меня!» Замучился, несчастный, извелся. Вот, может быть, последний случай прыгнуть выше блохи...

—— А что волостные? — вдруг сказал он. — Объяснили вам начет списков... Теперь передадут пристава вашу волю. Кто такой волостной? Поередник, клянусь аллахом! А посему... чем кивать на нас, орать на нас... не лучше ли заняться делом, потрудиться самим, всем миром... Госно-дин пристав — он как объяснял: война-с! Указ военный, всех каеается одинаково — и казахов, и киргизов, и уйгуров. Тыловые работы... рабочие руки... выложить, говорит, и подать... Война-с! Так объяснял. Что же тут волостные могут поделывать? Была бы наша власть, наша сила... Мне вон было лично указано при всех других: «Сма-атри у меня!» Это надо понять. У царя слуг много, их — как деревьев в лесу... Не знаешь, где чихнуть, где охнуть, чтобы не повредить своей же волости... своему роду... Так или нет? — спросил Рахимбай, стараясь угадать по лицам волостных, высоко ли он скакнул.

—— Так, так... — недружно ответили двое-трое; другие молча поглядывали на Узака и Жаменке.

—— Ну и ну, — проговорил Жаменке. — Залюбуешься, право! Зменный у тебя язык, Рахимбай. Плынешь, как худой иноходец... Наверное, думаешь, что, если ты уйдешь в кусты с полными штанами, конец свету, некому будет управлять албанами!

—— Хромая ты баба, — сказал Узак. — Дырявый человек. Думаешь, один ты знаешь правду? Да ты ее в жизни не искал! Ты пристава знаешь, урядника... И они тебя знают... примерно как своих баб! Царя испугался? Перекрестись... Кае-на-дын Рахимбаев! Давай ниши списки. Гони джигитов царю в подарок. Твой верх, твоя взяла... Идите все за этим вырождаком. Чего зря болтать!

Тут-то и услышал волостной Рахимбай свой приговор. Зашумел народ:

—— Знаем, почему он так занел, знаем! Всею волость кунит-продает-разменяет... Гнать его в три кнута! Проваливай отсюда... мать твою... дочь твою... Пока не прикончим тебя с домочадцами, ни один джигит не пойдет из волости. А пойдет, так прежде тебя зарежет... И зарежет! Как жертвенного барана!

Такого общего яростного крика, пожалуй, не припомнят распорядители, знатоки обычаев и церемоний на высоких собраниях, в кругу избранных, баев и биев. Всего удивительней было то, что не только Аубакир, славный мальчик, но и все остальные волостные, все до одного честили на чем свет стоит своего же брата-волостного. Сметнули-таки, что им, делать, как себя держать. И не прогадали, потому и были прощены. А Рахимбай сидел повесив голову, моля аллаха, чтобы ее не енесли.

С трудом утихомирили аксакалы народ — не прежде чем власть отвели душу все те, кого и не звали на совет бедняки и молодые. Решили, однако, так: к пристава

завтра пойдут не старшие и не волостные, а кто помоложе, похрабрей да понадежней. Избрали Серикбая, Турлыгожу и еще Айтная.

Затем поклялись в верности на крови жертвенного коня. Жаменке и самые почетные аксакалы именем всех святых рода албан благословили своих соплеменников, и чудилось в те минуты, что все единодушны, как дети одного отца. Огромная толпа, теснившаяся до самой реки, внимала старикам и взывала к духам предков, моля не оставить в беде и в борьбе.

Так было посеяно зерно бунта, одно из тех малых зерен, из которых выросла нива восстания 1916 года, предтечи великой революции.

Глава третья

С того памятного собрания Узак возвращался вместе с Тунгатаром, своим родным братом, и толпа всадников их провожала.

Тунгатар — богатей, владетельный бай, из самых крупных в роде албан. Его сила в мощи. Полторы тысячи коней выводят на летовки его пастухи. По этой причине старший сын бая ходит в жожаках народа, а внуки верховодят среди молодежи. Боятся бай только джута и засухи, но, то и другое на Каркаре редкость.

Указ царя для него не бедствие. Он уже побывал у кого следует — и у своих и у русских. И остался доволен: он мог быть спокоен за всех своих сыновей и внуков, равно как и за весь свой скот. А вот Узак и старый строптивец Жаменке его нанугали.

Неугомонные люди. Ими бай был недоволен. На них осерчал.

Увидев, как круто обошлись с волостным Рахимбаем, Тунгатар предпочел не открывать рта, но заметил, что брат Узак забирал чересчур, большую силу. Забылся брат — не оглядывался на баев! Такой грех никому не прощается.

Под вечер подъехали они к своему аулу, и тут навстречу подекакал один из джигитов Тунгатара, отозвал хозяина:

— В полдень... как с неба свалились... шестеро казаков... и прямо — к аулу батыра! Обыскали весь аул. Спрашивают: «Где хозяин?» Мы жмемся. «Может, на ярмарке?» А ихний старший, Двухбородый, смеется.

— Так. Понятно, — сказал бай.

— Оказывается, там на ярмарке, все известно: кто чего говорил и как было с волостным Рахимбаем — все!

— Не ори. Это я знаю. К нам не заглядывали, не спрашивали, где я?

— Нет, и носа не сунули! Но в ауле все равно перепугались. Послали меня встретить вас. Надо вам ехать домой или нет? Ваша супруга велела предупредить. Вас и батыра... Вы ему сами скажете... или как?

Бай с усешкой почесал ус пальцем, украшенным двумя перстнями.

— Этого следовало ожидать. С белым царем шутки шутить накладно. Вленият ему! Ну да он, кажется, сам хочет, чтобы его проучили. Шибко хочет заработать... по шее от пристава... Я добавлю!

Тунгатар спешился и повел коня в сторону от дороги, кивком головы послав гонца за Узаком.

Неохотно откликнулся Узак на зов брата. Давно уже батыр сторонился бая, тяготился каждой встречей — с того темного, трижды проклятого дня, когда

разбилось сердце Узака.

Встречаться им приходилось, но ничего в их душах не теплилось друг к другу, ничего не осталось кровного, братского. Иной раз думалось: а одного ли они рода?

Бай был как бай, корыетен, жаден и жесток, не брезговал и грязными делишками, шкурничал крупно и по мелочам. Все же он таился от брата, прятал нечистые руки, но батыр обычно раскусывал его козни, случалось, заставлял поступать по справедливости.

Вейкий раз, когда им надо было встретиться, Узак мучился. Точно ему было. А Тунгатар делал вид, что ничего не замечает. Тунгатар богател; а Узак сидел из года в год.

Однако сегодня нашла коса на камень. Тунгатар сидел на высокой травянистой, кочке, когда Узак спешил около него. Провожаящие отъехали, оставив их с глаз на глаз. Солнце стояло низко, люди и кони волочили длинные тени.

Бай дождался, когда брат сядет рядом, сказал, не глядя на него:

— Поешь, как петух! Распустил хвост... Кого ты будишь? Кого разбудил? У пристава на твое кукареканье ухо острее, чем у казаха! Вон уже были у тебя шестеро, обыскивали. Сам урядник Плотников. Слыхал? С кем ты тягаться? Еще когда все было тихо, мирно, пристав дал тебе хороший урок — три месяца тюрьмы. Это задаток. А сейчас... головой рискуешь! Что будем делать без твоей головы? Осиротеют албаны.

Узак тоскливо огляделся.

— И чего ты от меня хочешь? Кого пугаешь? Что у тебя чешется — совесть или карман? Ну, дал мне Сивый Загривок урок, дал... Спасибо тебе за тот задаток. А сейчас? Лихо всему твоему роду! О чем же ты хлопочешь? Что с того, что были шестеро? Не видел я, что ли, урядника Плотникова! Провалиться мне сквозь землю? Или обабиться? Что велишь брату? Лизать зад Сивому Загривку, как Рахимбай? Не умею я, как ты меня не учил. Стар я переучиваться.

— Вот ты всегда так... — сказал бай, передергивая плечами, будто его знобило. — Вечно лезешь на рожон! Дожил батыр до седины, воевал-воевал, а чего достиг? У царя силища — земля под ним гнется. Неужто с тобой не справится? Против кого восстаешь? Когда одумаешься, остепениться? Себя не жалеешь, пожалей хоть семью, свою же родню. Не забудь о детях, чтобы не тыкали в них пальцем: вон — козопузые того дурня Узака!

— Уа, Тунгатар... да лишит тебя бог надежды... Издергал ты мне душу, вся в крови от твоей узды. Истонтал ты меня, весь в навозе. Что тебе еще надо? Говори...

— И скажу! Послушай... Я кое-кого пощупал. Ты знаешь, я это умею. Как курицу... хоть самого пристава... Если малость потратиться... пообедем это лихо на тройке! Спасибо аллаху, не обделил меня скотом. Спасти нужного человека — добра у меня хватит. А другие как знают! Клянусь тебе, мигни только глазом — вычеркну из списков на реквизицию кого ты скажешь, кого ты хочешь. Не бойся, не разоримся, поседем конейки — пожнем рубль!

Узак удивленно поднял брови:

— Купить меня вздумал, что ли? Правда, что ли?

— Спасая тебя! Остановись, пока не поздно. Не подбивай, не муди простолюды. Удержи народ! Мы же первые погорим... Они тебя слушают. Пойдут за

тобой хоть к шайтану — к тем калмыкам... Это погибель наша. Лишимся всего! Там я не бай, нищий. Сколько ни выпросишь земли — моих табунов не прокормишь. Раньше всех пропадем мы с тобой — вон сколько у меня скота! Куда его девать? Кому его пасти? Ограбят. Разнесут по костям... Послушай меня, успокой наших с тобой настухов, моих слуг! Хотя бы и дома, на родной земле, — вдруг зашентал бай, — голытьба разорит нас, если дашь ей волю. Об этом подумал?

— Ты все сказал?

— Да, все. Если ты брат мне, честью рода, памятью наших предков заклинаю тебя!

Это было уж слишком, это кого хочешь взбесит: Тунгатар — и честь рода... священная память предков... Глаза батыра налились кровью.

— Пронади ты пронадом, подлый нее! И как аллах не расшибет тебя громом, а меня осуждает слушать твои бредни... Уйди с глаз моих, двуногая тварь! Не имеешь ты права называться сыном Саурука. Убирайся! И чтоб больше я тебя не видел. Не лезь в мое дело, не стой поперек дороги. Умру — не смей хоронить меня, не позорь мертвое тело. В могилу с собой унесу свое горе, стыд, что ты мне брат. Уходи прочь!

Много лет не видел бай Узак таким неистовым, неукротимым. Батыр дрожал, хватался за кривой нож, висевший на поясе. Вспомнил, видно, бывшее...

«Его не согнешь, — думал бай. — Ломать этого смутьяна, ломать!»

— Что же, я выполнил свой долг... — деланно ворчливо проговорил Тунгатар, влезая на коня. — Кончено. Отныне мы не братья.

Узак проводил его взглядом, слепым от ненависти. Бай ехал на закат, и на него смотрело солнце, тоже слепое, мрачно-багровое, из-под тяжелого века тучи.

А перед батыром вставал день, который он помнил двадцать тягостных лет и не забудет до смертного вздоха.

* * *

У нее была смуглая нежная шея... На шее петля. Пестрая рябенькая петля волосяного аркана, плетеного в три струны.

Обвисло остывшее, бездыханное тело. Лицо мертвенно бело. Лишь глаза слегка приоткрыты и взгляд живой. Глаза кричат: «Отец мой... отец...»

Она звала его в свою последнюю минуту, и он не отозвался. Он не слышал. Но вот уже двадцать лет, как он слышит... И отвечает ей: «Иду».

Бекей была единственной дочерью. С детства она росла особенной, не похожей на других. Недаром он так любил ее, хотя никогда, а тем более в ту пору, не отличался слабосердечием или особой чувствительностью. Была дочка хороша собой, но были девушки и краше — не было ее умней. Он гордился ею еще и потому, что Бекей была учена!

В то время буйный Узак, сын покойного батыра Саурука, тоже стал батыром и входил в славу. Дочь была ему под стать.

Как водится, Бекей была засватана с малолетства. Жених, сын богатого бая, пошел в своего отца: оба интересовались только скотом, сами почти скоты. А Бекей привыкла к тому, что ее отец, батыр, прислушивался к ее речам. Ей внимали даже акеакалы. И понятно, что она невзлюбила дом глупцов, в который ей предстояло войти. Скромна была Бекей и чиста, но дерзка душой, как отец, и нарушила родительскую волю. Выбрала себе друга по сердцу и уму.

В ясную звездную летнюю ночь, в пору мечтаний и любви, послушалась Бекей веления сердца и пошла за своим избранником, оставив родительский дом. Как ни умна была, ушла не думая, очертя голову.

А может, потому что была умна, она и поверила не в доброту людскую, а в одного человека своего многолюдного рода, в отца, в его дерзость, в то, что он переступит роковой порог, который другие не переступали.

Беда была в том, что умыкнул Бекей молодой киргиз с далеких синих небесных гор — Балтабай, сын Манана. Беда была в том, что было у Узак два брата, и один из них — Тунгатар.

Манан — давний враг Узак и его рода. Взять в жены дочь врага за приличный порядочный калым — значит помириться; умыкнуть ее — значит оскорбить кровно, а это хуже, чем убить. Под горячую руку, не дав сердцу одуматься, а голове остыть, батыр отрекся от дочери и проклял ее.

Опомнившись, он сам себе поразился. Он не хотел плохого дочери. Он ее любил. Тогда вступились братья Тунгатар и Кожамберды.

Бекей — слишком дорогой дар роду Манана, говорили они, и это была правда. Сами ляжем костьми или убьем, сказали братья, и это была подлость. Но в те дни Узак не разгадал ее и не устранился; он одурел от не навести к Манану и его сыну, овладевшему Бекей, бесценным его богатством. Батыра побуждали к мести, и он желал ее, не задумываясь, кому же он мстит.

Своенравный, своевольный, а на самом деле уже замороченный братьями, Узак кинулся в погоню. Подкунил начальство в Караколе. Бекей вызвали в канцелярию.

Иным думала дочь Узак встретить своего отца. Увидев его, она увидела то, чего он еще не видел: свою смерть.

— В моих жилах твоя кровь, отец. Не заставляй меня смотреть в лицо еородичам, — молила она. — Если я провинилась, убей на месте своими руками. Накажи — отними у возлюбленного, отдай за первого встречного, только за киргиза. Не срами перед своими.

Узак согласился, дал слово на Коране. А Бекей подписала дурацкую бумагу, что отрекается от любимого человека... Но, заполучив дочь, Узак, не долго думая, привез ее домой, в свой аул.

Он обманул и предал ее. Обманул и предал самого себя. Он был не так умен и не так учен, как его дочь.

Тем временем его проклятие действовало. Бекей сгорала, таяла на глазах. Маленькая, прекрасная, невинная Бекей... Она онемела навек и дрожала, как ягненок, которого хлестнули кнутом по глазам.

Скрипя зубами, Узак стучал себя кулаком в грудь, потому что в ней опять было сердце, а не бездушный черный камень. Вдруг ему пришло в голову, что он не спас, а погубил свою дочь, что она несчастна, как это говорится в книгах, в песнях. Он ужаснулся тому, что натворил, может быть, впервые в жизни почувствовав жалость и сострадание к женщине.

Братья Тунгатар и Кожамберды ходили за ним по пятам, дергали за полы. Тунгатар изощрялся в громкословье. Позор, говорил он, клеймо на весь род. И пугал карой божьей. Узак презрительно кривил рот, слушая его. Но Тунгатар поднял своими воплями на ноги спящих и хворых. Вся родня ополчилась против Узак.

~~Живые блюстители чести обложили его, как волки одинокого путника в степи в голодную зиму. Остался батыр один. Никто его и слушать не хотел.~~

~~Вот когда понял Узак, как смела и высока душой его маленькая Бекей, и как он труслив и низок. Кровь отца, батыра Саурука, вскинула в жилах Узака.~~

~~— Не выдам. Не покорюсь! — сказал он дочери.~~

~~И опять он ошибся в своей силе, как ошиблась в ней Бекей.~~

~~Подстерegli подлые люди, когда он уехал на часок, пришли к нему в дом и повесили Бекей под куполом отчей юрты, на нестром аркане, плетеном в три струны. Сделал это Тунгатар со своей бражкой — на глазах у родной матери, цеплявшейся за его мохнатые руки.~~

~~Мать слегла после этого и не скоро поднялась. Свалился и брат Кожамберды в неведомом припадке. Когда же пришел в себя, замычал, завыл, перестал отличать пшеничные лепешки от лепешек кизяка, выплевывал хлеб и ел навоз, прожил так год и так умер.~~

~~Лишь один Тунгатар пошел в гору, раздался брюхом и задом, и вместо одной у него стало три шеи.~~

~~* * *~~

~~Каждый раз, когда Узак мысленно уходил в прошлое и видел Бекей в петле, е чуть приоткрытыми живыми глазами, ему словно стреляли прямо в сердце. Тысячу раз оно было прострелено.~~

~~И все же он шел туда... и смотрел в глаза Бекей... И жадно, до тягостного болезненного оныянения пил всю горечь, весь яд своей вины, своей неизлечимой раны. Чуждые в молодости, а сейчас сладостные, преступно нежные слова скребли ему душу, ибо то было его любимое дитя, его ласточка, горлянка, невинная, святая.~~

~~Вот земля, которая ее родила, выкормила и в которую она ушла. Вот аул, свидетель ее последних дней. Это место названо Танбалыгас — Меченый Камень. Не емьть с него клейма.~~

~~Северней аула есть утес, черный, с проседью, как борода Узака. Утес тянется вон к тому красному сосновому бору, стоящему на небесном пороге, на краю света. К утесу часто уходила Бекей, будто к отцу. Возвращалась увядшая, сухая, как опавший лист.~~

~~Бродила она и под соснами по вечерам, в сумерках, когда сосны выцветали и меркли, как ее юная душа. Но так и не смогла, как хотела бы, уйти от аульной лужайки, посреди которой оголились серые пятна глины, похожие на струнья паршивой головы.~~

~~Печаль Бекей несла в себе и речка, узкой лентой сползавшая в Каркаринскую долину подобно длинному плетеному аркану. И невзрачные, безжизненные солончаки на закате. И обшарпанные ветрами, унылые зевы оврагов, похожие на огромные западни.~~

~~Новсюду жила мука Бекей, безмолвная, неистощимая. Близ юрт мерцали вечерние огни очагов, и в них была тоска ее сердца. Куда ни помотришь, видишь ее ранние быстрые морщинки.~~

~~И нигде нет искры ее растоптанной потушенной гордости.~~

~~«Проклятое время... проклятое место...» — думал Узак с застывшим, страдальчески искаженным лицом, согбанный, как будто у него сломали позвоночник.~~

Что изменилось за минувшие двадцать лет? Но сей день по земле Бекей ходит ее палач, мохнатый тарантул в образе человека, раб наживы. Ходит и рвет с корнем, выжигает огнем редкостный дар Бекей, каждый его слабый новый росток... Ходит, и судит, и приговаривает, и казнит, и клянется честью рода и тенью предков, помахивая ими, как петлей аркана, плетенного в три струны.

Он извел бы родную мать, праматерь своего рода, если бы они угрожали его табунам.

И еще думал Узак о том, что, видимо, он сдает, притомился за эти двадцать лет, стал туговат на ухо, плохо слышит голос Бекей, зов Бекей, завет Бекей, ее последние слова: «Отец мой... отец...» А вот Тунгатар не старится и не слабеет, он многолик, многорук, его табуны множатся, его власть возвеличивается.

И, подумав так, батыр застонал, поднял глаза к небу, прося дать ему новую силу и взять взамен его жизнь.

«Я готов, бери меня... Но — как хотела Бекей! Чтобы мне там, перед ней, не гореть от стыда. Возьми меня жертвой за народ! Жертвой за народ... Милая моя, понимаю — не зря явилась твоя тень. Иду! Иду догонять тебя. И догону, догону...»

Двадцать лет он винился перед Бекей. Теперь он хотел бы большего — оправдаться перед ней. Возвыситься до ее мужества и мудрости, которых у нее, женщины, было больше, чем у мужчин рода албан.

Повернувшись лицом к западу, он совершил молитву. Он молился за душу Бекей, а может быть, втайне и ее духу, как духу предков, высшей святине для етениака, равной самому богу.

Потом пошел вниз, к аулу. Конь шел следом.

Была уже глубокая ночь.

Глава четвертая

Назначенные приставом три дня прошли. Но так ли все было, как он задумал? Когда же выполнится смиренное племя, побежит, повалится в ноги, примется молить, еовать деньги, скот, все свои животы? Похоже, что этим и не пахло.

Что же там дестея, что варитея на их хваленых летовках?

Добрый толмач Осан притворялся, что ему стыдно за земляков, вздыхал виновато, глядел скорбно, стараясь показать, как он подавлен и угнетен. Пристав отворачивался от него.

Было у него иное ухо — им он слышал каждое слово, оброненное за десятки верет от канцелярии. Рахимбай днем и ночью слушал, где что говорят, и доносил приставу. Прибывали еще лазутчики неизвестные, от безымянного лица, но Сивый Загривок хорошо знал его имя — умнейший бай. Недавно привелось с ним приятно беседовать, и он первый из немаканных сподобился, отметил беседу надлежащим образом — асигнацией, достойной царского указа!

Уму непоостижимо, что брат этого бая — главный подетрекатель и смутьян. Не выучили строитивца даже три месяца тюрьмы, назначенные ему по братски, по совету бая.

Пристав привык ощущать себя божком среди всеобщего подобострастия. И разве не был он идолом в этой дикой стени? Сейчас он не мог понять бесстрашия перед ликом своим. Он был оскорблен.

Первым побуждением было схватить вольнодумца немедленно. Следовательно и урядник удержали его:

Это, видите ли, было бы рискованно. Унаси бог, как они стали осмотрительны! Спору нет, они упрятали бы за решетку, выслали бы по этапу каждого пятого из тех, кто шумел против указа государя императора. Но это, видите ли, было бы превышением власти. Вон какие мы скромные, малые ярмарочные чины...

Доносы шли и шли. Соглядатаи являлись в холодном поту. Послушать, так взбунтовалось все племя, весь народ, степь горит. И прежде указа законилось достаточно обид, а нынче переполнилась чаша. Об этом никто не говорил открыто, но думали про себя все:

Худо было уже то, что народ вдруг ушел с ярмарки, точно по тайному сговору, как по сигналу. Это, господа, разбой и воровство среди бела дня. Это именуется одним непроницаемым политическим словом — демонстрация!

Однако следователь долбил свое:

— Аккуратность и еще раз аккуратность! В такой вот именно момент брать жоака было бы неаккуратно. Ошибемся, очень ошибемся. Лучше воздержаться. Наделаем беды. Сам по себе арест, как правило, возмущает... В такой вот именно атмосфере недурно бы вменить в обычай уговоры... пожалуй, и ласку... Настух падох на ласку.

— Все равно брать его придется. Без этого нельзя, — сказал урядник. — Да это дело от нас не уйдет. В свой срок...

— Будь по-вашему, подождем, — ответил пристав с уменской превосходства. — Хотя и непорядок, господа... Арест на то и есть арест, чтобы пресекается! Всякий пыл да раж у степеняка мигом проходит, ежели прижмешь к ногтю главаря. Без своей седой головы настух — овечка. Вот именно какой у меня был расчет — куда уж аккуратней!

— Совершенно справедливо, — согласился следователь. — Степяк горяч лишь поначалу. Покинит, побулькает — остынет. Войдет, как говорится, в берега. Возьмет верх, разумеется, не Узак... а его братец — весьма аккуратный деятель! Равно как и наш любезный Рахимбай. Поэтому следует им всемерно способствовать. Не следует им чинить помехи.

— Да с! Это, слава богу, я и делаю, — проговорил пристав, — Вот что, Плотников, сделай милость, возьми-ка ты, друг мой, полдесятка нижних чинов и — к нему в аул с обыском собственной персоной. Для почина этого довольно. Но чтобы там у меня — ласково! Понял?

В эти три дня пристав был грозней обычного, пыжился перед чиновниками больше, чем перед толмачами, скрывая от них и от самого себя страх. Бранью, угрозами показывал Сивый Загривок, что существует и властвует.

Он хватал одинокого незнакомого путника, забредшего на базар, вырывал его из рук кунцов и давал своей душеньке волю, отбирал коня и вертел кулаками перед реденькой черной бородкой:

— Казах? Албан? Шнион? Закатаю! Упеку!

* * *

Настал день четвертый, день ответа. Этого дня ждали все. О нем только и думали у аульных очагов и на настбищах. Ответ будет всем известный, простой-понятный. Стало быть, так. Так оно и будет.

~~Но... как же все-таки оно будет? Нелегко было вообразить себе, как придут обыкновенные, смертные пастухи, и скажут супротивные слова... Кому? Сивому Загривку! Разве так может быть?~~

~~Говорят, надо держаться всем миром, душа в душу, стоять стеной, как будто у всех албан один общий воротник, общий рукав. Тогда оно так и будет. Надо думать, будет...~~

~~И вот с утра множество людей двинулось по девяти дорогам к ярмарке. Поднялись все, кто мог сидеть верхом, стоять стеной.~~

~~Съезжались со всех летовок: с Донгелекеаза, Коктебе, Кокбулака, Сырта... и с Лабаса, Акбеита, Туза, Кегена... С горных лугов, по ущельям и лощинам текли на Каркаринскую равнину толны и толны всадников. Толны и толны клубились куда ни глянешь, на всех скатах и кручах, как кучные облака перед июльской грозой.~~

~~Казалось, сами горы, скалистые и снежные хребты вдруг разверзли свои древние недра и сынали и сынали из таинственных глубин в зеленую долину людей на конях. Шло племя бесчисленное нескончаемым, буйным, многоструйным потоком. Шел народ конный, непоседливый, народ необъятной, бескрайней суровой степи.~~

~~До ярмарки пока что не доходили, задерживались на просторной возвышенности между ярмаркой и аулом Узака. Тут обычно справляли мусульманские праздники. Это место называлось Айт-Тобе, что значит Молитвенный Холм. Оно притягивало к себе всадников, точно магнит. И скапливались, распухали здесь толны, сливаясь в единое, огромное, живое целое, и снизу, из ярмарочной долины, казалось, что на холме вырастал высокий дремучий темный лес и его раскачивал гулкий ветер.~~

~~На Айт-Тобе уже приехали Узак и Жаменке. Здесь и Серикбай и Турлыгожа. Многие спешились, коней привязали к живой коновязи. Сидели, подобрав под себя ноги, ждали. А к ним подъезжали, все новые и новые всадники. Иные подлетали, гарцуя на разгоряченных конях, поднимая их на дыбы. Но большей частью ехали степенно, нестройными текучими рядами, сдерживая коней, грызущих удила.~~

~~На Айт-Тобе особый подвижный порядок. Первыми сюда прибыли встречающие. Их много. Держатся они парами. На сильных резвых конях. Они поспевают всеюду, а их кони не перестают дергать головой, прося воли... И видно, как довольны прибывшие, когда их встречают чин-чином. Значит, здесь все ладно, все по-хорошему.~~

~~Довольны и встречающие — отовсеюду люди скачут к ним, на Айт-Тобе.~~

~~Время шло к обеду. Издалека собирались. Много собралось. Людей, коней — сила! Солнце стояло в зените, огненное, нещадное.~~

~~Выделялись люди с летовки Донгелекеаз, самой дружной. Их привели старый Хусаин и дерзкий мальш Картбай, вынужденные вчера из ярмарочного узилища за это двадцать рублей!~~

~~Был с ними и Кокбай, рослый, шербатый, с маленькой бородкой джигит на длинном коне. Он шурился на солнце, подмигивал знакомым и незнакомым, емеялся:~~

~~—— Бывало, на ярмарке, на том тухлом базаре, сойдутся человек пять — десять кунчишек и мнят о себе, что их много! Пусть теперь на нас понялятся, будь они неладны. Кого хочешь сметем — так говорю, аксакалы?~~

Ему ответил Картбай, с удовольствием осматриваясь:
—— Поздравляю, брат. Желаю успеха. Вижу, албаны тут все, как один! Дай бог...
И с разных сторон полетели и сплелись в узел голоса:
—— А как же! Так оно и должно быть, если мы зоведем народом... Держись теперь, господин пристав!
—— Ну, и ну... сколько нас, братцы! Небось начальство не знает, куда ему деться.
—— Попрячутся сейчас в норы. Гляди орлом! Не робей.
—— Как пойдем, разбежимся — затопчем! Гуляй, народ, веселей, дружнее!
В голосах стариков звучала давно не испытанная гордость, в голосах молодых — желанная удаля.
Молодые, как водится, зубоскалили, но не над сверстниками, как обычно. Сегодня шел иной разговор — под дружный, элорадный хохот.
—— Эй, Кокбай, скажи про начальство! Как оно сидит на ярмарке?
—— А так. Вылунив глаза, с полными штанами.
—— Эй, Кокбай! Как же оно будет тебя допрашивать?
—— А так. На бегу удобряя землю.
—— Еще чего — допрашивать! Вон нас — тьма. Всех не допросишь.
—— Пусть меня допросят. Только и слышишь: царь да царь. Будто я царя испугался!
—— Гнать их в три шеи. Сколько нам терпеть этого Сивого Загривка?
—— Перво-наперво — ярмарку! Всех обираловых! Нажрались — хватит.
—— Постой, постой. Эй, Кокбай, а ты еще не купил себе табачку пожевать, не отведал манты...
—— Скажи: не отведал урядниковой плети!
Неподалеку, соперничая с Кокбаем, озоровал другой, рыжеватый молодой парень по имени Жансеит, то есть Милый Сеит. Он потешался над купцами.
—— Теперь не стану платить за табак. Возьму табак и так. Отберу.
Его окликали любовно-насмешливо:
—— Жансеит, а Жансеит! Как это ты отберешь? А он обидится — купчина. Почитай, мы с ним приятели давние...
—— То-то что давние. Я этих приятелей еще в животе у матери обещал обидеть!
Такое обещание шумно одобрили.
—— Жансеит, а Жансеит! А как ты их обидишь? Какого купца ты больше любишь — ташкентского или казанского?
Рыжеватый хрипло проканлялся:
—— Ташкентского не трону. Потому что нужны манты. Без них я скучный. Скажу: седи тут, вари свои манты. Ослушаешься — бороду сожгу.
—— А казанского?
—— Казанскому скажу: у тебя глаза зеленые, нос острый. Ты мне бесполезный. Останешься без царской службы — придется тебе кочевать, а ты купец, какой из тебя толк? Иди-ка ты к своим господам прислуживать, как привык! И залейся ты хоть маслом — тебя не возьму. Вот что скажу. Огрею разок плетью и

прогону:

Опять смех:

—— Жансеит, а Жансеит! А что ты сделаешь с ихними бабами?

—— Какими еще бабами?

—— Ну, к примеру, с этой... толстухой... господина пристава?

—— А отведу я ее вон за ту скалу, три дня поморю голодом, она и забудет своего пристава и своего бога! Похудеет — отдам во вторые жены Жаменке, аксакалу. Пускай греет ему воду для омовенья.

Хохот, свист, гам... Чистый тонот коньт сливался в сплошной громовый гул. Сквозь этот гул и не расслышишь голосов. Переспрашивали, кто что сказал, кто что ответил, и покачивались со смеху, валясь животами на седла. Вдруг срывались и с пронзительным шальным гиком, с визгом пускались вскачь. Скачки короткие быстрые, но они зажигали кровь, взрывали душу. И люди хмелели от того, как вольно дышали, как дружно держались, и от того, что их становилось все больше и больше.

Возник было беглый разговор о том, что шестеро, из них один Двухбородый, обыскивали аул батыра Узака... Там были шестеро. Здесь тьма!

В полдень весь Молитвенный Холм и пологие подступы к нему кишели черными шапками, как невиданный муравейник высотой до неба. В один неуловимый миг он неожиданно странно стих, словно бы замер. Потом сдвинулся в небе, как мираж, и медленно, тяжело пополз всей своей волнистой шевелящейся массой вниз, к ярмарке, туда, где на выеюком шесте полоскала белый флаг с двуглавым орлом.

Пошел народ. Двинулось смирное племя.

Ехали молча, неторопливым шагом. Кони тянули головы к траве, словно наелись. И тонот коньт как будто приглух. Он не гремел, а стелился. Ни крика, ни свиста, ни смеха. Лишь переглядывались исподтишка, мельком, как бы говоря: идем, идем!

Но было в этом молчании, в этом покое небывалое грозное согласие, сила самой степи, самой земли. Казалось, надвинется это тихое шествие черных шапок и соотрет ярмарку, как медленный сель.

* * *

С утра все, кто был в канцелярии, не спускали глаз с Айт-Тобе. И никто уже не скрывал страха перед тем, что видел.

Пристав и другие чины тайно укрыли свои семьи в двух домах. Их прятали даже от толмачей. Вооружили всех, кого было можно. Толстуха жена пристава взяла наган. Посадили казаков, солдат на коней. Не велели слезать... И заявил пристав во всеулышание официально, что предпринял надлежащие меры!

Следователь, выслушав его, усмехнулся четырьмя глазами. И поступил по своему. Вытащил из канцелярии наружу большой черный короб с круглым свиным глазом спереди и поставил его на высокий желтый треножник около крыльца. Короб был гладкий, черный-черный, как камень Магомета на святом месте...

Пристав встречал гостей кулаком. Следователь хотел заглянуть албанам в самую душу...

Толмачи жалась к начальству до последнего часа, били хвостами, как аульные псы, и, упреждая урядника и пристава, покрикивали на тех немногих казахов,

которые жили при ярмарке, однако держали ухо остро. Еще поутру и Обиралов, и добрый Оспан отослали своих жен и детей в близлежащие аулы словно бы в гости.

Простых людей сторонились. Только избранным, кого считали посметливей, внушали:

— Это добром не кончится. Наедет карательный отряд. Кровь прольется... В Жаркенте стоит войско. А в Караколе пушек да ружей... как мух на базаре!

Обычно каждое такое слово летело пулей в аулы и разило наповал. Сегодня оно упало под ноги, как козий горошек.

Когда пошел народ с Айт-Тобе, казаки выехали навстречу. Пристав послал их — испробовать, что будет. Но тщетно они кричали, замахивались плетью и хлестали ими воздух, как бы промахиваясь. Народ шел и шел, будто и не было перед ним казаков, а те, вертясь на конях, пятились и пятились. Это походило на игру: огромные толпы черных шапок и перед ними — одинокие чубатые плясуны на конях.

Толпы делились по волостям. Уже на виду у канцелярии два бородача подекочили к черным шапкам, которых вел волостной Рахимбай.

— Стой! Куда прешь? Не велено всем... Давай одного выборного! Оседи!

И Рахимбай еще раз испытал судьбу.

— Спешитесь! — выкрикнул он сдавленно. И стал слезать с коня. За ним следом слезли с коней несколько его приближенных.

Никакого уговора на этот счет заранее не было. Но видя, что волостной и его евита спешились, люди его волости сделали то же самое. А видя, как спешиваются эти, и думая, что так и надо, стали слезать с коней люди, которых вел Аубакир. И дальше — люди других волостей...

Движение застопорилось и остановилось. Люди и кони сгрудились, етеснились. Тогда Рахимбай и его приближенные стали привязывать коней — это напрашивалось само собой... И все кругом принялись привязывать коней, оставляя при них коноводов.

И сразу словно бы тысяча богатырей стала тысячей карликов. Огромные толпы черных шапок, спешенные, потеряли свое грозное обличье. Сами себя унизили...

Пристав и другие чины, стоявшие на крыльце канцелярии, ободрились. Казах пенний уже наполовину не казах. Так и ждешь — сорвет с банки черную шапку и примется мять ее в руках.

Истинно генеральским жестом пристав послал урядника с толмачом Жебирбаевым туда, к просителям, ибо то, что они слезли с коней, уже означало подчинение означало, что они просители.

У бравого урядника сосало под ложечкой, однако приходилось соответствовать начальству.

— Оседи! Не шуми! — начал он, подъезжая, с высоты своего седла. — Кто тут у вас за аблаката? Пра-шу... к его благородию!

Люди стояли опустив головы.

— Есть три человека, — вдруг громко сказал Турлыгожа, выстуная вперед, — выбранные народом! Они пойдут... скажут слово народа... Но и мы все пойдем, все! Сами послушаем, что скажет пристав. Так, что ли, народ?

И тотчас над толпами взмыло и раскатилось могучее эхо:

— Все-е-е!

— Стой, не напирай, стой... — забормотал урядник, с трудом усидев на отпрянувшем коне. — Нельзя, не велено...

Куда там! Ожили черные шанки.

— Народ тебе не собака... гнать! Сказано — пойдём... И пойдём, отчего же не пойти? Власть не должна скрываться от народа. Пошли все! Пошли!

И пошли пешие, а урядник поскакал перед ними таким бешеным и таким коротким галопом, будто нарядился скакать на месте, смешить людей.

На крыльце канцелярии не то вздохнули, не то ахнули хором. Мгновенный общий порыв — бежать!

— С ума походили, — зашептал пристав сквозь зубы. — Держитесь, черт вас подери... Не подавайте виду.

— Да, да... — подхватил тучный судья, пыхтя и отдуваясь. — Будто не замечаем... ничего не случилось... Ведите себя, господа, бога ради... как подобает государственным мужам...

Лишь один следователь, поправив на носу очки, храбро сошел с крыльца и встал около своего короба на треножнике.

Вынятив туго переносеянный живот, ибо толстый живот в стени уважают, опираясь на рукоять сабли, висящей на роскошной португес, которой не побрезговал бы и столичный полицмейстер, пристав устоялся на вал черных шанок взглядом удава. Право, он походил на героя, готового взглядом остановить лавину.

Но напрасно он тратил силу — на лицах казахов не было ни следа страха и смирения, которые он так в них любил. Будто с цепи сорвались! Смотрели на него как на равного... Смотрели насмешливо. Смотрели строго. Ужасно смотрели... И Сивый Загривок почувствовал, как его начинает пробирать дрожь. Хотелось понятииться, пригнуться. Еще минута, секунда — и он не выдержит, за скачет на месте, как Плотников.

Почувствовали это и другие, прежде всего толмачи. Кажется, наступал момент, когда лучше слегка отодвинуться от его благородия. Сейчас при начальстве, у крыльца, были только Жебирбаев и лекарь Жарылган. Добрый Осепан уже нечез. Его нигде не видно.

— Я начинаю, — сказал следователь и нырнул под треножник; накрыл голову бархатным покрывалом и тихонько двинулся вместе с черным коробом, круглым глазом вперед, прямо на толпу черных шанок.

Гром не грянул, но из-под бархатного покрывала высунулась белая рука, на ощупь схватила тоненький черный хвостик под коробом, раздался щелчок, и глаз епереди единожды мигнул. Это все видели, все слышали.

И побежал, побежал черный короб на человечьих ногах мигать глазом вдоль фронта черных шанок...

Потом только об этом коробе и говорили. Будто бы в нем волшебное стекло. Глянь — увидишь, что было... И, конечно, что будет!

А сейчас — черные шанки замялись, затонгались, отворачиваясь. Люди незаметно поплевывали себе за ворот, чтобы отогнать злого духа, бесовское наважденье. Сглазит — умрешь в адеких муках!

Остановилась толпа. Онемела. Застыла, как рысь, когда ей на голову накинута черная мешок.

~~И тут же отыскался Осан, выскользнул из толны и встал перед крыльцом как ни в чем не бывало.~~

~~—— Говори, кто такие! —— рявкнул пристав, хотя коленки у него тряслись. —— Кого вы там выбрали? Их первых пере... пере... —— В глотке у него булькнуло, он выдохнул всем брюхом: ——...ю-у!~~

~~—— Салем всему собранию... —— перевел мудрый Осан. —— Где ваши выборные? —— Слушаю!~~

~~Это «салем» вызвало недоумение. Из задних рядов кто-то крикнул:~~

~~—— Сказано вам: выбрали троих. А кто выбран, уже вы-то знаете! И пусть толмач не врет.~~

~~—— Ваше благородие, —— перевел Осан. —— Позвольте сказать троим.~~

~~—— Трое так трое, —— кивнул пристав. —— Выходи!~~

~~Серикбай, Турлыгожа и Айтнай вышли вперед.~~

~~Тут же черный короб приблизился к ним и встал на треножник сбоку, со стороны Серикбая. И пристав, и тучный судья невольно улыбнулись, заметив, как дрогнул Серикбай. Привлекательное его лицо с красивой бородкой порозовело, словно у девицы. Губы так и тянулись к вороту, беззвучно шевелясь, —— жутко было бедняге!~~

~~Пристав ткнул в него пальцем.~~

~~—— А ну-ка, ты... что скажешь? —— Как тебе пришея царский указ? —— Говори...~~

~~Серикбай так и не сумел овладеть собой. Досадовал, что не озлился, а оробел. Хотел сказать гневно, а сказал жалобно, заинаясь, волоча слова, как камни:~~

~~—— Трудно это народу... отдавать джигитов! Тяжко это народу. Кровное это дело... касается всего народа... Да вот народ! Пусть сам скажет... —— Серикбай повернулся к толпе и напряг голос: —— Отдадите вы джигитов?~~

~~—— Не-е-т! Не-е-т! —— зашумели черные шанки.~~

~~Пристав видел враждебные лица, огненные взгляды.~~

~~Но заметил он и другое —— подавленность, сомнение, смятение в одном, другом, третьем...~~

~~Турлыгожа, смущенный тем, как растерялся Серикбай, испуганный тем, что, может, и сам не справится, замямлит и подведет, вдруг возмутился самим собой. Кровь загорелась в его жилах. Он крепко взял своего друга за локоть и без церемоний отстранил.~~

~~—— Нет, не так... не так нам доверил сказать народ!~~

~~Голос его был зычен и звонок. Голос как труба. А слова как оплеухи. —— Невозможные слова...~~

~~Пристав сунулся было к краю крыльца —— оборвать, одернуть. Судья с деланной кривой улыбочкой удержал его.~~

~~—— Простой народ грубеет душой, —— говорил Турлыгожа все более свободно и смело, —— яритесь народ, когда царь своей царской властью понирает справедливость. Правил нами царь, правил... мы молчали... Но этим своим указом он нарушил свое царское слово. Еще не прошло полвека, как мы вошли в Россию, с охотой вошли. А царь обещал не брать джигитов в свою армию раньше чем через полвека... И еще обещал не брать налога больше рубля двадцати копеек с юрты. А сейчас? Берет! Обложил всех казахов от двадцати одного года до сорока пяти.~~

Обложил, как данью, как тот калмыцкий хан! Это второе. А потом землю отобрал, с обжитых мест выжил. Отнял воду у народа! Это третье. До чего дошел? Продает царь нам же наши земли. Мы у него пасынки! Потому и злится народ, грубеет душой. Мы недовольны обманом. Большой обман! Думали все же, надеялись сердцем: поправится царь, поймет, как обидел казахов... Должен царь держать свое слово. Чего же дождались? Указ! Реквизиция! Великий обман! Кончилось наше терпенье. Кончилось наше молчанье. Со дня этого указа не верит народ царю! А вам, господам... толмачам... купцам... и подавно. Никому не верим. Если такой указ... слушайте слово народа: не дадим джигитов!

Турлыгожа поднял руки, и тысячные толпы, заполнившие ярмарку от канцелярии до ближних лугов, подхватили во всю мощь, во всю ярость мужских голосов это слово:

— Не дадим джигитов...

Никогда еще за двадцать лет жизни в степи Сивый Загривок не видывал и не слыхивал такого. И никто не видывал и не слыхивал.

Теперь пристав не замечал ни в ком ни тени сомнения. Черные шанки задвигались, стали напирать, тесня урядника и тоненькую шеренгу казаков и солдат на конях, толмачей и служащих. Там и сям взлетали над головой смуглые кулаки. Новое слово слышна крепкая ругань. Канцелярия, окруженная с трех сторон, казалось, была схвачена за горло.

На маленькую пыльную лужайку, на которой стоял Турлыгожа, вышел серый человек, босой, в заплатанном чанане, ведя тонкого вола в поводу.

— Кто согласен отдать джигитов, — сказал он, — того вот этим зарежу. — И вынул из под полы длинный нож с черной рукояткой и ясным лезвием. И показал нож приставу.

Турлыгожа обнял бедняка. И другие стали его обнимать. Пристав стоял ни жив ни мертв, делая, однако, вид, что все это ему ни о чем.

— Ну, так вот, — сказал Турлыгожа, дождавшись когда народ поутихнет. — Пусть царь берет скот, как брал, но не джигитов. А если уж и впрямь нельзя царю обойтись без наших молодцов — так и скажи... Пусть будет так. Но пусть будет честь по чести! Тогда дай в руки джигитам оружие. Дай коня под седлом, дай ружье, дай патроны. Одежду-обувку, ремень... и вон тот погон, как у казака... Мы не хуже его конники! Это не дело — идти на войну с голыми руками. На позор-поругание, губить ни за что не дадим джигитов. Дай оружие! Шанку с кокардой! Вот чего народ хочет.

Эти слова понравились больше всех других. Очень пришлись по душе эти слова.

Турлыгожа закончил. Начал было говорить и третий выборный — Айтнай, но его не стали слушать. Гул голосов прокатился над толпой. Заговорили сами с собой, яростно выкрикивая, повторяя слова Турлыгожи, такие простые, такие ладные: дай ружье! дай коня! ремень! погоны! шанку с кокардой! мы не хуже твоих казаков! ты бери, бери людей, но честь по чести! что же мы пасынки?

Чем дальше, тем жарче разгорался огонь этих слов. Векинала, взрывалась в этом огне, подобно влаге на пожаре, давняя горечь, давняя обида, светились, как угли, глаза, вепыхивали бешено оскаленные зубы. Горело сердце у смиренного племени.

Начальство застыло, окаменело. Стушевалея и отважный следователь со-

своим спасительным черным коробом. Он в толпе, его не замечают. Ему надоело и собственное филлярство, и бездарность, беспомощность господина пристава.

Пристав, тяжело опершись на перильца крыльца, склонился к судье. Судя по их лицам, они держали совет государственной важности. Судя по губам, пороли чушь для отвода глаз.

На минуту пристав повернулся спиной, перекрещенной ремнями, к черным шанкам. И тут Жансеит, растерявший в сутолоке своих сверстников, взыграл духом; руки у него чесались.

—— Огрею я его, сукина сына, плетью по заднице!

Выбернувшись из толпы, вскочил на ступеньки крыльца и уже замахнулся было своей нарядной черно-белой камчой... Старики стащили его назад.

—— Ой, сынок! Ты что? Подожди, милый. Придет время. Тогда и огрешь... Лежачего, милый, не бьют...

Но по глазам их Жансеит видел, что носей он, да вмажь сплеча по господекой, по жирной спине, никто бы не упрекнул его. И еще видел Жансеит, что достань он сейчас, приставу плетью, ничего бы от начальства не осталось — ни ремешка, ни пуговицы на память его толстухе.

—— Жаль, жаль... — смешило сокрушался Жансеит, чувствуя, однако, что свое дело он сделал.

На глазах у всех он поднял руку на недосягаемый поднебесный Чин... А уж то, что старики помиловали его, — на то они и старики.

Рухнул стеной идол — Сивый Загривок...

Вон он будто бы еще стоит влоборота, тарашится, крутит ус, словно думает свою важную думу. А ведь он уже пыль и прах... Этот человек — ничто перед народом, перед его словом, перед его сердцем.

И стали черные шанки покачивать головой, пощелкивать языками и посмеиваться велед за веселым рыжим Жансеитом, безотчетно радуясь своему великодушию и не догадываясь о своей безмерной наивности. Что было задумано, то было сделано. Они сказали свое слово, сказали, как хотели, вольно, буйно. Так же они скачут на коне, так пасут скот, так оберегают его от волка. А даль-ше — как бог даст. Теперь скажите вы, как уместе...

И стали черные шанки почесывать затылки да подтягивать кушаки, поплевывать да расходиться. Искали коноводов, разбирали коней. К предвечерней молитве — как вымело, почти никого не осталось на ярмарке.

Волна гнева, поднятая так легко и, казалось, готовая все сокрушить, так же легко отхлынула и растеклась.

Глава пятая

Горы. Жгучее солнце, холодные воды... На западе могучий хребет, скалистые его плечи круты, а на его груди — раздольные луга, белопенная речка; близ нее длинные ряды юрт — на зеленых буграх и у самого берега, врезанного в обнаженный камень.

Это летовка Донгелеказ, аул Серикбая. Повсюду кругом, за хребтами и ущельями, такие же луга, такие же аулы. С весны весь род албан был на этих

высотах. Но аул Серикбая выше всех.

Над лугами сосновые, дремучие боры, похожие на насупленные мохнатые брови. Но местами сосны, редкая, клиньями сбегают, с вершин к лугам, и тогда они емахируют на редкие бороды, точь-в-точь как у казахов. Руслы горных ручьев, сухие и влажные, рассекают кручи, напоминая чистые мягкие морщины. Вдоль них сползает зелень лугов; она чем выше, тем нежней, и горит, как румянец на смуглой каменной коже. Лицо гор мужественно и молодо.

За темной чертой хребтов и вершин ясно синюют леса и скалы дальних гор, а за дальними белеют под облаками уже седые головы, снежные шапки. Ниже, там, где стоят в обнимку две зеленые вершины, точно в синем тумане, брезжит богатырский бок Кулык-горы.

Краток вечер в горах. Но и его резкие быстрые тени не сразу гасят зеленый огонь лугов. Бледно розовеют кроны старых сосен за аулом. В густой хвое протяжно вздыхает студеной вечерней ветерок. Под соснами уже темным-темно. А в ярком небе все еще кувыркается и звенит жаворонок, мечется, стреляет над лугами неумная пустельга. Дружно поют за холмом мальчишки — юные чабаны.

Куда ни глянь — табуны да отары. Овцы забираются дальше всех, пасутся тесно, не разбредаясь, и их так много, что издали кажется — они клубятся, как облака. Коня разномастны и ходят вольней.

Но вечерам, когда пустеют пастбища, голос аула возносится до лесов и гор, заглушая летний гром реки.

Овцы возвращаются раньше всех; их уже подоили, они жмутся к аулу. Стелется низкое блестящее крупное овец, взлетает тонюсенький дискант козлят и ягнят. Послушать их — в ауле бедствие, повальное жалобное моление. Мычат коровы, завидев своих телят, ржут жеребцы, отменные табунные певцы. Иной залетит на самой высокой, яростно звонкой ноте и закончит могучими короткими хрипами, похожими на рыканье.

Женщины ласково заывают коров. Повелительно покрикивают мужчины. Слышны слабые, но властные голоса старцев, они советуют, одобряют, порицают. Брызжут веплески детских голосов, лепет, визг, смех и плач.

Ну и, конечно, лай собак. Он стихает позже всех других, а то и совсем не стихает. Интонации совсем человечески. Отчаянно нежно скулит обиженный щенок, еварливо брешет злая сука, нахально — молодой, достойно — старый кобель. Они отзываются на каждый шорох и шелест в стене, в юрте, в загоне, они встречают и провожают людей. Едва подаст голос один пес, поднимаются на ноги все. На пороге ночи, когда веныхивают очаги, разгорается оголтелый, оглушительный лай. Собаки рас-наляются от огня, и их не угомонить. Они кричат человеку, овце, коню: не бойся темноты, мы начеку.

Есть своя гармония в жизни аула. Но вся прелесть аульного бытия открывается по вечерам. Это час слаженной кипучей работы, завершающий медленные труды долгого летнего дня, когда в ауле безлюдье и скучная тишина. К вечеру и горы и луга оживляются, как бы стряхивая с себя знойную ленивую одурь. Небо дышит прохладой, а в руках все горит. Голосит и многоязычен вечерний аул. И людно, и тесно, и шумно в ауле, как на ярмарке...

* * *

Однако как далеко отсюда до ярмарки!

~~Странная жизнь пошла здесь с некоторых пор, тянулась уже вторую неделю, и не видно было ей конца. Молодые гуляли, хмельные от кумыса, не расседывали коней ни днем, ни ночью. Старики сокрушались, глядя на их праздность и безделье, но и они считали: надо быть наготове. Джигиты не спали... Джигиты гостили. Нынче они в гостях у народа.~~

~~Все ждали чего-то. И никто не знал, чего ждет. Утешались тем, что джигиты наготове...~~

~~Нечально смотрел Серикбай на красоту гор, на вечернее оживление лугов. Он благодарил и благословлял судьбу за отчий дом, за землю и небо, которые достались его роду, его племени. Не эта ли земля сделала албан одним из самых видных казахских родов? Но думал Серикбай: а не слишком ли богат этот дом? Не слишком ли он благополучен? И не находил ответа в своей душе.~~

~~Неужели конец привычному приволью, нелегкой, кочевой, но милой и родной аульной жизни, желанному миру?~~

~~Подходили к Серикбаю люди, ищущие, вопрошающие. Его любили, держались за него... А что он мог им ответить?~~

~~Вот один из них, Жаксылык. Малорослый, тощий старик. За верету видно, что горемыка. Единственный у него сын, единственный кормилец — Жуматай. Крепыш, девкам на загляденье! Ему первым быть в снecaх... Наверно, уже пролил старик со своей старухой соленую слезу, думая над участью сына, над своей участью. Сегодня его бедная юрта богата, а завтра может быть разорена дотла. И родной аул станет чужим, вся жизнь пуста и безотраднa. Все, что он пережил, стало быть, еще не горе, а вот это горе!~~

~~Жаксылык скромен, как его достаток. Приблизится неслышно, спросит невнятно, а то и смолчит. Спрашивали его зашедшие от горьких дум глаза. Что нового? Добрые ли вести? Но Серикбай молчал, ибо сказать «все по-прежнему» — значит молчать.~~

~~Старику отвечали джигиты... Они говорили за Серикбая, много говорили.~~

~~Ближе других к нему были Баймагамбет и Отеу, из бедняков; они ездили с ним повсюду, они все знали.~~

~~— Эти гостили внизу, — сказал Баймагамбет, кивая на молодых всадников, уже в сумерках въезжавших в аул с песней. — За нынешний день, пожалуй, баранков тридцать — сорок заколото.~~

~~— Какое там тридцать! — возразил Отеу со смешком. — Если взять аулы в Коктебе, наверняка все пятьдесят! Народ расщедрился на, славу...~~

~~— Хороша твоя щедрость и слава, — перебил его Баймагамбет, косясь на Серикбая. — Много ли разгуляешься, если будешь жрать собственный скот? — Отобрать бы у казаков... у ихних богатеев...~~

~~Жаксылык удрученно повесил голову. И словно выдавил из себя:~~

~~— Далась тебе казаки, сынок... Подумал бы лучше, как поберечь свою скотину. А всего бы лучше, если б ни ты, ни казак не трогали друг дружку.~~

~~— Ишь чего захотел! А ежели он не хочет? Вечно нам терпеть, отец?~~

~~— Я уж натерпелся досыта. А вот как ты, милый... я еще не видел. Тебя-то он пока не трогал. Что ж зря болтать... Неладно все это.~~

~~— А народу правится! Драться, так драться! — не шутя вскрикнул Баймагамбет.~~

— Зачем же тогда сели на коней, забросили хозяйство? — добавил Отеу. —
Оружие готовим...

— Больно много вы знаете, как я погляжу, — вздохнул Жаксылык. — Кому это правится? Кто будет драться? Где оно, оружие? Я что-то не знаю. Не вижу. Это как же у вас... как у моего Жуматая? Привяжет железо к палке и говорит — конь! Думаешь, солдат будет стоять да ждать, пока ты подекачешь да нырнешь его?

Нарни примолкли, смущенные. Все ждали — скажет Серикбай. Но он не обмолвился ни словом.

Баймагамбет подмигнул:

— А что, отец? Случись война — что-нибудь придумаем. Не пулей берут, а храбростью. Пугнем разок, глядишь, солдат побросает оружие, а мы и подберем...

— А что, отец? — повторил Отеу. — Не люблю, когда киснут прежде времени. Случись война — отгоним весь скот подальше, в какой-нибудь тайный глубокий овраг...

И было это так лихо-дурашливо, что все рассмеялись.

Случись война... Так говорили потому, что наслышаны были о киргизах... Не далее как сегодня в соседнем ауле кололи барашка, пили кумыс, там были скачки, была борьба, казахша — курес — вольная, с хитрыми подножками, ловкими бросками. И вот туда приехал один человек с ярмарки и привез слухи неслыханные, и все про них, про них...

— Смотри на киргизов! — сказал Баймагамбет, исподлобья косясь на Серикбая. — говорят, под Караколом уленетьывают тамошние сивые загривки, как зайцы. Чем мы хуже киргизов?

Отеу загорелся. Он верил всем слухам без разбора.

— Киргизы, если начнут, не отвалятся на полнуги. На нас надеются, на албан. Так говорят!

Старый Жаксылык с робкой надеждой повернулся к Серикбаю:

— Раз воюют, значит, вооружены? Есть оружие?

— Вряд ли... Но в них я верю. Это народ смелый, воинственный. Дай им бог...

Старик, обрадованный тем, что Серикбай наконец заговорил, не отворачивается, почти взмолился:

— А мы? А мы-то что? Вся Каркара поднялась... Говорят, Узак-батыр угнал самых лучших коней из табунов брата Тунгатара, отдал неимущим добровольцам... Наук этот Тунгатар... Правду ли говорят?

Но опять ему ответил Баймагамбет:

— А мы? Мы тоже... Во всем Донгелексазе кони пасутся на аркане. Только позови, кликни!

И Жаксылык опять опустил голову, что-то глухо, недовольно бормоча себе в бороду. Серикбай с силой похлестывал плетью по новому мягкому сапогу. Он думал о том, что спросил у него старик: угнал лучших коней... раздал неимущим... наук этот Тунгатар...

Старик сказал о самом главном. Отеу ответил ему в тон, сам того не понимая, емешливо крутя головой:

— У меня одна лошадка. На ней пашу и сено убираю. Вот оседлал! Авось хватит ее — прогнать пристава до Жаркента? А? А тот рыжий... Жансент... И всего-

то у него две лошади, а одну уступил Канание. Что же мне после этого жалеть? Ни жизни, ни добра не жалко!

Услышав имя Жансента, Баймагамбет прыгнул, сказал:

— Подарил, сукин сын! Мало того... Этого ему мало... Я, говорит, свое раздал. Теперь каждый пеший, у кого нет коня, пускай идет ко мне, будет конный! По крайности, угоно табун толмача Оспана, но ни один не пойдет пеший.

— Веселый он — братец Жансент, — неожиданно с недоброй улыбкой проговорил Серикбай. — Оспан то родственник Жансенту, как Тунгатар Узакбатыру... Грозит, значит, табуну толмача? И верьте — раздаст! А этот черный ворон, питающийся падалью, гнилое яйцо... Не то что помочь народу, напротив, только того и ищет, как бы насосаться по-научьи в царской паутине. Сам он не даст ни одного коня. А дал бы, не был бы Оспаном.

Жаксылык слушал Серикбая с откровенным облегчением.

— И на что он надеется? — спросил сдержанно. — Так и не ушел с ярмарки. Ну, не дай бог, перебьют всех албан, с кем он останется? Выучили ихней грамоте, и забыл все на свете, забыл дедов и прадедов... Глуп как чурбан.

— Глуп, да не очень, — сказал Серикбай. — Съедет с ярмарки, скажут, переметнулся. А что ему народ? Здравствовало бы начальство. Жебирбаев — ворюга, а этот предатель! Кто раз отведал похлебки господина пристава, тот уже отравлен. По мне, Оспан опасней урядника.

— То-то и оно, — сказал Баймагамбет. — Брал бы черт с ним. Был бы шкуркой... да ведь шельма! Продает.

— Советует, упреждает... — язвительно добавил Отеу. — Завтра послезавтра, говорит, будет народ тише воды, ниже травы, строго накажут...

— Кого же накажут? — спросил Жаксылык.

— Спроси, кого пощадят. Всех подряд...

— Не в тебя метит, отец, в Узака! — перебил Баймагамбет. — Чтобы ты его продал, как он продает.

— Да... Пора бы, пора Жансенту вырвать это жало, — проговорил Серикбай ехвозь зубы. — Надо змее знать, кого ей бояться!

Джигиты угрюмо переглянулись. Имя Жансента их уже не сместило.

Тут подошел Карашал, друг и правая рука Серикбая в хозяйственных делах; разговор принял новый оборот, и стало вдруг ясно, что на душе у Серикбая.

— Не знаю, как там и что, — сказал Карашал, — а пока суд да дело, аул Оспана и в ус не дует. Живет сам по себе, сам для себя, ничего его не касается. Единственные из всех албан, кто занят хозяйством, — это они. Приелал жену и детей в аул...

— Понятно, — сказал Серикбай. — Черная коза печется о спасении, а мяеник о ее мясе. Разбогател за пять лет... Богаче всех!

Карашал причмокнул: богаче, мол, не бедней.

— А кетати, — сказал он, — раз уж речь о хозяйстве... У нас тоже пшеница созрела, время жать. И с покосом надо спешить, а то опоздаем... Что за праздник у албан? Такой нынче урожай! Хлеб... Сено... Пронадает! Неужто дадим пронасть?

— Не ворчи, — сказал Серикбай раздраженно и словно бы виновато. — Жужжишь, как осенняя муха, не отобьешься от тебя. Что же, мы все шутки шутим? Поминки у нас, а не праздник... Еще то ли увидишь!

— Пока увижу, кормиться надо... — возразил Карашал. — Деда учили:

жить тебе до полудня — запасись едой на целый день.

Серикбая взорвало, и по тому, как он стал говорить, хлеща себя плетью по сапогу, видно было, каково это человеку — поворачивать на скаку не коня, а всю свою жизнь.

— Пропали он пропадом, мой дневной запас! Я не Оспан. Мне помирать в полдень. Не нужно мне богатеть.

— А нужно тебе беднеть? — быстро, с хитреньким прищуром спросил Каранал.

— Хочешь, чтобы я дрожал над богатством... Хочешь, чтобы трясея... Что за радость? — вскричал Серикбай.

— Рехнулся ты, хозяин! Смеешься надо мной?

— Я смеюсь? Плачу я. Начни я убирать хлеб — завтра же все разбредется. У каждого сыщется дело. Кто не нуждается в хлебе, в сене? Не так мы богаты. Совсем не богаты! (Жаксылык и Отеу закивали головой.) Уйдем в поле, забудем коня. Коня береги! Это наше единственное оружие.

— Не узнаю тебя, не понимаю, — пробормотал Каранал.

— Не обо мне думай, тогда поймешь! — сказал Серикбай. — Я говорю всем: будь наготове, хозяйство подождет. Делись всем, чем можешь, корми друг друга. И будь на коне по первому зову — в срок и к месту! Не расходись, не отлучайся никуда ни днем, ни ночью. Будет гостевать. Не сегодня, так завтра быть такому делу, каких мы еще не делали... Пока не пройдем через это испытание, жизнь не жизнь и добро не добро. Провались все, и скот и хлеб; если мы не выстоим.

— Помилуй бог, — сказал Каранал. — Разоришься — Оспан будет рад. Уж он-то не сидит сложа руки.

— Ты не тычь мне своим Оспаном! Имей совесть... Оглядишься — бедняки раздают последнее. Бедный из бедных Жанесит имел двух лошадок — одну отдал! А наш волостной Аубакир? Кабы захотел, был бы начальником почище твоего Оспана... А батыр Узак кого первого ударил? Тунгатара, наука! Я разорюсь, когда народ разорится...

Каранал утирал рукавом чанана лицо и грудь. Он был в холодном поту.

— Что ты надумал? Скажи, ради аллаха.

И Серикбай сказал:

— Придет черный день, будет нужда — пригони свой табун и раздам Донгелек сазу. Раздам — и не охну. Теперь понял?

К этому клонилось, все этого ждали... И все-таки не верилось! Ободрать богача, мироеда — это в степи бывало. А вот раздарить свой табун — такого еще не слышали.

Жаксылык стоял в сторонке, смиренно сложив руки, как приличествует бедняку.

«Ай, Серикбай, ай, Серикбай, — думал он, — Молод ты еще, молод... А будет ли доволен твой отец, давший тебе имя?»

* * *

Минуло две недели с того дня, когда род албан сел на коня и сказал приставу: «Не дадим джигитов», — но повсюду было «все по-прежнему»...

Аул Узака напоминал штаб; сюда стекались вести и слухи. Надежные, емышленные гонцы уносили их в аулы Жаменке, Турлыгожи и Серикбая, а оттуда и дальше, повсюду. Видные люди этих аулов спешно съезжались на совет; говорили и

говорили, а сказанное не держали в секрете...

Слухи и вести шли издалека — из Каракола, Жаркента, из города Верного, но прежде всего с ярмарки в Каркаре, где обитал пристав. И все глаза, все уши были нацелены на Каркару.

А власти таились. Они были неразговорчивы... Набрали в рот воды и толмачи, и прочие ученые казахи. От них ничего нельзя было добиться. И глупо, опасно было им довериться. Нужен был свой человек на ярмарке. Стали такого искать. И нашли.

Им оказался узбек Султанмурат, купец из Ташкента, обходительный и умнейший из торговых гостей. Он жил близко от канцелярии и не упускал из виду никого из тех, кто туда прибывал, будь то купец, чиновник или курьер. Сумел он войти и в окружение самого пристава; время было тревожное, рюмка водки под балычок и под граммофон успокаивала. Трудно было, однако, добраться до Султанмурата, не вызвав подозрений.

Ярмарка пустовала. Приезжали двое-трое, а то и пятеро-шестеро драных бедняков верхом на волах. Люди мелкие, и покупки мелочные. Но как бы ни была пустячна покупка, казах не торопится, обойдет всех купцов и все лавки, самые крупные и дорогие. А уж эти на волах, точно на смех, приценивались ко всему и торговались за каждый грош до хрипоты, до синевы. Впрочем, изнываю- щему без дела купцу они были не в тягость. К ним-то и подсылал Султанмурат приказника-наемщика, и под шумок тот сообщал им что нужно... Люди всякий раз приезжали новые.

Так были получены первые бесценные весточки — о восстании. Одновременно прибыл очень хороший человек — из Каракола. Вести совпали...

Немедля Узак снарядил двоих к Серикбаю. Они прискакали на Донгелексай уже ночью, под истошный лай собак, разбудивший весь аул.

Узнать всадника в темноте нелегко. Кони толкались, тяжело сопя, звеня уздечками, седла скрипели. Но одного рослого на длинном коне как не узнать! И седло и стремяна у него поскрипывали серебром. Это весельчак Кокбай, из джигитов-джигит. Другой, похоже, вестовой.

Кокбай едва вошел в юрту и сорвал с головы пропотевшую шапку, не успев отдышаться, забасил:

— Из Каракола! От Султанмурата... Одним словом, началось. Донял царь и нас, и киргизов, и уйгуров. Поднялись все, начиная от Лепсы и Талды-Кургана. Не признают указа! Никаких чертовых списков! Грозят уйти от царя... Были нападения на города. Были стычки с солдатами. Дальше. Под Пишнеком, Верным, Караколом восстание. Там настоящая война! Оказывается, все таки опередили нас киргизы и уйгуры. Напали на военный обоз с оружием, который шел из Пишнека в Каракол. Говорят, вооружились все до одного. Власти напуганы...

Отцу не выдержал, вскрикнул: Говорил я вам — киргизы! Они начали дело. Их разозли — ни за что не остановишь.

— Не только они... уйгуры!

— Вот это народ. Мне бы туда... Нам бы с ними... — сказал Баймагамбет. Серикбай спокойно почесал бородку.

— Послушай, насколько все это точно? Спрашивали у Султанмурата?

— Наверно, уж точно. Должно быть, точно, — сказал Отеу.

Кокбай перебил его:

— Прибыл еще от киргизов их человек, известить нас, албанов. Говорит, посланы вестники в Верный, в Пишпек. От вожаков!

— Кто же у них в вожаках?

— Сказано было, что Батырхан, Кыдыр, Саудамбек... Восстал весь народ. Ни один не ушел в кусты... Просят действовать сообща. Просят подтвердить делом — разнести ярмарку... Кстати, знают они наших — Узака, Жаменке... и тебя, Серикбай...

— Ой, спасибо, спасибо беркутам! — Отеу взмахнул руками.

А Баймагамбет заметался по юрте, то векакивая, то вновь садясь.

— Что ж тут раздумывать? К делу! Вот настоящие мужчины...

Но Серикбай был невозмутим.

— Что говорит Узак?

— Ждет вас... Думает он, что дошло все это до пристава. Если дошло, значит, так оно и есть. Снимется тогда Сивый Загрявок с места со своим конвоем. Но по хорошему этот волк не уйдет. Не может он по хорошему... Надо держать ухо востро. Завтра, не позже, все будет яено.

— А до завтра что будем делать? Ждать? — зло выговорил Серикбай.

Кокбай засмеялся.

— А вы, как Узак... бьете тем же словом! Посланы три человека к Саудамбеку. Хотим рука об руку с ними. Это одно. А второе — посланы наши гонцы в урочище Асы, к красношаночникам. Чует моя душа — оттуда будут вести. С часу на час!

Красношаночники были тоже рода албан, как и черные шанки, но не такие мирные.

— Говоришь, из урочища Асы? Все может быть. Похоже на то, — сказал Серикбай задумчиво.

И старики, бывшие при том разговоре, прослезились, благословляя:

— Ну... чтоб все хорошо было... О, дух святого предка...

Ободрился даже Каранал, который в отличие от Отеу, не верил никаким слухам. И только когда Серикбай встал со словами: «Баймагамбет, седлай...» — Каранал помрачнел:

— Уедешь? А кто же тут... с нашими? Без головы ноги не ходят.

На минуту Серикбай задумался.

— Аубакир останется дома. Он будет с людьми... — И с легкой душой уехал.

Пришлось Серикбаю вскоре горько пожалеть об этом.

В ту же ночь радостная весть, как ветер, облетела весь Ширганак, и не только Ширганак — все дуга и летовки на десятки верст окрест. Повеселело пастушье племя, ожил стеной люд.

Всю ночь непрестанно лаяли собаки, скакали из аула в аул гонцы. Не гасли очаги, пылали костры. Искры взлетали до неба, в котлах дымился бешбармак. Никто не хотел спать — ни старцы, ни дети. Взрывы смеха, протяжные песни мужчин и женщин, игры, стычки и забавы превратили эту ночь в праздничный день.

До утра ехал Серикбай и до утра видел во всех аулах веселую суету, общее радостное возбуждение. Его останавливали, сообщали ему весть Кокбая... Предлагали мясо, кумыс и игры с выкуном, но выкуп не деньгами, а песней или шуткой, и с наградными поцелуями аульной черноокой красавицы.

Давно рассвело, когда Серикбай въехал в большой аул. На пологам зеленом

~~косогоре стояли сплошь белые юрты. Близ юрт множество овец. Прилясывали, развевая гривы, великоленные боевые кони — на арканах или с путами на передних лодыжках. Людей не видно было, если не считать старых пастухов, которые бодрствуют и на вечерней и на утренней заре. Аул спал, но, видимо, тоже после шумной бессонной ночи.~~

~~Будить никого не хотелось. Серикбай разнуздal коня, прилег на лужайке у центральной юрты вздремнуть после утомительной дороги... И проснулся лишь к обеду.~~

~~Над ним стоял Турлыгожа, а чуть поодаль незнакомый человек в шанке изрыжей смушки.~~

~~Серикбай векочил смущенный: проснал? Турлыгожа взглядом ответил: еще нет!~~

~~—— Поздравляю, — сказал он. — Гони суюнши. — И ловко сорвал с головы Серикбая тибетейку.~~

~~—— Ээ, что такое? — пробормотал Серикбай. — Что случилось?~~

~~—— Случилось! — проговорил Турлыгожа своим зычным голосом. —— Восстала Асы! Красношаночники... Вот их человек. Перебили солдат во главе с начальником, порвали списки, прогнали всех...~~

~~—— Не врёт он? — растерянно спросил Серикбай.~~

~~Незнакомец молча покачал головой.~~

~~Втроем вошли в юрту. Она была полна народу. Сидели старые и молодые. Все громко переговаривались. Перед каждым — пиала с кумысом.~~

~~На почетном месте Серикбай увидел Узака и Жаменке. Здороваясь, от самых дверей закричал:~~

~~—— Правда ли?~~

~~Веселые морщины собрались у глаз Жаменке.~~

~~—— Правда, правда. Обогнали тебя, милый, красные шанки... Они уже выступили. А мы все ждем. Поемеются над нами, и поделом. Наш черед ударить по власти, пока она не очухалась от страха! Садись, поешь, да потолкуем...~~

~~И никто из тех, кто был в юрте и выходил из нее, не заметил поблизости от аула, от зловещего Меченого Камня, на котором лежало клеймо проклятья, одного странного человека:~~

~~Его хорошо знали все, кто был в юрте. Они его туда не позвали. Но он и не нуждался в этом. Нужда у него была совсем иного свойства.~~

~~Он почевал в небольшом тихом ауле, тихом даже в ту радостную ночь. Аул был укрыт в кабаньем бору... Ехал человек воевоеи, может, на ярмарку, а может, и с ярмарки... И вдруг у белых юрт, чистых, как первый снег, увидел он оседланных коней, забрызганных грязью по самые седла, покрытых потеками пота и пены. Кони тянулись к траве, грызли удила. Видно, что не кормлены, не поены и пробыли в пути не час и не два, всю ночь.~~

~~Глаз у человека был наметанный. Среди многих коней он легко отличил знатного рыжего иноходца под богатым седлом. Это конь Серикбая. Но еще приметней были два жеребца с волнистыми, вьющимися гривами. Это кони красношаночников!~~

~~Человек осторожно поодаль объехал аул. При нем был только один джигит. Под косогором бродил дряхлый старик, шинал скрюченными пальцами какие-то~~

травки и нюхал их. К нему и подъехал с опаской джигит. Старик обрадовался собеседнику, заговорил в захлеб:

— А сам ты... не видишь? Приезжие... Издалека... Только к утру поехали. Хотят решить, что теперь делать с приставом... Серикбай, Турлыгожа, Жаменке... К тому же было кровопролитие. Там... как его... в этом... в урочище Асы! Есть один молодой оттуда, с перевала. Вон те два жеребца его... Они самые.

Старик был туг на ухо, кричал, и человек слышал каждое слово, но был так любознателен, что подъехал ближе и сам расспросил о том, о сем.

А потом человек потихоньку отъехал, отозвав джигита. Ехал и ехал трусцой. Но как только аул скрылся из виду, он пустил коня во весь опор и гнал его, не жалея плети.

Глава шестая

Щедра земля в урочище Асы, высоко в горах Алатау. Здесь от века жили красивые шанки, крупная кренкая ветвь рода албан. А с ними бок о бок селились ближние племена — жаные и канглы, оторванные от дедовских корней, потесненные с родных мест, из-под города Верного. Пришли они сюда голые, босые, как путники, ограбленные на большой дороге. Асы приютила и их.

Это продолговатая, глубокая, как колыбель, зеленая долина. На западе высится вышуклая гора, покрытая сбоку густыми кудрями хвои. Ни дать ни взять — красавица с толстой черной косой на правом плече. Стоит она в полный рост над колыбелью, прикрывая ее спиной от ветров. На востоке толнятся небольшие округлые вершины, точно подушки, в изголовье.

Здесь много воды и до поздней осени чисто и зелено. Воды стекают с горных высот в реку Кокозек, и она все лето полноводна, дышит величаво.

Зеленая долина полна кипучего движения — это первое, что бросается в глаза и радует глаз. Куда ни глянь, стада и табуны на привольных травах. Травы не выжжены, не вытоптаны и не объедены даже к концу лета. В буйной зелени белеют юрты, точно гусиные яйца в камышах.

Пришел август; ночи похолодали, участились дожди. Но утрам весь мир застилал туман, потом он поднимался и источал теплую, нежную изморось. К полудню солнце разрывало белесую пелену, и распахивалось небо, словно умытое, а долина хорошела, как в сказке.

Космы тумана еще лежали на окрестных горах, цепляясь за пышную хвою. На снежных зубцах Алатау синели и чернели тучи. Там повисали гладкие косые полосы ливня и в них посверкивали молнии. Но над лугами облачка уже белы, ленивы и ласковы.

У края долины, между зеленью лугов и синевой неба, возвышается стена мрака. Это леса, сосны. Кажется, что там затаился кто-то в шубе, вывернутой наизнанку. Голова у него в чалме тумана. Он хмурится и тоскует по ясным весенним дням. И все же любуется тишиной и свежестью августовского полудня.

Облака улыбают за горы медленно, словно прощаясь и обнадеживая. По лугам скользят легкие дымчатые тени. Они будто играют в свет и мрак. Так бывает на душе, когда светлое, радостное, блаженное вдруг заволакивается пеленой необъяснимой грусти. Так бывает в горах, на летовках, в то яркое и краткое время,

когда осень еще завтра, а лето уже вчера.

К югу вдоль реки тянулась обрамленная вековыми соснами просторная ложина. Здесь, на самой лучшей из земель красношаночников, осел аул, может быть, самый богатый во всем роде албан. Это было родное гнездо предков Даркембая, отца Даулетбака, а Даулетбак был самым влиятельным лицом во всем громадном Верненском уезде величиной с иную европейскую державу.

Жители этого аула вели свою родословную от одного общего предка. Из поколения в поколение множилась число потомков и сородичей, множилась и их богатство. Ныне большая аульная семья насчитывала уже человек триста, и праmaterь этих трехсот человек, старая байбине, была еще жива.

Многотысячными, а значит, уже несчетными табунами, стадами и отарами владел сын Даркембая Даулетбак. Их пасли десятки его слуг-пастухов. Богатство и могущественная родня принесли Даулетбаку неслыханную власть и славу почти святого. Звали его не иначе как Почтенным и Благим. И было время, совсем недавно, когда он мог повелевать и карать, как ему вздумается. Мог лишить имущества, мог лишить и жизни. И лишал, обогащая себя и свою родню, как это делали его предки до прихода русских и еще немало лет после их прихода.

Господин Клубницкий, помощник уездного начальника, прибыл в урочище Асы из города Верного с порядочной свитой. При нем был младший чиновник, толмач, два бойких писаря и воинский народ в составе девяти нижних чинов при десятом унтере. Но одному этому можно судить о том, как было взвешено начальство и какие надежды оно возлагало на господина Клубницкого.

Красношаночники-истари жили на виду и могли бы явить образец поведения для всех инородцев. Между тем в урочище Асы словно уснули. Красношаночники упорно и загадочно молчали. Это лишило покоя начальство. Вероятно, полагало оно, народ нануган и смущен. И, слава богу, разрознен и не знает общего языка... Народ дик и глуп. Но могут найтись смутьяны и поджигатели. А посему надобно направить в аулы распорядительных и строгих чиновников с нарядами солдат. Помочь господам волостным составить списки по всей форме. И препроводить джигитов на реквизицию под конвоем. Не упустить кризисного часа. Тогда народ сам сунет голову в хомут. Увидят, что первые джигиты взяты и земля не разверзлась. Увидят порядок и потянутся по ранжиру. Нужен пример, как козел для овец. Пусть им будут красношаночники.

Клубницкий избрал местом своей резиденции аул Даулетбака. Ехал он сюда на рессорной коляске, но чувствовал себя как на гвоздях. Он уже знал, что было на ярмарке в Жаркентском уезде. Знал — между киргизами брожение. Что греха таить — все уроженцы Алатау ветали и ощетинились, как леса на горах. И там и сям пахло гарью... Списки — большое место... И понятно, что Клубницкий был готов к неожиданностям. Но то, что он встретил, ни на что было не похоже.

Народ угрюм. Смотрит косо. Зол, как ценной пес. Ни малейшего признака радушия. Юрту для начальства — и ту едва сыскали. Никто не пожелал ее ставить. Ни один, как бывало, не кинулся сломя голову, причитая от усердия. Кто-то из волостных все же дал юрту, но не узнать кто... Немалых хлопот стоило также найти барашка на бешбармак гостям. Кумыса как не бывало. Не подали, сукины дети, даже освежиться с дороги. Таким гостям! Из самого Верного, где живет сорок тысяч верных слуг белого царя.

Вообще управители, старшины и прочая местная власть ходят, как сонные. Одни чешутся, другие зевают тебе в лицо с собачьим завыванием. Так и поровят перепоручить твой приказ один другому.

С ними Клубницкий обошелся круто, взял их за бока... Он нередко наезжал к казахам с ревизией да инспекцией и был известен своей суровостью. Не столько нечист, сколько тяжел на руку... Он и на этот раз потешился властью. Орал на волостных и биев, не давал им рта раскрыть. Ругал на чем свет стоит при младших и при слугах. Топал ногами, закатывая глаза. Гнал вой из юрты, не считаясь с именем и званием. Двух старшин велел арестовать, а еще одному другому самолично вленил по оплеухе.

Но от его глаз не ускользнуло то, что местные господа уходили после разноса предовольные... Уходили спать!

Клубницкий сбавил тон и незамедлительно распорядился потихоньку собрать всех чиновников, которые были поблизости в аулах по делам службы. Ницов, судебных исполнителей, стражников — всех!

Они тотчас явились, не глядя на внезапный ливень и распутицу. Собралось в общем человек двадцать, все были вооружены.

Тогда подошел к Клубницкому один из волостных, человек рыхлый, кривоногий, обычно молчаливый и несмелый в разговоре, с такими словами:

—— Каспадын нашалнык... народ сансем плоха...

И дал понять, что одни волостные вряд ли справятся; Не совладать... Но есть у них аксакалы — Даулетбак... Жылкыбай... Казах не живет и не умирает без аксакала. Без аксакала казах плохой...

И Клубницкий внял совету.

—— Зови! Пусть придут.

Так оказался в его юрте Даулетбак, Почтенный и Благой. Приехал и Жылкыбай. А с ними еще несколько стариков.

Они пробыли у Клубницкого долго, целый день. На их глазах продолжались вразумления, внушения и рукоприкладство. Слышали старики отдельные робкие голоса, которые пытались было склонить Клубницкого повременить, пока подадут прошение... пока его рассмотрят... Он пропускал все это мимо ушей. Помимо бранных слов, он употреблял лишь одно слово: списки, списки!

Ничего путного от волостных старики не ожидали; И Клубницкий их не нунугал. Их пугало и угнетало другое. Даулетбак молчал!

Старики перешептывались со стыдом: Что же, так и порем, не вымолвив ни слова?

—— Почему же нам не сказать? Надо что-нибудь нам сказать.

—— Дауке... уважаемый... Ты ли не знаешь народ, его чаяния, его упования... Как мы посмотрим людям в глаза? Так и отдашь покорно этому бесноватому списки?

—— Связал ты нас арканной петлей, конекими путами, Дауке...

Но Даулетбак сидел, как идол. И было его молчание громче грома.

Жылкыбай ворчал сварливо:

—— А кто тебя станет слушать? Не видишь, что ли, как он жмет?

Жылкыбай был очень стар, очень утомлен и недоволен. Спину разламывало от боли.

«Пусть бы брали уж поскорей... хотя бы и эти списки... — думалось ему сквозь

звон в ушах. — Не проситесь же нам, старым людям, в тюрьму из-за каких-то там бумаг. Одно дело — бумаги, другое дело — люди... Дойдет до джигитов, посмотрим, как оно будет! Возьмем и не дадим. Попробуй их удержи...»

Так думал Жылкыбай, но и думая так, он не открывал рта.

На ту беду, отыскался след каких-то поименных списков, подходящих к случаю. Кто знает, что в них было намаракано. Но Клубницкий, вскричав: «Превосходно! Всех прощу! Всех награжу!» — послал за ними толмача с двумя конвойными.

Старики заронтали:

— Что же это происходит? Такое оскорбление, такое поношение...

— Зачем мы тут торчим, подобно трухлявым пням, изъеденным муравьями?

— Что за собачья жизнь, рабская доля?

— Ба! Господа аксакалы... — сказал Клубницкий, присмотревшись к Даулетбаку. — Вы мои гости. Мое вам почтение. Я у вас в долгу не останусь...

Он давно понял игру Даулетбака — раньше, чем одородцы бая. Даулетбак знал, что делал, ибо его молчание было делом. Тонкое это, высокое дело — молчать к месту да ко времени, если ты пророк.

Какое величие на его челе! Какая горькая мука в глазах! Разве он сказал «да» начальству? Разве он сказал «нет» народу? А между тем он служил царю верой и правдой. Клубницкий понял: пока здесь при нем этот человек, там, на летовке, будет мир, покой и терпенье.

Две недели тому назад была у Даулетбака смутная минута, когда и он вроде бы обмолвился: не дадим джигитов. А потом приехал из города старший сын, новый человек среди сыновей их рода, постигший таинство русской грамоты и русских денег. Он богател на торговле с быстротой, завидной для степняка. Сын привез из города приветное словцо, из которого следовало — отцу молчать, дабы слышнее было царя.

И Даулетбак, сын Даркембая, молчал, а на летовке в аулах не знали, почему он молчит, ждали смиренно, ждали с надеждой.

Шепот в юрте Клубницкого, однако, не утихал, и теперь склонялись друг к другу не только старики.

— Лучше на край света, чем так жить.

— Уйдем, пусть правитель делает, что хочет.

— Да, пусть делает, что ему вздумается, но без нас.

— Не убьет! Не остановит...

Тем временем подкакал и вбежал в юрту толмач с бумагами в руках. Конвойные, которых ему придал Клубницкий, остановились в дверях с шашками наголо. Прибыли списки!

И тут случилось то, чего все-таки не ждал Даулетбак, никак не ждал и Клубницкий, а может, и сами красношаночники. Вскочили все, кроме Даулетбака; крихтя встал и Жылкыбай... И с криком: «Пошли! Пошли!» — повалили вон на волю.

Тщетно выходило из себя начальство. Тщетно солдаты преграждали дорогу ружьями, замахивались прикладами. Люди шли прочь от юрты, прочь из аула Даулетбака к соседнему ближайшему аулу.

— Мы не волостные и не старшины. Вон они. Их держите... А мы пошли! Мы пошли! — и, говоря так, уходили.

Когда же они вышли к отлогому лесистому холму неподалеку, им навстречу из-за холма и из леса выступили люди из соседнего аула и еще из многих аулов. Это были женщины, старцы и дети. Они собрались давно и ждали весь день под дождем, моросившим из рваной кошмы тумана, которая висела над долиной. Они держались порознь и семьями, а сейчас сошлись вместе. Было их не менее ста. Лица печальны и унылы, иные строги, иные злы. У женщин и детей заплаканы глаза. Увидев их, мужчины, шедшие из аула Даулетбака, стали выкрикивать:

— Забрали... Прощайтесь, люди... Лишились, лишились джигитов люди...

Услышав это, женщины заголосили, занели жоктау, плач по умершему, содрогающий душу:

— Опора моя, единственный мой, опора моя!

Обе толпы, большая и маленькая, слились и смешались. Занумели, загалдели все. Женщины, старики цеплялись друг за друга со стонами и громким рыданием. Толпа толкалась и ворочалась, вздымая к небу множество скорбящих и грозящих рук, и вдруг с ревом повалила к аулу Даулетбака, к юрте Клубницкого, у которой нестройно стояли солдаты с ружьями наперевес.

* * *

Еще утром, когда Клубницкий собирал чиновников из окрестных аулов, вся округа исполнилась. Сходились старики, сбегались женщины, дети к коновязям, на приаульные лужайки, гомоня на все голоса. Мужчин, однако, не видно было.

— Этот главный из Верного... дерется, как шайтан... рвет списки с мясом...

— Наехала тьма солдат. Штыки, сабли голые...

— Говорят, зажали рты Даулетбаку и Жылкыбаю. Может ли так быть?

— Это конец. Пронали джигиты!

— А где они, наши-то? Куда подевались? Обабились они, что ли?

Люди металась из стороны в сторону, кружились, как дети, играющие в жмурки, с повязкой на глазах, то приближаясь, то удаляясь от белой юрты Клубницкого. Она одиноко стояла на каменном берегу реки, на крутой излучине, огибавшей подножье горы, заросшей соснами. Она манила и отталкивала, как злой дух ночью в глухом бору.

— Чего зря стоять? Идти надо...

— Узнать, что да как, спросить. Разве нельзя спросить?

— Пусть начальство посмотрит, как мы плачем. Хорошо ли, когда народ обливается слезами?

— Где волостные, где старшины? Будь они неладны...

— Прячут свои побитые морды!

— Почему аксакалы с этим неверным?.. Что им там делать?

— Ох, что-то они засиделись... Это не к добру.

— Отправить бы его не солоно хлебавши, без списков! Встретили без кумыса, проводить бы в шею...

— А джигиты, где джигиты? Почему не садятся на коней? Кто же, если не они, покажет, что и мы живые люди!

Джигиты как сквозь землю провалились, и женщины, матери, невесты, были в страхе, а старики в гнев. Что еще за стыд и срам на нашу голову? Не схоронив, не

онлакав, вдруг осиротели.

~~Подошел старый настух. Послушал, посмеиваясь в бороду. И поднял над головой свою кляку.~~

~~— Что кричите, что шумите? Разорались со страху. Будут вам джигиты! Вон из того леса.~~

~~— Ой, правда? Ой!~~

~~— Как же они там оказались? Как это мы не углядели?~~

~~— То-то что не углядели. Видел я на опушке вроде бы табун коней... и хоть бы один при нем табунщик... будто бы ни одного! Значит, это они. Значит, правда.~~

~~— О господи, помоги им, не оставь их...~~

~~— О святой пращур, укрепи нас всех...~~

~~Старухи и девушки расплакались. Старики повеселели. Стали кричать, гладить бороды.~~

~~— Кто же их собрал? Много ли их?~~

~~— И не сговаривались... и не рядились... А вот видишь, поехали!~~

~~— Что ж тут сговариваться? В такое время надо сквозь землю чувствовать друга друга.~~

~~— В такое время, — со смешком сказал старый настух, — мигом скиенешь, как молоко. Стало быть, не скиели. Собрались человек двести — триста. Есть и е ружьями...~~

~~— Да, да, кое у кого должны быть...~~

~~— То-то что должны. Конья да дубины... Но чутье у них волчье. Как сказал один: «за мной», — отовсюду отозвались. И по сей час к нему едут и едут. Наш мальш Матай — и тот помчался на своей трехлетке.~~

~~— Кто, же такой сказал: «за мной»?~~

~~— Стало быть, сказал... Стало быть, есть такой...~~

~~И старик шепотом назвал имя: Ибрай!~~

~~— Ну, молодец! А как же иначе? Должен сыскаться хабрец, когда так достается народу...~~

~~— Хитрая голова. Знает толк в своем деле... Он и китайцев, и калмыков, и киргизов, и нашего брата, казаха, попробовал на зубок.~~

~~— Дай ему дубинку потяжелые — устоит против пятерых.~~

~~— Пособи ему, аллах, пособи.~~

~~Ибрая знали все от родного аула до синьзянских караванных троп. Это был рослый, плотный, плечистый джигит лет под тридцать. Усы жесткие, как конский волос, колючая бородка. В гостях он казался толст и неповоротлив, а на коне был, как вихрь. Одни почитали его как батыра, другие хулили как конокрада. Он был и тем и другим. Собрал десятерых крепких, рискованных джигитов под стать себе, вооружил их дубинами, секирами и ходил с ними в набеги на богатые китайские, киргизские и казахские табуны, утонял коней и одаривал ими бедняков, голоду. Имелся у Ибрая на черный день и берданки и наганы. Это был отчаянный, некусный и добрый конокрад. Люди знали, что глаз у этого вора зоркий, а крыло могучее, как у беркута, но сердце человеческое.~~

~~И вот его день настунил. Ибрай со своими джигитами встречал в лесу молодых, как русские говорят, новобранцев, собранных тайно и так хитроумно, что даже бабы, старики и детишки этого не заметили.~~

Конечно, новенькие все горели и все трусили.

— А ну-ка, на коней да за мной, — сказал им Ибрай. — Сегодня на карту ставится самая малость — и жизнь и добро... Ну, да сколько ни войуй, хоть сорок лет, и помирать тому, чей пробил последний час. Остальные пока поживут. Так что не бойся! А ну, трогай, чего стоишь! Не зевай...

От слов Ибрая джигиты захмелели и как будто бы ободрились, окрепли. Сырые души, необожженные, но других у Ибрая не было.

Он повел их своими скрытыми нелегкими дорогами, по оврагам и ущельям, понутно собирая новых к новым из дальних аулов, и походя испытывая джигитов на конях и коней под джигитами. Водил, томил, чтобы поостыли да попривыкли друг к другу, а потом внезапно вывел лесом прямо на юрту Клубницкого так, что джигиты оставались невидимыми, а юрта была как на ладони.

— Ладно, — сказал Ибрай. И велел замереть.

А сам со старыми товарищами поехал под сонами вдоль реки.

Позади юрты Клубницкого возвышались две скалы, похожие на богатырские ворота. Здесь Ибрай спешился, спрятал за скалами коня и стал смотреть на солдат у юрты. Он был бледен от злости, усы стояли торчком. Злился потому, что дорожил товарищами и привык беречь оружие, самое драгоценное, что имел, а нынче предстоял большой расход, а джигиты из аулов плохо знали и совсем не знали друг друга, стрелять не умели и храбрились и рисовались по молодости и по глупости. Как их соберешь в кулак? Их было слишком много...

И все же он сделал что мог и выжидал, как ловчий беркут, желанной минуты, когда наконец хозяин снимет с его глаз шапочку томагу, он взмоет в небо и ему откроется в камнях и травах красный огненный хвост лисы. Горячая жадная кровь билась в его жилах; она искала жизни и борьбы и вот уже несколько лет не могла оступиться. Ибрай скринел зубами, сдерживая самого себя.

Поблизости укрылись его товарищи, названные братья. Он и за них в ответе. Они — единственная, настоящая сила. Они — его семья...

Ибрай видел, как из юрты Клубницкого выбежали, отгалкивая солдат, старики, розовые и пунцовые от ярости. Слышал, как за холмом вдали начался траурный плач — жоктау... И не шевельнулся.

Но когда он увидел, как безоружные плачущие люди пошли, обезумев от горя, с холма к белой юрте, прямиком на солдат, и впереди дети и матери, — закричал, не таясь и не оберегаясь, побежал за скалы и прыгнул на коня.

Не задумываясь и не колеблясь, он выскочил из скалистых ворот. И словно рухнул по крутизне с утеса, не оберегая любимого коня, душой и телом положившись на его железные ноги, звериную ловкость и верность. И конь снес его под обрыв и, легко, радостно угадывая, чего он хочет, помчал навстречу, наперерез бегущим детям и женам, без понуканий, без узды и без плети, быстрее волка, быстрее ветра.

Ибрай не оглядывался, и ему не нужно было слышать за своей спиной топота и знакомого свиста, чтобы знать: все десятеро бросились за ним, десятеро барымтачей, конокрадов. У всех на сердце было одно — успеть прикрыть своими телами, своими конями, своим разбойным, устрашающим видом тех безумных, беззащитных...

Из лесного секрета выше по реке показались молодые джигиты, рассыпались в беспорядке и закружились на растерянных конях, задерганных жестокими и

дурными с перепугу руками. От юрты Клубницкого их отделяли спины бегущих. Кони не шли на эти спины. Но и того было довольно, что они объявились — джигиты...

Распаленный скачкой Ибрай ясно видел, как сова видит в темноте мышь, что было у юрты. И с облегчением перевел дух, стал успокаивать коня... У юрты творилось что-то невообразимое, несуразное.

Не иначе как Клубницкий принял толпу, шедшую из-за холма, за полчище врагов. И смертельно испугался. Унтер, глядя на Клубницкого, непрерывно орал: «В ружье!» Солдаты оборачивались на его крики, лязгали затворами, совали по патрону в рот, показывая, что готовы, но унтер ошалело кричал все одно и то же, не в силах понять, почему солдаты его не слушаются... Другие дергали Клубницкого за рукава, тыча пальцами то в сторону утеса, то в сторону онушки:

—— Вон они, вон они...

—— Сюда смотрите, сюда...

Несколько солдат, так и не дождавшись команды, пальнули, почти не целясь, но тем, что скакали за Ибраем. Следом еще двое-трое открыли стрельбу по джигитам на онушке уже точнее и прицельней.

Ни у кого из молодых джигитов не было ружей. От выстрелов и свиста пуль кони разом одичали — шарахались, брыкались, лезли на дыбы, несли куда понало. Тщетно всадники сыпали им плетей. А один, раненый, вылетел из седла, упал на спину. Конь его ускакал с жалобным ржаньем.

—— Стреляй! — закричал Ибрай пронзительно.

И на скаку, чуть привстав в стременах, выстрелил из берданки. Солдат у белой юрты упал.

Белая юрта ответила ружейными залпами. А на них ответили из обрезов и револьверов барымтачи...

Горы, леса отозвались гулким протяжным эхом. В сыром воздухе, подобно ключьям тумана, повисли сизые пороховые дымки.

Никогда прежде здесь не слышали такой стрельбы, такого эха. Но люди, шедшие от холма, не остановились. Шли и шли, крича и плача, как одержимые навстречу свисту пуль и сизым дымкам, и впереди — женщины с заломленными руками и мальчишки, немые, дрожащие, самые бесстрашные. Они не видели, как упал джигит, упал солдат, и не сознавали, что эта пальба несет смерть. А эхо их словно поддегивало.

И солдаты, стоявшие теперь стройной редкой цепью, стали опускаться — винтовки, стали пятиться, оглядываться.

Клубницкий наконец пришел в себя и обрел дар речи:

—— Безумие... дурачье... Отставить! Прекратить огонь! Отступаем все... живо! Вниз по реке...

—— Отступать, отступать! — закричали другие. — Не расходись, держись ближе...

—— Нас же перебьют... Пошлите людей, кончите миром! — кричали третьи.

Но никто уже никого не слушал и не слышал.

Побежали пешие, бросив коней и коляску, бросив свои вещи, каждый сам по себе, без оглядки. Лишь солдаты держались строем, цепочкой, прикрывая господина Клубницкого.

~~У белой юрты остался один Даулетбак со своими приспешниками. Потом увидели и Жылкыбай, сидевшего в изнеможении тут же на травке.~~

~~Все имущество начальства, портфель Клубницкого с серебряной монограммой, а главное — списки были в руках красношаночников.~~

~~* * *~~

~~Началось буйство. Молодые джигиты, как только поутихли выстрелы и стали слушаться кони, обогнали плачущих женщин, а они плакали уже от радости, и економ налетели на белую юрту. Стали дубасить по ней дубинками, рубить секирами, топорами, пороть ножами. С гиком и свистом подкакивали все новые и новые джигиты. Места им не хватало, и они принялись за соседние юрты. Иные секли стенки и оголившиеся остовы плетью. Мальчишки лезли наверх, плясали на провисающих сводах, раскачивались на обломках и обрывках.~~

~~Русские чины да подчинки убежали, но в юртах застряли волостные и старшины. Пока шла стрельба, они прятались за сундуками и под коньмами. Все они были даулетбаковцы, и юрты были даулетбаковские, аула избранных и богатеев. Вытряхнули их джигиты, как крые из мешков с брызгой. Они выползали наружу на карачках, прикрывая голову ладонями. Смех и гогот валились на их голову.~~

~~Затем джигиты, женщины, старики, дети ворвались в юрты и стали крушить все, что видели, что попадалось под руку. Рвали одежду, ковры, одеяла, подушки, но прежде всего бумаги, все бумажное. Были в юрте Клубницкого книги для дорожного чтения с чудными цветными картинками. Их вырывали из рук друг друга и разодрали в клочья. Большую конторекую книгу с линованными красным и синим страницами, в толстом переплете разнесли в дым — у каждого в руках был ее обрывок, нитка от корешка, шматок переплета. "Женщины набросились на форменное пальто Клубницкого с кантами и бронзовыми пуговицами и вмиг обратили его в лоскутья. Мальчишки расшибали пуговицы камнями в лешенки, точно тарантулов. От того, что называлось списками, не осталось и следа. Вихрем кружились перья и пух из подушек и бумажный пух. Столбы пыли. Мусор. Прах.~~

~~Жылкыбай тем временем уже вздремнул с устатку. Но Даулетбак неусынно следил глазами своих холопов за тем, что происходит с Клубницким.~~

~~Вначале погнались за ним молодцы Ибрая:~~

~~— Давай, давай! Окружай! Окружай!~~

~~Ибрай удержал их:~~

~~Стой, не лезь на рожон! Куда скачете! Пули глотать?~~

~~Кинулись было в погоню и молодые джигиты, поскольку места у юрт и в юртах было мало, а джигитов много и стрельбы не было.~~

~~Ибрай остудил и тех и других, собрал в кучу около себя. И замялся, заговорил, словно оправдываясь:~~

~~— Бегут они, пусть бегут... Нет у них коней. Далек ли уйдут? А у вас нет оружия. А надо, чтоб было... Вон те жирные отстанут от солдат — их схватим. Переловим. Ну, а солдат... их вот как... Отрезать бы от города, загнать бы в горы. Возьмем оружие без кровопролития.~~

~~Мялся Ибрай оттого, что хорошо видел, как солдаты без команды начали стрелять, когда выскочили он и его люди, и как солдаты без команды кончили стрелять, когда подошли женщины с плачем жоктау. Вот что стояло у него перед глазами...~~

Клубницкий и его люди шли не останавливаясь, скорым шагом вниз по реке и прошли с версту. Ибрай с джигитами тянулся следом словно бы нехотя. Солдаты теперь только грозились винтовками в его сторону, но не стреляли. Лишь изредка, чтоб не подумали, что нет у них патронов, они пуляли разок другой в белый свет. Ибрай поступал так же, чтобы и те не подумали, что он отступил. Сколько раз стреляли солдаты, столько раз и он разряжал свою берданку.

Он был всегда первым на охоте и архара и дрофу добывал одним выстрелом. А сейчас мазал, но так, чтобы пуля провела у самого уха то справа, то слева... И видел, как беглецы кланялись пулям. Казалось, он подгонял их стрельбой, чтобы резвей шагали.

—— Так и гони, так и гони, — говорил он. — Но в людей не стрелять! Так целься, чтобы пуля шла под пятки, под пятки последнему... — И азартно кричал.

И вдруг он увидел, как двое усадых, но безбородых казаков, видимо, помоложе да полегче на ногу, бросили остальных и пустились бежать во весь дух в сторону. Куда они? Они бежали на луга; там пешему не уйти и не укрыться от конника нигде до самой стенки гор. Ибрай взглянул вверх их голов и вскрикнул. Он догадался, кто его опередил и провел, как воробья на мякине. Навстречу двум казакам шел рысью табун отборных скаковых коней, табун бая Даулетбака.

Не просто поймать и обуздать скакового жеребца, но на передних, самых лучших в табуне, случайно оказались недоуздки... И казаки живо справились с делом. Они сидели уже верхом на двух гнедых с белыми звездами на лбу. Остальных табунщики галопом погнали назад.

Ибрай слышал, как Клубницкий истошно кричал скачущим мимо казакам:

—— В Верный без передыху! Война! Иностранцы стреляют! Давай сюда эскадрой! Эскадро он!

Не мешкая более ни минуты, почти не глядя, Ибрай отобрал человек двадцать — тридцать. Теперь и он кричал во все горло:

—— Не упускайте! Не дайте им уйти!

Джигиты, распалая друг друга криками, поскакали за казаками. Казаки скрылись за излучиной реки. Скрылись и джигиты.

До позднего вечера, дотемна гнал Ибрай Клубницкого и тех, кто при нем оставался, до низовья реки, до устья лоцины. К тому времени при Клубницком уцелели только солдаты, восемь человек, и один унтер.

Все люди Ибрая были целы. Клубницкий, впервые на своем веку увидевший, как могут быть злы настухи, до того перетрусил, что не велел в них стрелять. Боялся он мести, лютой смерти. Солдаты, когда приходилось уж очень туго, подстреливали лошадей под всадниками, а Клубницкого заслоняли своими телами, выставив во все стороны штыки. Так и не смог Ибрай достать пулей господина Клубницкого, хотя тот нули стоял.

Когда стемнело, Ибрай увел джигитов назад.

«Ну и ну... — думал он. — Его счастье, что солдаты у него такие...»

Не знал Ибрай, что и тут его обошел Даулетбак. Не оставил богатый, щедрый бай господина Клубницкого без коня. Под утро отыскали русского барина верные рабы Даулетбака и снасли, отвезли его, живого, здорового, в город Верный; была за это Даулетбаку благодарность.

Но пути в аул Ибрай и его люди подобрали пятерых раненых чиновников и

увезли с собой, взяв у них наганы.

Поздней ночью вернулись в аул джигиты, посланные вдогонку за двумя казаками. Вернулись ни с чем. Как догнать казака на свежем коне, если твой конь с утра под седлом? Все же они ссадили одного пулей. Стреляли и в другого — ружье дало осечку. А Ибрай в горячах сунул им только это старое ружьецо. Понадеялся на то, что их много.

Конечно, к утру в Верном все узнают, и жди теперь с часу на час кары.

Как подумали об этом красные шанки, так тут же и порешили:

— Чего бы это ни стоило, уходить! Всем откочевать. Белый царь не пощадит... Уходить — ничего больше не остается.

И в ту же ночь все аулы урочища Асы, все аулы красношаночников, кроме аула Даулетбака, поднялись со стоянок и тронулись в путь. Пошли туда, куда еще днем, когда порвали ениски, послали гонцов на двух жеребцах при двух запасных. К черным шанкам, в благословенную долину Каркара, колыбель рода албан. А дальше — куда глаза глядят...

Глава седьмая

В большом доме Узак в тот день случилось, пожалуй, самое худшее.

Был приготовлен чай. Закусывая, люди разговорились — каждый сообщал, что знает. Узак, хмуро улыбаясь, сказал:

— Как их не благодарить, правителей! Это они нас, разоренных, кочующих по белу свету, собрали воедино... в одну грозовую тучу. Так, что ли?

— Собаки в ауле вечно грызутся, — отозвался Жаменке, — а как увидят волка, собьются в кучу. Так и люди. Несчастье — оно роднит!

— Эх... Был бы наш путь счастливым... — с горьким вздохом добавил Серикбай. — Услышал бы бог слезы детей... Послал бы нам милость.

Но Турлыгожа возмутился, вскричал:

— А ты что стонешь! Или не слышал, как красные шанки пощупали самого помощника уездного начальника? Разве это не счастье?

Узак усмехнулся; он был угрюм, словно чувствовал недоброе, и ждал его, и не хотел в этом признаться.

— Уж как ни гнули нас, как ни гнали, слава богу, — сказал он, — хоть под старость привелось увидеть... Ищут люди, находят друг друга, как дети одного отца! Об чем тужу — не видел я этого в свои молодые годы. Вот что мне жалко. Да что поделаешь...

— Ушли годы, — сказал Жаменке. — На что ушли? Сколько было раздоров... За что дрались? За то, кто первый почешет властям пятку, даст взятку. Теперь вот одряхлели, волочим свои высохшие кости...

И так тяжело, так скорбно вздохнул Жаменке, что Турлыгожа на минуту потерялся. Что же на уме и на сердце у стариков? Что они сегодня хоронят — прошлые драки, раздоры... или самих себя?

— Интересно узнать, — сказал Турлыгожа с веселой хитрецой, — а кто же из вас в те самые молодые годы во время выборов на глазах у людей огрел камчой рыжего уездного... прямо по башке, между глаз! Так спрошу...

Турлыгожа напоминал Узаку случай пятнадцатилетней давности. Уездный

тогда пообещал, что назначит волостным того, кого назовет Узак, а за это взял у него гнедого иноходца, необычайной красоты коня. Но в разгар выборов слова не сдержал и встал на сторону противников Узака. Тогда Узак на большом собрании, выйдя вперед, сказал господину уездному: «А коли так, верни мне моего коня! Он тебе не по чину, не по чести!» Хлестнул его камчой так, что остался под шанкой шрам навек, есел на своего гнедого иноходца, стоявшего у коновязи, и уехал.

— Было дело, — сдержанно посмеиваясь, сказал Узак. — Сильный был... Унивался лихо, молодостью. Не одного этого господина бил. А что проку? К чему это? Сеорился, дрался со своими же сородичами. Вот и прошли годы как во хмелю от никчемных удач, никому не нужной удали, громкой славы... Похмелье — моя слава, братья!

Сказал, как ударил. И опять подумал Турлыгожа: жестокое слово, зачем оно ейчас?

— Спрашиваешь самого себя: был ли ты батыр? — с мягким укором проговорил Жаменке. — Друг ты мой! Что суждено сделать сегодня, нельзя сделать вчера. Что нынче дело, вчера только мечта!

Узак понурился упрямо.

— Жили-то мы вчера... в те времена, когда казахов, как баранов на мясо, делили на двенадцать частей... и мы еще назывались людьми! Нам бы жить под небом, а мы жили под кошмой. Сколько, живу, не видел я казахов, которые шли бы под одним знаменем... бросили бы клич... Это как сказка!

— Это и вправду мечта, батыр, — тихо выговорил Турлыгожа, и на глазах его выступили слезы...

Жаменке задумался, одобрительно и печально качая головой. А сказал с неожиданной, словно бы беспечной обреченностью:

— Что тут скажешь? Прошла жизнь и пронала. Как ветром ее задуло...

Узак сжал на коленях кулаки. Блеснула седина на его выпуклых висках.

— А лучше не скажешь, брат, как некогда женщина одна молодая сказала... «Хотя ты и был прежде батыром, нынче твоя голова как сухой кизяк!» Так она сказала. То-то и оно, что и нынче, и нынче...

Все в юрте затихли, услышав эти слова. Долго молчали, оставив ниалы с чаем и кумысом. Все поняли, кто эта женщина... Только она, единственная, могла так сказать. Тень юной строптивой Бекей вошла в юрту и встала над побелевшей головой отца.

— Помилуй бог... сохрани ее память... — с невольной скрытой опаской проговорил Серикбай, быстро переглянувшись с Турлыгожей. — Однако же, аксакалы, что мы слышим? Неужто прошли наши времена? И нынче разве мы не ближе к тому, о чем мечтали? Свершим что-либо доброе — останется в памяти людей на все времена! Пройдем огонь и воду с поднятой головой — чего желать лучшего? И помереть, так со славой доброй...

А за ним Турлыгожа сказал, не сводя горящих глаз с батыра Узака:

— Отец! Не узнай вас... Будто прощаетесь с нами! Не хотим мы вашего завещания...

Узак насунился, отворачиваясь, глухо бормоча:

— Да уж ты скажешь... ты скажешь...

И тут вбежал в юрту человек:

— Ой-бой, а вы тут сидите... а вы ничего не знаете... пристав уже окружил вас...

Тишина. Снаружи ни звука.

Узак медленно перевернул свою пиалу и отчетливо сказал:

— Кап, кап. — Это значит: жаль, жаль.

Жаменке властно поднял руку.

— Теперь кто сумеет, уйдет с этого собрания! Прокляну, коли не уйдете! Спасибо всем, вставайте.

Но было поздно. Снаружи донеслись выстрелы. В юрту ворвались солдаты. И в глаза людям уставились дула винтовок.

Вошел урядник Плотников с двумя бородами и с двумя наганями — в правой и в левой. И ахнул:

— Э.. да вы и впрямь все тут? Здравия желаю... С благополучным прибытием!

Узак встал и каблуком сапога раздавил свою пиалу.

* * *

Сивый Загривок с того незабвенного дня, когда чудом остался жив и целехонек, помилованный черными шапками, не слишком-то поумнел. Зато весьма образовался. В эту смутную пору у него было много чтения. Меж Каркарой и Караколом непрестанно сновали конные вестовые с пакетами под сургучными печатями и предлинными казенными бумагами.

Бумаги были такого толка. Участились бунты в гуще киргизов (киргизами тогда именовали и казахов). Бунтовщики жгут села, грабят, избивают, изгоняют жителей. Сие чревато опасными последствиями. Преступники, хамы. Нельзя столь беспечно сидеть в мелких казачьих поселениях. Особо серьезна угроза тем селам, кои расположены среди инородцев. Необходимо срочно собрать и вооружить тамошних жителей. Денно и ночью пещься о том, чтобы оружие не попало в руки бунтующих киргизов, равно как и мирных. Неусынно оберегать огнестрельное оружие, равно как и холодное, из железа, включая ножи. Впредь до особых указаний русским кузнецам не подковывать коней у киргизов. Разбойники, басурмане. Окрест ярмарки созвать ополчение добровольцев числом не менее ста — полтора ста душ. Держать в постоянной готовности, не распускать. Добровольцев брать из казаков и зажиточных крестьян. Бесспорно неключаются мужики батрацкого сословия, а также ссыльные поселенцы, лица без нательного креста. Безбожники, студенты. Всеми мерами увеличивайте контингент преданных людей из инородцев. Держите их в постоянном движении, дабы иметь каждодневные сведения. Востребуйте данные о вожаках и зачинщиках. Неукоснительно следите, нет ли на кочевьях неугодных властям приезжих из городов, особо Казани, Оренбурга, подозрительных занятий, запрещенных бумаг, как печатных, так и писаных. Подлецы, бумагомараки. Ждем важных указаний из Верного, из губернаторства...

Сивый Загривок велух читал бумаги и старался как умел. Из сел и станиц Жаланаш, Нарынкол, Сарыжаз взял отменных добровольцев. Самолучно их опрашивал, перебрал каждого бородача по волоску. Теперь у него под рукой — сотня орлов! Многие с толстой мошной, со своим оружием. Они, как престольного праздника, ждали приказа выстунить в аулы, с которыми враждовали из-за земли. Это была главная опора его благородия, злая сила надежней роты солдат.

Была у него и другая сила, тайная. Ее возглавлял один старый знакомый человек невзрачный, но ему искусно помогал сам Тунгатар, умнейший бай.

Пристав жил с ними душа в душу. Эти люди как исполнения мечты своей жизни ждали того дня, когда будут схвачены и посажены за решетку Узак и Жаменке.

Тот день выдался хлопотным и беспокойным. Утром пришло ужасное известие из урочища Асы. Его привезли кунцы, видевшие, как барымтачи Ибрая гнали господина помощника уездного вниз по реке Кокозек. Кунцы были русские: ехали из Исыка и Тургения на ярмарку. Увидев Ибрая, они отделились от татар и узбеков и погнали лошадей; не сомкнули глаз всю ночь, а на рассвете разбудили урядника.

Накануне вечером пристав распечатал приказ — немедленно по получении арестовать албанских вожаков. «Но ранее вами представленному списку, а также по дополнительному, всего — семнадцать человек».

Поистине отменная работа стояла за тремя словами: всего семнадцать человек. И уже в этих словах чувствовалось поощрение. Но легко сказать — немедленно по получении! Вообще, казаха, даже самого завалиющего конокрадишку, брать — все равно что ловить ветер в поле, а этих и подавно. Вчера допоздна и утром на свежую голову прикидывали, расчитывали, кого, как и где заарканить. А тут еще кунчинки разбередили душу...

Но в час пополудни в пыли и в поту прискакал на ярмарку старый знакомый со своим джигитом и спешился у Канцелярии, нимало не скрываясь. Привез подарок нарекий.

— Все... все там... в Таибальтае! Кроме них, ни единой живой души в ауле. Старец один глухой собирает шалфей. И эти еще... кони, кони красношаночников... из урочища Асы!

— Ну! Ну! — вскричал следователь, трясаясь от нетерпенья.

Пристав екомандовал:

— Ну, Плотников! Рожа твоя двухбородая! Гляди у меня. Упустишь — закатаю. Потом позвал денщика: — Эй, там... стакан водки господину Рахимбаю.

Что было дальше — известно. Разом всех изловили. Увезли, как говорится, на одной веревке. И на ярмарке скрыли от глаз людских.

* * *

Вся Каркара содрогнулась. Одни плакали, другие били себя в грудь кулаками. Выли от боли, шатались, как слепые, будто камчой ударили по глазам. Горе, горе. Никто не знал, что делать, как быть. Только и делали, что поверяли друг другу свою муку. И кляли мучителя. И стар и мал возглашал проклятья:

— Чтоб ты сдох, чтоб ты света невзвидел! Чтоб ты сгорел и чтоб имя твое стерлось! Чтоб тебя Керман наказал!

Не иначе как от этих проклятий Сивый Загривок должен был пропасть, егинуть, потому что Керманом звали самого страшного черта 1916 года — германского кайзера.

Это были часы великой растерянности. Даже вести из урочища Асы, казалось, не ободрили, не порадовали. Люди слушали про то, как не убоились красные шанки ружейного огня, как изорвали в пух списки, как солдаты пятались от женщин, невших жоктау, и словно бы не верили своим ушам.

Понемногу, однако, стали утирать слезы, собираться с мыслями.

И стали поговаривать так: пойдём на ярмарку опять всем миром, как и в тот раз... Скажем строго: отдайте нам наших старших! Скажем, как оно есть: разве они виноваты? Вся вина наша, вините нас, простых смертных. Хотите наказать — наказывайте нас всех...

Так толковали повсюду в аулах. И потекли опять черношапочники живыми ручьями по многим тропам и дорогам в сторону ярмарки.

На этот раз, правда, народу было не так много. Столько людей, как тогда, собрать не сумели, потому что на иных летовках и так рассуждали вроде бы вопрошительно:

— Допросят, глядишь, и отпустят? Посмотрим сперва, что с ними будет?

Туманно было в душах этих людей. Да и те, которые поднялись, шли не так дружно, как в первый раз, шли вразброд. Когда у мирского тела нет головы, ведёт сердце, а в сердце хоть и была вера в свою правоту, но больше веры в милость божью.

Раньше и охотней других собрались люди с летовки Донгелексаз. Человек двести. Их вел крамольный волостной Аубакир. Они шли, подбирая по пути людей из других мест, как речка подбирает ручьи, и стало их триста.

Ехали рысью по цветущей долине. Каркара горела и искрилась зеленым огнём, как и в июле. Но теперь не слышно было ни гама, ни гика, ни свиста, ни пенья. Не слышно было человеческого голоса. Не бахвалился Баймагамбет, не сменил Жансеит. Глухой, унылый тонот.

Неподалеку от ярмарки им навстречу внезапно, как из засады, выскочили человек тридцать — сорок конников, не похожих на солдат, но вооружённых не хуже, с ружьями, саблями, пиками, в хороших, не смазных, а навакеевских сапогах. Сидели они в седлах подбоченясь, покручивая ус, скаля белые зубы. А их главный, казак с негим от седины чубом, свободно говорил по-казахеки.

— Эй! Стой, не балуй! — крикнул он, точно на лошадь. — Нечего вам делать на ярмарке. Давай по домам. Расходиесь! Нынешний день торговли не будет.

Этими словами он спроваживал сегодня многих бродивших у ярмарки, легко узнавая албан по тоскливым, ищущим глазам. Они искали тюрьму под названием гаунтвахта... Но со вчерашнего дня, как пригнали арестованных из Меченого Камня, путь казаху на ярмарку был закрыт.

— Это мы знаем, — сказал Аубакир. — И вам надо знать, кто мы... Мы посланцы народа. Посланы для переговоров. Хотим узнать, что с нашими людьми. Высказать свое прошение. А потому — пропустите нас.

— Ишь ты! Пусти его... Таким вот гуртом не высказывают и не просят. Поворачивайте!

В толпе зашумели:

— Хотим увидеть своих родных, говорить с начальством. Разве вы начальство? =

— Они не виноваты, виноват народ, мы виноваты! Вот что хотим сказать.

— Заявление скажем, заявление!

А затем передние толкнули коней и пустились трусцой гуськом, как по команде «справа по одному», в объезд русских конников.

Казак с негим чубом вырвал вон из ножен саблю.

— Назад! Не пройдешь, дудки... Не велено вас пускать. Вас не первых

завернули..

Аубакир крикнул в сердцах:

— Как это не велено? Как это может быть? Что ж это за начальник, ежели не желает выслушать народ?!

Казак не коса посмотрел на него, подумал с ленивой усмешкой и сказал:

— Ну, я вас упредил. Всех не пушу. Давай одного другого. Хотя бы и ты!

Он ткнул в сторону Аубакира саблей. — Поехали.

— Поеду! Один поеду.. — сказал Аубакир, трогаясь следом за казаком.

Картбай, дерзкий мальч, поехал позади Аубакира, точно оруженосец.

Всех остальных стали теснить подальше от ярмарки — с умиряющим хохотком, смешливо приговаривая:

— Давай, давай, давай. Вот ваши вернутся, приведут и тех... Враз и освободят! — И отогнали далеко.

Но дороге к канцелярии Аубакир увидел доброго Осана, невольно закивал ему, поворачивая коня, но тот, увидев Аубакира в сопровождении казака с голой саблей отвернувшись и резво пошел прочь, втянув голову в плечи, как курица под дождем.

— Уходишь... — вырвалось из души у Аубакира. — Катись, катись, тухлое яйцо!

Осан не оглянувшись.

Сивый Загривок и следователь сидели, беседуя после сытного обеда, розовые от порядочного возлияния, когда казак ввел в канцелярию Аубакира и Картбая.

Сивый Загривок как отворил пасть, так, кажется, и забыл про все на свете. В глазах его было умиление.

— А-а! — прорычал он наконец и захохотал, затрясая, закашлялся. — Кого я вижу! В нашем полку прибыло. Вас то нам и не хватало. Сам пожаловал — хвалю! Ты у меня, милый, давно на примете. Еще с первой огласки указа вот где сидел... — И он показал на то место, где печень.

Аубакир поклонился, здороваясь, собираясь сказать, с чем пришел... Но его не стали и слушать.

— Ты волостной! — кричал пристав, словно любуясь хрипотой своего голоса. — Тебя зачем поставили? Лясы точить? Забыл царя, власти! Мало того что смутьянам потачку даешь, сам туда же. Нет смутьяна хуже тебя!

Аубакир ответил без боязни, как равный равному:

— Высокого ты мнения обо мне, господин. Но смутьянство мне не пристало. Съесть меня хочешь живьем? На здоровье... Но бог свидетель, за мной этого нет греха — смутьяинства. Ничего ты не можешь сделать невинному человеку! А смутьян — это ты, господин. Ты — темный грешник.

— Убрать... — сдавленным голосом сказал пристав казаку с негим чубом. — Отведите его и закройте. А этого — в шею!

И как ни противился Аубакир, как ни пытался что-то еще сказать, его отвели и заперли, а Картбая вытолкали в шею.

Глава восьмая

Картбай, когда его выгнали из канцелярии, с ярмарки не ушел. Смирненно, с

видом побитой собаки он поплелся за конвойными, которые вели Аубакира в кутузку под названием гауптвахта. И видел, как отомкнули железный замок, отодвинули железный засов и втолкнули в темноту нового узника. И слышал, как оттуда донесся зычный голос — в надежде, что его услышат на воле:

——— Передай привет народу! Пусть держатся вместе. Пусть не боятся... — Это был голос Турлыгожи.

Картбай ответил мнимо жалобным возгласом «уа! уа!» и повел прочь коней, своего и Аубакира, будто бы уходя с ярмарки. Часом позже удалось ему незаметно пробраться в дом кунца Султанмурата.

Тот был вне себя от того, как чудовищно повезло пристапу и уряднику. Султанмурат бранился, но ругал не их и не Рахимбая...

——— Наивные люди, наивные люди, — твердил кунец.

Он ожидал худшего и не ошибся. Видимо, пристап все же опасался, что его гауптвахту расшибут и выручат арестованных. И решил не дразнить удачу.

Ночью, когда ярмарка спала, тихо зазвенели замки и засовы. Урядник вывел наружу Узака, Жаменке, Аубакира и еще семерых, всего десять человек. Их посадили на две повозки, оценили двойным кольцом конвойных и повезли.

Султанмурат и Картбай были настороже всю ночь и слышали, как старший Жаменке крикнул тем, кто оставался:

——— Прощайте, прощайте... Дай бог свидеться на этом свете. И пусть предки будут нам опорой.

Турлыгожи и Серикбая на повозках, кажется, не было.

——— Куда! Куда их? — шептал Картбай. — Убьют?

——— Может быть, — сказал Султанмурат. — Плохо дело. Везут, ясно, в Каракол! Бери обоих коней, скачи. Только бы тебя не перехватили. Это последний случай — отбить, спасти...

Картбай сумел выбраться с ярмарки невидимкой, между двух расседланных, якобы пасущихся коней. И поскакал на Донгелекеаз.

Взошла луна. Каркара осветилась холодным светом. Дорога, по которой укатили под конвоем две повозки, вела туда, где верет через тридцать хребет Алатау поворачивал в сторону киргизских земель. Катили они с громом; лошадей погоняли, и они то и дело переходили с рыси на галоп. Это были хорошие пароконные повозки на железном ходу, а лошади сытые, резвые. До Каракола — одна ночь пути!

Конь под Картбаем взмок, и он пересел на другого. Ему отчетливо виделось то место на дороге, белеющее под луной, как конский череп, куда он приведет засаду. Поспеть бы, только поспеть бы! В эту ночь ради Узака, ради Жаменке жизни не жалко.

Когда он прискакал на летовку, аул спал. Спали Баймагамбет и Жансеит, вернувшиеся с ярмарки без Аубакира. И сон их был крепок по молодости и с устатку. Коня, обычно заарканенные, были отпущены понаестись...

Что сделалось, когда Картбай поднял людей на ноги! Все кричали... Все думали, что Аубакир просто задержался в канцелярии. Что же, ему видней, он волоостной! Ежели было бы что не так, он прислал бы Картбая... А Картбай, чудак, почему до самой ночи не дал знать, что с Аубакиром?

Никто на летовке не ждал, что будет нужда в силе, собранности и быстроте немедля, в ту же ночь.

~~Собрались, однако, без лишних слов, без всяких споров человек сто, вооружились кто чем и поскакали на юго-восток, не жалея коней, не думая о себе, готовые положить голову в схватке с конвоем.~~

~~Но пути растянулись. Скакали и по двое, и по трое, и поодиночке. Но передние полсотни человек, а может, больше, и среди них Баймагамбет и Жансеит, выскочили на дорогу, которая огибала Алатау, вместе, дружно. И стали кружить у того места, которое белело, как конская голова, остужая вспотевших коней, поджидая отставших. Когда же собрались все и встали в засаду, уже рассветало. Где же, однако, конвой?~~

~~На дороге показались три телеги с одинокими возницами. Судя по шапкам, уйгуры. Увидев конников, они в испуге погнались лошадей. Их остановили. Оказывается, они ехали из Каракола, выехали в полночь. А испугались оттого, что приняли джигитов за казаков... Этой ночью уйгуры уже встречали казаков, и те отогнали их далеко от дороги, потому что кто-то сквозь гром телег и тонот кричал в темноту по-казахски: «Привет Каркаре! Держись дружнее!» Где это было? Отсюда не видно, за Курдайским перевалом. Сейчас они небось уже под Караколом...~~

~~Баймагамбет со стоном склонился к гриве коня и стал бить себя кулаком по голове:~~

~~—— Вот до чего довела нас беспечность... Из-за собственной дури страдаем. Ни за грош отдали самых славных людей. С кем теперь будет народ? На кого опереться? Сонные мы души. Неужто не вызволим хотя бы тех, кто остался на ярмарке? Опять поеместся Сивый Загривок? Любой ценой... следующей же ночью... налететь бы... разбить ярмарку... выручить наших... а приставу плетей...~~

~~И еще много подобных речей слышали от Баймагамбета, и от Жансеита, и от других, возвращаясь назад, в Донгелексаз.~~

~~Головы понурили и люди и кони. Горевали долго. Горевать джигиты умели.~~

~~* * *~~

~~Утром две пароконные повозки с каркаринцами, покрытые грязью и пылью, медленно, осторожно въехали под конвоем в Каракол.~~

~~Этому тихому городку, а скорее поселку, суждено было стать свидетелем громких событий. День и ночь Каракол жил под страхом нападения сильных, мужественных, метительных киргизов.~~

~~Всем ветрам было открыто это селение, отовсюду нависла угроза. Но сюда стекались и стекались из окрестных и дальних мелких сел мужики и казаки, толпами брели женщины, дети и старики. И это еще больше нагнетало страху в Караколе; сюда приходили обиженные, ограбленные и осиротевшие из сел, претерпевших нашествие, из мест, где лилась человеческая кровь. Это уже не люди — беженцы; у всех разгромлены дома, отобран скот, сожжены хлеба, многие потеряли близких и родных, отцов, сыновей и мужей, видели их кровь. И не умолкал, в Караколе сиротский и вдовий плач.~~

~~Лихая шла пора. Казалось, что многие годы молчавшие горы, безголосые, навек онемевшие дикие камни вдруг заговорили, и в каждой щели необъятного Алатау горели костры жестокой мести. Старая поганая политика царя натравливала людей на людей, и люди с трудовыми черными руками, соседи, ненавидели друг друга и враждовали из-за земли, на которой жили, из-за пастбищ и воды. И грабили, и жгли, и били друг друга: мужики киргизов, а киргизы мужиков. Черная кость с~~

остервенением лупила черную кость. И множились и множились покойники и сироты.

Окрестности Каракол а наполнялись кровавым маревом и зловонием. Повсюду валялись неубранные, преступно брошенные тела убитых. Смертный грех всех народов и верований, грех убийства и грабежа растекался по селам и аулам, как зараза. С каждой ночью все хуже, все страшней. Земля и скалы Алатау вопили, а человечьи сердца словно каменели.

Днем и ночью шли в Каракол беженцы, ища крова и защиты. И днем и ночью пригоняли в Каракол арестантов, смутьянов и душегубов. Маленькая тюремка глотала и глотала живых людей, подобно ненасытному обжоре. А маленькое селение поглощало людские реки, как та шелушинка проса, на которой аллах уместит весь бесчисленный восемнадцатитысячный мир в день всемирного потона.

Но почам живым в тюрьме становилось просторней, а в овраге близ Каракола тесней мертвецам. Волки и барсуки, черные и серые вороны сбегались и слетались в овраг на жуткий пир. Там лежали красноликие черноглазые стенники.

Давно ли, кажется, вчера, были те ясные мирные дни, когда румяные дети веселили кренкоруких отцов... Ныне твое дитя носило от слез, а ты сам обратился в вонючий кусок мяса, который терзают пожиратели падали. А вот другой гниет в черной луже, а третий уже высох, как мумия, на жгучем солнце. И сердце, вчера еще полное радости жизни, почтения к старцу, любви к женщине и к ребенку, сморщилось, как увядшая кисть винограда, оно пало, познав самое гнусное оскорбление, стыд и ужас смерти.

Мимо этого оврага проехали и каркаринцы, отпетые преступники. Прикрывая рукавами рты и носы, они безмолвно переглядывались, без слов понимая друг друга, стараясь скрыть судорожную дрожь.

* * *

В Караколе их встретили с интересом и не заставили долго ждать. Едва въехали повозки в тюремный двор, тюремщики повели троих на допрос — Узака, Жаменке и Аубакира, дав им наскоро умыться.

Говорили, что их затребовал к себе пред грозные очи сам уездный. Это был сравнительно молодой, рыжий и очень тучный, болезненно-бледный человек, известный своей злостью и жестокостью. Но в конторе оказалось, что их ждет еще другой, большой начальник, из тех, коих каркаринцы до сей поры не видывали. То, что он большой, сразу поняли по тому, как он строго, сдержанно и безразлично держался. У него были бабьи руки и бабье лицо. Это был «паркурал» — прокурор из Верного.

В минувшие двое суток каркаринцы сговорились: что бы ни было, вытерпим. Вчера на гауптвахте Узак и Жаменке встретили Аубакира с холодком, ибо он дался в руки Сивому Загривку еще неленей и глупей, чем они сами. Потом общая судьба и общая ошибка их помирили.

Страшен был Каракол. Каркаринцы были подавлены, но не принижены. Были скромны и учтивы, но держались свободно. «А мы ни в чем не виноваты», — говорили их глаза. «Виноваты, что опозорены», — говорили их души.

Прокурор выбрал для начала Жаменке. Белая борода и чистые морщины старика показались ему приятней угрюмых бровей Узака и искусанных губ молодого Аубакира.

~~Держа двумя пальчиками карандаш и нежно-презрительно тыча им в сторону аксакала, прокурор с ласковым барским отворачиванием спрашивал, как его имя, сколько ему лет, какой он волости и аула. Толмач-узбек внятно и негрубо переводил по-казахски.~~

~~До крайности уставший от дороги Жаменке выглядел уж не таким молодцом, как прежде. Но в лице его, в позе и в жестах был обычный ненаигранный покой старого мудреца. Он отвечал одним-двумя словами, разве что помаргивал чаще обычного то лукаво, то как бы рассеянно.~~

~~«Что толку сейчас во мне? — думал старик. — Но раз меня допрашивают, значит, я нужен? И не этому барину. Для него не открыл бы рта. А раз нужен, буду отвечать, не ленясь душой».~~

~~— Это правда, что ваш род, ваше племя... э... противится реквизиции? Не дадим джигитов? Это правда, что так говорят?~~

~~— Правда. Говорят.~~

~~— Кто же смущал... подстрекал... научал народ дурным словам? Кто приказывал так говорить? Кто главный?~~

~~— Главного нету. Нету главного... Народ есть. Я могу сказать худое слово, а народ не может. Неохота нам давать джигитов.~~

~~— Почему же не охота?~~

~~— Говорят, что несправедливо это. Правители несправедливы. Отобрали землю, воду, загнали в пустоши, в камни, в горы!.. Мы исправно платим подати, налоги, делаем что велят. А нас держат в черном теле, как врагов! Но сей день мы вам неродные... И еще говорят, что обманывают. Правители обманывают. Обещали — не брать нашей земли. Обещали — не брать в солдаты. На словах — гладите по головке, на деле — пинка в зад... И еще говорят, что туги стали на ухо. Правители туги на ухо. Жалуемся — не слушают. Наказывают. Разве такие правители хороши? Разве охота таких слушать?~~

~~— Так. Не охота. И что же, совсем наотрез неохота или при известных условиях войдете во вкус и приохотитесь? Есть среди вас трезвые головы, авторитеты, готовые уступить, ежели вам пойдут навстречу? Так сказать, условно говоря...~~

~~Жаменке насторожился. Все силы в нем напрялись, точно перед канканом, невидимым под чистым, нетоптанным снегом. Вот уж таких речей здесь, в Караколе, он не ожидал!~~

~~— Народ говорит, что согласен, — твердо сказал Жаменке, — пусть джигиты идут, но не на черную работу! Пусть их берут на ту службу, где учат ездатекому делу. Пусть они будут настоящими солдатами. Кабы с самого начала вы объяснили бы, обещали бы это...~~

~~— Но ведь тот, кто пойдет на тыловые работы, останется цел и невредим... А солдата шлют в огонь, на фронт! Знаете вы это? Зачем же вам в солдаты?~~

~~— А мы такие же люди, как ваши мужики... И наши джигиты — мужчины, а не бабы. Хотим умирать за свою землю! Пусть дадут нам оружие в руки... Так говорят.~~

~~— Любопытное... У кого же, собственно, вы просите оружие? — с откровенной издевкой добавил он, вопрос был как кинжал.~~

~~— У вас... — ответил мудрый простак. — Пусть дадут джигитам оружие при~~

всем народе. Пусть учат воевать — на глазах у народа. Не знали мы прежде такой напасти. Хотим знать! А когда люди увидят, что их дети, сыны при оружии, ученые, могут постоять за себя, успокоятся. Берите джигитов, шлите на фронт.

—— Слушай, старик. Ты, насколько можно понять, аксакал этого народа. Человек, хотелось бы надеяться, разумный. Как же ты лично думаешь и располагаешь?

—— Как все. Так же.

—— Но это же глупые речи! Ребяческие прожекты. Ни у какого народа так в солдаты не берут. Ни у индусов, ни у китайцев, ни у арабов, ни у негров. Пустейшая фантазия. И твой святой долг — объяснить своим единокордцам, что это бред, с потолка взято, из пальца высосано. Не будет так, как они хотят, — ни ныне, ни присно, ни во веки веков!

—— Тогда они не послушаются.

—— А ты убеди народ. Дай разумный совет. Это в твоих силах, в твоей власти. Твоя должность! Иначе будет плохо... Будете жестоко наказаны. Беспощадно. Понял ты меня? Сделаешь, как я сказал?

—— Спаси, господи... Как же я это скажу! Нет у меня такой власти. Вон ты какой начальник! А не слушаются тебя. А я простой смертный, как и все. Вот моя должность.

—— Не ври, не ври... Не люблю. Ты голова своему роду. Ты скажешь — тебя послушают.

—— Я старый человек, господин, я не вру.

—— Ну, словом, так, — неожиданно перебил прокурор, бросив карандаш на стол и изысканно любезно оскалив золотые зубы. — Либо ты понудишь своих темных безумцев повиниться — это одно, и безоговорочно дать джигитов — это второе... Либо пеняй на себя! Будет тебе такая кара, о какой и не слыхивал ни один казах. Отвечай!

Жаменке слабо, устало улыбнулся. Этот голос был ему знаком.

— Не стану тебе врать, господин большой начальник... Это дело не по мне.

—— Не, ты выступишь, что тебе приказывают. Заставим, старик, заставим! Но лучше будет, если ты по своей воле...

—— Не могу.

Прокурор взвизгнул точно от шекотки:

—— Старый ты нес... Сделаешь, сделаешь!

И Жаменке невольно рассмеялся.

—— Сделаю, не сомневайся, — сказал он, — коли оживет у старого пса... — И занулся, озорно блеснув глазами.

—— Уведите, — холодно спокойно сказал прокурор. — И ко мне другого.

Ввели Узака. С ним разговор был короче.

—— Слышал я, чего ты хочешь, — сказал Узак прокурору. — Зря тратишь слова. Не сможем мы понять друг друга. Отведи меня к самому старшему начальнику.

—— Что за наглость! Что это значит?

—— А то, что с тобой не об чем мне разговаривать. Старый то орел тебя крепко клюнул. Хочешь, чтобы я? Нет у меня для тебя ничего — ни в сердце, ни в голове.

— Так-таки нет? И больше ничего не скажешь?
— Скажу. Ты насильник. Подлый насильник. О чем можно с тобой говорить — о чести, или добре, или любви?
Прокурор закричал фальшивым бабьим голоском:
— Здесь я спрашиваю!
— Спрашивай. Отвечать не стану.
И не стал. Как ни ершился и как ни язвил прокурор, Узак молчал. Грозить батыру было смелно.
Прокурор приказал увести и его.
Пришла очередь Аубакира. Он кинел, глаза налились кровью. Он сам себя не помнил.
— Я вот что вам скажу: сделайте так, как сказал аксакал! Или верните казахам все, что у них взяли, — землю, воду... и кровь, которую вы пролили... Тогда мы в расчете! Вот и весь мой ответ.
Прокурор с брезгливой миной склонился к уездному:
— И этот мальчишка, болтун, у вас волоостной управитель?
— Черт знает... Каркаринеския яма! — сквозь зубы выговорил уездный.
Потом прокурор собрал всех троих вместе и словно бы сызнова принялся их разглядывать, изящно поигрывая карандашиком, сияя золотыми зубами.
— Вот, видите ли, мы каковы... Черные шапки... Приятно познакомиться, — сказал он зловеще.

Глава девятая

Безрадостно и бессмысленно тянулись дни и ночи в тюрьме. С воли никаких вестей, ни слуху ни духу. Из соседней камеры тоже ни голоса, ни топота. Надзиратели казались глухонемыми. И только новые узники приносили разрозненные противоречивые слухи, и жужжали они в ушах назойливо и однообразно, как осенние мухи.

Будто бы уйгуры подняли восстание... Будто бы схватили киргизских вожakov и заточили... Будто бы кашгарцы пошли на белого царя войной, хотят освободить мусульман... Чему верить? Чему не верить? На что надеяться? Не знаешь и не поймешь, стоит ли жить и живут ли еще где-либо люди.

Узак и Жаменке не верили ничему, ни на что не надеялись, и, глядя на них, молодые молча валились на нары, часами лежали пластом.

Есть птицы, которые не живут в неволе. Есть и люди. Узак и Жаменке медленно умирали, не умея и не желая выплеснуть из души смертную тоску.

Есть звери, которые не выносят униженья. Есть и люди. В ту последнюю минуту в своем доме, когда Узак раздавил ногой пнялу, он раздавил самого себя. А Жаменке проклял себя, когда услышал, что аул окружен. А потом Аубакир... Он их добил. Они чувствовали, как там, на воле, беспомощен род албан. Это — их позор, их вина.

Но ночам ждали худшего. Вслушивались в походку надзирателя, в позвякивание ключей и сквозь стены видели овраг под Караколом... С утра, как только рассветало, а рассветало мучительно долго и поздно, принимались всей камерой гадать на кумалаках...

Лучшие кумалаки — бобы; годятся и камешки, хлебные зерна. Аубакир принас горошины. Горсть горошин — сорок одну штуку — бросали или роняли из ладони и по тому, как они ложились, судили о будущем. Толковали раскладку умельцы, знатоки, а гадали все, с нетерпением ожидая и подбирая новые поводы погадать. Узак и Жаменке тоже заглядывались на кумалаки застывшими, словно замороженными глазами, как на огонь костра.

— Эй, Аубакир, — окликнул молодой Сыбанкул, — что же это мы сегодня? А Кашгария? Из головы вон? Если уж на что гадать, так это... Давай-ка сюда свои кумалаки.

— Все-таки добрая весть, — подхватил его сверетник Нуке. — Говорят, доброе слово — половина счастья. Чует мое сердце, есть что-то хорошее в той стороне...

Аубакир выдвинулся на середину нар, молча раскинул кумалаки. И все замолчали, сгрудившись на нарах и со стесненным дыханием разглядывая, как легли кумалаки. Затем стали подталкивать друг друга, как бы опасаясь сглазить: «Ты скажи...» — «Нет, скажи ты...». И как дом бристы касаются струн, так же бегло касались кумалаков, тех, что легли кучками по три-четыре, и особо тех, которые легли по середине. Там, в сердце, лежали три горошины; их касались с нежностью, словно колдуя.

— Это, пожалуй, самые удачные кумалаки. Как легли, как чудно легли!

— Ох, если по ним судить... пришла и весть о них и сами они пришли...

— В том-то и дело: есть тут намек! На бой... кровопролитный.

— Что бы ни случилось, уже случилось, — сказал старший из толкователей, Карибоз. — Даст бог, освободимся живые, здоровые. Конец будет хорошим.

И все, смотревшие на кумалаки, заговорили громким молитвенным шепотом:

— Да сбудутся твои слова. Пусть твоя ворожба будет пророческой. Сам бог вложил слово тебе в уста.

Но Аубакир покачал головой, не соглашаясь. На него уставились как на богохульника.

— Нет... Не то вы говорите, что есть... — сказал Аубакир. — Где вы это увидели? Если я хоть что-нибудь смыслю в кумалаках, они плохи... Будет несчастье. Половина из нас погибнет, половина спасется.

Все закричали:

— Камень тебе в рот! Прилипни твой язык к камню!

— Тьфу, тьфу... Плюй на землю! — скороговоркой сказал Нуке.

И Аубакир плюнул.

А люди внезапно стихли и бесшумно расплозились по нарам, потому что в дверной глазок смотрели два светлых глаза...

Не могли степеняки привыкнуть к этим глазам. Они всегда заставляли врасплах и прокалывали насквозь, как иглы. Они словно проникали в самое сокровенное и внушали заячью оторопь. Они могли сбить с ног, проглотить живьем! И, конечно, сглазить и тем извести. Два светлых, подолгу немигающих глаза...

Жаменке, лежавший в дальнем от двери углу, почувствовал в камере неладное, взглянул на дверь, встретился со светлыми глазами и вдруг протяжно, слабенко, невуче закричал, как кричит раненая ланка.

~~Закрылась дыра в двери, убраны кумалаки и еще прошло время, за которое можно успеть вскипятить молоко, а в ушах людей все звучал этот странный крик. Дальше было то, чего не предвидели ни люди, ни кумалаки.~~

~~Жаменке ворочался на нарах, хрипло вздыхал... Думали, мается душой, но старик снова вскрикнул, зажал руками живот и свернулся в комок.~~

~~— Не пойму... — проговорил он словно бы удивленно. — Что это со мной? Что такое творится? Лежу и не могу улечься. Жжет у меня внутри... Помираю я, что ли?~~

~~Люди повскакивали с нар, столпились около Жаменке.~~

~~— Что он говорит? Что с ним случилось?~~

~~— Только что был здоров... Отчего это?~~

~~— Где у тебя болит? Как болит? — спросил Карибоз, склоняясь к некаженному лицу старика.~~

~~Жаменке тихо, жалко кряхтел, обессиленный. Он был совсем плох.~~

~~— Это неспроста... Что бы ни случилось — неспроста... Как посл утром, все нутро горит. Уж долго я терплю. Не могу больше... Невмогу жить... Наверное, это конец. Смерть моя... Кто жив будет — поклонись жене, детям, народу нашему. Прощайте все. Милые вы мои...~~

~~Его то скрючивало, то судорожно распрямляло и вытягивало. Он бледнел, синел на глазах, будто кровь из него вынимали. Дыхание, тяжелое, учащалось и укорачивалось. Глаза помутнели, побелели. Они слепли. Незаметно он их закрыл... Кренко закрыл. И больше не открывал, будто не хотел видеть никого, хотел уединиться и остаться с глазу на глаз со своей мукой.~~

~~Люди стояли перед ним, сцепив руки, точно в молитвенном порыве.~~

~~Хорошо ли, плохо ли он жил, а прожил жизнь, большую, в большой чести, многое видел, немало сделал. Он был родным человеком каждому из каркаринцев, был им отцом, был головой. И вот судьба подводила последнюю черту его делам, мечтаньям и заблуждениям.~~

~~Когда тебе за семьдесят и жил ты трудно и честно, смерть светла, она заслуженное отдохновение. Но помирать в тюрьме — тяжкая кара. Смертный недуг душил Жаменке. Снова и снова его тело содрогалось и извивалось в конвульсиях, в жару горячки, как будто его разрывали на части. Он бредил, и невнятные речи его были полны яда, как и его тело. Но когда он на минуту приходил в себя и собирал силы разума и сердца, он говорил — и нечем было его утешить:~~

~~— В неволе... подыхаю... На поле бы мне... помереть... от ран... Мои старые... старые кости... сложить... за молодых... отомстить... Милые вы мои...~~

~~Кажется, это и были его последние слова:~~

~~— Милые вы мои.~~

~~На глазах у людей наворачивались слезы. И думали люди, глядя на Жаменке, худо и страшно, как будто яд его бреда канал в их души. Утром сегодня стражник принес бурду, называемую супом. «Это старику...» — сказал он, ставя миску перед Жаменке. А тот поклонился, благодаря: «Рахмет...» Был он невесел, но проснулся раньше всех. Обыкновенно они, старики, знают наперед свой день, ждут его. Жаменке не ждал.~~

~~Узак ждал... С первого дня ареста, когда пристав смеялся, тыча в батыра пальцем, с первого допроса в Караколе, когда увидел бабы руки и бабы лицо~~

прокурора...

Узак ждал для себя и для Жаменке кары и муки и на том успокоил свое сердце. Ни слухи о кашгарцах, самозванных спасителях, ни слухи об уйгурах, друзьях и братьях, ни нынешние кумалаки, поначалу счастливые, под конец устрашающие, его не тронули. Он смотрел на Жаменке бесстрастно, беззвучно, и глаза его были сухи.

Жаменке был его старым, закадычным другом. Целую жизнь они прожили душа в душу, понимая друг друга с полуслова, по движению бровей. В их времена не было братства крепче и краше, чем между ними. В любом деле они искали и находили друг друга без труда, без спора. И то, что подчас казалось загадкой, каверзным, запутанным делом, они разгадывали и распутывали вдвоем с одного взгляда. Они любили и верили друг в друга и вместе были нужны людям.

Случись это в стени, под родной крышей, Узак сейчас плакал бы, обняв голову Жаменке, Он прощался бы с ним, и был бы безутешен, и не стеснялся бы своего горя. В тюрьме же лить слезы — бесчестье.

«Сегодня твой черед, Жаменке, завтра черед мой. Ты бы не понял меня, если б я убивался над тобой, говоря: брат, ты умираешь! Ты бы подумал, что ошибся во мне... Что бы ни было, вытерпим. Так мы сказали с тобой, не сговариваясь. Смотри же, я не огорчаю, не мучу, не унижаю тебя».

Таков был батыр. Умирала половина его души, и не жить без нее другой половине... Худо ему. Но он, как волк, не подаст голоса, хоть режь его, хоть жги, хоть убей. Узак сидел немой, замкнутый, окаменевший, лишь глаза сверкали злобой.

Один раз он подошел к Жаменке, в одну, ему ведомую минуту. И Жаменке открыл в эту минуту глаза и посмотрел на Узака в смертной истоме.

— Прощай, старина. Прощай, друг — сказал Узак, отвечая на его взгляд. — Что еще сказать? Душу твою поручаю богу. Я догоню тебя. Не кручинься. Тебе сожалесть не о чем.

И опять обратился в камень.

Каркаринцы вехлинывали. Карибоз читал молитву.

Жаменке становилось все хуже. Уже давно он не говорил ни слова. Уже давно истекли, истаяли его силы. А его все ломало и корчило. На губах выступила синяя пена.

Сокрушительен был смертный недуг. Много раз он ломал старика, останапливая дыхание, и казалось, вот — конец. Колики, судороги мутили рассудок. Печать смерти лежала на бескровном лице. Оно было холодно, как, маска. Не узнать старческих добрых и гордых морщин! Белые косматые брови низко напозли на глаза и закрыли их целиком. А когда брови вдруг поднимались и торчком вползали на лоб, на краткий миг открывая выцветшие незрячие глаза с расплывшимися белесыми зрачками, в них был безжизненный туман. Глаза медленно закатывались под ветхие веки, как будто с трудом уходили и в ужасе прятались от того, что видели уже за гранью живого. Сморщенные губы, реденькие усы смялись в щепотку, и не найти, не угадать в них ни былой воли, ни мудрости, ни доброты. На лице словно застыл веплеск той жестокой бури, которая терзала его.

Старик дышал, громко, сердито сопя. И так долго это длилось, что думалось: разве немощно его тело? разве слаб его дух? Его силы хватило бы еще многим надолго.

Наконец он вытянулся и затих.

~~В круглый дверной глазок не мигая смотрели два светлых глаза...~~

~~Остаток дня и всю ночь затем каркарицы молились и оплакивали своего дорогого покойника.~~

~~А утром по такому исключительному случаю пустили к ним с воли одного человека навесить, насех поособлеживать. Много у тюремных ворот было желающих, пустили одну женщину. Ею оказалась жена Аубакира.~~

~~Еще в тюремном коридоре, увидев мужа, она заревела в голос. Едва не заревел и сам Аубакир, увидев жену. Ослаб, размяк, будто ему в живот бросили горячий уголек. Они не успели даже поздороваться.~~

~~— Молчи, — сказал он, сдерживаясь, утирая слезу со своей щеки, — Грощена слезам здесь. Будешь плакать — уйдешь немедленно. Зря ты приехала. Из такого далека. Но если уж приехала... Не время много разговаривать. Вчера умер Жаменке. После еды умер. Думаем, накормили его... Больше сказать нечего. Передашь это всем, кто есть тут из наших. Поезжай скорей домой. Иди... Прощай! Тебя и ребенка вверю одному богу...~~

~~Сказав это, он отослал жену, не дав ей говорить. Повернулся и ушел в камеру.~~

~~* * *~~

~~На Каркаре тем временем ловили слухи и слушки и старались угадать, что и где будет. Где начнется... где прорвется... Потому что где-то что-то должно было случиться. Судя по всему, должно! Люди ждали этого с часу на час. А по сути, не знали толком, где и что происходит на самом деле. Жили на отшибе, на отлете и вообще не ведали и не понимали, что творится в мире. После того как воцарились красношаночники, а пристав схватил их гонцов, никто не знал достоверно, что же было дальше и куда девались краевые шанки в бескрайней степи. И все же на Каркаре чувствовали: зреет какое-то большое дело, великое дело. Пора ему быть!~~

~~Пристав как будто бы взялся за ум и стал не то чтобы хорошим начальником, но немного получше. Он не высовывал носа с ярмарки. Списков не вышибал. Правда, слишком уж долго он задерживал арестованных. Спрашивается, зачем?~~

~~Баймагамбет и Жансеит осмелели. Грозилась, что разгонят ярмарку в любой час и день. Освободят и уведут с почетом своих вожаков — Серикбая и Турлыгожу, а гаунтвахту сотрут с лица земли, чтобы впредь некуда было сажать других.~~

~~Однако делать это, видимо, не следовало, никак не следовало... Потому что не платятся за это узники в Караколе. Вся тяжесть ляжет на их головы. Так люди рассуждали... И только это удерживало. Они уверяли себя, что только это.~~

~~Правдами и неправдами добывали ружья и револьверы. Раздобыли несколько. И припрятали. Берегли оружие пуще глаза. Хранили его как редкую драгоценность. Но прежнему лишь единицы знали, как с ним обращаться. На этих людей смотрели как на батыров. Все прочие боялись его и в руки взять, ибо оно... стреляло! Но говорили в один голос: днем и ночью держим его наготове, а коней под седлом...~~

~~В эти-то дни волнений и ожиданий пришла скорбная весть. Отмучился праведник, старый Жаменке.~~

~~В Караколе были свои люди. В дозволенное время они носили узникам передачи, а надзирателям мзду, чтобы не были они так люты. Когда вернулась из тюрьмы жена Аубакира, эти люди со слезами побежали к начальнику тюрьмы, прося отдать им их почтенного покойника. Начальник тюрьмы сказал, что осведомится у уездного, а осведомившись, наотрез отказал.~~

Кинулись хлопотать. У кого только не были, кого не уламывали! Обошли всех чиновников в Караколе. Иные и слушали, зевая, бесстыдно скаля зубы. Иные заверяли, что будут хоронить на казенный счет исправно, согласно мусульманскому обряду и обычаю. И при том строго внушали, что по закону трупы преступников на руки не выдаются.

Люди отчаялись. Стали ходить в овраг близ Каракола... Хотели выкрасть тело Жаменке, если оно там. Но там его не было.

Когда об этом узнали в Каркаре, обезумели. Не так потрясла сама смерть старика, как то, что он не похоронен. Неслыханное надругательство, неслыханная подлость.

Никто никого не звал. Никто не собирал и не вел людей. Они пошли сами, не еговариваясь, не советуясь, но в один и тот же день, в одни и те же часы, со всех летовок, из всех аулов. Пошли толпами и в одиночку, все в одно место — на ярмарку.

С известных пор ярмарка была запретной землей для рода албан. Канцелярии и гаунтвахте казахов не подпускали ближе чем на пушечный выстрел, как приказал пристав и предписало высокое уездное начальство. От дозорных застав, доносчиков и лазутчиков пристав знал, что творится вокруг ярмарки, где, в каком числе и по случаю чего толнятся инородцы. И тем не менее случилось, казалось бы, невозможное и немислимое. Ровно в полдень давно пустовавшая ярмарочная площадь и все близлежащие улицы и проулки были битком набиты и запружены до крыш черными шапками, конными и пешими, лошадьми, оседланными и в упряжках, быками под ярмом, кобылами и жеребятами, телегами и арбами.

Иглу некуда было воткнуть, не то чтобы шагнуть или повернуться. На телегах стояли. Конные прижались друг к другу стременами, пешие не могли и руки поднять, а подняв, опустить.

А в этих толпах тут и там, вместе и порознь безнадежно потонули и затерялись затертые и зажатые наглухо со всех сторон казаки, солдаты и прочее воинство.

Люди пришли безоружные, кто как есть, кто с чем был, но думали, что вооружены, поскольку джигиты держали в руках дубинки и конья, весь свой арсенал. Пришли не загадывая, придется ли драться или нет, — как бог даст. Пришли потому, что где-то в Караколе остался непогрешенным старик по имени Жаменке, а это бесчестно, грешно и противно естеству.

Канцелярия была осаждена спереди и с боков и походила на маленькую плотину, которая подперла людское море с островками базарных лавок и лабазов. Гаунтвахта была тоже обложена вплотную, и часовые притиснуты к засовам и замкам.

Люди стояли молча, угрюмо. В этот полдень ими двигал общий, единый порыв, одна могучая сила. И думали они про себя: а может, уже началось, прорвалось... может, это и есть то, чего все ожидали... то, чему быть пора... Но что же будет дальше? Пойдем к цели или станем еще чего-то ждать? Когда думали о цели, виделось людям нечто высокое, манящее и загадочное, как божество, каково же оно, это божество, — кто знает...

Сивый Загривок метался по канцелярии от окон к дверям, от дверей к окнам, направляя на себе ремни и портупеи.

Созвал он в канцелярию всех, кого можно было, даже казахов-толмачей,

которых последнее время избегал и держал в отдалении, а сегодня обласкал и не отпускал ни на шаг. Как будто они могли помешать черным шапкам оторвать у него банку! Или воспренятствовать уездному наказать его, хотя, бог свидетель, оно не заслужил.

Никто не мог сказать, как все это вышло. В тот самый момент, когда в стени и на базаре стало особенно людно и пристав сказал уряднику: «Как бы того... не прозевать...» — а урядник «сказал приставу: «И не заметишь, как это... не доглядишь...» — было уже поздно, лавина обрушилась, и пристав из ловца превратился в улов.

Один следователь рассуждал как философ: чего не бывает в стени. Дичь несеуетная, первобытные законы... Однако и он с дрожью прилушивался, не зазвенит ли железо под ударами камня и не раздастся ли перед канцелярией зычный голос Турлыгожи, голос Серикбая. Но чего не было, того не было...

Следователь снял очки, подошел к приставу и повел его на крыльцо.

— Держитесь проще. Побольше жалуйтесь.

Пристав унирался, мелко крестил себе грудь.

Вышли на крыльцо. Пристав заговорил, едва переводя дух:

— Ну?... Что скажете? Чего ради понаехали?... Кто тут у вас за главного? Пусть выйдет, изложит... Мы ждем.

Впереди стояли люди с летовки Донгелексаз, и среди них Баймагамбет, Жансеит, Картбай, злые и ожесточенные. Но главного не нашлось, и передние закричали хором, так что лица у всех стали серыми и вздулись жилы на висках:

— Отдай тело Жаменке!

— Прикажи, чтобы отдали нашего человека...

— Ты его арестовал! Ты посадил в тюрьму! Ты и отдай нашего главного аксакала.

И сквозь эти яростные слитные крики едва пробился одинокий глуховатый голос:

— Выпусти своей волей... наших людей с проклятой гаунтвахты!

Пристав и следователь тотчас глубокомыслеленно закивали, как игрушечные китайские божки, с такими же непроницаемо-фальшивыми лицами. Орут, конечно, страшно... Мороз по коже... Но жоака нет. И хотят то, господи, чего они хотят!

— Нар-род! — выговорил Сивый Загривок со вкусом, чуть ли не со слезой. Следователь что-то шеннул ему, и он добавил: — Дитя прир-роды! — И оба подумали: ни черта, сойдет, казах любит красноречие... — Слушай меня сначала, что я скажу. Кто я есть такой? Я есть самый ближний для вас начальник! А есть дальние, коим я сам слуга... Вои начальник в Караколе и тот выше нас. Скажет: умри — умру. А я ему скажу? Захочет — послушается, не захочет — не послушается. Это правда, помер ваш аксакал, э-э... царство ему небесное... Но он в Караколе. Там уездный! Во он какой чин. Что я могу сделать? Кто скажет?

— Я скажу, — ответил Баймагамбет, как бы ветуная в переговоры. — Ты его арестовал, ты отпирал под конвоем, ты и выручай. Весь народ плачет, весь народ сердится. А раз говоришь, ты нам самый ближний начальник, пиши бумагу, ставь печать, гони курьера в Каракол! Пиши все как есть! Нам покажи, как написано...

— Покажу! — вскрикнул пристав по внезапному наитию, а следователь со

значением поднял указательный палец. — А если Каракол меня по шанке? Связанный я по рукам, по ногам... Что тогда делать?

—— А тогда... тогда шли денешу в Верный! По той штуке, которая сама стучит... Что мы тебя просим и что правильно просим, а ты не против отдать людям покойника. Шли денешу в Верный!

—— Денешу! — подхватил Жансеит. — Хватит того, что убили... Теперь сам выручай его.

И опять из толпы понеслись крики:

—— Ты это сделал! Ты виноват! Не будешь стараться — будем считать, что ты! Мы тебя знаем, какой ты есть!

И впервые пристав услышал свою бранную кличку и понял ее без толмача:

—— Ты, Сивый Загривок, ты! Смотри людям в глаза. Не юли.

Пристав невольно подался назад. Следовательно с трудом удержал его, как бы обнимая за плечи, и торопливо подеказал:

—— Будь по-вашему... так и быть...

Пристав затрепал, как скворец:

—— А я и говорю... так и быть... будь по-вашему... Покойника так покойника. Денешу так денешу. В чем ошиблись, в том ошиблись... — И еще раз его осенило: — А вот в чем не согласен, в том не согласен! Если уж посылать денешу, так от имени нар-рода... за всеми подписями... Кто из вас будет подписывать? — И он вдруг завонил в раже: — Желающие... становись! Нежелающие... ае-сади!

Черные шанки снова притихли... Командные окрики смущали. Однако пристав старался, а каждый старается как умеет, как отроду приучен. Он сказал, что ошиблись. Так и сказал. К тому же он советовал как лучше... Но как только оказалось, что лучше идти и что то подписывать, перед крыльцом канцелярии стало просторней.

Не все ясно слышали, что у крыльца говорилось, даже стоявшие впереди, а позади и вовсе не было слышно. Задние кричали, когда кричали передние, и ждали, что передние станут делать. Когда же впереди приумолкли, в глубь толпы покатилося долгий говор о том, что было сказано у крыльца, а потом оттуда, из глубины, прихлынула, плеснула и растеклась, как прибой, волна голосов. Голоса были незлые.

—— Эй вы, слушайте, кто там ведет переговоры... Не все тут понятно.

—— А чего тут понимать? Что он, бедный, может? Делает, что ему под силу.

—— И то видать, из кожи вон лезет. Вы не давайте ему вылезти, еще, глядишь, пригодится.

—— Раз, обещает, пусть делает. Тогда увидим.

—— Пусть исполняет сейчас, с ходу, нечего спешиваться.

—— Сейчас, сейчас! Скажите там — сейчас! Эй, вы, кто там ведет переговоры...

И так несколько раз накатывали волны тех же голосов. Человеческое море мерно дышало. Люди смаковали слово денеша.

Баймагамбет и Жансеит, видя, что Сивый Загривок не тот, что прежде, и ждет, что же ему еще скажут, стояли перед крыльцом, вопросительно и нетерпеливо глядя друг на друга, словно стараясь вспомнить, что же еще хорошо бы сказать приставу...

Следовательно уловил их настроение. Эти молодцы были не хитрей девицы, которая жаждет, чтобы ее обняли, но отбивается, как кошка. Понял это и пристав,

как ни был испуган, и бодро деловито прокашлялся:

— Ну, а засим, люди добрые, расходись... езжай по домам с богом... Что толку всем толниться? И того сверх головы довольно, что останутся желающие... Э... расписаться на денеше... Ответа не ждите... ранее двух-трех дней. Ближе не обещаю. Будет ответ, извещу, ждать не заставлю. А пока суд да дело, как вам, так и мне с вами — покой, покой.

Черные шапки закивали, задвигались, заворочались, затолкались, загомонили и стали поворачиваться к канцелярии спиной, медленно, туго и дружно расходясь, Покой — это хорошо, покой — это ладно, как тебе, так и нам...

Тут-то Жансент спохватился. Подошел к крыльцу и сказал громко, чтобы побольше людей слышало:

— Хочешь быть хорошим начальником, выпусти наших людей с гауптвахты... Они невинные, народ виноват. Серикбай, Турлыгоя ничего сами не выдумали. Вот как перед богом говорю! Сделай хорошее дело, враз с тобой договоримся. А не то все равно на тебе вина. Не очистился ты, Сивый Загривок...

И ближние с жаром подхватили его слова:

— Верно, пора... самое время их отпустить...

— Хватит людей томить... намучились... не виноваты...

— Все мы тут виноватые, кто перед тобой... Что с ними делаешь, делай тогда и с нами со всеми!

Но остальные не слышали их горячих голосов. Там стоял тонот, глухой треск, тяжкий шорох толкотни. Там потели от тесноты и первейшей заботы — не порвать ебруи, не сломать колеса, не дать себя затоптать. Эти люди как пришли, так и уходили без указки и без спроса, никем не ведомые. И пристав с трепетом видел, как из людского наводка выбирается и выпрыгивает на спасительный берег один, другой, третий солдат... двое казаков, еще трое, еще пятеро... как они сбегаются под руку к уряднику.

Теперь пристав с отеческим всепрощением, сердечно ворчливо журил Жансента:

— Сивый Загривок, говоришь? Ай-яй-яй! А ведь я для тебя акекал! Твой волостной Аубакир и тот со мной на вы-с... Торонишься, братец. Был приказ свыше — ар-рестовать. Будет новый приказ, освободим. Имей терпенье. А коль скоро и вы все виноваты, дай срок, и вас пощадим...

Джигиты венолошились, подняли крик:

— А тогда знай, заруби себе на носу: не будет тебе покоя! Будет народ бунтовать!

— Тогда и на нас не обижайся. Ты до тех пор начальник, покуда у нас тихо. А будешь скалиться, и мы огрызнемся. Посмотрим, где у тебя грива, где хвост!

— Нам все равно, Сивый ты Загривок или Негай Голова... Мы не станем смотреть, какая у тебя масть!

— Вот подождем два-три дня... Ох, если обманешь! Ох, если соврешь!

Но чем более они горячились, чем крикливей грозились, тем спокойней и насмешливей становился Сивый Загривок. Их было много, слишком много... Но за ними была пустота, непроглядная туча пыли от рдеющих и разбретающихся толн.

И джигиты, чувствуя это, стали векакивать на коней, стали их горячить, заплясали, как бревна в водовороте, и поскакали, затянутые течением, сперва

эконом, а потом и врассынную.

Пристав, горбясь, шаркая ногами, пошел в свою канцелярию, плюхнулся на первый попавшийся стул, бормоча бессмысленные ругательства и тщетно стараясь уразуметь, что же это было, что за страх, что за неленица.

Поднялась стихийная сила, играючи взламывая и кроша ледяные оковы, затопила ярмарку по горло и ушла в землю, из которой и вышла, как полые воды...

Глава десятая

Разумеется, пристав послал денешу, как было обещано, в Верный. Послал также бумагу в Каракол. И позаботился о том, чтобы бумагу и денешу показали людям из рода албан. Так советовал следователь. Те посмотрели, уверились, что дело сделано, и убрались воевоеи.

Никто из них не умел читать по-русски, как, впрочем, и по-арабски. Знали только, что мусульманское письмо пишется справа налево, а русское, неверное, слева направо. Так оно точно и оказалось.

Следователь поручил Оспану объявить бумагу и денешу своим единокорядцам, и тот прочел и перевел их вдумчиво и понятно. Денеша тем и кончилась слово в слово, что господин пристав вместе с народом покорнейше просит отдать тело Жаменке... Ничего подозрительного.

Под низким лбом Сивого Загровка было, однако, темно. После указа царя от 25 июня все казалось яено и просто — джигитов на тыловые, деньги в карман, а теперь все пыльно, все туманно, ни покоя, ни барыша.

Не дал господь разумения по части политики, а она, прости господи, бодалась, точно бык при виде красного лоскута. С середины лета так она, подлая, стала оборачиваться, что будто бы и не надо было до поры до времени умирять бунт. Не следовало его опасаться, наоборот, надлежало подстегнуть. Хотят восстать — пусть восстают. Пусть побунтуют в охотку, чтобы во всем винили самих себя... А потом, как распустанятся, развоюются, дать жару! Аулы сровнять с землей без жалости, без пощады, а на хорошей земле посадить своего человека.

Так или не так, но дело к тому клонилось. Судя по тому, как вышло с этим Жаменке, как дразнили, толкали людей на безумство, — похоже. Местные чины по еоедетству с ярмаркой, тоже не умудренные в политике, на этот раз превзошли самих себя. Глумились жестоко и лили кровь. В иное время иной щелкопер, а то и иннепектор сказал бы: произвол! самоуправство! Хотелось приставу оведомиться на этот счет у вышестоящих, поскольку в таком огне рук не погреешь... Но он благоразумно помалкивал. Влянаешься, как кур во щи.

Одно Сивый Загровок поощрял — драку мужиков и казаков с инородцами. Эту политику он принимал всем нутром и в ней преуспел. И другое он усвоил легко и прочно. Арестованных берет, кормил. Это заложники, люди ценные. Их судьба была ему наперед известна. В один прекрасный день, между нами говоря, э... до единого... Тут двух мнений быть не могло. Данная мера касалась и казахов, и киргизов, и уйгуров. В этом Сивый Загровок утвердился.

Бунт между тем разгорался. Налеты на почту, на военные обозы, поджоги, убийства... Куда же больше? Похоже, что наступил час расправы. В город Верный из Санкт-Петербурга прибыл жандармский генерал. Прибыл он, конечно, не целовать

ручки и не подносить букеты, хотя в Верном задавались и балы..

Казахи тотчас об этом узнали. «Крупная шишка, жандарал...» И до киргизских гор, до синьцзянских рубежей, до Тургая и Оренбурга донеслись его слова. Вот как крылато сказал жандарал, едва прибыл и осушил пиялу кумыса: «Там, где пролилась кровь царского чиновника, трава не должна расти!» Эти слова звучали, как строфа из Корана.

* * *

В тюрьме в Караколе было по-прежнему глухо и жутко, как в заброшенном колоде. С воли приходила только еда. К кумалакам больше не прикасались.

В тот день с утра к тюремным воротам близко не подпускали никого из казахов или киргизов. Прогоняли и тех, кто задерживался поодаль в надежде, что пустят. Прогоняли далеко; убравшихся били прикладами, хлестали нагайками, как скотину не хлещут.

В тот день и в тюрьме было строже обычного. Из соседней камеры изредка доносился упорный тупой стук. Точно дятел прилетал и улетал. Кто-то там забавлялся скуки ради, от нечего делать, как здесь в кумалаки... И больше ни звука... А в дверном глазке то и дело — светлые глаза...

— Что-то нынче у нас не так, — сказал старый Карибоз. — Нехорошо у нас... К чему бы это?

В душе у Карибоза словно бы раскидывали кумалаки. Они ложились то лучше, то хуже, и он не мог вздохнуть полной грудью от неумного волнения. А долгом старшего было предостеречь.

Но и молодые были не в своей тарелке.

— Что-то делается по всей тюрьме, — сказал Нуке. — Всегда знаешь, что происходит в ауле, но лаю собак. А сейчас у меня в ушах собачья свора...

С самого утра все узники-каркаришцы не находили себе места, как будто заражались друг от друга необъяснимой, гнетущей тревогой.

Наконец Узак, лежавший на нарах в углу, на ложе Жаменке, и уже несколько суток не проронивший ни слова, встал и подошел к двери. Дождался, когда откроется глазок, и уткнулся в него носом, словно нюхая, чем там пахнет.

— Эй, чего не выгоняешь на прогулку? И чего наших с воли не пускаешь с едой? Что сегодня за день? Почему такой пост?

Светлые глаза вытаранились, потом прищурились, и в камере услышали:

— Обождешь... В шесть часов будет манифест.

Глазок захлопнулся.

— Мананае... — проговорил Узак унавшим голосом, приваливаясь спиной к двери.

Ничего хорошего это не предвещало. О чем мог быть в шесть часов неожиданный мананае? О помиловании заключенных? Узак в это не верил. Об освобождении от реквизиции? А в это не верил никто.

Глядя на Узака, Аубакир похолодел, побелел, в памяти всплыло гаданье в день смерти Жаменке, и он тоже привалился спиной к стене, глухо бормоча:

— Не то он сказал... Что-то за этим кроется... Боюсь, что остается последнее — прощаться. Пусть старики начинают молитву.

Все молчали, замерев на нарах. Узак лег. А Карибоз, набожно сложив руки, тихо начал погребальное заунывное чтение. Руки его дрожали, и голос дрожал,

надламывался, и в лице было больше боязни, чем благолепия. Но он пересилил себя, ладонями стер со своего лица житейское суетное, и потек голос гнусаво-заунывный, чистый, от всяких страстей. И сразу камера обратилась в склеп, а люди лежавшие — словно бы в мертвцов, а сидевшие и стоявшие — в бесплотных призраков. Все были готовы к встрече с вечностью, как будто молитва придала им мужества.

Лишь Аубакир не мог совладеть с собой, хотя сам затеял все это. Рассудок его мутился от животного ощущения нависшей опасности, от ее близости, от ее медленного приближения. Страх дышал ему в лицо, как птице перед сильной бурей, как зверю накануне землетрясения.

За ним знали эту нечеловечью чуткость и потому так верили в его гаданье и предсказания, а сейчас смотрели с сочувствием, как на женщину, которой трудней в беде, чем мужчине, и которую нечем утешить.

Вдруг Нуке с мягкостью кошки распластался у ног Аубакира, положив ему голову на колени.

—— Прикорнем-ка мы к нашему сыночку... —— сказал он несклявым женским голоском.

Смешное слово всегда мудрей сердитого. Нуке был зятем Аубакира... Аубакир улыбнулся и стал помахивать ладонью у лица Нуке, как бы отгоняя от него мух.

Вышло это совсем по-ребячески у обоих, и хотя в душе ни у кого не было и тени игривой беспечности, простецкая эта шалость оказалась нужна всем, как будто поднимала людей на крылья детской чистоты.

Потом Аубакир прилущался, и стали прилущиваться все.

Издали наплывал неясный слабый шум. Он усиливался.

А через минуту уже вся маленькая каракольская тюрьма содрогалась от топота множества сапог, скрипа и хлопанья дверей, лязга засовов и замков и гулких выстрелов, которые туго хлопали и грохотали в тесноте коридоров и камер. Еще через минуту стали слышны и людские голоса, дикие, истошные вопли, крики ужаса и боли, проклятья и стоны.

Узники-каркаринцы сбились в кучу, то вытягивая шеи, то пригибаясь от гула стрельбы, затем рассыпались, прижались к стенам, не спуская глаз с узкой темной двери. Сквозь тонкую щель под ней по ночам обычно проникала нитка света, а теперь сочился струйками синий пороховой дым.

Щелкнул дверной глазок. Показались два светлых глаза и исчезли. С треском распахнулась маленькая дверца, в которую был вделан глазок, и в нее всунулись два гладких вороненых ружейных дула. Они посмотрели не мигая, как светлые глаза, и изрыгнули огонь и дым с оглушительным громом. А потом стали поворачиваться и всматриваться то вправо, то влево, то вниз, туда, где нары, где люди, бегло и часто плюясь короткими пучками дымного огня и незримым длинным свинцом. Смерть вбежала в камеру и стала свирено кидаться во все стороны и касаться жадно и бессмысленно, как бешеный волк.

И вот забились в четырех стенах человечьи крики:

—— О предки, о предки... Прощай! Братья, прощайте...

Аубакир видел, как упали Карибоз и Нуке. Оба — наповал... Раненые екорчилились и замерли, иные ползли. На одежде, на полу, на стенах кровь.

Уцелевшие бросились под нары, потащили за собой раненых, стараясь укрыться и укрыть их от взгляда вороненых дул. Узак, Аубакир и Сыбанкул

втиснулись за печь сбоку от двери. Узак и Аубакир были окровавлены: у старшего пуля в груди, младшему прокололо плечо.

~~А стрельба не кончалась, она грохотала, превращая камеру в ад. Камера полна клубами дыма, и уже не разглядеть, где нары, где люди. Свет из маленького окна высоко в стене слабо полоскался поверх дыма. Зато пучки ружейного огня веныхивали ярче.~~

~~——— О господи! О святой дух!..~~

~~——— Неужто нам конец?~~

~~——— Погибнем все. Аллах, аллах...~~

Аубакир локтем толкнул Узака, тот векинул голову и кивнул. В тюрьме что-то опять переменилось.

Вдали стрельба утихла, и оттуда все громче и громче доносились уже другие, новые голоса, яростные, бодрые, зовущие. Там была большая камера. Там были киргизы. Это их голоса.

~~——— Выходи, беги! Скорей...~~

~~——— Бей их! Ломай, круши все!~~

~~——— Умри молодой, собака! На тебе, подыхай!~~

~~——— Не подходи, убью! Я тебя первый...~~

Тогда Узак выступил из-за печи, подошел к двери, не оберегаясь огня, схватил оба ружья за стволы своими железными пятернями и выдернул их из рук стреляющих, втащил в камеру. Из-за двери донесся беспорядочный тонот убегающих.

Узак выглянул в дверцу. По коридору бежали заключенные. Тюремщиков не видно было. Но камера была на железном засове и замке.

~~——— Разбирай нары, ломай дверь,~~ — сказал Узак, прислоня ружья к стене.

Люди стали вылезать из-под нар, отгаскивать раненых в сторону и отдирать доски.

Узак вырвал из-под нар тяжелые козлы, поднял их над головой и обрушил на дверь. Она загудела, как дубленая бычья шкура. Узак поднял козлы и ударил еще раз. Дверь затрещала. И в третий раз ударил батыр. Козлы разлетелись на части, а средняя доска двери проломилась как раз над засовом. Узак упал, зажимая рану на груди. Ладонь его залилась кровью.

Тогда Аубакир, словно не чувствуя боли в плече, стал долбить дверь тяжелой толстой доской, упрекая и заклиная всевидящего, но молчащего бога:

~~——— Если одна из трех высших сил язык — заговори. Неужели из всезнающего человека не вынутешь хоть одного?~~

И все другие, кто мог стоять на ногах, принялись долбить дверь досками, бревнами из-под козел, прикладами ружей, и она стала ощеряться гвоздями, железными завесками, дощатыми зубьями.

Разломали, отодрали обломки; остался лишь засов на замке. Со звериным воем, с проклятьями и мольбами полезли в пролом и побежали, спотыкаясь и надая, по-ползли на карачках, потащили друг друга по дымящемуся, измазанному кровью тюремному коридору вон, на волю.

В тюрьме стражи уже не было. Когда вырвались из своей камеры киргизы, окровавленные, недобитые, обманувшие смерть, и повалили толпой, точно мертвецы, вставшие из могил, которых не берет пуля, побежали от них и

тюремщики, и солдаты, себя не помня. Одни побросали оружие, у других его отняли, и они запрыгали, как козы, чтобы их не подстрелили.

Но в тюремном дворе десятка полтора стражников, сохранивших оружие, собрались у железных ворот, построились в цепь и стали палить упорно по тем, кто выбегал из дверей, лез через тюремный забор и метался по двору, призывая на помощь создателя и святое воинство.

Был вечер, небо заволокли тучи, быстро сгущались сумерки, и они спасли тех, кому это было суждено.

Аубакир и Сыбанкул, поддерживая под руки Узака, истекающего кровью, выбежали в тюремный двор вместе. Бежавший впереди молодой уйгур взобрался на забор и свалился по ту сторону. Они кинулись за ним. Аубакир и Сыбанкул подсадили Узака; Аубакир полез следом и потащил за собой повисшего на заборе, обессиленного Узака. И тут хлопнул рядом выстрел. Аубакир услышал, как тихо вскрикнул Сыбанкул.

— А-а... Остался я. Прощайте. — Он медленно сполз с забора и рухнул на булыжник тюремного двора.

Аубакир со стоном подхватил отяжелевшего, хрипящего Узака, взвалил себе на спину и, мыча от боли, поволок прочь от забора, на широкий пустырь, заросший сорняком. Раненое плечо Аубакира занемело, кровоточило, ноги подламывались. Вскоре он сам захрипел и повалился вместе с Узаком на холодную, покрытую росой землю, ничего не видя.

Когда же он обрел способность видеть, уже стемнело и на земле и в небе. Неподалеку за тюремным забором стреляли. Батыр Узак лежал грудью на спине Аубакира, раскинув руки, словно стараясь приксерить от пуль его и землю. Спина Аубакира была мокра от его крови.

Батыр был жив и в сознании, но не мог двигаться, а Аубакир не мог его нести. Наступила, может быть, самая трудная минута в жизни Аубакира.

Выстрелы стали реже, но отчетливей. Видно, тюремщики вышли за ворота. Может, они шли вдоль забора.

— Иди, — сказал Узак. — Постарайся уйти. Мне нельзя... Я еще обниму того, кто придет меня добить, унесу с собой в могилу.

Он лежал на спине, раскинув руки и ноги, точно воин, сраженный на поле боя, и казался огромным, как сказочный дух.

— Иди... — повторил Узак. — И не засекайся в жизни, как я... Умри за то, чтобы народу жилось. И вот что: против царя ищи друзей русских. Запомни русских.

Аубакир склонился над Узаком, с мукой вглядываясь в его лицо.

— Я не забуду... Отец, дорогой, прощай, прости... Прости, отец...

— Не жалею ни о чем, — сказал Узак. — Бекей меня ждет.

Аубакир ткнулся лицом в густую липкую лужу на его опавшей груди, встал и, шатаясь, пошел в темноту.

Неподалеку он наткнулся на троих незнакомых. Но по тому, как они схватили его и увели в глухой проулок, он понял — это свои; двое уйгуров и киргиз. Вчетвером задворками и закоулками они ушли прочь от тюрьмы и укрылись в каком-то заброшенном доме с заколоченными окнами. Здесь Аубакиру перевязали плечо. Рана его была сквозная, чистая.

Они дождались, когда Каракол уснет, и побежали, сторону гор.

Собаки нагнали на них страху. Брехали, как бешеные, на полверсты в округе и гнали за ними неотступно. Но счастью, люди на брех не выходили. И еще мешали телеги, уставленные поперек улиц, в несколько рядов, связанные задками и оглоблями, закрепленные на кольях. Это были заграждения на случай набегов с гор дико-каменных киргизов, как их тогда называли.

На окраине Аубакир и его спутники чуть не провалились в глубокую яму, пошли в обход и поняли, что это не яма, а длинный большой ров, свежевыкопанный. Для конников, задняя! Вот как, стало быть, боялись набегов. Такие задние, говорят, предстояло конать джигитам, взятым по реквизиции, против самого Кермана... Ров был по всем правилам, как на войне, против большой силы.

Аубакир сел передохнуть и горестно задумался. Стало быть, есть тут, под Караколом, такая сила? Почему же она не пришла, не перепрыгнула через ров и щетину телег на крыльях мести и геройства? Почему не вломила в тюрьму и не вырвала из лап смерти лучших, самых нужных народу, таких, как Узак? Почему не раздавила карателей, палачей на месте их страшного преступления? Почему так тихо в Караколе в эту роковую ночь, когда Узак встречается с Бекей, а собаки брешут на одиноких, чудом спасшихся беглецов? Где она, эта сила?

Молча подошли уйгуры и киргиз, подняли Аубакира и повели, дальше, в степное предгорье...

Аубакир шел и видел перед собой угрюмое лицо Узака с вынуклыми висками. Шел и с содроганьем утирал ладонью усы и губы, с которых еще не стерлась засохшая кровь Узака. Шел и мысленно повторял его последние заветные слова.

В эту ночь, только в эту ночь Аубакир, кажется, понял до конца, с каким сердцем провожал могучего старца Жаменке, а следом и сам уходил из жизни батыр Узак.

Глава одиннадцатая

Чаша людского горя была полна. Кровопрлитие в Караколе ее расплескало. Капли крови Узака, падали на травы Каркары, воспаляя ненависть. Как будто мгновенно выгорели доверчивость, благодушные смиренного рода албан. Все былые упования вызывали теперь злой смех. Никто больше не верил в мир и спасение. Одна страсть обуяла людей впервые за это бурное лето: воздать извергам правителям и уйти с этой земли, на которую легло проклятие, уйти в отчаянии, как ушли красношаночники куда глаза глядят.

Судьба красношаночников стала известна в Каркаре. В одну ночь они поднялись и побежали, как дикий зверь бежит от степного пожара, но днем их настигли солдаты. Люди бросали скот, бросали скарб, ускользя ночами, спасая детей и женщин. Что дальше случилось с ними, знала лишь степь и птицы, которые высоко летают.

Говорили глухо, что один конокрад по имени Ибрай и его товарищи, тоже конокрады, дали клятву отомстить и что Ибрай ходил по степи, как ангел смерти, и убивал.

Узнав про это, увидели черные шанки перед собой пронасть и все же говорили: уйдем... Они не знали иных путей. А пока были в родном гнезде, пока не сорваны с

корней и не рассеяны, проклинали свое стародавнее смирение, хваленое терпение и выплескивали ненависть, как будто были связаны обетом: все дни, что им осталось, лить кровь, жечь добро, губить живое.

С этим настроением ели хлеб, баюкали детей. Кусок становился поперек горла, пугались дети в колыбелях, но ничего другого албаны не знали и знать не умели. И потому мужчины готовили дубины и топоры, а женщины увязывали узлы, один-два, не больше, как будто и те были женщинами.

Всем, что имеешь, пожертвуешь ради жизни, а если нет жизни, зачем тебе все? И скот, и очаг, и земля хороши, когда жив-здоров твой защитник, твой сын, и когда ты хоронишь умерших, а не живых... Так судили и те, кому выпало отдать джигита, и те, кому некого было отдать.

Были головы, которые думали иначе, не по людеки. Но это были не люди. Это Тунгатар, Даулетбак и им подобные баи и их холопы. Им неспокойно было этим летом, как Тунгатару при встрече с братом Узак, но они молчали, как молчал почтенный Даулетбак в белой юрте Клубницкого, и таились, как таился Рахимбай в день ареста Узака и Жаменке. Бунт, как джут, — одно для овцы, другое для волка...

Что знал старик, знал и ребенок. Что говорил один, говорили все. Но никто не мог сказать, что же там, на дне той пропасти, в которую их влекло... Есть ли там земля? Есть ли там воли? И есть ли оттуда возврат? Этого никто не ведал. Об этом спрашивали все.

Немногие помнили, какое жестокое слово сказал об этом Узак, — в день, когда пронесся над Каркарой дух великого предка в образе смерча. Главные из тех, кто его слышал, были далеко — одни в узилище, другие в могиле, а малые, рядовые не смели и вымолвить слово Узака: отцам в кабалу, а детям в рабство... Нынче за это побили бы, оплевали бы как трусов и еретиков. Нынче в памяти был Каракол.

Как и накануне, когда черные шанки обрушились на ярмарку, оплакивая Жаменке, и родила лавина... денешу в город Верный, не было в роде албан человека, который мог бы возглавить его мудростью и красноречием, и вел людей по-прежнему не разум, вело сердце, крик боли из Каракола. Но на этот раз не оплакивали покойных и не страдали оттого, что те не похоронены. И молитв было меньше, и угроз, и благословений, и вообще всяких ялов. И черные шанки дивились себе, как дивятся детям, начавшим ходить.

Клич к отмищению слышен был повсюду без слов и речей.

Весть из Каракола пришла днем, а ночью сотни джигитов налетели на мелкие деревни в окрестностях ярмарки, и осветилась стена новым факелом, и на ярмарке увидели красное зарево.

Действовали в эту ночь разрозненно, каждый аул выбирал деревеньку по соседству, но в уме держали одно: первым долгом прикупить ружей и патронов. Потому что завтра (это знали все без уговора), завтра идти на ярмарку!

До рассвета висело зарево близ аулов Акбент, Желкар, Танбалы; горели избы, сараи на близлежащих займках, ревел угоняемый скот. Ни один джигит не был ни убит, ни ранен, только под пятерыми подстрелили коней. Под утро разохотились и нанали на Жаланаш. Но это была старая станица, казачья. Тут джигитов ждали давно и не подпустили близко. Жаланаш огрызался залпами, огоньки выстрелов светились, как волчьи глаза, и кони и люди на них не пошли. Неподалеку в лощине в утренних сумерках увидели повозку с принозднившимися путниками. У них были

винтовки. Их убили.

И поскакали прочь с криками:

—— Ярмарка, ярмарка! Гаунтвахта!

—— Настал день большой решимости. Грозный той, начавшийся ночью, приближался к ярмарке. Теперь собрались в кулак, всей людской силой. И тот, кто сегодня сберегал свою шкуру, был чужак. Все, что имелось хорошело в роде албан, готовили для нынешнего дела, нынешнего тоя.

Женщины в аулах не цеплялись за стремяна, старики не читали траурных стихов. Только кормили сытней, а вернувшихся из ночных набегов укладывали на часок поспать. Не было и слез умиления, таких обычных на степном ветру. Все думали о тех, кто был на волоске от гибели в ланах у Сивого Загривка, все с отвращением вспоминали, как хотели, чтобы пристав стал хорошим на чальником.

К полудню Кокжота, Зеленый долм к западу от ярмарки, покрылся тучей черных шапок. А позади их было еще больше. Тысячи.

Многие на выезженных жеребцах — самых резвых, гнедых и чалых, рыже-гнедых, сиво-чалых, пегих. Масти играли на солнце золотистой красной и белыми пятнами-лаптами.

Холм огибал быстрый чистый ручей, приток Каркаринки. Здесь поили и остужали коней те, кто с ночи не успел побывать дома. Подтягивали подруга, оглаживая, лаская тонконогих любимых своих друзей, втайне вручая им свою жизнь.

Держались отрядами человек по сто, меж ними непрестанно сновали посыльные. Командиров, кажется, было не меньше, чем посыльных, и оттого не было покоя посыльным.

Вооружены, как обычно, дубинами, копыями и лунообразными топорами-еекирами. Топоры сверкали, сияли, как луны, копыя торчали, как волосы на богатырской груди. Были еще соилы, незаменимые в рукопашной. Соил для казака — то же, что сабля для казака, возлюбленная сестра.

Но понятно, что сегодня взяли и ружья, все, что добыли. Винтовок было немного. Большой частью берданки и охотничьи одностволки, двустволки, заряженные дробью и жаканом — на птицу и архара. Взяли револьверы, их держали за пазухой; из этой штуки далеко не достанешь, камень и тот дальше запуститшь, однако она стреляла. А сегодня нужно, чтобы побольше было стрельбы. Нужно нагнать страху... И уж джигитам, как пробьет час, лететь пулей, чтобы не успели кони испугаться огня. Иначе не подступитесь, как к Жаланашу...

Что еще будет нужно — не знали. Но сегодня люди верили в себя и рвалась в бой. Хотели посмотреть в глаза косой, как давно обещались.

Среди вожakov нашлись все же такие, которые объезжали все отряды, все воинство. Это Баймагамбет, Жансеит, Кокбай, Картбай. Их можно было принять и за штаб... Что же они делали? Говорили речи.

Долго, пламенно, с воодушевлением говорил дерзкий мальчик Картбай, зажигая людей. Он к месту вспомнил, как упустили джигиты конвой, увозивший в Каракол Узака, Жаменке, Аубакира...

Однако лучше всех сказал веселый могучий Кокбай, и его слушали потому, что он последний видел Узака у Меченого Камня и видел Серикбая, за которым его носил Узак.

—— Уа, джигиты, пусть поведут нас духи предков, да будет удачным наше

дело... Сегодня все тут, все заодно. И стар и млад. Неужели не выдюжим вместе? В самое сердце ударили нас в Караколе. Нет больше мочи терпеть надругательство, иго воловьё, кнут воловий. Пока мы вместе, как жили вместе — умрем вместе! Биться до последнего! Умрет тот, кому суждено. А умирать, так на этой нашей земле, за вашу волю, за нашу честь, как хотел Узак! Кто из нас лучше тех, кто гибнет и гибнет за нас? Кто из нас может так дальше жить? Не будем драться — не видать нам светлого дня. Никогда мы так низко не падали, как вчера, никогда так не возвышались, как сегодня. В добрый путь, братья! — закричал Кокбай и по старинному воззвал к древним славным казахским родам: — Где вы, уйсуны, албаны, кинчаки, арғыны, керей и канлы?.. Где вы, духи предков Раимбека, Саурука?... В добрый путь с нами!

И так это было всем понятно, близко и дорого, что тысячи голосов подхватили клич Кокбая. И в ту же минуту словно бы незримый полководец махнул рукой, сказав: Вперед. Все тронулись, подняв знамена...

Черные шанки с глухим, низким, будто подземным гулом перевалили через Зеленый холм, развернулись пошире, покрылатей, в одну минуту разогнались и теперь уже с высоким раскатистым грохотом понеслись во весь опор, во всю мощь своих боевых коней вниз, на кучку спичечных коробков, которая называлась ярмаркой.

Стена пыли до гор, до неба поднялась над стенью.

Хорошо шли кони, прирожденные скакуны, выкормленные не в конюшнях, а в вольных диких косяках своих отцов, отобранных самой природой, на буйных травах Каркары! Эти они любили и от роду знали такой ураганный, звериный, бездорожный гон, как будто наперегонки с волком, когда сам бог-ведник отдается тебе. И хотя они не чувствовали узды, все же правно взмахивали головами, чтобы гривы летели, и со злостью клевали мордами, словно грызя себе колени.

Какой, к черту, выстрел или залп услышишь сквозь этот гром, когда земля раскальвается, как в час землетрясения, и кажется, скалы катятся с крутизны, срываясь, как беркуты на взлете, заелоня и изламывая стеной горизонт.

Ее и не слышно было, стрельбы. И не видно было дымков от выстрелов. Ярмарка была нема и словно пуста. Ярмарка не стреляла! А до нее уже с полверсты, не больше...

Так и не услышали джигиты ни одного выстрела. Лишь кони услышали сбоку, «правым ухом, ровную, мерную, частую стукотню, похожую на сердитый клеткот, и не испугались ее. Но перед лавиной вадников повисли невидимые, остро свистящие нити. Точно ветром подуло... И передние пятеро, десятеро джигитов вдруг полетели на всем скаку через головы кувырком, как игрушечные. А следом еще пять, девять. И еще и еще...

Длинный беспорядочный пятнистый вал лежащих и бьющихся коней и людей вытянулся на зеленых травах в полуверсте от ярмарки. Многие просекали эту полосу, с ужасом оглядываясь, а она все расширялась, и поваленных коней и людей все прибавлялось. Долгое горькое конское ржанье...

И еще не опознавая, что это значит, не видя, что за сила валит и валит передних, лава вадников стала круто сворачивать влево от ярмарки, немислимо теснясь, чтобы не затоптать лежащих.

Осаживая коней, посынались назад и джигиты, проскочившие страшную полосу. И они-то увидели, что лежат неподвижно убитые, а бьются раненые.

Пристав знал про себя, что у него в голове в одно и то же время уместается лишь одно соображение. А у следователя, канальи, несколько! Этим летом пристав научился слушаться советов, а у следователя их был полон рот.

По этой причине Сивый Загривок загодя, еще до экзекуции в Караколе, сделал три дела.

Прежде всего собрал телеги, брички, возки и арбы, кои имелись на ярмарке, конфисковал их у купечества, собравшегося было в отъезд, как военное имущество и загородил ими проезды и проходы к базару, канцелярии и гауптвахте, связав ремнями и заякорив кольями, в точности как на улицах Каракола. Оноясаея двумя рядами. Управился в один день. Запряг в это дело господ и слуг, как фельдмаршал.

Другое дело было двойное. Во-первых, послал он надежных ребят из казахов пригнать отару другую овец из любого ближнего аула... Это на случай осады ярмарки — кормить. Во-вторых, послал пригнать табун ездовых лошадей пополнить свою конюшню, чтобы было кого впрягать в телеги, брички, возки и арбы, Это на другой случай, если придется вдруг бежать поспешно. Следователь именовал это ретирадой.

Третье дело было такое, за которое вполне могли отозвать с должности. Денешу в Верный, пренаглейшую, сочинил Следователь. И в ней просил... просил невозможного! Но из города Верного последовала чисто генеральская милость: необыкновенная, из вороненой стали вещичка в брезентовом чехле, в повозке с ееном, под усиленным конвоем, и казенная бумага о том, что за утрату этой вещички, в том числе в бою, равно как и за порчу ее, в том числе неумышленную, господин пристав подлежит военно-полевому суду.

— Сей же час спрячу, — сказал пристав, с оторопью глядя на генеральский дар

— Сей же час донесу, — пригрозил следователь, протирая очки.

Но когда на другой день впервые в жизни увидел Сивый Загривок, что творят длинные пулеметные очереди, как кувьркаются конники и отступает конная лава, возвеселился, возликовал, запрыгал за телегами.

— Руби! Коси! Вали! — орал он. Повернули... Отходят... Бей их (в спину, гони... Ах, боже ты мой! Стучишь в час по чайной ложке... тянешь, как неаломщик...

— Грех тебе, барин, ваше благородие, — сквозь зубы выговорил первый номер, старый казак. И тут же уткнулся лицом в выроненный короб.

Он был убит пулей в голову...

Вес, кто торчал за телегами, сели. И военные и невоенные понимали, что это не шальная пуля, а из метких меткая — но откуда же выстрел? Вплоть до дальних лощин, вплоть до обрыва над Каркаринкой была зеленая гладь.

— Это русский... — крестясь, сказал пристав.

Кокбай скакал впереди всех на своем длинном коне, крича во все горло, когда его конь грохнулся оземь и он сам вылетел из седла вверх, в небо, как душа из тела в смертный час. Очнулся на земле. Тишина, в башке конское ржанье. Спросил бога, берет ли он его. Нет, как будто бы живой. Нашел глазами своего коня — тот уже оскалился навек. Встал кряхтя, раскорячась, как старый дед. Отыекал в пыльной траве свое ружье. Огляделся — лежат, стонут люди, кони.

Откуда-то кричал злой голос:

— Иди сюда! Беги сюда! Пригнись... Ложись...

Кокбай понял, что кричат ему и что по нему стреляют. Ноги подломились, он свалился.

В стороне Каркаринки серо светились голые камни. Из-за них выглядывал незнакомый джигит с красным, как медь, лицом. Это он кричал. Кокбай пополз к нему на карачках.

За камнями были еще десятеро незнакомых, и Кокбай поразился: все с ружьями!

В башке стихло конское ржанье, Кокбай вдруг снова услышал тяжкий топот и увидел справа от себя изогнутую дугой лаву конников. Она откатывалась, но кони, люди все падали и падали. Лава оставляла за собой широкий пятнистый след конских и людских тел.

— Что это? Отчего это? — завизжал Кокбай, как баба.

Краснолицый не отвечал, а другие повернули Кокбая лицом к ярмарке, показывая на свои уши. И тогда Кокбай услышал стук, похожий на клетот.

Все смотрели на краснолицего. Тот лежал за камнем и целился в самый дальний левый угол ярмарки. В руках у него была настоящая винтовка. Целился он долго.

Выстрел! Клетот умолк...

— Ага! — Вскрикнули десятеро негромко.

Краснолицый оскалил волчьи зубы и сказал Кокбаю, показывая на лаву (там перестали валиться конники):

— Поломот называется. Махеум. Кабы не прыгал за телегами ваш Сивый Загривок я бы этого Махеума не нашел... Поломот! Тыща нуль за одну минуту. Кермана хорошо бьет.

— Кто ты? — спросил Кокбай.

— Узнаешь... Ходить можешь? Беги низом, Каркаринкой, к своим. Пусть подберут раненых. Но чтоб на конях, летом. И все врозь, с разных сторон. Каждый подсаживает одного. Понял? Скажешь — будут по ним стрелять, не бойся, мы прикроем. Мы для них тоже поломот... Но чтоб как я говорю! Пока пристав сидит под телегой... Ступай. — И пригнул Кокбая головой к земле.

Кокбай ящерницей дополз до реки и под высоким берегом побежал к Зеленому холму, отыскал в невообразимой сутолоке Баймагамбета.

Они оба отлично умели исполнять приказы, много лучше, чем их отдавать. Не прошло и четверти часа, как выскочили несколько десятков всадников и редкой ценью понесли к страшной полосе и стали подхватывать раненых, как велел краснолицый. Брали людей с ходу, с ловкостью и быстротой джигитовщиков, как козла на козлодранни.

На ярмарке под телегами не сразу смекнули, что там за беготня посреди поля, а смекнув, подняли стрельбу, беглую, раздраженную, но им внезапно ответил такой собранный, прицельный и меткий огонь, что под телегами прижались к земле.

Огонь не давал поднять голову. Огонь был неизвестно откуда.

Кокбай и Баймагамбет, и другие тоже стреляли — с коня, и на скаку, и с места, и казалось, это они задавили стрелков под телегами. Но казаки, старшие, бывавшие в деле под Мукденом и Лаояном, искали противника не на коне и не на горке, ибо тут где-то был истинный противник.

— Винтовки, ваше благородие... Окунались, ваше благородие... — В голосах

ельшалось уважение.

Пристава это взбесило, он заорал, но тут же убрался в ближайший дом, уезжая:

—— Погон твой, как риза, ваше благородие, далеко видать...

Это его и спасло.

Джигиты унесли раненых без потерь. Их, впрочем, не преследовали.

За щиток пулемета лег новый первый номер, тщательно выцелил серо-свежащиеся камешки в стороне Каркаринки и нажал гашетку. Пулеметчик трясся и матерился, удерживая прицел, пока не вышла вся лента. Над камнями взлетел вихрь осколков... Но там уже не было людей.

Краснолицый все предвидел и не стал дожидаться — ушел, сам одиннадцатый, цел и невредим, как и пришел.

Пулемет пощупал своими свинцовыми плетями еще обрыв над Каркаринкой, дальние ложины, кустики, бугорки, но не нашел того, кого искал. Хлестнул он и по Зеленому холму, где виднелись черные шапки, достал одного, другого, но оставил лишь синяки и теплые, остывающие в руке пульки на память. В такой дали огонь терял убойную силу.

Долго искали краснолицего и джигиты и уже думали, что погиб, когда он опять окликнул у реки Кокбая точно из-под земли:

—— Чего бродите? Что надо?

—— Тебя надо...

—— Не ходи ко мне, иди прочь!

Кокбай понял, ушел и подобрался к нему сзади незаметно. Краснолицый и его десятеро оказались на месте, где их и не искали, но отсюда ярмарка была видна до самой канцелярии. Лежали эти люди за мягкой морщиной земли, точно за каменной стеной.

—— Ладно, — сказал краснолицый. — Ходить-то можете? Спешиться пора! Поломот конного глотает, пешого жует пополам с землей. Понял? Пусть конные не трогаются с места. До них дело дойдет... Возьми только пеших с ружьями. Обойдешь с ними ярмарку, встанешь на всех дорогах. Побольше ставь на этой, которая в Жаркент. Но чтобы, как я! Не видно, не слышно. И чтобы не бухали в белый свет. Выстрелом его не пугнешь, он не лошадь, — пулей пугай! Надо бы продержат их до вечера. Чтобы и в голову не стукнуло развязывать повозки. А ночью поломот сленной! Вот тогда садись на коня и ломи... Так я говорю?

—— Так! Вот это дело! Где ты был раньше?

—— Я везде... Я тут...

—— Слушай, а хватит у вас зарядов до вечера?

—— Свои сосчитай. Мы пулять зря не будем. За нас не беспокойся.

Кокбай почтительно крикнул:

—— А вы... а вы и есть настоящий мужчина! Любуюсь вами! В добрый путь...

—— Ладно. Хвалить будешь после. Ночью поемотрим...

Иди живей. Иди. — И опять с силой пригнул Кокбая головой к земле.

С этой минуты Кокбай забыл про коня и стал ползать со злым удовольствием, чего раньше стеснялся бы, над чем от души посмеялся бы как прирожденный конник, начавший ездить верхом прежде, чем ходить.

И Баймагамбет, и Картбай, и смешливый Жансеит дивились краснолицему Шайтан!

—— Поломот! Конного глотает, пешего жует... А?

Его слова приняли как приказ. Со всех отрядов набралось шестьдесят стрелков. Их осадили с коней, развели и расставили скрытно по пятку, по полдюжине со стороны девяти дорог, а больше с той, которая на Жаркент, точно так, как он велел.

И вскоре после полудня на ярмарке почувствовали, что она окружена. Отовсюду стреляли, особенно с севера и запада. Огонь был не сильный, но расчетливый, не на испуг, а по цели. Правда, винтовок почти что не слышно, но и стрелков не видать, а и дробь и жакан тоже не сахар. Теперь повсюду стоял противник — на огневых позициях...

Пулеметчик потерялся. Куда смотреть? Кого подавлять? На ярмарке не было человека, который мог бы назначить ему цель. Рассыпались и солдаты, и казаки, ведя огонь вкруговую, по своему выбору и рассуждению.

Пристав сидел в канцелярии, потому что среди тех немаканных был один такой дьявол, что страсть... А может, он и не один? Он стрелял редко, из разных мест — он искал пристава. Окна в канцелярии были разбиты вдребезги.

Кокбаю хотелось бы найти краснолицего, спросить, доволен ли он. Но что ж его отрывать от дела? Да и не найдешь, пока он не окликнет. Надо думать, что доволен, раз не окликает...

* * *

С ружьями ушли лучшие, самые стойкие, ушли и вожаки. Там, вокруг ярмарки, были десятки, здесь, у Зеленого холма, тысячи. Там воевали и видели врага под телегами, прижатого к земле, огнем. Здесь ждали ночи и видели своих раненых, кричащих, умирающих. Одних увезли в аулы, других страшно было тронуть, нельзя поднять на коня — в каждой кишке у человека по пуле. Сотни и сотни джигитов говорили о том, что им суждено было пережить в полдень.

—— И что же это такое стреляло? Это и есть ихняя пушка? Наверняка она самая, пушка...

—— Треклятая, ни на миг не умолкала. Хоть бы чуть-чуть передохнула. Да нет!

—— Как треснет, так нуля... Как треснет, так нуля... Как будто ее слабит.

—— Молись богу, что снались. Как мы все не полегли?

—— Один, говорят, красный заткнул ей глотку.

—— Какой еще красный? Болтай! Чем ты ее заткнешь? А как она потом жарила, видел?

—— А это она по тому красному, по одному... со злости...

—— А что же от него, одного-то, осталось?

—— Кто его знает... Каша красная...

—— А говорили, нет у него никакой пушки. Сам слышал: пушку не спрячешь, она как юрта... Видать, наш пес, хороший начальник, уж постарался для нас, дураков.

—— Нет у нас ни у кого даже берданки. На худой случай — голы и сиры перед ним, как перед богом. Разве его голыми руками возьмешь?

—— Да, не похоже, что он дастся нам в руки. Хоть нас сотни, хоть и тысячи

— всех перебьет его пушка.

—— Говорят, не пушка... Кто выдумал, что пушка?

—— И впрямь не она. У пушки одна пуля. Куда бухнет, там яма. А тут что-то другое.

—— Что же другое? Как тогда называется эта собака? Знает кто-нибудь?

—— Говорят, что поломот...

—— Чего, чего? Мильный... Такого не бывает!

—— А все-таки говорят. Будто бы как он ни страшен, а пешего боится...

—— Сказал! Видели мы, как он боится... Ты-то пешего боишься? Порешь что понало.

—— А тебе не все равно, как он называется? Хоть бы и не пушка, что из этого? Режет по десятку, по два разом, как коса... Это тебе не яма?

—— Да я что... я, как скажут...

Один из отрядов держался особняком от других. Он и в лаге шел последним. Теперь же отмалчивался. Отряд большой.

Это альжаны, они входили в род албан, как и красношаночники, но тех любили, почитали, а эти были не в чести, а стало быть, и в обиде. Красношаночники жили кучно, в богатом урочище Асы, альжаны — разрозненно, в разных волостях, жили бедно и сами себя считали слабыми, хотя было их много и звались они крепкими душами. Поговаривали давно, что вовсе они и не албаны, их чурались.

Худо тому в роду, кто не свой кровный. Недаром из двух толмачей ярмарки Осана слушали, а Жебирбаева нет — все же подлец Осан албан, а подлец Жебирбаев не албан...

В свою очередь, и альжаны сторонились черношаночников, шли за ними с оглядкой и были себе на уме. «Где черным шанкам сливки, нам сыворотка. Делаем одно дело, а нам пот, им слава. Сделаешь хорошо, скажут — албан; сделаешь похуже — альжан!» Так они говорили, и говорили правду. Так оно и было.

И потому сегодня после полудня, когда Кокбай стал собирать и уводить людей с ружьями, из отряда альжан не спешился ни один человек. Там не было ружей, не было и желающих идти пешком в засады, как велел некий никому не известный красный, которому, однако, верили как однородцу, а альжанам нет. Позднее, когда стали томиться, ожидая ночи, — все ее ждали, чтобы налететь на ярмарку, а альжаны — чтобы уйти. Может, подались бы они и днем, кабы ведать, что пристав не догонит их из своей пушки. Как выскочишь из-за холма, тут и споткнешься. Пушка, она достает на три версты; от нее не укачешь.

В споры альжаны не ввязывались. Отворачивались, отходили. Что проку? Тебя же облают. Скажут — альжан! А когда оставались одни, говорили вполголоса, безучастно, безнадежно:

—— Бесполезное дело. Лезем на рожон. Не о том надо думать.

—— Пусть другие как знают. У них своя голова. Вон их сколько!... А много ли нас? Уйдем, пока целы.

—— Верно, уйдем. И не заметят... Что им до нас? Мы для них — сорняк.

—— Все равно худо и так и этак. Ну, ушибем этого правителя — всех правителей не ушибешь. Оттого, что воюем, мира не будет. Ну, скажем, тут победили, а дальше? На ярмарке и всего-то человек сто — двести, а там?

—— Попробуй сперва одолей этих...

—— То-то что вряд ли. Скорей они нас. Бог знает кто кого.

И так же, как в перепалках альжан задевали черные шапки, принялись они сами задевать за живое токтасынов, которые были в их отряде. Этих бедняков не наберешь и полтора десятка, они не албаны и не альжаны... Вот и клевали их, как гуся уток. Альжаны допытывались, с кем останутся токтасыны. Все же совесть была нечиста, стыдно было.

Тем временем перестрелка вокруг ярмарки ослабела. Обе стороны словно не пытались друг друга. Солнце ниже, выстрелы реже. С гор наплывала вечерняя тень.

Кокбай и Жансеит вернулись к Зеленому холму, покрытые солдатским потом, с жадностью напились из ручья, осушив его наполовину, окунули в него горячие головы. Дула их ружей были закончены, а сердца обожжены первым, желанным и нечаянным воинским успехом.

Их окружили, стали тискать, трясти, как после долгой разлуки. Но странное дело: о чем они расспрашивали? Как будто бы Кокбай и Жансеит ходили пить чай к госнодину пристава, а за чаем вынытывали, что у него за оружие...

—— Что с вами такое? — удивился Кокбай. — Ни один не поздравил... У нас, почитай, на всех чапаны и шапки порваны пулями.

—— А что? А как? Из этой самой пушки? — посыпались вопросы.

И тут же все закричали наперебой:

—— Я говорил, это что-то зачатое! Как вы живы-то остались?

—— Небошь они двое одни и остались... Будто мы сами не видели своими глазами?

—— Много ты видел, спал тут под кустом задницей кверху!

—— А ты где спал? Нашлись тоже учителя божьи на наши головы!

Теперь кричали и альжаны со старой, накипевшей обидой, словно ища в ней оправдание своему неверию, малодушию.

—— Сами знаем, может, и не пушка, да одного с ней рода, богом проклятого...

—— Во, во! Пушка албан, а это альжан...

—— Эх! — сказал Кокбай, тряся над головой ружьем. — Вояки... Жаль, нет здесь того краснолицего... Не видели вы настоящего джигита! Он там... Он один держит Сивого Загривка на свинцовом аркане! Некогда ему с вами чесаться... Джигиты притихли. Тогда принялся за дело Жансеит. Сегодня он был весел, и язык его остер, как в прежние времена. Казалось, он опять влез в свою шкуру и колотел, как еж. Он в два счета высеял все страхи и всю дурь и толково объяснил, что такое поломот, зачем спешивались с ружьями и зачем сядут на коня ночью. Кетати обрисовал, как красный побил стекла у пристава и, говорят, очки у следователя...

—— Жду нынешней ночи, как после свадебного тоя. Кровь в жилах стоит, ей-богу! Эту вот ярмарку в пепел! Сварим в огне. Я не перекочую отсюда, пока не вынью ее черного суна.

Неожиданное зрелище отвлекло их. Не далеко и не близко, со стороны Ширганака вдоль лощины не быстро и не медленно шел табун лошадей... Не сразу джигиты сообразили, что табун идет к ярмарке, потому что никто его вроде бы не гнал. А как сообразили, закричали:

—— Это же они! Солдаты! Идут по лощине!

—— Они гонят, они. Вот они.

—— Разграбили Ширганак...

~~И в самом деле это был наряд пристава, посланный за тяглом. В наряде пятнадцать нижних чинов во главе с самим урядником Плотниковым.~~

~~Еще утром он был на ближайшей летовке, где теснилось в удобном месте с десяток аулов. Урядник, старый кавалерист, сам вызвался в этот наряд и лично отобрал в аулах отменно выезженных коней, жеребцов, сытых яловых кобыл — всего голов около ста. Между делом попался ему на глаза, конечно, случайно — такое добро прячут, как ларцы с золотом, — редкостной стати конь; Плотников велел его оседлать. Видно, хозяина не было дома, а то бы как знать... вряд ли взяли бы... За такого коня можно и жизнью рискнуть.~~

~~В полдень, услышав пулеметные очереди, Плотников смекнул, где хозяин коня, и несколько часов отсиживался в горах. Когда же стрельба поутихла, решил он проскользнуть мимо Зеленого холма. И глядишь, проскользнул бы, если бы не пожадничал — бросил табун...~~

~~Бросить его пришлось все равно. Нанерез летела сотня джигитов.~~

~~Вся надежда была на пулемет. И он заговорил, но больше для острастки. Пулеметчику было не с руки... Он пытался открыть отсечный огонь, но урядник и его люди сами пошли на огонь, боясь, что их отсечят в степь. А потом джигиты и солдаты смешались...~~

~~Кинулись было на выручку казаки с ярмарки, но недружно, не готовы были... Первых, самых расторопных и шустрых, перемахнувших на конях через телеги, завернули стрелки из засад, люди Баймагамбета и краснолицего, а дальше уже поздно было.~~

~~Скоро сделалось дело. На виду у ярмарки, в чистом поле, при свете дня заварилась рукопашная, наконец то рукопашная, долгожданная, когда человек, и конь, и дубина, и земля под ними одно живое целое.~~

~~Поначалу было все чин чинном, никакого беспорядка. Урядник скомандовал, пошли шашки вон, и его ребята, орелики, лихо приветали на стременах с клинками на вытянутой руке — люди, тоже не лыком шитые, мастера рубки, которых толпой не испугаешь, хоть и сотенной. На них и не шли толпой, чтобы не мешать друг другу, впереди было десятка два... Выбирай!~~

~~Но попробуй достать клинком всадника с соилом, если его дурацкая оглобля не подпускает тебя на удар, вертится, мелькает, как мельничные крылья, и лунит, подлая, точно привязанного, по коленкам, по локтям, по башке. Дерется, бес, убегая! Он бежит, а из тебя дух вон.~~

~~Кокбай влез в драку первым, вылез последним, без шанки. Ухо, что ли, было у него рассечено?~~

~~Прорвался на ярмарку только один бородач с глазами сокола, ранивший пятерых джигитов. Он рубился двумя клинками — с правой и с левой...~~

~~И еще удрал урядник.~~

~~В самый разгар схватки вдруг закричали: «Матай улы! Матай улы», — увидев его, известного всем албанам жеребца, рыжего, с белой гривой и с белым хвостом, победителя всех скачек, и аульных и ярмарочных. Однако в седле был не Матай, а Двухбородый!~~

~~За ним погналась половина сотни. Жансент — на лучшем скакуне из табуна толмача Оспана. Шли вилотную, а по краям — заметно впереди урядника, окружая... Но красавец конь привык уходить от соперников; ушел и теперь, играючи, как от~~

нених.

~~Все это видели джигиты с Зеленого холма. Видели рукопашную, и у многих чесались руки. Видели, что поломот, который все время бешено стучал, никого не экосил, зря стучал. Застоялись кони, засиделись люди... И когда Жансеит погнался за урядником, не выдержали. Что такое полвереты для конника? Несколько шальных голов бросились вперед, вдогонку. За ними хлынули остальные...~~

~~Тщетно кричал не своим голосом Кокбай, скача им навстречу. Они не понимали его и растоптали бы, если бы он не пошел впереди них...~~

~~На ярмарку! На ярмарку! Опять покатила конная лава...~~

~~Дорого обошлась эта вылазка, дороже, чем в полдень. Обманул поломот... Человек пятьдесят — шестьдесят остались лежать на лугу в крови, в черной пыли, и среди них Кокбай.~~

~~Остальные спешились за холмом — ни живые, ни мертвые.~~

~~Все было потеряно, все потухло — и порыв, и бесстрашие, и вера. Под вечер Баймагамбет и Картбай вернулись из засад и с ними самые сильные, самые храбрые. Но и их слушали — иные молчком, а иные ронца. Многие плакали — кто по брату, кто по отцу, кто по сыну. Эти уже в бой не пойдут. Глядя на них, жить не хотелось. Были повстанцы, стали плакальщики, смиренные, богобоязненные.~~

~~Альжаны нетерпеливо поглядывали на закат, торопили вечернюю зарю. Но когда стемнело, недоисчитались не только их, зашевелились все отряды, и на Зеленом холме осталась, может быть, одна треть из тех тысяч, что были утром.~~

~~Сопливые командиры оставшихся отрядов и повели такой разговор:~~

~~— Для первого раза не хватит ли? Сыты по горло и люди и кони. Давай лучше завтра утром, пораньше. Тут и пожрать нечего... и поспать негде... И раненых надо увезти. Лучше бы завтра. Всего лучше — завтра!~~

~~— А мы что, сюда спать пришли? Зачем мы ждали ночи? — вскипел Жансеит.~~

~~Но Баймагамбет и Картбай молчали.~~

~~С Жансеитом заспорили вяло, неохотно и, так ни к чему не придя, ни о чем не говорившись на завтра, препираясь на ходу, стали разъезжаться. Раненых подобрали их близкие.~~

~~К тому времени, как должно людям ложиться спать, у Зеленого холма не осталось ни одного казаха.~~

~~Ночью, когда взошла луна, прежде других отыскал на лугу Кокбая человек с красным лицом и с винтовкой.~~

~~— Ты? Жансеит? — прохрипел Кокбай.~~

~~— Эх, брат... Своих не признаешь? А мы с перевала Асы...~~

~~Кокбай схватил его за плечи, за голову, притягивая к себе, обнимая.~~

~~— Ибрай! — вскрикнул он перед своим последним вздохом.~~

~~***~~

~~На ярмарке крепко перетрухнули в тот день и штатские и военные.~~

~~Начать с того, что хватило у повстанцев пороху — палить целый день! По всему судя, оружия много... И стрелки были упорные, настырные, бог знает кем обучены. А какая свирепость, дикость! Даже на пулеметный огонь рвались толпами... Дьяволы, а не люди. Какое там смирное племя! Конечно, у страха глаза велики, но ведь их и вправду тьма...~~

~~Господин пристав был на грани истерики. Скрепя сердце, умирив гордыню, он накинул на плечи какую-то крылатку без всяких знаков различия, ибо погон у него, как риза, а канцелярия засыпала стекольными осколками... За ним охотились, как за царем-освободителем Александром II... И что там ни говорите, стрелок был русский, каторжник, студент! Тут нахло такой политикой, что боже унаси. Не нашего рассуждения-с.~~

~~Помимо того, раненых на ярмарке полно, а при них один фельдшериска и тот татарин.~~

~~Увидев, как чудом унес ноги урядник Плотников, пристав захныкал, просто так сел и захныкал, и денщик подал ему носовой платок. Одним словом — бежать! Дотянуть как-нибудь с грехом пополам до ночи и, так сказать, под покровом... Иных соображений в голове пристава не имелось.~~

~~Следователь бубнил ему в уши что-то свое, кажется, что ночью будет то и се, прошу прощения, атака. Пристав отмахивался от него платочком.~~

~~Ничего ночью не было. Все стихло, все замерло. Замерла и ярмарка. Час битый после того, как стемнело, пристав еще ждал и скулил, жалуясь на разврат, поскольку следователь, почему-то с биноклем в руках, и урядник стояли рядом и не давали ему встать с плетеного, очень жесткого кресла. Никакой атаки, однако, не дождались.~~

~~Тогда ярмарка ожила, завозилась, запоношилась, впрочем, нешумно и не зажигая огней. Развязанные телеги, брички, возки и арбы живо разошлись по рукам. Их заложили. Погрузили имущество, железный ящик с бумагами и кое-какими казенными и личными ценностями, устроили в отдельном экипаже при эскорте, точно их превоеводительство, пулемет и хорошенько смазали все оси и рессоры, чтобы не скрипели.~~

~~Образовался длинный обоз. Потихоньку по бодрящему ночному холодку выбрались на темную дорогу, ведущую в Жаркент, и покатали с богом.~~

~~Опустела канцелярия. Опустела и гаунтвахта.~~

~~* * *~~

~~Накануне добрый Осан ездил, сопровождая следователя, в Саржаз. Следователь прихватил с собой и толмача Жебирбаева. В Саржазе был убит важный чин — член правительственной комиссии, которая отбирала лошадей для государственных военных нужд. Какой-то безумец размозжил ему голову, когда он выходил ночью по малой нужде. Четырехглазый расследовал это дело, но не нашел преступника, а нашел преступников, как он сам сказал.~~

~~Нюх у следователя был собачий. Он почувал, что назревает в аулах, и быстренько убрался из Саржаза, свернув допросы и попрощавшись с преступниками как возможно любезней.~~

~~На обратном пути на одном из никетов следователь отделался от толмачей под тем предлогом, что им будто бы не хватило перекладных. Смысл был — испытать молодцов, дав им отстать вдвоем без охраны.~~

~~Они отстали на сутки, но поехали на ярмарку и были уже по эту сторону Каркаринки в полдень, когда повстанцы пошли с Зеленого холма в первый налет. Толмачи умчались прочь в степь.~~

~~Встретились им знакомые, кое о чем рассказали, расспросили. У всех на языке было одно:~~

— Ярмарке крышка... Поедете туда? Или домой?

Оспан и Жебирбаев бормотали себе под нос всякую несурезицу, сказать им было нечего, а когда знакомые отъехали, погнали коней назад и проскочили на ярмарку прежде, чем джигиты окружили ее засадами.

Сивый Загривок давно уже косо смотрел на толмачей, не подпускал к себе, как ни старались они попасться ему на глаза. Теперь же, увидев Оспана, похлопал его по плечу, потом по щеке.

— Смотри-ка... А я думал, ты сбежал к своим. Ты здесь, оказывается? Ах ты стерва... Смотри-ка!

Вечером, когда стрельба вокруг ярмарки утихла, к Оспану подошел следователь.

— Желательно бы знать из первых рук, что они там затевают. Не исключая, что ждут только ночи... только ночи... Вы поняли меня? Жебирбаев не годится. Ни на кого больше не полагаюсь...

— Я с радостью! Я узнаю, — сказал Оспан.

— Я так и думал. Если они готовятся и хотят напасть, спокойно удалитесь и в течение часа жгите костер слева от холма, подальше, небольшой... У меня бинокль, я ваш огонь увижу. А сами скачите назад долиной...

Оспан влез на коня и поехал круглым путем, готовясь врать не на жизнь, а на смерть. Но когда он добрался до Зеленого холма, там уже никого не было, а когда опять круглым путем вернулся (под конец ползком, отогнав от себя коня, потому что слуга кто-то его окликнул и погнался за ним), никого не было на ярмарке.

Страшная картина представилась Оспану в лунном, свете на базарной площади.

Пристав принае на случай осады отару овец голов в пятьсот. Перед отъездом в Жаркент он распорядился:

— Ну, гнать их некому... и это медленно... Режьте, да порезвей, сколько кому нужно. Всем разрешаю!

И началась бойня. Каждый служащий, торговец, толмач, слуга — все, кроме солдат, хватили по одной, по две овцы и задирали им морды.

Увезти все с собой в Жаркент, конечно, не смогли. Разделать, сварить — когда же? Так и бросили окровавленные, вываленные в пыли тушки где попало, где пришлось. И их уже рвали вмиг одичавшие ярмарочные псы.

Без дрожи заколет настух барашка в котел, но и без дрожи своим телом прикроет от волка, согреет в метель и стужу новорожденного, выходит его ослабевшую мать. То, что было сотворено на базарной площади, могли сделать только торгаша да волки.

Даже очеретевшее сердце Оспана вознегодовало.

— Ну под хвост... Пропало все зря.

Но затем потянулось это сердце все-таки в Жаркент. Хотелось Оспану поскорей глянуть на пристава, на следователя подобострастным взглядом, схватить на лету их высокомерный кивок, не замечая, что они его сторонятся, как погани и заразы, будто он не человек, будто он не служащий! Честолюбив был Оспан, отнюдь не, безволен, но этого ему хотелось, как жене, брошенной мужем, — догнать, кинуться в ноги, под нинок и плевки.

И, наверно, небо вняло его мольбам. Перед утром въехал на ярмарку какой-

то заблудившийся перепуганный кунец татарин. У него язык отнялся от того, что увидел он там, на лугу... Телега у кунца, однако, была исправна, конь сытый. Оспан без лишних слов подобрал две овечьи тушки посвежей, поделал в телегу и повернул коня на дорогу в Жаркент.

Єярмарки укатили благополучно.

Верет через пять-шесть увидели пообочь дороги трупы людей. Одни лежали в пяти шагах, другие в пятнадцати, как будто пытались бежать перед смертью, одни поврозь, другие по двое, по трое, как будто умирали, обнявшись.

На спине лицом на восток лежал Єерикбай. В него стреляли, видимо, в упор, и короткие его волосы на правом виске были опалены. Дырка величиной с медяк зияла на черепе. Запекшаяся кровь почернела. Но на лице ни следа страха и смущения. Брови насулены. Между бровями стрелой прочертилась длинная морщина. Это морщина гнева и достоинства. В сжатых губах решимость — суровая, холодная. Во всем лице, еще молодом, не постаревшем после смерти, сила правоты и чистота.

Кто-то покрыл его тело серым чананом. Чьи-то почтительные добрые руки. Этот человек обещал в час беды раздать свое имущество, но час беды настал, а он мертв; ему нечего больше отдать.

Рядом лежал Турлыгожа, который своим трубным голосом мог свалить быка, друг и соперник Єерикбая в мужестве, чести и красноречии. Лежал он лицом вниз, открыв рот, словно хотел поведать родной земле свое последнее, заветное. Наверно, его недобили и он еще долго ворочался, говорил с ней, умирая.

Смерть схватила этих людей безобразная, предательская, как и их братьев в Караколе, но они умирали с верой, что гибнут за народное дело. Дерзкие у них были мечтания... Их красноречие вдохновляло... Жертвами народного клича называли этих людей.

Мимо них, мертвых, без остановки проехал Оспан, и теперь в его сердце не было негодованья, как при виде зарезанных овец. Он ехал в телеге торгаша, волочась за теми, кто превратил этих людей в трупы. Это было издевкой над мертвыми. Он марал их тела, как стервятник.

Сейчас он спасал свою шкуру, ибо он предал, и об этом кричали ему убитые, но совесть его молчала, он не раскаивался. Благоленно, молитвенно он огладил ладонями лицо, но лицо его было спокойно, чудовищно спокойно. Ни тени еострадания, скорее любопытство. С интересом он вглядывался в лица, точно в лица епящих. Ага, говорили его кроткие глаза, я еду, а вы лежите, и далеко уеду, пока вы лежите.

Лошадь хранила, и он подстегнул ее вожжами.

Утром на месте каркаринской ярмарки горел грандиозный костер. Ослепительные мечи пламени взлетали к небу, степь застилали драконовы клубы дыма. Горел он долго, жарко, стреляя огромными пылающими головнями, поджигая луга вокруг себя, и к нему нельзя было подступиться ближе чем на полверсты. Треск и гул сотрясали окрестные горы.

А в аулах уже разбирали юрты, нагружали арбы, навьючивали верблюдов.

Повстанцы были на ярмарочной площади на утренней заре. Впервые за много лет на выеком шесте не колыхался белый флаг с двуглавым орлом. И не было здесь царской власти. Не было его благородия по имени Сивый Загривок, двухбородого

~~урядника и хитрого четырехглазого следователя, не было судьи, надзирателя и жирных толмачей. Канцелярия была пуста. Перед ней валялись не догрызенные еобаклами бараньи тушки.~~

~~Но пуста была и гаунтвахта.~~

~~Купцы уехали, бросив в домах и на улицах много разных вещей, а в лавках и ларях много разных товаров. Домашние вещи валялись как попало, а товары в полном порядке — ткани, платье, сапоги, посуда, сбруя, мазут, керосин, ковры, кольца, бусы, граммофоны... Очень много товаров. Никто из повстанцев на них не смотрел.~~

~~Ярмарка была безлюдна. Но в загонах блеяли уцелевшие овцы. А в одном дворе нашли старую поделеноватую ключу. Овец выгнали в степь. Ключу вывели под уздцы за околицу. В торговых рядах заливиисто пела канарейка. Ее вынудили из клетки. И еще походили, посмотрели, чтобы на ярмарке не осталось ничего живого.~~

~~А затем подожгли ее с девяти сторон, не взяв ни одной нитки из вещей и товаров. Ярмарка была деревянная, хорошо выешена жгучими степными ветрами, и занылала, как хворост.~~

~~Много лет она ненасытно заглатывала и пожирала все вокруг себя и была толстобрюха и спесива, как купец. Теперь она давилась черным воночным дымом, нечезая с лица земли.~~

~~С ней было покончено. Покупились и с ней...~~

~~Пожарище еще тлело и курилось пеплом, когда смиренный род албан откочевал из благодатной и благословенной Каркары. Тысячи людей потянулись длинными вереницами, подобно перелетным птицам, диким гусям, уходящим от зимы.~~

~~Обезлюдели горные пастбища Алатау. В лощинах, укрытых от ветров, остались бесчисленные беспризорные отары овец. И со скалистых и лесных высот именуганно вслушивались в их жалобное блеяние архары, лоси, козули...~~

~~Добрая, щедрая, милая земля. С тех пор как албаны стали албанами, она не дала им испытать ни джуга зимой, ни засухи летом. И вот она брошена, и казалось, етелется над ней от края до края безутешный сиротский стон»~~

~~Позади был белый царь, впереди воля. Люди проклинали все, что было позади, но больше всего этот роковой час, в который уходили. И думали они о том, как вернется, думали о том, что следом за зимой, пока не затмилось солнце, приходит весна... И лили и лили слезы. Отчаяние погоняло, надежда вела.~~

~~Шли в пустыню, во мрак, в неизвестность. Искали воли, а отдавались во власть неизвестности, на ее произвол.~~

~~И так же, как от красных шапок отстал бай Даулетбак, поддельный святой, так и от черных шапок отстал и спрятался в горах Текеса и Сырта бай Тунгатар, темный убийца, — оба богачи, нищие души. Остались с царем и приставом Рахимбай, добрый Оспан и Обиралов.~~

ЗАРНИЦЫ

драма

Действующие лица

Жантас, батрак-табунщик из угнетенного рода борсак, один из вожаков освободительного восстания 1916 года в Казахстане, 30 лет.

Муржан, его невеста, дочь бедняка из аула волостного управителя, 19 лет.

Дильда, его мать, служанка в семье волостного.

Жумажан, брат Муржан, доильщик кобыл у волостного,

Мугалим (учитель), воспитанник медресе Галия, друг Жантаса, 30 лет.

Саруар, его жена, тоже учительница, татарка.

Та н еке, старик из рода борсак, бедняк.

Волкодав и **Гончак**, батраки волостного, повстанцы. В ауле волостного им дали собачьи клички.

Майкан, волостной управитель из богатого рода олжай, 40 лет.

Жүзтайлак (Сотня Верблюжат), его жена, красавица. Сто молодых верблюдов — калым, заплаченный за нее мужем; отсюда ее прозвище, 28 лет

Нуркан, брат и заместитель волостного, 28 лет.

Кыдыш, глава рода олжай, аксакал, правая рука волостного, 60 лет.

Какен, адвокат, друг волостного. Из националистической интеллигенции.

Жунус, полуинтеллигент, прихвостень волостного, 26 лет.

Шатакан, табунщик, верный слуга волостного.

Казанцев, уездный начальник. Старый царский чиновник.

Семёнов, подъесаул, командир карательного отряда.

Джигиты, женщины, старики, солдаты.

Казахские степи, 1916 год.

АКТ ПЕРВЫЙ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Лужайка близ аула волостного управителя. Кусты, низкорослые деревца, родник.
Жузтайлак на прогулке. Блестят ее кольца, браслеты, серьги.
За ней идет с кумганом Муржан.

1

Жузтайлак. Ну, барышня-недотрога, ты что ж молчишь?

Муржан. Что мне вам сказать?

Ж у з т а й л а к. Онемела от счастья!

М у р ж а н. Ах, тетенька, милая, не у вас ли я выросла? Старшей сестрой вас почитала...

Ж у з т а й л а к. Недостойная! Будет тебе ломаться! От кого нос воротишь?

Закружилась у тебя голова в нашем ауле. Как возомнила о себе! Мое слово — судьба твоя.

М у р ж а н. Нет, не могу... Не могу я послушаться вас. Не могу обидеть Жантаса.

Ж у з т а й л а к. Ага... верно, он тебя не обижает. Уж ты убедилась в этом, как же! А знаешь ли ты, чей Жантас с головы до ног? Не узнавала? (Смеется.)

2

Входят Нуркан и Жунус, щегольски одетые.

Ж у н у с. Вот это удача! Всегда бы так весело встречала джигита уважаемая жена волостного управителя. И была бы она ласкова с джигитом, как с родным... Ах, мечты!

Ж у з т а й л а к. *(прикрывая лицо краем черного шелкового халата)*. Что за болтовня! Джигит, кажется, думает, что нашел во мне сверстницу?

Ж у н у с. *(осекая)*. Неужели вы обижены, драгоценнейшая из жен? Неужели осудите?

Ж у з т а й л а к. *(Нуркану)*. А ты... брат волостного! Вечно люди около тебя распускаются, как мальчишки.

Н у р к а н. Ну, ну, лишнего он не позволит. Все знают, тебе в рот палец не клади. Зачем срамишь его?

Ж у з т а й л а к. На себя посмотри! Забываешь свое место и положение... Вот эта рабыня и тавозомнила себя равной нам, прекословит!

Н у р к а н. Да. Муржан никак меня не жалует! Робеет она, что ли? Или я перед ней провинился? Не спрашивала ты ее?

Ж у з т а й л а к. *(презрительно)*. Не смолчал...

Н у р к а н. Господи помилуй, опять не угодил...

Ж у з т а й л а к. Поднеси ей халат и коня, если провинился.

Ж у н у с *(Нуркану)*. А разве Муржан отвергает тебя? Не верю, люди переврали.

Н у р к а н. Я сам так думал. Поэтому и просил жену брата замолвить словцо... с глазу на глаз...

Ж у н у с. О, если вмешалась прекрасная жена волостного, дело сделано. О чем еще говорить?

М у р ж а н. Для вас я... забава, игра...

Ж у н у с. А чего стоит молодость без забав? Дай бог нам всласть поиграть, Муржан, милая! .

Н у р к а н. Учит тебя жена волостного, и я прошу... Неужели не рада?

М у р ж а н. Учила бы чему хорошему... а тут — позор...

Н у р к а н. Вон как! Жить со мной для тебя позор? Должно быть, ищешь кого позавидней? Надеешься, найдешь, а? *(Самодовольно смеется)*

Ж у н у с. Молодость и любовь... Джигит и девушка! Причем тут позор, Муржан? Зря ломаешься!

Н у р к а н. Не метит ли она стать моей единственной возлюбленной, первой на всем свете?

М у р ж а н. Каждый ищет свою пару и свою любовь...

Ж у з т а й л а к. Неблагодарная! Еще смеет... Заставь ее замолчать!

М у р ж а н. *(в отчаянии)*. Я найду себе равного! *(Бросает кумган и убегает.)*

Ж у н у с. Не понимает своего счастья, дура. *(Подталкивает Нуркана.)* Держи ее, не зевай!

Бегут за Муржан.

3

Ж у з т а й л а к. *(одна)*. С ума сошла девка. Забыла, что мое прозвище «Сотня Верблюжат»... Сто верблюдов был мой калым! Может быть зря их отдал за меня волостной?... Жантаса захотела! Жантас муж, она жена, а я... А! Рабыня в лохмотьях... не довольно ли тебе изношенного с моих плеч? И Жантасу хватит того, что останется от брата волостного... Но каков Жантас! Спал в постели волостного, а свою... бережет от чужого глаза! Нет, милый, так не играют. Я люблю целовать, прикусывая...

4

Возвращается Жунус.

Ж у н у с. Красавица... Пожалейте. Сердце горит. Без вас свет не мил! *(Кинулся к ней.)* Коснитесь хоть кончиками пальцев... желанная!

Ж у з т а й л а к. Убирайся прочь!

Жунус отскочил.

(Смеется.) Чем в тебе, соблазниться? Не тем ли, что ты волосы отрастил?

Ж у н у с. Прикажите, пойду в огонь и в воду. Испытайте меня, желанная!

Ж у з т а й л а к. В огонь и в воду? Ладно, дай срок, испытаю... Долгая будет твоя служба. Острые у меня коготочки. Смотри, потом не кайся.

Уходят.

5

Появляются Ж а н т а с и М у г а л и м.

Ж а н т а с. Скоро два года... Два года подряд белый царь воюет с немецким царем. Реки пролиты крови... А ему все мало! Мало русской крови, теперь хочет казахской, киргизской...

М у г а л и м. Да, брат Жантас. Трудная, страшная идет пора. Запомним мы шестнадцатый год! Читал я своими глазами указ о мобилизации. Глазам не поверил. Вместо слов «мобилизация» написано «реквизиция». «Реквизиция инородцев...» Как будто указ о реквизиции скота. Вот она, наша участь!

Ж а н т а с. Как там ни пиши, народ не хочет... не пойдет на эту войну.

М у г а л и м. Ого! Ты говоришь, как революционер... Русские тоже устали от этой войны, не любят своего царя.

Ж а н т а с. Наши то баи и волостной выслуживаются, готовят списки для реквизиции. На свою голову!

М у г а л и м. Позволь, а вы говорили в открытую с волостным... с Майканом?

Жантас (*махнул рукой*). Майкана мы знаем не первый год. Только вы еще надеетесь на него. Понять не могу — почему?

М у г а л и м. Ну, как же... Помимо всего прочего, есть и у него близкие, родные...

Ж а н т а с. Из его родных ни один не пойдет. Он их выкупит, пристроит...

М у г а л и м. Но должен он подумать о народе, которому всем обязан!

Ж а н т а с. А не вы ли меня учили, что все волостные да баи на нашей беде жиреют.

М у г а л и м. Боюсь, что судишь односторонне. Майкан читает газеты, мыслящий человек... Его ближайший друг — адвокат Какен, а это интеллигент, просвещенный, заслуженный деятель нации.

Ж а н т а с. Друг, говорите? Деятель... Скажите — сват! Этот адвокат выдает дочь за сына Майкана.

М у г а л и м. Вот оно что. И тут родство... А мне он казался иным.

Ж а н т а с. Я человек не ученый, как бы. Но знаете, собьет седлом холку, поневоле станешь иноходцем. Вы головой учены, мы горбом.

М у г а л и м. Что же это? Народ опять без вождей, брошен на произвол... Нет, я должен выяснить, что думает адвокат Какен!

Ж а н т а с. Выясняйте, выясняйте... А по-нашему: бей сову о камень или камнем по сове, все одно — сове конец. Терпелив народ, да кончилось его терпенье.

М у г а л и м. Но куда он денется без головы? Заблудится, несчастный!

Ж а н т а с. Мугалим! Народ вас знает, любит. Пойдете вы с нами — и не надо этого адвоката. Никого больше не надо!

М у г а л и м. Подумаем, Жантас, посоветуемся... Не следует решить без Какена. (*Жантас нахмурился.*) Но если выпадет народу такой жребий — останетесь вы один, — я буду с вами.

Ж а н т а с. Спасибо, брат. Сам говоришь, несчастный народ. Его доля — лить слезы. Осуши их. (*Понизив голос.*) Верно ли, что не одна волость бунтует?

М у г а л и м. Слухами земля полна...

Ж а н т а с. А верно ли, что и в соседнем уезде... в Тургае...

М у г а л и м. Вся степь казахская загорается!

Крики. Вбегает М у р ж а н. Ее преследует Н у р к а н. Затем появляются
Ж у з т а й л а к и Ж у н у с.

М у р ж а н. Убейте — не покорюсь! Лучше смерть, чем позор.

Н у р к а н. Дура... Рабыня... Радуйся — будешь моей женой! Кто-нибудь вырвет из моих рук? (*Обнимает ее.*)

М у р ж а н (*вырвалась, замечает Жантаса*). Жантас, милый! Если б ты знал...

Ж а н т а с. Нуркан-мирза! Что творите?!

Н у р к а н. Ты откуда взялся? Ты что разоряешься?

Ж а н т а с. Вы нас седлаете, а мы молчи, так, по-вашему?

Н у р к а н. (*берет папиросу у Жунуса*). Что он мелет, послушай.

Ж а н т а с. А вы не поняли?

Н у р к а н. Понял! Жалко тебе дочь борсака для меня?

Ж а н т а с. Дочь борсака, жена борсака... Видно, у них одно право - согреть вашу постель.

Н у р к а н. Ладно, хватит чесать языком. Некогда мне состязаться с тобой в краснобайстве.

Ж а н т а с. Небось обидеть чужую невесту нашли время. Потешаетесь! Удержу не знаете, хоть вы, хоть ваш брат Майкан.

Н у р к а н. Гляньте, как разошелся. Что плетет! (*Хохочет.*) Это ты его науськал, Мугалим?

М у г а л и м. Вам известно, Нуркан-мирза, подобными вещами я не занимаюсь. И вы не правы. Вы брат и заместитель волостного. Ваш долг и удел управлять народом.

Ж у з т а й л а к. (*перебивает*). Ах, и ты стал на сторону борсака, учитель?

М у г а л и м. Я учил и учу, что насилие — бешеный конь, он все разнесет.

Ж у з т а й л а к. Бешеный, говоришь? Ну, так посторонись. Тебе ли его взнуздать?

Ж у н у с угодливо смеется.

Ж а н т а с. (*Мугалиму*). Теперь видишь, у нас беда, льем слез, а они, как вороны, клюют наши глаза.

Н у р к а н. Погоди же, батрак... Я тебя уважу. Я тебя женю! Пойдешь в окопы... Вот где будет свадьба.

Ж а н т а с. Наймется и на вас управа, мирза. В грозу чем выше тополь, тем молния ближе! Слезами народными не напьешься — они соленые...

Ж у з т а й л а к делает знак Ж у н у с у, и тот, обняв Ж а н т а с а, отводит его в сторону.

Ж у н у с. Опомнись, Жантас, не валяй дурака. Клянусь богом, ты хватил лишку. И Муржан простушка... шутки не поняла... Я же тут был. Неужели среди бела дня я дал бы тебя в обиду? (*Отводит Нуркана.*) Надо провести этого пса. Не выдавай себя... к чему?

Будет путаться у тебя под ногами... Помни свое: ты потомок батыра, олжай! Мигнешь — сама прибежит лизать тебе ноги. (*Уводит Нуркана.*)

7

Входит С а р у а р с цветами и книгой

Ж у з т а й л а к. (*подходит к Жантасу*). Молчала я при мирзе(*Насмешило.*) Давно мы не виделись, Жантас. Неужели я подурнела за время разлуки?

Ж а н т а с. Нет... ты такая же, Жузтайлак.

Ж у з т а й л а к. Отдал бы ты за меня сто верблюдов, как волостной?

Ж а н т а с. Куда мне, борсаку... тягаться с волостным!

Ж у з т а й л а к. (*взбешена*). Неужели правда, что эта уродина, грязная девка тебе дороже и слаще меня?

С а р у а р. Господи, где я... Она же ханская дочь! Цветы вянут от ее слов...

М у г а л и м. Оставь, Саруар, помолчи.

Ж у з т а й л а к. (*кричит*). Вот эта несчастная... жалкая... подстилка в юрте мирзы! Ты ее будешь любить, ласкать?

М у р ж а н. Страх какой, боже! Жантас! Не дай в обиду! Не дай осрамить. Мало ли она меня топтала? Мало ли тебя топтали! Неужели продашь себя? Лучше конец всему... Скажи ей, скажи!

С а р у а р. В самом деле, Жантас! И ты это стерпишь? Есть ли у тебя сердце и честь?

М у г а л и м. Саруар! Что с тобой? Ты в своем уме?

С а р у а р. Нет, это ты помешался... Не отличаешь женщины от гремучей змеи...

Ж у з т а й л а к. И до чего я дошла! Никого близко к себе не подпускала... И вот мне награда. Забыл, неверный, рабская душа.

Ж а н т а с. Ну, коли так, слушай, Жузтайлак... Я на твоём столе соль! Не привяжешь меня к байскому седлу.

Ж у з т а й л а к. Спелась... Прав мирза. Своей рукой я вычеркнула тебя из списка на реквизицию. Своей рукой... Вспомнишь ты мою руку, когда будешь сидеть в окопах!

М у г а л и м (*взмолился*) Заклинаю вас, друзья! Гнев ослепил вас.

Ж а н т а с. Нет, учитель, если мой батрацкий род в списках, там и мне место. Я готов. (*Уходит вместе с Муржан. За ними идет Саруар*)

8

Ж у н у с (*подслушивал, прячась за кустами*). Кого отметила, кого избрала... надменная, гордая, недостижимая... Везет же пастуху, голодранцу! Врешь, голову сложу, но у нее на груди... (*Убегает.*)

9

Ж у з т а й л а к. Смейся и ты надо мной, учитель. Из пыли, из праха степного его подняла, возвысила... И так меня унижить!

М у г а л и м. Дорогая моя... Плохо вы объяснились. То ли случается в молодости! Кто из нас, смертных, не понимает, чего стоит один ваш благосклонный взгляд?

Ж у з т а й л а к. Ты слышал, как он меня оценил. Под ноги швырнул любовь мою.

М у г а л и м. Мало ли на свете любящих... преданных вам... Они около вас, дорогая.

Ж у з т а й л а к. Тысячу раз он покается! Я отплачу... Именем своим клянусь — не быть мне любимой, но и эта, нищая Муржан... Наложницей будет Нуркана-мирзы! Ты свидетель моей клятвы, учитель.

М у г а л и м. Пощадите, прекрасная! Не клянитесь... Истинная любовь всегда милостива, она прощает... Велика ваша власть, она равна вашей красоте. Упаси бог, замарать ее низким чувством мести. Будьте щедры, великодушны...

Ж у з т а й л а к. О, я не стану скупиться! Я упьюсь своей мезтью.

М у г а л и м. (*воздев руки*). Бог вам судья. Вы... удивительны во всем. Вы и в гневе очарованье. Быть около вас, значит, быть в плену.

Ж у з т а й л а к. Кто меня любит — разит моего обидчика.

М у г а л и м. Обидеть вас кому по силам? Смотришь — и кажется, звезда сияет среди неба. И страшно видеть вас темному рабу земли, страшно надеяться...

Ж у з т а й л а к. Ах, учитель, приелась давно твоя арабская болтовня. Скажи не по книгам: Жантас тебе друг?

М у г а л и м. (опешил). Да...

Ж у з т а й л а к. Будешь ему мстить за меня?

М у г а л и м. Я? Дорогая... помилуйте!

Ж у з т а й л а к. (*с издевкой*). Таскать этот кумган твое занятие. Ну-ка подай... подними!

М у г а л и м. (*неуверенно смеясь*). Что вы сказали? Вы шутите, право.

10

Торопливо входит Д и л ь д а.

Ж у з т а й л а к. Что там еще?

Д и л ь д а. Приехали, приехали... На двух колясках! Сам волостной, господин наш, на первой. Сват — аблакат Какен — на второй... такой важный!

Ж у з т а й л а к. Всполошились! Будто набег какой. Гостей не видала?

Д и л ь д а. Списки, говорят, списки... Привезли! Черные, длинные, как гадюки... прости меня, старую...

Ж у з т а й л а к. Списки! Ага! Добрые вести, хорошие гости, старуха. (*Уходит.*)

Д и л ь д а. Что же это будет? В ауле переполох. Женщины воют, мужчины дрожат. Нуркан-мирза ходит, как лев среди овец, рычит на всех борсаков... Ученый человек, просвети!

М у г а л и м. Истинно ястреб эта женщина.

Д и л ь д а. Горе-то какое! Так боюсь, так боюсь, не прогневил ли их Жантас? Не было б беды с сыночком моим единственным. Ты один ему опора, пропадет без тебя...

М у г а л и м. (*качая головой, напевно*).

О султан Махмуд, о султан Махмуд!
Что поделаешь, если в народе клянут
И тебя, и дела твои, те, что грядут...

Д и л ь д а. Как? Не пойму.

М у г а л и м. (*с печальной усмешкой*).

Обманчивой надеждой я живу.
Несбыточной мечтою тешу сердце...

Д и л ь д а слушает, почтительно кланяясь.

Занавес.

КАРТИНА ВТОРАЯ

Двойная юрта волостного управителя, богато убранная коврами и сюзанае. Варшавская кровать с пикетированными шарами. На белых подушках полулежит адвокат К а к е н в белой сорочке, черной жилетке, играет часами с золотой цепочкой. Рядом с почетным гостем К ы д ы ш., Н у р к а н, взбалтывая, разливает кумыс.
Ж у з т а й л а к сама подносит пиалу К а к е н у.

1

К а к е н. Невероятно, чтобы казахи в своем родном ауле... обидели вас, жену волостного!

Ж у з т а й л а к. Ах, Какен... Борсаки, невытые морды, обляпаные копыта...

К а к е н. Но кто же, кто их так разъярил?

Ж у з т а й л а к. Для меня все бараны одной масти.

К а к е н. Однако и в стаде есть свои вожаки, не так ли?

Н у р к а н. Слепая толпа, скотина из нищих родов.

К ы д ы ш (*спесиво*). Истинно так, оборванцы. Но и другие, даже приличные роды брыкаются, не слушаются узды. Вот что связывает нам руки!

К а к е н. По мне, опасней другое: у кого наши пастухи стали учиться? С русского мастерового берут пример! Эта зараза из города страшней чумы.

2

Входит Д и л ь д а с блюдом.

Ж у з т а й л а к. Эй, баба... вари мясо вкусней! Пока твой сын не вышел в начальство, служи, старайся. (*Какену*) Сын этой нашей стряпухи лезет в главари.

Кыдыш. Все они таковы: кормятся около нас, греются у байского очага, а норовят куснуть!

Какен. Некому их вразумить. Лезут на рожон—туда им и дорога!

Жузтайлак. Не зря говорят, смерть манит сайгака в открытую пень.

Какен. Верная смерть! Время военное, законы суровые, кара жестокая... Если не образумятся, не миновать резни.

Дильда. Оборони, господи! Милый, свет мой, прикрикни хоть ты на них...
Нуркан, дорогой, ты ему сверстник, угомони его...

Жузтайлак. А ты, что, воды в рот набрала? Ты мать. Думаешь, простится ему, что он отшатнулся от нас, топчет нашу хлеб-соль?

Дильда. Милая, с утра до ночи твержу ему, горемычному...

Нуркан. Плевать на него... Пускай его несет нелегкая. К чему осаживать?
Посмотрим, как он свернет себе шею.

Кыдыш. Кто топчет хозяйскую скатерть, себя топчет. Помнишь, старая, как ты овдовела, я тебя с сыном-сиротой привел в дом Майкана. *(Дильда кланяется.)* Добром тебе говорю, сын твой непутевый, безумный, но ты держись своих благодетелей, пока тебя самое не вынесут вперед ногами за этот порог. В глаза смотри жене хозяина. А ежели сын тебя ослушается, прокляни отступника!

Дильда *(молитвенно)*. Да буду я жертвой ради тебя, милый. Все ему скажу.
Мертвую меня унесешь отсюда — так скажу... Только знаю, он не покорится.

Жузтайлак. И мать не пожалеет?

Дильда. Ох, ни на что не посмотрит, несчастный, неприкаянный... Миленький, есть тут один человек, он Жантасу матери родной ближе, — хотела я вам сказать...

Кыдыш. Говори, говори, не таи.

Дильда. Этот... как его, учитель... Бедняк тоже, а что скажет — закон. Мой-то души в нем не чает.

Какен. Какой такой учитель?

Кыдыш. Знаю, знаю такого. Придется вам замолвить ему словцо... Это она нюхом почуяла.

Нуркан. Пожалуй, не дурно бы...

Жузтайлак. *(Дильде)*. Ступай позови его сюда.

Дильда *(валится в ноги)*. Милые... Господин наш Какен! Спасите его. Ночей не сплю, дрожу, не попал бы он в черные списки... *(Плачет.)*

Жузтайлак. Ладно, будет! Сказано, ступай!

Дильда уходит.

К а к е н. Что же, он единственный сын престарелой матери? Такие не подлежат реквизиции... А?

Н у р к а н. Сам набивается, пес!

Ж у з т а й л а к. Кто кверху лапками не лежит, тот и подлежит. (*Смеются.*)

4

Входит волостной М а й к а н, усаживается, пьет кумыс.

К а к е н. Что, дорогой Майкан? Есть новости?

М а й к а н. (*подавлен*). Смута везде: в Карабужуре, в Коксу, в пяти волостях. А близ Тургая, говорят, зарезали волостного!

Ж у з т а й л а к. Зарезали?

М а й к а н. Как жеребенка... Списки спалили, а заодно — почтовую станцию. И ушли в степь.

Н у р к а н. Ну, я бы им зарезал, я бы им спалил!

М а й к а н. Сядь. Не горячись. И так жарко — земля горит...

К а к е н. Без списков, как без глаз: реквизиция невозможна, царский указ невыполним. Это бунт!

М а й к а н. В том-то и дело. Пока посемейные списки у нас в руках, мы хозяева. Но эти списки... жгут мне руки. Я чувствую острие ножа у себя на горле.

Н у р к а н. Бесятся наши борсаки и прочая гольтьба...

М а й к а н. Борсаки нам не в новинку. Был бы единым род олжай! (*Вздохнул.*) Мечутся, как на пожаре, многие. Эта война врагов породила. Вот в чем нашабеда.

Н у р к а н. (*Кыдышу*) Вы голова рода олжай! Взались бы за своих. А борсаков я беру на себя. С моими удалцами я их живо образумлю. Свяжу Жантаса, брошу к вашим ногам...

М а й к а н. Повремени, брат. Свяжем...да не так!

5

Входит М у г а л и м. Пауза.

К ы д ы ш (*надменно*). Говорят, в народе прислушиваются к вам, учитель. Чего же вы ждете? Придут каратели, вырежут твой народ, не разбирая, кто подстрекатель, кто невинный!

М у г а л и м. Народное ухо слышит чутко... Но разве я управляю народом? Себя спросите.

М а й к а н. Уклоняетесь от ответа, Мугалим?

М у г а л и м. Я не могу вас понять.

М а й к а н. Уговорите смутьянов, утихомирьте их, пока не поздно.

М у г а л и м. Это угроза? Так ли я понял, господин волостной?

К а к е н. Посудите разумно. И мы и вы призваны врачевать народные раны. Не правда ли? (*Мугалим с почтением склоняет голову*). Тогда исполняйте свое высшее предназначение, не щадя себя! Нам не по пути с российскими фабричными, врагами всякой власти и порядка.

Ж у з т а й л а к. (*рассмеялась*). Тише, не пугайте его. А то полезет и кусты. Вот что ему предназначено... Шагу не сделал, а уже стал торговаться.

М у г а л и м. Ошибаетесь, ханум. Я не бегу. Но чему учить? Послушанию? Меня прогонят с позором. Господин Какен! Вы недавно из города. Осмелюсь спросить вас...

К а к е н. Извольте.

М у г а л и м. Что же решили вы лично... и наши национальные вожди?

К а к е н. Я списался с ними — и с Оренбургом и с Самарой. Мнение наше едино!

М у г а л и м. Что же нам делать, что? Мы растерялись...

К а к е н. (*сухо*). А это я выскажу людям. Тогда и вы меня услышите.

М у г а л и м. Благодарю. Извините.

6

Входит Ж у н у с, садится около жены волостного.

Ж у н у с. Такой толпы я еще не видывал. Стоят стеной, как один.

К ы д ы ш. А ты, примечаю, ушел от них? Ты у нас просвещенный казах, Жунус.

Ж у н у с. Что вы желаете мне поручить?

Ж у з т а й л а к. Вот ответ настоящего мужчины! Молодец!

К ы д ы ш. Думаю, выпустить тебя против них.

Ж у н у с. Выпустить? Разве это байга, скачки?

К ы д ы ш. Милый мой, сказано: и блаженство благо, и блуждание благо. Кто побеждает в игре, победит и в бою. Пусть это будет байга для нас!

Н у р к а н. Вот это люблю! Схватка — Жунус и Жантас. Жузтайлак, ты за кого? Назначь свои призы.

М а й к а н. Шутите зря. Не до шуток.

Ж у з т а й л а к. А мы не шутим, мы всерьез. Жунус знает.

Ж у н у с. Если это не насмешка...

Ж у з т а й л а к. Какой мужчина стерпит насмешку над собой?

7

За сценой гул голосов. Идет народ. Вбегает Д и л ь д а.

Д и л ь д а. Идут... господа! Они идут сюда. Все идут... Никого не хотят слушать!

Н у р к а н. И там твой сын?

Д и л ь д а. Там родимый, там кровинка моя...

Жу з т а й л а к. Ну, так пеняй на себя, старая. Встань, Жунус! (*Жунус встает.*)

Д и л ь д а. Боже милостивый! Зачем пугаешь меня, госпожа моя? Я в руках божьих... в твоих руках...

Ж у н у с отталкивает ее от Жу з т а й л а к. Шум усиливается. Смятение.

М а й к а н. Что же, допустим их к себе, позволим глумиться?

К ы д ы ш. Наглость какая! У нас почетный гость.

Жу з т а й л а к. Позор, топтать почетное место в нашей юрте!

М а й к а н. Я же велел, чтобы ждали на улице. Куда подевались слуги? Где джигиты? Шатакан!

Н у р к а н. Уж будто мы опасаемся чего-то...

К а к е н. В самом деле! Нам ли бояться своего народа?

Ш а т а к а н. (*у входа*). Сказано вам, нельзя! Тут почетный сват... гость почетный...

Г о л о с а. Пускай гость! Хотя бы и сват... Его-то нам и надо!

8

В юрту врываются Ж а н т а с, Т а н е к е, В о л к о д а в и Г о н ч а к.
Следом протискиваются М у р ж а н и С а р у а р. Сбоку жметя Ж у м а ж а н.
За ними плотно сгрудилась толпа.

Н у р к а н. Что за бесчинство! Назад, скоты...

Т а н е к е. Коли хватят тебя за ляжку волчьих зубы, ступишь не то что на почетное место, а и на могилу предка. Будет с нас того, что мы долю свою несем на горбу, как святыню... (*С достоинством.*) Привет вам, почтенный Какен-мирза.

Кыдыш. А я-то думал, кто этот разъяренный? Гляжу, опять ты... колченогий!

Т а н е к е. Опять я... Да, опять я! И все эти безвинные — тоже я. Весь народ я. Стоим перед вами в поту и в слезах, а слезы эти выжал ты, опять ты, бий Кыдыш!

М а й к а н (*смеясь*). Спелся старик с молодыми и сам помолодел отменно. Говорит, как джигит!

Т а н е к е. Твоя правда, добрый управитель, молодею. Ты нас молодишь, как сухой травку... Записывай в эти окопы меня, колченогого! Недобор у тебя молодцов из рода борсак. Пиши меня! Тебе ведь не привыкать. А я сам вызвался.

М у г а л и м смеется.

М а й к а н. Что ж тут смешного? Если надумали делить с нами тяготы, одобряю, хвалю, Танеке.

Ж а н т а с. Тяготы—с ними... Слыхали, батрацкие дети?

Жунус (*вызывающе*) А ты чего хочешь, батрак?

Ему отвечает гул голосов.

В о л к о д а в. Списки давай! Показывай народу!

Г о н ч а к. Сами проверим! Пропишем по правде!

М а й к а н (*Жантасу*). Ты против кого же — против власти?

Г о л о с а. Против тебя самого, если ты такая власть!

— Ишь прикрывается властью, будто кошмой...

— Хватит клевать наши глаза...

Ж а н т а с. Речь наша короткая: выдай народу списки.

М а й к а н. И вы верите этим басням, наговорам?

К ы д ы ш. Истинно — сытые ложью бредут вслепую.

Ж а н т а с. Тогда откройте нам глаза. Где ваши списки? Зачем их прячете?

Г о л о с а. Все одно, не загонишь нас в окопы!

— Не даст народ своих джигитов!

— Сами воюйте...

К ы д ы ш. Эй, корноухие, на кого лаетесь? Слушай меня, когда говорю. Видите, кто здесь сидит? Это Какен. По-русски — адвокат, по-нашему — светлая дума. Он вам голова! Жизнь и смерть примем по его слову. Или нет у нас учителей, нет вожakov? Оглохли, ослепли... горланите, каркаете... прете без рассудка!

Т а н е к е. Его послушаем. Все его знают. Никто не откажется.

Ж а н т а с. Мы люди темные. Нам нужны поводыри.

М у г а л и м. Просим вас, Какен...

К а к е н (с важностью). Стоит ли мне говорить? Вижу, чувствую ваши настроения. Они далеки от покоя, от разума и мудрости.

Т а н е к е. Успокойте, рады будем, сделайте милость...

К а к е н (*напыщенно*). В чем суть того, что мы переживаем сейчас? В неразрывный узел связались требования власти и упования народные... Мы твои дети, народ! Вышли из лона твоего, твоими заботами живем... И если ты шагаешь в пропасть, наш сыновний долг удержать за руку... Не мы накликали эту беду. Не нас одних — весь мир обняла война. Все земли и все народы проклинаят нынешний, шестнадцатый год. И нам ли, казахам, дано погасить всесветный пожар?... Прислушайся к зову своих вождей, народ! У нас одна цель - спасти тебя. Перед лицом истории, на ее неумолимых весах взвешено все. Царская власть сильна. Военные суды не знают пощады. Ныне они не милуют не только нас — и русских! Так не дайте же каре и мести пасть на голову малых детей и престарелых отцов. Неужто пойдем по стопам тех черномазых горлодеров из огненных заводских преисподних, которым не жалко ни себя, ни людей, ни порядка, ни закона! Прикройте своей грудью народ, джигиты... Идите в окопы! Иных путей нет.

В о л к о д а в. Вот тебе на! Вот так утешил...

Г о н ч а к. И вправду, лучше б молчал, коли нечего сказать.

К ы д ы ш. Опять залаяли... Смутьяны! Одумайтесь, угомонитесь...

Молчание. Все взоры обращены к М у г а л и м у.

М у г а л и м. (*Какену*). И это... это вы именуете сыновним долгом? В такой роковой час! Что же тогда предательство, объясните?

Ж у з т а й л а к. Тебе ли понять, овца!

М у г а л и м. Бедные овцы, если у них волк в поводырях. Опять продали тебя, народ, за светлые пуговицы. Уж двести лет как продают!

К а к е н (*сквозь зубы*). Я вижу, учитель, ты нетерпелив. Судишь как полководец! Первый пойдешь туда, куда следует...

М у г а л и м (*указывает на народ*). С ними пойду! С вами рядом не стану.

Т а н е к е. Да буду я жертвой ради тебя, дорогой Мугалим. Ты нам истинный друг... Чего еще ждать, люди?

Г о л о с а. Списки! Давай списки!

Ж а н т а с. Ну, волостной, выбирай: или ты с чином, или с народом.

Н у р к а н. Стой... И ты выбирай! (*Подводит Дильду и Муржан.*) Может, и этих... порвешь, как списки?

Д и л ь д а. (*цепляется за Жантаса*). Негодный ты сын... Бросаешь мать! Все губишь. Так убей, убей меня сам!

Ж а н т а с. Я уведу тебя отсюда. Со мной пойдешь, мать.

Д и л ь д а. Нет, бесчестный, мать не переступит через хлеб-соль. И ты не тронешься с места, пока я жива. А если посмеешь... (*Протягивает руки ладонями вниз в знак проклятия.*) Да будет погибель...

Т а н е к е (хлопнув ее по рукам). Кого проклинаешь, безумная? Мать ты или волчица? С сыном ступай помирать, с народом, если такая судьба.

Д и л ь д а. Руки мои отнимаются, господи...

Ж а н т а с (*горько*). Тебе не отвечу худым словом. Что поделаешь! Живи, как знаешь, будь здорова... (*Старуха голосит.*) Ты что скажешь, Муржан?

Н у р к а н. И она не пойдет никуда. Вот ее брат Жумажан. Он ей один хозяин. Пока не отпустит, не позволим ее увести.

Ж у з т а й л а к. Собрал шайку угонять себе жену.

Д и л ь д а. Не пущу! Не бывать тому. Убивай нас обеих! Скажи, что плюешь на родную мать...

Ж а н т а с. Воля твоя, Муржан, поступай, как хочешь.

М у р ж а н (*Саруар*). Что мне ответить, родная? Ты видишь, какие они и какой он...

С а р у а р. Мы пойдем с тобой вместе. И все за ним пойдут! Отныне я тебе сестра.

Ж у м а ж а н. (срывается с места по знаку Нуркана). Нашлась сестрица... Черта с два! (*Отталкивает Муржан от Саруар.*) Поди-ка ты к русским, книжки читай, а девушку не тронь, девушку не порти!

Ж а н т а с. Глупый человек, неужто не смыслишь, кто тобой играет?

Н у р к а н. А мы и с тобой сыграем! Не беспокойся, мы не дадим и обиду наших батраков. Муржан, ты при нас. Она не пойдет.

Ж а н т а с. (*в гневе*). Попробуй-ка удержи! Хочешь померяться силами? Думаешь, прежнее время?

Н у р к а н. Замолчи, пес! В землю вобью, как кол!

Г о л о с а. Руки коротки... Только попробуй...

Джигиты выступают вперед.

М а й к а н. Стойте! Уймьтесь... все... Это невеста его. Хочет идти, пусть уходит. Никто не вправе ей мешать. Идите оба—дело ваше.

Ж у м а ж а н. Я не согласен! Черта с два...

М а й к а н. Прочь! Молчать у меня. Ты получил за нее калым сполна.

Н у р к а н. А ты, брат, себя не забываешь...

М а й к а н. Оставь! Ступай с богом, Муржан, милая. Но наперед меня не вини и не жалуйся. Сами за себя отвечайте.

Т а н е к е. Вот это по чести, волостной. Всегда бы так. И тебя честью просим: уважь народ, кончим спор добром.

К ы д ы ш. Знай же ты меру, старый борсак. Отдали девку задаром. Мало тебе? Выкрали, так погоняйте, пока не догнали. Эй, уноси ноги за наши пороги, покуда я глава рода олжай!

Т а н е к е. (*спокойно*). В такую грозу кому страшны твои угрозы, богатый бий! Мы нынче со смертью побратались! И где они, твои олжайцы? Почему молчат? Смекни-ка... А потому: не одно племя — народ раскололся, голова. Нынче мы ровни с тобой.

Н у р к а н. Ну и мудрец! Сравнил раба с хозяином. Что думал... Или мы уже не под богом живем? Не по закону?

Ж а н т а с. Мудро спросил, мирза, дай и я спрошу. Помнишь, как за убитого твоею собственной рукой не платил кун? Теперь почище, весь род убиваешь, племя батрацкое гонишь в окопы. Это по-божески? Позакону? Да или нет? Отвечайте, хозяева! Скажите, да —покоряюсь.

Ж у з т а й л а к. Труссы, бездельники! Кого же гнать, как не вас, ленивых баранов? Может, Кыдыша, Какена? Или меня?... Жунус! Подойди... Ты не борсак, не олжаец, ты нас рассудишь по совести.

Ж у н у с (*угрюмо*). Мне ли судить? Где моя совесть?

Ж у з т а й л а к. Что это ты раскис, джигит? Себя унижаешь... Говори...

Ж у н у с. Лучше не надо... уйду я...

Ж у з т а й л а к. А я велю!

Ж у н у с. Ну, коли так... слушай меня, старик. И ты, Жантас. Я вам отвечу.

Кыдыш. Вот ваш товарищ, а вам не чета. Парень ученый, с чистой душой...

Волкодав. Ой, промахнешься, Жунус! Зайца ноги спасают, джигита — честь.

Гончак. Потерял совесть — умри молчком!

Жунус. Нет, я скажу... была не была... Я видел их списки, люди! Видел...

Общее молчание.

Нужно в окопы четыреста джигитов. И что же? Из рода олжай выбрано... сколько вы думаете? По пальцам можно сосчитать. А из борсаков да из моего рода записано двести человек! По закону это? Кто же не знает, что их, олжайцев, больше, чем нас, впятеро! Из тридцати аулов Мыктыбая, самых ближних волостному, ни одного человека не тронули. У них, видимо, не родились джигиты. А из нашего брата насовали подростков, старцев, единственных сыновей, вроде тебя, Жантас! Теперь вы все знаете... Я кончил...

Кыдыш. Ах, недоносок...

Нуркан. Змея...

Жантас. Дай твою руку, Жунус. По правде сказать, не верил я тебе.

Волкодав. А мы в тебе сомневались, Жантас.

Гончак. Думали, бабы тебя запутали...

Жантас. Братья! Недаром поднялись пять волостей. И там и тут такие управители. Бай везде бай. Слышали вы, как в Тургае народ казнил волостного, обманщика?.. Вон русские давно встают против своих — работник против хозяина! Долго ли нам уговаривать наших палачей?

Голоса. Бей их! Выкосить под корень! Сжечь дотла!

Волкодав и Гончак выхватили ножи. Жантас удерживает их.

Волкодав. Пусти, дай сквитаться...

Гончак. Зарежу кровопийцу...

Дильда с воплем заслоняет собой волостного.

Майкан. Родной народ! Послушай полслова. А там казни меня, как в Тургае...

Тишина.

Жунус не солгал. Вот они, списки, на столе. Кто их прячет? Все, что вы слышали, истина, слово в слово... Но тот, кто сожжет эти черные списки, в дураках останется. А тот, у кого голова на плечах, глянет в них одним глазом, посмеется!

Шепот изумления. В толпе растерянность.

Думаете, шкурой своей дорожу? Ну-ка, Жунус, садись за стол. Ты у нас грамотей. Нуркан, подай ему перо. Пиши, хитрец. Меня пиши первого. Майкан, сорок лет. Как раз подхожу по указу. Его пиши вторым. Нуркан, двадцать восемь лет. Годен по всем статьям. Записывай в список! Что стоишь? Дойду и помру вместе с вами. Мне ли себя беречь, если гибнет народ? *(Закрывает лицо рукавом, будто утирая слезы. Люди переглядываются одобрительно.)* Глупые дети мои! Невинные души! Кто же не поймет, не догадается с первого взгляда, что списки эти фальшивые, негодные, для отвода глаз, провести

начальство, выгадать дорогое время. Подростки да старцы... Кому они нужны? В уезде их забракуют и меня же, обманщика, накажут, меня одного! Может, сместят с волостных. Я все стерплю. А тем временем... зачем я привез адвоката Какена? Зачем, он учил вас — утихомирьтесь, помолчите? Разве ножом решишь то, что решают головой? Подумайте! Поедем к генерал-губернатору, дойдем до министра, в золоченом мундире, в каменном дворце, в Петербурге. Головы свои сложим, но спасем, отстоим настоящих джигитов, цвет нашей нации! Вот как мы их обведем...

Кыдыш. (*всхлипывая*). Благослови бог твой путь... праведный сын достойных предков... О, бранный мир!

Мугалим. И вы полагаете... добиться?

Майкан. Добьемся ли — бог один знает. Мой долг добиваться. Нельзя жить без надежды! Нельзя жить без веры!

Возгласы одобрения.

Мугалим (*Какену*). И вы... тоже верите?

Майкан (*шепчет*). Осторожней, молю, осторожней...

Какен. Ну, нет, я откроюсь теперь до конца. Слушайте все: вот зачем я здесь... Сяду, буду писать петицию! Государю-царю, императору-самодержцу в собственные руки. Не от себя, от пяти волостей, и Коксуйской, и Карабужурской... ведь и там казахи. Ото всего нашего бедного, доброго, мирного народа!

Танеке. (*с великим почтением*). Пе-ти-ци-ю. Что же молчали о таком деле?

Какен. О таких делах опасно болтать, старик. Мы, адвокаты, знаем: хочешь выиграть — не шуми, не хвастай, не грозись. До поры до времени проглоти язык. Время военное — дела секретные. Указ царя... не шутка! Может, среди нас прячется доносчик...

Ропот возмущения.

Голоса. Не бойся — не выдадим... В добрый путь, езжайте с богом... Пишите, дело святое... Мы понимаем, не обижайся...

Какен. Я обижен, не скрою. Не вами... вашим учителем! (*Указывает на Мугалима*.) Хотел уехать — сердце не пустило.

Кыдыш. (*встал, снял пояс и повесил на шею в знак моления*), О боже... О предки... Да поразите вы тех, кто обманет надежды и веру народа. Я принесу в жертву белого коня... Благослови бог пути этих двух беззаветных радетелей народных! (*Простер ладони*.) Какен... ты молод, но меж нас старший. Благослови нас.

Какен. (*тоже простер ладони*). О боже... (*Запнулся*) Дай нам удачи... э... э... спаси свой народ... э... э...

Кыдыш (*подсказывает*). Исполни его желания...

Какен. Э... исполни желания... Бисмилла аллах акбар!

Народ молча простирает ладони, молясь.

Жунус (*в сторону*). Сил моих нет стерпеть... И учитель развесил уши. Обман, обман!

Ж у з т а й л а к. *(подошла к нему)*. Молчи, парень. Так-то ты мне служишь?

Ж у н у с. Горю на двух кострах, желанная. И вы обманете, как они.

Ж у з т а й л а к. Жди, вороненок. Ты еще мне понадобишься...

Д и л ь д а. *(Жантасу)*. А ты... а ты... осквернился, негодный! Мать оплевал, опозорил... хозяина нашего, благодетеля! Согни шею, упрямый козел, ноги его лобызай! *(Силой заставляет сына поклониться.)* И вы все в ноги валитесь, заблудшие паршивые овцы!

М а й к а н. Полно, полно, мать! Успокойся. В такой день забудем бранные слова, простим друг другу... Я отпускаю вас, люди мои. Идите с миром!

Ж а н т а с *(опустив голову)*. Распухла у меня голова... Душа скулит, как побитый щенок...

М а й к а н. Иди, иди, милый. Я тебя еще позову. Жди, молись богу.

Народ молча расходится. Многие кланяются волостному.

Занавес.

АКТ ВТОРОЙ

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

В городе. Купеческий дом, обставленный по-европейски. Открытые окна ведут в сад, густой, цветущий.

На столе винные бутылки, рассыпаны карты. К а з а н ц е в и Ж у з т а й л а к

1

К а з а н ц е в. А вот кого люблю, грешен м-да.. Сто верблюдов — и одной даме-с, а? Люблю этакое свинство!

Ж у з т а й л а к. И мы вас любим, господин. Кушайте на здоровье. Мы, слабые, узнаем мужчину по аппетиту... *(Казанцев польщен, хохочет.)* А если склонится к нам ваше ухо, я вам назову... тех бунтовщиков, моих оскорбителей!

К а з а н ц е в. Склонится, склонится... с моим удовольствием! Всех неугодных вам не потерплю. У меня в уезде... р-растерзаю, аки зверь лютый!

2

Входят К а к е н, М а й к а н.

К а к е н. Ваше высокоблагородие... мы имели в виду подать все подданнейшую петицию государю... уповая на его великую монаршую милость...

К а з а н ц е в. Как-с? У-по-ва-я? Это еще что за свинство? Петиция? У меня в уезде? Да я вам и без государя такую петицию пропишу, господа мои!.. Россия, изволите ли видеть, истекает кровью, в струпьях от ран... *(Пьет.)*

К а к е н. *(вкрадчиво)*. Значит, вы думаете относительно петиции. Видите ли, именно этой надеждой удалось успокоить население. Между тем не только одна Жиландинская, но и другие... собственно, уже пять волостей волнуются, ждут результатов.

К а з а н ц е в. Да вы в своем ли уме, господин адвокат? Волнуются? Зарезать меня хотите? Я послал донесение его высокопревосходительству, что у меня в уезде реквизиция закончена. Джигиты отобраны, готовы к отправке! Успокоили население — отлично! Это и требовалось от вас.

К а к е н. Но, может быть, все-таки будут некие льготы... в смысле отмены...

К а з а н ц е в. Эк-кую порете чепуху! Черт же меня побери, если ваши пять волостей взбунтуют мне весь уезд! Вы разумеете, что творите? Хотите того же, что в соседнем Тургае? Или в иных, так сказать, краях России — с легкой руки тех самых подпольных смутьянов, царехулителей, социалистов.

М а й к а н. Господин уездный, вы давно хорошо знаете наших казахов... Русские рабочие — одно, мы, степняки, хозяева,— другое. Вы власть, мы слуги власти. Мы хотели бы найти в вас опору.

К а з а н ц е в. Это другой разговор! Мы тебя дорого ценим, Майкан. У меня в уезде ты первейшая личность! Я так располагаю, что ты, твоя волость будут примером, образцом. Старайся... за мной дело не станет.

М а й к а н. Дай бог, с вашей легкой руки...

3

Входит К ы д ы ш вместе с Ш а т а к а н о м и Д и л ь д о й.

К ы д ы ш. (*здоровается с Казанцевым*). На мое счастье, здесь и большой начальник. Есть кому поклониться от всей души, пронзенной обидой. Правду сказать, чудом ноги унес.

К а з а н ц е в. Что такое?!

М а й к а н. Что это значит, Кыдыш?

К ы д ы ш. Нуркан в осаде. Обложили аул со всех сторон. И я был в заложниках, сидел, как в тюрьме. Жутко стало в степи. Сами знаете, господин. Распоряжается разбойник Жантас, точно хозяин. На рассвете угнал из нашего табуна полтыщи отборных коней. Для езды, говорит, и для еды! На моих глазах угнали стадо курдючных овец. Режут, пируют... А говорят, и в Коксу, и Карабужуре, и в Кызылжалской, и в Теректинской волостях то же самое.

К а к е н. Что за безумие! Что за гнусность! А петиция?

К ы д ы ш. Видишь ли, сомневаются, повез ли Майкан в уезд петицию. Подозревают— донос! (*Со смешком.*) Вот я и приехал проверить тут, верны ли слухи? И обличить обман!..

Д и л ь д а. (молитвенно). Аминь.

Ж у з т а й л а к. Что же мы медлим?

К а з а н ц е в. (*мрачно*). Ну-с, господа мои хорошие... Не нахожу слов это аттестовать! От всего вышеизложенного, пардон, не за столом будет сказано, попахивает военно-полевым судом. И этакий компот-с в твоей волости, Майкан! У меня в уезде! Как же ты проглядел таких негодников, воруя! (*Кыдышу*) Ты что смотрел, господин бий?

Кыдыш. Стыдно глаза поднять, господин начальник. Осрамил мою голову дрянной народ. Ехал к вашей милости с позором, с повинной.

Казанцев. М-да, прискорбно... Мы не хотели начинать круто. Попробовали дать волю. (*В сторону Какена*) Всяческие эти интеллигенты, Самары, Оренбурги, адвокаты, азаматы... Я, знаете ли, сам люблю разное подобное свинство. Но это же бунт! Сопrotивление высочайшему указу! Нет, видно, разговорчиками телеги не смажешь. Удержу не знаете, господа. Мало нам петербургской болтовни о революции-с? И вы в Оренбургах да Самарах туда же! Живете в подданстве нашего государя императора, слава богу, не под турками, на государственной земле, исконной российской со времен еще Ермака, живете в полнейшем своем скотстве и невежестве, как вам только заблагорассудится, молитесь своему богу невозбранно, и что вам не живется! (*Хлопнул по столу.*) Извольте мне отвечать, управители!

Какен. Я уже имел честь высказать свои соображения. Помилуйте, ну как же можно... нас... смешивать со смутьянами...

Кыдыш. Дозвольте сказать, что мне пришло в голову.

Казанцев. Я жду. Слушаю.

Кыдыш. Стадо всегда стадо. Куда первый баран с крутым рогом, туда и оно. Не мешало бы объявить манифест на белой бумаге с гербом!

Казанцев. Какой манифест?

Кыдыш. Ну, вроде помилования... всем, кто вернется с поклоном под нашу руку. А тем, кто изловит, приволочет смутьянов на веревке, деньгу! Одарить, сыты, мол, будете до конца дней... Я из своей мощны отвалю, не поскуплюсь!

Казанцев. Дельно, Кыдыш-бий, дельно. Называй имена!

Жузтайлак. Я назову. Склоните ухо, господин... Вы обещали — по уговору.

Казанцев (*усмехаясь*). Запишите-ка, адвокат.

Жузтайлак. Жантас, Жантас, Жантас!

Какен записывает карандашиком в книжечку с золотым обрезом.

Майкан. Танеке, первым долгом...Еще Мугалим... Дальше - Жунус...

Жузтайлак. Жунус? Нужно ли? (*Удерживает руку Какена.*) Упоминания не стоит... (*Сама вырывает из книжечки Какена листок, передает Казанцеву.*)

Дильда. (*бросается к ее ногам*). Ужас какой... Горе мне... Милая, неужто и ты без сердца?

Шатакан. (*оттаскивает Дильду в сторону*). Помолчи, старуха! Куда лезешь! Будешь знать, как рожать конокрадов...

Казанцев. (*глядя в листок*). Итак, эти трое объявляются беглецами, супrotivниками царя.

Какен. Но разве не будет на первый случай следствия на месте?

Казанцев. А что тут расследовать — время губить?

К а к е н. Я полагал, может, сами придут, испугаются. Меньше хлопот...

К а з а н ц е в. *(хлопая по спине Жузтайлак)*. Будь покойна, красавица. *(Сжал кулак.)* Похлопочу!

Д и л ь д а. *(вырвалась, бежит, целует руки Какену)*. Свет мой, спаси, защити... Не ты ли наша надежда, наша вера?

К а к е н. Ах, отвяжись, старая... За твоими воплями некогда подумать о народе!

Ш а т а к а н силой ведет Д и л ь д у к двери.

К а з а н ц е в. *(поднимается из-за стола, прочищает ухо мизинцем)*. Ну-с, и за голову беглеца, живого или мертвого, объявим пять тысяч рублей.

К ы д ы ш. *(вскрикнул)*. Куда столько! Сотню в зубы и пинка в зад.

К а з а н ц е в. *(смеется)*. Давай меньше, сули больше, благодетель! *(Официально.)* А теперь докладываю вам, государи мои, ждите меня самого к себе в волость с дорогими гостями, а именно: с казачьей сотней подьесаула Семенова! Вот так-то, любезнейшие.

Немая сцена. К а з а н ц е в уходит, сопровождаемый всеми, кроме Д и л ь д ы.
Она плачет.
Хозяева возвращаются.

Д и л ь д а. Сношенька, дорогая, не был ли он твоим рабом? Зачем отдала его на погибель в чужие руки? Вспомни, ведь я вдова.

Ж у з т а й л а к. *(оттолкнула ее ногой)*. Убирайся! Благодарю бога, что я тебя пожалела. Не вспомнила, кто его мать. А будешь дурить, и тебя передам властям.

Д и л ь д а. *(поднимаясь)*. Лучше бы мне задохнуться в тюрьме... сгнить бы живьем... и не видеть, не видеть... как вы... как вы...

М а й к а н. То ли ты завтра увидишь, старуха! Отнимется у тебя язык... Доживи до завтра!

4

Бесшумно отворяется дверь. На пороге Ж а н т а с, в его руке короткий тяжелый меч.

Ж а н т а с *(негромко)*. Зачем завтра, волостной? А сегодня?

Переполох. М а й к а н кинулся к окну. А в Окнах по пояс Г о н ч а к, В о л к о д а в, джигиты.

Д и л ь д а. *(со слезами)*. Свет мой! Единственный... Уведи меня, вытащи из этого змеиного гнезда. Умру с тобой!

Ж а н т а с. Подними голову, мать, утри слезы. Все ли ты перевидала, все ли вытерпела для меня? *(Она приникла к его плечу.)* Встань, мать, разогни спину. Ты свидетельница их обмана! Так ли, Кыдыш-бий? Правду я говорю? Я по твоим следам шел... Все валите на русских! Пугаете нас мастеровыми из преисподней... А за нашей спиной сговариваетесь с жандармами? Так или нет?

К ы д ы ш молча разводит руками.

М а й к а н. (*овладев собой*). Напугал ты меня...шутник. С перепугу невесть что померещилось... Входи, садись за стол. Разве так входят в порядочный дом?

Ж а н т а с. Не хитри, бес. Тебе ли, серому волку, петлять по- заячьи? Ты сам себе выбрал казнь. Пробил твой час.

М а й к а н. Прежде всего осмотрись как мужчина. Последнее дело пить бабьи слезы. Выпей вина! Только что тут был господин уездный начальник.

Ж а н т а с. Знаю. (*Указывает на стол.*) Вижу!

М а й к а н. Что знаешь? Что видишь? Карты! Я играл... Нарочно продулся ему, как мальчишка. Последнее спустил, что ты не дограбил! И вот... вот чем мы его... Какен-ага, не почтите за труд...

К а к е н достает из шкафа красную папку, раскрывает ее торжественно, в ней большой лист плотной бумаги, покрытый вязью писарского письма.

К а к е н. Кто не слепой, пусть видит. Гербовая бумага! Его императорскому величеству, государю императору, самодержцу всероссийскому... Читай!

Ж а н т а с вытягивает шею с почтительностью неграмотного. В окна влезают В о л к о д а в и Г о н ч а к, джигиты окружают К а к е н а, рассматривают бумагу и папку.

Г о л о с а. А где герб? А печать? А ну, покажи на свет!

Какен показывает.

В о л к о д а в. Шкура красная...

Г о н ч а к. Зачем красная?

К а к е н. А затем, толстолобые, чтобы понял: написано кровью!

Смущение.

Д и л ь д а. Господи, для чего же тогда тот долговязый с золотыми пуговицами так сказал?

М а й к а н. (*с дрожью*). Как сказал?

Д и л ь д а. Сказал, приедет сам с казачьей сотней...

М а й к а н (*перебивает*). А это уж его спроси, сына своего, разбойника, аульного вора! Пусть он ответит!

Ж а н т а с (*просто*). Я на виселицу пойду, только бы для людей...

М а й к а н. Туда тебе и дорога! А нам не мешай. Уходи.

Ж а н т а с. Нет, волостной, не спеши. Мы простаки, вы ловкачи. Опять кувыркнете нас через голову и не оглянетесь. Теперь ты так легко не отделаешься... Словам не верим! Дай нам великую клятву — при всех, при народе, не сходя с места. Духом своего предка Мыктыбая клянись!

Г о л о с а. Правильно! Духом Мыктыбая! Можешь поклясться?

М а й к а н. Могу... Клянусь...

Ж а н т а с. Духом своего предка!

М а й к а н. Пусть покарает меня дух Мыктыбая, если солгу...

Ж а н т а с. Если обманешь народ!

М а й к а н. Если обману...

Ж а н т а с (*Кыдышу*). Ты свидетель этой клятвы, подтверди.

К ы д ы ш. Слышал... Я свидетель.

Ж а н т а с (*Какену*). И вы тоже.

К а к е н. Слышал все. Свидетель.

Ж а н т а с. Ну и я поклянусь духом моего отца, пастуха... которого вы убили... только-только он стал отцом... не успел посесть...

Д и л ь д а. Ох, помирились бы, дети... Господи, благослови!

Ж а н т а с. Бог нас теперь не помирят, мать. За мной, джигиты! Народ нас благословит, (*Уходит.*)

Занавес.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Двойная юрта волостного управителя. Ж у з т а й л а к, К ы д ы ш, Н у р к а н.

1

Входит Д и л ь д а.

Д и л ь д а. Благодаря богу... едут! Только Майкана, света нашего, не видать. Или я ослепла, старая дура?

2

Все спешат навстречу прибывшим и возвращаются, сопровождая
К а з а н ц е в а и подьесаула Се м е н о в а.

К а з а н ц е в. А где же Майкан? Он хотел нас встретить в ауле— поехал горной тропой.

Н у р к а н. Не может быть!

Ж у з т а й л а к. Что он сделал, безумный!

Д и л ь д а. (*в сторонке*). Стало быть, ему нечего бояться, коли он не побоялся, отец наш родной.

С е м е н о в. Успокойтесь, с ним конвой. (*Хохотнув.*) Мои бородачи его не выдадут... пока трезвы.

К а з а н ц е в. Господин подьесаул, привал — самый малый. Я хочу тут усилить вас, придать вам, так сказать, ополчение от здешнего волостного.

С е м е н о в. Слушаюсь, ваше высокоблагородие. Так я не велю расседлывать. (*Делает знак вахмистру у входа, тот исчезает.*)

К а з а н ц е в. (*ежится, потирая руки*). Однако же неудобно у вас, на ваших горных пастбищах. Или это в юрте прохладно, любезная хозяйка? А мне казалось, под твоим крылышком всегда жарко!

Ж у з т а й л а к. (*идет к сундуку, достает дорожную шубу и накидывает ее на плечи Казанцева*). Упаси бог, мы не холодные люди, господин. Мы не допустим, чтобы вы продрогли. Носите, если по плечу.

К а з а н ц е в. Спасибо, спасибо. (*Жмет ей руку.*) Прелесть у нас хозяйка, подьесаул, вы не находите? Вот кого я люблю, грешен, м-да... (*Шлепает ее по спине.*)

Ж у з т а й л а к. Эта шуба обнимает вас, как женщина, господин. Эта шуба послушна, как рабыня, господин... (*Лукаво усмехается.*)

С е м е н о в. Она необыкновенна! Право, для киргизки решительно необыкновенна.

К а з а н ц е в. О, вы ее еще не знаете—она здесь набольшая, генерал-дама-с... Из киргизок киргизка! Дать ей волость, мужиков в бараний рог скрутит. Скрутишь, а?

Ж у з т а й л а к. Как прикажете, господин.

К а з а н ц е в и С е м е н о в хохочут.

К а з а н ц е в. Ну-с, к делу. Нужен толковый проводник, надежный и несонливый. Причем немедля!

С е м е н о в. Иначе я не снимусь с места.

Н у р к а н. (*Кыдышу*). А что, если бы вы сами? Взяли бы всё в свои руки...

К а з а н ц е в. Это было бы недурно.

К ы д ы ш. Как знать... Я уж стар, отстану от джигитов...

К а з а н ц е в. Лучшего не найти. Езжай, Кыдыш-бий, с богом!

К ы д ы ш. Ну, раз вы говорите... быть по-вашему.

С е м е н о в. Остальное за мной! Можете на меня положиться. Наши соседи — Карабужур и Коксу — меня уже знают. (*Хохотнув.*) Надеюсь, и впредь не сконфужусь.

К ы д ы ш. (*мнется*). Как же теперь с манифестом, господин начальник? Мы уже слух пустили... у-а, какой слух! Или больше не нравятся наши советы? Определяете нас в проводники...

К а з а н ц е в. (*посмеиваясь*). Полноте, господин бий. Нам с тобой греться под одной шубой... Где он, ваш волостной Емелька?

Н у р к а н. Он в горах, которые мы называем Найзатас — Каменные Копья. На днях там побывала наша служанка, его родная мать. Вот эта самая...

Д и л ь д а. (*шепчет*). Господи боже, будь проклят мой длинный язык...

С е м е н о в. Мать? Любопытно. Этакой разведке позавидовали бы столичные жандармы! (*Дильда в ошеломлении низко кланяется Семенову.*)

Ж у з т а й л а к. Где он — я скажу, господин офицер. В Каменных Копьях сейчас одни сайгаки.

Семенов. (*игриво*). Bravo! Быть может, и вы ему родственница?

Жузтайлак. Мне он милей всех... Сегодня он ночует в урочище Актомар.

Дильда ахнула.

Семенов. Отлично. Я выступаю, ваше высокоблагородие.

Казанцев. Я тотчас следом.

Семенов козыряет и идет с Кыдышем из юрты. Жузтайлак их провожает.
Дильда с глухим воплем кидается за ними.

3

Казанцев. (*усаживаясь и принимая из рук Нуркана пиалу с кумысом*). Ах, с удовольствием, сударь ты мой, я покидал бы сейчас картишки на балу у его высокопревосходительства... Кто мог ожидать, что дикие степняки будут атаковать города?

Нуркан (*поражен*). Как города?

Казанцев. Вы еще не знаете? Очень хорошо. А Тургай уже третью неделю в осаде. Железная дорога Ташкент — Оренбург походит на волосок, который вот-вот будет оборван. Там собралось в одну банду ни много ни мало тысяч пятьдесят бунтовщиков, дезертиров со всех волостей.

Нуркан. Пятьдесят тысяч!

Казанцев. И заправляет всем этим сбродом некто по прозвищу А-ман-гельды... Вашего племени разбойник!

Нуркан. Ойбой! Как говорите, Амангельды? Не знаем мы такого.

Казанцев. (*одобряет его неосведомленность*). Очень, очень хорошо... Еще какой-то там подстрекатель из ваших. Большевик, изволите ли видеть, здесь, в степях, чудовищно-с! Против них брошен корпус генерала Лаврентьева, снятый с фронта. Боевой корпус! Неслыханное свинство. Не приведи бог, если ваш Емелька таким собачьим манером пронюхает про этого Амангельду и сбегит в Тургай с джигитами, подлежащими реквизиции. Не приведи бог! Это слова губернатора.

Нуркан. А на что же тогда, господин подьесаул, казаки?

Казанцев. Они-то постараются... Они все вашей волости, из станицы Романовской.

Нуркан. Это у озера Сарыкол?

Казанцев. (*развернул карту*). М-да, у озера... Какие там аулы?

Нуркан. Самые разбойные: есть и борсаки, есть и олжайцы.

Казанцев. Так вот-с, у озера Сарыкол казачьей сотне обещана земля. (Перечеркивает на карте карандашом крест-накрест.) Четвертый аул, шестой, третий, седьмой... Считайте, что их больше нет. Перевелись тут и борсаки, и олжайцы, и прочие китайцы!

Нуркан. (*злорадно*). С самой весны они мутили народ, плакались, жаловались на тесноту, малоземелье.

К а з а н ц е в. Ну что ж, кому тесно на земле, пойдут под землю. Там просторно...

Н у р к а н. (*вскочил*). Будут знать конокрады, на кого подняли руку!

4

Входят Т а н е к е и В о л к о д а в в сопровождении Ш а т а к а н а и двух казаков.

Н у р к а н. (*в страхе*). Вот они, господин... Тот самый... Танеке!

Т а н е к е. Не робей... Добавь, что пять тысяч стоит моя голова. Оглядываешься... Видим, к кому ты прижался задом...

К а з а н ц е в. Эт-то еще что за свинство? Ты как же посмел...

Т а н е к е. Народ меня послал. Прослышали, едет начальство, над нашим законом закон. Обрадовались... Ступай, говорят, к нему самому. Поведай про наше житье-бытье. Жалобу горькую, просьбу велели передать. Прознали, что вы у волостного. Больно опасается народ, наложат, тут вам, стало быть, полные уши дерьма. А мы без вины виноваты... Вот и послали — дать вам знать. Вроде вы понимаете по-нашему, по-казахски.

К а з а н ц е в. (*со злым смешком*). Как не понять. Выкладывай!

Т а н е к е. Мы безголосые, обнищавшие, забытые в этой волости — Жиландинской... Почитай, пять старшинств зимуют-летуют в тесноте да в обиде у озера Сарыкол. От этой несчастной земли и раньше трижды отрезала казна — что нам осталось? С овечью шкуру. А нынче, прослышали мы, опять хотят отрезать... Куда нам деваться с детишками, с голодными ртами? В прошлом году как бедовали без сенокоса!... Это одно, а второе — насилует нас волостной. И он тянет руки к нашей овечьей шкуре. Ведь что выдумал — строить себе зимовку!... Теперь дальше: дошел черед до списков. Копнули мы, и что же открылось? Все джигиты, как есть, записаны от нас. А от его племени Мыктыбай, богатейшего, от тридцати аулов — ни одного? Это ли справедливость? Посудите... Уж не делается ли все это нарочно, с умыслом змеиным? Вытрясти из нас всякое терпение, довести до края, толкнуть на верную гибель. Вот мы и думаем: такого-то закона нет?..

К а з а н ц е в. (*Нуркану, вполголоса*). Мнится мне, они уже знают... все знают, головорезы... про Тургай...

Т а н е к е. И, еще велели вас поздравить с благополучным прибытием. Простите, нечем вас одарить. Рады бы, да голы, босы, тощи...

К а з а н ц е в. А ты понимаешь, старик, что с тебя причитается по закону?

Т а н е к е. Само собой, господин: с богатого — шуба, с нашего брата — шкура. Но, если такой закон, не ждите от нас послушания. Вот что я скажу от народа.

К а з а н ц е в. Ты все сказал?

Т а н е к е. Теперь все, господин.

К а з а н ц е в. (*казакам*). Взять их, подлецов!

Казаки хватают Т а н е к е и В о л к о д а в а

Т а н е к е. Э-эх, уездный, так-то ты принимаешь посланцев народа, безоружных? И ты... ты над нами начальство?

К а з а н ц е в. (*топает, орет*). Ах, разбойник, вор, собака!

Т а н е к е. И верно, я собака, коли принял тебя за человека. Поделом нам за дурость! Делай, как знаешь.

Н у р к а н. Выколоть им глаза обоим...

В о л к о д а в. А тебя народ покарает, Нуркан.

Нуркан пнул его ногой.

К а з а н ц е в. Запереть их. Завтра отправить в город. Военно-полевой с немедленным приведением в исполнение! (*Складывает карту.*) Ну, погодите, голубчики. Здесь пока что не Тургай. Я ж вам пропишу прохладительное. Коляску!

Уходит с казаками. Слышен стук колес отъезжающей коляски.

5

Нуркан, Шатакан! Заковать их по рукам и ногам. Бога забыли, рабы, зазнались у меня, обнаглели. На моих глазах грабить мой аул! Сейчас увидишь, какой я... заложник!

Т а н е к е. Пришло в башку цепному псу, что он хан в степи, да цепь коротка... Мне жалеть нечего, я людям не задолжал. А вы, баи, всю жизнь мешали нам стать плечом к плечу. Ну и травили каждого поодиночке. Сегодня, смотри, все обиженные за мной. Гора народная за моей старой спиной! Мне ли бояться смерти, коли я в голове такого каравана? Чем ты меня устроишь?

Н у р к а н. Жилы из тебя вытяну! Ты у меня не так запоешь!

Т а н е к е. Глупый человек, нет страшней муки — видеть горе народное, а я его видел.

Н у р к а н. (*бросается на старика с камчой.*) Я ж тебя угощу.

6

Ж а н т а с. (*влетел в юрту, смял Нуркана.*) Врешь, я тебя сперва!

За ними вбегают Мугалим, Гончак, вооруженные джигиты,
Муржан, по-мужски одетая, тоже вооруженная, и Саруар.

М у г а л и м. Стой, не шевелись!

Г о н ч а к. Ни звука, шакалы!

Н у р к а н. (*слугам.*) Казаков зови, казаков... скорей!

Ж а н т а с. Бога сейчас зови, пока не поздно. (*Освобождая Танеке.*) Ну, убедился, отец, каковы с ними переговоры?

Г о н ч а к. (*вытащил из-за голенища нож.*) Я сейчас с ним переговорю — он у меня не пикнет.

В о л к о д а в. (*удерживает Гончака.*) Это разговор грубый, ему по чину полагается петля! (*Закидывает веревку на шанрак, подтаскивают Нуркана.*)

Н у р к а н (*вопит*). Дорогие... родные... Брат Танеке, милый! Спаси мою душу, муху жалкую... Прости меня, прости, я твой раб до могилы!

7

Ж у з т а й л а к (*вбегает, бросается на шею Мугалиму*). Выслушай! Останови их... Не дай погубить глупца под горячую руку! Я твоя рабыня навек...

М у г а л и м (*отстраняясь*). Эй, джигиты, стойте! Убийства я не допущу. Ответ беру на себя.

Муржан. Послушайся его, Жантас. Пусть не говорит, что мы разбойники, на наших руках нет крови.

Ж а н т а с. (*с облегчением махнув рукой*). Брось его, братцы, охотника за подолами, не марайся...

Т а н е к е. Пусть так... Но только раскаяешься ты, учитель, заставят они нас раскаться в своей доброте. И ты, Жантас, подумай.

Ж а н т а с. Думаю я иной раз, а может, это сказка, мечта наша то, что в Тургае? А мы одни-одинешеньки во всей неоглядной степи Эх, кабы крылья! Увидеть, что делается на белом свете хоть одним глазком...

Н у р к а н. Нет там никакого Амангельды... нет! Врут, что у него пятьдесят тысяч! Врут... Не может быть казах — бунтарь! Басни...

Ж у з т а й л а к. Молчи... трепливый язык...

Г о л о с а. Слышите, слышите! Амангельды! Пятьдесят тысяч!

Ж а н т а с. Это зачем же молчать, красавица? (*Нуркану*.) Говори правду, пес, если хочешь пощады!

Джигиты с угрозой подступают к Нуркану.

Н у р к а н. Не знаю... не знаю я ничего...

8

Входит М а й к а н. Он только что с дороги. Поражен.

Г о н ч а к. (*подскочил к нему*). А вот и вестник — лучшего не надо!

В о л к о д а в. (*подскочил с другой стороны*). Вот это подарочек... милости просим!

Ж у з т а й л а к. (*кусая губы*). О, глупая судьба... Сам явился к своей могиле.

М а й к а н. (*осмотрелся, пришел в себя, рассмеялся*). Э-э, вы уже здесь — хорошо. Ждете меня, молодцы. А я-то рассчитывал взять с вас подарок за добрую весть!

М у г а л и м. Добрую? Неужели?

М а й к а н. А-а, вы не знаете... Живо скачите в степь, в аулы. Великая весть! Манифест! Нас освободили. Джигиты вольные — реквизиции не будет. В солдаты берут одних добровольцев. Сегодня я от губернатора. Скакал целый день, чтобы догнать уездного и казаков.

Д и л ь д а. (*проскользнувшая за Майканом*). Я говорила, я говорила: он не с карателями, благодетель наш.

М у г а л и м. Позвольте, а чей манифест?

М а й к а н. Из Петербурга. Из сената! Но, уж конечно, при условии полного повиновения законным властям...

Т а н е к е. Ну, а земля? Ее — казакам, а нас — собакам?

М а й к а н. Не все скопом, отец. Терпение! Будем жадны — подавимся. *(Беззаботно.)* К слову, тебе, Мугалим, от оренбургских джигитов привет и братское поздравление!

М у г а л и м. О, спасибо, спасибо...

Ж а н т а с. Ну, если вправду с этим приехал, пойдешь с нами, волостной. Сам скажешь, что нам сказал, порадуешь людей. А главное, про Тургай... Все скажешь, что спросим!

Г о л о с а. Верно! С нами иди! Сам скажи!

М а й к а н. *(утирается)*. Очухаться мне с дороги... целый день в седле...

Г о н ч а к. Не жалуйся, на руках отнесем!

Т а н е к е. Что же, надумал, Жантас? Нет дыма без огня. Надо гонца в Тургай. Пора!

Ж а н т а с. *(обнял Мугалима, ведет за собой)*. Как вы считаете?

М у г а л и м. Не знаю, не знаю... Бьется-мелькает в моей голове свет, как в лампе под сильным ветром.

Уходят. Топот коней. Тишина.

9

Н у р к а н *(с петлей на шее)*. Вот уж теперь уездный спустит с меня штаны.

Ж у з т а й л а к. О, я несчастная! *(Плачет.)*

Занавес.

АКТ ТРЕТИЙ

КАРТИНА ПЯТАЯ

В горах. Под вечер. Лагерь повстанцев. На скалах дозорные с пиками, увенчанными флажками, с секирами, изредка ружьями. Костры. Вдали поют. Крики. Молодые джигиты упражняются в фехтовании, в борьбе.

1

Вбегает Ш а т а к а н, за ним Ж у н у с.

Ш а т а к а н. *(кричит)*. Эй, новость, новость! Великая весть! Манифест! Слушайте все... Сам волостной сюда едет оповестить, обрадовать народ! Слышите — едет.

Шатакана окружили джигиты.

Ж у н у с. (*про себя*). Ну и удачлив пастух, голодранец... Опять вылез сухим из воды, да еще с уловом... (*Растолкал джигитов.*) Ты, цепной пес байский, чему радуешься? Так-то ты платишь за хлеб-соль своим хозяевам?

Ш а т а к а н (*отскочил*). Не тронь меня! Я вестник! С вас всех подарки мне, первому! Эй, новость, новость! Великая весть! Манифест! Слушайте все. (*Убегает, уводя за собой джигитов.*)

2

Входят М у р ж а н и С а р у а р.

М у р ж а н. Стыдись, сестра, меня выпрямила, а сама согнулась.

С а р у а р. Ты же видела: это хуже измены!

Ж у н у с. (*игриво*). А вы невеселы, женщины-воины, подруги героев. Кто это вас так допек — мужья или соперницы?

М у р ж а н. А вы все чешете язык, как собака ухо! Вам бы не здесь, а перед Жузтайлак... (*Передразнивает его жесты.*)

Ж у н у с. Как раз об этом я и мечтаю.

С а р у а р. Змея она!

Ж у н у с. Да так ли она лукава?

М у р ж а н. А знаете вы, что у нее среди нас рука, и подлая рука, готовая ударить в спину? Сама призналась в сердцах.

Ж у н у с. (*глухо*). Шутите, не так она болтлива...

М у р ж а н. Я своими ушами слышала. Этот человек среди нас, и он не из последних...

Ж у н у с. Злодейка... А может, она нарочно из гордости, поугагать?

М у р ж а н. Она знала место нашей стоянки — урочище Актомар. Не миновать бы нам ловушки, если б не мать Жантаса!

Ж у н у с. И что же она... намекала... кто этот подлец?

М у р ж а н. Мы и сами не слепые. Не обязательно ткнуть в него пальцем. (*Ткнула пальцем в Жунуса.*)

Ж у н у с. (*попятился*). Что?.. Кто?... (*Отмахивается от нее, как от осы.*) С ума сошла... ничего я не знаю...

С а р у а р. Будет прикидываться! Не такой вы простачок... Все это видят. Уже не секрет.

Жунус сел, утирает пот.

М у р ж а н. На глазах у всех — что она велит, то он и творит. При нас кинулась ему на шею — я твоя рабыня... А раб-то он!

Ж у н у с. (*смекнул наконец*). При вас? На шею?.. Неужели учителю? Счастливец! Я этого не испытывал...

С а р у а р. Бесстыдник!

3

Входит М у г а л и м, С а р у а р отворачивается.

М у р ж а н. Мугалим... среди нас есть предатель...

М у г а л и м. (*выпрямился*). Так это уж не вы ли, господин Жунус?

Ж у н у с. (*с наигранным смехом*). Слушайте, слушайте жен, учитель, они вас научат.

4

Шум голосов. Окруженные большой толпой,
Входят Ж а н т а с, Т а н е к е, В о л к о д а в, Г о н ч а к и волостной М а й к а н.

Ж а н т а с. (*Волкодаву*). Дозорные у нас слабы. Смени их немедленно. Ставь самых надежных, крепких джигитов.

В о л к о д а в. Сделано!

Г о н ч а к. Будь покоен.

Ж а н т а с. (*поднявшись на возвышение*). Ну, друзья, подходи ближе. Сюда!

Люди рассаживаются на камнях.

М а й к а н угодливо здоровается со всеми поочередно.

Ж а н т а с. Так вот он, наш волостной благодетель, позвавший на ваши головы карателей. Хочет обрадовать вас, а чем — сам скажет. Будете его слушать?

М у г а л и м. Что толку? Обманет опять.

Г о л о с а. Гони его в шею!

— Пусть скажет, послушаем!

— Давненько не слышали...

М а й к а н. Джигиты, не вы ли вчера составляли мой народ? Откуда же это пошло, что я призывал карателей? Не снесите вы голов, у кого мне искать чести?

В о л к о д а в. Спрашиваешь? Прежде ты нас не спрашивал!

М а й к а н. А разве прежде вы советовались со мной? И разве прежде нависала над нами такая гроза? Не за тебя ли, не за твою ли судьбу я боролся, родной мой народ, страхась, что останутся твои кости в голой степи, в диких ущельях этих гор? Кто же из нас потерял рассудок?

Г о н ч а к. Слова мы слышали, давай дело говори!

М а й к а н. А дело такое: пока вы тут без хозяина озорничали, мы с адвокатом Какеном обшарили много земель, все начальство. Были в Оренбурге, в Самаре. Петиция наша пошла в Петербург. И вот нынче пришел ответ. Истинно благая весть — манифест! Я свою клятву сдержал!

Г о л о с а. Дай бог тебе счастья!

— Спасибо, что сказал... не поленился...

М а й к а н. (*бодро*). Захожу к губернатору, а он меня хлоп по плечу: садись пить чай... И показывает...

Мугалим. Действительно, из Петербурга?

М а й к а н. Я ж говорю: от царя, от министра...

М у г а л и м. Но вы говорили, что из сената!

М а й к а н. Э, Мугалим, что сенат, что министр... мы народ темный, нам не разобратся, кто кому держит стремя. Была бы бумага! А как же не верить, если на мое имя телеграмма от Какена?

М у г а л и м. О чем телеграмма?

М а й к а н.. Все о том же!

Г о л о с а. Что такое телеграмма? Почему телеграмма? Как это так - на его имя? А говорил — манифест?

М у г а л и м. Ну, хорошо, пусть телеграмма. Докажите хоть чем-нибудь! Дайте прочесть.

М а й к а н. Пожалуйста. Разве я отказываю? Отведи меня в аул, к моему коню. Вот — сума, в суме — папка, в папке — телеграмма... Дам тебе в руки, читай! Там телеграмма.

Ж а н т а с. Это правда?

Г о л о с а. Раз говорит, стало быть, правда!

— Вот рассказал про все земли, где был.

Т а н е к е. Эй, народ, погоди! Я сам толковал с уездным... был в его железных когтях... В мою старую голову не вмещается: как это можно... одной рукой — манифест, другой — казачью сотню?

М а й к а н. Но ведь уездный не знал еще этой вести...

Ж а н т а с. Ты знал, а он не знал?

М а й к а н. Дай мне сказать ему одно слово...

Ж а н т а с. Ты скажешь, а он послушается?

В толпе смех.

С т а р и к с с е к и р о й. (*выступил вперед*). Жантас, сынок, а ведь все-таки добрая весть — половина счастья. Грех человека казнить за добрую весть!

Ж а н т а с. А за обман? (*Молчание.*) Вижу, отец, понимаю, чего тебе хочется. И мне того хочется. Мы не разбойники — пастухи. Верить хотим, мира хотим, ягнят выращивать, стада пасти...

Общий взрыв одобрения.

Г о л о с. (*высокий, ломкий, наивный*). А может, поверить последний разочек? Ну, самый последний... во всей жизни!..

Напряженная тишина.

Ж а н т а с. (махнул рукой). Обидно мне за вас, братья...

М у г а л и м (подошел, обнял его). Вот кому верьте, люди!

Ж а н т а с. Что же, пускай тогда поживет у нас волостной. Пускай отведаст нашей житухи. Или будет у нас лучшим гостем, или сложит, как мы, кости.

Г о л о с а. Правильно! Верно! Пускай!

В о л к о д а в. Держать его за курдюк...

Г о н ч а к. Глаз с него не спускать...

М а й к а н. Раз я пришел сюда, сам не уйду.

Ж а н т а с. А раз пришел сюда... (достаёт пачку бумаг) вот твои списки... Что с ними делать? (Пауза.) На, изорви! Своими руками...

Майкан рвет бумаги. Джигиты подхватывают обрывки, тоже рвут, подбрасывают клочки в воздух.

Шум, гам, веселье.

Т а н е к е. И вот что еще я скажу, сыночки. Эй, погоди баловать! (Тишина.) Сколько прослышано, сколько говорено было про то, что в других волостях, про то, что в Тургае. Мелем, судачим... завидуем... Божимся этим Тургаем! А по сей день держим гонца на привязи. Длинно у нас ухо, короток глаз. Спрашиваю я, что в Тургае?

М а й к а н. (поспешно). Э-э, куда гнешь, Танеке, чему учишь? Нам манифест, свобода, помилование, а ты бунтовать?

Т а н е к е. Стало быть, там бунтуют? Бунтуют, говори!

Ж у н у с (выступил вперед). Перепугался отец Танеке казачьей сотни. Оглядывается на другой уезд, будто мы трусы, бродяги, преступники, бегущие с поля боя, бросающие народ, когда он истекает кровью...

М у г а л и м. Что-то я не слыхал, чтоб отец Танеке призывал бежать с поля боя.

Ж а н т а с (подошел к Жунусу). Насмерть будем биться! На месте поляжем! Что скажете, джигиты?

Воинственный гул голосов.

Т а н е к е. (подняв руки). Слушайте, сыны мои! Если вправду там войско в пятьдесят тысяч,— оттуда далеко, до самой России видно. Не зря тамошнюю голову этак-то не по-нашему обзывают. По имени он казах, а прозвание русское — бол-шай-бек... Видать, неробкая, умная голова! И раз наши благодетели... (кивает в сторону Майкана) не хотят, чтобы мы разули глаза, что нам надо делать?

Г о л о с а. Гонца, гонца! В Тургай!

Т а н е к е. Аминь!

Ж а н т а с. Теперь расходитесь. Все по своим местам. Ночь близко. Костры погасите и не спать! Семь и семь раз обойду дозорных — спящего не помилую.

Джигиты расходятся. Гаснут костры. Площадка у скал опустела.

5

Под скалами М а й к а н, В о л к о д а в, Г о н ч а к и молодой джигит с копьём.
Джигит связывает волостному руки.

В о л к о д а в. Ну, волостной, волк матерый... А ведь я Волкодав! Узнаешь! Вы обозвали меня собачьей кличкой. Выходит, что оправдалась кличка, а?

Г о н ч а к. У-а, волостной... А я Гончак! Помнишь? Должно, вам сам бог подсказывал, как кого облаять. Тебя создал волком, меня гончим псом, а?

М а й к а н. Дорогие вы мои... я уж натерпелся за свои грехи! Неужели забыли мои заслуги, хозяйскую заботу о вас, верных слугах!

Г о н ч а к. Э, добрый бай! Как забудешь! Нельзя...

В о л к о д а в. У псов-то хорошая память, хозяин...

М а й к а н. И я не забуду до гроба, родные, Отпустили бы душу напокаяние.

В о л к о д а в. Так я же Волкодав!

Г о н ч а к. Так я же Гончак!

Д ж и г и т. А ты волк...

В о л к о д а в. Стереги его крепче, малый.

Г о н ч а к. Гляди, парень, в оба.

Волкодав и Гончак уходят

6

Меж камней крадется Ш а т а к а н.

Д ж и г и т. (*заметил его*). Ты куда? Прочь отсюда! Не подходи...

Вбегает Жунус, схватил Шатакана.

Ж у н у с. Вот он где, хорек... Молодец, джигит! Ну-ка веди его, прямо к Жантасу. Да поскорей назад, мне некогда.

Джигит уводит Шатакана.

Ж у н у с. (*развязывает Майкана*). Тут за скалой наготове мой конь, скачите!

М а й к а н. Благослови тебя бог. (*Грозит кулаком в сторону скал.*) Ох, будьте прокляты, псы!

Вбегает Волкодав с ружьем.

Волкодав. Стой, стой, волчья порода!

Ж у н у с. (*пригнулся*). Остановитесь, застрелит...

Майкан бежит. Выстрел. Майкан падает.

Ж у н у с. Наповал... Ты что наделал, собака? На тебе ответ!

На выстрел сбегаются джигиты, Ж а н т а с, Т а н е к е, М у г а л и м,
М у р ж а н, С а р у а р

Т а н е к е. Что случилось?

Ж а н т а с. Кто стрелял?

В о л к о д а в. (*виновато*). Как же так, братцы, не стрелять, коли волк бежит, волк матерый?..

М у г а л и м. Господи боже, зачем это убийство?

Т а н е к е. Грех нарекать на покойника. Но я скажу, пуля догнала, нашла виноватого! Не мы, бог его казнил, лгуна!

Ж а н т а с. Кто же его проспал, джигиты?

Д ж и г и т. Я не проспал! Я его связывал...

Ж а н т а с (*Жунусу*). А ты, стало быть, развязывал...

Ж у н у с. А хоть бы и я! Прав Мугалим — заложников не убивают...

Ж а н т а с. Народ его пленил. Отвечай народу!

Ж у н у с. Народ не хотел его убивать. Кто велел, кто позволил? Вот молчат люди. (*Тишина*.) Сами на свои головы кличем беду, врагов наживаем. После этого не видать нам своих аулов. Доканает нас власть, засудит всех! Лучше бы дали ему бежать... Вот на ком вина... (*Показывает на Волкодава*.)

Голоса протеста и одобрения.

М у р ж а н. Сделал свое грязное дело и лапы себе вылизывает, длинноязыкий!

С а р у а р. Опять валите с больной головы на здоровую, Жунус?

М у г а л и м. В час, когда сердце растерзано сомнением, вы добавляете яд в открытые души.

Ж у н у с. (*отскочив в сторону*). Эй, однородны, люди мои, ко мне... отходи от них все! (Несколько человек отошло к нему.) Видели, как вознеслись эти борсаки? Мало того, что сами — жены их поучают джигитов, как сосунков... Сели на голову народу, повадились понукать, помывать!

Отдаленные выстрелы. Крики.

Г о л о с а. Глянь-ка, да это Гончак!

— Братцы, выручай!

Ж а н т а с. Стой джигиты, назад!

Вбегает Г о н ч а к, окровавленный.

Г о н ч а к (*Жантасу*). Брат... беда! Караулы побиты со стороны степи.

Ж а н т а с. Тихо! Спокойно! Слушай... Боя не принимать, отступать в горы. Все, кто с ружьями, на скалы, за мной. С копьями все на коней и по ущелью, с отцом Танеке. Поняли, братья? Тогда поворачивайся, шевелись!

Стрельба усиливается. Люди разбегаются.

Т а н е к е (Жунусу) Ну, враг идет. Ты что надумал? Наслушался я тебя вдосталь. Ежели у тебя камень за пазухой, скатертью дорога. Ступай с богом, я отпускаю! Но не мути, грамотей, родник народный... Коли довелось нам перешагнуть через труп Майкана, у всех нас одна судьба. На лезвие ножа не договоримся мы с ними. С кем ты, отвечай?

Ж у н у с. Что за разговор, отец Танеке? Время ли спорить? Из-за обиды пустячной я не уйду, умрем вместе. Приказывай, Жантас!

Ж а н т а с. Ружье заряжено?

Ж у н у с. Да.

Ж а н т а с. Что же ты медлишь?

Отстреливаясь, взбираются на скалы. Десятки стрелков ведут со скал огонь.
Танеке увел безоружных в ущелье. Конский топот.

В о л к о д а в. (на скале). Жантас, пора, уводи джигитов. Я придержу...

Ж а н т а с. Береги патроны. Голову береги.

В о л к о д а в. Не бойся! (Остался один.) Эй, долговязый, гляди на меня!.. (Выстрел.) Так-с, протянул ножки. Эй ты, начальство, я в тебя стреляю!.. (Выстрел.) Есть, получил. Ну, на прощание... (Выстрел.) Промазал. Жди в другой раз... (Ушел и он.)

9

На скалы лезут каратели. У тела М а й к а н а Ш а т а к а н.
Входят К а з а н ц е в, С е м е н о в, К ы д ы ш и Н у р к а н.

К ы д ы ш. (над Майканом). Ужас... Кого не стало!

Н у р к а н.. О, брат мой, брат...

К ы д ы ш. Господин уездный начальник... месть! Объяви по десять тысяч за их головы. Хватай, вешай их! Испепели этот проклятый народ!

Ш а т а к а н. Они пошли по ущелью, по ущелью... У них мало патронов...

Занавес.

КАРТИНА ШЕСТАЯ

Каменные Копья. Последняя стоянка Ж а н т а с а. Лужайка. Серые груды камней. В глубине высокая островерхая скала. Вдаль уходит цепь таких же скал. У подножия скалы черный след от костра. Треножник, чугунный закопченный казан. Рядом лежат кошмы, одеяла. Тут же пирамидой составлены ружья.

На лужайке собрались Ж а н т а с, Т а н е к е, М у г а л и м. М у р ж а н, С а р у а р,
Д и л ь д а,
В о л к о д а в и Г о н ч а к.

Т а н е к е. (*указывает в стену*). Гляди, опять... точно суслики в половодье...

Ж а н т а с. (*махнет рукой*). Э-гей! Сюда идите, сюда!

2

Входят С т а р и к и С т а р у х а, беженцы.

С т а р и к. Ух... Родной мой, видать, ты свой. А я было совсемструхнул.

Ж а н т а с. Кто вы? Откуда?

С т а р у х а. Светик ты мой, режут... льют нашу кровь... Жантас. Из какого вы аула?

Ж а н т а с. Из какого вы аула?

С т а р у х а. Милый, олжайцы мы. Аул Жаманая.

С т а р и к. (*переводя дух*). Казачья сотня... кара господня... А ведет ее кто? Кыдыш-бий! Пять наших аулов в одном урочище разграбили подряд... Молим, за что? Ваши, говорят, джигиты ушли бунтовать к Жантасу и Танеке... У-а, будь они неладны, и наши молодцы, и тот Жантас!

Т а н е к е. Кого клянешь, старый?

С т а р у х а. Да ведь из-за них спалили дотла все аулы. Скот угнали подчистую. Взрослых кого постреляли, кого порубили живьем. Маленькая внученька моя, десяти годочков от роду, на моих рукахзастыла...

С т а р и к. Друг мой, обратили нас в зверей, без крова, без рода, без племени, вот и бредем, куда глаза глядят. А те, как волки, по нашим следам.

Т а н е к е. Где же это началось?

С т а р и к. Началось-то, известно, с борсаков, а добрались и до нас. Гонят от озера Сарыкол, вверх по реке. Повсюду огонь, кровь, стон...

Т а н е к е. Неужто дерут и олжайцев?

С т а р и к. Нет, кой-кого обошли. Кыдыш-бий, злой дух... Кого укажет, того и бьют...

Т а н е к е. Постой-ка... вверх по реке? Там же стояли мирные аулы! Они откололись, отошли от нас.

С т а р у х а. Что толку, что откололись? Все одно, режут... жгут без разбора. Русские соседи и те льют слезы... и те возроптали... Вон хлебца дали... мне с дедом на дорожку...

С т а р и к. Вырвался дух смерти из ада. Кони топчут младенцев. Конец света пришел. Господи, свидеться бы мне хоть перед смертью с тем Жантасом! Не за него ли мы бога молили? Слышно, за его голову назначено десять тысяч. На такие деньги целую волость купить можно...

Ж а н т а с. Я Жантас, отец. Сними с меня голову, если она тебе пригодится.

Молчание.

М у р ж а н (*беженцам*). Идите со мной, вас покормят, обмоютесь. Старуха (*голосит, глядя на свои руки*). Внученька, родненькая, твоя кровь засохла, почернела... Вот хлебца дали... русские.., мужики... И те ропщут, ропщут...

Муржан уводит беженцев, показывает, куда им идти.

3

Ж а н т а с. Ума не приложу, куда подевался наш гонец. Может, он остался в Тургае? Понравилось там...

В о л к о д а в. Меня бы туда послать!

Г о н ч а к. И меня!

Т а н е к е. Поздно, дети. Передушил уездный соседние волости поодиночке, как ласка кур. (*Считает по пальцам.*) Карабужурскую, Коксуйскую, Теректинскую, Кызылжалскую... Наша очередь подошла.

М у г а л и м. Так ли это, кто знает?

Т а н е к е. Это, милый, и отсюда видать.

Ж а н т а с. Эх, встать бы рядом плечом к плечу... Не хватило бы на нас уездных!

Т а н е к е. Обвели народ вокруг пальца волостные да баи, враги наши.

Ж а н т а с. Первый мой враг — у меня в груди, отец. Знаешь, кто он? Темнота моя. Есть ли где свет, солнце в небе? Должно же оно быть, братья!

В о л к о д а в. А вот податься бы нам в пески. Там солнца много...

Г о н ч а к. А то в Синцзян! Глядишь, там светлее...

Ж а н т а с. Время решать — люди ждут. Что скажем народу?

М у г а л и м. Сердце народа рассечено пополам, Жантас. Брат воздвигся на брата. Мы убиваем друг друга, не замечая, что убиваем себя, свой народ, то, что рождали и растили наши отцы и деды.

Ж а н т а с. Прежде любил я, учитель, когда ты заговаривал о народе. А вот слышу такое — и не люблю, прости.

Т а н е к е. А говорили, затянется война, царь — дурачок, и русские его не любят, побьет его другой царь, русские поднимутся, будет свобода. Ты говорил, учитель.

М у г а л и м. Да, вся Россия ждала революцию, ждала... Страшный шестнадцатый год на исходе. Что будет весной? Дотерпит ли народ?

Ж а н т а с. Мы дотерпели бы... Знать бы, где солнце, где солнце!

М у г а л и м. Солнце там, Жантас! Оно в России. Зовут его Революцией.

Ж а н т а с. Значит, есть люди, которые видят его, верят в него?

М у г а л и м. Есть, есть... Царь дрожит пред их лицом! Это простые люди, рабочие, такие же, как вы, без доли и воли. Только далеко они, далеко... Земли и воды нас разделяют... точно пропасть!

Т а н е к е. Ну, молодцы, намечтались, хватит. Нам на этой земле мира нет. Впереди кровь, позади Каменные Копья. Или уходить, или умирать!

В о л к о д а в. Или уходить, или умирать!

Г о н ч а к. Само собой...

Пауза. Все ждут слова Жантаса.

Ж а н т а с. *(решился)*. Кончено. Завтра с рассветом — в далекий путь! Звать позову, а неволить не стану. Кто сам захочет, кто света ищет, пойдет за мной!

В о л к о д а в. А куда?

Г о н ч а к. Куда?

Ж а н т а с. *(с силой)*. Я в Синцьзян не ходок, джигиты. По мне, Тургай ближе. Пойдем к Амангельды, если есть такой на свете.

Т а н е к е. Слава богу, сынок, слышу речь батыра!

Г о н ч а к. Не передумаешь?

Ж а н т а с. Глянь мне в глаза.

В о л к о д а в. Дай и я гляну...

Т а н е к е. Так. Ну что другие скажут, сидящие здесь? Кто пойдет с нами, примет клятву...

М у г а л и м. Я, право, не знаю, боюсь быть обузой. Не верю я в Тургай, Жантас.

Ж а н т а с. *(помолчав)*. Вы не стесняйтесь, учитель. И вам воля. Вы свое дело сделали, спасибо за науку. Мы вас проводим с почетом. По берегитесь, в этих краях не показывайтесь. Видно, приходит, приходит, учитель, иное время...

М у г а л и м. Ночь! Непроглядная ночь! Нет конца царству мрака и зла. Нет конца.

Ж а н т а с. Есть или нету, а мы уж не те! Что вошло в души, выйдет вместе с душой. Мы это царство ломали, учитель, мы, неученые... Нам жалеть нечего.

Т а н е к е. Нечего нам терять.

В о л к о д а в. Такая наша судьба.

Ж а н т а с. А вам, Мугалим, Саруар, пожелаем удачи и счастья...

С а р у а р. Неужто взаправду отстанешь от них, Мугалим, разойдешься с Жантасом? Не вынесу я такого стыда.

Ж а н т а с. Нет, Саруар, не жалейте, не надо. Наша дорога неторная, дикая...

М у г а л и м. И мой путь нехоженный, Жантас. Знай одно: себя не пощажу. Надо и мне понять, что такое большевики, куда они ведут. И, может, там, впереди, сойдутся опять наши пути... дал бы бог!

Ж а н т а с. Мать... Муржан... Как быть с вами?

Д и л ь д а. Родной, светик мой, как ты велишь... Дай только коня!

М у р ж а н (*глядя на Мугалима*). Спросил муж жену, чего хочешь — остаться с отчаянием или пойти с надеждой?

М у г а л и м. Муржан, дорогая сестра моя, ты достойна своего Жантаса!

4

Входят три джигита.

Д ж и г и т. Эй, Жантас, Танеке! Кончай советоваться... Заждался народ.

Ж а н т а с. Что, братцы, торопитесь — с седла на кошму?

Д ж и г и т. Нам-то не к спеху, а есть другие... так и топчут копытами, засекают, понимаешь, бабки, будто колючка под хвост попала.

Ж а н т а с. И много таких?

Д ж и г и т. Много ли, мало ли, а не хотят уходить без твоего благословения. Жалеют тебя, понимаешь, боятся обидеть.

Ж а н т а с. Ну и на том спасибо. Зови всех сюда.

5

Входят Ж у н у с и Ж у м а ж а н. Собирается народ.

Ж у м а ж а н. Ассалам-алейкум! Здоровы ли вы? Как поживаете? Муржан, сестрица... это ты, что ли? Там по тебе мать убивается. И как же уцелела под пулями, черт... (Хочет ее обнять.)

М у р ж а н. (*отталкивает его*). Постой... Кто тебя звал? Откуда ты взялся?

Ж у м а ж а н. Ох, знала бы ты, с каких пор вас ищу. И сколько же я плутал, измаялся вконец.

Ж у н у с. Я обходил караулы, гляжу, плетется он на поводу у своего коня...

М у р ж а н. Говори толком, что тебе нужно?

Ж у м а ж а н. Яж говорю, с ног валюсь, еле-еле вас нашел. Раз подъезжал к вашей стоянке, в урочище Актотмар, как поднялась стрельба, у меня с перепуга сердце в горло полезло. Думаю, болтаешься тут, черт, нарвешься на шальную пулю... Я и дал тягу назад.

М у р ж а н. А что тебе за радость — нас искать?

Ж у м а ж а н. Мать житья не дает, всю душу вымотала. Зовет тебя. А я уж не надеялся тебя увидеть.

Ж у н у с. Не надеялся? Мать зовет? (*Жумажан кивает.*) Милый братец, а как же ты оказался на Сары-Курае, на коне Нуркана?

М у р ж а н. Вот оно что!

Ж у м а ж а н. А что ж такого? Сбежал... Нешто я сказал, что еду к вам? Сел на Сары-Курая — черта с два его догонишь!

В о л к о д а в. Как же это проморгал пройдоха Шатакан?

Ж у м а ж а н. А он не проморгал! Он был тут как тут... *(Запнулся.)* А я... будто за табуном. После первого удоя кобылиц хлоп — на Сары-Курая и давай ходу!

Т а н е к е. Путаешь, парень. А где Нуркан и его люди? Где каратели?

Ж у м а ж а н. Все на поминках до одного! На том самом месте, где вы его кокнули, волостного-то... Это, оказывается, тут недалеко, рукой подать! Жузтайлак собрала всю родню, хочет сотворить молитву по закону, как в Коране написано...

Ж у н у с. И говорят, якобы казачья сотня уходит своей дорогой. Вроде бы в Коксуйскую волость, на отдых, для переформировки.

Ж у м а ж а н. Ага... на отдых... я и говорю... До весны никого пальцем не тронут...

Т а н е к е. До весны? Вдруг сразу тишь и гладь!

Ж у м а ж а н. А так и есть, всюду мирно. До того спокойно, прямо жуть берет, черт!

Г о н ч а к. Врешь, шакал!

Д и л ь д а *(выйдя из толпы)*. Не тронь его, дурачка...

Ж у м а ж а н. *(обиженно)*. Так ведь у вас тоже, говорят, угомонились. Только что за голову Жантаса и за вашу, отец Танеке, будет награда, а остальным — воля, гуляй! Отчего же тогда ваши джигиты разбегаются по аулам? Сами решили...

М у р ж а н. Слышите? Опять выдает нас какой-то шпион!

Ж у н у с. Болтают... Мало ли слухов в степи? От века известно: степь стоухая...

Ж у м а ж а н. А неужто правда, что вы даете деру отсюда?

Пауза.

М у г а л и м. Так, может быть, все-таки повременить, осмотреться... Не уходить?

Ж у н у с. А кто собирается уходить? Куда?

В о л к о д а в. Кто сам захочет, кто света ищет...

Ж у н у с. Нет, это глупо, друзья мои! Наш след потерян, баи вон заняты поминками... Будем метаться—скорей попадем на глаза. Нас слишком много... Пусть отсеются нежелающие, пусть сольются те, кому нечего терять, нечего жалеть...

Ж а н т а с. А ты пойдешь с нами? Ты, грамотей...

Ж у н у с. Куда же я денусь? Жантас, брат мой!

Ж а н т а с. *(с горечью)*. А вот Мугалим отстает, покидает нас...

Ж у н у с. Как покидает? Шел, шел и вдруг отстает?

М у г а л и м. Полагаю, я волен жить своим разумом, господин Жунус?

Ж у н у с. Хочешь быть выше брата? Умнее пророка!

М у г а л и м. Что у вас в сердце или за пазухой, я не ведаю...

Ж у н у с. Значит, пока не разведает, не отойдешь? А потом в кусты? А потом в белую юрту, к Жузтайлак, поближе к ее чуткому ушку да байскому брюшку?

Т а н е к е. (*строго*). Эй. Жунус, держи язык на поводу! Мы не в обиде на учителя. Мы его отпускаем, и да будет ему долгая жизнь! Пусть живет, пусть расскажет, как мы помирились. Нужно, чтобы кто-то запомнил, сумел рассказать нашим детям и внукам правду, сушную правду, как она есть! Это он сможет...

Ж у н у с. Да что ж это, будто вы в прятки играете?

Ж а н т а с. Ты человек образованный, нам не чета. У тебя жизнь легкая, пристроись. А наш путь — по скалам и бродам... через земли и воды!

Ж у н у с. Точно такого, как я, образованного, словил и повесил уездный в Карабужуре при всем народе.

Ж а н т а с. Ну, коли точно такого... знал уездный, что делал! (*Одобрительные голоса.*) А мы не запросим пощады.

Т а н е к е. Сколько осталось пожить, дети мои, проживем с боем.

Ж а н т а с. Эх, хоть бы один-одинешенький лучик блеснул впереди... поманил бы...

М у г а л и м. (*обнимает его*). Прощай, друг мой. Прости меня, брат... Прощай, отец Танеке, благородная душа! (*Дильде и Муржан.*) Прощай, мать... Прощай, сестра... Не забуду вас, пока жив! Только поскорей уходите... Немедля, сегодня же!

Ж а н т а с. (*зычно*). Кто со мной — собирайся! Будем сниматься.

Люди разделились, и сразу видно, кто с Жантасом; с ним большинство.

Ж у н у с. Нет, я сейчас не снимусь. Мне не к спеху...

Т а н е к е. Стало быть, нам самое время.

Ж у н у с. Ах, отец, и чего вы упорствуете, как дитя? Пусть разойдутся, кому невтерпеж. Никто не пронюхает, где ляжет наш след... Поняли?

Т а н е к е. Понял, понял, лиса.

Ж у н у с. Увидите, верных из верных возглавлю!

Т а н е к е. Слыхал я, возглавил однажды хвост задницу!..

Все смеются, и сквозь смех не сразу становится слышно, как издали длинной размеренной очередью ударил пулемет. Выстрел, другой выстрел.

Ружейные залпы

Ж а н т а с. (*спокойно, поднявшись на камень*). Ну, вот мы и дождались, братья. Теперь у нас у всех одна доля.

М у г а л и м. Дайте, дайте мне оружие, джигиты!

Ж а н т а с. Женщины, уходите. Кто уцелеет, догонит вас... (Мугалиму.) Пойдем, учитель, попробуем взять оружие с бою!

Все хлынули за Жантасом, Остались одни женщины

Ж у м а ж а н. *(вернулся)*. Я за тобой, сестрица, надо тебя спасать. Что тебе с ними пропадать? Конь мой заседлан, бежим...

М у р ж а н. Ты что болтаешь, негодник! Мне убежать от Жантаса?

Ж у м а ж а н. С ним сгинешь ни за грош, дуреха. Я тебе говорю, черт! Что ты прилипла к какому-то беглецу? Со мной поедешь...

М у р ж а н. Прочь от меня, побируха! Продался за подаяние. Поди поцелуй байский зад.

Жумажан. Ах, вот ты как! Черт! Я тебя обломаю! Сказано, муж твой Нуркан. Приволоку тебя, как рабыню... *(Бросается к Муржан, тащит ее.)*

Саруар с криком бежит, зовя на помощь. А Дильда настигает Жумажана и берет его за ухо, видимо, железной хваткой, потому что тот, взвизгнув, отпускает Муржан.

7

Стрельба приближается. Джигиты с копьями бегут в горы. Отстреливаясь, отходят Ж а н т а с, Г о н ч а к и Ж у н у с. С ними еще несколько стрелков. Ж у м а ж а н удирает.

Ж а н т а с. В горы, живее!.. Предали нас, Муржан. Бегите к коням, бегите... Слушайте, что говорю!

Ж у н у с. Ближе ко мне держись, Жантас. Не озирайся, бабы ушли.

Ж а н т а с. Эх, Танеке, Танеке... Где же он, Танеке?

Г о н ч а к. Я сам видел, сел на коня. Жив-здоров отец, не бойся!

Ж а н т а с. Ты видел? Сам видел?

Г о н ч а к. А Волкодав уложил Кыдыша при мне — прямо в лоб! С ходу поднял на коня Саруар и пошел летом!

Ж у н у с. Ах, пес, ушел... *(Жантасу.)* Бросил тебя...

Ж а н т а с. Гончак, уходи... скорей!

Г о н ч а к. Подождешь... *(Валится убитый.)*

С гор бегут назад джигиты с копьями. Жантас окружен.

М у р ж а н. Вот он, уездный... *(Щелкает затвором.)* Патроны все... *(Жунусу.)* Дай мне один для него. Вот он, давай!

Ж у н у с. А... говоришь, все? Долго я ждал этого часа. Теперь мой черед. *(Направляет на Жантаса ружье.)*

Схватка. Жантас валит Жунуса, и тот летит с горы. Жантас безоружен, вбежавший Нуркан стреляет ему в спину.

Ж а н т а с. *(оборачивается)*. Так это ты, Нуркан... *(падает)*.

8

Кругом люди Н у р к а н а. Джигиты Ж а н т а с а обезоружены. Появляются К а з а н ц е в и Ж у з т а й л а к в трауре. Вводят М у г а л и м а, он ранен.

Стрельба вдали.

К а з а н ц е в. *(пнул ногой тело Жантаса)*. Ну и слава богу... *(Перекрестился.)*

М у р ж а н. *(стоит на скале)*. О боже... возьми и меня...

Ж у з т а й л а к. Вот она, подлая тварь! Ты еще путаешься у меня под ногами? Стащите ее! Гоните ко мне эту рабыню.

М у р ж а н. Прощай, Жантас, прощай, брат мой Мугалим! *(Бросается в обрыв со скалы)*.

Ж у з т а й л а к. Счастье твое... Ты отняла у меня все.

Д и л ь д а *(на коленях перед Жантасом)*. А обещал, что возьмешь меня... свет посмотреть... Я за тобой, за тобой следом, родимый... *(Встает с колен и падает, бездыханная.)*

Быстро входит Семенов, на ходу вкладывая в ножны пашку.

С е м е н о в. Ваше высокоблагородие, из главарей этот самый Та-не-ке и еще один, по прозвищу Волкодав, по всей видимости, э... с группой повстанцев в составе э... порядка нескольких десятков... э... *(Развел руками.)* Великолепные кони, ваше высокоблагородие!

К а з а н ц е в. Не могу поздравить вас, подьесаул, не могу.

М у г а л и м. Прощайте, прощайте, братья мои, счастливого пути... Вы сами свет, свет небывалый, невиданный над нашей степью... *(Кланяется пленным повстанцам.)*

К а з а н ц е в. *(подойдя к Мугалиму)*. Эт-то что за фигура? Видимо, третий Из троих? Ага, вот ты каков, батрацкий просветитель! Тоже с оружием взят? Я ж тебе покажу, скотина, свет...

М у г а л и м. Все, что вы можете, вы показали сполна. Завтра не эти ли вам покажут? *(Указывает на безоружных джигитов, а затем на горы.)* Видите, что там, на Каменных Копьях!

Все оборачиваются в сторону гор. Там на высокой островерхой скале - красное знамя, развернутое ветром.

М у г а л и м. Ночью, глухой, непроглядной, блеснули над степью зарницы... Эти зарницы ни царь и ни бог не потушат!

Затемнение. Внезапный удар грома. В небе, над Каменными Копьями, вспыхивает долгое и грозное сияние зарниц...

Занавес.

Ильяс Жансугуров

(1894–1938)

Казахский советский поэт, классик казахской литературы, первый председатель Союза писателей Казахстана,

В 1930 году, Ильяс Джансугуров написал поэму «Степь». Эта монументальная поэма была признана не только вершиной творчества самого поэта, но и крупным достижением казахской поэзии. «Степь» – это поэтическая летопись казахского народа. Главный её герой – это народ, идущий к своему счастью через годы страданий, испытаний и бедствий. От лица двух героев — пожилого аксакала и своего ровесника-поэта — он описывает основные вехи истории Казахстана последних столетий, в том числе и присоединение Казахстана к России, восстание 1916 года, Февральскую революцию, а затем и установление советской власти в степи.

СТЕПЬ *ПОСВЯЩЕНИЕ*

И сердце, и песню тебе
считаю я счастьем отдать,
Большая советская степь!
Просторов твоих не объять...
Родился я, рос и мужал
среди твоих вольных равнин,
Без края широкая степь!
Ты мать мне, я — кровный твой сын,
Как весь мой казахский народ,
мужающий, как исполин,
Идущий под стягом труда,
законный, любимый твой сын!
Позволь мне в стихах о былом
народу рассказывать, мать.
Пиши же, перо! И вещай,
что в силах ты нынче вещать.
И сердце и песни мои
кипят, как весною вода,
Твои они, добрая степь,
навски твои, навсегда.
Ты — мать мне, советская степь!
Так в сердце мое постучи,

И, благословляя меня,
как сыну, перо мне вручи.

РАССВЕТ

Заиграл зари опал,
Тронув дальний край небес.
Мрак рассеялся, пропал,
Блеск высоких звезд исчез.
Синь рассек горячий луч,
Крася степь в багряный цвет.
Взмывался, как черный флаг.
Слышались вопли матерей:
«Тебе не пойти ли, сын,
Из этих мертвых пустырей
В простор Жидели Байсын?»
Омыв слезами прах могил,
Покинув зимовки, люд
Шел туда, где зверь голосил,
Где ждали стужа и джут.
...«Прощайте!» — степям говоря,
В города, где тяжек труд,
Проклиная волю царя,
Странники тихо бредут.

ВОЛНА

Яд змеиный разливая,
Лютой злобою горя,
Полетело в степь без края
Слово белого царя.
Это стон раздался глухо?
Это песня или крик?

И в волнении не ухом —
Сердцем слушает старик.

Степь узнала участь вдовью,
Разграбленью предан край.
Не зеленым соком — кровью
Истекал в степи курай.
В испытании жестоком
Гибнут люди, гибнет скот.
А на западе далеком
Днем и ночью бой идет.

«Сыновей берут в солдаты!
На войну сынов берут!»—
Словно стаи змей проклятых,
Вести черные ползут.
Ропщет степь. Суфи и муллы
Голос подняли, молясь.
С Бекетбаем по аулам
Стали петь акыны враз.
Молча слушают и хмуро,
Как седой акын поет:
«Шестиустым, шестишкурым
Царь считает наш народ.

Завладев степным простором,
Он в пески нас оттеснил,
Четырехрублевым сбором
Каждый дом он обложил.
Для него, царя, не в грош мы!
Опираясь на штыки,
Взял он юрты, взял он кошмы,

И попоны, и чулки.
Взял верблюдов, аргамаков,
Гонят всех овец к нему...
Царь поклялся нам: «Казахов
Я в солдаты не возьму».

Он нам в грамоте поклялся
Сыновей у нас не брать
И под клятвой расписался,
Приложив свою печать.
Нет, не сдержит клятву банда!
Слышь, шумит гяуров пир?
Заграбастала Антанта
Весь большой подлунный мир.

Битвы шли, бойцы побиты.
Предан ты царем, казах.
И теперь идет, джигиты,
Речь о ваших головах...
Перебьют вас в снежной дали —
Вам родных не видеть мест.
И один жених едва ли
Будет тысяче невест!

Эй, джигиты! Клятвой ложной
Белый царь нас обманул.
Ждать пощады безнадежно.
Не давай сынов, аул!»—
Так акын взывал к народу.
Было множество певцов,
Их несли от рода к роду
Спины лучших жеребцов.

Скорбь в сердцах. На веках слезы,
А в словах певцов — металл.
И тогда, презрев угрозы,
На царя народ восстал.
«Не дадим сынов в солдаты!
Царь пускай воюет сам!» —
Это ропота раскаты
Прокатились по степям.

В том году края степные
Запылали мятежом.
Становые, волостные
Умирали под ножом...
Началось! Пополз по-рачьи
Тот, кто грабил здесь народ.
В степь пришли полки казачьи —
Трона царского оплот.
Чтобы захлебнулся страхом
Бунт пастушьих дымных юрт,
По киргизам, по казахам
Пулеметы, пушки бьют.

Как от стаи волчьей в страхе
Стадо мчит, ища приют,
И киргизы и казахи
От карателей бегут.
Бьют нещадно, не смолкая,
Дни и ночи напролет —
Батарей боевая,
Стальногорлый пулемет.
Вспомнив предков и аллаха,
Покидая отчий край,

Побрела толпа казахов
Кто к афганцам, кто в Китай.
В скорби, в ужасе, в тревоге
В этот черный страшный год
Были брошены в дороге
Трупы, юрты, скарб и скот...

Вброд Иртыш переходили,
В Касе пенили волну,
Там погибель находили,
Под обстрелом шли ко дну.
Как забыть «набор джигитов»?
Был тот год кровав и крут.
Ни казахом не забыт он,
Ни киргизом не забыт он,
Как сплошной великий джут.

Был на месте иль бежал ты,
Спину гнул иль молча ждал,
Если беден был — в солдаты
Непременно попадал.
Вот конец народной драме!
Стонет сломленный народ.
И набитый тымаками,
Как убойными быками,
Эшелон на фронт идет.

Кто же выиграл? Кто лапы
От наживы потирал?
Только баи да манапы —
Тот, кто списки составлял
И за взятки от угона

На войну освобождал.
Так в степи во время джута
Ворон черный — трупоед
Чистит клюв и смотрит люто
На обглоданный скелет.
...Ветер. Слышен погребальный
Дальний, полный скорби гул.
Старец тихо и печально
Вдаль взгляделся и вздохнул.

УЗБЕКСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Муса Ташмухамедов

Айбек

(1904 – 1968)

Муса Ташмухамедов – узбекский, советский поэт и писатель, работавший под псевдонимом Айбек. Народный писатель Узбекистана (1965). Академик АН Узбекской ССР (1943).

Муса Ташмухамедов родился в небогатой семье ткача. О своём детстве позже он написал известную книгу «Детство» (1962 год), за которую получил государственную премию Узбекской ССР им. Хамзы. Писать начал еще студентом экономического факультета Среднеазиатского государственного университета (САГУ), который окончил в 1930 году.

Первый большой роман писателя «Священная кровь», написанный им в 1943 году, посвящен жизни народов Средней Азии, Узбекистана в годы 1-й мировой войны и охватывает события 1916 года. За свой историко-биографический роман «Навои», написанный в 1945 году и посвященный жизни и творчеству классика узбекской литературы — Алишеру Навои, Айбек в 1946 году получил Государственную премию СССР.

Айбек известен также и как переводчик с русского на узбекский язык. Им переведены на узбекский язык «Евгений Онегин» А. С. Пушкина, «Фауст» В. Гёте, «Маскарад» М. Ю. Лермонтова и произведения других писателей и литераторов – М. Горького, В. Г. Белинского и других.

СВЯЩЕННАЯ КРОВЬ

(отрывок)

В верхнем конце байского участка была довольно высокая насыпная площадка, обсаженная джидой. Она-то и служила станом для батраков и поденщиков. Отсюда хорошо было видно все байское поле. Пять больших развесистых деревьев джиды в любое время дня покрывали площадку густой тенью и хоть на короткое время дарили покой и прохладу измученным тяжелой работой людям.

Алиахун, как только ступил на площадку, тотчас достал сложенную между ветвей джиды какую-то рвань, служившую ему и халатом и подстилкой, раскинул ее в тени и

растянулся, широко разбросав ноги. Отдохнув немного, он поднялся, вытащил из грязной, засаленной от пота тюбетейки иголку, раздобыл откуда-то нитку и принялся чинить усеянную заплатами рубаху. Юлчи присел рядом на корточки, наблюдая за работой новоявленной «швей».

Вскоре подошел к стану молодой киргиз Ораз, а за ним притазились и другие поденщики. Все они растянулись где попало. Некоторые, не в силах вымолвить слова, устало дремали. Ораз, прислонившись к стволу джиды, по привычке тут же потянулся за самодельной маленькой домброй.

Юлчи полюбил киргиза. Он проводил с ним почти все вечера, беседуя и слушая его домбру.

Оразу было семнадцать лет, когда один бай-скотопромышленник, приезжавший ежегодно для закупок на Каркару, нанял его за восемь рублей в год и привез в Ташкент. Три года проработал Ораз у своего первого хозяина и, хоть привык ко всяким лишениям, не выдержал побоев: когда до срока возвращения на родину оставался всего один год, он ушел от купца и нанялся батраком к богатому землевладельцу. Но оказалось, что и этот бай не лучше первого. Прожив у нового хозяина два года, он снова вынужден был уйти. Так Ораз мыкал горе у порогов многих баев и все не мог возвратиться домой. Наконец, год назад он нанялся батраком к Мирзе-Каримбаю. Одежда на Оразе была рваная, но сам он был парень красивый, веселый и общительный. Он так хорошо говорил по-узбекски, что, если бы не узкие глаза и немного скуластое крупное лицо, никто никогда не принял бы его за киргиза. Ораз любил подшучивать над Алиахуном...

... Вдруг за деревьями послышались мужской плач и всхлипывания. Все с удивлением обернулись в ту сторону. С покрасневшими от слез глазами подошел Шакасым – он сегодня не выходил на работу, сидел в своем шалаше возле больной жены.

– Скончалась моя страдалица, моя горемычная! Сейчас на руках у меня душу отдала. О, горе мне!..

От волнения у всех сдавило горло. Над площадкой нависло гнетущее молчание. Наконец сначала Алиахун, а за ним и другие принялись утешать Шакасыма, выражать ему сочувствие.

– Ты поскорее сообщи отцу-матери, – посоветовал Юлчи.

– Нет у нее, бедняги, никого, сиротой выросла. Оба мы с ней бездомные. – Шакасым еще горше заплакал, затем, пересилив слезы, попросил Ярмата: – Нельзя ли раздобыть у хозяина хоть немного денег? Сегодня до вечера надо похоронить ее. Можно ли в такую жару держать тело в шалаше, да еще при малом ребенке?

– Дни жаркие, до завтра оставлять нельзя, – поддержал его Ораз. Ярмат в смущении покачал головой и принялся пощипывать свою реденькую маленькую бородку.

– Хозяин в городе, – проговорил он наконец, – а пока из города обернешься – и день кончится. Сегодня похоронить не успеете...

Юлчи с досадой возразил:

– Деньги, наверное, и у хозяйки найдутся.

– Есть у нее, знаю, да скупа она, – пробормотал Ярмат. – Кисеи на саван дала бы, и то большое дело.

Алиахун поднял руку.

– Друзья, неужели не поможем товарищу? – глухо воскликнул он. – Много ли надо, чтобы похоронить бедного человека? Могильщикам два целковых, мулле – две кредитки, обмывальщикам – рубль – и всего дела! Шакасым еще успеет залезть в долги. Главные расходы, сами знаете, придут потом...

– А как же с поминками, Ахун-ака? – неуверенно проговорил Шакасым, взглянув на кашгарца. – Что видела несчастная женщина на этом свете?.. По крайней мере похоронить надо по-человечески, пусть хоть душа ее порадуетя!

– Поминки потом устроишь! – Ахун отвернулся, пошарил в своем рваном халате, вытащил хрустящую трехрублевую бумажку, бросил ее в круг. – Вот... это моя доля... Поднявшись, кашгарец быстро зашагал прочь.

Все были глубоко взволнованы отзывчивостью Алиахуна. Ярмат покачал головой: он-то хорошо знал, что эти деньги кашгарец сам недавно взял в долг у хозяина под заработок.

Киргиз Ораз развернул поясной платок, вынул аккуратно завязанный (и кто знает, сколько времени хранившийся там) целковый, несмело положил его рядом с трешницей Ахуна.

– Всем нужны деньги, не обойтись без них даже мертвым! – вздохнул поденщик-ташкентец и, вынув завернутый в поясе штанов бязевый мешочек, отсчитал рубль серебром и медяками.

Если бы у Юлчи были в эту минуту деньги, он отдал бы все, но у него не было даже стертого медяка. Юноша чувствовал себя неловко перед товарищами, и в то же время ему хотелось обнять и расцеловать каждого из них. Простые и с виду грубые, они казались ему в эту минуту самыми добрыми, самыми великодушными людьми во всем свете. Ярмат собрал лежавшие на скатерти деньги, зажал их в руке...

На рассвете Юлчи вышел из темной, заброшенной мельницы. Он был очень голоден. Но первой его заботой было – где снять отросшую в тюрьме бороду и побрить голову? В кармане нет даже стертого медяка. Он примостился на вросшем в землю старом жернове и долго ломал голову... Продать – нечего. Сапоги пропали в тюрьме. Рваный халат? Но кто возьмет его? Разве только старьевщик на базаре! Да если бы и удалось продать, то в чем он останется? В одной рваной рубахе?..

«Э, нашел о чем горевать!» – махнул рукой Юлчи. Но тут же снова задумался, вспомнив о том удивительном русском, с которым вместе сидели и вместе бежали из тюрьмы.

«Где он теперь? Удалось бы ему благополучно добраться до Москвы. Я и не спросил, за сколько дней поезд до Москвы доходит... В товарном вагоне, говорит, поеду... Нет, он не пропадет. Голова у него на месте. Он из таких, что в мельницу под жернова угодит – все равно невредимым выйдет... Только с харчами, пожалуй, трудно будет – у него тоже ни гроша».

В памяти Юлчи встало все, что связано было с его новым другом, начиная с первой встречи в тюрьме.

Через три-четыре дня после ареста Юлчи в камеру к нему ввели какого-то русского. Истомившийся в одиночестве, джигит встретил его открытой дружеской улыбкой.

«Вот бы знать язык, побеседовать!» – промелькнула у него мысль. Русский понравился Юлчи с первого взгляда. Это был среднего роста человек, широкоплечий, с сильными руками, лет тридцати пяти – сорока. Из-под его потрепанной фуражки выбивались завитки густых темно-русых волос. Во взгляде, в спокойных, медлительных движениях чувствовались сила и уверенность.

Русский бросил на край нар небольшой сверток в старом одеяле и внимательно оглядел Юлчи с ног до головы.

– Яхши! – проговорил он густым басом. Потом подложил под голову сверток, прилег на нары и долго лежал, думая о чем-то своем. Время от времени он бросал на Юлчи осторожные, только уголками глаз, взгляды.

Юлчи тоже присматривался к своему соседу. Особенно удивило джигита невозмутимое, даже какое-то насмешливое спокойствие этого человека: русский не проявлял ни страха, ни смущения: он вошел в камеру и расположился на нарах с таким видом, точно по пути завернул в чайхану на перекрестке и прилег отдохнуть на широкой дощатой супе.

«Интересно, – думал джигит, – кто он? За что попал сюда? Судя по виду, по одежде, он рабочий человек».

Заметив на себе осторожный, изучающий взгляд русского, Юлчи почувствовал смущение. У него явилось желание объяснить, что попал он в тюрьму случайно, а не за какой-либо дурной поступок. Некоторое время он сидел, наморщив лоб, перебирал в памяти немногие известные ему русские слова. Потом вдруг просветлел, припомнив нужное:

– Твоя мастеровой?

Русский понял, кивнул головой, улыбнулся.

– Моя завод работай, – пояснил он. Юлчи сразу оживился.

– А маники бойда работ ясайди[100] – джигит вскочил с нар, выдернул из прорехи халата клочок ваты, бросил его на пол и взмахами рук изобразил работу кетменем в поле. Русский опять заулыбался, знаками объяснил, что понял. Так прошел у них весь первый день.

Наутро новый товарищ Юлчи подпорол край одеяла, достал какую-то тонкую книжку и принялся внимательно читать ее про себя. Когда за дверьми слышались шаги или голоса, он проворно прятал книгу, потом снова брал ее и читал, не отрывая глаз. Юлчи быстро сообразил: прислушивался или наблюдал через глазок за коридором и, когда нужно, предупреждал соседа. Тот благодарил – прикладывал руку к груди. А джигит досадовал на свою неграмотность.

«Вот этот русский книгой занят, губы его порой шевелятся – он говорит с ней. А я не могу. Эх, слепота моя!..»

В тот день они узнали и научились произносить фамилии друг друга. Фамилия русского – Петров...

Скоро они уже были связаны тесной дружбой. Петров относился к Юлчи как к родному сыну. Заботился о нем, объяснял как умел тюремные порядки. Первое время им очень мешало плохое знание языка. Но эта трудность понемногу

исчезала, отступая перед желанием поговорить, обменяться мыслями. Вначале им приходилось прибегать к помощи жестов и знаков, но постепенно запас слов увеличивался, и они стали говорить не только о простых, обыденных вещах, а и о более сложном.

Однажды, разговорившись, Юлчи рассказал Петрову, как неудачно и несчастливо сложилась у него жизнь. Потом заговорил о других батраках, о дехканах, пожаловался, как тяжело жить трудящемуся человеку, в то время когда баи, прирав к рукам землю, воду и все богатства, бесятся от жира.

– Бедным Людям везде нелегко, – заметил Петров и рассказал Юлчи о себе. Родился он в деревне, в бедной крестьянской семье. Четырнадцати лет он вынужден был расстаться с родным домом и отправиться на заработки.

– А я с девяти лет уже пас чужие стада, – доверчиво вставил Юлчи. Петров улыбнулся.

– Пасти-то и я примерно в эти годы начал, да в наших краях скота на всех подпасков не хватало.

В Ростове Петров поступил учеником на завод. Там же, испытав на себе всю тяжесть подневольного труда, он сошелся с большевиками. Пытливый, живой ум джигита жадно хватался за все новое: он перебил рассказчика:

– А кто это такие – большевики?

Петров задумался, как бы понятней объяснить, и ответил самыми простыми словами:

– Они борются за то, чтобы отнять у баев землю, воду, власть и все отдать беднякам...

– Как – отдать?! – привскочил Юлчи. – Когда?

– Ты слушай и не перебивай, – спокойно, с лаской в голосе остановил джигита Петров.

1905 год Петров встретил с винтовкой в руках вместе с большевиками. После этого жизнь его проходила в арестах, ссылках, побегах, в революционной борьбе. Два года назад он приехал в Ташкент, работал в железнодорожных мастерских. Арестовали его за антивоенную агитацию и за попытку организовать забастовку.

Юлчи слушал своего нового друга, сидя на корточках и стиснув голову руками. Перед ним открывался новый мир – мир борьбы и подвигов, труда и упорного движения к великой, благородной цели.

Когда Петров кончил, он поднял голову и сказал очень серьезно, но с дрожью в голосе, выдававшей внутреннее волнение:

– Как только выйду отсюда, убью Мирзу-Каримбая и потом – полицейского, который меня арестовал.

Петров улыбнулся:

– В твои годы я тоже так думал, да какой толк от этого? Убьешь одного – придет другой, а ни земли, ни воды у тебя не прибавится.

– Как же быть? – воскликнул джигит.

– А ты – потише, – остановил его Петров. Он достал из-под одеяла свою книжку. – Вот здесь хорошо сказано, правильно сказано.

Юлчи покачал головой:

– Не умею.

– Это не страшно, что не умеешь, – научимся!

С присущей ему настойчивостью и выдержкой Петров принялся обучать джигита русской грамоте. Тоненькая книжка служила для Юлчи азбукой и словарем, расширяющим запас русских слов, и учебником нового понимания жизни.

Учение давалось трудно. Порой он потел больше, чем в знойные дни с кетменем в поле. Но подходил его друг, окутанный облаком махорочного дыма, склонялся к нему, ободряюще хлопал по плечу: – Яхши! Совсем хорошо получается.

И неуверенность исчезала. Юлчи чувствовал себя бодрым, счастливым и улыбался по-детски чисто и ясно...

... Через некоторое время Юлчи вышел к дощатому мосту. Улица за мостом была знакомой: здесь, неподалеку, в доме хлопковика Джамал-бая жил его давнишний знакомый Джура.

Навстречу начали попадаться люди – конные и пешие, старики и молодые. Многие сторонились, бросая на джигита подозрительные взгляды.

Немного погодя Юлчи остановился перед возвышавшимся среди мазанок бедноты двухэтажным домом, побеленным известью. Он прошел через ворота во двор, заглянул в маленькую лачугу, притулившуюся к высокому дувалу рядом с конюшней, и остановился в нерешительности – в помещении никого не было.

В это время в двери конюшни с лопатой и метлой в руках показался Джура. Он остановился на пороге, удивленно и недружелюбно посмотрел на Юлчи. Джигит улыбнулся и шагнул навстречу приятелю:

– Не уставать вам, Джура-ака! Не узнаете? Не пугайтесь...

– Хэ, да ты тот самый, прежний Юлчи? Такой образины не только человек – лошадь испугается и понесет!

Они поздоровались, прошли в лачугу. Юлчи еще не кончил рассказывать о своих приключениях, как Джура нетерпеливо перебил:

– Словом, освободили тебя?

– Какое там освободили! Бежал...

– Из тюрьмы?! – заиграл белками глаз удивленный Джура. Юлчи кивнул головой.

Джура предостерегающе поднял руку:

– Ты теперь берегись. Тебя обязательно будут разыскивать. Хотя огорчаться из-за этого не стоит – везде найдутся свои люди, не выдадут. Мы здесь и не в тюрьме, а горя повидали. Возьми меня – что я видел за это время? Шея моя и не привязана, а не свободна. Здесь – та же тюрьма, хоть и без решеток. Дороговизна, голод. А ко всему этот ублюдок,

которого белым царем называют, указ выпустил, рабочих требует. Видно, сил не хватает на войну!..

– Рабочих требует? Это куда же? – не понял Юлчи.

Джура рассказал все, что знал о мобилизации на тыловые работы.

– Выходит, новое несчастье на голову бедноты, – нахмурился Юлчи.

– Верно, спасибо твоему родителю, верно! – вскочил Джура. – На меня раньше всех покупатель нашелся! Хозяин хотел послать меня вместо своего племянника!.. «Подохнуть мне, если мать родила меня для вас!» – думаю себе. – Джура помолчал, затем с некоторым смущением проговорил: – Работы много у меня. Ты здесь располагайся и сиди себе спокойно... Я сейчас...

Джура бросил щепотку чаю в кумган на очаге, положил перед Юлчи лепешку и посоветовал никуда не отлучаться до вечера. Юлчи ответил, что собирается искупаться в Анхоре. Джура дружески пожурил его за неосторожность, но в конце концов сунул в руки джигита обмылок, молча указал на маленький, с пятак, замочек от двери и вышел, торопясь по своим делам. После чая Юлчи отправился к Анхору. Облюбовал место поглубже, разделся и бросился в освежающую прохладу потока. Окунувшись несколько раз, он выбрался на мель, принялся мылить голову, тело. Только тут он заметил, как сильно похудел, как выпирают его крупные кости. Узкий Анхор не давал простора, но джигит сильными, широкими бросками, вспенивая воду, поплыл вдоль берега. С десятков белых уток, скользивших по воде впереди него, испуганно закрикали, хлопая крыльями, кинулись в разные стороны.

С каждым взмахом рук Юлчи все больше ощущал легкость в теле, чувствовал, как мускулы его наливаются прежней силой. Вокруг тишина и покой. Прохожих нет. На берегу Анхора среди верб пасутся две белые козы. Время от времени они настороженно взглядывают на джигита, потряхивая бородами, и снова прячут головы в зелени. Солнце поднялось высоко, но лучи его, скользившие меж листьями, здесь не припекали, а только ласкали тело...

Юлчи оделся и легко зашагал вдоль берега. Он не пошел в душную, темную лачугу Джуры. Ему хотелось побывать среди людей, разузнать новости, увидеть Унсин, услышать что-нибудь о Гульнар. Но прежде надо было раздобыть какую-нибудь мелочь на ужин. Махнув рукой на предостережения Джуры, он торопливо направился к базару.

Солнце палит отвесными лучами. Камни жгут ноги. Пыль. Трудно дышать. Базарный гомон и шум в самом разгаре. Люди озлоблены, грубы. От всех пахнет потом. У всех на языке жалобы на дороговизну, нужду, на мобилизацию.

Юлчи посчастливилось доставить поклажу в несколько мест и заработать немного денег. Вечером усталый джигит забежал к Джуре, отдал ключ и отправился к сестре. Дорогой на добытые за день гроши купил две тонких лепешки и немного винограда.

В сумерки, уже неподалеку от места, джигит, присмотревшись, увидел впереди себя Шакира-ата: постукивая посохом, старик медленно шел вдоль узенькой улицы по направлению к дому. Юлчи обрадовался, ускорил шаг:

– Здоровы ли, отец?

Старик вздрогнул, поднял голову. Не находя слов, он молча обнял джигита, костлявыми руками погладил его плечи. Затем суетливо засеменил к дому и еще с порога калитки крикнул:

– Доченька, готовь мне подарок! Брат твой!
Унсин выпорхнула навстречу и со слезами кинулась на шею брата.

– Не плачь, родная, не плачь! – успокаивал ее Юлчи дрожащим от волнения голосом.

Тетушка Кумри поклонилась джигиту издали, поздравив его с освобождением и пожелав долгой жизни.

Унсин быстро расстелила во дворе кошму, зажгла лампу. Юлчи, усадив к себе на колени внучат Шакира-ата, дал каждому по кисти винограда. Обрадованные, дети повисли у него на плечах.

Юлчи спросил старика, как живется. Шакир-ата пожаловался на трудность времени, а о себе сказал так:

– Горе за горем, сынок. Но мы еще кое-как таскаем свои чарики. По правде говоря, нас кормит Унсин. Ичиги, какие она шьет, только в руках держать да любоваться. Прямо играют! Такой способной и работающей, такой учливой и доброй девушки во всех семи поясах земли не найти.

Слова старика обрадовали Юлчи. Он хотел было похвалить сестру, но Унсин вдруг исчезла. Через минуту она выбежала из дома, подошла к Юлчи, сняла с него старую, грязную тюбетейку и надела новую, любовно вышитую ею для брата. Юлчи снял тюбетейку, поднес к лампе, полюбовался красивым узором, снова надел и поблагодарил сестру. Ему показалось, что девушка чем-то опечалена.

– О чем ты грустишь? Ведь я вернулся здоровый и невредимый. Девушка опустила глаза:

– Ничего, это я так...

Унсин и в самом деле была печальна. Третьего дня здесь узнали о смерти Гульнар. Весть эта потрясла девушку, и сейчас она не знала, как рассказать обо всем брату. Шакир-ата сходил за Каратаем. Женщины скрылись в доме. Друзья крепко обнялись, затем уселись за чай и начали беседу.

Отвечая на вопрос Юлчи, Каратай заговорил о тяжелом положении ремесленников и всех, кто трудом добывал себе кусок хлеба.

– Если и дальше так будет продолжаться, – сказал он, – народ начнет умирать с голоду.

Юлчи внимательно выслушал кузнеца, потом наклонился к друзьям и заговорил, понижая голос:

– По-моему, все бедствия от того, что жизнь у нас устроена несправедливо. Подумайте сами: кучка баев – хозяева всех богатств. Несчетное же множество бедного трудового люда – голые, босые... Кто трудится, проливает пот, в котелке голую воду варит. А баи богатеют от их трудов, набивают и без того тугую кошму, бесятся от богатства. Вот от этого и все бедствия, в этом и вся суть. Хорошо, а что же делать, спросите? Скажу: жалобами, слезами и хныканьем не изменить жизнь. Чтобы освободиться от рабства, к борьбе надо быть готовым. Надо раскрыть глаза народу. Если мы, трудящиеся, выступим

все сообща, то наверняка повалим и всех баев и самого кровопийцу Николая. Трудовой народ сам тогда будет распоряжаться своими делами. Я слышал – так думают русские рабочие, мастеровые. Они уже много лет идут этой дорогой, и нам надо следовать за ними. Что вы на это скажете?..

Кузнец и Шакир-ата некоторое время молчали, раздумывая. Наконец Каратай дружески хлопнул Юлчи по плечу:

– И добрая же голова у тебя, братец мой Юлчи! Золотая голова! Все, что сказал ты, – истинная правда. И насчет русских рабочих – тоже верно. Русские рабочие – большая сила. Они народ знающий – все машины они заставляют вертеться. И если русские рабочие так думают, то у нас с ними должна быть одна дорога.

Юлчи долго рассказывал о своем новом друге Петрове. Шакир-ата слушал, не сводя глаз с джигита.

– А твои мастеровые, видно, очень бывалые, отчаянные люди! – воскликнул он, когда Юлчи умолк.

– Да, смелый народ, решительный, – подтвердил кузнец. – Недавно мне пришлось видеть одного на улице... Так что бы вы думали? Он среди белого дня на глазах у народа ударил по лицу какого-то начальника из полиции!..

– Неужели? – изумился старик.

– Рабочие идут и против войны, и против Николая, и против буржуев! – с гордостью за своих новых друзей сказал Юлчи.

– Буржуев, говоришь? Это кто же такие? – заинтересовался старик.

– Петров всех баев буржуями называл, – объяснил Юлчи. – Он так говорил: «И узбеки, и русские – все одинаково терпят от буржуев, от баев, значит. Уничтожим, говорит, Николая и буржуев – и русских и мусульманских – и все дела поручим вести своим людям – рабочим, дехканам. Вот тогда и жизнь улучшится...» Тут, отец, большие дела. Пораздумаешь над каждым словом, и на сердце радостно станет, потому – мысли эти правдивые простые и понятные... – Удивительное время настало! – шептал про себя Шакир-ата. – Чтоб трудящемуся человеку и самому быть хозяином своей доли, а? Товба!.. А я весь свой век прожил, как в темном закуте. Только и знал – гнуть спину на какого-нибудь жадного зверя... – Старик вздохнул, посмотрел на Юлчи, на Каратая. – Что ж, поживите хоть вы, молодые. Перестраивайте жизнь. Поворачивайте все по-своему.

– И повернем! – горячо отозвался кузнец. – Юлчи-палван правду сказал. Кому нужны баи? Кому нужен царь? Кому нужна война? Какая польза от нее народу? Только одни муки. А баи больше прежнего разжирели... Вот на тыловые работы записали только сыновей бедняков – новая беда на наши головы. Брата моего забирают, Юлчи-бай. И без того нужда задавила, голова кругом идет, а тут еще забота. Ух!..

Успокоившись, Каратай положил на плечо Юлчи руку: – Тебе, палван, опасно оставаться в городе. Надо устраиваться где-нибудь на окраине. Джигит хотел было возразить, но когда к мнению кузнеца присоединился и старик, он согласился. Только спросил:

– Куда же мне направиться?

Каратай предложил:

– На Тахтапуле у меня есть старушка тетка. Одинокая. Пойдем к ней. Каратай поднялся. Юлчи проводил его на улицу и позвал Унсин. Ему очень хотелось расспросить сестру о Гульнар. Однако, когда Унсин подошла, джигит не осмелился раскрыть перед ней свое сердце. «Может быть, сама заговорит», – понадеялся он. Но девушка о Гульнар ни словом не обмолвилась. Она только пожалела, что брат так скоро уходит, и пообещала завтра-послезавтра навестить его.

Юлчи простился с Шакиром-ата и направился к калитке. Старик крикнул ему вслед:

– Эй, огненный джигит! Те слова твои – чистое золото. Только ты не делись ими с кем попало!

– Я для того и из тюрьмы бежал, отец, чтобы передать их людям!.. Юлчи проснулся, когда солнце стало припекать ему голову. Он огляделся вокруг. В маленьком, чисто подметенном дворике – тишина. На двери низенькой мазанки – цепь. Одинокое бродит по двору курица, такая же старая, как и бабушка Саодат – хозяйка этой хибарки, приветливо встретившая джигита поздней ночью.

Юлчи встал, оделся. Арыка во дворе не было. Он умылся уже согревшейся на солнце водой из жестяного чайника, стоявшего на терраске.

Вчера при свете маленькой лампы Юлчи не разглядел как следует старуху, – она улеглась в постель еще до ухода Каратая. Однако по голосу ее, по шуткам он понял, что бабушка Саодат приветливая, разумная и, пожалуй, даже смелая женщина.

Узнав, что Юлчи бежал из тюрьмы, она сказала: «Свет мой! Этот дом считай своим домом. Ты для меня все одно что Каратай. А может быть, и лучше. Кузнец мой часто подсмеивается надо мной: тетушка, говорит, у вас дверь всегда колом подперта. И это верно, только смотря для кого. Имама с суфи, начальства да еще трех-четырех человек гузарских живоглов я избегаю. А хорошим людям я всегда рада».

Юлчи обошел безмолвный дворик. Из каждого уголка здесь проглядывали нужда и бедность, но везде было чисто, все было аккуратно прибрано. У дувала – маленький, площадью с циновку, цветничок – георгины, ночные красавицы, петушиные гребешки, мята, чебрец. Мысли Юлчи были заняты Гульнар. «Свыклась ли она, смирилась ли со своей судьбой? Может быть, уже забыла меня? Гульнар, а?! Нет, не могла забыть!.. Что она сейчас делает? Взглянуть бы на нее хоть раз или хоть голос услышать бы... Кого послать к ней? Унсин никогда не была в загородном поместье бая, да и далеко... Пойти самому?.. Стану бродить вокруг поместья, она и знать не будет. А бай случайно увидит – ей же хуже сделаю: ее взаперти будут держать. Бай – он такой...»

Открылась калитка. Волоча длиннополую паранджу, с пустой корзиной на голове во двор вошла бабушка Саодат.

– Проголодался, наверное, львенок мой? – заговорила старуха, сбрасывая паранджу и ставя корзину на терраску. – Сейчас чай вскипячу.

Бабушка Саодат – худощавая, костистая старуха с крючковатым носом и по-мужски решительными движениями. Маленькие глаза ее, несмотря на годы, еще сохраняли живой блеск

– Где были, мать? – спросил Юлчи.

Старуха разожгла маленький самовар, подошла к джигиту и заговорила густым, не по-женски низким голосом:

– Заботы, сын мой. Я – хлебопек. Вон, на кухне, у меня большущий тандыр. Не видал?.. Еще до солнца я просеяла муку, замесила тесто. Пока тесто подошло, развела огонь в тандыре. Потом наделала лепешек. А к тому времени и тандыр накалился. Испекла – и одну корзину уже успела продать на гузаре. Попью чаю, еще понесу...

– И давно вы так живете? – поинтересовался Юлчи.

– Покойный муж мой был поденщиком, – ответила Саодат. – Того, что он добывал за лето, не хватало на зиму. Потом заболел и совсем отошел от работы. Пришлось кормить его. Лет уже двадцать будет – умер он. Детей мне не довелось иметь, сынок. Вот так и перебиваюсь своим трудом, чтоб не унижаться ни перед кем. Одно время шила тюбетейки, потом одеяла стегала, очкуры для штанов ткала. А теперь для таких дел глаза не годятся.

– Ну, а от лепешек остается что-нибудь?

– Бывает так, бывает этак... – Старуха повернулась, положила в самовар щепок. – Иной раз один убыток. Продашь хлеб, пойдешь на базар, цена на муку опять поднялась. А у меня и капиталу-то всего на один пуд муки... Вся польза, сын мой, – с базара хлеб не покупаю. За день остается пара лепешек для себя – и то богатство...

После чая Юлчи предложил старухе снести и продать очередную корзину хлеба. Бабушка Саодат уложила в корзину аккуратными рядами несколько десятков еще не остывших лепешек. Юлчи подхватил ношу, отправился на базар...

... У трамвайной остановки Юлчи опустил ношу на тротуар, чтобы передохнуть. Тут он заметил, что прохожие начали оглядываться, подталкивать друг друга, о чем-то перешептываться.

Щурясь от солнца, Юлчи посмотрел в ту сторону.

В нескольких шагах от него посередине улицы трое полицейских – один русский спереди и двое узбеков сзади – с обнаженными шашками вели Ярмата. Старик шел сгорбившись, с низко опущенной головой – видно было, что человек придавлен большим несчастьем.

Глаза Юлчи широко открылись, он побледнел. Не сдержавшись, крикнул: – Ярмат-ака!

Ярмат медленно поднял голову, увидел Юлчи. Посмотрел на него печально и как-то виновато и слабо махнул рукой, будто хотел сказать: «Все кончено!»

Окинув джигита подозрительным взглядом, полицейские прошли мимо. Юлчи с минуту стоял растерянный, потом торопливо взвалил на спину мешок и последовал за полицейскими. Он шел, не отрывая взгляда от сгорбившейся фигуры отца Гульнар, и думал: «Что старик мог сделать плохого?.. Был преданным рабом своего хозяина, и вот – никто за него не заступился... Это новое горе для Гульнар. Что бы там ни было, Ярмат отец ей...» На Урде Юлчи сбросил ношу и, даже позабыв о плате, пошел дальше. Он отстал только тогда, когда стало ясно, что Ярмата ведут в тюрьму.

Домой он вернулся вечером. Бабушка Саодат, опустившись на корточки у маленького, с тюбетейку, очага, варила ужин. Взглянув на джигита, она испугалась.

– Что случилось, мой львенок? Полицейские, погореть им, на след напали? Гнались за тобой?

Юлчи не ответил. Он присел на край терраски и опустил голову на руки. Старуха подошла к нему, ласково заговорила:

– Отчего ты дрожишь, сынок? Скажи мне. Ушел ты, я глаз не сводила с калитки: вот подойдет – нет, вот покажется – нет. Сколько раз на гузар ходила. Расспрашивала людей. Что случилось? Опять тебе тюрьма грозит? Скажи, сынок, успокой мое сердце.

Когда Юлчи возвращался домой, на него обрушилась новая беда. Он встретил одного из бывших приказчиков Мирзы-Каримбая, и тот рассказал ему о событиях последних дней: о смерти Гульнар, о том, что Ярмат, подозревая Салима в отравлении дочери, три дня назад убил байбачу и скрылся, а сегодня каким-то образом был задержан.

– Тюрьмы я не боюсь, мать, – не поднимая головы, глухо заговорил Юлчи. – Не боюсь ни виселицы, ни пули. Тюрьма! А чем лучше тюрьмы такая жизнь? Весь белый свет стал мрачнее любого зиндана! Куда ни глянь – темно, куда ни глянь – яд каплет. До каких же пор я буду пить яд?!

– Что ты болтаешь? – с укоризной сказала старуха. – В твои годы самая пора веселиться да радоваться. Правда, на свете много печали, много скорби, много обездоленных. А в нынешнее время и вовсе – стон стоит от жалоб и горя. У одного куска хлеба нет, а у другого целыми котлами сало варится. Один за медным грошем гонится, а другой угорает от запаха денег. Но так устроен белый свет, сынок. Одному светло – другому темно, одному тепло – другому холодно. Да ты не думай об этом, не принимай близко к сердцу... Ты молодой, здоровый. Работай, веселись, обзаведись товарищами. Радость и веселье к лицу в твою пору, сынок!

– Верно, мать, я молод и здоров, – согласился Юлчи, – но сердце мое навеки потеряло самую большую радость. – И он откровенно, как матери, рассказал бабушке Саодат о своей несчастной любви.

Старуха с материнским сочувствием выслушала джигита и глубоко вздохнула:

– О, злой, изменчивый мир! Грудь народа кровью залита, душа печалью истерзана... Для такого джигита и не нашлось капли счастья!..

Чтобы не обидеть хозяйку, Юлчи принял от нее деревянную чашку с постной, обильно приправленной зеленью похлебкой, без всякого желания съел две-три ложки. Потом заговорил о сестре. Сказал, что намерен выдать ее замуж, если найдется честный, работающий джигит, и попросил бабушку Саодат, когда Унсин зайдет, подготовить ее исподволь.

Бабушка Саодат посоветовала:

– С выбором жениха торопиться не следует, сынок. Прежде надо разузнать, какие у него отец с матерью, какое его занятие-мастерство, а потом уже говорить о свадьбе.

– Лишь бы джигит был честный и старательный – и довольно, – сказал Юлчи. – Про богатство, про дома и усадьбы узнавать нечего... Может, у вас знакомые есть?

– Ближе ли, далеко ли – хорошие джигиты найдутся. А все-таки разглядеть и выбрать надо, сынок.

– Хорошо, выбирайте, приглядывайтесь, мать. Я и Шакиру-ата и Каратаю тоже накажу.

Бабушка Саодат отодвинула миску.

– Сдается мне, что с делом этим ты порешил только сегодня. Скажи, сынок, почему так торопишься?

– Не знаю, мать, что еще может обрушиться на мою голову, что придется повидать глазом. Одно ясно: мне рано искать покоя, не время думать о веселье, забавах. – Юлчи встал, выпрямился во весь рост, заговорил гневно: – До каких пор нас будут душить, терзать безнаказанно? Можно ли терпеть дальше?! Нет, пока жив – я не успокоюсь. Я покажу им!

Старуха долго испытующе смотрела на джигита, покачала головой, вздохнула:

– Насчет забав да веселья – прости, сынок. Я ошиблась. Ты не из таких, оказывается. – Бабушка Саодат тоже встала и торжественно, словно благословляя, произнесла: – Иди, сынок, ради народа иди в огонь, в воду. Такому джигиту все по плечу... – Старуха прислушалась. – Подожди, что это за шум?

Юлчи вдруг сорвался с места, выскочил со двора и побежал к гузару. Толпа мужчин и женщин сгрудилась в тесной улочке. Слышны хриплые выкрики мужчин, проклятия скрытых под паранджами и чачванами женщин. Юлчи смешался с толпой. Шумели две явно враждебные стороны: эликбаши – средних лет, щуплый: с узкими, плутовато поблескивавшими глазами, рядом с ним три молодых человека и старик, – судя по одежде и разговору, местные баи. А остальные – видно, беднота квартала. Старик бай, хоть лицо его и подергивалось злобой, старался говорить спокойно, сдерживая знаками и жестами разгорячившегося эликбаши. Но тот ничего и никого не хотел признавать. Молодых он ругал собаками, пожилых, не стесняясь, обзывал дураками, выжившими из ума стариками. Он зажимал от шума толпы уши и кричал:

– Что это за цыганский табор? О чем галдите? Десять раз, сто раз говорил вам и еще раз повторяю: из нашего квартала в мардикеры пойдут пятнадцать человек. На всякий случай мы наметили двадцать джигитов. На список их еще не брали и по начальству не сообщали. Из-за чего же смута? Подождите, я проучу вас! Тысячу раз вопите «дад» – все равно бесполезно! Вы подданные его величества белого царя и обязаны дать своих сыновей. Вот и все.

Толпа в ответ зашумела:

– Не дадим!

– Подохнуть вашему царю, замучил, тиран! – выкрикивали женщины.

– Вон как! – взвизгнул эликбаши. – Теперь я жалеть не стану! Только услышу еще от кого такие слова – сейчас же в участок сообщу!

– Хоть в Сибирь ссылай, если сможешь! – угрожающе выкрикнул какой-то джигит.

– Эй, подожди-ка! – Из толпы вышел высокий, крепкий старик, босой, в грязном войлочном колпаке. Поблескивая белками глаз, он поднял руку, громко заговорил – А те двадцать джигитов – чьи они, чьи сыновья? У купца Махамаджана – пять сыновей, у Шаю-нуса-карвана[101] – семеро, у Азимбая, который чаем торгует, – трое. Из них хоть одного записали? Нет! А что они – на земле родились или с неба прилетели? Они от войны попользовались, из мелких торговцев знатными богатеями стали. Им есть за что идти. Вы хотите послать только сыновей таких дехкан, как я, сыновей пастухов и ремесленников, а?

То пинали нас, оттирали к сторонке, никто не слушал наших жалоб, воплей, а теперь сыновья наши потребовались?

Худой юноша, по виду ремесленник, протискался вперед, крикнул:

– А почему ваши братья остались в стороне, элликбаши? Это справедливо? Юлчи дрожал от радостного возбуждения. Народ заговорил, поднял голову. Кругом слышались те самые слова, которые он хранил в сердце и собирался рассказать людям. Значит, он не один, у него много друзей – таких же угнетенных и униженных, готовых бороться с тиранами и угнетателями. Он почувствовал себя так, будто только сейчас вышел из темной, вонючей тюрьмы на чистый воздух в ясный весенний день.

– Община! – хмуря нависшие брови, внушительно заговорил старик бай. – Слава аллаху, мы все мусульмане, дети одного отца, сыны одного квартала. Каждый день мы приветствуем друг друга саямом, и когда настанет час, нас всех отнесут на одном и том же табуте. Нам нужно быть дружными. Коли мы, как шилом, станем тыкать пальцами: почему тот не дает своего сына, почему этот остался в стороне? – между нами возникнет распря. Разделять: тот бай, этот бедняк – большой грех. Все мы – рабы аллаха. Одному дано на этом свете, другому воздастся на том. Каждый здравомыслящий человек должен понимать, что честная бедность много почетнее богатства. К тому же в нашем квартале и нет их – знатных баев. Я, что ли, знатный? Или Шаюнус-карван? Каждому свой карман лучше знать. Однако мы не смотрим, по мере своих сил помогаем властям... Мусульмане! Покиньте путь богопротивного шайтана, сбивающего вас на путь непокорности!

– Не прибедняйтесь! – закричал старый дехканин. – В Ташкенте двенадцать ворот, выйди из любых, спроси: чья земля? Земля Курбана-ходжи, скажут!

Крики мужчин и проклятья женщин нарастали.

– Говоришь, надо помогать власти, – и помогайте, а нас не трогайте!

– Мы сами нуждаемся в помощи!

Лицо элликбаши перекопилось злобой.

– Расходитесь! – заорал он – Какая-то женщина подошла к нему вплотную и в упор угрожающе крикнула:

– Сейчас же вычеркни моего сына!

Элликбаши занес над головой женщины руку, но ударить не решился, а только визгливо выкрикнул

– Убирайся, потаскуха!

Люди вздрогнули, переглянулись. Вдруг в воздухе поднялись десятки кулаков. На элликбаши и его друзей посыпались удары. Старик бай кое-как выбрался. Остальных толпа смяла. В это время вдали показался имам. Он бежал, неуклюже путаясь в полах длинного халата, и писклявым голосом кричал:

– Эй, мусульмане! Эй, народ общины!

Но слова его потонули в общем гуле, не оказав никакого действия. Тогда он бросился в толпу, начал разнимать людей.

Первыми начали отходить пожилые, а за ними молодежь. Элликбаши и его приятели, перепачканные в пыли, сплевывая кровь, со слезами, с помощью имама поднялись с земли. Лоб элликбаши был в ссадинах, из носа текла кровь, один глаз закрыт багровой опухолью. Имам встряхнул от пыли свалившуюся в суматохе чалму, торопливо намотал ее на голову и обратился к прихожанам со словами увещевания. Он говорил, что надо денно и ночью молиться об избавлении страны от бедствий, о том, что все трудности можно облегчить, вознося хвалу аллаху. Заметив, однако, что люди слушают его без обычного внимания и уважения, а некоторые даже явно посмеиваются, имам прекратил проповедь и, забрав своих подзащитных, торопливо направился к мечети. Элликбаши обернулся, прикрывая одной рукой заплывший глаз, второй погрозил толпе.

Юноша-ремесленник крикнул ему вслед:

– Подожди, в другой раз почище отделаем!

С минарета послышался голос суфи, призывавшего к предвечерней молитве. Люди начали было расходиться, но Юлчи остановил их звонким, взволнованным возгласом:

– Люди! Не поддавайтесь уговорам! Стойте твердо! Если все бедняки будут держаться заодно, кто посмеет взять их сыновей? Баи не зря ратуют за царя. Он – их защита. Баи помогают царю, царь помогает баям. Земля ихняя, вода ихняя, власть ихняя... Их слова везде находят отклик. А жалобам и воплям бедноты – грош цена! – Юлчи говорил не очень связно, но горячо. Тишина, наступившая в толпе, внимание людей ободрили его. Он продолжал: – Война наполнила кошельки баев, не правда ли? Так пусть они и посылают своих сыновей! Братья, подумайте, разве это жизнь? До каких пор мы будем терпеть? До каких пор будем умываться кровью, покорно преклонять колени? Поднимем наш голос. Добьемся своих прав – или умрем!.. Возмущение не в одном вашем квартале. Сейчас во многих городах и селах бедный люд начинает требовать свои права. В открытый бой с тиранами и угнетателями вступает народ!..

Задыхаясь от волнения, Юлчи прислонился к дувалу и так стоял некоторое время, оглядывая людей, словно спрашивал: «Верно я говорю?»

Двое или трое из толпы, пугливо озираясь, спешили прочь. Остальные тесно обступили джигита. Женщины, приоткрывая чачваны, с интересом поглядывали на него издали, не смея подойти ближе. Кто-то в толпе сказал:

– Горячий джигит, пламенный. Устами народа говорит. Молодые парни, окружавшие Юлчи, несмело стали расспрашивать его. Джигит отвечал просто и откровенно, и на перекрестке завязалась беседа словно между давнишними друзьями...

...Летнее утро... Солнце играет над верхушками густых верб. Юлчи вышел из дома пораньше, чтобы успеть до жары сделать лишнюю сотню кирпичей. Со стороны верхнего квартала, направляясь к гузару, бежала толпа мужчин. За ними спешили несколько женщин в старых, потрепанных паранджах.

Юлчи остановился. Люди сгрудились у моста. Послышались исступленные вопли женщин:

– Дад! Где конец насилию?

Покрывая голоса женщин, раздался громовой бас одного из мужчин – плечистого, обожженного солнцем, одетого в лохмотья:

– Вперед, джигиты, вперед! Постоим за себя!

Толпа хлынула через мост.

Народу на гузаре было еще немного. Проклятья женщин, смелые возгласы мужчин напугали торговцев. Чернобородый бакалейщик, занятый поливкой тротуара у только что открытой лавки, застыл с ведром в руке, но тут же, опомнившись, поспешно скрылся за прилавком. А люди вначале нерешительно, потом все увереннее начали присоединяться к выступавшим.

Юлчи протиснулся вперед. Сердце джигита билось в груди, точно молот о наковальню. Он понял, что настал день, когда угнетенные и обиженные крепко схватят за ворот своих насильников.

Толпа все увеличивалась. Усилились вопли, восклицания, плач женщин. Какой-то старик с белоснежной бородой распростер руки и, будто благословляя народ, во весь голос закричал:

– Собирайтесь, храбрецы! Собирайтесь! Газават! Газават!

Из чайханы выбежали два каких-то уличных парня. Сложив на груди руки, они поклонились старику. Тот благословил их. Парни, схватившись за ножи, висевшие у них на поясах, гордо оглядели окружавших.

Юлчи приблизился к старику:

– Отец, а каков смысл газавата?

– Сын мусульманина, – возмутился старик, – и не понимаешь?!

– Не совсем...

– Верблюжонок мой, по исламу газават – война мусульман с неверными. Умрешь – мучеником за веру станешь, убьешь – героем-победителем будешь. Такова по священным книгам война правоверных.

– Нет, отец! – выкрикнул Юлчи. – Наша война будет иная. Не все мусульмане одинаковые. Разве среди мусульман нет волков? И зубы их не такие же острые, как зубы других волков? Нет, мы будем истреблять всех волков! Так ли я говорю, люди? Наша борьба – это борьба за освобождение! За уничтожение всех волков, всех насильников, кровопийц!..

Из толпы с разных сторон послышались возгласы:

– Верно!

– Справедливые слова!

Изумленный словами Юлчи, старик схватился за ворот рубахи. – Астагфирулла![102] – только и мог выговорить он.

Юлчи побежал в свой квартал, собрал бедняков, которых только вчера призывал к борьбе, беседуя на перекрестке. В толпе оказалась и бабушка Саодат. Они вышли к гузару. Направились к Хадре. Мужчины шагали, расправив грудь, гордо подняв голову. Женщины беспрестанно слали проклятья царю и его приспешникам. Толпа росла. Из кварталов, из узеньких улочек и переулков выходили и присоединялись группы молодежи, стариков, женщин.

Народ шел смело, густой шумной массой. Изредка встречались полицейские. Когда-то полицейские наводили страх на старого и малого, теперь же они сами трусливо жались к дувалам и прятались от глаз толпы. А люди, осознав свои силы, шли, не обращая на них внимания. Юлчи рассчитывал, что восставшие направятся в новый город к дому губернатора. Но толпы народа, стекавшиеся со всех сторон, сворачивали к полицейскому участку на Алмазаре. В глазах простых людей это было самое черное, самое страшное учреждение. Оно олицетворяло всю власть. Все притеснения, насилия, издевательства ежедневно, ежечасно исходили именно из этого проклятого места. Мимо полицейского участка люди всегда проходили с трепетом. «Хорошо, пусть пожар начнется отсюда!» – подумал Юлчи и, подбадривая людей, заторопился к Алмазару.

Неожиданно до слуха джигита донесся чей-то окрик:

– Юлчи-бай!

Юлчи обернулся: неподалеку на тротуаре с газетой под мышкой стоял Абдушукур. Рядом с ним какой-то стриженный «под польку» и одетый по моде молодой байбача в легком пальто полуевропейского фасона.

Юлчи неохотно сошел с мостовой.

Байбача усмехнулся, небрежно поигрывая стеклом. Абдушукур строго хмурил брови. – Куда вы все направились? – спросил он. – Куда ты ведешь людей? Это невежество, безумие! – Абдушукур уже кричал, брызгая слюной. – Что понимает это стадо баранов? Что понимаешь ты? Есть люди образованные, которые заботятся о благе народа... А ты зачем путаешься? – Что же надо делать по-вашему, братец ученый? – насмешливо спросил Юлчи. – Вернуть людей! – взвизгнул Абдушукур. – Я уговариваю, останавливаю народ, а такие невежды и безумцы, как ты, тянут толпу вперед. Одумайся! Его величество белый царь оказался в этой войне в большом затруднении. Можем ли мы, туркестанцы, совершить предательство? Услышали про войну и побледили! Трусы, а не джигиты!

– Все? У меня нет времени заниматься болтовней! – поднял голос Юлчи. – Знайте, народ будет устраивать свои дела, как сочтет лучшим. Он не нуждается в таких маклерах, как вы. Я-то вас хорошо знаю. Вы хотите остановить народную бурю? Хотите заглушить голос народа? Попробуйте!.. Этот буран так вас подхватит, что вы и места на земле не найдете. Вам очень хочется воевать за царя? Что ж, забирайте вот этого байбачу – вашего приятеля – и отправляйтесь, дорога открыта. А наша война будет иная. Воевать мы будем и с теми, кто сосет кровь из народа, и с вами – их прихлебателями!

Юлчи резко повернулся. Через десяток шагов он натолкнулся еще на одного увещателя. Этого отчитывала какая-то пожилая женщина с подобранной до пояса паранджой, без капишей, в рваных ичигах, из которых выглядывали запыленные пальцы ног:

– Я пришла из самого Юнус-абада. Почему я должна вернуться? Хватит, досыта хлебнули горя! Хоть пушку заряжайте мной, а я буду кричать: пошли аллах погибель вашему белому царю Николаю! Вернуться, говоришь? Если ты мужчина, иди вперед, дорогу показывай!

– Правильно, мать! – поддержал женщину Юлчи. – Идем. Не отступай. Нам нечего бояться!

На Алмазаре перед зданием полицейского участка собралась огромная толпа. А народ все прибывал и прибывал. Особенно много закутанных в старые, потрепанные паранджи женщин... Пробираясь вперед, Юлчи оглядывал площадь. Вот они – дехкане, чайрикеры, батраки, городские ремесленники, рабочие и их отцы, матери, испытавшие на себе всю жестокость насилия, грабежа, издевательств!

В воздухе стоял мощный гул. Со всех сторон слышны иступленные вопли женщин, гневные возгласы мужчин:

- Погибель на эту войну!
- Сил нет больше терпеть!
- Пусть сыновья баев идут на тыловые работы!

В толпе Юлчи столкнулся с Каратаем. Рядом с кузнецом стоял Ораз. С трудом пробравшись к ним, Юлчи обнял друга-киргиза, которого давно уже не видел.

Каратай толкнул Юлчи:

– Вон смотри – Хаким-байбача! Душа у него, видно, к горлу подступила – вот-вот выскочит!

Закусив губу, Юлчи устремил на Хакима полный ненависти взгляд. Тот стоял несколько поудаль от толпы с каким-то русским чиновником в пенсне. Байбача был бледен, во всех его движениях чувствовался страх. Он то окидывал взглядом толпу, то наклонялся к чиновнику и что-то говорил ему...

Ораз шепнул что-то Каратаю и будто между прочим заметил:

– Надо бы и Хакима спровадить туда, куда отправился его братец Салим! Юлчи крепко сжал руку друга.

– Подожди, мы их всех подтянем на одну веревку. А сейчас идем, чтобы не отстать от народа.

Ворота полицейского участка были наглухо закрыты. Мужчины, женщины, цепляясь за окрашенную зеленой краской решетку, пытались проникнуть внутрь. Юлчи со своими друзьями навалились на одну половину ворот. К ним на подмогу бросились десятки людей. Ворота с треском распахнулись. Толпа бросилась вовнутрь и, захлестнув обширную площадь двора, задержалась у выбеленного здания участка. Двери канцелярии были заперты. Через окна видны искаженные страхом и злобой лица полицейских, миршабов. Ярость восставшего народа все нарастала. Крики мужчин, возгласы женщин, казалось, поднимались до самого неба. Джигиты сжимали кулаки, старики потрясали посохами, женщины в иступлении отбрасывали чачваны.

- Сюда выходите, живоглоты!
- Мы распорем вам животы!
- Долой тирана-царя!
- Долой баев!

Несколько миршабов во главе с усатым полицейским выскочили из помещения. Похабно ругаясь и размахивая плетками, они пытались оттеснить толпу. Передние попятились. Надо было действовать.

– Бей! – крикнул Юлчи и, как тигр на добычу, рванулся на полицейских. Двумя ударами он повалил двух миршабов.

Народ с криком бросился на других. Но из окон раздались выстрелы, и благодаря этому измятым кулаками и пинками мирша-бам удалось скрыться в помещении. В двери, в окна канцелярии полетели камни, обломки кирпичей. Со звоном посыпались осколки стекол.

Неожиданно дверь канцелярии распахнулась, и на крыльце появился усатый, грузный и злой пристав Мочалов в сопровождении двух полицейских чиновников, бледных, с перекошенными от страха лицами.

Пристав резким движением руки потребовал тишины. Один из чиновников сделал попытку разъяснить смысл «высочайшего указа». Но шум и крики заглушили его слова. Снова со всех сторон полетели камни, кирпичи. Какая-то распаленная гневом женщина вцепилась в одного из чиновников, рванула его с крыльца. Близ стоявшие свалили его, потащили в толпу. Какой-то молодой джигит с непокрытой головой, с горевшими ненавистью глазами проворно выхватил из ножен чиновника шашку.

В этот момент по знаку Мочалова из окон канцелярии прогремел залп. В народ посыпались пули. Упали две женщины. Одна застыла на нижней ступеньке крыльца, другая, комкая худыми, изможденными руками паранджу и чачван, свалилась на кирпичи. Какой-то чернобородый, бедно одетый человек, зажимая правой рукой плечо и закрыв от боли глаза, опустился на корточки. Меж его пальцев проступила кровь.

Толпа попятилась, отхлынула от крыльца. Едва над головой зазвенели пули, Юлчи почувствовал, как весь он наливается бурной, клокочущей силой, а сердце его охватывает неудержимая ярость. Горящими глазами он оглядел народ: во взглядах людей – жгучая ненависть, в руках Каратая, Ораза и многих других холодно поблескивают ножи, руки женщин сжимают камни.

В народе нарастала новая волна гнева:

– Стреляйте! Убивайте!

– Пусть земля поглотит тирана!

– Не дадим своих сыновей кровопийце-царю!

Юлчи решительно шагнул вперед. Вместе с первыми рядами подступил к двери канцелярии. Вслед хлынула застывшая было на миг волна народа. Еще один из царских прислужников был смят. Остальные успели скрыться. Дверь канцелярии снова захлопнулась.

Топтаться во дворе было бесполезно. Надо было врываться через окна и двери внутрь. Юлчи поискал глазами своих друзей: Каратай яростно орал что-то в толпе джигитов, Ораз ожесточенно бросал камень за камнем в окно канцелярии, – ни тот, ни другой не слышали его призыва. Увидев неподалеку группу мужчин своего квартала, Юлчи решил позвать на помощь их. Пробиваясь сквозь толпу, джигит вдруг остановился: среди множества женщин он увидел девушку. Она то приподнимала чачван, то вовсе отбрасывала его, вставала на носки,

озиралась по сторонам. На ресницах ее жемчужинами блестели слезы. При первом взгляде Юлчи показалось, что он видит Гульнар: овал лица, разрез глаз, тонкие изогнутые брови – все напоминало ему любимую. Джигит закрыл глаза и даже покачнулся – в сердце его будто вонзилось что-то острое, грудь залила волна скорби.

«Гульнар, возлюбленная моя! Нет тебя. Нет тебя на этом празднике народном, празднике джигитов!»

Со всех сторон слышались новые взрывы криков и возгласы: – Полицмейстер! Казаки!.. Не теряйтесь, джигиты! Бейте их, удалцы! Юлчи метнулся к передним рядам, увидел полицмейстера, стоявшего на крыльце в окружении казаков.

Полицмейстер Колесников пытался говорить, но в ответ ему загремел грозный клич:

– Бей тирана!

Десятки рук протянулись к полицмейстеру. Он выхватил револьвер. Казаки дали залп, вслед поднялась беспорядочная стрельба. Сразу упало несколько убитых и раненых, но восставшие все рвались к крыльцу.

Юлчи ринулся на высокого бородатого казака, оглушил его ударом кулака, одним рывком выхватил у него клинок. Поднял высоко над головой горевшую белым пламенем шашку, бросился за убегающим в канцелярию полицмейстером.

Вдруг, будто схваченный судорогой, джигит застыл на мгновение, потом, все еще крепко сжимая клинок, согнулся и медленно опустился на землю. Немного погодя он открыл глаза. Над ним – чистое голубое небо, яркое солнце: как сквозь глухую стену слышен шум толпы. На дерево напротив взбирается какой-то мужчина. Юлчи узнал в нем Ораза – киргиз обрезал телефонные провода...

Страшная боль пронизывала все тело джигита, но он еще кипел гневом, пытался бороться. Крепко стиснув зубы, опираясь на руки, он оторвал голову от земли, приподнялся, но в глазах у него потемнело, и он свалился снова... Юлчи лежал, обливаясь кровью, но не терял сознания. Душой и мыслью он был с восставшим народом. В ушах его торжественной музыкой звучал грозный ропот толпы – это были гневные голоса многих тысяч братьев, отцов, матерей, грудью вставших против баев, против всех тиранов и насильников.

Кто-то подошел к нему, погладил рукой лоб, позвал:

– Юлчи-бай! Лучше бы мне умереть, твоему брату! Эх, друг, старый мой друг!.. Джигит открыл глаза – над ним склонился Каратай.

Каратай и Ораз подняли Юлчи: с трудом выбравшись из толпы, быстро зашагали прочь. В квартале Диван-беги они вошли в какой-то заброшенный двор и осторожно уложили Юлчи в полуразрушенной лачуге.

– Друг, ну как ты? Воды дать?

Вопрос Каратая остался без ответа.

Юлчи был мертв...

Каратай прикрыл лицо друга поясным платком. Ораз снял и расстелил халат, на него уложили тело. Каратай ножом разрезал окровавленную рубаху, обнажил грудь Юлчи: на левой стороне вокруг раны густо запеклась кровь...

До наступления темноты друзья в горестном молчании сидели на безлюдном тихом дворе. Потом Ораз отправился к знакомому арбаке-шу, вернулся на арбе, застеленной несколькими снопами рисовой соломы. В темноте они уложили Юлчи на арбу, прикрыли соломой и с большой осторожностью поехали к бабушке Саодат.

Унсин, слышавшая о восстании, о стрельбе, об арестах, опасаясь за брата, под вечер прибежала с сынишкой Каратая на Тахтапуль. Бабушка Саодат, вместе с другими женщинами ходившая к полицейскому участку, подробно рассказала девушке о событиях. Обе они очень беспокоились за Юлчи.

Неожиданно во двор вбежал Каратай. Беспокойно оглядываясь назад, кузнец скороговоркой предупредил:

– Пожалуйста, прошу – не поднимайте голоса! – и снова скрылся.

Женщины застыли, предчувствуя беду. Но только когда внесли Юлчи и уложили на подстилку, они поняли страшную истину.

Каратай послал Ораза за Шакиром-ата, а сам остался в хибарке. Он сидел неподвижно, лишь время от времени поднимая голову, чтобы унять женщин, если они начинали громко плакать.

При свете лампы Юлчи лежал такой же спокойный, гордый и красивый, каким был при жизни. Глаза, казалось, вот-вот откроются губы зашевелиятся, и он заговорит... Унсин рвала на себе волосы, до крови царапала щеки. Но разве это могло хоть чуточку облегчить ее страдания? И разве могли слезы омыть сердце, залитое скорбью? Обнимая любимого брата – ее друга и единственную опору в жизни, Унсин прижималась щеками к кровавой ране. Не действовали на нее ни уговоры Каратая, ни ласки старухи. Девушке казалось – ее жизнь не стоит и одной минуты жизни брата.

Пришел Шакир-ата. Каратай с Оразом отправились на кладбище. На случай, если бы могильщик отказался ночью копать могилу, они захватили с собой кетмень. Шакир-ата, опустившись на колени у изголовья Юлчи, долго и горько плакал. Потом обратился к Унсин, по-отечески ласково погладил ее по голове.

– Доченька моя, родная, доченька! Не убивайся так. Ты умница, девушка, поймешь: смерть Юлчи – не простая смерть. За кого пролил кровь твой брат? Не за себя – за народ, за всех обиженных и обездоленных кровь свою он пролил. Эта кровь самая чистая, самая благородная. Это – священная кровь!.. Доченька, брат твой был мужественным джигитом. Честным джигитом. И он честно и мужественно умер. Кровь Юлчи не пропадет даром. Потом ты поймешь, доченька. Придет время, я умру, а ты вспомнишь и скажешь: «Шакир-ата правду говорил!» – Старик тяжело вздохнул. – Не горюй, доченька. Я для тебя – отец. Старуха – мать. В кишлаке у тебя есть брат. Есть у тебя и такой друг, как Каратай. Все мы тебя
любим.
Унсин так и не успела передать брату колечко, которое ей когда-то дала Гульнар. Она вынула его из кармана, поцеловала и надела на мизинец Юлчи.

Ровно в полночь Юлчи уложили в تابوت. Шакир-ата, Каратай и Ораз прочли молитву. Звать джигитов квартала было опасно. Каратай и Ораз вдвоем подняли تابут. Бабушку Саодат еле уговорили остаться дома. За تابутом шли Шакир-ата и Унсин.

В непроглядной темноте, в глубоком, горестном безмолвии друзья уложили Юлчи в могилу и забросали ее землей, поклявшись отомстить насильникам. Потом, простившись со стариком и Унсин, они ушли. Им нужно было хотя бы на время скрыться. Унсин долго плакала. Она то клала на могилу голову, то прикидала к ней грудью, не в силах утешить безмерную скорбь.

Когда начали тускнеть и гаснуть звезды, Шакир-ата взял девушку за руку, поднял с могилы и повел домой.

Шли они тихо. Когда достигли половины пути, на горизонте загорелись яркие, красные как кровь лучи. Приветствуя восходящее солнце, в зелени садов запели птицы.